ISSN 0130 – 6545

8.1979

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

АЛЕКСАНДРУ ЧУКУРЕНКУ. Ана Ипэтеску, 1848 г.

Цветные иллюстрации номера — работы румынских художников

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

8 август 1979

Содержание

Рассказы

ДУМИТРУ РАДУ ПОПЕСКУ. ЮЛИАН НЯКШУ. АУГУСТИН БУЗУРА. ВАСИЛЕ РЕБРЯНУ. ФЭНУШ НЯГУ. СОРИН ТИТЕЛ *(Переводы с румынского Татьяны Ивановой, С. Косенко, Л. Долгошевой. Вступление Лауренциу Улича)* 3

КИПРИАН ЭКВЕНСИ — Переживи мир *(Роман. Окончание. Перевод с английского В. Перехватова. Послесловие Виктора Бейлиса)* 36

ДЖОН АПДАЙК — Давай поженимся *(Романическая история. Окончание. Перевод с английского Т. Кудрявцевой)* 93

Литературные иллюстрации

Из французской поэзии 70-х годов

ЖАК РУБО. БЕРНАР ВАРГАФТИГ. ПЬЕР ТИЛЬМАН. ФРАНК ВЕНАЙ. МОРИС РЕНЬО *(Переводы Алексея Парина и Натальи Стрижевской)* 159

Критика

Т. БАЛАШОВА — Пространство слова (Новые имена во французской поэзии) 168

Ю. ФРИДШТЕЙН — Поиски и разочарования (Об английских пьесах последних лет) 176

Писатель и время

ДЖОРДЖЕ МАКОВЕСКУ — Колдовство земли *(Перевод с румынского и вступление Михаила Фридмана)* 182

Интервью

Алан Маршалл: «Жить жизнью счастливого человека» (Беседа, которая не была запланирована. Беседу записала и перевела Лия Завьялова) 190

Культура и современность

По страницам британской прессы

Е. Гениева — Нетипичные и типичные английские романы 195

Публицистика

Американские ракурсы

ЮРИЙ ЗАМОШКИН — Личность и общественное мнение в США (Опыт анализа ценностных ориентаций американцев на фоне идейно-политической ситуации 70-х годов) 200
ВЛАДИМИР ПОЗНЕР — Америка на бегу *(Перевод с французского И. Кузнецовой)* 217
ДЖЕЙМС БОЛДУИН — 1964. Без личных выпадов *(Перевод с английского и послесловие В. Воронина)* 221

РОБЕР ЛИНАР — Итак, я работаю на заводе... Фрагменты книги. *(Перевод с французского О. Моисеенко)* 234

Антирубрика

ВАЛЕНТИН СИЛЬВЕСТРУ. Юморески. Амелита. Маленькая трагедия в письмах. Романс. Впервые в мире, или Новая программа дрессировщика *(Перевод с румынского Яна Ириньша)*. Миниатюры *(Перевод с румынского Л. Долгошевой)* 254

Среди книг

Издано в СССР

Г. Ильина — Петрия рассказывает... ✦ В. Комиссаржевский — Человек, умеющий говорить «нет!» 264

Издано за рубежом

Татьяна Николеску — Первый роман Марина Сореску ✦ Австрийские писатели вспоминают. Венделин Шмидт-Денглер — Преодолеть отчаяние. Ю. Архипов — Поэзия и правда Элиаса Канетти 268

Из месяца в месяц

273

Авторы этого номера

286

На обложке: картина румынского художника КАМИЛА РЕССУ «Отдых косарей».

На стр. 175, 189, 253 — рисунки румынской художницы ЛИДЖИИ МАКОВЕЙ.

© «Иностранная литература», 1979 г.

Рассказы

■

Переводы с румынского

Каждый из писателей этой подборки представляет одно из четко определившихся тематических направлений и в то же время одну из разновидностей эпического повествовательного стиля современной румынской прозы.

Аугустин Бузура тяготеет к изображению глубоких нравственных конфликтов, которые он помещает в четкий социально-исторический контекст. Его стилистическая манера умело сочетает эпическое начало с экспрессивным авторским повествованием. Фэнуш Нягу, рассказчик по призванию, предлагает читателю яркие живописные картины, написанные сочным, метафорическим, насыщенным языком, использующим все богатства родной речи. В творчестве Думитру Раду Попеску действительность последних десятилетий рассматривается во всем многообразии ее политических, нравственных, социальных аспектов. Василе Ребряну обращается к традиционным темам, прибегая к свежим стилистическим приемам, близким порой к эксперименту. Сорин Тител пытается создать выразительную картину современной жизни, оригинально используя достижения обновленной прозы. Для мастера камерных жанров Юлиана Някшу характерен поиск необычных композиционных форм, который, однако, не мешает созданию живых полнокровных характеров, вылепленных с тонким юмором и психологизмом.

Однако при всем разнообразии творческой манеры названных писателей есть нечто объединяющее их — высокая художественная ценность их произведений, глубокое понимание своего долга и своей ответственности перед народом.

ЛАУРЕНЦИУ УЛИЧ

ДУМИТРУ РАДУ ПОПЕСКУ

Золотой ларь

Воздух был тих. Он неподвижно парил между голубизною и зеленью. Небо и поле, лицом к лицу, глядели друг на друга и слушали тишину полдня. Жарко не было. Белые сады на околице, казалось, спали. Только желтые пчелы неутомимо

сновали сквозь весеннюю тишину. И только Лица, соседка Николае, болтала без умолку. Пришел еще один сосед — его дом тоже стоял на краю деревни, у поля,— и пришли еще соседка, две невестки и зять. Она все болтала; потом как из-под земли возникли два цыгана со скрипками, сын и дочка, внук и два других соседа Николае. Теперь уже не было тихо. Лица, размахивая руками, подходила к каждому и рассказывала, что случилось:

— Бедный Николае, не дал ему бог помереть на собственной постели.

Один человек приехал из города, от него-то Лица и узнала: он своими глазами видел, что из-под мешков торчали одни только ноги Николае. Грузовик двумя колесами застрял в кювете — врезался на повороте в какой-то другой грузовик,— мотор смяло. Сам-то человек был из другой деревни, и ему нужно было ехать дальше. С людьми, вытащившими Николае из-под мешков, он лишь на ходу перемолвился словом. Однако заметил, что председатель кооператива лежал под акацией и стонал. У председателя была сломана нога и разорвана рубаха.

— Видно, так им было на роду написано, тетенька,— сказала Лица и трижды перекрестилась.

Во дворе у Николае никто не плакал. Сохраняли спокойствие. Поискали ключи от дома и сарая, но не нашли. Тогда взломали дверь и стали входить: впереди родня, потом соседи и, наконец, цыгане. Поставили на печь горшки и закололи поросенка. Отослали двоих на кладбище — копать могилу,— а двух зятьев снарядили на телеге за Николае — привезти его домой.

— Золото — не человек был! — рассказывала Лица.— Честный, в доме хозяин. Жил один, не сидел у детей на шее, скажет, бывало: станут еще глазеть, сколько съел, да что делает, а то, пожалуй, невестки с зятьями и оговорят. Один как перст жил.

— А что ж не женился-то? Было бы кому его и обстирать, и согреть, и поштопать ему.

— Так ведь он говорил — только сам себя и обстираешь как следует. Юродивый он был, тетенька,— снова перекрестилась Лица.— Никто ему был не указ, что сердце подсказывало, то он и делал.

Акилина, старшая дочь Николае, принесла из дому бутылку цуйки.

— На помин души усопшего! — сказала она, поднимая стакан.

— Прости господи его прегрешения! — отозвалась Лица и направилась к конюшне, откуда Иту, сын Фештилы, уже тащил мотыгу.

— Зачем, тетенька, сдалась тебе эта мотыга? Ведь дочка твоя только что понесла к воротам вилы. Оставь ее, тетенька, может человеку она еще понадобится.

— Не понадобится,— сказал зять Николае.— На что она? Землю ему не копать, разве что самому себе могилу вырыть. Да и могилу ему себе теперь не вырыть: он ведь сам покойник и другие ему могилу копают.

Запели цыгане. Заплакали скрипки. Высокий цыган гнусавил.

Суетится человек,
Копит, копит весь свой век...

Явился Пуричел Илие, сказал, что даст ореховые доски для гроба.

— Зачем ему ореховый ларь? — удивился Бодашкэ; у самого Бодашкэ тоже были доски, только из белой акации.— Тут ведь лишь бы тесина. Да не сучковатая. Пуричел сделал сыну, который в городе,

зеркальный шкаф, а остатние доски куда девать не знает, вот и хочет сбагрить их Николае на ларь. Только я скажу — из акации-то доски лучше: и тоньше, и не сучковатые, ларь не тяжелый получится.

— А ты ври, да знай меру! — возмутился Пуричел Илие.— Доски-то у тебя бросовые, все в трещинах. Николае в грузовике растрясло, того и гляди, у него из ларя все кишки вылезут! А ореховые доски крепкие, они надолго, в них покойник и не сгниет так запросто.

— Тут уж что сгниет, что не сгниет!.. Был бы ларь, чтобы земля в глаза не сыпалась.

— А я скажу — из ореха ларь лучше, свекор мой в таком покоится, лежит как барин. Всю жизнь надрывался, так по крайней мере похоронили по-королевски — в ореховом гробу.

— Да кто ж тебе за доски заплатит? Добрый дядя? Я ведь тебя знаю, ты не больно-то щедрый.

— Кооператив. У Николае небось трудодней порядком осталось.

— Кабы Николае сам этими трудоднями распоряжался, ни за что бы он не взял твои доски, знал он, что ты вытворял, когда судились за землю,— горячился Бодашкэ.— Николае был умный, ничего не забывал.

— Да уж кто бы говорил — все знают, как ты его обчистил. Украл у него кукурузу, да на него же и заявил. И ты же прав остался, потому что на суде он все молчал, не защищался — знай себе улыбался как юродивый.

— Да он всю жизнь улыбался, тетенька, понял, что вы дураки, и не стал с вами связываться, простил вас,— сказала Лица.

— Бодашкэ дурак, а не я.

— А ты все задаешься, Пуричел, умника из себя строишь, нет чтобы поглядеться в воду — увидел бы, что голова у тебя с айву. И лоб — с ноготок, где уж там уму поместиться.

Иту, сын Фештилы, вышел из дому, держа в руках две бутылки цуйки.

— Да будет земля ему пухом! — сказал он.

— Пусть будет пухом! Жизнь-то не больно его баловала,— тихо сказала Лица.— Руки у Николае весь день не знали покоя. Бывало, ляжет он под сливу и весь денечек так и пролежит, глядя на небо; только рукам его и тут нет покоя: все веточки ножом подрезает. Мы, бывало, спросим, что это он такое делает, а он — мол, листья для собак срезаю. А сам глаз с неба не сводит и с места не двигается.

— Уж такой хороший был да трудолюбивый! — сказала сухонькая старушка.— Дивлюсь я, что помер, молодец был мужчина, ей-богу!

— Недобрый час, тетенька, недобрый час подстерегает тебя и приходит нежданно-негаданно. Работал он от зари до зари, а жил не больно-то богато. Сперва, пока не объявились эти, из кооперативного хозяйства, был у него дом полон детей и работал он, можно сказать, не разгибаясь — как только не лопнуло у него сердце! А когда записался в кооператив, стали его поносить на всех перекрестках. Потом дочерей замуж выдал, сыновей оженил, а покоя ему не было.

— Теперь будет ему покой.

— Зятья да невестки все боялись, как бы не отняли у него остатнюю землю. С тех пор как Николае записался в кооператив, они и смотреть в его сторону перестали и вообще к нему ни ногой. Говорили — поступил он на старости лет в услужение к бездельникам.

— А он что?

— Говорил: мол, я сам себе работник, только себе и никому другому. Говорил: пусть человек будет слугой только себе самому, а не другим.

— Юродивый был.

— Горемыка он был, тетенька, горемыка и сиротинушка. Любил жить в тишине. Вот и построил себе дом на отшибе — чтобы не на виду быть. Да не вышло. От злоязычия детей своих не укрылся. Сами-то своим домом зажили, отца бросили, и его же оговаривали да смерти его ждали.

Цыгане пели и угощались цуйкой. Высокий гнусавил:

Копит, копит весь свой век,
А когда уходит к богу...

Пуричел Илие с сыном притащили ореховые доски и принялись тесать их. Лица слышала, как Пуричел объяснял, что деньги ему не нужны, хватит и нескольких четвериков зерна из амбара Николае; жаль ведь, если зерно сгниет или достанется первому встречному. А Николае все равно зерно теперь ни к чему, не бросать же его в могилу. Пуричел ударял топором по доскам, и удары таяли в голубизне, опочившей на белых садах и зеленой земле.

Лица слышала, как Бодашкэ сказал:

— Хорошо, что мне попался на глаза этот пояс, Николае все уговаривал меня его взять. Бывало, скажет: «Стар я стал, оставляю его тебе на память».— «Я бы взял, говорю, только ведь есть у тебя родня поближе, ты уж ей отдай».— «Нету, говорит, нет у меня никого тебя дороже».

А потом вступила Акилина: «Как помру я, возьми вот это одеяло,— скажет, бывало, отец. «Не могу, говорю, как бы не заругались братья». «А не возьмешь, так сожгу его»,— бывало, скажет. Душа человек был! Вот теперь я и беру одеяло, чтобы волю его исполнить.

— А другое-то зачем берешь? Что в него завернула? — спросил Пуричел Илие.

— Так ведь их два. Негоже их разлучать. Они всю жизнь вместе прожили.

Лица слышала, как сухонькая бабка, соседка Николае, ворчала:

— Кэчула[1] эта совсем никудышная, никому ее и не отдашь: дыры в ней — кулак проходит.

— Так что ж ты на нее лапу наложила? — спросила Лица.

— А я дам ее внучку, пускай играется. Дети, они хоть с чем играются.

— Озорники они, дети-то!

— Да они ведь, бедняжки, маленькие.

— Так ведь кэчула-то для того, чтобы ее на голову надевать.

— Как же, как же, только это когда холодно, а теперь-то лето, кто ж ее наденет?

— Положи кэчулу на место.

— Я бы и положила, да жаль ее — бог знает в какие поганые руки угодит, изорвут или повесят на кол — ворон пугать.

— Доброе у тебя сердце, тетенька.

— Такая уж я уродилась жалостливая. Ее и моль может съесть, жаль кэчулу.

Пуричел Илие вышел из дому с тремя бутылками цуйки. Отхлебнул из одной и сказал:

— Да хранят его святые! Хороший был хозяин, я бы его председателем кооператива назначил.

---

[1] Высокая меховая шапка. *(Здесь и далее — примечания переводчиков.)*

— Да ты сперва сам в кооператив запишись, а потом уж его председателем назначай,— сказала Лица.

— А ты почему за него замуж не пошла, чтоб он над тобой председателем стал? — хохотнул Пуричел Илие.

— Думаешь, он слепой был — ее брать? — засмеялась сухонькая старуха, захмелев.— Она только болтать горазда, а так ведь никуда не годится — земля, прах.

Бодашкэ принес мешочек гвоздей для гроба Николае — его уважить.

— Это гвозди отборные, старинные! Десять кило. Не смотри, что они ржавые, зато не гнутся, ударишь по ним ломом, а они все прямые. Акилина мне даст за них деньги, у старика деньжата водились. Эти гвозди на век, у них особая ржа, к ней другая не пристанет. На нынешних-то гвоздях такой ржи нету.

— Умен ты, тетенька, нет сил как умен!

Пришли могильщики с кладбища. Одежда вся в земле, голодные. Уселись за стол, выпили на помин души, закусили. Пришел еще один человек из соседней деревни и тоже рассказал, что он видел Николае мертвого. Тут и началось. Зятья принялись ругаться, невестки забились по углам. Ведь старик не сделал перед смертью завещания. Земля его не переходила в собственность кооператива. Вот все и перессорились. Каждый стал тащить что мог. Пуричел насыпал в мешок пшеницу — тесть был ему должен за ореховые доски, из которых срубили гроб. Бодашкэ не отставал от Пуричела. Человек, который сколотил Николае крест, был его должником, и хотелось ему расплатиться с тем, кто сходил в могилу. Чем бросать деньги в землю, лучше сделать крест. Потому что родным платить долг без толку, им все равно не потрафишь, скажут еще, что обманул. А главное, не знал он, кому из них отдавать деньги. Все хвалили Николае и, прикладываясь к бутыли, желали, чтоб земля была ему пухом.

Пуричел Илие напился и пошел за дом справить нужду. Там его и нашли женщины — полуголый, он держал штаны в руках и приплясывал. Женщины выругали его и вылили ему на голову кувшин воды.

— Не пей как свинья!

— Покойник тоже был не прочь,— простонал Пуричел.

— Он-то ведь, тетенька, знал меру. Бывало, выпьет ведро вина — не то что ты чашку,— а ему хоть бы что. Щеки у него чуть не лопались — до того он был румяный да здоровый,— сказала Лица.— Даром что старый, а женщины никогда над ним не насмехались, и не было им за него стыдно.

— Да ты-то откуда знаешь?

— Слыхала, на то у меня и уши.

— Слишком много ты слышишь,— рассмеялась беззубая старушка.

— Другие в его годы,— говорила Лица, глядя на старуху,— шаг сделают и скорчат рожу — ноги им насмерть свело, совсем стали никудышные. Он же, бывало, скачет на коне, как восемнадцатилетний. А работал, как двадцатилетний. Я, бывало, ему говорю: «Чего ты тетенька, так надрываешься? Богатства ты не скопишь, сыновей ты оженил, дочерей замуж выдал...» — «У меня, тетенька, есть внуки».— «Так пускай, тетенька, отцы на них работают. Ты-то небось всю жизнь косу из рук не выпускал».— «Не выпускал, потому что, коли ее выпустишь, тут и смерть придет, схватит за горло».— Все-то ты шутишь, тетенька, только ведь человеку надо и отдохнуть, погреть на солнце косточки».— «В другой раз погрею, на том свете, а теперь некогда».—

«Хватит работать, отец, хватит, родимый. Понимаешь: не́ для кого тебе работать».— «Для себя, тетенька, если не для кого другого. Человек, пока жив, должен сам себе налить суп в миску».

— Да помолчи ты,— рассердилась сухонькая старушка.— Все-то ты болтаешь, того и гляди, язык отсохнет. Пустите еще по кругу бутыль, люди добрые, не то как бы цуйка в ней не прокисла. Так пусть господь бог его помянет и, как говорится, живые с живыми, а мертвые с мертвыми.

Цыгане сгрудились у дома. Высокий пел в нос, да так громко, что все вокруг звенело:

Копит, копит весь свой век,
А когда уходит к богу,
Только гроб берет в дорогу.

Лица глядела на сухонькую бабку и поражалась, как та не падает. Она подумала, что бабка будто сухой лист и от нее веет смертью. Ноги-то у нее словно соломины.

— Как скелет,— сказала она Акилине.— Небось легка, хоть через дом перебрасывай. У нее в костях небось и мозга нету, а ноги-то, ноги как у мертвеца.

— Замолчи, пузатая! — набросилась на нее бабка.— Сама-то жирна, как свинья, ишь раздулась — будто целый день сиську изо рта не вынимаешь.

— Да уж не то что некоторые — целый день в наморднике!

Сухонькая беззубая старуха рассердилась и с проклятиями кинулась на Лицу. Их разнял Иту, сын Фештилы, и отругал: мол, дурехи, нашли где ругаться — у дома покойника. Тут Лица стала корить всех, кто был во дворе: родню, соседей, чужих, цыган.

— Постыдились бы,— говорила она.— Всю-то жизнь вы обкрадывали Николае, судачили о нем, драли с него шкуру, не давали ему кусок спокойно проглотить; а теперь спешите похвалить его да наложить лапу на все его имущество. Души у вас черные, не давали ему житья, а теперь не даете спокойно сойти в могилу, норовите обобрать. Налетели на дом, как воронье.

— Ладно, тетенька, ладно, и сама небось не святая.

— Да она напилась.

Все посмеялись и перестали обращать на нее внимание. И Лица притихла. Она пошла домой и по дороге все рассказывала внучке, какой добрый человек был Николае. Внучка не верила, но слушала, опустив голову.

— Всю жизнь свою он ходил за лошадью, потому так и любил лошадей и берег их как зеницу ока. У него и теперь в конюшне стоит конь. Ночью он выводил его на пастбище. Не отдал в кооператив, и за это некоторые его бранили. А с него как с гуся вода. Он ведь двух уже отдал. Этот-то двухлеток.

— Еще бы отдать! Дело ведь стариковское, на работу пешком к черту на кулички не больно походишь.

— Да нет, просто он любил ездить верхом и купать коня.

— А я слышала, он спал не в доме с людьми, а на конюшне с лошадью. Вроде как спятил в свои шестьдесят. И будто грудь у него была волосатая, как у черта.

— Тогда черту надо бы быть добрым. У Николае сердце было добрее, чем у тебя, скаженной.— И она попыталась схватить внучку за волосы, но та увернулась и со смехом убежала. На дворе Николае все стихло, и Лица решила воротиться, чтобы доругать зятьев. Она

увидела, что все собравшиеся пристально глядят в поле и будто прислушиваются к полуденной тишине. Только Пуричел Илие всхлипывает. Когда жена его позвала народ к воротам и все удостоверились своими глазами, что она не ошиблась, Пуричел с сыном схватили гроб, накинули на него покрывало, водрузили его на плечи и потащили в сад, прячась среди слив. Перекинув гроб через забор, отец с сыном бегом вернулись к дому. Крест остался стоять, прислоненный к забору. Потом кто-то вынул из него гвоздь и побежал, держа в руках две перекладины.

— Чего ж это он улыбается?

— Да он всегда такой — то ли радуется, то ли над другими смеется, не разберешь.

— Значит, черти не уволокли из-под мешков эту старую развалину. Да он у нас у всех еще на поминках кутью поест, а сам помереть и не подумает. Будто каждый день ел куличи, а не мамалыгу с луком.

— Должно быть, бог окосел!

— Куда там, он, должно, совсем ослеп, ничего не видит. Прибирает молодежь, цвет жизни, а сморчков не замечает.

— Смерть его позабыла.

Войдя во двор, Николае поздоровался, но не спросил, почему собралось столько народу и отчего все так на него пялятся. Он прошел в конюшню и, улыбаясь, похлопал жеребца по крупу. Лица увязалась за ним.

— Они тебя ограбили, как разбойники с большой дороги.

— Да нет, просто взяли взаймы.

— Вот увидишь: ничего не вернут.

— И пускай, тетенька, ну и на здоровье.

— Ой, человече, ой, тетенька, да ты рехнулся! Люди обзовут тебя дураком, коли ты не заявишь в милицию, что тебя обокрали.

— Не заявлю. Люди знают, что я не дурак, а коли не знают — их дело.

— Господи, тетенька, как хорошо-то, что ты сам цел и невредим,— перекрестилась Лица.— Видишь, они тебе и поминки устроили, и ларь и крест соорудили.

— Слишком скоро захотели от меня избавиться,— рассмеялся Николае.

— Люди злы, тетенька.

Лица была всего на пять лет моложе Николае, но и его, как всех вокруг, звала «тетенька». Люди разошлись опечаленные. Акилина сказала Иту, что она и не сомневалась: отец ее не умрет так, запросто.

— Куда там, такого от него не дождешься.

Николае взял косу и отправился в поле накосить травы для лошади. Опять стало тихо. Белые сады глядели в синюю прозрачную бесконечность. Когда Николае скрылся, Лица юркнула под навес, чтобы прибрать гвозди, которые принес Бодашкэ,— не почему-нибудь, а так — не на место они были положены.

— Дай положу их куда-нибудь на место, не то валяются на дворе-то, портятся. Кто его знает, может, дождь пойдет и пропадут бедные гвозди понапрасну,— сказала Лица, направляясь к дому.

Только свист косы разрезал оцепенение поля. Широкая дорога стелилась следом за Николае, он косил время и тишину трав и, улыбаясь, медленно уходил вдаль между голубизною и зеленью.

Перевод ТАТЬЯНЫ ИВАНОВОЙ

ЮЛИАН НЯКШУ

Директор

Небо было серое, как моя шляпа, которую я с таким удовольствием надевал по воскресеньям. В то время мне приходилось выезжать рано утром и возвращаться к ночи — катался взад-вперед не хуже кондуктора. И каждое утро наблюдал, как завтракает некая блондинка с белыми и широкими, точно куски сахара, зубами, играл с попутчиками в кости, в подкидного и прочие игры, за которыми при желании можно скоротать время. Где-то рядом знакомились, влюблялись, толпились в коридоре, возле окон — ведь это так легко получается в поезде. Иногда под стук колес я засыпал, и мне снилось, что я превратился в большие и скучные ходики, отсчитывающие безрадостные и одинокие вдовьи минуты.

И в тот раз, как обычно в дороге, я глядел в окно, распевал во весь голос, благо никого в коридоре не было. Честно говоря, голос у меня не ахти какой благозвучный, но мне он кажется вполне сносным. Я пел, думая о том, как славно после работы ловить рыбу руками, под камнями у излучины... И вдруг он оказался возле меня — блондин или, вернее, бывший блондин: волос на макушке у него поубавилось, а кое-где уже пробивалась седина. Глаза, правда, по-прежнему были синими, а может, даже зелеными, к тому же чистыми и блестящими, как новенькие монеты. Он мурлыкал себе под нос детскую песенку, что-то вроде: «Кто вас, детки, учит мыться? Догадались вы иль нет — это мама, вот ответ», а я, вспомнив вдруг кое о чем, повернулся и в упор, открыто посмотрел на него.

— Видишь, какие маки,— показал я ему,— вон красные, а там желтые.

Он молча поглядел в окно.

— Ну как дела? — решился я спросить.

— Хорошо,— ответил он.

— А чего же хмурый тогда?

Он был похож на человека, изжаленного назойливыми и злыми осами: под глазами коричневые круги, а рот распух и скособочился. Так кривятся дети, когда капризничают за едой. Я спросил, родилась ли у него дочь, которую он так хотел, а если родилась, то какая она.

— Растет,— улыбнулся он,— хочу, чтобы стала красивой, умной и строптивой.

Я удивился про себя и спросил, как он вообще поживает. А потом нечаянно ляпнул, что он бледный и унылый какой-то и что ему, видно, надо выспаться и побольше есть, но это, конечно, его дело — постоянно о чем-то думать, я в это не вмешиваюсь, но полезно иногда и отключаться от забот. Я хорошо знал о всех его хлопотах, но хотелось послушать, что он скажет.

— Туго пришлось,— произнес он и усмехнулся,— я надрывался, толкался во все двери, а теперь вот принимаю поздравления...

— Кто тебе мешал и почему?

В ответ он только головой покачал.

— Никто здесь не виноват, вот смотри...— Он поднял окно, подышал на стекло и вывел пальцем: первое—в плане не было, второе— где взять деньги? Третье — материалов не обещали, четвертое — людей тоже. А затем принялся стирать пункт за пунктом: в план включили, второе, третье, четвертое соответственно отпало... работаем за так и днем и ночью. Дети ждут.— Большой вопросительный знак посреди окна.— А мне что говорили? Ничего не получится... слишком поздно... может, на будущий год... а в общем, приходите завтра... И так далее, туману напускали... Но идея принялась, теперь ее все расхваливают. Как же! Будем строить новую школу, и притом в сжатые сроки.

Он замолчал, отвернулся, затем опустил раму и высунулся в окно, подставив лицо ветру. До меня донеслись обрывки его слов, что, мол, легко языком трепать, а дело делать — гораздо труднее.

С тех пор всякий раз, встречая его, я спрашивал: «Подрастает дочь-то?»

— Ходит... ножки такие маленькие, не представляю даже, как она на них держится.

Мне часто задавали ехидные вопросы: одни потому, что толком не знали про его затею со школой, другие — уверенные, что директор просто хочет «выставиться перед кем-то с этой школой». Многие вообще считали это глупостью, если не безумием — взвалить себе на плечи такую обузу.

Сумасшедшие тем и выдают себя, что совершают глупости раньше нас... И вот однажды возле старой школы пролегла на земле яркая полоса из толстых красных кирпичей. Появились рабочие и все прочее, засновали машины, забегал инженер, который беспрестанно счищал с доски грязь с башмаков и размахивал руками, будто имел дело с глухонемыми.

Я прибыл двенадцатичасовым поездом. Растолкав старика бухгалтера и какую-то девицу, пробрался к выходу, спрыгнул с подножки и через несколько минут уже был на школьном дворе.

— Директора нету,— доложил мне школьный дед,— с самого утра укатил на велосипеде. Ежели угодно, я вам свой дам, он теперь в порядке — я поставил цепь от мотоцикла, и она уже не соскакивает и не пачкает брюки.

Велосипед я, конечно, взял и поехал, но цепь все равно соскакивала, а потом и вовсе сорвалась, так что пришлось мне таскать дедовский велосипед с собой, пока на складе я не нашел директора.

— Ну ладно, отдай ты мне эти железные бочки,— уговаривал он кладовщика,— все равно ведь без толку лежат, а мы из них для школы резервуар сделаем...

И тот ему в конце концов отдал, но прежде, для порядку, заставил подписать кучу бумаг: на слово директора кладовщик не полагался, но твердо знал, что спросят с него самого. Бочки отдал, а сам про себя диву давался: «Директор (!), а собирает всякий хлам».

Не нарадуясь добытым бочкам, директор потащил меня за собой на поиски какого-нибудь транспорта, на котором можно было бы их увезти. Потом мы возвратились по шоссе в школу и вошли в едва различимый на земле красный прямоугольник. Я попросил его показать мне, где будут классы, окна, двери, парты, доски.

— Вот здесь один класс,— показал он, проводя по воздуху рукой, будто распахивал передо мной двери,— другой там, а вот зал, лаборатория, учительская, мой кабинет,— он осторожно ступил на огороженный с четырех сторон кусочек земли.— Слева повешу радио, по-

стелю индийский ковер, стол надо накрыть стеклом. Справа книжный шкаф, картины... Григореску, Аман[1] и прочие...

Я невольно сжался при мысли, что все это он устраивает ради того, чтобы к нему почаще заходили. Но тут же, представив себе его ребят, играющих на мандолинах — этих длинных и пузатых деревяшках с плаксивыми струнами,—я от души посмеялся. Уехал я, когда прибыл какой-то «газик» и директор пошел встречать сидевшего в машине ответственного товарища: хотел показать все, провести по своим классам, которые существовали пока что только в его воображении.

Прошло какое-то время. Я встречал директора дважды и всякий раз на бегу: в первый раз он мне сказал, что хорошо бы, если бы продержалась погода, а во второй — что собирается покупать парты, занавески и даже люстры.

— Смотри с деньгами поаккуратней,— предупредил его я,— в этих делах ты не смыслишь и нечего тебе связываться.

То же самое советовал ему и его приятель, учитель физики.

Потом мы долго не виделись, я слышал только, что он установил какую-то скульптуру, что покрасил двери в зеленый цвет, что засадил в тюрьму того, кто воровал у него кирпичи, что ссорился со скульпторшей и школьной уборщицей. Во всяком случае дело, видно, двигалось, и мы, его коллеги, не удивились, когда однажды утром в поезде услышали, как старик математик, умевший только брюзжать, но не слушать, кричал: «У нас тоже будут строить школу!» Я же, когда снова пришел на то место, увидел, что над красным зданием школы уже возводили крышу.

— Где директор? — спросил я сторожа, но даже этот многоопытный дед, знавший, пожалуй, все обо всех, не мог сказать, где директор. Я долго его искал, пока наконец не вспомнил, что больше всего он любил сидеть один в лаборатории. Это была комната без окон, заваленная скелетами, географическими картами, шариками для пинг-понга, чертежными досками, электроскопами и прочими адскими машинами.

— Эй,— окликнул я вполголоса и постучал,— эй, открой, это я.— Он быстро отворил мне, запер за мною дверь, показал на ведро с водой, на банки с краской, на кисти и какие-то дощечки и прошептал:

— Сграффито![2]

— Что? — не понял я.

— Сграффито! — повторил он, благоговея.

«Видно, скульпторша совсем голову тебе заморочила»,— хотел было я сказать, но тут вспомнил, что когда-то давно он лепил кукол из глины, а потом обжигал их и раскрашивал соком от малины, ежевики или просто углем.— А это что такое? — спросил я.

Он посмотрел на меня с явным сочувствием:

— Это делается на стене четырьмя цветами — красным, синим, желтым и зеленым,— и показал мне дощечку, на которой в четыре цвета были изображены профиль девушки, голубь и какая-то ветка. Все это производило такое убогое впечатление, что я чуть было не сплюнул, но в последнюю секунду сдержался и правильно сделал, потому что он произнес:

— А теперь посмотри вот сюда...

Черт возьми! Эта работа была хороша, действительно хороша.— Как? Откуда? — только и оставалось мне спросить.

---

[1] Выдающиеся румынские художники XIX века.

[2] Сграффито — способ многоцветной обработки керамических изделий. Применяется и в настенной росписи.

— Скульпторша и брат ее, учитель рисования... Я их затащил мозаику делать, а они говорят: нет, лучше сграффито.

И он опять как завороженный прошептал это слово, такое далекое от того мира, в котором пребывали мы.

На другой день я предложил ему пропустить по рюмочке, но не ради того, чтобы выпить, а просто хотелось посидеть с ним и потолковать. Он захватил с собой какие-то бумаги, и я попросил их показать мне — уж очень дрожали у него от волнения руки. На первом листке было написано, что «в одно прекрасное голубое утро такого-то месяца такого-то года родилась эта школа... отеческими заботами славного директора воздвигнута она для наших детей и для детей детей наших»... и что «родители с вдохновенной радостью помогали возводить школу...» и так далее. На отдельном листке были проставлены имена всех учеников каждого класса и их преподавателей. Меня разбирал смех: таким я его еще не знал — директором-романтиком, так сказать. Я спросил, где он собирается это хранить.

— Под лестницей.

— В чем?

— В бутылке.

— А текст сам сочинил?

— Нет,— ответил он, но соврал: только он и мог придумать эту штуку с бутылкой... как будто речь шла о кораблекрушении.

— Бумага лучше сохранится в бутылке и вообще...— Он поспешно принялся объяснять, рисуя что-то на салфетке толстым карандашом, купленным по примеру скульпторши. Официант обслуживал нас до того быстро и с таким усердием, что я принялся расспрашивать его, кто он и откуда, сколько у него детей и скольких ему еще хотелось бы, а директор в это время водил зубочисткой по скатерти. Глядя на него, я подумал о тех, кто его недолюбливает, о людях, которые, объевшись вишней, набили себе оскомину, а теперь, отплевываясь, волей-неволей плюют на все...

Он встал из-за стола и ушел, а на следующий день мы вместе рвали маки, ромашки и колосья пшеницы близ железнодорожного полотна.

— Что ты хочешь сказать своим «уеду»? — спросил я его, бережно срывая маки.— Когда уедешь? После того, как все закончишь?

Он только улыбнулся в ответ...

Место было потрясающее, сплошь покрытое маками и ромашками, пшеница слегка пожелтела. Стоял тихий и теплый вечер, было слышно, как ползают в траве жуки. Мы нарвали целую охапку цветов и все, что собрали, разделили поровну. Потом молча курили в канаве и смотрели на коров, пока не пробил станционный колокол. Поезд был битком набит, народ теснился в проходе и в тамбурах. Мы повисли на подножке хвостового вагона и так и поехали навстречу ветру, не говоря друг другу ни слова и подолгу не глядя друг на друга, так как от набегавших телеграфных столбов рябило в глазах и в расширявшихся то и дело зрачках вспыхивали огоньки испуга. Только у самого вокзала, на окраине города, он наклонился ко мне и прокричал в ухо:

— Уеду!!

— Куда?!

— В другое место!!

Но он, разумеется, никуда не уехал — мужчины обычно остаются там, где состарились.

АУГУСТИН БУЗУРА

Шумы и блики

Не знаю почему, самые мучительные воспоминания о селе приходят поздно вечером или ночью... Вот и тогда я добрался до места лишь к вечеру. От нашего дома практически ничего не осталось — крышу сорвало яростными ударами бревен, принесенных водой от самых Черных Крестов, стены рухнули, и только битый кирпич, рассеянный по грязному двору, еще напоминал о них. Бурые, заляпанные грязью деревья медленно покачивали сломанными ветвями, в которых застряли клочки бумаги, обрывки веревок и прочий мусор; в живой изгороди у дороги торчали дохлые животные, уже начавшие разлагаться,— от какой-то собаки осталась одна лишь голова, вся пасть была забита илом, а в широко раскрытых, как бы удивленных, недоумевающих глазах отражалось свинцово-серое небо, нависшее, словно кара, над селом. Чуть дальше — два погребенных в иле олененка казались причудливыми творениями воды или каменными изваяниями; рядом — уродливая, деревянная кровать на высоких черных ногах, груда консервных банок, колеса от телеги; похожий на островерхую шапку, незатейливый улей, тоже вымазанный грязью и пометом, зацепился за ветви дуба, растущего у ворот, и немногие уцелевшие пчелы, напрочь сбитые с толку, растерянно роились вокруг него; неподалеку на мелком беловатом песке, усеявшем сад, валялись два семейных портрета — невыразительные свидетельства чьей-то «интимной» жизни: губастый жених с резко выступающими скулами повелительно взирал на свою пухлую невесту, близорукую и разноглазую. Однако кроме нелепо сплетенных рук ничто больше, казалось, не объединяло их, а может, такое впечатление оставлял неестественный, убогий антураж с непременным букетом на столе и лубочным рисунком на домотканом ковре. В нескольких шагах от них в стандартной рамке — фотография голого младенца на одеяле, тщетно пытающегося приподнять головку; чуть дальше — китайский помазок, разбитое зеркало и ночная лампа под присмотром чудом устоявшей на ногах буржуйки.

За те три дня, что я добирался до дому, мне так и не удалось привыкнуть к этой гнетущей картине. Хаос был присущ моей душе, я даже приспособился к нему, хотя до конца так и не принял его. В основном ради красного словца я говорил себе, что время от времени хаос этот должен воплощаться в вещном мире. Теперь же при виде изуродованных деревьев, потока изумрудно-бархатной, лягушачье-зеленой хляби, задушившей улицу, при виде словно окаменелых животных, куриных когтистых лап, несуразно торчащих из-под обломков красного кирпича, при виде искореженных опор дома, оголенных, треснувших балок, а особенно людей — этих странных теней, будто

потерявших смысл существования,— я убеждал себя, что все это плод больного воображения и на самом деле всего этого я не вижу.

Вступившая в берега река рокотала так, словно пугалась вывороченных деревьев, опасно накренившихся над нею; она являла собой сплошное черное месиво и спешила поскорее миновать кошмарный пейзаж, лежавший на ее пути.

Я знал, что давным-давно, когда зимы бывали долгими и морозными и снега стаивали медленно, река не унималась до тех пор, пока не забирала чью-то жизнь. И случалось это чаще всего у Черных Крестов, в дни получки, когда лесорубы спускались в корчму Селевески. То ли лед проваливался под ногами, то ли его взламывали, чтобы предать воде тех, кто был нерасторопен в обращении с ножом. Но никто тому не удивлялся — эту дань люди безропотно платили, уповая на то, что взамен по весне река не слишком выйдет из берегов. Теперь же мне было боязно смотреть на людей: хотелось их утешить, но любое слово казалось неуместным, ненужным, сначала надо было привыкнуть к мысли, что все вокруг реально и что я нахожусь там, куда три последних дня так стремился.

Мать я нашел сидящей на какой-то колоде. Совсем седая, невыразимо усталая, она безучастно ополаскивала кастрюльку в мутной воде, заполнявшей лунку в иле. Занятие это явно не интересовало ее, руки двигались механически, а взгляд растерянно блуждал по полям и бескрайней водной глади. Позади — наскоро сооруженная печка: два больших камня, наверно от фундамента дома, и большой железный котел, в котором раньше кипятили белье. Отец, с забинтованной ногой, в закатанных выше колен штанах, тыкал в грязь заостренной палкой в полной уверенности — как я позже узнал,— что там трупы; я сам видел, как тела двух ребят, принесенные водой, прибило к ограде. Заметив меня, он не сдвинулся с места, ни о чем не спросил и даже не выразил удивления, что видит меня, потом вдруг как-то беспомощно и неловко втянул голову в плечи с простодушным видом напроказившего мальчишки, запалил цигарку и, видно коря себя за передышку, вызванную моим появлением, вновь остервенело принялся ковырять палкой в грязи. «Совсем плох стал,— сказала мать, всплакнув,— который день только этим и занят, даже не притронулся к хлебу, что солдаты оставили. Как унять его, не знаю, повозится вот так еще малость, а после сон его одолеет». Старик, оказалось, спас нескольких ребят, потом погнал в горы скотину, и нашли его там в тот момент, когда он раздаивал коров — от страха они перестали доиться. Он поранил ногу ржавым гвоздем, потерял много крови, но сам и словом не обмолвился об этом — не до своей боли было, а может, и вовсе ее не заметил, и если бы не внимательный глаз одного военного врача, старику пришлось бы совсем худо. Он осунулся, а перепачканная грязью и кровью одежда, седая, отросшая борода, глубокие морщины делали его еще больше похожим на нашего деда: в нем проступала та же мудрость и одержимость; глаза, воспаленные и горящие, выдавая огромное внутреннее напряжение, блуждали не по небу в ожидании какого-то одному ему ведомого знака или приближающегося чуда, а по морю ила, в поисках сокрытых в нем жизней или, может, собственной жизни, низведенной до абсурда с приходом воды. «Скоро спать отправится»,— уверяла мать, видя, что меня приковали к себе движения старика, становившиеся все более вялыми. Так оно вскоре и случилось — он с безразличным видом прошел мимо нас и, отказавшись от еды, свалился на постель, устроенную на досках возле печи. Мы с матерью сели у изголовья; старик тут же впал в тяжелое забытье и, тревожимый чем-то, то и дело вскрикивал и что-то невнятно бормотал во сне, пытался подняться; руки его — большие, узловатые — отчаянно искали какой-

то воображаемый предмет, за который можно было бы ухватиться, и тогда лицо его искажалось какой-то гримасой потуги, а потом он вдруг в изнеможении затихал, испуганно открывал глаза, словно для того, чтобы убедиться, что он не один, и затем вновь впадал в глубокий сон. Воспользовавшись этим, мать запричитала. Любопытно, однако, что то ли от усталости, то ли по мудрости, которой я в ней не подозревал, она сравнительно спокойно восприняла потерю дома, поставленного с таким трудом, гораздо большим трудом, чем прежние два. Она принимала это как божью кару — правда, чересчур суровую по сравнению с их прегрешениями,— ниспосланную в тот час, когда они уже не могли защищаться и когда уже не было ни сил, ни времени, чтобы начать все сначала. «Жизни нашей, чего там говорить, пришел конец,— произнесла она смиренно,— чай, были не хуже других, а вот заплатили сторицей. За что так? Ну, да о делах божьих не нам судить. Так, видать, на роду написано. Только бы костлявая за нами поскорей пожаловала да избавила бы от мук». Потом, не зная, что еще сказать, а может смущенная моим долгим, неловким молчанием, моей неспособностью найти нужное, пусть самое нехитрое слово, мать живо поднялась, взяла топор и протянула мне: «Расколи-ка ты, бога ради, эту кровать и брось в огонь. Нашу-то, поди, тоже кто-нибудь сейчас палит!» Я машинально встал и нехотя, с непонятной жалостью, ища глазами поблизости какой-нибудь другой предмет, более увечный, подошел к кровати, подгоняемый материнским взглядом, не допускавшим ни ослушания, ни колебаний. Но едва руки мои коснулись топорища, в глазах у меня потемнело, и с внезапным ожесточением и силой я принялся бить вслепую, наобум, попадая больше по земле, по зловонному илу, чем по кровати. Я бил, с каждым ударом освобождаясь от усталости и животной ярости, покуда ко мне не пробился голос матери: «Брось это все в огонь и ступай ищи себе место в хибаре!»

Внезапно тишина и мир оборвались; протяжно, надсадно зазвонили колокола, они звонили по незабвенным, которых поглотила земля, и звон этот безнадежно пытался одолеть тяжелые, черные тучи, застывшие над селом. Вода не пощадила даже кладбища — повырывала кресты, вскрыла могилы, вся паперть была усеяна костями и тряпьем; темные подвижные тени старушек отпугивали изголодавшихся собак и кошек; недалеко от церкви, возле камней, на которых перед пасхой обычно святили куличи, в муках подыхала сивая корова — у нее, видно, был сломан хребет; перед церковью, стоя среди каменных обломков, какой-то молодой мужчина, одетый в белое, беспрестанно выкликал свою жену и детей, и никому не удавалось его оттуда увести; имена мертвых постепенно перерастали в какой-то дикий, нечеловеческий клекот, теснившийся в гортани, но он все звал и звал, а потом, приставив ладони к ушам, сосредоточенно вслушивался.

Колокола не унимались, и их гул, в иное время успокоительный, предвещающий отдохновение, сейчас порождал мучительное чувство ожидания. Что будет дальше? Прислонившись к курятнику и не в силах говорить, загадывать, я попытался очистить туфли от налипшей слоями жирной грязи. Во мне словно что-то застыло, огрубело, и я уже ничего больше не ощущал, кроме неукротимого желания напиться до одури, до беспамятства. Постепенно колокольный звон и зрелище мертвых, разбухших от воды деревьев отрезали меня от остального мира, воздвигли вокруг плотное кольцо тишины, и в этом разряженном, безжизненном пространстве я вдруг обнаружил, что возникшее желание выпить обманчиво и что за ним просто-напросто кроется страх. Меня не покидало чувство, будто я больше не живу, будто все, что вижу и ощущаю, весь этот диковинный, нереальный мир, существует за порогом смерти, прежняя логика исчезла, изменились цвета,

воздух, время текло теперь по другим законам, и единственное слово, которым я пытался обозначить то, что чувствовал, было слово *иначе* — все было иным, даже луна, появившаяся вдруг в ореоле плотной фиолетовой дымки, казалась невероятно большой. Что-то побуждало меня подняться, бежать, и чем больше я противился этому, тем больше иссякали мои силы; вдруг меня словно приподняли, толкнули вперед, и я побрел, убежденный, что скоро, потеряв дорогу, увязну в грязи, черная жижа поглотит меня и в этом мертвом мире никто не придет мне на помощь.

Испуганно озираясь, я искал какую-нибудь светлую точку, старался уловить хотя бы слово, шепот, любой признак жизни, которую еще недавно знал. К моему изумлению, многие бодрствовали; одни замерли у своих бывших жилищ, глядя на небо или на улицу, напряженно вслушиваясь в клокотание реки, в ее стон, точно стон агонизирующего животного, другие же, верно обезумев, отрешенно слонялись по двору, держа в руках свечки или самодельные фонари. Страх заставлял меня здороваться с ними, но на мои приветы никто не отзывался, я бессмысленно бродил среди теней, ноги переставали слушаться, с каждым движением все больше слабели, и меня относило в сторону. После неудачных попыток добиться слова или ответного приветствия я остановился посреди улицы. Во рту пересохло, от нестерпимого зловония трещала голова — я должен был зайти наугад в первый попавший двор и попросить воды.

На протяжении сотен километров, весь путь от института до отчего дома, меня поражало неожиданное спокойствие людей — мудрость или, может, болезненная апатия? — и с каждым новым словом, образом, новой картиной меня донимал единственный вопрос: «Что происходит?», но попытки пробить стену, отделявшую меня от этого мира, самому мне казались нелепыми. Было досадно, что не хватало сил рассердиться и выругаться: охваченный паникой, я двигался с оглядкой, улавливая *шумы и блики*, ожидая ответов от одиноко торчавших воротных столбов, выдержавших натиск воды. Жара еще больше затрудняла мои движения, а яркий и тревожный свет луны окрашивал дорогу в грязно-зеленый цвет и увеличивал расстояние до ближайших домов, все сильнее убеждая меня, что пребываю я в нереальном мире, во сне.

Первые три дома или, вернее их развалины, были безлюдными. Я несколько раз крикнул: «Есть здесь кто-нибудь?» Но после долгих минут напряженного ожидания, во время которого лишь лай собак придавал уверенность, что это не сон, пришлось уйти и вновь настойчиво продолжать поиски. В какой-то момент я спросил себя: «А что, если вдруг у себя за спиной я обнаружу двух бородатых человечков с горящим взором, они зловеще усмехнутся и, подхваченный ветром, вместе с ними я кану в эту столь близкую и необъятную черную муть? Что, если на дороге мне попадется навстречу хромая собака и спросит: «Ну что, чудак, боишься? Не говори никому, что встретил меня». Эти леденящие душу видения заставляли меня напряженно вглядываться в каждую тень, каждый камень, каждую выбоину. «А почему, собственно, это не может произойти на самом деле? Пока все эти образы сидят во мне, терзают меня, совсем неважно, существую я или нет»,— думал я и утешения ради старался представить себе, что, вполне возможно, мне и впрямь встретится *собака*, жалкая, бездомная собака, и уж тогда придется держать себя в руках, даже если она будет преследовать меня до самой школы, которую я никак не мог отыскать, но которая находилась, как мне казалось, где-то поблизости, всего в нескольких шагах. И вдруг... В кабинах тяжелых грузовиков, в кузовах вездехо-

дов, на разостланном брезенте я заметил спящих солдат, и при виде этой мирной картины, на которую я неожиданно набрел по пути из далекого, неведомого края, из груди у меня вырвался вздох облегчения. «...Но еще все может случиться,— продолжал я себя убеждать,— ты пока еще в опасности... обычно появляется внезапно...» Я избегал сказать, «кто» появляется, и ни за что на свете не произнес бы слово «собака», боясь ее тем самым окликнуть.

Люди, как призраки, искаженные тусклым светом керосиновой лампы, заполняли коридор; на скамьях вдоль стены женщины с детьми на руках, старики, прижимаясь друг к другу — холодные, далекие, безликие тени,— покорно ждали приговора, который все никак не выносили. Я освободился наконец от страха, и меня искушало желание поговорить, спросить что-нибудь, что угодно — просто ради того, чтобы услышать слова,— но, даже напрягая память, я не мог вспомнить ни единого имени.

В большом зале, на столах, в окружении свечей, я увидел мертвых: испуганные, перекошенные лица, вылезшие из орбит глаза, малые, словно уснувшие, дети, старухи, которым никто не удосужился обобрать листья с волос,— все они были прикрыты одним куском брезента, чуть повыше пояса. Трагически раскрытые рты, глянцевитые, остекленевшие глаза, в которых подрагивало пламя свечей, их остановленное смертью напряжение неодолимо притягивали меня, исподволь, но настойчиво настраивали на непонятную волну, подавляя всякое сопротивление, побуждая броситься к этим холодным телам на столе и заплакать. Я пробовал отводить взгляд, рассматривать копоть на потолке, но тщетно: протест всего моего существа, подсознания, подавляемые до сих пор страхи, назойливые мысли, вопросы, оставшиеся без ответа или еще не произнесенные,— все это слилось воедино и толкало вперед, сквозь толпу безразлично смотревших на меня людей, а застывшие, искаженные лица мертвых уводили все дальше в иной мир, заставляли думать, что им ведомо нечто, стоящее по ту сторону боли и страха. В свою очередь, мне хотелось уверять всех вокруг, что жизнь не может закончиться именно так и именно здесь, что испуг на моем лице — ложный, но их молчание выхолащивало мои слова. Зачем говорить то, что им известно давно? Да и потом мои потухшие, блеклые слова все равно не смогли бы пробиться в мир, в который ушли они. Рядом со мной какая-то женщина с растрепанными волосами отрешенно терла платком распухшее, посиневшее лицо младенца, с губами, сжатыми в маленький, неровно очерченный, сизоватый кружок. Позади стола, словно не замечая беспокойного, трепетного огонька свечи, какая-то старуха без конца чиркала спичками. Но ее слабой, высохшей руке никак не удавалось дотянуться до огарка, и ее механические, редкие, как бы заученные движения помогали мне понять всю бесполезность привычных слов, ненужных сейчас, как сопревшие листья, которые сгребают осенью в кучи по обочинам дороги. Тихо, неуверенно, опасаясь, как бы мои шаги не нарушили покоя мертвых и спасительного самозабвения, вознесшего меня над страхами и вопросами, я пробирался к выходу, а вернее, незаметно проскальзывал меж людьми, пока не очутился у какой-то скамьи; именно проскальзывал, ибо никто не препятствовал мне, казалось, душа отделилась от тела, а мысль воспарила над теми, кто в оцепенении охранял безмолвие мертвых. Я был легок, как в те немногие летние ночи, когда, растянувшись на траве, во власти тьмы сливался с ровным, едва заметным дыханием земли и, омытый обильной росой, в забытьи, плыл по воздуху вместе с прозрачными теплыми парами, что поднимались с зарею над рекой, или же не отрываясь смотрел на далекие подрагивающие звезды, охва-

ченный непонятной грустью, будто я явился оттуда, из этих загадочных и холодных миров, чей свет оживлял во мне следы смутных воспоминаний, обрывков мыслей, разного рода «мне кажется, что я когда-то видел», «да, как будто... вероятно...». В бездонной ночной тишине, охранявшей мою полудремоту, я печально следил, как метеоры стремительно пронизывают небосвод на своем безвозвратном пути, пути к своей безвестной гибели где-то там, высоко-высоко в равнодушном, циничном небе... Но уже через мгновение я понял, что это ощущение легкости эфемерно — стоило лишь коснуться затылком холодной, влажной стены, как давящее чувство тут же вернулось.

Копоть от свечей и ламп, укрепленных на стене, оставляла на потолке причудливые подтеки, грязноватые струи дыма, словно тучи по низкому, сузившемуся небу, неторопливо тянулись к окнам и там, охваченные неожиданным беспокойством, поспешно принимали облик распростертых на столе...

«Мужчин просят освободить места в зале, нашлись дети!» — вдруг выкрикнул какой-то человек, и его голос, похожий на удары крыльев большой сказочной птицы, прогнал тучи, вернул меня к людям. Появились солдаты, с ликующим видом держа чумазых, перепуганных ребятишек, и после минутной напряженной тишины, сопровождаемой недоверчивыми, косыми взглядами на дверь, все вдруг пришло в движение: слезы и смех вперемежку с именами, с обрывками фраз покрыли гул тяжелых моторов, доносившийся со двора; совсем явственно я теперь различал вздохи спасенных, лежавших в вестибюле,— они напомнили мне об отце, с которым мы простились, казалось, много лет назад. «А вдруг за это время?..».

Выбравшись на улицу, я вынужден был умерить шаг: камни были покрыты грязью и ноги скользили, а отяжелевшие башмаки не желали отрываться от глинистой, вязкой слякоти, в которую я угодил. Воздух, взбудораженный большой водой, одуряющим смрадом испражнений и мертвечины, ошеломил меня; я утратил ощущение времени и расстояния, тревожная, плотная ночь, навстречу которой я шагнул, поглотила меня как морская пучина; я чувствовал, как она сдавливает меня со всех сторон, словно высокие движущиеся стены, на которых постепенно все отчетливее проступают предостерегающие очертания лиц тех, кто остался там, в школе, под брезентом. Время от времени приходилось останавливаться и слушать: меня не покидало чувство, что за моей спиной находится разгадка; нет, там не грязь, опадавшая с башмаков, а нечто другое, может, какой обезумевший человек, подгоняемый кошмаром или дурными мыслями, или скорее всего *собака,* что караулила меня на дороге, зная, что я не задержусь в школе до утра; в любом случае это было то, что разум отказывался принять. В общем-то я давно ожидал подобной встречи — столько времени меня преследовала мысль о ней, что не произойти она не могла; теперь же мне хотелось во что бы то ни стало избежать ее, однако настал момент, когда я, изнуренный усталостью и напряжением, не в силах был сопротивляться и покорно сказал себе: «Ладно... там я хоть воды немного попью...». Пути назад не было, но я решил сначала пройти дворами, поискать живую душу, хотя меня не покидала мысль, что как раз у самых ворот, в конце улицы, собака набросится на меня. Я почти бегом миновал первые ворота, уговаривая себя быть осторожней и внимательнее слушать, весь обратясь в слух, но вокруг не раздавалось ни звука, доносилось лишь гудение моторов у школы, а чуть поодаль на взгорье — глухой собачий лай, который почему-то немного успокоил меня. «Не может же моя собака быть настолько хитрой, чтобы не залаять в ответ, а если может, то напрасно ее остерегаться — спасенья нет».

Я двинулся вперед, огибая улицы, обходя руины, преодолевая завалившиеся заборы и то и дело выкрикивая: «Есть здесь кто-нибудь? Отзовитесь!» Время текло медленно, лениво, может быть, из-за ощущения, что я кружу по одному и тому же месту и никак не могу из него выбраться; картина вокруг оставалась неизменной: поваленные в грязь плетни, продавленные крыши, какие-то диковинные деревья, изогнутые так, словно им хотелось вырваться из земли и убежать, множество металлического хлама — тазы, кастрюли и миски, выстроенные стопами, которые я нечаянно опрокидывал. Однако их грохот не пугал, а подбадривал меня, вселяя уверенность, что кто-то здесь был и, возможно, еще есть. И вот, когда я уже совсем отчаялся, послышался тихий голос, почти шепот, потом имя: «Штефан!» В мозгу пронеслось: «Собака!» Я почувствовал, как силы покидают меня, медленно, капля за каплей выливаясь в грязь; я увидел луну, спокойную, ужасно близкую, окутанную фиолетовой дымкой. «Сюда»,— послышалось снова, и тогда я понял, что это не зверь,— зверь не стал бы меня предупреждать. В нескольких шагах от меня, впереди, возле хилого костерка, освещавшего вход в палатку, я увидел высокую, тонкую тень и скороговоркой произнес: «Воды, воды» — и, плохо соображая, двинулся дальше, убежденный, что не существует ни высокой женщины с всклокоченными волосами, глазами, полными слез, ни костра, хотя, по мере того как я приближался, крепло ощущение, что я ее хорошо знаю, вот только имени не помню. Чтобы убедиться, я протянул руку, и она, обогнув костер, вышла мне навстречу и помогла перешагнуть через бревно, у которого я остановился. Руки у нее были невероятно холодные, и если бы я не услышал знакомого, привычного голоса: «Откуда ты взялся?» — а потом своего имени, произнесенного шепотом на ухо несколько раз с какой-то непонятной радостью, как будто она давно меня поджидала, то подумал бы, что вижу сон. Я не ответил даже на ее вопрос — впрочем, она и не ждала этого,— а только крепко, как сумасшедший, обнял ее, словно хотел собрать самого себя воедино, найти равновесие, точку опоры. Она не сопротивлялась, прильнула ко мне, вся дрожа, и дыхание у нее, вместо того чтобы уняться, участилось, прерываясь лишь глубокими вздохами.

Я попытался высвободиться и хотя бы рассмотреть ее и тотчас же ощутил, как ее холодный лоб прижался к моим губам, а пальцы, словно когти, впились в затылок, лихорадочно ероша мои волосы. Но и тогда мне еще казалось, что все это нереально, что я просто увяз в грязи, и тут я опять вспомнил об отце, о кошмарах, тревоживших его во сне, и, стараясь приглушить свою боль и горечь, пожалел, что оставил его одного. После робкой попытки повиснуть у меня на шее женщина стала плавно сползать вниз, но тело ее не достигло земли — овладев собой, она неожиданно быстро выпрямилась, потом спокойно посмотрела на меня и, повернувшись, исчезла в палатке; через секунду она появилась вновь с бутылкой воды. Я молча вырвал бутылку у нее из рук и стал жадно пить тупо, ничего не соображая, и струйки воды, катившиеся по шее и груди, постепенно возвращали меня в этот мир. Теперь я видел ее совершенно отчетливо: высокая, стройная, в черном просторном пальто, стянутом в талии широким поясом с позолоченной пряжкой. Большие, темные глаза, крепкие, сочные губы, застывшие в смущенной улыбке,— что-то среднее между печалью и изумлением,— копна черных волос, выбившихся из-под косынки, завязанной у подбородка, напомнили мне кого-то, но кого, к своему стыду, я не знал и даже не в силах был дать ей понять хотя бы словом, что я не забыл ее и помню обо всем, что связывает нас. Я протянул ей бутылку, пробормотав какие-то жалкие слова благодарности, а

она не шелохнувшись продолжала смотреть на меня и казалась невероятно далекой, а путь до нее — неодолимым.

Понимая, что я не тот, кого ждали, кого надо было бы с такой легкостью целовать, я замер перед костром, давая ей возможность меня как следует рассмотреть. Она же, так и не взяв обратно бутылку, опять с любопытством взглянула на меня, затем, осушив глаза короткими судорожными движениями, поспешно юркнула в палатку. Я двинулся за ней. Собственно говоря, я сделал это против своей воли, меня бессознательно влекло, толкало в спину *нечто*, принявшее на себя роль женщины, оскорбленной тем, что я не сразу внял такому ясному, недвусмысленному зову, не требовавшему слов и пояснений. «Мне жаль, что я не тот, кого ты ждала»,— попытался я объяснить. Она прилегла на тюфячок, уткнулась лицом в ладони. «Да кого же сейчас можно ждать?» — вскрикнула она сквозь слезы.— «И собаки эти чертовы лают, с ума можно сойти!» Я испуганно посмотрел на нее: она произнесла слово, которого я боялся, и мне уже чудилась ее торжествующая усмешка. «А что, если собака моих кошмаров обернулась женщиной, нарочно, чтобы завлечь меня, и через несколько секунд, когда я поглубже войду в палатку, примет свой истинный облик».

Прикованный к месту этой ужасной мыслью, я продолжал недоверчиво, со страхом, при беспокойном свете коптилки, глядеть на нее. Пышные, длинные волосы, выбившиеся из-под косынки, разметались по подушке, свернутой из одежды; полуоткрытые губы и огромные черные глаза выдавали едва сдерживаемый испуг. Пожалуй, мне хотелось, чтобы она закричала — это успокоило бы меня. Не в силах вымолвить ни слова, я опустился, а скорее даже рухнул на колени, уставши от напряжения, затем непроизвольно дотронулся рукой до ее плеча и, увидев, что она вовсе не думает сопротивляться, прилег рядом у ее тюфячка, однако страшная мысль о неотвратимом превращении никак не выходила у меня из головы. Но теперь мне было уже все равно. Хотя я понимал, что поступаю скверно, сдержать себя я не мог — ее большие глаза, в которых сквозил вызов, руководили моими движениями, и отступать было немыслимо...

Очнувшись, я не мог понять, где нахожусь: все вокруг было незнакомым, вот только не исчезла еще из души непонятная, светлая радость, почти ликование. Я не смел пошевелиться, боясь, как бы не пропало это странное, неожиданное ощущение, вызванное, быть может, спокойным, долгим сном, из которого запомнилось только, как я легко бежал по какому-то незнакомому городу, утопавшему в буйной зелени, изрезанному бесчисленными каналами прозрачной воды. Это был город с мечетями и храмами, невероятно высокими башнями, служившими некогда опорой другому городу, располагавшемуся над этим. Я еще хранил в себе тоску по этой ласкающей глаз зелени, широким, светлым и прямым улицам, терявшимся вдали, по домам с опущенными жалюзи и высокими воротами, рассчитанными, наверно, на людей иного роста, чем я; ворота походили друг на друга и сработаны были без всякого воображения, а столбы у них были испещрены множеством непонятных знаков — иероглифами вперемежку с мелкими рисунками, изображавшими вымерших животных. Но меня рисунки не интересовали, как, впрочем, и весь этот необитаемый, подвесной город,— я находился там только потому, что искал ее... Идти было все труднее и труднее, не хватало воздуха, но мне казалось, что она поблизости и нужно только собраться с силами и обернуться. Как заведенный я в недоумении повторял: «Кому нужен этот странный город без воздуха, где люди не могут друг друга найти, увидеть?»

Мысли, умноженные во сто крат каким-то неизвестным устройством, разносились во все стороны и звучали язвительно, но никто меня за них не наказывал, не лишал последнего воздуха, и лишь тоска по женщине, лик которой начал забываться, стала явственней...

Я осторожно пошарил по сторонам, никого не обнаружил и, встревоженный, открыл глаза — вокруг была непроглядная ночь, я вскочил на ноги и в долю секунды увидел все вновь: мой приход, буйство, потом медленное низвержение в сон под присмотром ее огромных глаз. Не отдавая себе отчета, я вскрикнул: «Где ты?» — мне никто не ответил, и я снова позвал, но слух мой, напрягшийся до предела, не уловил ни единого шума, ни малейшего движения. Я вылез наружу, луна скрылась, а густая, кромешная тьма сровняла все на свете: невозможно было представить себе, где я нахожусь, но уже через минуту, оправившись от растерянности, спросил себя: «Остался ли я прежним?» — и, быстро пробежав пальцами по лицу, туловищу и ногам, я в этом не убедился. Я крикнул еще несколько раз: «Где ты?»— и, словно избавившись от кошмара, двинулся вперед в надежде встретить кого-нибудь, кто помог бы мне понять, изменился ли я или нет, я это или не я и существую ли я вообще.

Путь обратно к дому, тягостный, бесконечный, я проделал почти бегом, преследуемый прежней мыслью, что бегу слишком легко. Мать не спала. Я пристроился на бревнах возле очага. «Ох дом ты наш, дом,— произнесла она как ни в чем не бывало, так, будто я ни на минуту не отлучался,— дом ты наш...» Я не сразу ответил, я ходил взад-вперед перед ней мелкими, частыми шагами, делая вид, что опечален, а сам в душе ждал, что она придет в изумление оттого, что я не такой, как прежде. Потом, вспомнив, что она плохо видит и что свет почти погасшего огня не достигает до меня, я присел на корточки перед ней и неуверенно, неловко провел рукой по ее седым волосам, шершавому, высохшему лицу. «Не беспокойся,— сказал я, поймав ее взгляд,— раз уж мы остались в живых, как-нибудь поднимем и дом...» «Дом, дом,— повторяла она монотонно.— Если бы я хоть старика в больницу могла отвезти... Знал бы ты, сколько он с этим домом намаялся... А теперь вот... одинокие... без крова... старик со старухой...» — «Посмотри на меня,— попросил я ее,— все будет, как прежде...» Но заверения мои почти не помогали. «Спи,— прошептала она сквозь слезы,— завтра ехать. Здесь тебе делать нечего... Даже поесть тебе не сготовила... Ох-хо-хо, дом-то наш...»

Я присел рядом с ней на бревно, откинулся к стене и, уставившись в низкое, враждебное небо, оттоняя сомнения, стал ждать рассвета.

Перевод С. КОСЕНКО

ВАСИЛЕ РЕБРЯНУ

«Ягуар»

1

Кругом было расточительное обилие притомленных, оплывающих красок. Деревья, еще вчера пылавшие охапками листьев, поблекли. Пастбища будто выстланы шкурами рыжих лис и сероватых волков.

Покрытый пылью «ягуар» казался старым, белесым.

Выехав на пустынное горное шоссе и чувствуя, как на них наваливается усталость, они стали молчаливыми. Это было похоже на изнурительную усталость пловцов, на обмяклость вынутого из огня металла. Тут для А. края были чужими, и страх, стерегущий повсюду зверь, отпустил ее. Ей было страшно, пока они не тронулись в путь. Потом езда захватила, опьянила. Боялась она — как бы ее не увидели знакомые. Когда они очутились в горах, девушка услышала тихий, неумолкающий, похожий на треньканье колокольцев, звук. Оказалось, позванивала куколка Марушка, прикрепленная к заднему стеклу машины. Ее она заметила только сейчас. Очутившись в неведомом горном крае с длинными прохладными тенями, девушка, наконец, поборола страх. Здесь ее никто не знал, здесь ее никто не мог увидеть.

Дорога поднималась в горы. Машина шла на малой скорости. Справа от шоссе их ждала Богородица, и А. въявь увидела ожидание в каменных глазницах. Мужчина и девушка отдалялись, а Богородица глядела им вслед. Глядела долго, с тоской, зная, что они никогда больше не встретятся, что они расстаются навсегда. «Ягуар» не замедлял хода, не останавливался, а Богородица все еще виднелась и словно улетала в небо, раскинув каменные руки. Глаза Богородицы, утопая в слезах, будто предостерегали их. Или, может, это только померещилось А.

— Смотри, смотри, вон стадо коров! — воскликнула девушка.

— Где? Я ничего не вижу...

— Они бодаются!

— Не вижу.

— Бегут, толкаются! Высоко-высоко! Над нами!

— Где?

— В небе.

— А, ты про облака...— И оба рассмеялись.

— Мне нравится горное шоссе,— сказала А. дрожащим голосом, и в нем почему-то прозвучала тоска.— И эти статуи у дороги. Я давно мечтала мчаться по бесконечному шоссе на автомобиле, среди осенних гор и изваяний каких-нибудь великих мужей.

— С кинорежиссером?

— Да, с таким, как вы.

— Опять?
— Как ты. А тебе они нравятся?
— Что?
— Скульптуры.
— Я их не вижу.
— А ты посмотри.
— А, да. Конечно.
— Они нами любуются.
— В их взглядах — нечто кровосмесительное,— лениво обронил режиссер.
— Забавно, что и ты это заметил. Хочешь — убавь скорость, и все станет по-другому, мы будем смотреть на них, как генералы на параде... Гляди, гляди, как они поворачивают головы нам вслед!.. Ладно, прибавь скорость. Они мне надоели. Я передумала, и видишь, они послушно исчезли.
— А ты хотела бы позировать какому-нибудь великому скульптору?
— Нет. Не хочу быть вылепленной, не хочу быть придуманной никем... Никем другим... Я и так — говорящее изваяние того, кто меня выдумал, я здесь, я с ним. Люблю уникальные вещи, несерийные. Поэтому меня вторично никто не создаст.
Девушка начала тихонько напевать. Солнце окутало ее всю, и она казалась ему другой, чужой, незнакомой.
— Ты пой...
— Меня коснулись лучи солнца...— ответила А. и продолжала петь.
«Ягуар» несся по шоссе, изрезанному длинными тенями деревьев.

2

— Статуи Мемнона пели, когда их касались солнечные лучи,— сказал режиссер, но А. не слышала.
«Ягуар» въехал в конус тени. Вокруг высились крутые черные горы. Девушка молчала. Режиссер нажал на клаксон. Вдали послышался гром. Тучи сгустились. Хлопанье стремительных крыльев, тонкое птичье чириканье, высокий вспорх жаворонка, жалобный стон и протяжный угрюмый гуд леса раздались, казалось, совсем близко. Стемнело. И внутри машины стало сумрачно. Гром, перекатываясь, пронесся над горами. Ветер продирался меж деревьев, гнул их, ломал ветки. Разразилась яростная буря. Проливной дождь зачастил над лесом. Зазвенели потоки падающей воды. Он снова нажал на клаксон. А девушка вдруг сказала:
— Я хочу пить... Почему нет дисков с шумом бури и мало записей птичьих трелей и голосов, а?
«Ягуар» затормозил и остановился.
— И он хочет пить. Я знаю здесь один источник,— сказал режиссер.
Оба вышли из машины и устало поглядели на горы. А. в коротеньком платье, которое она, казалось, взяла у младшей сестренки, потрясла руками и, чтобы размять онемелые ноги, прошлась вдоль шоссе. Потом пытливо взглянула на человека, склонившегося над капотом машины, на его широкие плечи.
Они поднялись по склону горы, и перед ними открылось плато, обрамленное с трех сторон лесом, похожее на полуостров или на взлетную полосу.
— Там бьет родник, а возле него — каменные надгробья старых королей, а теперь это водопойные колоды для скота.

— Я пойду без тебя,— сказала девушка, выхватила у него ведро и побежала к источнику.

И крикнула издали:

— Жди меня!

Мужчина остался один, глядя, как она бежит к далекому роднику, как уменьшается ее фигурка.

Вернувшись на обочину шоссе, он попробовал, как тогда, вырвать девушку из тумана, замыслить ее вновь, приблизить к себе. Он и сейчас не понимал, что произошло в амфитеатре, когда он увидел ее впервые при распределении ролей. Тогда пришли сотни школьников и студентов. Кто-то из его коллег крикнул: «Подойдите сюда! Да не вы! А вон та, девушка в красной блузке! Нет, нет! Другая!» И от стены отделилась она и направилась к ним — режиссеру, двум помрежам, оператору и сценаристу. Последний, увидев ее, воскликнул: «Нет, дорогой! Она не подойдет!» И добавил тогда: «Я ее знаю. Она студентка. У нее какой-то дефект глаз или носа. Не помню. Спасибо, девушка!» И та вернулась на свое место. И он ее больше не видел. Фильм они закончили поздней осенью. Его еще долго мучили навязчивые сцены их киноленты, в ушах стоял шум съемочной площадки, перед глазами мелькали эпизоды, массовки. Ночью он долгие часы напролет лежал без сна, заново продумывая отснятый материал, который мог быть подан совсем иначе. Но фильм был смонтирован. Съемочная группа распущена. Лента две недели назад сдана и ждала своей очереди перед выпуском на экран. А он, режиссер, ждал встречи с залом, с кинозрителями, ждал реакции погруженной в полумрак толпы. Уже слышались скептические возгласы. Правда, его близкие и коллеги не досаждали ему, говорили увлеченно, душевно. Это и понятно: они вместе с ним создавали фильм, переживали каждый эпизод, и, конечно, их мнение было пристрастным. Он знал: единственный, кого нельзя ввести в заблуждение, обмануть,— зритель. Снова и снова вспоминал он переполненный тогда студентами и школьниками амфитеатр. Первая проба на роль, пластика, ходьба, декламация, комические типажи, амплуа «героев» и «дураков». Он терпеть не мог претендентов на славу, не выносил легковесных мечтателей, жаждущих попасть на большой экран. И вдруг режиссер поймал себя на мысли, что и он стоит на пороге большой киноудачи. И ему опять почудилось, будто после той первой ленты — а он сделал уже два фильма — большой успех где-то рядом, близко. И себе он казался удачливым, молодым. И снова являлась она, отделялась от толпы, шла к нему. Потом возвращалась на свое место. Запомнились ее хрупкие плечи и сосредоточенное лицо, слишком серьезное для ее возраста. И вновь все исчезло. Оставались только ее глаза, зеленые, затуманенные, безотрывно глядящие на него.

— А вот и я!

Он смотрел на нее снизу вверх:

— Долго же ты, однако!

Лицо девушки просветлело, казалось новым, чужим. Незнакомыми были жесты и голос. И он удивленно рассматривал ее.

— Чистая вода, ужас какая холоднющая... Я искупалась в усыпальнице старых королей, что жили на две тысячи лет раньше меня.

3

Они снова мчались по извилистому шоссе. «Ягуар» набирал скорость.

— Расскажи мне про твой фильм.

— Зачем? Тебя все еще манят киномиражи?

— Нет. Я давно отказалась от кино. Я бы солгала, если б сказала, что меня туда не тянуло. Стоило мне захотеть, только захотеть — и я бы сыграла главную роль. Почему ты смеешься? Ты плохо меня знаешь. Я добилась всего в жизни, чего хотела по-настоящему. Сниматься в кино мне не очень хотелось. Это правда.

— Зачем же ты просишь, чтобы я тебе рассказывал про свой фильм?

— Просто так. Расскажи, что хочешь. Только не молчи. Когда ты молчишь, ты думаешь о других женщинах. И меня это злит.

— Ты ревнуешь?

— Да. Честно говоря, я очень ревнива. Ты умолкаешь, и мне кажется, ты уже меня бросил... Мы с тобой похожи на двух акробатов, исполняющих прыжок в воздухе, сальто-мортале без сетки. Стоит одному опустить руку — и второй упадет. Разобьется...

— Понимаю... Вот тебе моя рука. Когда я был последний раз за границей...

— О, как бы я хотела путешествовать! Поехать в Египет, увидеть пирамиды...

— Искупаться в гробницах фараонов.

— И в Италию... Но... Наверно, я никуда не поеду.

— Почему?

— Я не могу тебе сейчас сказать. Не хочу.

— Не хочешь?

— Я мечтаю о другом... Извини... Я тебя прервала, ты начал рассказывать...

— Ничего... Неважно... Просто я не хотел молчать, хотел протянуть тебе руку...

— Ты часто бываешь в загранпоездках?

— Приходится.

— А писатели? У меня не было знакомых писателей, о, мне бы они понравились. Говорят, они интересные люди. Правда, что они полжизни проводят за границей? Весь мир, наверное, объездили...

— Не знаю...

— Спортсмены тоже много разъезжают. Но я их не люблю.

— Почему?

— Так... Расскажи мне лучше про твой фильм. Почему ты опять замолчал?

— Надо тебе сказать, все красивое на экране, что видит зритель, требует большого труда и усилий. Прекрасное невозможно без прозаического...

— Правда ли, что режиссер, как и писатель, всегда выдумывает, творит? Может создать новую планету, мир людей...

Спутник девушки долго молчал. И вдруг сказал:

— Здравствуй, моя планета! Ты меня слышишь? Почему не отвечаешь?

Девушка была подавлена, обессилена каким-то незнакомым ей томлением — выразить его словами она не умела. Ее душили слезы, она чувствовала их вкус, соленый, как у морской воды.

4

Они сидели на открытой террасе, вдвоем, глядя на запыленный «ягуар», на озеро, на лес, на белоснежные вершины гор.

— Возьми, пожалуйста,— сказал режиссер и протянул девушке лист бумаги.

— Что это?

— Ты.

— О, я слишком круглая.

— Похожа?

— Да, на планету.

— Знала бы ты, как трудно управлять планетами. Я создал две. И я — в ответе за обе.

— Я боюсь...

— Чего ты боишься?

— Ничего... Я просто так сказала... Планетами нам суждено быть раз в жизни. Один-единственный... И... Я не знаю, как тебе сказать... Я боюсь, что... сойдя с орбиты, упаду в пропасть.

Зеленые глаза девушки неожиданно расширились.

— Знаешь, я могу нарисовать тебя по памяти. Твой силуэт, фигуру я давно знаю, будто знал еще до знакомства с тобой и даже до твоего рождения.

— Я всегда тебя боялась.

— Поэтому ты была грустной?

— Не знаю.

— Любовь делает нас грустными, любовь печалит... Это крест... Это Голгофа с солнечными терниями... О, я заговорил, как поэт.

— Меня это и пугает. Боюсь я и другого... Боюсь, что я — твоя выдумка.

— Глупости.

— Ты так мало меня знаешь.

— Нет, я знаю тебя отлично.

— Ты увлечен планетой, она сотворена тобой, а не забыл ли ты про живую девушку? Хочешь, я покажу тебе фотографии? Погляди на эту кубышку! — сказала она режиссеру, придвинув к нему стул поближе.— У нее очки с диоптриями. Толстуха с жирными курчавыми волосами... Смешная, уродливая... брр! И никакой фигуры... Девушка решила стать красивой.. А сама не умела даже улыбаться... И людям она была противна... С ужасной кожей... Девушка начала пить дрожжи. И расчесывать волосы жесткой щеткой — девяносто девять раз. Девяносто девять! Учти! А не сто! Каждый божий день. Прошло несколько лет... И волосы ее стали такими, как она хотела. Она перестала носить очки. Похудела. Стала стройной, гибкой. Но лицо у нее было грубое, красное, как у кухарки. И она начала много читать, недосыпала ночами. Лицо ее стало бледное, утонченное, интеллигентное... Заодно она полюбила книги. Было еще одно огорчение: у нее был тридцать шестой размер туфель, а она стала носить тридцать пятый. Коллег восхищали ее большие зеленые с поволокой глаза. И никто не подозревал, что виноваты были туфли. Они были малы и ужасно жали. Оттого взгляд А. был затуманен слезами. Девушку с грубым красным лицом, толстуху, очкарика ты бы и не вздумал рисовать.

— А может, ее и вовсе не было?

— Была. И она, может быть, более реальная, чем я, которая сидит тут рядом с тобой... И которая...

— И которая что?..

— Ничего, просто так...

Оба пристально разглядывали скатерть в крупных черно-белых квадратах.

5

Терраса была полупустая. За столиком позади А. и режиссера сидела молодая мать с ребенком. Мальчуган был рассеянный, апатичный. Он плохо ел, и женщина упорно подносила ложку с супом ему ко рту. В дальнем углу террасы сидели молодые англичане. Перед

гостиницей остановились два лимузина, из них вышла группа китайцев. Они пересекли террасу и вошли в ресторан.

Подул теплый ветер. Режиссер посмотрел на волосы своей спутницы и вдруг заметил, что они выгорели на солнце, и девушка казалась сейчас блондинкой, а ее загорелое лицо каким-то просветленным.

Он подозвал официанта. Тот принес счет. Расплатившись, мужчина взял непочатую бутылку красного вина с собой. Неторопливо сошел по ступенькам террасы вниз и зашагал по лесной тропинке. Девушка шла рядом. Они молчали. Немного погодя она спросила, не вернуться ли им обратно. И мужчина сказал:

— Я не хочу... Вернее, я хочу, чтобы у тебя не было иллюзий на мой счет. Я — обыкновенный человек. И я не желаю, чтобы ты любила меня за мою воображаемую славу.

Девушка молча шла какими-то удлиненными, будто поющими шагами. И ему казалось, что она ступала по клавишам. Потом А. обернулась к мужчине, и ему почудилось, будто клавиши сразу умолкли. Она поглядела на него загадочно, обдав глубоким и спокойным холодом зеленых глаз.

— Мы похожи на героев легенды,— сказала она.

— В легендах герои всегда несчастны.

— Нет.

— Может быть... Я знаю одно: ты — мое второе «я». Ты — самая красивая часть моего существа.

А. вздрогнула и побледнела. Из-за дерева на нее глядели два глаза. Она посмотрела на мужчину и у него за спиной тоже различила два застывших глаза. Они в упор разглядывали ее. И вдруг она услышала мужской смех.

— Я тебе уже говорила, что не хочу быть скульптурой, ничьей. Они — несносные, оцепенелые, с жестокими физиономиями.

— Жестокость, воля, доблесть, мужество... Хотя на лицах победителей, на лице Александра Македонского и Траяна видна легкая меланхолия, а может быть, и угрызения совести...

— О, меланхолия победителей..— повторила она и вскрикнула.

Из листвы за девушкой упорно следили глаза, тысячи зеленых глаз. Она не понимала их, боялась — ее страшил их зеленый свет, холод и равнодушие. Глаза окружали ее, подстерегали. И когда мужчина приблизился к ней, А. почудилось, будто она угадала его мысль и еще — будто среди крон деревьев мелькнул конь. Рожденный из облаков, из тени стволов, из коры, из красного ветра предвечерних сумерек, взмокший, с прилипшими к гриве, к крупу, к ногам листьями, конь летел к ней. И был весь в бликах солнца. Кто-то сорвал с нее одежду. Девушка услышала стук копыт, разбивших бутылку. В ноздри ударил запах вина. Воздух коснулся обнаженного тела, влажный, потом горячий. И было — как в прилив и отлив. Она лежала среди трав, и конь дотронулся, легко, до ее тела, груди. Из-за деревьев глаза выслеживали, стерегли, осуждали. А конь поигрывал легкими копытами. И была сладкая боль.

6

...Перед ними — пропасть. Мост рухнул. И они не могли проехать на ту сторону. Шоссе было пустынное. Вывеска предупреждала: «*Ремонт дороги*». А им ехать как раз по ней. Только сейчас боль всерьез захлестнула ее. Она поняла: все дороги кончаются.

А ей они мнились долгими, бесконечными.

Он и она вышли из машины.

— Я помогу тебе. Только ты потом расколдуй меня и возьми с собой...

Она обернулась мостом, перекинулась над пропастью, будто надела на шоссе обручальное кольцо.

И он проехал по девушке-мосту над пропастью. Ей передалась его дрожь. Она слышала радостное бормотанье, когда он перебрался на ту сторону.

«Ягуар», не останавливаясь, мчался дальше.

Мужчина сидел за рулем. В машине он был один. Один на пустынном шоссе.

И его лицо было чуть меланхоличным.

ФЭНУШ НЯГУ

Колодцы

Доктор, спасибо тебе, что велел вынести меня сюда, уложить в садовую сторожку, опутанную виноградным ползуном. Тут и помру я спокойно.

Гей, гей, гордая ель!.. Уходит Скарлет Кахул. Глянешь на него попристальней — поймешь: пробил его смертный час. Колодцы он рыл, целую жизнь рыл, а под вечер помрет.

Ох, доктор, доктор, круглое лето бился ты со мной, старика подлечить хотел, да не вышло... Из хомута не сошьешь армяка. Святая правда...

Ты досадуешь, а зря. Молод ты, сердоболен, но на гнев скор. Поостынь малость, не мельтешись. В сарае поболе ягнячьих шкурок подвешено, чем старых овчин. Так-то, мил человек. Увидишь, помирать начну, отойди в сторонку, не мешай, может, страшно смерть принимать, пот прошибет, а пот трусливого дурно пахнет, скверней ничего на белом свете нет. Обутку мою, она прочная, из добротной кожи, из чемодана вынь да старику пришлому и отдай... А меня в сапогах схороните.

Гей, гей, мои акации!.. Листья, отяжелелые от изморози, слепят мне глаза. На спине лежать не хочу. Вверху безлюдно, безмолвно. Один туман да облака кучерявятся. Тихо там, пустынно, человек не в небо, в землю уходит, на то он и сотворен.

Спасибо тебе, доктор, что наказал в сад меня отнести. На виноградные плети вон полюбуюсь. Ветром меня обдует. Скользнет он по винограду, лицо мне обласкает... Спелой ежевикой ветер пахнет, страсть нынче ее уродилось, правда, доктор? Обильная осень выдалась, хлебная. А вот арбузов да зайцев нынешний год нет. Арбузы в засуху только хорошо родятся...

Как тебя, доктор, я любил Яну да Лылэ-цыгана, двух только и любил. Когда умерли они, колодцы поминальные я им вырыл. Почитай, сотнях на двух колодезных срубах имя свое я пометил. Ничего другого не оставил я на свете!

Гей, гей, моя ель!.. Истаял горизонт, а луна не сошла еще с неба, не погасла. Застыла полуподковой, повисла над акацией. Небо глубокое, рассветное. «Засох побег лимонный...» — так поется в песне.

Гляжу я, доктор, как паук плетет нити, и вспоминаю про ласточек-летуний, что ныряют в поднебесную мглу, как крючок в дырку чулка. Простая, добрая песенка про них есть...

Гей, гей, хороша жизнь, доктор!.. Видишь вон ту плющиную голую плеть, что свисает со стрехи? Потрогай ее, доктор. Она живучая и мягкая, как веревка, которую с Манилы привозят. Коль воротятся силы, одного захочу — повиснуть на веревке и соскользнуть легко вниз, на дно колодца. И лопата при мне чтоб была. Никому так не дано открывать непочатые родники, как мне. Удел мой на земле — ключи отыскивать, откупоривать их, вода чтоб потекла, как из бочки вино. Остановит у колодца приезжий человек повозку, студеной воды попьет, спасибо скажет. И коней напоит, пускай поостынут, освежатся. И на колеса, на железные обода плеснет — не соскочили бы, не рассохлись.

Степь у нас в Колковану бедная. Знойная. Земля изрезана пересохшими оврагами, меловыми скатами, твердая, как копыто дьявола, а под ней течет вода. Я и Лылэ-цыган однажды наткнулись на него. В земную глубь упрятано оно было, метров на двадцать. Копали мы, копали недели три, как слепцы. Не нашли ничего, ямы засыпали. Чуть погодя я за лопату взялся, опять рыть стал. Осень была. Лылэ глину ведром из ямы таскал, надрывался, бедняга. Рыл я, а сам к земным шорохам прислушивался. В колодезной яме, когда вглубь уходишь, вода лепечет, как тополиная поросль. Я нарыл гору глины, а ничего не слыхать. Лылэ-цыган ругался.

— Докуда рыть будем, дядя Скарлет?

— До пупа земли.

— Давай тогда смастерим себе по удочке, кисточки красненькие на крючок прицепим, вдруг в болоте на квакуш наткнемся — самолучшая лягушачья приманка, кисточки-то.

Я молчал. Рыл дальше. На дне ямы было темно, тепло, будто я забрался в мешок с опарой. Я копал глубже, глубже. Пот стекал с меня ручьями. Я мокрел, как улитка, что выползла из ракушки лист погрызть и ненароком угодила на соляную горку. Попозже, когда и я стал надежду терять, различил вдруг бормотанье воды. Будто горячей волной меня обдало. Я перекрестился и снова взялся за лопату. И въявь услыхал гул воды. Бросил копать. Нутряной густой гул иной раз тончал, сменялся звяканьем. «Песок, подумал я, вода его подмывает, видать, в жиле спад есть». Раздался сильный всплеск, толчок. Гул усилился, заполнил колодезную яму. И было так, будто в реку, верхом на конях, ворвалась ватага воров и вода вот-вот выйдет из берегов. Я кликнул Лылэ. А он сверху:

— Ты совсем спятил, дядя Скарлет. Скорей поверю, что ты до того света добрался. Если там ты, так скажи родителю: плакали его надежды, мать за Ризю Горбуна замуж выскочила, недаром он нам ворованных кур таскал.

Я молча воткнул лопату в землю. Повернул черенком. И в трещине с бульканьем забилась вода, как кровь из-под ножа, когда забиваешь кабана. С одной разницей — кровь теплая. Я прислонился к стенке колодца и глядел на воду как на чудо. Она била тонкой, словно камышинка, дрожащей струйкой. Ростом с меня. В колодезном отверстии висело расплюснутое солнце, и от него на воде мерцала радуга. Я глядел, как водяная струя расцвечивалась у моего лица и опадала. И была она как золотистая птица-щур с длинным клювом и разноцветными перьями, привязанная ниткой за ногу, и будто бы все пыта-

лась взлететь. Потом я сложил ладони ковшиком, подставил под ледяную струю, ополоснул лицо не испитой никем водой и напился. И сейчас ее вкус у меня на языке. Будто муста [1] или отвара из сладкой травы тогда я отведал. И отпустил на волю водяную струйку. Обвязался веревкой, и Лылэ вытащил меня наверх. Вода заполнила колодезное дно, поднявшись на четверть. Лылэ-цыган обалдело глядел на нее.

— Ну и воды, дядя Скарлет! — дивился он.— Видать, родник забил.

Цыган совсем ошалел. Глядел и не верил. Опомнившись, побежал в село. Воротился с ребенком, которому велел, по обычаю нашего края, заглянуть в колодец.

— Что ты там видишь?

— Мальчика.

— В добрый час! Пускай вода будет ясной и незамутненной, как твои глаза.

Я зачерпнул воды, дал ему попить и обмыть лицо. А Лылэ на радостях стал мальчонке небылицы рассказывать:

— Знаешь, в колодце живет голубь. С утренней зорьки до вечера на шелковых качелях качается. Гнездо у него из чистого золота, а сам он — голубиный король. За стол сядет, клюет изюм да сладкие пряники. А зоб и радужное оперенье колодезной водой обмывает. Живет он всегда в колодцах, вырытых Скарлетом Кахулом и Лылэ-цыганом. Ты видишь его там, внизу?

— Я вижу его хохолок.

— Ну и дурак! Это корона из драгоценных камней. Не понимаешь ничего, так лучше молчи.

— Корона?! — удивился ребенок.

— Точно тебе говорю!

— А какие у него яички? — полюбопытствовал мальчик.

— Яички?! — изумился в свою очередь Лылэ-цыган.— Как пасхальные. Крашеные. Я украду одно и отдам тебе, а ты сделай две лодочки из скорлупы и катайся себе в дождь по канавам.

Гей-гей, мои колодцы!.. Возле них любовь завязывается, потому что отыскали мы с Лылэ сердце земли. Маетными ночами бродят парни, у которых и усы толком не пробились, сердце земли ищут, молодки им любовь привораживают. Стерегут его заколдованные кроты. Сто лет стерегут, никого к сердцу земли не подпускают. Шаг человечий зачуют, знак подают, и спящие в земной глуби заколдованные кроты пробуждаются и, злобно сцепившись, кубарем по степи катятся. Кто завидит их, разум теряет, ни жив ни мертв, про все забывает. А кроты сторожевые опять засыпают, валунами каменными оборачиваются. Я сам их видал. Так и повелось у нас из века в век. Сердце земли стареет, усыхает, а потом и вовсе умирает. Есть, говорят, одно, молодое, на краю земли. Кто его отведает — мягкого, белого, горького, как зеленые грецкие орехи,— перед тем на всех тропках любовь зацветет. Мы с Лылэ-цыганом нашли как-то раз сердце земли на дне колодца, людей счастьем оделить надумали. Размельчили то сердце, в ладонях искрошили и в колодезную воду бросили. Кто проедет по нашей степи, зачерпнет воды из колодцев — до самой смерти петь и любить будет.

А вот мне на долю выпало не от любви, а от тоски петь. Любовь — плодоносящий дождь, но не все сады озеленяет. Сперва и меня она утехами одарила, но скоро минула, а ведь я нашел, отведал сердце земли.

---

[1] Муст — виноградное сусло, молодое вино.

Недаром в песне поется:

Валом-валом
половодье
набегает
и уходит...[1]

Так и с моей любовью приключилось. Нагрянула она поздно, промелькнула быстро. Поздно, говорю, за сорок мне было. Осень стояла как сейчас. Подрядились мы с Лылэ колодец рыть в двадцати километрах от Колковану... Я спал в шалаше, рядом с виноградником. Както вечером забрался я туда винограду нарвать. Лылэ-цыгана со мной не было. Разбитый усталостью, он растянулся неподалеку в траве, надвинув шляпу на глаза. Я сорвал и для него четыре грозди, сунул за пазуху и вышел на тропку. С кукурузного поля метнулась ко мне Яна. Верхом на коне. Прямая, она застыла в деревянном седле с веревочными стременами. Губы у нее полиловели, а ресницы дрожали от ярости. На виске, над родинкой величиной с горошину, билась жилка. Запутавшаяся в платке травинка шевелилась, лаская обожженную солнцем шею. Мне приглянулись сразу ее большие, обведенные темными кругами глаза, и я невольно шагнул вперед, чтобы поближе разглядеть их.

— Стой! — крикнула она, и лошадь рванулась на ее голос и стала бить копытами землю.

Это была рыжая тощая кобыла с узким крупом.

— Пугливая она у тебя,— сказал я,— хлещешь ее, видать, между ушей. Потому и боится.

Яна не вымолвила ни слова, откинулась назад, взмахнула плетью и неожиданно стегнула, будто огнем полоснуло меня. Припрятанный за пазухой виноград очернил рубаху.

— Мало украл,— обронила она.— Но я и за это могла бы избить тебя до полусмерти. Кнутом или топорищем. Да не буду я тебя бить, Скарлет Кахул. Люди говорят — отыскал ты сердце земли, а кто его отведал, боли не боится. Нет, бить не стану, а возьму с собой. Тропинку видишь? Ступай по ней вперед.

Привела меня Яна домой. Жила она в низком бревенчатом домишке, притулившемся в ложбине, среди зарослей шиповника и кустов георгин. Во дворе была коновязь, клетка, в которой подремывал заяц, и два старых мелких колодца с обвалившимися краями.

— Ты их вырыл,— сказала Яна.

Вода, наполнявшая колодцы доверху, отливала голубизной. Вокруг разбросаны для просушки копешки полыни, примятой ногами. И в горнице горько пахло полынью. Когда я переступил порог, Яна, баловства ради, не сильно стегнула меня надломленной полынной веткой по лицу. Я засмеялся.

— И ты меня ударь,— велела она.— Э, да ты постарел, видать, Скарлет Кахул, забыл, что парни цветками полыни метят любимых. Хлестнешь меня полынью — стану твоей любимой.

Я торопливо схватил висевший над притолокой пук полыни — по весне у нас полынные листики в бочки с вином подбавляют — и стегнул ее по плечу. Сухие листочки осыпались, окутав ее пылью.

— Дурак! — крикнула Яна.— Девок зеленой полынью стегают.

И она кинула мне в лицо зеленый стебель, который вертела в руках, выскочила во двор и, закрыв за собой дверь, замкнула ее. Я легко мог бы высадить дверь, навалившись плечом, но я подошел к окну. Яна купалась в неглубоком полуобвалившемся колодце. Вода покрывала плечи, и видна была только голова с распущенными волосами —

[1] Перевод К. Ковальджи.

они плавали в колодезной проруби. Ржавое солнце клонилось к западу, а вода, в которой плескалась Яна, голубела, искрилась. Верно, виновата во всем была полынь. Яна хлестала себя пучками полыни, мяла их ногами, а ключевая вода играла колдовскими красками, которые запали мне в душу на всю жизнь. Один я видел ту воду, прожив-ши тогда у Яны три дня.

Поутру Яна просыпалась первой и, уходя в поле, крест-накрест прибивала доски на дверь и на окна, чтобы не потерять меня. И заваливала дверь горой тыкв. Я забыл и про недорытый колодец, и про Лылэ-цыгана, про все на свете забыл. Жил ради одной Яны. Покуда ее не было со мной, я садился возле клетки с зайцем и рассказывал ему про мою любовь к Яне.

— Обернись заколдованным кротом, Яну охраняй,— велел я ему.— Одного меня слушайся. Приведи барсуков из нор, на чужаков натрави, если вздумают они подстеречь мою Яну. Пускай волчицы с приплодом на развилке дорог сгрудятся и разорвут в клочья всякого, кто поглядит на нее, когда она купается в колодце. Я отведал сердце земли, и ты, заяц, и все звери должны мне повиноваться.

Как-то раз пришел Лылэ-цыган, вокруг Яниного дома бродил, меня звал.

— Прогони его, крот,— велел я зайцу, спрятавшись за стеной.

Лылэ ругнулся и ушел. Я стоял в темноте, ждал Яну. Она явилась в час, когда просыпаются ворожеи. Лошадь выступила из мглы. Заяц встретил ее плачем. Яна сбросила платье и окунулась в колодец. Вода выплеснулась из замшелого сруба и стихла. Улеглась. Кобыла испуганно заржала, подняв морду к луне. Во дворе, под дверью, с гулким стуком рассыпались тыквы и покатились вниз. Дверь соскочила с петель. Оконное стекло разбилось вдребезги. Заяц в клетке заплакал, смерть почуял.

В степных колодцах моих сердце земли да песни Яны плавают. Идут к ним люди, водицу черпают, прохладную, живую, не ведая, что мертвые жилы воды одному Скарлету Кахулу подвластны...

Гляди, гляди, доктор, пал предвечерний туман. Замер ветер, не трясет ледяной своей кольчугой. По такой поре у нас в Колковану коней на водопой гонят. Степных скакунов-красавцев. Слышишь, как они взыгрывают у деревянной колоды? Бьют копытами, теснятся, всхрапывают. Молодые породистые кобылы пьют жадно, жеребята — с ленцой. Они скачут, норовят кусаться. Парни кричат, улюлюкают, ругаются, унимая их. «Во дворе, где свадьбу играют, легко лошадей красть, а от колодцев Скарлета Кахула — горячих скакунов уводить»,— шутят они.

Как страшно скрипят колодезные журавли! Кло-кло-кло! — клонятся над выгоном. Оборвалась цепь, и ведра попадали в колодец, стукаясь о каменные стенки.

Гей, гей, Лылэ-дружище, слышишь, как ведра падают в колодец? Пойдешь вытаскивать их железным багром... Глянь, солнце обернулось тыквой, и ты ногой катишь его в долину, Лылэ. Странниками прошли мы с тобой по миру!

Гей, гей, вода живая, вода мертвая, так и остались мы неведомы...

СОРИН ТИТЕЛ

Однажды весенним днем...

Тогда наступили «бабы»[1]. Домника глядела в окошко. Во дворе «бабы» скидывали снежные кожухи, исчезавшие на весеннем припеке, и девочка радовалась, видя, как в озерцах талой воды плавает солнце. Звенела мартовская капель. Холодными утрами, когда она, повязав голову красным платком, бежала в школу, со стрехи падали капли. Весна набирала силу. Девочка, сидя у окна, слушала, как поют крыши.

В доме пахло сыростью, тулупами и горячей цуйкой. Еще не выветрились застоялые запахи уходящей зимы. Сквозь мокрое от капель стекло Домника увидела летящих птиц, и ей почудилось, будто она слышит хлопанье крыльев.

В то погожее утро люди вышли впервые работать на коллективное поле. Домникина мама растопила печку в летней кухне и стала готовить обед. Ночью лил дождь, и отсыревшие дрова шипели, разгораясь. Мама испекла калачей и начала раскладывать их на столе. Домника убежала и спряталась в большой комнате. «Велит, небось, нести калачи отцу в поле, как в старом году»,— догадалась девочка, усаживаясь за ткацкий станок и принимаясь играть челноком. В комнате было холодно, пахло лежалой шерстью и ношеными лаптями.

— Отнесешь отцу свежего хлеба! — послышался голос во дворе.

Домника молчала, затаясь.

— Господи, царица небесная, оглохла ты, что ли? Куда ты запропастилась? — снова крикнула женщина.

Девочка нехотя вылезла из-за ткацкого станка, послышался ее сердитый голосок:

— Иду! — И она появилась на пороге.

Посреди двора, на треногой скамеечке, прислоненной к старой сухой яблоне, стояла корзина с калачами.

— Опять дала здоровенную эту,— заныла девочка.

Мать прошла мимо, будто и не слыхала.

— Дай другую, маленькую,— хныкала Домника.

Из распахнутого окна донесся повелительный материн голос:

— Гляди, отдай отцу табак. Я положила его на дно корзинки. Он забыл его взять утром.

Девочка затянула потуже концы старенького платка, подняла корзину, взяла сверху большой теплый калач и отправилась в поле.

Стояла весенняя распутица. Проселочную дорогу развезло. Но Домнике грязь нипочем. Девочка была обута в большущие резиновые, выше колен, сапоги, над которыми лихо свисало ярко-голубое трико. Байковое платье василькового цвета раздувалось на ветру.

[1] «Бабы» — так называются по народному календарю в Румынии первые десять дней марта.

Девочка бежала вприпрыжку, не разбирая дороги, и лужи будто нарочно так и всплескивались у нее из-под ног радужными фонтанчиками.

Возле дома, где жила ее старая тетка, Домника приостановилась. У забора росла верба, и девочка удивилась, разглядев на ветках пушистые шарики. Вдруг она погрустнела, и даже вербное чудо перестало ее радовать. Домника вспомнила, как старенькая тетка, которой уже нет, отплясывала на крещение у них во дворе, в паре со старухой с другого конца села. И распевала песни.

Деревня осталась позади. Девочка припустила бегом по проселочной дороге. Она так и не съела калач, который держала в руке, и, размахивая им, весело перепрыгивала через лужи с отражавшимся в них весенним небом.

Свое поле девочка узнала по старой раскидистой липе. Летом она ходила с родителями на прополку и спала в тени дерева. На липовой коре двоюродный Домникин брат, школьник, вырезал перочинным ножиком свое имя. Знакомую липу девочка приметила издали, но отца почему-то там не было. И она с удивлением подумала: «А где же тата? Почему я его не вижу?»

Стоя под липой, Домника оглядела раскинувшуюся до горизонта землю — с полей изчезли межи, делянки. У ног девочки расстилалась сплошная зеленая равнина, бескрайняя, как небо. Колыхалась на ветру низкорослая пшеница. Домника запрокинула голову, и ей почудилось, будто на голубом полотне небес качается тень пшеничного поля. «Поле — как небо, только небо не зеленое,— подумала девочка, любуясь волнуемыми ветром зеленями.— Оно убегает так далеко, что, видать, догоняет небо. В моей деревне теперь маленькие поля слились, как реки, в одно большое поле. А когда реки сливаются, бывает море»,— про это рассказывал ей дед Лулэ, сбрасывая снег с крыши.

Девочка не могла оторвать глаз от зеленых просторов, которые где-то далеко-далеко встречались с весенним небом.

И вдруг Домнике захотелось разуться, пойти босиком по полю. Она поставила корзину с калачами на землю, сняла и бросила рядом резиновые сапоги. Перепрыгнула через неглубокий овражек и медленно побрела полем. Пшеница щекотно колола ступни босых ног. Девочка, приплясывая, побежала туда, где пшеничное поле сливалось с небом.

Домника долго бежала напрямик по зеленому полю, пока не вспомнила, что все люди и ее отец работают совсем в другом месте.

«Ничего. Я только добегу до неба. Посмотрю, как поле упрется в небесные ворота, а потом вернусь назад и отнесу калачи тате»,— подумала Домника. И ей почудилось, будто ветром разнесло над полевыми просторами запах свежеиспеченного теплого хлеба. Девочка бежала босиком по влажной волнистой пшенице. И все ждала, когда пшеничная зыбь упрется в небо.

Перевод Л. ДОЛГОШЕВОЙ

■

КИПРИАН ЭКВЕНСИ

Переживи мир

РОМАН

Перевод с английского В. ПЕРЕХВАТОВА

КНИГА II

Числятся среди убитых

Блудный сын всегда возвращается.
Поговорка ибо.

1

Неожиданный отъезд Вик лишь усилил желание Джеймса покинуть Ободонту. Он решил направиться в Ифитену, а оттуда всей семьей — в Энугу. Радиостанция этого города уже начала вещание, кто-то в Ободонте слышал ее передачу. Речь шла о бывших гражданских служащих, оказавшихся в районах недавних военных действий. Их призывали обращаться к властям по поводу работы. В передаче говорилось также об амнистии и о том, что правительство считает первоочередной задачей нации ликвидацию последствий войны.

Похоже, в Биафре могут развернуться широкие восстановительные работы, которыми будут руководить из Энугу. Значит, для того, кто хочет встать на ноги, в этом городе открываются особые возможности. Правда, кое-кто в Ободонте считал, что все это ловушка, своим призывом к гражданским служащим власти хотят, мол, выманить из укрытий таких людей, как Одуго. И скептики советовали Джеймсу сидеть тихо и ждать развития событий.

Чтобы отправиться в Ифитену, нужен бензин. А его можно было достать только в двух местах: в центре по оказанию помощи населению и в армии. Нефтеперерабатывающий завод все еще бездействовал, бензина не хватало, его выдавали только для нужд военных и местной администрации. Из разговоров в деревне Одуго понял: военные ему в бензине не откажут. Надо только сказать, что горючее нужно для исполнения служебных обязанностей.

И вот наступил день, когда Джеймс встал пораньше, чтобы привести машину в порядок. Его уже ждали механики, поднявшиеся еще до восхода солнца,— он заранее договорился с ними. Выкатили спрятанные колеса, и работа закипела.

В дверях дома показался Па Укоха. Он остановился, опираясь на свою палку, и наблюдал за мужчинами.

Окончание. Начало см. в № 7.

— Доброе утро, Па. Как спалось? Как Ада?

— Доброе утро, Джеймс. Слава богу, все в порядке. А ты что, уж не надумал ли уезжать?

— Да вот, собираюсь к семье в Ифитену.

— В Ифитену?! Это не близко. А дороги? Разве по ним уже можно ездить без опаски?

Одуго не успел ответить, как из дома вышла Ада и встала рядом с мужем. Она сгорала от любопытства.

А тем временем вокруг машины стали собираться дети. За забором показались лица соседей. В напряженной послевоенной атмосфере каждая неожиданность привлекала внимание и настораживала.

— Опасности меня не волнуют,— ответил Джеймс.— Убьют так убьют. Рано ли, поздно ли — все там будем.

— Бог милостив. Съездишь и вернешься,— пробурчал старик. Он достал коробочку с нюхательным табаком и повел носом, чтобы удобнее было взять понюшку.

— А ты вернешься? — не удержалась Ада Укоха.— И если вернешься, то когда?

— Как вернусь, так и увидимся.

Ада все не могла взять в толк, что Одуго попал в Ободонту по необходимости. Он не собирался обосновываться здесь навсегда и должен был уехать при первой возможности.

Поставили уже три колеса. Дело это было совсем не хитрое. Машину приподнимали над одной из подпорок, затягивали колесо болтами, а подпорку убирали. Потом переходили к следующей.

— Значит, едешь к своей жене? — вдруг резко прозвучал голос Бенн.— Одуго взглянул на нее с удивлением.

Лицо ее было заспано, волосы неубраны. Весь наряд ее состоял из куска зеленой цветастой ткани, небрежно обернутой вокруг туловища и едва прикрывавшей ее пышную грудь. Красивые плечи были обнажены. Сейчас на вид ей можно было дать лет семнадцать.

— Бенн,— одернула ее Ада,— ступай приведи себя в порядок и не мешай человеку работать. Ты думала, он вечно будет торчать в этом буше? Слава богу, ему есть чем заняться еще кое-где.

Ничего не ответив, Бенн, покачивая бедрами, удалилась на задний двор. Вскоре оттуда послышались сильные удары топора. Она колола дрова, вкладывая в работу всю свою злость...

В деревне кончался ямс. Поговаривали, что люди едят уже семенной ямс — залог будущего урожая. Семье Укохи жилось полегче, чем прочим: Клейтус приносил кое-какие продукты из благотворительного центра, и Бенн готовила вполне сносные завтраки.

Надеюсь, подумал Одуго, девчонка не вбила себе в голову, будто влюблена в меня. Кажется, ее задел мой отъезд. Бедная Бенн! Женщины вроде нее не могут надолго привязать к себе мужчину. Никто не принимает ее всерьез и ничего путного от нее не ждет. То ли она уже позабыла о Капитане, то ли просто приспособилась к новым обстоятельствам и не хочет ворошить старое. Так же легко забудет и обо мне.

— Значит, ты забираешь свои вещи? — услышал он голос Укохи.

— Да. Так лучше. Привычка с войны еще. Никогда не знаешь, что тебя ждет впереди. Поэтому я стараюсь брать с собой все что можно.— Одуго вздохнул и добавил изменившимся голосом: — Я оставлю вам вещи Вик и ее подружек. Может забрать их, если приедет.

— Все будет в целости, не беспокойся,— сказал Па Укоха,— если я умру, их передаст Ада... Ох, эта моя спина! — Он схватился за поясницу и застонал.— Она меня доконает.

Одуго улыбнулся:

— Ты пребудешь с нами вечно, Па Укоха.

Ада прикрикнула на мужа:

— Ну, что ты там болтаешь?

Но в ее голосе звучала тревога.

«Раз, два!..»

Механики приподняли машину и установили четвертое колесо. Потом один из них, подняв капот, поколдовал в моторе.

Пора было прощаться с Укохой.

Они присели вместе и раскололи орех кола.

— Па, спасибо вам за все. И да поможет нам бог. А я должен разыскать свою семью.

— Спасибо тебе, Одуго. Будем молиться — да сохранит нас всевышний. Будь осторожен. Рассказывают всякие истории о вооруженных бандитах: они убивают людей, грабят.

— Не о солдатах ли речь?

— Откуда нам знать, кто они? Наверно, дьяволы нашей войны, они только сейчас и выдают себя. Со временем их станет еще больше. Так что послушай старика, никогда не езди в темноте. Не сворачивай на проселочную дорогу даже днем. Как начнет смеркаться, останавливай машину и ищи ночлег.

— Спасибо за совет.

Одуго вспомнил тот день в Умунево, когда солдаты бросали оружие. Наверняка всякие темные личности немало его припрятали. А сейчас они вышли на большую дорогу. Могли, правда, мародерствовать и дезертиры. Впрочем, какая разница...

— Дай нам бог, Па Укоха, в следующую встречу отпраздновать возвращение ваших детей.

Глаза Укохи налились слезами.

— Да... Ты видел, как вернулся Самсон... Он лежит сейчас там, во дворе, рядом с моим отцом.

— Нет, другие вернутся не так, они придут сами.

— Только об этом мы и молимся.

Одуго порылся в своем портфеле и достал пакет.

— Что здесь?

— Прошу вас, поберегите это для меня. Кто знает, что нас ждет впереди.

— Что это?

— Документы на право владения землей, принадлежащей нашей семье. Всех нас разметала война: жена с детьми — в одном месте, отец — в другом, братья — еще где-то. Мне надо всех их разыскать, убедиться, что они живы-здоровы. Дорога не близкая, всякое может случиться... Вы заговорили о бандитах, и я подумал — пусть лучше бумаги пока полежат у вас.

— Не беспокойся. Ада запрет их в шкатулке в моей комнате. Ну, а сейчас тебе и впрямь пора ехать.

Они услыхали, как, чихнув, заработал мотор и радостно зашумели, захлопали в ладоши механики.

— Да, похоже, я должен ехать. Вот и машина очнулась после спячки.

Все засмеялись.

— Но если мы все-таки не дождемся тебя,— спросила Ада,— что делать с документами?

— Тогда передайте их отцу. Но лишь когда все успокоится и какой-нибудь надежный человек сможет благополучно доставить их по назначению.

— А где живет твой отец?

— У него дом в Огене.

— Я никогда не был там. Далеко это?

— Раньше туда легко было добраться. Но линия фронта отрезала Огене от этих мест. Там очень много продуктов. Торговцы умудрялись даже проходить через расположение федеральных войск и закупать в наших краях чари, ямс, овощи. Теперь война кончилась и вы легко можете доехать туда на попутной машине.

— Не бойся, найдем твою деревню. Добрые люди покажут. Кто спрашивает дорогу — не заблудится.

— А сейчас позвольте мне проститься с Бенн

Бенн лежала поперек кровати. Когда Джеймс коснулся ее, она разразилась рыданиями.

— Бенн... Бенн... Я уезжаю.

— Скатертью дорога... Оставь меня в покое. И хорошо, что уезжаешь, все вы одинаковы — вам бы только потешить себя да смыться.

— Это не так, Бенн. Ты ведь сама знаешь...

— А как? Как?!

— Ты знала, что я рано или поздно должен уехать. Теперь пробил мой час. Мне надо искать жену и детей. Ведь если человек после войны не даст о себе знать, он числится среди убитых. Семьи ждут нас, и ожидание это становится невыносимым.

Бенн вытерла слезы, и лицо ее просветлело. Усевшись на кровати, она взглянула на Одуго.

— Да. Все, что ты говоришь, верно. Но я-то знаю, ты уезжаешь из-за Вик.

— Что?!

— Думаешь, я не вижу? Ты слишком любишь ее. Я наблюдала за тобой все это время. Ты стал совсем другим.— Она вскочила с постели и поправила свой обвисший наряд.

— Нет, Бенн, я еду не за Вик. Между нами все кончено. Старики правы — Ободонта не для меня. Я здесь всего лишь гость. И я рад, что встретил тебя. Ты, может, слышала, я ведь ехал в Ифитену, к жене и детям, когда перекрыли дорогу. Вот мы с Вик и попали сюда. Сейчас я хочу продолжить свое путешествие.

— Я тоже не останусь в Ободонте. Не хочу жить с Адой Укохой. Она не любит меня.

— Ошибаешься: просто она оберегает тебя. Ты им как родная дочь.

Одуго ожидал увидеть на лице Бенн улыбку. Но оно оставалось серьезным и хмурым.

— Капитан бросил меня здесь без гроша. Но я сама о себе позабочусь. Надоело быть на побегушках.

— А сейчас прости, мне надо ехать.

Он обнял ее, но ей этого оказалось мало. Она тесно прижалась к нему, и он почувствовал всю прелесть скрытого под тонкой материей тела. С трудом освободившись из ее объятий, Джеймс посмотрел Бенн в глаза. Подернутые пеленой, они горели страстью. Платье ее вновь ослабло и съехало, освободив нежные груди. У Одуго перехватило дыхание.

— Ты хороший человек, Джеймс. Да поможет тебе господь.

— Бенн! Бенн!..— послышался голос Ады.

Девушка не шелохнулась.

— Бенн! — опять позвала Ада.

Свидание их закончилось.

В полдень, вскоре после отъезда Джеймса, к Па Укохе прибежал маленький мальчик.

— Там спрашивают Одуго,— сообщил он.

Укоха подошел к двери и увидел высокую молодую женщину со светлой гладкой кожей. В руках у нее был потрепанный чемодан и несколько узлов. Женщина приветливо улыбнулась. Позади нее виднелась группа беженцев.

— Чем могу быть полезен? — спросил Укоха.

— Я разыскиваю Джеймса Одуго. Мне сказали, что он живет в доме Па Укохи.

— Заходите. Дети, помогите же ей, чего зря глаза пялите!

Дети внесли вещи незнакомки в дом. Па Укоха был само гостеприимство. Когда пришла Ада, гостья представилась: Гледис Нвибе. Она была подругой Джеймса Одуго. Несколько месяцев назад они жили с ним в одном доме, но их разлучила война.

— Я узнала, что он в Умунево, поспешила туда, но убедилась лишь, что он уехал. У моста был бой, наверно, последний бой в этой войне. Все восхищались храбростью наших ребят, хоть они и потерпели поражение.

— Мой сын был убит в бою за этот мост,— заметил Укоха.— Он похоронен здесь, во дворе.

— Правда?! Ваш сын? — На глаза Гледис навернулись слезы. Она вытерла их краем своего платья.— Так ваш сын — один из тех смельчаков? Упокой, господи, душу его. Это был страшный бой. Мы не знали, куда и спрятаться. Была такая стрельба, мне казалось, обрушится мир. Чуть не умерла со страха.

— Да,— сказал Па Укоха.— Господь помог вам. Человек, которого вы ищете, действительно жил здесь, но он уехал сегодня утром.

— Ничего, ничего,— прошептала Гледис, и непонятно было, обрадовалась она или огорчилась.— Я еду в Ифитену... Думаю найти там отца. Вы его не знаете — Силас Нвибе? До войны он владел гостиницами и брал строительные подряды. Двадцать пять лет прожил в Кано. Встречусь с ним и решу, что делать дальше. Но в Кано не поеду. По крайней мере сейчас. Надо прийти в себя после войны... Хочу остановиться в Энугу. У отца там есть несколько домов.

— А ваш муж?

— Мы с начала войны живем врозь. А недавно он женился на другой.

— Знаете,— вмешалась в разговор Ада,— дорога дальняя и опасная. Сегодня уже вам никак нельзя идти. Отдохните немного. А завтра с утра отправитесь в путь. Так будет лучше. Комната для вас найдется.

Па Укоха пригласил в гостиную спутников Гледис, накормил их, и они, поблагодарив старика, ушли. Гледис проводила их до дороги, помахав на прощанье рукой.

В свободную комнату внесли ее чемодан и все остальные вещи.

— Не показывайся на улицу,— посоветовал Па Укоха.

— Почему?

— А то к нам опять повадятся военные.

— Ничего,— улыбнулась она,— не успеют. Помолюсь да переночую. Ноги совсем распухли.

2

Деревня Ифитену была идеальным местом для беженцев. Во-первых, рядом город с большим рынком, хотя добраться туда можно только на вездеходе. Во-вторых, здесь ничего не привлекало противника.

Подъезжая к этой глухой деревушке, Одуго увидел знакомую картину: просторная площадь с трех сторон была застроена времян-

ками для служащих благотворительного центра. Здесь люди бесплатно получали консервированную кукурузу, треску, сухое молоко, консервы. Отсюда поставлялось продовольствие в лагеря беженцев. На площадь выходила и клиника, где лечили людей, серьезно пострадавших от недоедания.

Невдалеке два священника беседовали о чем-то с местными жителями — мужчиной, женщиной и ребенком. Одуго притормозил. К машине бежали двое ребят.

— Папа! Папа приехал!

У Джеймса от радости сжалось сердце.

— Оби... Дик...— Отец по очереди поднял сыновей, заглядывая им в глаза и внимательно осматривая лица. Детям повезло: голод почти не сказался на них.— Молодцы, ребята, хорошо выглядите. А где ваша сестренка? Где Ифома?

— Она — с тетей Узо.

— А мама?

— Мама уехала в Энугу на грузовике.

— Давно? — спросил Одуго, а сам подумал: «Интересно, кто это сейчас ездит в Энугу на машине?»

— Позавчера.

— Ладно, пошли к тете Узо.

Одуго всегда испытывал недоверие к Узо, своей свояченице. Ему казалось, что она в любой момент готова сделать какую-нибудь гадость.

Узо была старше Джульетты на восемь лет. Но если младшая сестра родила уже троих, старшая была бездетной, как болтали злые языки — расплачивалась за грехи молодости.

Узо вечно пыталась командовать Джульеттой, учила, как вести себя с Одуго, и пыталась настроить сестру против него. Бесплодие, полагал Джеймс, очень портило ее, делало завистливой — даже по отношению к сестре. Но Джульетта, когда ей пытались говорить правду, ничего подобного и слышать не хотела, любая попытка Одуго открыть ей глаза приводила супругов на грань ссоры.

— Ты просто ненавидишь Узо, вот и все! — таков был первый и последний довод Джульетты.

Мужа Узо, Джонаса, война застала за границей. Но позже он вернулся в Нигерию и занял какой-то пост в системе федерального радиовещания. Так они с женой оказались по разные стороны баррикады: Джонас занимался вещанием на ибо, призывая всех — в том числе и свою жену — осознать ошибку и сложить оружие.

Одуго полагал, что теперь, когда война окончена, Узо вернется к мужу.

При виде Джеймса Узо заулыбалась:

— Когда ты приехал?

— Только что...

— Н-да... Я так рада тебя видеть. Нет, в самом деле очень рада.

Одуго не вникал в смысл ее слов, лишь подсознательно отмечая, много она говорит или мало.

— ...Очень рада. Не поверишь, я только что думала о тебе. Еще сказала детям: «Когда же приедет папа и заберет вас?»... Н-да... Садись. Сейчас приготовим тебе что-нибудь поесть. Ты, наверно, устал. Ведь дорога не близкая. Тебе надо поесть горячего.

Выждав немного, Джеймс спросил:

— А где Джульетта?

— Ах, Джульетта?! Она уехала в Энугу со служащими центра помощи — за продуктами. Ты разве не знаешь: она пошла на работу в Красный Крест.

— Впервые слышу.

— У нас не было возможности тебе сообщить.

— Я думал, Джульетта по-прежнему занимается торговлей.

— С этим покончено. Чем теперь торговать? Не сидеть же ей сложа руки. Надо что-то делать.

— Ты одобрила ее решение, а мне — ни слова?!

— Я же сказала: мы не знали, как с тобой связаться.

— Но я-то знал, куда посылать вам деньги и продукты, и вам было прекрасно известно, откуда они приходят... Ладно, когда возвращается Джульетта?

— Пожалуйста, сядь, ты вечно какой-то возбужденный.

— Дорога дальняя, да она и не для робких. Все разбито, не хватает бензина.

— С бензином я тебе помогу.

— Хорошо... Война окончена, я приехал за семьей, а жена в отъезде.

— Папа, а мама сказала, она больше сюда не вернется, хочет остаться в Энугу,— сообщил сынишка.

— Это правда?

— Да, папа. Она останется там. Она уехала работать в федеральной армии.

Одуго улыбнулся. Он прекрасно понимал: дети никогда не врут в таких случаях — они ведь не понимают истинного смысла своих слов.

— Энугу теперь крупный центр,— сказала Узо.— Все важные решения принимаются там.

— И поэтому все жены, возлюбленные, вообще все женщины должны отметиться там в казармах?

Узо пропустила насмешку мимо ушей.

— Может, Джульетта думала, что ты приедешь прямо в Энугу.

— Ну ладно, а ты-то что намерена делать?

— Собираюсь в Лагос, к Джонасу.

— Так я и думал. И когда?

— Меня задерживали только дети. Некому было за ними присматривать. Сейчас ты приехал...

— Значит, ждали меня. Собери их в дорогу.

— Папа, у нас все готово.

— Тогда несите вещи в машину.

Одуго помедлил. У него было такое чувство, словно он поймал на лету навозного жука и грохнул его об пол. В возбужденье он сделал несколько шагов, потом остановился и спросил Узо:

— Ты ничего от меня не скрываешь? Знаю тебя, ты вечно хитришь, когда дело касается сестры.

— Я? Скрываю? Что, например?

— А то, что жены сейчас уходят от мужей. Считая, что мужья погибли, они отправляются туда, где, как им кажется, смогут выжить.

— Так, значит, ты считаешь ее способной бросить детей? — съязвила Узо.— Вы, мужчины, во всем вините нас, женщин. А сами-то вы — святые? — Голос ее звучал злобно, и Одуго понял, что попал в самую точку.

— Ладно, не будем ссориться. Я не видал вас почти четыре месяца. Война закончена. Поживем — увидим.

— Пойдем обедать.

Дети, усевшись вокруг стола, начали уплетать жареную треску. Ее подали с луком, перцем и консервированной кукурузой. Джеймс ел вместе с ними. Заморив червячка, он стал смотреть на вещи спокойнее.

Первой заговорила Узо:

— Вечереет. Тебе, пожалуй, не стоит ехать сегодня. Переночуй здесь, в комнате Джульетты, утром выедешь пораньше. На дорогах еще опасно. Тебе есть где остановиться в Энугу?

— А кому сейчас есть где остановиться в Энугу? Город разрушен. Мы должны все начинать сначала. Не думай, я не собираюсь жить у Джульетты. Муж без положения доставит ей массу хлопот.

— Делай как знаешь,— сказала Узо.— А сейчас поехали за бензином. Лучше достать его здесь. Отдохни немного и поедем. У тебя найдется свободная посудина?

— Да, на четыре галлона.

Бензоколонку обслуживал знакомый Узо, молодой парень. Он держался запросто и разговаривал очень любезно. Джеймса Узо представила как сотрудника радиовещания, едущего в Энугу по официальному вызову. В результате ему налили полный бак бензина и еще канистру.

По дороге домой Одуго увидел отца Оконкво, он шел к площади с каким-то священником. Джеймс остановил около них машину и вышел.

— Приветствую вас, святой отец. Я знаю вас по Ободонте. Вы отпевали Самсона Укоху. Я был на похоронах. Вы говорили так, словно обращались к Генеральной ассамблее ООН.

Отец Оконкво улыбнулся:

— Да, я узнал вас. Вы радиожурналист. Какими судьбами в Ифитену?

— Приехал за женой и детьми. Война закончилась. Пора нам собраться всем вместе и начать новую жизнь.

— Очень хорошо. Слава богу, войне конец. Но впереди уйма дел. Их хватит не на один десяток лет.

Они простились, и священники собрались было идти дальше, когда молодой коллега Оконкво повернулся и спросил:

— Да, кстати, вы вооружены?

Одуго даже растерялся:

— Нет, святой отец, а почему вы спрашиваете?

— Вы слышали о грабителях на шоссе?

— Да, слышал.

— Это очень серьезно. Люди в военной форме разгуливают по дорогам под видом патрулей. Они устанавливают КПП, задерживают проезжих, конфискуют машины, сопротивляющихся убивают. На них можно наткнуться повсюду. Хотелось вас предупредить. В случае чего держитесь спокойно, вежливо. И не вздумайте сопротивляться — это может стоить вам жизни.

Пока они разговаривали, появился Клейтус Укоха. Он поздоровался с Одуго.

— Мы за продуктами,— шепнул он Джеймсу и обратился к отцу Оконкво:— Святой отец, мы готовы. Оба грузовика ждут вас.

— Хорошо, сейчас. Я вот о чем думаю. Одуго ведь журналист. Не отвезти ли его в больницу — пусть взглянет на наших больных гепатитом. Может, ему удастся рассказать о них по радио. Имейте в виду: началась эпидемия! После такой войны жди чего угодно. Слышали вы о гриппе 1918 года?

— А в чем причина эпидемии?

— Антисанитарные условия... Нехватка питьевой воды, чрезмерное скопление беженцев... Ну и, конечно, непогребенные трупы.

Клейтус сжал руку Одуго.

— Сегодня мы возвращаемся в Ободонту. А оттуда поедем в Энугу.

— Как Па Укоха?

— Ты видел его позже меня. Я постоянно в разъездах, уже три дня не был в Ободонте.

— Святой отец, вас зовут! — К ним подбежал молодой человек в военной форме.

— Зовут? Кто там?

— Приехал епископ.

— Сам епископ? — Отец Оконкво повернулся к Одуго: — Извините, боюсь, сейчас мы не сможем пойти в больницу. Вы надолго в Ифитену?

— До завтрашнего утра, отец.

Они повернулись к площади: туда въезжала вереница машин. Из них выходили люди. Одни в штатском, другие — в форме служащих организаций помощи и управлений социального обеспечения.

— Интересно, что все это значит? — спросил отец Оконкво.

— Святой отец,— отвечал молодой человек,— они прибыли, чтобы сменить руководителя центра.

Священники ушли, а Одуго направился к своей машине. Узо он уже не застал. Она ушла. Джеймс поехал один. Войдя в дом, он увидел дочь.

— Ифома, поздоровайся с папой,— сказала Узо.

— Привет, Ифома. О, как ты выросла, настоящая леди. Ты где была? — он посадил ее на колени.

— Она играла с подружками,— ответила за девочку Узо.— Так ведь, Ифома? Ты рада снова видеть папу?

— Да!

Чуть позже Одуго спросил Узо:

— Ты действительно хочешь ехать в Лагос?

— Да, не могу здесь больше оставаться. Поди угадай, что за начальство они сюда привезли.

— В таком случае,— сказал Джеймс,— с детьми мы обойдемся немного иначе. Надо подумать, где им будет лучше.

— Почему бы не отвезти их в Энугу?

— Может быть, и туда, но я не уверен. Ты ведь сказала, что Джульетта устроилась на работу. Зачем же ее стеснять. У нас ведь ничего нет — ни крова, ни одежды, ни домашней утвари. Не уверен, что для детей Энугу — лучшее место. Да и кто знает, что подберет ребенок на улице.

— Ты прав — столько людей гибнет от мин. Даже ручные гранаты еще кое-где валяются. И эти самоделки — огбунигве... Хочешь закусить перед сном? Я приготовлю шоколад и бисквиты.

— Спасибо.

Выпив с детьми шоколада, Одуго уложил их в постель и стал рассказывать сказку о черепахе, которая пошла на войну и не вернулась. Вскоре он сам уснул.

3

На следующее утро Одуго вместе с детьми грузил вещи в машину. Узо на рассвете ушла на базар. Война выработала у женщин привычку ходить на базар еще до того, как поднимается туман, а с восходом солнца возвращаться домой. Благодаря этому самолеты-разведчики не успевали засечь толпу. Война кончилась, а привычка осталась.

Одуго собрался уезжать, когда невдалеке затормозил «лендровер».

— Джеймс! Джеймс!

Он оглянулся. Из «лендровера» выскочила светлокожая девушка и побежала к нему. Она бежала неуклюже, как гусыня. Но неуклюжесть эта даже шла ей.

— Гледис!

— Джеймс!

В порыве радости она обняла его. Они трясли друг другу руки. На лице у нее сияла так хорошо знакомая ему чувственная улыбка.

— Как я рада, что нашла тебя. Сколько пришлось настрадаться.

— Ты приехала сюда из-за меня?

— Нет, я ехала к отцу. Но я знала, что ты здесь.

— Кто тебе сказал?

— Па Укоха.

— Ты была в Ободонте?!

— Да, ночевала там прошлой ночью в той самой комнате, где ты жил с какой-то женщиной. Старики мне все о тебе рассказали. Ты ничуть не изменился, Джеймс. Все вы журналисты одинаковы.

— Тише, дети. Ну как, ты повидала отца?

— Нет, он уехал. Был здесь со своим другом Эзентой. Они в приятелях уже не один год. Вместе жили в Зарии.

— Эзента? — задумчиво произнес Одуго.— Знакомая фамилия.

— Ты его знаешь?

— Нет, только фамилию слышал. Но, может быть, это другой человек. А что, он уехал на Запад?

— Да нет, он болен и не может пока передвигаться. Ему рекомендован покой. А старику так хочется увидеть жену и детей.

— Эзента? Ты не могла бы меня к нему проводить?

— Пойдем...

Одуго с трудом сдерживал охватившее его волнение. А вдруг это и впрямь отец Вик...

Всех больных разместили в изоляторе. Одуго и Гледис обработали руки и ноги дезинфицирующим раствором, надели стерильные халаты. Лишь после этого их пропустили в палату. Эзента лежал на спине на деревянной кровати, глаза у него были желтые, как у кошки. Такие желтые, что едва угадывалась разница между белками и зрачками.

— Сэр, меня зовут Джеймс Одуго. Я радиожурналист, работал в Умунево. У нас была дикторшей молодая женщина — Виктория Эзента. Ее сестра Анна погибла во время воздушного налета.

— Нет! Не может быть!

Джеймс сел, на глазах его навернулись слезы.

— О! Врач говорит, я все время должен лежать. Но сейчас я не могу. Лучше смерть... Да-да, Вик — моя дочь. Вы знаете, где она? А Анна погибла? Это — кара божья.

— Мне очень жаль. Анна ушла тогда от нас и... О Вик я не могу сказать наверняка, но думаю, она в Лагосе. С ней ничего плохого не случилось. Не волнуйтесь.

— А вы не знаете ее адрес? Вы ее увидите? Я хочу послать ей записку. Может, вы знаете что-нибудь о ее матери — моей жене?

В его жестах сквозили отчаянье и тоска.

— Я думаю, они обе в Лагосе. Ваша жена после смерти Анны попала на ту сторону. Ей было очень трудно,— Джеймс помолчал.— Что касается записки, право, не могу обещать. Сначала я должен найти свою семью... Но если вы знаете адрес или назовете друзей, у которых она может остановиться, я постараюсь.

— Мистер Ирохе из управления тюрем. Я уверен, Вик остановилась у него, как и ее мать. Это — наши друзья и соседи. Ох! Столько дел, а я лежу здесь.

Эзента кашлянул, поднеся к губам маленькую серебряную чашку, сделал глоток, поставил чашку и вытер рот салфеткой.

— Когда в Неку пришли федералисты, мы вынуждены были бежать. С помощью Красного Креста, как и многие другие. Среди беженцев я нашел друзей. Таких, как Силас Нвибе. Правда, сейчас он уже уехал отсюда. В любом случае, когда у старика отнимают землю, жить ему становится трудно. Война многому меня научила,— Эзента глубоко вздохнул. Его душил кашель, который он, казалось, пытался сдержать.— Земля — это все! Она дарит нам сура и перец, зелень, фрукты, пальмовые ядра и ямс, кокосовые орехи, апельсины, бананы. Земля дает нам это безвозмездно. А здесь, на чужбине, все достается за деньги. В Неке мы не знали голода. А тут?! И еще говорят, нам повезло.

— Конечно же повезло,— заметил Одуго.— У вас под боком центр помощи.

— У меня в Неке была большая птицеферма. Пришли солдаты, съели ямс, перебили кур.

— Война, мистер Эзента.

— А урожай ямса — все пропало.

— Это уже в прошлом... А вы хорошо выглядите.

— У меня затяжная болезнь,— улыбнулся Эзента,— она развивается медленно, но неотвратимо. Вроде и выглядишь неплохо. Но внешность обманчива. Внутренности разлагаются; придет день, и ты клюнешь носом. Вот так. И конец.

— Ну-ну, зачем об этом говорить.

— Не будь я болен, перебрался бы в Лагос. Там у меня кое-что есть. Каждый ибо надеется жить на свой капитал. Это наша великая мечта. Но я должен ждать и лечиться, если уж я не умер во время войны, после войны умирать не хочу.

Он засмеялся, и они вместе с ним. Кажется, он узнал Гледис и сказал ей:

— Как ты выросла. Еще вчера в Зарии была совсем девочкой...

Гледис улыбнулась в ответ.

— По радио объявили,— успокоил старика Одуго,— что собственность будет возвращена владельцам.

— Посмотрим, посмотрим.

— Вы не верите в это?

— Сначала мне надо встать на ноги, а там уж все остальное.

— Хорошо Поправляйтесь. Рад был повидать вас. Вчера отец Оконкво хотел привести меня сюда, но обстоятельства переменились. Гледис сказала о вас, вот я и пришел. Буду в Лагосе, непременно передам привет вашей дочери.

— И жене — Марте тоже скажите, что видели меня своими глазами. Скажите, пусть едет домой. Я буду здесь или в Энугу, если меня туда переведут. Но я хочу вернуться в Неку, посмотреть, как там дела.

— Хорошо,— сказал Одуго; он вспомнил бессонные ночи, когда Вик терзалась, не зная ничего о судьбе отца.— Важно, что вы выжили. Это — самое главное.

— Если лекарства не помогут, я все равно уеду.

— Па,— сказала Гледис,— наберитесь терпения и слушайтесь врачей, а то они скажут, что вы сами во всем виноваты.

— Ты права, дочь моя,— он сел на постели.— Как там на дорогах? Разрешен ли свободный проезд? Восстановлен ли мост через Нигер?

— Не знаю. Навряд ли. Думаю, пока еще пользуются паромом.

— А как дорога из Асабы в Бенин и Лагос?

— Плохо... все мосты взорваны. Действуют только временные.

— Но люди ездят?

— Солдаты, служащие Красного Креста и организаций помощи,— сказал Одуго.— В любом случае не тревожьтесь: так или иначе ваша семья узнает, что вы живы и чувствуете себя хорошо.

В дверях появился санитар — начался врачебный обход.

— До свидания, Па Эзента.

— Умница, Гледис. Спасибо, что привела гостя. Привет отцу.

— Передам.

Лицо Эзенты просветлело. Настроение его явно улучшилось.

Они ушли, а старик остался сидеть на кровати, обложенный подушками.

— Да, война ставит на всех свои метки,— сказала Гледис, когда они вышли из больницы.— Эзента был здоровым, крепким мужчиной. Посмотри, что с ним стало.

В ответ Одуго только вздохнул, открывая Гледис дверцу машины.

4

По дороге в Огене Джеймс думал о Гледис, вспоминая, как она выскочила из «лендровера» и побежала к нему — неуклюже, точно гусыня. Это казалось ему странным, но он ни о чем не спрашивал: сзади в машине сидели дети.

А Гледис рассказывала:

— Я была в Умунево... видела последний бой за мост.

— В самом деле? — Он посмотрел на нее с уважением.

— Мы чуть не угодили под перекрестный огонь. А все потому, что я искала тебя.

— Ну, прости. Знаешь, в этом бою был убит Самсон Укоха — любимый сын Па Укохи.

— Да, я слышала. Какая жалость — ведь война-то уже кончилась. Когда я сказала Па Укохе, что видела этот бой, он так расчувствовался, что чуть не удочерил меня.

— Да, в Умунево дрались за последний мост в этой войне.

Дальше они ехали молча. Джеймс вспоминал недавнее прошлое, начиная с того дня, когда толпы солдат затопили площадь в Умунево, а Самсон был тогда еще жив и находился где-то рядом, всего лишь в нескольких милях. Но почему никто не приказал Самсону прекратить сопротивление? Да и подчинился бы он кому-нибудь, кроме своего непосредственного начальника?

— Джеймс, а зачем ты приехал в Ифитену?

— За женой. Кстати, дети, что сидят сзади,— мои.

— А где же твоя жена?

— В Энугу, как мне сказали. Детей она оставила своей сестре, а та скоро уезжает в Лагос к мужу.

— Хорошо, что ты забрал детей. Во главе центра помощи поставили каких-то новых людей, и порядки могут перемениться. Кстати, ты не сказал, куда мы едем.

— Да вот, надо куда-то пристроить детей.

— А почему не отвезти их в Огене? Это бы развязало тебе руки, ты смог бы поселиться в Энугу.

— Я тоже так думаю. В Энугу им еще рановато, что там творится, не поймешь. А ты-то сама куда направляешься?

— Я хотела бы вместе с тобой, Джеймс...

— В самом деле?

— Если ты не против... Ведь я тебя искала все это время.

— Что ж, поедем вместе.

— Я так рада.

Дети вели себя все тише, а когда Одуго оглянулся в очередной раз, они уже спали. Машина свернула на проселочную дорогу, и Одуго снова заговорил:

— Не знаю, повезет ли нам. Кто там сейчас в Огене? Наверно, только отец с матерью, а Патрик и Стефан — навряд ли. Их могли призвать в армию. Да, все что угодно могло случиться. Патрик ведь собирался в Котону, когда началась война. А о сестре, Мэри Нвака, она одно время жила в Ободонте, я вообще ничего не слышал. Да что там, все нарушено, все бурлит. У меня самые дурные предчувствия.

— Ай! — вскрикнула Гледис. Машина угодила в рытвину, ее тряхнуло так, что пассажиры чуть не вылетели на дорогу. Дети проснулись и заплакали.

— Ну и дорога! — процедил Джеймс.— Хотя, черт побери, именно она спасла Огене. Солдаты в деревне так и не появились.

— Нет худа без добра,— улыбнулась Гледис.— Далеко еще?

— Миль шесть.

Вдоль дороги росли огромные манговые деревья, усыпанные спелыми плодами. По обочине шли крестьяне. Они несли полные корзины клубней кассавы, помидор, кукурузных початков.

— Что, манго уже созрели? — спросила Гледис.— Притормози-ка, я попробую — не ела манго с самого начала войны.

Джеймс остановил машину. Выбежали дети, нарвали манго и принесли старшим. Все с жадностью принялись за еду. Даже не потрудились помыть фрукты, просто вытирали их о рубашки.

Поев, снова тронулись в путь.

— Сколько здесь еды! — восхищенно озираясь, произнесла Гледис.

— Ведь я говорил тебе, люди приезжают сюда даже с той стороны Нигера за продовольствием.

— Стой! — раздалось вдруг сразу за поворотом. Человек в мундире направил на них винтовку, и все страхи последних дней словно пчелиный рой зажужжали в мозгу Одуго.

— Папа! — закричала Ифома и начала плакать.

— Тс-с-с,— успокоила ее Гледис,— не плачь. Дядя тебе ничего не сделает.

— Что ему надо? — прошептал Одуго.

— Пароль! — потребовал солдат.

— Пароль! Откуда мне знать...

— Куда едешь?

— В Огене.

— Зачем?

— Домой.

— Пароль — бульдозер! Повтори.

— Бульдозер.

— Когда спросят, так и отвечай — бульдозер.

— Бульдозер.

— Проезжай.

Гледис облегченно вздохнула:

— Я думала, это — бандит.

— И я тоже,— признался Одуго.— Поди тут разберись.

— Да уж...

— А будь это грабитель?..

— Да, что бы мы стали делать?

— Тут ничего и не сделаешь. Риск уж очень велик.

— Ну и время...

Приближался огромный армейский грузовик, и они съехали на обочину, уступая ему дорогу.

Подъезжая к Огене, они все чаще обгоняли женщин с непривычными длинными корзинами на головах.

— Сегодня — нкво, базарный день,— объяснила одна из них.

Трехтонки, армейские «лендроверы» и «джипы», фургоны и машины с прицепами катили друг за другом по узкой дороге. Площадь у базара была забита прицепами. Солдаты облепили прилавки. Мужчины, женщины, дети — несметное множество людей — торговались, покупая и продавая корзины с помидорами, чищеный и нечищеный ямс, сваленный прямо в кучи, бананы и сушеную рыбу, разложенные на травяных циновках. Выходит, война придала важности базару в Огене. Люди громко переговаривались на хауса, ибо, йоруба, ико-ибо. Необычный, но приятный поворот получила жизнь в родной деревне Одуго.

— Единая Нигерия! — закричал Джеймс, и Гледис посмотрела на него с удивлением.

— Неужели ты не видишь — вся Нигерия пришла сюда. Если что-нибудь на свете и может объединить Нигерию, так это еда, а не пули. Пули объединяют нас на том свете, а на этом только еда.

— Странные ты говоришь вещи, Джеймс,— заметила Гледис,— но, увы, в них много смысла.

Огене — типичная деревушка ибо — притаилась в гуще тропического леса, где влажный воздух насыщен терпким запахом прелых листьев и земли. Деревню окружали холмы. В низинах между ними возделывали землю и жили люди.

Па Одуго проснулся в бодром настроении. Подложив подушки повыше, он уселся на постели. Седые волосы его были так белы, что чудилось, будто они светятся, кожа на лице казалась дубленой — такие лица бывают у людей, всю жизнь тяжко трудившихся на солнцепеке.

— Хвала вам, огбуефи,— приветствовал Джеймс отца, как приветствуют именитых людей.

Старик сразу узнал голос сына и воскликнул:

— Оконкво! — назвав Джеймса именем, данным ему на ибо. Полностью имя его звучало Джеймс Оконкво Одуго.

Они поздоровались, как того требовал обычай: сначала их ладони соприкоснулись тыльной стороной, потом хлопнули друг о друга и застыли в крепком мужском рукопожатии. А потом руки их разошлись снова, щелкнув по ладоням большим и указательным пальцами. Старик удовлетворенно хмыкнул. Тотчас по дому разнесся его приказ:

— Эй, кто там! Поймайте-ка и зарежьте цыпленка!

И сразу трое парнишек — Джеймс узнал сыновей своего брата Патрика — кинулись за петухом с большим красивым гребнем. А тот пустился наутек в банановую рощу.

Появилась мать Одуго, маленькая женщина, выглядевшая старше своих пятидесяти с лишком.

— Мама! — Джеймс бросился к ней и сжал в своих объятиях.— Как я рад тебя видеть!

— Приехал, сынок. Слава богу. Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо, мама, а ты как? Я подумал: война окончена, пора домой, посмотреть, что там с моими родными. Да пусть и они на меня глянут.

— Правильно сделал, сынок.

Ифома и ее братишки поздоровались с бабушкой и тут же побежали играть с детьми Патрика.

Одуго всегда восхищало, как быстро дети осваиваются в новых обстоятельствах и заводят знакомства. Вот они уже дерутся, и надо их разнимать, а через минуту снова вместе — водой не разольешь; и так без конца... Детьми занялась высокая, изящная и очень красивая черноглазая женщина. Это была жена Стефана.

— С приездом, с приездом.— Она баловалась с ребятами, и видно было, как ей не хватает собственных детей. Потом она увела малышей к себе, испекла пирожных, постелила постель и весь день возилась с ними, бегая и приплясывая как девчонка.

Когда она ушла, Одуго спросил мать:

— Все по-старому?

И та кивнула в ответ:

— Снова был выкидыш... Уж сколько мы ни обращались к врачам — без пользы. С отчаяния она стала ходить в апостолическую церковь.

— Здесь, в Огене? — спросил Одуго и присвистнул так громко, что мать рассмеялась.

— А ты не знаешь? Сейчас во всех деревнях ибо люди гоняются за богом. Это — тоже последствие войны. Все уверовали в бога и ходят в церковь.

— Но люди всегда верили в бога.

— В войну стали верить больше.

— А как насчет «чужих» церквей — святого Патрика, святого Павла... туда еще ходят?

— Да ходит кое-кто. Народ молится и в наших церквах, и в чужих, а дома поклоняется богам предков. Вот теперь как.

— Почему же, мама?

— Все война, каждому хочется быть поближе к богу.

Гледис с улыбкой глядела на Джеймса и его мать.

— Ма, познакомься — это Гледис, моя подруга. Она едет в Энугу.

— Добро пожаловать, дочка. Спасибо господу, сохранившему нам жизнь. Будем молиться, чтоб он продлил ее.

— Спасибо.

— Позволь, я представлю ее отцу.

Па Одуго был уже в гостиной. Копна его белых волос приобрела под гребнем правильную округлую форму и сияла как нимб. В руках старик держал убо, своего рода арфу, на которой он, наверно, играл, пока не заслышал шаги.

— Па, познакомься — это Гледис, дочь Силаса Нвибе.

— Добро пожаловать, Гледис. Чья, говоришь, она дочь, сынок?

— Нвибе, Силаса Нвибе. Она родом из-под Окигви. В войну занялась торговлей. Тогда-то я с ней и познакомился.

Он взглянул на сиявшую улыбкой Гледис, сейчас такую женственную.

— Ты хочешь ввести ее в наш дом? — лукаво спросил старик.

— Не думал об этом, отец.

Иногда Джеймса поражала способность отца к предвидению. На первый взгляд многие его слова казались сущей фантазией, но когда потом они сбывались, все вспоминали вдруг, что в свое время именно это старик и предсказывал.

— Ты счастливчик, Джеймс,— сказала Гледис, когда они вышли.

— Почему?

— У тебя есть родители, и они тебя любят.

— Да, это, конечно, немало. Я, как увижу их, сразу чувствую себя ребенком. И не хочется никуда от них уходить, ведь всюду наверняка будет хуже, чем дома.

— Джеймс,— послышался голос матери,— иди есть.

Он наклонился к Гледис:

— Слышишь?

И громко ответил:

— Иду, мама. А где Ифома и мальчики?

— Ты что, забыл? Они ушли с женой Стефана.

Гледис улыбалась во весь рот, и Джеймс почувствовал, как его переполняет ощущение счастья.

На время он даже забыл, что закончившаяся война оставила его без гроша в кармане, без работы и всяких видов на будущее. В такой момент человек, как никогда, нуждается в любви, верности и дружбе. И сейчас, вопреки всему, Одуго чувствовал себя богаче и счастливее многих. Он думал: зачем вообще человеку покидать свой дом и семью, ехать в переполненные города, мучиться, жить — как сельди в бочке — в общих комнатах, выкладывая за это немалый куш, истязать себя электричеством и опускаться все ниже в бессмысленной погоне за деньгами. Скромные радости, доставшиеся ему сейчас без всякой мзды,— разве не их, по сути дела, ищем мы в этом мире? Но в городе человек лишен их, потому что они не продаются ни за какую цену.

Ма Одуго быстро приготовила луковый суп с перцем, рыбой и курицей. При виде этого лакомства у Джеймса потекли слюнки. Гледис тоже была в восторге. Родители ушли, оставив их обедать вдвоем.

— Твоя мать прекрасно готовит,— сказала Гледис.

Они принялись за еду. Джеймс думал о своих отношениях с Гледис. Он заметил, что ее гнетет какая-то мысль.

— Гледис, что тебя гложет?

Улыбнувшись, она подняла на него глаза и словно уловила в них нечто, придавшее ей уверенность.

— Ты помнишь,— спросила она,— ту нашу безумную ночь?

— Да, хоть и прошло почти пять месяцев.

Она притронулась к своему животу:

— Вот — результат.

— А-а... Так вот почему ты меня искала.

— Я хотела сказать тебе.

— Странный мир... Одни умирают, другие рождаются.

— Я хочу знать твое мнение.

— О чем?

— Оставлять мне его или нет?

Мысли Одуго заметались, как в западне: «Случись такое до войны, я бы вспылил. Что скажут люди?! Какой скандал! Какой шантаж! Но война меняет все. Люди гибли тысячами. Женщинам уже мало семейного очага. Они хотят самоутверждаться и в другом. Да и уверен ли я в Джульетте? Могу поклясться, что ее сестра чего-то недоговаривала. Но чего? Я должен быть осмотрительным. В это смутное время было бы непростительным позволить себе рискованные действия. Гледис могла бы отделаться от ребенка с помощью врача или знахаря — но это худший выход из положения. Я достаточно люблю ее, чтобы позволить родить мне ребенка. А все проблемы потом — как-нибудь справимся».

— Гледис, вот что я тебе скажу,— он заметил, как ее глаза впились ему в губы.— Ты можешь сохранить его.

— А ты? Ты хочешь...

— Да, хочу.

На глазах ее появились слезы. Она поперхнулась и положила ложку на стол.

А он все твердил:

— Да, я хочу. Я хочу, хочу.

Мысли лихорадочно метались в его голове: «Нация не может выжить, идя по пути смерти. Новое поколение — это наше будущее. Пусть ребенок родится, ведь сейчас многие женщины бросают мужчин, считая, что у них нет никаких перспектив. А Гледис сама пришла ко мне и принесла ребенка. Благословляю ее».

Обед закончили молча. Джеймс видел, как светлело лицо Гледис, в глазах ее засияла надежда. Вся она словно светилась изнутри и казалась поэтому особенно привлекательной. Чувства, охватившие Гледис, передались и Одуго. Будто ему впрыснули эликсир бодрости. Война унесла столько жизней, что мы должны благословлять любого, кто приносит в мир биение новых сердец.

— Я так хочу этого ребенка,— призналась ему позже Гледис.— Ведь это будет ребенок, зачатый в любви...

5

Мать Джеймса была права, говоря, что все люди бросились на поиски бога. Зрелище, представшее Одуго вечером, никак не вязалось с запомнившимся ему прежним обликом родной деревни. Он стоял на тропинке, глядя на длинную процессию, извивавшуюся по Огене как Армия Христова. Священники апостолической церкви в красных и лиловых сутанах, на которых выделялись яркие пояса, по узкой дороге вели своих последователей к храму. Люди распевали песни под бой тамтамов и звон колокольчиков.

Стефан Одуго пришел домой поздно. Выглядел он неплохо. Джеймс с интересом слушал его рассказ. Всю войну Стефан оставался в Огене, хотя его не раз подмывало уехать. Но мысль о том, что он бросит отца и мать, угнетала его и отодвигала отъезд. Так они и дожили до конца войны. Он узнал, что жена изменяет ему. Однажды, застав ее с офицером, который поставлял семье продукты, он выгнал ее из дома. Но за нее вступился Па Одуго. «Пусть семья дала трещину,— сказал он,— но зачем выгонять жену и окончательно разрушать свой очаг? Пусть жена живет с нами, но предупреди ее, что мы не хотим ребенка от заезжего солдата».

— А вскоре во время воздушного налета в наш дом попала ракета. Минутку.— Стефан вышел и вернулся с искореженным куском железа.— Это ее корпус. Ну как?!

Оплавленное железо оказалось тяжелым, его с трудом можно было удержать в руке.

— Слава богу,— продолжал он,— никто не погиб...

По обычаю отец вскоре повел детей к деревенскому колдуну. Там он расколол орех кола и отрубил голову белому петуху. Окропив кровью маски и посыпав их перьями, стал вызывать духов предков:

— Осебулуна, о всемогущий! Благодарим тебя за милосердье к семье Одуго. Ведь вся наша семья могла погибнуть, но до сих пор ты никого не призвал к себе. Дай же нам силу и смирение, чтобы служить тебе и дальше в духе истинного братства. А когда ты все-таки позовешь нас, мы не медля обрубим все, что связывает нас с этим миром. И поспешим откликнуться на твой зов, а те, кто останется в этом мире, пусть наберутся мужества и поступают согласно твоим повеленьям,— Па Одуго поднял орех кола.— Во имя тебя, всемогущий, во имя своих предков я разбил этот орех.

Он достал бутылку с каким-то голландским напитком, открутил пробку и плеснул на землю несколько капель, выкликая по именам своих предков:

— Окафор, Анови, Окоронкво, Учелуе, Эзенвади... братья, придите, придите и помогите нам. Вот — угощенье. Разделите его с на-

ми.— Он еще плеснул спиртного на землю, сам отхлебнул из бутылки и передал ее матери Одуго. Она опустилась на колени, наполнила стакан, отпила глоток. Следом за нею то же самое сделали Джеймс и Стефан.

Эх!.. Неплохо...

Они встали и пошли в дом — завершить церемонию отдыхом и беседой. Джеймса не покидала мысль: «Старшие, те, кто произвел нас на свет, жили своей верой. Они не учились в университетах, но у них была вера. А мы пошли в университет и утратили свою веру». Он думал о Па Укохе и Па Эзенте. Они принадлежали к поколению, хранившему традиции. Теперь они покидают нас. Лучшее, чему можно было у них научиться, это — воля к жизни, рожденная неувядаемой верой, той, что была им опорой в этом мире.

Утром Джеймс и Стефан пошли в свою, католическую, церковь. Потом Стефан показал Джеймсу место, где до войны он строил себе дом. Но поселиться в нем так и не смог: три готовые комнаты заняли сейчас под казарму и гауптвахту солдаты-федералисты.

— Они приехали сюда защищать мир,— буркнул он.

Увидев Джеймса, солдаты приветливо заулыбались, поздоровались и спросили у Стефана, не с братом ли он пришел. «Вы очень похожи»,— заметил один из них.

Дома Стефан стал рассказывать о деревенской жизни.

— ...Знаешь, у нас любой недоброжелатель может натравить на тебя солдат.

— Как это?

— Пойдет в казарму и наболтает все, что на ум взбредет. Рассвирепевшие солдаты хватают тебя, сажают под замок, избивают. А что делать? Раз уж ты побежденный, терпи даже клевету своих братьев, желающих выслужиться.

— А что, если клевета раскроется?

— Тогда под замок посадят самого клеветника. Но часто ли это бывает?

— Жалкие люди, не понимают, что поверженный может встать на ноги и сам, без посторонней помощи.

— Верно!.. Но мы иногда не замечаем окружающих нас завистников. А они ничем не брезгуют, чтоб навредить соседу. Не пойму только, какая им от этого польза?

— Да просто мы сами не уважаем себя,— заметил Стефан.— Забываем уроки, которые дает нам жизнь. Сколько мы выстрадали, а сегодня все уже вроде кануло в Лету.

— А что нам еще остается? Терпеть и терпеть...

Потом разговор перешел на Патрика — он был моложе Джеймса, но старше Стефана. Дети его жили в Огене, а сам он уехал в Дагомею, в Котону, где, к неудовольствию семьи, и просидел всю войну. Патрик — родня это знала — привык держаться подальше от братьев. Он даже не разрешал своим детям играть с двоюродными братьями и сестрами. И никогда не делился своим достатком. Всегда интересовался только собой. После его отъезда о нем никто ничего не слышал.

— Уверен, все это время он греб деньги лопатой.

— Ничего. Деньги всего не заменят, есть же еще дети.

И действительно, кроме всего прочего были еще и дети. За ними-то Патрик и приехал на новом «ситроене» через несколько месяцев после окончания войны. Посадил ребят в машину, дал немного денег отцу с матерью, забрал свои вещи и укатил назад, в Лагос. Он даже не поинтересовался, жив ли Джеймс.

В пригороде Лагоса он снял весь нижний этаж большого дома и открыл торговлю кружевами, вельветом, кримпленом, шелком, набивными тканями, импортированными или доставленными контрабандой. Торговля процветала. К нему приезжали женщины со всей страны. На его машине все еще был номер Котону, по местным обычаям это означало, что человек немало поездил по свету.

Патрик любил говорить: «Да, я — ибо, но из-за этого не желаю подставлять под удар свою шею и жить в обедневшем Иболенде. Я не желаю сражаться и умирать за самовлюбленных выродков, рвущихся к власти. Кто хочет властвовать, пусть сам и воюет. И не зовите меня — я не приду. Если завтра в Лагосе вспыхнет война, ищите меня в Англии или в любом другом месте, где еще не гремят выстрелы. Я — за мир!»

Па Одуго сказал ему: «Сынок, я рад тебя видеть, я отец вам всем. Послушай, мы счастливы, что бог сохранил вас. Патрик, ты неплохо пожил в Котону и в Лагосе, пока мы здесь в Огене хранили твой очаг. Твой старый дом всегда ждал тебя. Ты должен был приехать, и ты приехал. Не смотри свысока на тех, кто оставался дома. Они тоже знают цену деньгам. Но не будь нас здесь, ты бы и не вспомнил об Огене... А ведь твой дом не в Лагосе, и Котону не твой дом... Твой дом здесь, в Огене, на противоположном берегу Нигера, и после смерти именно эта земля примет тебя, а не земля Лагоса или Котону».

— Папа, зачем ты говоришь все это? Я огорчил тебя?

— Нет, сынок, я просто учу тебя уму-разуму. Ты знаешь историю Оменуко? Оменуко — человек, который много ездил по разным странам и даже стал там правителем, но любая мелочь напоминала ему, что он все-таки чужак. И он вернулся домой. Я уверен: в дальних краях, о которых ты рассказывал, тебе так или иначе дают понять, что ты чужой. Сын мой, будь ближе к своим братьям. Не держись в стороне.

— Поговорим об этом в следующий раз,— прервал отца Патрик. Его тянуло в свой магазин.— В любом случае я рад, что ты хорошо себя чувствуешь. Я дал тебе денег.

— Деньги еще не все, Патрик!

— Честно говоря, я должен ехать.

— Твоя мать ночами не спит, молится за тебя. Ты ведь ее любимец, мы рады, что ты цел и невредим.

Но Патрик уже не слушал. Его раздражало каждое слово отца. Почувствовав себя загнанным в угол, он простился и уехал.

— Что ты, сынок, собираешься делать? Поедешь? Ведь это опасно.

— Все может случиться.

— Будь осторожен.

— Хорошо, папа.

— А что с работой на радио? Опять ее получишь?

— Надо съездить в Лагос и узнать.

— Да хранит тебя господь. Будь там поосторожнее.

— Конечно, отец, ведь я же Одуго.

— Ладно. А как Джульетта?

— Не знаю. Наверняка ее сестра что-то скрывает. Недоговаривает...

— А когда она отличалась откровенностью? — вмешалась в разговор мать.

— Оставь ее,— буркнул отец,— бесплодные все одинаковы.

— Но жена Стефана не такая,— поспешила защитить невестку Ма Одуго.

— Ты хоть видел Джульетту?

— Нет.

— Она в Энугу?

— Так мне сказали.

— Детей пока оставь здесь, в Огене. Жена Стефана хорошая женщина, она присмотрит за ними. Заберешь, когда обзаведешься домом.

— Очень хорошая мысль, папа.

Одуго посмотрел на Гледис, они кивнули друг другу, и все согласились — хорошая мысль.

6

— Дай бог живыми добраться до Энугу,— вздохнула Гледис.

Они подъехали к КПП. По обе стороны шлагбаума стояли вооруженные солдаты, хмуро глядя на проезжих.

— Пропуск.

— У меня нет пропуска.

Наклоняясь друг к другу так, что сошлись их каски, часовые стали совещаться.

— Вы откуда?

— Из Огене.

— А пропуск?

— Я же сказал, что у меня его нет.

Они опять стали совещаться — на этот раз с другими солдатами, игравшими под деревом в карты. Потом один из часовых вернулся к Одуго.

— Вылезай.

Одуго и Гледис вышли. Солдаты обыскали машину и вроде остались довольны результатом своей работы.

— В следующий раз чтоб имел при себе пропуск. Без пропуска ездить запрещено!

— Спасибо.

— Проезжайте... Следующий!

— Неужели так будет до самого Энугу?

Одуго пожал плечами:

— Что поделаешь, Гледис?

— А что они искали?

— Откуда мне знать?

— Оружие или...

— Да все — оружие, дезертиров, контрабанду, валюту... Все что угодно.

— Держу пари, они сами не знают, что ищут, пока не наткнутся на какую-нибудь конкретную вещь.

Оба засмеялись.

Иногда попадались сильно поврежденные участки дороги, и Одуго объезжал их лесом, рискуя подорваться на мине. В такие моменты у него замирало сердце. Мосты были взорваны. Их заменяли неуклюжие временные сооружения. И все-таки по дороге шло движение. Навстречу им попадались тяжелые грузовики с продуктами и товарами, принадлежавшие, очевидно, управлению помощи населению.

— Они привыкли к плохим дорогам,— заметила Гледис,— знают здесь каждую рытвину.

От Огене до Энугу было не больше сотни миль, но на дорогу ушел целый день. Впрочем, машина въехала в город еще засветло. Всюду виднелись развалины.

Неужели это тот самый Энугу, который они покинули почти три года назад? Все заросло высокой травой. Из-под карнизов зданий слышался птичий щебет. От тиковой рощи на Миликен-хилл летела стая цесарок, словно желая доказать, что в отсутствие человека звери и птицы имеют право на его жилище.

Рядом с несколькими уцелевшими зданиями раскинулись лагеря беженцев. Люди стояли большими группами, терпеливо ожидая чего-то.

— Чего ждете? — притормозив, спросил Одуго.

— Пайков.

Оказалось, что в многоэтажных зданиях разместились учреждения, ведавшие обеспечением населения продовольствием и вообще нормализацией жизни города. Продукты, выдававшиеся по карточкам, привозили с той стороны Нигера, из Лагоса, в грузовиках Красного Креста. И каждый приезд машин был событием не меньшим, чем, скажем, рождество.

Уцелевшие здания напоминали людей, чудом спасшихся в городе, опустошенном эпидемией. Рядом полуразрушенные строения щетинились тощей арматурой. Вместо стальных балок и прутьев из перекрытий торчала проволочная сетка. Ни один приличный градостроитель не потерпел бы подобной рухляди. Если и была хоть какая-то польза от войны, так это то, что она снесла здешние трущобы — как знать, может, на их месте вырастут современные здания.

Одуго и Гледис из машины с любопытством осматривали город. На глаза им то и дело попадались кучки людей, оживленно болтавших о чем-то. Доносились и обрывки разговоров:

— Чей это дом? Вот счастливчик — ни единой царапины! О, Чинеке!

— Ты видел город, сколько зданий уничтожено — бомбами и пожаром.

— А меня интересует, когда заработают угольные копи.

— Ты что, уже наелся и у тебя всего, кроме угля, вдоволь?

Город был окутан густой пеленой дыма — люди готовили пищу прямо на улицах. Энугу чем-то напоминал Одуго Ободонту в последний день войны. Все дело было лишь в масштабах. Надо было ввести в строй водопровод, дать электроэнергию — не только на заводы, но и в жилые дома. Необходимо отремонтировать канализацию, или люди будут ходить по нужде под каждый куст. Обстановка была напряженной. Можно было ожидать чего угодно: воровства, поджогов, грабежей и убийств.

Вот, наконец, они опять в Энугу, из которого эвакуировались, когда снаряды федералистов уже ложились рядом с радиостанцией, торговым центром и угольными копями. Тогда еще никто и не знал, что это такое — артобстрел. «Не паниковать! — только и слышалось в ответ на канонаду.— Это маневры!» А теперь солдаты федеральной армии расположились по всему городу. Беженцы все прибывали и прибывали, словно город оставался единственным местом, где продолжалась жизнь. На мостовой то и дело возникали пробки: вереницей стояли старые чадящие развалюхи и новенькие блестящие машины. Все пространство меж ними заполняли нагруженные пожитками мужчины, женщины, дети. Тогда ночью в Ободонте многие сами не знали, куда идут, и останавливались, просто чтобы передохнуть. Здесь же, в Энугу, во всем ощущалась нервозность и отчаяние. Люди, наконец, прибыли в город, куда стремились изо всех сил, но оказались снова в начале пути, еще более тяжкого. Каждый думал о том, где бы поесть, где найти ночлег, работу, помыться, купить одежду; короче — начать новую жизнь.

По пути им попался мальчик лет трех, семенивший впереди своей семьи. Первой его увидела Гледис.

— Смотри,— показала она Одуго,— с каким трудом шагает мальчик. Он еле тащит этот тюк на голове. У него такое озабоченное лицо.

Мать малыша несла корзину, набитую кухонной утварью, сверху торчали пестик и ступка. За мальчиком шагала его сестренка с маленьким братцем за спиной.

С ними вместе шел еще парень постарше. ростом почти с мать. Он нес плотно скатанный матрац. Одуго заметил, что отца с ними не было. Мать была в блузке и обмотанном вокруг бедер полотнище, стянутом узлом на пояснице. Должно быть, обноски эти она не стирала больше года. Они были такие ветхие, что не выдержали бы ни стирки, ни штопки. Лицо ее выражало одно лишь безразличие и покорность. И самое печальное было то, что Джеймс наблюдал не бегство, а возвращение домой. Эти люди выжили и вернулись, а те, кто не вернется в родные места, будут числиться среди убитых. В общем, смотри в оба: может, попадется знакомое лицо.

Пробка рассасывалась, и машины, наконец, двинулись дальше.

— Куда же мне заявить о своем прибытии? — ни к кому не обращаясь, спросил Одуго, когда они доехали до центра.

— Надо сперва устроиться, потом — все остальное.

— Ты права, Гледис. А знаешь, я рад, что не привез сюда детей.

— Конечно, я же говорила. А сейчас поедем домой к отцу; может, он еще не уехал в Кано.

— Тебе можно позавидовать.

Если у отца Гледис и впрямь столько недвижимости, ей нетрудно будет найти приют. Надо только узнать, целы ли дома и не заняли ли их беженцы?

— Гледис, ну что будем делать?

— Сперва заедем на улицу Асата Ривер. Там живет одна из жен отца.

На Асата Ривер их окликнула женщина.

— Останови,— шепнула Гледис.— Это Роза, жена отца. Вот мы и приехали.

— А где тебя искать?

— Вон в том белом доме с отбитой пулями штукатуркой. И помни: я-то не знаю твоего адреса.

— Я и сам не знаю. Заеду к тебе позже.

Гледис вышла из машины.

— Пойдем, я тебя познакомлю.

Роза уже суетилась возле машины, снимая с багажника на крыше вещи Гледис.

— Как дела, Роза?

— Жива, слаба богу! — ответила, расчувствовавшись, Роза.

— Познакомься, Роза. Это Джеймс Одуго, радиожурналист.

Они пожали друг другу руки. Джеймс помог женщинам внести вещи и уехал.

В центре города он отыскал контору, ведавшую делами вновь прибывших, заполнил соответствующие бланки и поехал искать ночлег. С жильем дела были плохи. Многие домовладельцы еще не вернулись. Наконец он нашел нечто вроде гостиницы, где ему предоставили койку.

На следующий день Одуго стал наводить справки о своей жене Джульетте. Расспросы привели его к зданию, которое охраняли солдаты. Без пропуска попасть внутрь было невозможно. Джеймс стоял на улице недалеко от часового и ждал.

— Вон она летит,— кивнул солдат.

Вертолет сел на поле перед огромным зданием главного управления. Винт еще не остановился, когда на землю спрыгнула женщина.

— Где же миссис Одуго?

— Да вот — перед тобой.

Действительно, это была Джульетта. Как же так? Ведь она не говорила ему, что ждет ребенка, и сестра ее Узо заверяла Джеймса, что Джульетта уехала в Энугу искать работу.

— Ты, Джеймс?

— Да, он самый, проигравший гражданскую войну. Впрочем, в ней не бывает победителей.

Она как всегда спокойно взглянула на него в упор, и Одуго почувствовал, что в нем закипает гнев. Он стиснул зубы. Главное управление по оказанию помощи населению не лучшее место, где в конце войны озлобленный муж может дать волю своему раздражению, тем более не зная, кто покровительствует его жене.

— Я очень занята сейчас.

Слова ее повисли в воздухе. Мозг Одуго сверлила мысль: «Ты... Ты ведь не объяснила главного, что с тобой произошло. Ну, давай же, вали все на войну: мой роман с Вик, Бенн и Гледис... Так вот какова моя доля...»

— Я занята.

— Это я уже слышал.— «Одуго успокойся. Ты обещал не устраивать сцен...»

— Джеймс, что случилось, того не переделать. Считай, что я погибла во время бомбежки.

— Нет, это не то! Жертвы бомбежки возносятся на небеса.

— А я?

— Тебе и в аду будет слишком уютно.

— Не стоит сейчас...

— В Ифитену я видел твою сестру Узо. Она и словом не обмолвилась... Так вот почему ты не дождалась меня.

Она сделала вид, будто не слышала последних его слов.

— А Узо, как она поживает?

В это время к Джульетте подошел молодой армейский офицер. От злости у Джеймса потемнело в глазах, горло словно сдавило обручем, во рту вскипела горечь.

— Поспешите, мадам. Надо распределить груз из Лагоса,— сказал офицер,— вы должны подписать бумаги.

Моторы взревели, и одна из нагруженных продуктами машин взлетела. Дети, смотревшие на летное поле из-за ограды, радостно закричали, замахали руками. Вертолет был виден всему городу.

— Лейтенант, познакомьтесь с мистером Одуго.

«Вы раньше не встречались с моим мужем,— добавил про себя Джеймс.— Нет, жена не должна ждать побежденного, особенно если не он отец ее будущего ребенка».

Лейтенант, не сказав ни слова, быстро взглянул на Одуго, кивнул и взял Джульетту под руку. Она успела бросить Джеймсу через плечо: «Я спешу...» А затем механически: «До вечера...» Черкнув что-то в потрепанном блокноте, она вырвала листок, протянула его лейтенанту и ушла.

Одуго стоял, следя за погрузкой, и думал: «Как же все это произошло? Когда она забеременела? Как нашла такую работу? Что это за люди, ведущие себя с нею так фамильярно?.. Нет, настоящее поражение начинается, когда твоя собственная жена поворачивается к тебе спиной и уходит с твоим врагом... Как далеко зашла Джуль-

етта? Почему она переметнулась к победителям? И кто же ее любовник — победитель или побежденный?

А ты... Что ты намерен предпринять, Одуго? Взять ее назад вместе с ребенком? Невозможно... Простить ее — мол, измена за измену? Не так-то это легко. Оставить ее? Нет.

Начнем вот с чего: сегодня вечером я к ней не приеду. Если ей надо, пусть сама ищет меня. У меня все козыри на руках: дети, Огене, Гледис и наш ребенок, которого она носит. Мне надо съездить в Лагос, оформиться на старую работу. Бенн научила меня приспосабливаться к любым условиям. Все принимать с улыбкой и действовать так, словно ничего не случилось. Пока жив — надо жить.

И нужно поскорее известить обо всем родственников. Наш брак был заключен по всем правилам. Это не просто сожительство двух влюбленных. Я женился на Джульетте согласно закону ибо. А по этому закону любой ребенок твоей жены — твой ребенок, отец ты ему или нет. И так до тех пор, покуда не возвращен выкуп за невесту. Но нужен ли мне ребенок моей жены, зачатый другим мужчиной? Именно это я и должен обсудить с родителями. Может, Джульетта думает, будто мы с нею просто любовники, как было у меня с Вик или Гледис. Но она ошибается. Мы можем разлюбить друг друга, но нас связывает закон, а перед ним бессильна даже война. И никто не назовет наш союз любовной интрижкой военного времени, которая изживает себя, едва наступит мир».

Одуго видел, как загрузили другой вертолет и кто-то помог Джульетте подняться на борт. Заработал мотор, винт закрутился, стал почти невидим, и вертолет, резко наклонившись, взмыл в воздух.

Джеймс пошел к своей машине, устало опустился на сиденье и поехал на улицу Асата Ривер.

— Заходи, Джеймс! — воскликнула Гледис.— А мы тут с Розой стряпаем. Садись.

Гладко причесанные волосы ее были стянуты узлом, на лице — никаких следов косметики. Оно все светилось приветливой улыбкой.

Он прошел в гостиную и сел. По дому бегали дети, одни подходили к нему, здоровались, другие играли, ни на кого не глядя. Кто спешил выполнить поручение взрослых, кто плакал. Вот он какой — его первый очаг в этой налаживающейся жизни.

7

Джульетта, жена Джеймса, обладала сильным характером. Когда восемь лет назад он встретил в Лагосе эту яркую, обаятельную девушку, модницу и большую любительницу развлечений, ей уже было за двадцать. Они поженились, и она родила ему троих детей.

Джульетта выходила замуж за радиожурналиста с будущим, краснобая и любителя выпить. Когда-то Одуго редактировал журнал, потом газету. До встречи с Джульеттой он жил с девушкой из городской элиты. Звали ее Джоке. Семья Джоке была недовольна их связью, и девушку отослали в Великобританию — «продолжать образование». На самом деле родители хотели выдать ее замуж в своем кругу. Джеймс мог бы и не рвать свою связь с Джоке. Но когда он тоже приехал в Соединенное Королевство на курсы радиожурналистов, она сообщила, что ее убедили остаться в Англии еще на шесть лет — учиться на адвоката. Она даже начала сдавать экзамены по юриспруденции. Одуго решил, что с него хватит. И, находясь в Англии, не искал встреч с Джоке и не известил ее о своем отъезде.

Через несколько месяцев он получил письмо, переадресованное ему из Лондона. Джоке попыталась восстановить их прежние отно-

шения, предлагала найти выход из тупика, возникшего по ее же вине. Но письмо пришло слишком поздно. Одуго уже встретил Джульетту, жил с ней и даже водил к священнику.

Было что-то лихорадочное в их романе. Они не обращали внимания ни на какие предостережения. Отец Одуго резко выступил против «городского» брака. Когда-то, еще до того, как Джеймс встретил Джоке, отец объяснил ему, в чем суть женитьбы «по закону»:

— Ты должен знать, откуда родом твоя невеста. Обязан побывать в ее доме, познакомиться с ее отцом и матерью. Следует также выяснить происхождение ее семьи, убедиться, свободные ли они люди, не происходят ли случаем из касты Осу. Свободный мужчина не может жениться на женщине из Осу, если не хочет, чтобы позор пал на его детей. Потом тебе надо поинтересоваться, не было ли в роду у них случаев помешательства, не болел ли кто проказой, сифилисом, туберкулезом. Ведь эти болезни передаются по наследству. А нам нужны здоровые дети. Полюбопытствуй, дружно ль живут ее родители, давно ли они состоят в браке.

— Не слишком ли много, папа?

— Нет, не слишком. Человек вступает в брак не на один день. Страсть проходит, а семья остается. Ты должен, по крайней мере, знать, как жили наши предки. Хоть нынешней молодежи это, быть может, и не по вкусу. Так вот, когда ты сделаешь все, о чем я говорил, возьмемся за дело мы с матерью. Пойдем и будем сватать за тебя твою будущую невесту. Самому тебе делать это не разрешается. Это право родителей. И благо тем, у которых они есть.

— Да, но откуда журналисту взять время, чтобы следовать всем этим правилам? — воспротивился Одуго. И он не выполнил ни единого требования отца. Лишь после свадьбы он стал узнавать вещи, которые должен был знать до женитьбы. Оказалось, что привязанность Джульетты к своей семье сильнее ее любви к Одуго. Говоря о поездке домой, она всегда имела в виду не Огене, родину Джеймса, а Анукву, деревню, где жили ее отец и мать. Ни разу за все восемь лет их совместной жизни она не побывала в Огене, так и не познакомилась с родней по линии мужа. И Одуго всегда приходилось выбирать, ехать ли с ней в Анукву, оставаться в Лагосе или одному отправляться в Огене.

В городе она позволяла себе больше, чем принято среди женщин ее круга. Ей казалось, будто модные отели и ночные клубы просто захиреют без нее. Одуго, цеплявшийся за ее юбку, все терпеливо сносил, глотая этот коктейль по-нигерийски. Иногда дела требовали его присутствия на службе, и Джеймс покидал Джульетту в самый разгар веселья. По субботам в гостинице «Бамбино» устраивались шикарные вечеринки, которые прямо-таки не мыслились без супругов Одуго, их присутствие было как бы обязательным номером программы. Беременность всегда раздражала и угнетала Джульетту: ей нельзя уже было с прежним блеском танцевать и носить модные туалеты.

Друзья удивлялись, как это она решилась родить троих детей. Одуго, честно говоря, не был абсолютно уверен в своем отцовстве, но не мог и отрицать его, ведь их супружеские отношения с Джульеттой никогда не прерывались. Правда, на этот раз ее зарядили — и основательно — явно, когда его не было рядом. И Джеймса особенно бесила дерзость, с которой Джульетта смотрела ему в глаза, словно не чувствуя за собой никакой вины.

Узо, женщина замужняя, но бездетная, подчинила Джульетту своей воле и фактически распоряжалась в доме Одуго. Но, поскольку

тогда Джеймс большую часть времени проводил на работе, это не имело особого значения.

В то время Джульетта не только вела дом, но еще и держала лавочку, где торговала бакалеей, домотканым полотном из внутренних районов и картинами мастеров из Абеокуты. Американские туристы специально приезжали к ней за покупками. Она также устраивала выставки в американской библиотеке, извлекая немалый доход.

Во время войны, как слышал Одуго, жена его стала торговать на черном рынке, курсируя вместе с «коллегами» через линию фронта, сбывая федералистам транзисторы, батарейки и другие дефицитные товары и закупая соль, которую по бешеным ценам продавали в Биафре. Весь этот бизнес покоился на взятках, потому что официально вывоз товаров из Нигерии контролировался так же строго, как и ввоз их в Биафру. Поэтому процветание торговли прямо зависело от нехватки товаров. Когда Джульетта возвращалась с мылом, кремами, лифчиками, косынками и прочим, весть об этом мгновенно расходилась по округе и покупатели слетались к ней, как грифы на падаль.

В свою последнюю поездку к жене Одуго захватил с собой примус и керосин, он знал: Джульетте некогда будет готовить ему еду. Она и часа не провела с ним. Только и делала, что переодевалась и уходила куда-то с офицерами. Ей, как она утверждала, удалось наладить надежные деловые связи, она по контракту поставляла продукты воинским частям.

В каком-то смысле Джеймса не удивляло, что Джульетта порывала с ним. Это было логично. Но глотать горькие пилюли всегда нелегко. Раньше он считал, что, когда война кончится, распавшиеся семьи соединятся и все начнется сначала. Но теперь он усомнился, нужны ли они с Джульеттой друг другу.

Гледис заметила:

— Ты такой серьезный. О чем ты думаешь?

— Да так.

— Все готово,— сказала она мягко.— Пойдем обедать.

Одуго двинулся следом за ней.

— Вот моя комната. Прости за скромное убранство. Сам понимаешь, каково сейчас приходится.

Застеленная металлическая кровать у единственного окна. Стол. Рядом два стула.

— Будь как дома. Поедим, и я пойду за продуктами. Роза вчера вернулась ни с чем. Ты не был в распределителе? Кое-кто немало там нахватал.

Стол был аккуратно накрыт скатертью, на которой лежали салфетки — ничего подобного он не видел с начала войны. Толченый ямс и тушеное мясо, завернутое в листья батата, выглядело так аппетитно, что у Джеймса потекли слюнки.

— Великолепно,— сказал он.— Как только все это у тебя получается?

— Что ты! Вот твоя мама готовит — это да! А я только учусь.

Довольный комплиментом, Одуго с улыбкой принялся за еду.

В этот день грузовики не прибыли. Когда Гледис подошла к раздаточному пункту, очередь уже разошлась. Было сказано: «Приходите завтра».

Ветер утих. Солнце разогнало прохладный туман и жгло теперь немилосердно. Шла генеральная уборка. Домовладельцы сгребали в кучи накопившийся за войну мусор и сжигали его во дворах. По ули-

цам стлался дым. Те, кто покончил с мусором, мыли полы, вставляли оконные рамы и прибирались в доме. Одуго, как и многие другие, искал жилье. Ему повезло: он снял две комнаты в районе Миликен Истейт, на противоположном берегу реки Асата.

Вдоль выстроившейся очереди за продуктами расхаживали служащие, помахивая хлыстами и пуская их в ход, когда, по их мнению, нарушался порядок. Хлысты со свистом опускались на опаленные солнцем курчавые головы и прикрытые обносками спины.

Продуктов все не было. Солнце пекло, раскаляя воздух, иссушая горло. Жара стояла такая, что пот высыхал еще в порах.

Время от времени лимузины подвозили лощеных правительственных чиновников, с упитанными лоснящимися лицами, в наглаженных блестящих мундирах. Перед ними поспешно распахивали дверцы. На задних сиденьях через затемненные боковые стекла угадывались силуэты разодетых женщин. В очереди, среди землистых, изможденных голодом женских лиц чиновники высматривали добычу попривлекательнее. Один все время крутился вокруг Гледис, наконец кашлянул, привлекая ее внимание, и спросил адресок. Пришлось дать ему выдуманный адрес.

Стали проверять фамилии по списку. Как по сигналу голодная толпа заколыхалась. Кто-то сильно толкнул Гледис в спину. Небольшое пространство, на котором сгрудились люди, вдруг стало слишком тесным, ей казалось, будто какая-то громада навалилась на нее. Коробки и сумки, которые Гледис держала в руках, стали тяжелее свинца. А тут еще ребеночек повернулся в утробе и уперся ножонками в живот, словно пытаясь сдержать голодную, рвущуюся к пище толпу.

— Гледис!

Она обернулась, но не увидела ничего, кроме резво мелькавших хлыстов. Потом где-то у края толпы с трудом различила полицейского со вскинутой винтовкой и пальцем на спусковом крючке. Одуго, махавшего ей с дороги, она не заметила.

Прошло почти шесть часов, как она встала в очередь. Стоять дальше было невыносимо. Какой-то мужчина упал в обморок...

Наконец толпа опять зашевелилась, и стало ясно: грузовики приближаются. Дети первыми увидели белые красивые машины с красными крестами и громко закричали.

Тут на глаза Гледис попался Одуго, и она помахала ему рукой. Настроение ее поднялось. Он что-то хотел сказать ей, делая знаки, а она, не понимая ничего, лишь кивала в ответ головой: мол, пока еще ничего нет. Потом он сел в машину и умчался.

— Приехали!.. Приехали!.. Привезли продукты!..

Контролировать очередь стало уже невозможно, и тут прогремел выстрел. В нос ударил едкий запах пороховой гари. Одни застыли в растерянности, не понимая, что произошло, другие бросились в укрытие. Унесли какого-то мужчину.

— Он ранен?

— Убит.

— Нет, ранен. Ему выстрелили в ноги... Видишь — кровь.

— Случайный выстрел.

Гледис чуть не упала от страха.

— Спокойно! — кричал полицейский, которого окружила толпа, потрясавшая кулаками.

Чиновники с хлыстами ходили вдоль очереди, усмиряя самых нетерпеливых. Приехала «скорая помощь» и увезла раненого. Чуть позже появился «лендровер» с двумя солдатами военной полиции, в него впихнули стрелявшего полицейского.

Он запротестовал было:

— Случайный выстрел!

Но, получив пощечину, замолчал.

Гледис показалось, что стало еще жарче. С грузовиков Красного Креста сбросили дюжину белых мешков.

Кто-то сказал:

— Кукуруза.

Потом на землю с глухим стуком стали падать мешок за мешком. Один лопнул.

— Рис!

— И фасоль!

— Гари!

Мелькали мускулистые спины рабочих, на землю шлепались джутовые мешки. Запахло рыбой. Люди стали чихать. Значит, привезли еще и перец. От голода у всех подвело животы.

Отовсюду слышалось:

— Накормят!..

— Теперь наедимся!..

— Выжили...

Когда складывали мешки, казалось, им нет конца. Но вот вооруженный полицейский подвел Гледис к раздаточному столу, и ей досталась лишь чашка риса, две чашки фасоли, чашка перца да немного зерен эгуси и десять чашек кукурузы — но зато все бесплатно. Оставалось только сказать: «Спасибо...»

От унижения на глазах у Гледис выступили слезы и словно тисками перехватило горло. Картина эта напомнила ей нищих на улицах, которые протягивали миски за милостыней...

Гледис думала о своем ребенке. Она решила дать ему имя, которое напоминало бы ей о войне, о страданиях и борьбе за жизнь. Ее утешало то, что в любом случае ребенок ее не станет жертвой страшного проклятия войны — квашиоркора.

8

В самом центре города Одуго, к величайшему своему удовольствию, открыл отель под названием «Хеппи сервайвел» — «Со счастливым выживанием». Сюда приходили отдохнуть солдаты да и гражданские служащие.

Практически «Хеппи сервайвел» был даже не отелем, а заведением из двух залов, где ели и пили. Посетитель мог расположиться в помещении или выйти на свежий воздух в укрытый от солнца и украшенный флагами двор. Из отеля открывался чудесный вид на улочку, переименованную сейчас в Сервайвел-стрит — улицу Счастливого Выживания. Что это была за улица — она никогда не знала покоя! Кажется, именно отсюда валил весь городской дым. Круглые сутки над пламенеющим древесным углем шипели здесь кебабы и суйе, а на кострах жарились на рашперах цыплята. Сервайвел-стрит вечно была забита армейскими грузовиками, которые казались длиннее и шире самой улицы. Такси, пытавшиеся прошмыгнуть здесь, только усугубляли давку, вклиниваясь между грузовиками и стенами домов.

Одуго любил смотреть, как уличные торговцы выставляют напоказ свой нехитрый товар — лифчики и блузки, рубашки и шарфики, развозя их на велосипедах под трескотню звонков.

И вот однажды из глубины этого премилого городского закоулка послышался странный шум. Джеймс оставил свое пиво мухам и выскочил из гостиницы — поглазеть на невиданное здесь прежде

зрелище: нескончаемое религиозное шествие вроде тех, что устраивались в Огене. Процессию возглавлял человек в алой, окаймленной золотой лентой хламиде. В одной руке он держал Библию, в другой — небольшой коричневый крест. Борода и волосы его напоминали растительность Иисуса. Его последователи, преимущественно женщины, были облачены в опрятные белые балахоны и белые колпаки. Время от времени они принимались хлопать в ладоши, танцевать и петь. Когда предводитель повернулся в сторону отеля, Одуго даже присвистнул от неожиданности. Он узнал Капитана, бывшего мужа Бенн.

Тот был одновременно и близок и недосягаем. Лицо его казалось бесстрастным, равнодушным ко всему окружающему. Иногда он останавливался, поворачивался к своим последователям и начинал дирижировать их хором. Его низкий голос перекрывал мягкие и чистые сопрано. Весь город сбегался на это пение, словно желая убедиться в духовном возрождении Капитана. Там, где проходила процессия, жизнь на улице замирала. Одуго кликнул рассыльного:

— Ну-ка, видишь вон того человека? Беги и передай ему привет от Одуго. Скажи, мне срочно надо его видеть. Скажи ему...

Но мальчишка уже сорвался с места. Одуго наблюдал, как он исчез в толпе херувимов и серафимов. Вскоре мальчик вернулся и сообщил, что к пророку его не допустили.

Чиновники и солдаты, стоявшие рядом, посоветовали Одуго самому явиться в церковь и испросить аудиенции.

Потом все разом заговорили о восстановлении хозяйства, о том, что жизнь входит в свою колею, и какой-то чиновник заявил:

— Ну, знаете! Сперва должна выжить моя плоть, а там уж и дух.

Люди засмеялись. Заказали еще пива.

— Да, когда брюхо полно, можно угостить и душу.

— Ну, сколько тебе сегодня заплатили?

— Маловато.

Узнав, что Одуго не получает пособия, они замахали руками:

— Что ж ты сидишь? Или тебе деньги не нужны? Все бывшие служащие имеют право на пособие.

— Я... Я был в Огене.

— Иди и получи что положено. Нам всем выписывают пособие.

Процедура оформления пособия оказалась вовсе не такой трудной и унизительной, как ожидал Одуго. Бухгалтер улыбнулся ему и сказал: «С выживанием!» По-видимому, это было новой формой приветствия. Его попросили присесть, отыскали в списке имя Джеймса Оконкво Одуго, старшего репортера отдела новостей, дали ему расписаться в ведомости, и он получил коричневый конверт с новыми ассигнациями и мелочью. Это было похоже на сон, и он впервые ощутил, что братоубийственная война позади и что поистине в таких войнах нет ни победителей, ни побежденных.

Гостиницы всегда четко фиксировали новый приток денег.

— Привет, как дела? С выживанием вас!

— С выживанием!

— С выживанием! — только и слышалось вокруг.

Одуго сидел в углу, на своем обычном месте. С соседних столиков доносилось:

— Что желаете? Цыплята, рис, тушеное мясо, пальмовое вино?

— Пива нету?! Ну и обслуга. А где же пиво!?

— Тебе что, не нужны мои новые деньги? Вот уж, действительно, обслуга.

Из кухни выплыл упитанный парень. В одной руке он держал поднос с дюжиной зеленых пинтовых бутылок; белое как молоко содержимое их пенилось у горлышек. Свободной рукой парень отгонял мух.

— Опять пальмовое вино? Что, пива нет?

— Желаете «Звезду» или «Джи-Джи»?

В такое время дельный человек даже в мелочной лавке мог загребать по сотне фунтов в день — было бы чем торговать. Новые деньги вскружили всем голову. Бумажные биафрские фунты изымались из обращения и уничтожались.

Старые деньги претворялись в новые!.. Прямо чудеса Алладина!

Все правительственные казначейства связками принимали старую валюту, выплачивая в обмен новые, законные ассигнации.

— А знаешь,— похвастался Одуго какой-то человек,— мне заплатили пособие дважды.

— И я времени не теряю,— откликнулся другой.— Они мне заплатят раз десять.

Вероятно, властям стало известно об этих жульничествах, ибо через сутки выплаты прекратились. Но приток денег в частные руки породил лавину спекуляций, и ее уже никто не мог остановить. Каждый изображал из себя бизнесмена, специализирующегося по междугородним перевозкам, по поставкам изделий из пластмассы или текстиля.

...Аба!.. Умуахия!.. Окигве... Онитша!.. Владельцы автомашин безудержно расширяли масштабы операций. Все население Иболенда буквально сидело на чемоданах; из деревень люди направлялись в города — пешком и без денег. Обратно из города в деревню катили в грузовиках, пикапах, автобусах — с новыми деньгами.

Потрепанные, дряхлые грузовики, автобусы, «лендроверы» — без выправленных лицензий, давно отъездившие свое,— все извлекли на свет божий в погоне за пассажирами.

— Аба!..

— Умуахия!..

— Нсукка!..

— Онитша!..

Началась эра хаоса, шарлатанства и беспутства. Кое-кто из воров и бандитов даже сменил занятие и стал шоферить в городах.

Вечером владелец машины сидит дома с женой и жаждет поскорее узнать, какую выручку принесут сегодня шофер с кондуктором,— ведь они целый день гоняли по городу, охотясь за пассажирами.

— Ога, сегодня дела плохи.

— Что значит плохи?

Шофер, пошарив по карманам, достает несколько замусоленных банкнот, потом выворачивает карманы в подтверждение своей честности. Вдруг на пол падает монета в один шиллинг, сын хозяина подбегает и хватает ее.

— Вот спасибо,— говорит шофер,— а я чуть не забыл о нем.

Все это весьма печально, ибо владелец выложил на покупку машины почти все свои семейные сбережения вместе с пособием, выданным властями на обзаведение хозяйством. А управление машиной он доверил этому молодому человеку, которого ему рекомендовали как опытного водителя. Хозяин, само собою, рассчитывал, что эксплуатация машины не только покроет издержки, но и будет давать прибыль. И вот каждый вечер этот тип снова и снова твердит, мол, нет пассажиров.

Выручку и считать нечего, так видно: один фунт, десять шиллингов, десять пенсов.

— И это все? — спрашивает хозяин.

— Да, сэр,— кивает водитель.— Все как есть, сэр.

Из тридцати шиллингов хозяин отдает шоферу ежедневную плату — десять шиллингов, десять, а не пять, иначе тот завтра не выйдет на работу.

— Спасибо, сэр.

Шофер уходит и тут же за углом встречается с кондуктором, своим напарником. Он достает десять шиллингов и присоединяет их к пяти фунтам — большей части сегодняшней выручки, которую они присвоили.

Через два месяца водитель говорит хозяину:

— У меня большое несчастье — умерла мать.

— И что ж ты намерен делать?

— Если Ога позволит, я хотел бы уехать домой.

Хозяин относится ко всему этому сочувственно, подозревая к тому же, что шофер достаточно нагрел руки, и дает свое согласие.

— Только возвращайся побыстрее. Передай привет всем своим.

— Да, Ога.

На следующее утро шофер с кондуктором катят на чадящем драндулете с надписью «такси» и вдруг встречают свою бывшую хозяйку. Она окликает их, машина подруливает к тротуару.

— О, мадам! — восклицает шофер.— Рад вас видеть.

— С выживанием. Ну как, ты похоронил свою мать?

Шофер пропускает вопрос мимо ушей и говорит:

— С выживанием, ма. Куда вам?

На лице его ни малейших угрызений совести.

Но мадам, убедившись в обмане, не в силах сдержать себя. Разве не ясно, что развалюха эта куплена на деньги, утаенные от ее мужа. А уж теперь-то, на собственной машине, эти типы будут загребать самое меньшее шесть фунтов в день.

— Не напоминай мне больше об этой женщине,— ухмыляется вскоре шофер, уплетая за обе щеки цыпленка в ресторане для таксистов.— Где ей понять, что рыба растет, лишь пожирая другую рыбу.

И он, и его собеседник громко смеются.

— Да, рыба жрет рыбу, чтобы расти,— вторит ему кондуктор.

— С выживаньицем! — И покончив с цыплятами и пивом, они возвращаются на улицу.

Во дворе церкви, куда пришли Одуго и Гледис, все напоминало о Капитане. Был вечер. Верующие — мужчины и женщины,— держась группами, молились, танцевали, болтали между собой. Церковь стояла на холме в черте города, но шум транспорта с оживленной соседней улицы не долетал сюда и не мешал последователям Капитана предаваться молитвам.

Новоявленного главу церкви застали дома, в двухкомнатной жилой пристройке позади храма.

— Капитан!

— А, великий Одуго!

— Знаешь, Капитан, я ведь случайно увидел тебя. Сижу себе в «Хеппи сервайвел», глядь — шествует процессия, и во главе ты, собственной персоной.

— Да, мы там проходили недавно. Ну как твои дела?

— Познакомься, Капитан, это Гледис... Гледис, а это Капитан, мой хороший друг.

— Рад видеть вас, мадам. Одуго, у тебя всегда прелестные подружки.

— Жизнь коротка, Капитан.

— Пора уж тебе подумать и о новой жизни. Оставайся, сегодня

у нас большой день.— Он вызвал посыльного, мальчишка явился, и Капитан послал его за выпивкой.— Заходите, присаживайтесь. У меня скоро служба.

Пока Капитан занимался своими делами, они осматривали комнату. Гостиная была обставлена очень скромно. Простые деревянные стулья; голый пол — ни ковра, ни линолеума. Из соседней комнаты без стука входили женщины в белых накидках, потом уходили обратно.

Мальчик принес на подносе напитки, и Капитан присоединился к гостям. Гледис, ущипнув Одуго за руку, показала диковину — стоявший на доске череп. Капитан перехватил ее взгляд и сказал:

— Да, он все еще со мной и указывает мне путь.

— Капитан подобрал этот череп в конце войны,— объяснил Одуго,—и жизнь его с тех пор потекла по иному руслу.

— Я сейчас имею дело с заблудшими душами.

— Заблудшими?

— Да. Война покалечила немало душ. В раздаточных пунктах людям помогают укрепить тело. А я помогаю им вновь обрести душу.

Капитан налил себе кока-колы:

— Будем здоровы!

— Я не совсем понял, что ты имел в виду под обретением души? — спросил Одуго, и на память ему пришло то страшное утро в Ободонте.

— Сейчас объясню. Помнишь, уходя из Ободонты, я сказал вам, что решил начать все с самого начала.

— Да, я помню...— Одуго указал на череп.

— Эта вещь успокаивает меня, умиротворяет мою душу. А не душевный ли покой мы постоянно ищем? Попав сюда, я избавился от дурных мыслей, обрел здоровый сон, бодрость. Я живу теперь в полном согласии со своим творцом. А что мне еще надо?

Одуго с восхищением смотрел на бороду и прическу Капитана, так напоминавшие христовы.

А Капитан рассказывал, как после войны понял, что самый простой способ выжить — бежать, прихватывая все, что уцелело. Он явился в штаб федеральной армии, пустил пыль в глаза и получил бумагу, гласившую, что он назначается на руководящую должность,— так он возвысился. Обосновавшись в большом доме в центре города, Капитан обзавелся двумя ординарцами, «лендровером» и личным телефоном; он отпустил бороду, стал говорить медленно и значительно, взвешивал каждое слово, подражая людям культурным и образованным.

Да, золотое было время, и до того, как наладили систему учета, можно было неплохо погреть руки. Тогда все постоянно торчали в приемной губернатора, старались обратить на себя внимание. Капитан не был исключением. Он являлся с папкой бумаг — соответственно своему высокому положению. Но однажды, ожидая приема, Капитан увидел своего соперника. Конечно, этот старый, грубый, медлительный и, как оказалось, злопамятный человек в мешковатых штанах не мог сравниться с Капитаном ни образованием, ни обхождением. Но, очевидно, у него были другие достоинства. Улыбаясь, старик предъявил официальные бумаги, согласно которым он назначался на должность более высокую, чем у Капитана, а это предполагало и большую зарплату, и положение поважнее. Он показал свои полномочия низшей инстанции — Капитану.

Последней каплей стала бестактность помощника губернатора, который прошествовал в свой кабинет, устланный красным ковром, даже не ответив на приветствие Капитана. Когда-то, лет десять назад,

этот юнец был в школе учеником Капитана, а сейчас вот выбился в люди и волен унижать своего бывшего учителя.

«С меня хватит!» — решил Капитан и хлопнул дверью.

Ему казалось, что все вокруг устраивались быстрее, чем он сам. А ведь он поступался всем: и гордостью, и семьей — лишь бы поскорее встать на ноги.

— Конечно, Одуго, я хотел выжить, но отнюдь не любой ценой. Зачем мне участвовать в этих крысиных бегах?

— И ты решил основать свою церковь?

— Нет, отправиться на поиски заблудших душ.

Вошла молодая, стройная женщина в белом балахоне и, наклонившись к Капитану, стала что-то шептать ему на ухо. Капитан, прищурившись, слушал, а потом шепотом же ответил. Женщина вышла с покорным и смиренным видом.

— Работы с каждым днем прибавляется,— словно извиняясь, заметил Капитан.— И конца ей не видно. Люди надеются, что церковь решит их проблемы.— Он печально вздохнул, посмотрел на свой стакан и добавил: — Да, не раз у меня была возможность изменить свою жизнь. Как-то старые друзья предлагали устроить меня в армию. А один приятель-бизнесмен хотел взять меня в долю и делать деньги, как все вокруг. Впрочем, это уж после моего переезда в Энугу. Только вот жизнь очень уж коротка. В армии я это хорошо усвоил. Все хватают, гребут, тащат — хочется уйти от этого хоть на время.

— Что-нибудь слышно от Бенн?

— Насколько я знаю, она в Лагосе. Сейчас все наши женщины бросились туда. Что называется — с выживаньицем.

— Ты примешь ее назад?

— Не знаю, Одуго. На все воля божья. У меня здесь много работы, люди нуждаются в моей помощи. Если Бенн приедет сюда и захочет жить со мной — добро пожаловать. Мы можем зачеркнуть прошлое и начать жизнь заново.— Капитан поднялся.— Ну, мне пора. Одуго, ты можешь послушать хор, если хочешь. Мы скоро начнем службу.

— А когда она кончится?

— Утром.— Он покрутил в руках золотую ленту.— Что ты думаешь делать?

— Собираюсь в Лагос — похлопотать насчет своего старого места. Видишь ли, Капитан, мы все начинаем с самого начала. Но ты первый понял, что это неизбежно.

Извинившись перед Гледис, Капитан отвел Одуго в сторону. Она не слыхала, что он шептал:

— Одуго, это твоя жена?

— Нет, мой очень близкий друг.

— А как та, что была в Ободонте?

— Вик Эзента? Та в Лагосе. Она ушла, когда ей представился случай.

— Значит, женщины спасаются сами?

— Большинство. Моя законная жена работает в центре продовольственной помощи. Вернее говоря, моя бывшая жена — она ждет от кого-то ребенка.

— Ты разрешил ей там работать?

— Со мной не советовались, когда я приехал в Ифитену, она была уже здесь.

— Не волнуйся. У нас говорят: «Блудный сын всегда возвращается». Заблудшие жены сделают полный круг, вкусят всяких плодов, но в конце концов вернутся домой, к детям — таков смысл пословицы.

— Да, но будут ли дом и дети ждать заблудших?

Джеймс и Джульетта Одуго встретились в комнате для посетителей в отделении Красного Креста.

— Ну? — спросил Одуго.

— Что ну?

— Чем ты недовольна, Джульетта?

— Что ты имеешь в виду? Я всем довольна.

— Ты моя жена. Наш брак освящен законом и обычаем. Я поднес вино твоим родителям и родичам в Анукву. Ты перед алтарем дала согласие стать моей женой, а носишь ребенка от другого мужчины.

— А ты — ты что, был святым?

— Разве я говорю это? Но учти, у меня есть право иметь трех и даже четырех жен. Ты же можешь быть замужем только за одним мужчиной.

— Меня это не волнует.

— Хорошо, тогда я разыщу этого человека и скажу ему, что ты моя жена и ребенок, которого ты родишь, принадлежит твоему мужу. И так будет, пока...

— Пока — что?

— Хочешь, чтоб я сказал тебе? Ты разве не знаешь обычая? Пока этот новый человек не заявит о себе, не сделает все, что положено. Он должен поднести вино твоим родителям и родичам. Должен вернуть мне выкуп, который я заплатил твоей семье. Помолчи... Я знаю, ты скажешь — это тебе не по карману. Но речь идет о традициях ибо.

— Я согласна,— отрезала Джульетта.

— Я все понимаю, Джульетта, и не собираюсь тебя упрашивать. Мне неизвестно, чем ты сейчас занята. Ты со мной не советовалась. Я верю, ты делаешь важное дело. Но вот что я хотел сказать. Пока мы не расторгнем наш брак, ты — моя жена. Ни в Анукву, ни в Огене не знают, что мы развелись.

— Это долгая история.

— Ты нарочно хочешь вывести меня из себя.

— Почему ты требуешь, чтобы я держалась за тебя, когда у меня есть шанс выжить и самой?

— Значит, ты считаешь меня конченым человеком. Так вот, запомни: я еще жив. Я здесь и желаю знать, кто отец твоего ребенка.

— Ты сам говоришь, что по закону ребенок твой, чего ж волноваться.

— Где это ты набралась дерзости? Мы, правда, никогда не жили в согласии, но все-таки ладили. Я даже терпел Узо.

— Оставь сестру в покое. И пойми, наконец, что все переменилось. Прошлого не вернешь. Погляди вокруг: много ли женщин, ходивших через линию фронта с товарами, по-прежнему держится за своих мужей? Я таких не знаю. Все они заняты только тем, чтобы уцелеть, накопить денег и жить в свое удовольствие. Я родила тебе троих детей. Хватит. Не собираюсь больше приносить себя в жертву. Я хочу быть независимой, а не клянчить каждое пенни.

— Хорошо. Уж не хочешь ли ты сказать, что у тебя не было в Лагосе своего магазина? Разве ты не продавала барахло американцам? Разве не ты распоряжалась всеми семейными деньгами? И при всем этом ты была моей женой. На что ты рассчитываешь, порвав со мной? Может, ты хочешь, чтобы Ифома и мальчики росли без матери? Если так, ты свободна.

— Ифома — девочка, ей лучше быть с матерью. Я возьму ее к себе. Но она будет носить твою фамилию. Ты можешь взять сыновей.

— О боже! Да уж — война не прошла бесследно. Ты хоть пони-

маешь, что твои слова возмутили бы весь Иболенд? Хочешь взять Ифому и будущего ребенка к этому типу?

— Какому типу?

— Отцу твоего ребенка.

— Неужели ты так и не понял, что я не хочу зависеть ни от какого мужчины?

— Зависеть?

— Ни зависеть, ни быть вместе с кем бы то ни было! Я хочу быть хозяйкой самой себе и всему, что дал мне всевышний.

— Ты это серьезно?

— Да, Джеймс. У тебя ведь есть девочки — стоит ли из-за меня беспокоиться?

— Да, у меня есть девочки и есть мои собственные проблемы. Но ты — моя жена и обязана помочь мне их решить. Блудный сын всегда возвращается — ты не знаешь такую пословицу? Она относится и к женщинам и к мужчинам. Сколько бы они ни блуждали по свету и ни наслаждались жизнью, все равно в конце концов вернутся домой.

— Да? Ну и что же?

Одуго на секунду показалось, что на глаза ее навернулись слезы. Помолчав, она достала из сумочки платок и легонько провела им по ресницам.

— О чем мы, собственно, спорим? — спросил Одуго.

— Не знаю,— ответила она,— я забеременела. Это случилось во время войны. Я не могла сделать аборт, не хотела умирать. Оставила ребенка и должна доносить его, даже если он меня убьет. Но я понимаю, что заплатила за него своим замужеством.

— По-моему, мы говорим о семье, которую создали задолго до войны, восемь лет назад, в Лагосе. Когда началась война, мы перебрались через Нигер на родину. Мы жили в Энугу, пока артобстрелы не разлучили нас. Ты бежала из одной деревни в другую, скрываясь от бомбежки. А я кочевал следом за радиостанцией. Мы жили порознь, потому что хотели увидеть, чем все это кончится. Мы боролись за будущее, за сегодняшний день. И вот мы выжили и можем начать нормальную жизнь с того самого места, где мы ее оставили. Вот в чем суть, Джульетта. Теперь ты меня понимаешь?

— В войну бывает и не такое. Я хочу, чтобы ты дома еще раз подумала о нашей семье. Мы не можем начать жизнь сначала, делая вид, будто до сих пор ничего и не было. Прошла война. Калабаш упал и разбился.

— Хватит, Джеймс. Если калабаш разбился, его не склеишь. Это будет уже не тот калабаш. И говоря честно, Джеймс, у меня нет никакого желания чинить наш калабаш.

КНИГА III

Война переменила всё

Война создает настолько непредсказуемые ситуации, что человеческая мудрость бессильна определить, чем они разрешатся.

Томас Пейн

1

Проехав за ночь триста пятьдесят миль, грузовик весь покрылся пылью и грязью. Милях в двадцати от Лагоса шофер съехал с дороги к реке Маджидун и велел пассажирам вылезать.

— Ну, чего стоим?! Так и до Лагоса не доберемся,— послышались голоса.

— Машина отдыхать немного. В город ехать, хочу лицо помыть,— ответил водитель на ломаном английском. Одуго и Гледис выбрались из кузова. Солнце отражалось в воде, придавая ей желтоватый оттенок. Легкая зыбь отмечала течение неторопливо стремящейся к морю реки.

На воде виднелись длинные лодки, рыбаки забрасывали с них сети. По берегам рабочие копали песок, ссыпая его в кучи. Потом песок насыпали лопатами на допотопные грузовики и везли на стройки в Лагос. Река выглядела так же, как и до войны: тот же мост, на котором произошла автомобильная катастрофа, вызвавшая дебаты в парламенте,— она унесла тридцать жизней. Одуго еще помнил фотографии в газетах, где были запечатлены спасательные работы.

Он спустился к реке и умыл лицо. Повсюду сновали крабы. Заслышав его шаги, они плюхались в воду, оставляя на поверхности пузыри.

— Ты подумал, где мы остановимся в Лагосе? — спросила Гледис.

— Да в какой-нибудь гостинице.

— А деньги на гостиницу есть?

— Есть немного,— сказал Джеймс, а сам подумал: «Лучше бы, конечно, не в гостинице. Денег в обрез». Вслух же он произнес: — В Лагосе живет мой очень хороший друг, Абрахам Фумори. Он главный редактор отдела новостей... Я сразу подумал о нем, но — в любом случае он... Он мой бывший начальник и...

— И у него найдется свободная комната? Говорят, Лагос страшно перенаселен.

— Да, он всегда был битком набит. Но Фумори скорее ляжет на полу, чем отпустит нас в гостиницу. Только вот...

— Что?

— Мне не хотелось бы никого беспокоить.

На грузовике засигналили.

— Эй! Где вы?! Пора ехать!

За рекой сразу потянулись пригороды. В самом Лагосе все вроде осталось по-старому, но если приглядеться, заметны были кое-какие перемены. По обеим сторонам шоссе, на месте болот, раскинулись огромные заводы. Три года назад их не было и в помине. Транспорт двигался медленно. Да, если в городе что-нибудь и изменилось, то только к худшему.

Мало кто из мужчин носил теперь агбаду [1]. Большинство предпочитало украшенные вышивкой свободные рубахи и брюки из набивных тканей с растительным орнаментом — изделия местных фабрик. На головах у женщин высились корзины с товаром, который они предлагали наперебой, едва грузовик замедлял ход. Наконец остановились на Иддо Мотор Парк — в самом центре города.

— Приехали, слезайте!— Шофер спешил побыстрее отправиться обратно.

Почти час они добирались на такси до радиостанции. Одуго расплатился, и, взяв вместе с Гледис вещи, подошел к дежурному, и попросил его вызвать по телефону Абрахама Фумори.

— Джеймс Одуго! Рад тебя видеть! Боже, Джеймс, это действительно ты?! Вот это да!

Они обнялись. Одуго сделал вид, что не заметил слез радости в глазах своего друга. Он сам еле сдержался, чтобы не расплакаться.

[1] Длинное платье свободного покроя, слегка зауживающееся книзу.

А через минуту весь отдел обрушился на него водопадом рукопожатий, похлопываний по плечу, объятий, комплиментов, поздравлений.

— Ты жив... Я уж думал, тебя убили.

— Сейчас, когда повидал вас, можно и помирать,— шутил Одуго.— Нет, надо, пожалуй, еще попробовать настоящего пива.

— ...Одуго. Да благословит тебя господь.

И тут его прорвало. Он заплакал, не таясь. Фумори вытащил носовой платок и тоже заплакал, вытирая глаза и нос. Потом он увел Одуго к себе в кабинет.

— Джеймс, ты был у директора? Поднимись к нему, он будет рад тебя видеть... Ладно, не сейчас, побудь пока здесь, с ребятами. Моя машина в городе, скоро вернется, и я отвезу тебя домой. Примешь ванну, переоденешься. Перед директором ты должен предстать в безукоризненном виде.

— Вот ты и с нами, Одуго! А я решил, ты погиб.

— Заврался. Все твоя пропаганда.

— Ну, старик, дай еще раз пожать твою руку.

— Принесите-ка ему выпить и давайте кончать эти глупости. Мадам, чего бы вы хотели?

— Как?! Фумори пьет на работе?

— Это особый случай, старик. Стой — не передать ли нам что-нибудь по такому поводу. Идея! Ведь все-таки мы, радиожурналисты, не последние люди в этой стране.

— Репортера сюда.

— О'кей, сэр, я готов.

— Записывай: «Среди радиожурналистов, вернувшихся во вторник в Лагос из разоренных войной районов, был Джеймс Оконкво Одуго, известный комментатор и репортер. Несмотря на все пережитое во время войны, он выглядит бодрым, хоть и не таким крепким, как раньше. Одуго сказал нашему специальному корреспонденту: «Война закончилась, и о ней надо забыть. Я вернулся, чтобы начать все сначала». Одуго намерен нанести визит вежливости главе государства, заявить о своей приверженности делу Единой Нигерии и желании отдать все силы во имя его торжества. А пока он тепло встречен своими доброжелателями».

— Оперативно работаешь, старик,— заметил Одуго.

— Война научила,— парировал Абрахам Фумори.— Сообщение это окажет тебе добрую услугу. Его услышит глава государства, и уверен, оно ему понравится. Он искренне относится ко всему, связанному с амнистией. Когда он узнает, что ты хочешь работать, он примет это к сведению. Не забывай, мы находимся на дороге с двухсторонним движением.

Репортер спросил:

— Все, сэр?

— Да. Включи это в ближайшую сводку новостей. Мы хотим, чтобы все знали: африканцы могут поступать по-разному. Как я рад, что с войной покончено.

Вечером они расположились у телевизора вместе с сыновьями Фумори, окруженные заботой прислуги.

— Какое ужасное время,— сказал Фумори.— А ты знаешь, Джеймс, я как-то решил тебя найти и даже поехал на фронт.

— Меня? Очень интересно. Ну и как?

— Мы попали в Онитшу. Потом я присоединился к военному патрулю — попросил подбросить меня в Огене.

— К моему отцу? Да ты с ума сошел!

— Да, наверно...

Они услышали легкие шаги. Свежая и элегантная в своем цветастом платье к ним шла Гледис. Одуго прежде не видел ее такой красивой. Волосы она собрала в пучок, тонко, со вкусом подвела глаза. У него возникло такое чувство, будто ее до сих пор покрывала какая-то мутная пленка, гасившая все яркие краски. Сейчас пелена сорвана, и Гледис засияла полным блеском.

— Я проспала,— объявила она.

Фумори улыбнулся и продолжал свой рассказ:

— Так вот, Джеймс, ехали мы по бушу. Вдруг слышу: «бух! бум! бум!» — рвались то ли мины, то ли снаряды. Так и не понял, что именно. Как я испугался! Мы залегли. Пальба началась страшная, потом все стихло. И вокруг — ни души.

— Вас не ранило? — спросила Гледис.

— Нет... никто не был ранен. Люди, стрелявшие в нас, скрылись. Никто даже не пострадал... Случай этот долго не шел у меня из памяти... О, боже, думал я, как мне найти Джеймса и вызволить его из этого ада?

— А ты не задумывался, позволят ли мне уйти с тобой?

— Я знал, стоит нам увидеться, и ты сам уйдешь со мной...

— Но ведь тебя могли взять в плен, посадить в тюрьму. Война есть война — ты же знаешь.

— Разве я думал об этом? Война, черт бы ее побрал! Разве я с тобой воевал? Я просто не хотел, чтобы ты погиб, вот и все.

— Но ведь мы были врагами.

— Нам навязали мысль, будто мы — враги, и кое-кто в это поверил. Но я ни на минуту не допускал, что дружба наша умерла. И не мог представить себе иного конца войне, чем торжество нашего братства... Это самое страшное в любой гражданской войне,— продолжал свою мысль Абрахам,— воевать против собственной плоти и крови. Воевать за дело высокое и великое, но стоящее столько человеческих жизней.

Потом они сидели молча, погрузившись каждый в свои воспоминания, перед экраном телевизора. Одуго невольно отметил, что в телевещании многое переменилось.

— Да, есть о чем вспомнить,— вдруг снова заговорил Фумори.— Как-то я попал в порт Харкорт, когда там демонстрировали новый самолет,— чуть богу душу не отдал. Нескольких журналистов взяли на борт. Я решил быть поближе к земле и не полетел. А самолет поднялся и чуть не рухнул. К счастью, пилот попался опытный...

Жена Абрахама, Рита, вернулась вечером. Это была женщина в летах, с круглым веселым лицом, на котором часто играла улыбка, обнажавшая белые зубы. Она держала несколько магазинов и мастерских, где делали обувь, сумки и одежду для подростков.

— Когда началась война и ввели ограничения на импорт, дела пошли неплохо; но работа тяжелая. Не знаю, что с нами будет, когда на рынок опять хлынут заграничные товары.

— Ну, ты это как-нибудь переживешь,— заметил Абрахам,— местной промышленности не дадут зачахнуть.

Желая воздать должное гостям, Рита решила устроить прием. Он состоялся на следующий день. Одуго вновь оказался в центре внимания. Все сотрудники отдела новостей пришли приветствовать человека, вернувшегося с того света. Говорили длинные речи и — в качестве подарка — вручили Одуго пакет.

Перед сном Джеймс попросил Гледис вскрыть конверт. Дрожащими руками она разорвала бумагу и вскрикнула от неожиданности:

— Деньги! Неужели все это — тебе?..

Как и Джеймс, Гледис была тронута до слез.

Фумори предоставил свою машину в полное распоряжение Одуго и Гледис, и они, разъезжая по магазинам, исколесили весь город. Туннели, эстакады, бесконечные вереницы машин изменили облик Лагоса. Во всем ощущались новые стимулы и прилив энергии. Многие отрасли хозяйства уже прочно держали в своих руках африканцы.

Они медленно двигались в потоке машин по улице с односторонним движением, когда вдруг протяжно завыли сирены. Весь транспорт должен был прижаться к тротуару, освободив проезжую часть дороги. Сперва против движения промчались тридцать мотоциклистов, за ними — бронемашина и «мерседес-пульман». Кавалькаду замыкало еще тридцать мотоциклистов — у всех руки в белых перчатках лихо сжимают руль, ноги с дьявольской ловкостью помогают машинам сохранить равновесие. На огромной скорости они промелькнули мимо Джеймса и Гледис, прежде чем те успели разглядеть их лица в защитных очках. За мотоциклистами мчались десятки машин с национальными флагами. Прохожие жались к домам, а из окон, нависших над улицей небоскребов, высовывались люди — взглянуть на редкое зрелище. У горизонта, там, где за пологим берегом начиналась лагуна, черными черточками застыли корабли, ожидавшие разгрузки.

— Сегодня прибывает король Марокко,— заметил шофер.

— Значит, в такие дни можно ехать против движения?

— Кто его знает. Теперь всякое бывает.

Город опять ожил, они поехали дальше.

— Директор сейчас примет вас,— сообщил секретарь.

Его проводили в кабинет.

— Хорошо, хорошо... Джеймс Одуго!... Ну как, не легко было бороться на той стороне?

Одуго понял, что над ним подтрунивают.

— Да, сэр,— улыбнулся Одуго,— но у меня не было выбора.

Директор сменил тему:

— Кто бы мог подумать еще лет десять назад, что системой радиовещания крупнейшей африканской страны будут управлять сами африканцы: директора, инженеры, бухгалтеры, техники. А сейчас это всем кажется нормальным.

Со стороны директора не чувствовалось никакой враждебности. Он хотел забыть о войне, вычеркнуть ее из прошлого. Видно, уж такова судьба: каждая страна должна пройти через свою гражданскую войну.

— А мне понравилось ваше заявление по радио.

— Какое заявление?

— Да то, где вы говорите о работе ради Единой Нигерии.

Я уверен, что оно произведет хорошее впечатление на главу государства Надо думать, наша страна усвоила свой урок: в гражданской войне не бывает абсолютных победителей.— Он помедлил и спросил:— Когда вы собираетесь вернуться на работу?

— В любое время, когда вам будет угодно.

— Мы все оформим быстро, но вам надо бы отдохнуть, надо...

Он нажал кнопку звонка, вошла секретарша, женщина средних лет.

— Проводите мистера Одуго в министерство,— и повернувшись к Джеймсу, добавил:— Оно в новом здании. Вы еще не видели его? Ну, ладно, надеюсь оно вам понравится... И вот что еще, Одуго, мне кажется, у нас есть для вас пособие. Деньги вам будут кстати.

— Спасибо, сэр.

Когда машина выехала на Миликен Хилл, Одуго сказал Гледис:

— Вот мы и опять в Энугу.

Гледис посмотрела вниз, на долину, и заметила, что уже темнеет. Загорались окна домов, уличные фонари. Ее охватило такое чувство, словно впереди лежал чужой, незнакомый город.

— Вот уж не подумала бы, что в Энугу так много огней.

— Похоже, ты делаешь открытие,— сказал Одуго.— Может, поверишь, наконец, что и слухи о вооруженных грабителях — сказки? Мы ведь ездили повсюду. Никаких часовых, эскортов — ничего.

— Не знаю... По-моему, Джеймс, тебе просто везет. Ты родился в рубашке,— она улыбнулась.

— Надеюсь, нам и дальше будет везти. Мне еще предстоит немало поездить по этой стране. Сейчас не то время, когда можно хандрить и сидеть сложа руки.

Они подъехали к улице Асата Ривер, и Одуго помог Гледис внести в дом ее вещи. Роза радовалась и суетилась вокруг них. Джеймс на том же фургоне отправился на Миликен Истейт.

Дом, где он жил, представлял собой строение с единым двором, каких немало в Энугу. Хозяева сдавали обычно семь — десять комнат, а сами жили в огороженном кампаунде — лучших двух или трех комнатах с окнами, обращенными обычно в сторону улицы,— так что из дома ничего нельзя было вынести незаметно. Водители фургона оказались на редкость любезны и помогли Одуго сгрузить его вещи: мебель, одежду, посуду, постельное белье. Он знал, что они будут ночевать на радиостанции, но все равно дал им денег на еду и гостиницу.

Он начал ощущать себя человеком, возвращающимся к жизни, хотя понимал, что находится еще в самом начале трудного и долгого пути. Энугу оставался городом благотворительности, средоточием консервов и соевых бобов. Здесь раздавали крестьянам лопаты и мотыги, над школьными зданиями заново возводили крыши. Люди с головой ушли в торговлю; продавали все что можно: и свежее мясо, и привезенную с озера Чад рыбу тандава — лишь бы набить слипшиеся кишки, оживить изможденную плоть, разгладить сморщенную кожу. В Энугу люди пытались вернуть утраченную собственность и занимались торговлей, надеясь сорвать жирный куш и открыть собственное дело. И лишь немногие собирались вернуться на работу в общественный сектор, да и то лишь затем, чтобы переждать время.

Джеймс умылся, побрился, но в голову ему опять пришли невеселые мысли. Он понял: визит в Лагос был не более чем передышкой, он не коснулся его жизни здесь, в Энугу. А ведь место его именно тут. И ему вдруг остро захотелось увидеть Гледис, поговорить с ней...

Соседи помогли Джеймсу распаковать вещи и постелить постель. Мебель он расставил в первой комнате. Заканчивая уборку, он ощутил такую усталость, что понял — сегодня ему не попасть на улицу Асата Ривер. Он повалился на постель и проснулся только в полдень.

При встрече с Гледис он заговорил о близких:

— После войны я только и занимаюсь семейными делами.

— Джеймс, а тебе не кажется, что мы слишком много ездим?

— Может быть, Гледис. Но я ведь говорил тебе — это неизбежно. За меня никто ничего не сделает. Это — расплата за поражение.

Гледис, не дослушав его, дотронулась до своего живота:

— Что-то сегодня ребеночек слишком уж часто брыкается.

— В самом деле? — испуганно спросил Одуго.

— Когда я готовлю, он все время лягает меня ножками...

— И больно?

— Да нет, не очень. Ребеночек сильный. Я рада, что оставила его. Он, видно, из тех, что заглатывают матерей, если те пробуют...

— Понял, понял. А когда срок, что говорит доктор?

— Месяца через два.

Гледис быстро приготовила завтрак, но за едой Одуго все больше молчал, прикидывая, что ждет его впереди. После завтрака он пожаловался:

— Столько забот. Надо все решить с Джульеттой, потом съездить в Ободонту к Па Укохе, забрать документы, очень важные.

— На дорогах сейчас опасно.

— Знаю, но лучше все-таки съездить сейчас. Потом будет еще хуже. Да, вот еще что. Я долго обдумывал предложение, которое получил в Лагосе. Нет, мне не хочется переезжать туда и снова связывать жизнь с радио.

— Но здесь будет очень трудно.

— Конечно. Каждый, кто остается здесь, должен принять участие в восстановительных работах. Но если устроиться в частный сектор, руки у меня будут развязаны.

— Смотри, тебе виднее. Да, чуть не забыла. Твоя жена... Я видела ее в больнице. Она, по-моему, собирается рожать.

— Откуда ты знаешь?

— Я была на очередном осмотре и видела, как ее увозили в родильное отделение.

— Дай бог, чтоб у нее все обошлось. Иногда я думаю, что рожать ребенка все равно что делать операцию.

— Почему?

— Никто ведь не может предсказать исхода — жизнь или смерть. А может — осложнение. Мальчик родится или девочка, здоровый или урод, один или тройня. Это самая сложная загадка жизни. И загадывают ее ежедневно.

Гледис погрустнела:

— Такова уж женская доля.

До него дошел слух, что Джульетта родила мальчика. Одуго запел: «Вот я разбит, разбит на самом деле...» Печально: чужой человек воспользовался его женой, чтобы родить себе ребенка.

Одуго пожаловался соседу на свою долю, но в ответ услышал:

— Если я расскажу вам, что случилось после войны у других, вы еще возблагодарите бога. Ведь в стране все идет вверх дном. Весь мир переменился. Люди забыли и стыд, и совесть.

Пересилив себя, Одуго отправился навестить жену. Впервые за долгое время он увидел ее улыбающейся. Беременность всегда раздражала Джульетту, считавшую, что большой живот портит фигуру. А в этот раз все было особенно сложно. Пришлось делать кесарево сечение.

Одуго поздравил жену, подарил ей букет цветов и набор для новорожденного. У кровати Джульетты стоял офицер, которого Одуго видел с ней раньше.

«Это не мой ребенок,— думал Джеймс,— зачем я сюда пришел?»

— Завтра меня выписывают.

— Так быстро?

— Им нужна койка. А я могу поправляться и дома. У меня еще шесть недель декретного отпуска. Потом я должна выйти на работу.

— В самом деле?

Видно было, что она уже все решила; впрямь — сама себе хозяйка.

— Желаю удачи, Джульетта.

Нет, эта женщина не его жена, а странный продукт недавней войны.

— А как твои дела?

— Пытаюсь выкарабкаться.

— Надеюсь, у тебя все будет хорошо,— она улыбнулась покровительственно и жеманно.— Всего тебе хорошего. Спасибо за цветы.

Да, теперь ясно: любовь их погибла, семья разрушилась.

Выйдя из госпиталя, Одуго задумался. Джульетта ушла и никогда не вернется. Зачем впустую тратить на нее время? С тех пор как закончилась война, каждый думает об одном — побыстрей бы наладить жизнь без всяких забот и хлопот. Многие с головой ушли в дела, открывают магазины, конторы, ремонтируют дома и сдают их в аренду. Дети пошли в школу, хоть им и велено приносить в классы цемент и стулья. Короче говоря, пострадавшие от войны залечивают раны, и он — один из них.

— Гледис,— спросил Джеймс, когда они встретились на следующий день,— как ты считаешь, я был справедлив к тебе?

— Да, конечно. Ведь в ту нашу первую ночь ты сказал мне, что женат. А ребенка нашего я хочу сохранить потому, что он — плод истинной любви, любви, пережившей даже войну. И для меня не важно, будем ли мы жить вместе. Я должна уберечь ребенка. Конечно, если можно, я бы хотела всегда быть с тобой. Видишь ли, Джеймс, мы в одинаковом положении: тебя оставила жена, меня — муж, и вот мы нашли друг друга. Это судьба, так зачем ей противиться?

— Верно. Попроси, пускай принесут выпить, у меня есть немного денег.

Сумки, бусы, платки и украшения, купленные в Лагосе, были в беспорядке разбросаны на постели Гледис. Женщины Энугу с утра до вечера заходили к ней, поглаживали отлично выделанные кожаные вещи, трогали блестящие медные пряжки, свыкаясь с роскошью и красотой, которых они были лишены с самого начала войны. Но покупали мало. Деньги водились лишь у тех, кто обзавелся друзьями в армии. Некоторые давали задаток, обещая выплатить остальное по частям,— верный признак того, что мужья их крутятся возле каких-то министерств, заполняя анкеты в надежде получить работу. Им еще, можно считать, повезло; остальные убивали время, взбираясь на деревья манго — а тогда как раз собирали урожай,— и ели мякоть плодов, а зерна выплевывали на головы прохожих. Иные из покупательниц, примерив шикарные блузки, убеждались, что прежние их размеры стали для них слишком велики. За время войны все сильно сбавили в весе. Они гляделись в зеркальце и дивились тому, как меняла их внешность косметика и бижутерия — то, чем они могли бы пользоваться постоянно, будь у них деньги. И тут же начинали ломать голову: где бы достать эти деньги. Ведь от мужей их прождешь и тысячу лет.

Когда все разошлись, в комнату вошла Роза и присела рядом с Гледис.

— Я вижу, дело идет неплохо?

— Да, спасибо Рите Фумори.

— Это еще кто?

— Рита — жена лучшего друга Джеймса. Если б ты знала, как они принимали нас. В доме у них кондиционер, фен, телевизор. И они отдали свою машину в полное наше распоряжение. Я была на седьмом небе. Эта женщина столько для меня сделала. Сводила в мастерские, показала все свое хозяйство. И, между прочим, обещала взять меня в долю, если с распродажей этой все пойдет на лад.

Гледис стала перекладывать вещи.

— Ну, хорошо,— сказала Роза,— завтра сходим с тобой в банк. Узнаем, не перевел ли твой отец деньги.

— Завтра меня здесь, наверное, уже не будет. Джеймс собирался в Ободонту. Он расстроится, если я не поеду с ним.

— Но вы только что вернулись из Лагоса!

— Понимаешь, нам надо забрать ценные бумаги, которые он оставил там у одного старика.

— Что за бумаги такие? Уж не могут пролежать день-другой?

— Документы на землю. Они очень нужны. Одуго хочет продать несколько участков, чтоб иметь начальный капитал.

Роза вздохнула:

— Не понимаю, что влечет тебя к этому человеку. Неужели ты не можешь провести лишний день со мной, женой твоего отца?

— Я очень его люблю. И уверена: он тоже любит меня.

— Но он женат.

— Это не имеет значения.

— Ну что ты в нем нашла?

— Долго рассказывать.

— Молодо-зелено,— усмехнулась Роза.— Я в твоем возрасте полюбила одного человека, а потом узнала, что его тянет не только ко мне одной.

— Роза, ты рассуждаешь как старуха. А на сколько лет ты старше меня? Да и много ли мужчин, верных своим женам. Вот мой отец — разве у него одна жена?

— Нет, не одна. Но есть мужчины, хранящие верность своим возлюбленным.

— Я буду любить Джеймса, даже если он станет волочиться за всеми женщинами в мире. Мне от этого будет ничуть не хуже.

— В тебе говорит отчаяние, ты сумасшедшая.

Гледис рассмеялась.

— Да, забыла тебе сказать,— добавила Роза.— Из Кано пришло письмо от твоего отца. Ему вернули его гостиницы. И на его банковский счет положено десять тысяч фунтов — задолженность за эксплуатацию его собственности во время войны.

— Неисповедимы пути господни.

— Отец просил поздравить тебя. Он не знает, где ты сейчас. Его задерживают дела, но скоро он приедет в Энугу.

— Я очень рада. Значит, верно говорят: «Наше всегда остается при нас». Джеймс был прав — сейчас все дело в деньгах.

Роза посмотрела на кровать.

— Выберу-ка я себе вещицу получше, пока наши женщины все не расхватали. Ведь отцовские денежки, можно считать, у нас в руках.

Она весело закружилась по комнате. Обе рассмеялись.

— Гледис, а вы не боитесь так много ездить? Ведь на дорогах опасно. Вы хоть берете что-нибудь с собой?

— Что именно?

— Ну, чтоб защититься в случае чего...

— Вот еще! В войну я переходила линию фронта и то не боялась.

— Времена меняются, Гледис. Ты разве не слышала о грабежах? В войну винтовки были у солдат, сейчас — у бандитов. Они грабят и убивают без разбора.

— Да, знаю. Я думала об этом. Но Одуго такой человек, если он узнает...

— А ты не говори ему, и все.

— Хорошо, я подумаю.

Гледис положила отобранные Розой вещи в отдельную коробку,

а остальное отодвинула в сторону. Она вдруг почувствовала усталость и легла спать.

3

Машина мчалась по дороге в Ободонту. Одуго развлекался, то и дело переключая радио.

Последние известия строились по знакомому образцу: «Управление по восстановлению пострадавших от войны районов объявило о новой программе помощи. Будут распределяться семенной ямс, мотыги и тракторы...»

Одуго, хоть и прислушивался к голосу диктора, все свое внимание сосредоточил на дороге. Вдруг диктор сказал:

— Экстренный выпуск! По подтвержденным сообщениям, в Ванаголе произошел государственный переворот... диктаторский режим короля Аммандако Моканга пал... с наступления сумерек до рассвета введен комендантский час... запрещено собираться более чем двум лицам... местонахождение короля Моканга неизвестно... по сообщению радио Ванаголы час освобождения пробил... Военными создан национальный освободительный комитет во главе с майором Зукино... Весь день в Ванаголе слышна была бравурная музыка, люди ликовали, сбрасывая с пьедесталов статуи Моканги... Радио постоянно передает: «Да здравствует Ванагола... Да здравствует Ванагола...» Вы слушали экстренный выпуск... Продолжаем нашу передачу...

— Ну и ну! — сказал Одуго.— Пока мы тут идем к миру, другие затевают войну.

— Я рада, что хоть у нас война закончена.

— Ты слышала сообщение из Ванаголы о короле Моканга — это ужасно. Мы в Африке движемся по какому-то заколдованному кругу. Одни страны все еще борются за свободу, другие, получив независимость, формируют свои правительства, в третьих эти правительства свергают, в четвертых полыхает война, и, наконец, где-то воцаряется мир. Чинеке! И это они именуют национальным строительством. Да, жизнь не сахар...

Одуго следил за дорогой. Гледис молчала. Джеймс ушел в свои мысли, он думал о том, что его ждет. И вдруг понял, что за последние три года не видел ничего, кроме бомбежек, саботажа, отступления, благотворительности...

Он вспомнил поездку в Лагос и свое обещание быть с победителями. Жизнь несется вперед с головокружительной скоростью. А ему надо примкнуть к этой гонке где-то посередине — да еще после войны. Все это требует усилий, на которые он вряд ли способен.

— В Ободонте мы не будем терять время зря,— заметил Одуго.— Возьмем документы и — назад, в Энугу.

— Думаешь, Укоха еще там?

— Старики редко уходят с насиженных мест. Па Укоха старый, измотанный человек. У него плохое здоровье — то и дело жалуется на боли в спине. Куда он подастся?

— Но переночевать там нам придется. Уже темнеет. Дай бог, чтобы дети Укохи уже вернулись.— Вдруг в речи ее послышались тревожные интонации:— Джеймс, мне страшно, сама не пойму отчего. Разные мысли лезут в голову. Что, если война еще не кончилась...

— Но ты же слышала радио! Мы уже столько поездили... Не знаю, чего ты боишься?

— Да я и сама не знаю, просто боюсь, и все тут... Ладно, не будем об этом.

— Гледис, я тебе обещаю: после Ободонты мы сделаем перерыв. Никуда не будем ездить. У нас в Энугу полно дел. Правда, нам надо

заглянуть в Огене — навестить моих стариков. И я еще должен поговорить с твоим отцом.

— О чем, Джеймс? — улыбнулась она.

— О нас с тобой. Уж не думаешь ли ты, будто после всего, что произошло, я заживу один? А кто будет ухаживать за моими детьми?

Слова его привели Гледис в радужное настроение. Лицо ее просветлело и стало еще привлекательнее. В глазах ее Джеймс заметил какой-то необычный блеск.

Вечер только начинался, дорога пока была прекрасная. Рытвины и выбоины, противотанковые ловушки — все это ждало их впереди. Вдали заманчиво мелькали холмы и лощины, а мимо проносились разрушенные войной деревни.

Машину несколько раз останавливали на КПП, как правило находившихся у въезда и выезда из деревень. Но на шоссе машины проверяли реже, чем в первые послевоенные дни. Их «фольксваген» мчался, оставляя за собой длинный хвост пыли. По пути им все больше попадались мощные грузовики, следовавшие в Энугу с грузами и людьми. Пассажирские пикапы встречались все реже. После войны люди предпочитали передвигаться утром и днем, избегая ночных и вечерних поездок.

Около Авгу они потеряли почти час в ожидании досмотра. Когда, наконец, тронулись, Гледис сказала Одуго, что слышала, будто ищут дезертира. Одуго ничего не ответил и только выжимал газ, пытаясь наверстать потерянное время.

Вдруг он заговорил:

— Нет, решено! Больше я заниматься этим не стану!

— Чем?

— Радиожурналистикой. Неблагодарная работа. Боссы эксплуатируют вовсю твой дар слова. Тебя используют, чтобы дурачить публику, помыкать ею. А сам ты не имеешь права голоса. Ты только выражаешь чужие мнения. И постоянно ловишь себя на том, что твои слова — ложь или, в лучшем случае, полуправда.

— И все-таки продолжаешь лгать? Мне всегда казалось, будто по радио я слышу правдивые слова.

— В этом-то вся беда. Но люди рано или поздно докапываются до истины и перестают тебе верить. А правительство недовольно тем, что ты не способен поддерживать полезные контакты с общественностью. Во время войны вранью еще можно найти какое-то оправдание. Но в общем тебя все время гложет стыд перед людьми, которые хотят знать правду, но не могут ее добиться. Общественность не играет никакой роли в принятии решений, от которых зависит жизнь тысяч людей. Странное у нас, журналистов, положение. С одной стороны, мы не считаемся частью правительственного аппарата, с другой — правительству без нас не наладить связь с общественностью.

— И у вас нет выбора?

— Нет, такая уж это работа. Ты должен во всем следовать воле работодателя. Вот закончилась война — и официально и фактически. Я был в Лагосе, видел Абрахама Фумори и других ребят за работой. Нет, не смогу вернуться к своей профессии, потому что знаю ее худшие стороны. На прежнем месте я просидел бы не только штаны, но и мозги. Нет уж, лучше я по-другому буду участвовать в национальном строительстве. У каждого из нас с Нигерией, Африкой и Черным человеком связаны большие надежды. А если я вернусь туда, где работал до войны, я никому не смогу поведать свои надежды, только чужие.

— Ты прав, наверное,— заметила Гледис.— Но я хочу, чтобы ты знал одно: я всегда с тобой, Джеймс.

Помолчав, она спросила:

— Ты уже решил, чем заняться?

— Найду что-нибудь... Всех привлекает бизнес. Каждый надеется быстро разбогатеть. Все стремятся взять в банке ссуду — тысчонку-другую. Но я не собираюсь влезать в долги. Я хочу выручить свои деньги и скромно начать новую жизнь. Содействуя развитию экономики и подъему национального духа, можно принести не меньше пользы, чем работая в государственном оффисе.

— И каким же бизнесом ты хочешь заняться?

Он пожал плечами. Глаза его были устремлены на дорогу.

— Информацией. Для журналиста это дело привычное. Мы умеем продавать идеи, людей, товары, даже правительства.— Он засмеялся.— При распродаже я не плачу своей кровью. А мне отваливают за это немалый куш.

Видимо, мысль эта понравилась Одуго, он опять засмеялся и чуть было не потерял управление.

— А много желающих заняться подобным делом?

— Конечно, везде есть конкуренция, но лучшие выживают. Я все свои усилия посвящу общественной информации и рекламе. Сюда входит все...

— Расскажи подробнее,— попросила Гледис и, усевшись поудобней, приготовилась слушать.

— После возвращения из Ободонты я поеду в Лагос и сразу подам заявление об уходе из радиокомитета. Мне выплатят подъемные. Я добавлю все, что мне удастся заработать, и начну свое дело: «Одуго компани лимитед. Реклама и консультация по общественным вопросам».

— Ты и название придумал! Это здорово! — В голосе ее звучало восхищение.— А я назову мое дело «Торговля Глед», а Рита будет снабжать меня продукцией своих мастерских. Но это потом, когда родится ребенок.

— Блестяще! Теперь я могу умереть спокойно. Это самый волнующий момент в моей жизни. Я чувствую себя птицей феникс, готовой возродиться из пепла.

— Ты должен возродиться, и я вместе с тобой.

Он вел машину прямо по рытвинам, выезжал на шаткие мосты, бревна гулко стучали под колесами.

— Никогда не чувствовал себя таким счастливым!

И машина, вторя его порыву, набирала скорость, и еще быстрей мелькало все вокруг.

— Так ты хочешь умереть счастливым? Какой ты забавный, Джеймс! — смеясь шептала Гледис.

— Ты помнишь те вещи, которые дала мне Рита? — спросила она немного погодя.— Люди набрасываются на них как сумасшедшие. Наши женщины после всей этой стрельбы жаждут развлечений, никто не думает о цене... Мне кажется, я смогла бы содержать небольшой магазин готового платья.

— Хорошая мысль.

Они переехали какую-то речушку, и тут машина заглохла и остановилась. Одуго безуспешно пытался завести мотор. Он вышел и поднял капот. У речки не было ни души: никто не стирал белье, не набирал воду. На дороге тоже пусто. Только сейчас он заметил, как быстро опускаются сумерки. В это время в домах уже зажигают свет. Слева и справа сплошной стеной к дороге подступал лес. И чем больше сгущались сумерки, тем пустыннее становилось вокруг. Просить помощи было не у кого. А от близости леса Одуго стало жутко. Наступала ночь — время воспоминаний. Одуго вдруг увидел воочию, как

он и Вик совсем еще недавно выскакивали под ураганным огнем из машины. Из этого самого «фольксвагена». В конечном счете они спасли машину. Мысль эта придала Одуго смелости, но он почувствовал, как его прошиб пот.

Джеймс повозился в моторе, почистил распределитель зажигания, потом заметил, что отошел бензиновый шланг, и поставил его на место. Снова усевшись за руль, он увидел, что Гледис роется в своей сумке. «Наверно, ищет спички»,— подумал Джеймс. Он включил зажигание — безрезультатно. Так прошло пятнадцать отчаянных минут. Наконец, мотор оглушительно взревел. В салоне повис резкий запах бензина. Джеймс вытер с лица пот. Гледис с облегчением вздохнула:

— О Джеймс, как мне было страшно.

— Это все чертовы рытвины. Но ничего — теперь порядок.

Недалеко от Ободонты он съехал на грязную проселочную дорогу. Воздух здесь был уже другой — влажный. Мысль о радушном приеме, который ждал их в доме Па Укохи, придавала им бодрости.

— Может, дети Укохи уже вернулись?

— Дай-то бог. Мы ведь даже не знаем...

Гледис первая крикнула:

— Осторожно, Джеймс!

Но было поздно.

— Стой! — крикнул кто-то.

Одуго резко нажал на тормоз. «В чем дело, ведь почти приехали?» Он заметил, что едва не наткнулся на бревно, лежавшее поперек дороги. Контроля здесь он не ждал. Впрочем, сейчас на дорогах повсюду проверки, и он думал, что жители деревни решили тоже позаботиться о своей безопасности.

— Выходи! Открывай багажник!

Джеймс вышел и открыл багажник — у «фольксвагена» он впереди машины. Гледис сидела на месте.

— Удостоверение!

У него ничего с собой не было.

Присмотревшись, он увидел троих вооруженных людей. Один задавал вопросы, двое других стояли по обе стороны положенного поперек дороги бревна. На них было подобие военной формы, но явно не мундиры федеральной армии. Гледис тоже обратила на это внимание. Крышка багажника заслоняла ей обзор, и она не сразу заметила, как эти трое людей повели Одуго куда-то в сторону. Лишь когда они отошли ярдов на пятнадцать, она увидела их. Одуго шел, подняв вверх руки, согнутые в локтях.

Когда он опустил руки, Гледис крикнула:

— Стой, Джеймс!

Она успела разглядеть его испуганное лицо, потом услышала выстрелы. Джеймс рухнул, схватившись рукой за грудь. Все случилось так быстро, что она даже толком не поняла, что происходит.

Вскрикнув, Гледис выхватила из сумки пистолет и выстрелила в человека, стоявшего ближе к машине. Он упал со стоном. Она увидела, что двое других бросились бежать, и стреляла им вслед, пока не кончились патроны в ее маленьком дамском пистолете. Гледис кинулась к Одуго. Он лежал вниз лицом. Изо рта у него текла кровь. Она попыталась приподнять его, но у нее не хватило сил. Боясь, что грабители могут вернуться, она побежала в сторону Ободонты, крича во весь голос.

Ада Укоха чистила во дворе семена эгуси, когда увидела Гледис. Та была почти невменяема.

Гледис бросилась к ее ногам:

— Я и Одуго... мы ехали к вам... Бандиты... они перегородили дорогу...

— Где?

— Здесь рядом.

Она описала место, и Ада сказала:

— Я знаю, где это. Там буш.

Услышав шум, из дома вышел Па Укоха. Он страшно постарел за это время и еле держался на ногах. Все лицо его испещрили морщины; иссохшие руки и ноги больше походили на части скелета, чем на конечности живого человека.

Стали собираться жители Ободонты. За забором замелькали людские лица.

— Гледис Нвибе,— сказал Па Укоха,— добро пожаловать... Что ты сказала?

— На них напали бандиты,— пояснила Ада.

— Они стреляли в Одуго! Скорей, он лежит там.

— Ранен?

— Не знаю, кажется, они убили его.

— Чинеке покарает дьявола! — воскликнул Укоха, дрожа всем телом и кипя от злобы. Он быстро отдавал приказания:— Вы двое, ребята! Скорее в лагерь — за военной полицией. Скажите, что бандиты убили человека. А вы обойдите-ка все дома, мне нужно человек десять да покрепче. Мы пойдем туда. Берите копья и мачете. Обыщем буш. Пошли.

— Па, может, тебе не стоит ходить, пусть идут те, кто помоложе. Ты должен лежать в постели.

Укоха ходил взад и вперед по комнате, прихрамывая и стуча клюшкой.

— Нам известно, кто занимается этим грязным делом,— уверял он Гледис.— После войны здесь, в Ободонте, не стало покоя. Молодые хотят поскорее разбогатеть. И у них есть оружие. А у нас его нет. Мы, люди постарше, тут устроили сходку. Всех их знаем, только вот боимся давать показания. Но теперь...— и он стукнул палкой об пол,— это отвратительно!

— Па, иди ляг,— сказала Ада, в голосе ее прозвучал укор.

— Помолчи, Ада,— перебил ее муж.— Джеймс Одуго нам как родной сын. Думаешь, я смогу спать спокойно, если здесь в Ободонте с ним что-нибудь случится. Ничего, поживем — увидим.

Вернулись два мальчика и сообщили, что военная полиция выехала на «лендровере».

— Хорошо,— заметил Па Укоха.— В армии у нас есть друзья. Будь здесь Бенн, весь гарнизон прочесывал бы сейчас этот буш.

Не успел он договорить, как появились несколько дюжих молодцов с мачете и копьями. При них были собаки.

— Попытайтесь взять их живыми,— приказал Укоха,— обыщите все. И возвращайтесь с добрыми вестями.

Они ушли вместе с Гледис. Па Укоха пожелал идти с ними, но ждать его было некогда. Однако он довольно долго плелся сзади, тяжело опираясь на палку и еле передвигая ноги. Его догнала Ада.

— Куда ты — после такой болезни? Это дело тебе не по силам. Да и годы твои давно уж не те.

Он не послушался ее, и она вернулась домой.

— Одуго наш сын,— шептал Укоха,— разве можно допустить, чтобы он умер как собака?

Когда на место происшествия прибыли солдаты, машины Одуго там уже не было. Но бревно по-прежнему лежало поперек дороги. Грабители, должно быть, угнали ее, дав задний ход. Это подтвержда-

ли и отпечатки шин. Не нашли и человека, которого Гледис уложила первым выстрелом. Но Одуго оставался там, где его настигла пуля.

Гледис вскрикнула от радости, увидев, что губы его шевелятся. Раненого уложили на носилки и подняли в «лендровер». Гледис села рядом, и машина умчалась в госпиталь.

В военном лагере сестры сразу же обработали раны, они сделали все, что могли. Жаль, доктора не оказалось на месте. Гледис сказали, что за ним отправили посыльного на лошади. Доктор был на вызове где-то в тридцати милях от лагеря.

Одуго открыл глаза и спокойно посмотрел на Гледис. Она наклонилась к нему, чтобы не пропустить ни слова, если он заговорит. Но он, помолчав, снова закрыл глаза. Грудь его размеренно вздымалась и опускалась.

Гледис присела на стул рядом с кроватью. Сердце ее лихорадочно билось. Она впилась взглядом в лицо Одуго, подмечая каждое движение.

Утром он опять открыл глаза и проглотил немного супу, который Гледис ухитрилась влить ему в рот. Сама она не пила, не ела, ни на секунду не покидая раненого. Она забыла даже, что беременна и ей нельзя напрягаться.

Приехал доктор и сделал Одуго операцию. Два дня он не приходил в себя. Дыхание его стало угасать. Гледис послала за Адой. Та пришла, но в палату ее пропустили лишь после долгих препирательств с охраной.

— Ну как он?

Гледис в ответ разрыдалась:

— Ма, я не понимаю, что происходит.

Они долго плакали вместе.

Джеймс Одуго открыл глаза. Он опять спокойно посмотрел на Гледис. Потом его губы тронула чуть приметная улыбка. Лицо его хранило безмятежное спокойствие. С губ сорвалось какое-то слово. Гледис наклонилась пониже, чтобы ничего не пропустить, но поздно — Одуго лежал бездыханный.

Ада взяла ее за руку, чтоб увести из палаты.

— Пойдем, у нас еще столько дел.

Но Гледис рухнула как подкошенная. Ее попытались оттащить от кровати, но она отчаянно сопротивлялась, не желая верить случившемуся.

И вдруг слово, слетевшее с губ Одуго, отчетливо прозвучало в ее ушах, словно он только что повторил его снова. «Темно...» Гледис недоумевала: «Темно...»

4

Военная полиция арестовала бандитов еще до того, как Па Укоха и Ада отправились в Огене. И тут словно прорвало плотину. Вся деревня стала давать показания против убийц, о которых люди раньше упорно молчали. Может, считали, что те, набедокурив по молодости лет, образумятся. Напрасные надежды — война перевернула все. Молодежь больше и слушать не хотела ни стариков, ни близких. Раньше, до убийства Одуго, выдача преступников властям казалась жителям деревни предательством. Но смерть Одуго раскрыла им глаза.

Па Укоха и Ада уехали, оставив Гледис в Ободонте завершить формальности, связанные со смертью Джеймса. До Огене они добрались вечером. В доме Одуго их встретил Стефан и, усадив гостей, удалился во внутренние помещения. Оттуда послышались приглушенные голоса, один из которых принадлежал матери Джеймса. Вскоре появилась и она сама.

— Добро пожаловать! — приветствовала она гостей.

— Мир вам,— ответил Па Укоха.

Потом вошел отец Одуго, седой и старый, но еще не согнувшийся под тяжестью лет. Старики протянули друг другу руки, и Па Укоха по его рукопожатию почувствовал, что человек этот познал крестьянский труд и многие годы не расставался с мотыгой.

— Дайте нам кола,— велел Па Одуго.

Домашние засуетились и принесли деревянную тарелку, протерли ее и наполнили орехами, сдобрив их острой подливкой из перца.

Сердце подсказывало матери Джеймса, что гости явились неспроста, ведь люди в возрасте Па Укохи не уезжают из дома без достаточных оснований. К тому же старик приехал вместе с женой. Может — сваты? Да нет. Незамужних дочерей у Ма Одуго не осталось.

Па Одуго попросил расколоть орех. Он поднял тарелку, вознося молитву богу Осебулуве... Па Укоха смотрел тем временем на дорогу перед домом Одуго. Он почувствовал, как жена ущипнула его за руку:

— Нельзя больше медлить, надо все рассказать им раньше, чем привезут гроб.

А Па Одуго продолжал молиться: «Бог всемогущий, мы живем в тревожное время, кто как не ты должен направлять нас... Одни наши дети исчезли в водовороте войны, другие выжили и вернулись... Мы взываем к тебе... Возврати домой всех до единого, они должны вернуться...»

Па Укоха вздохнул:

— Давно мы не видели...

Но Па Одуго продолжал молиться: «Да не оставит нас надежда...»

Па Укоха снова взглянул на дорогу. Жена опять ущипнула его, а Па Одуго все молился.

Наконец он сказал: «Благослови нас, господи».

И дал всем по куску неочищенного мела, добытого где-то в окрестностях Огене, каждый нарисовал на полу то, что занимало его мысли, загадав желание, как того требовал обычай.

Орех съели молча.

Па Одуго думал о своем сыне Джеймсе.

Наконец Укоха заговорил:

— Я Укоха из Ободонты, а это моя жена Ада.

— Добро пожаловать в Огене.

— Я Одуго, а это моя жена. Парень, который встретил вас,— Стефан, один из моих сыновей, а это — мои внуки, дети Джеймса Одуго. Они живут с нами. За ними присматривает жена Стефана. Добро пожаловать в нашу деревню.

— Мы знаем вашего сына Джеймса Одуго, прекрасный молодой человек. Он рассказывал нам о вас много хорошего. Джеймс жил у нас после войны.

— А, так это вы! Бог воздаст вам за вашу доброту... Воздаст сторицей.— Па Одуго обернулся и приказал: — Принесите вина и зарежьте петуха.

— Мы приехали выразить вам соболезнование,— продолжал Па Укоха.

Мать Джеймса насторожилась и подошла поближе.

— После войны везде поселилось горе. Сына моего Самсона Укоху привезли домой в гробу,— старик достал табакерку и постучал по ней.— Ваш сын Джеймс был прекрасным человеком, душевным и добрым. Он всегда радел о других...

— Не понимаю, что вы имеете в виду?

Па Укоха отсыпал себе на ладонь табаку.

— Мы были в Ободонте, когда узнали... Грабители остановили машину и напали на пассажиров... Мы поспешили туда...

— Нет, не хочу! Не надо! — закричала мать Одуго. Она рухнула на пол и забилась в истерике. Ада Укоха держала ее. Она-то знала, что это такое — потерять сына.

— Па Одуго, утешайте себя тем, что ваш сын был замечательным человеком. Меня только страшит мысль о том, какой смертью он умер. Боюсь и подумать, как мы будем жить дальше... Война все переиначила. Молодые мечтают без всякого труда разбогатеть за одну ночь. Всюду полно спрятанного оружия... А сколько его в руках злоумышленников. Жизнь человеческая ничего не стоит, ничего!

Отец Одуго поднялся.

— Джеймс, сын мой, спи в мире.— Он повернулся к востоку и перекрестился. Постоял, шепча молитву, затем спросил:— А те, разбойники, они на свободе?

— Чинеке не допустил этого!.. Они схвачены и сидят под замком.— Укоха поднес к носу табак и втянул его в себя.— Скоро привезут гроб. Мы выехали вперед, предупредить вас.

Па Укохе и Аде приготовили комнату, в которой они переночевали. Утром из речки наносили воды, и старики помылись.

В воздухе витал запах паленой козлятины, жареного на костре мяса и крепкого пальмового вина. Гроб поставили в гостиной, и по мере того, как весть о смерти распространялась по округе, днем и ночью в дом шли люди: попировать и оплакать покойника.

Детей Одуго увели из дома, за ними присматривала жена Стефана. Но малыши знали: с их отцом что-то случилось и они его больше не увидят. Война и их познакомила со смертью.

Стефан сходил на почту и послал телеграмму Патрику в Лагос.

Днем в Огене приехала Гледис и сообщила, что двое грабителей во всем сознались и сообщили, кому они продали машину. Ее, оказывается, уже разобрали на запчасти. О третьем бандите ничего не было слышно.

Перед отъездом из Ободонты Гледис узнала, что арестованных увезли в казармы для наказания. К вооруженным ограблениям военные относились особенно строго.

Командир части ходил из дома в дом, предупреждая, чтобы не предоставляли ночлега людям, замешанным в незаконной деятельности.

— Мне понравилось, как они взялись за это дело,— сказала Гледис.— Зря времени не теряли. При аресте преступников избили.

— Их теперь расстреляют,— заключил Па Укоха.

Они похоронили Джеймса Одуго на семейном кладбище рядом с его дедом. Гледис, словно окаменев, наблюдала за похоронами, слишком отрешенная даже для того, чтобы плакать.

С кладбища вернулись вместе с Па Укохой, который еле держался на ногах.

— Так Джеймс и не дождался моих похорон,— сказал он.

А мать Джеймса добавила:

— Долгая была война, но он выжил, а вот мира пережить не смог.

В доме готовили угощение, пили, вели разговоры. Па Одуго не выходил из своей комнаты. К нему допускались только самые важные гости.

Повидал он и Па Укоху.

— Мы должны передать вам бумаги, оставленные на хранение вашим сыном.— Он развязал свой мешок и достал пачку документов.— Джеймс говорил, это очень ценные бумаги... Мы должны были вернуть их ему лично, но теперь...

Отец Одуго сидел с опущенной головой.

Укоха стал жаловаться на страшную слабость в суставах, и старикам пришлось задержаться. Они провели в Огене несколько дней, пока Укоха не почувствовал себя лучше.

Их проводили до деревенской площади и там посадили на рейсовый автобус.

— Да, мир все же не без добрых людей,— сказал, ни к кому не обращаясь, Па Одуго, глядя, как отъезжают гости.

Два его младших внука гнали коз на вершину холма. Там еще зеленела трава. Харматтан принес жару, все сохло, с каждым днем все труднее было находить корм для скота.

5

После возвращения из Огене болезнь Укохи стала обостряться. Многим было еще неизвестно, что почти во всех районах, где велись военные действия, разразилась эпидемия. Газетам не верили, считая, что с их помощью хотят запугать людей. Но большинство ожидало, что после войны — само собой — вспыхнет эпидемия. В доказательство приводили эпидемию 1918 года и азиатский грипп, который свирепствовал в годы вьетнамской войны.

Па Укоха заявил, что он не примет помощи врача, обучавшегося медицине в Англии. Веру в свое исцеление он связывал с настоем из трав, который готовил для него местный знахарь. Знахарь этот называл его болезнь «иба» — запущенная форма малярии.

Ослушавшись мужа, Ада пошла к военному врачу, который оперировал Джеймса. Тот осмотрел старика и посоветовал соблюдать покой и не есть мяса. «Не напрягайтесь, ваш организм очень ослаблен». Па Укоха только кивнул в ответ. Он продолжал — один на один — бороться с болезнью; у него пожелтели глаза, и весь мир казался ему теперь желтым и больным.

Однажды, когда Укоха лежал, лишь усилием воли сохраняя сознание, он услышал, как дети во дворе закричали:

— Калу приехал, Калу приехал!

— Вернулся Кристофер!..

— Абель вернулся!.. Абель!

— Приехала Нгози... и муж с нею!..

— Нгози вернулась... вместе с мужем...

Па Укоха слишком часто видел во сне возвращенье своих детей и потому не отличал уже сон от реальности. В глазах его все еще горела жизнь, а тело ослабло, сморщилось, ссохлось чуть ли не вполовину. Он тщился вырваться из темноты, приподняться. В мозгу его молнией сверкнули искры, перехватило дыхание. Он услыхал голоса, слабые и далекие:

— Ндево... дай-ка твою сумку...

— Когда ты приехал?

— Мама! — крикнула Нгози.

При звуке ее голоса глаза старика наполнились слезами.

— Нгози, доченька! — воскликнула Ада.— Ой, как вырос твой малыш,— вот они, дети будущего!

— Мы вернулись...

— Добро пожаловать.

Голоса сливались друг с другом, и он не решался шевельнуться, боясь, что это сон.

Вдруг он услышал:

— А где отец?

Потом прозвучали шаги. Кто-то шел к его двери. Он привстал было, но рухнул назад на кровать. Ада была уже рядом.

— Па,— услыхал он ее голос,— дети вернулись.

Что-то треснуло в его горле. Лежа смотрел он на такие знакомые и дорогие лица, заполнившие его комнату. Взгляд Укохи тянулся к ним; мысленно он обнимал каждого. Нет, перед ним стояли не малые дети, а зрелые мужчины и женщины. Как изменило их время, прожитое вдали от дома, на чужбине. Война обошла их стороной. Он заметил белую женщину с льняными волосами, одетую в светлое кожаное пальто, и подумал: «Чья же это жена? Должно быть — Калу...»

— Па, ндо[1],— сказал Калу, врач, вернувшийся из Германии.— Бригитта, скажи отцу «ндо».

— Ндо,— сказала Бригитта.

— Они приехали,— сказала Ада.— Тебе нельзя теперь думать о смерти, надо поправиться и встать на ноги.— Она заплакала.— После войны погибает столько людей, а ведь умереть сейчас — не то что на поле боя.— Она вытерла слезы.

— Ничего, мама, все обойдется,— успокаивал ее Абель.

Кристофер Укоха, совсем еще молодой, подошел к ней поближе. Оба сына стояли рядом со своей матерью. Но особое впечатление произвел на родителей Френсис — священник. Белый воротничок кольцом охватывал его шею. Он шагнул к кровати и перекрестил распростертого на ней отца.

— Dominus vobiscum![2] — сказал Френсис и сложил руки для молитвы. Лицо Па Укохи сияло от удовлетворения. Сбылось самое сокровенное его желание.

Ада с трудом выбралась из комнаты.

— Дети мои, добро пожаловать. Пойдем распакуем вещи, пускай отец поспит.

На пороге она столкнулась с девушкой.

— Боже мой, кто это? Бенн! Вот не ожидала.

— Дай мне на нее взглянуть,— раздался голос Па Укохи.— Это ты, Бенн?!

Лицо его озарилось улыбкой.

— Да, Па.

— Бенн, когда ты приехала?

— Она радостно посмотрела на всех.

— Вчера вечером. Я вернулась домой навсегда... Лагос... нет, там жить невозможно... Все слишком сложно. Люди только и думают о деньгах.

— Как, ты приехала еще вчера вечером, а пришла только сейчас?

— Я ночевала у подруги.

Зная Бенн, никто ей больше вопросов не задавал.

— Ты все та же, Бенн,— недовольно сказала Ада, и глаза ее сверкнули.

Бенн села рядом с постелью Па Укохи.

— Как ты себя чувствуешь, Па? Хорошо?.. Мы хотим, чтоб у тебя все было в порядке.

Потом она встала и вместе с Адой вышла из комнаты.

Калу Укоха, глядя на отца, сказал:

---

[1] Здравствуй *(ибо)*.

[2] Да благословит вас бог *(лат.)*.

— У тебя инфекционный гепатит. Папа, тебе нельзя есть мяса, только жидкую кашу. Ты должен строго соблюдать режим, принимать глюкозу.

Он тотчас пошел в аптеку, купил глюкозу и препарат для дезинфекции. Весь дом Укохи тщательно продезинфицировали. Когда снова послали за глюкозой, оказалось, цены на нее поднялись впятеро: по радио уже объявили об эпидемии.

У кого-то из детей Укохи оказался транзисторный приемник, и удалось поймать часто транслировавшееся официальное сообщение: «Вспышки гепатита имели место в ряде районов Нигерии, пострадавших от войны. Органы здравоохранения призвали население не пить сырой воды и разбавленного пальмового вина. Много заболеваний кончается смертельным исходом. Для сведения населения: инкубационный период вируса гепатита длится шесть недель, затем появляются следующие симптомы болезни: потеря аппетита, лихорадка, боль в правой верхней части живота и желтуха.

Стало известно также о вспышках холеры на западе республики Берег Слоновой Кости. Эпидемия распространяется на восток. О всех случаях заболевания холерой необходимо немедленно сообщать в органы здравоохранения. Туристов просят перед отъездом из страны сделать прививки. Пункты вакцинации организованы во всех штатах...»

Новость пробудила в жителях Ободонты небывалую активность. Все убирали, чистили дома, жгли мусор. Со стороны деревня напоминала большой костер.

Постепенно желтизна в глазах Па Укохи стала рассасываться. Однажды вечером, когда кризис давно уже миновал, в Ободонту приехал Капитан в шелковой сутане. Он долго молился у постели больного. Потом взглянул на Бенн, но ничего не сказал.

Ночью Капитан послал за ней, но она ответила, что занята.

Капитан пробыл в Ободонте три дня. Он говорил о духовном возрождении, о благах рая и ужасах ада, убеждал Бенн вернуться к нему, чтобы вместе работать во имя его новой цели. Она ответила отказом.

— Ты останешься здесь, в Ободонте?

— Не знаю, когда Па окончательно встанет на ноги, я подумаю о своем будущем.

Поняв, что дальнейшие уговоры бесполезны, Капитан благословил ее и отправился в Энугу, в церковь Серафима, главою которой он был.

Несмотря на современные средства информации, новости в Африке все еще странствуют своими путями. В Лагосе Абрахам Фумори проснулся в полночь, зажег свет и сказал своей жене:

— Рита, ты помнишь вчерашний мой сон о Джеймсе Одуго?

— Да, дорогой,— она повернулась к нему, все еще не открывая глаз.

— А что ты помнишь?

— Ты говорил, будто видел его...

— Нет, я слышал его голос.

— Ах, да! И что же теперь случилось?

— Он умер.

Рита открыла глаза и села на кровати.

— Как ты думаешь,— продолжал Фумори,— к нам в Лагос приезжал тогда сам Одуго? После войны я всегда думал о нем с каким-то странным чувством.

— Что ты хочешь сказать? Человек спал здесь, у нас в доме, мы оплатили счет за банкет в его честь. Уж не решил ли ты, что это был призрак?

— Не знаю.

— Что?!

— Понимаешь,— сказал Абрахам,— Одуго был моим лучшим другом. Когда я мысленно возвращаюсь назад, мне кажется, будто он знал, что должен умереть. Он лихорадочно рвался сделать побольше за краткий отпущенный ему срок. Да и настроение у него было подавленное, не то что прежде.

— Абрахам, все это предрассудки. Просто война очень на него повлияла.

— Да, но...

— Вчера я почти поверила тебе, когда ты сказал, что слышал его голос. Но нет, я не могу допустить, будто Джеймс Одуго, навестивший нас, был духом. Не сердись, пожалуйста, но мне надо выспаться: завтра полно работы.

Они выключили свет.

Гледис решила остаться рожать в Огене. Она настояла на том, чтобы ее поместили в местный родильный дом — на попечение акушерки.

Родилась девочка — как две капли воды похожая на Джеймса Одуго. Стефан и Ма Одуго даже вскрикнули от удивления. Девочку назвали Нкирука, что означает — Великое ждет нас впереди.

Примерно в то же время они узнали, что Джульетта, бывшая жена Джеймса, вышла замуж за лейтенанта федеральной армии.

— Вот она, воля божья,— сокрушался Па Одуго.

А мать Джеймса тем временем ухаживала за Гледис: мыла ее, варила питательный суп со специями, помогающий роженице восстановить силы.

Девочка хорошо себя чувствовала. Через три дня отец Одуго заметил Стефану:

— Говорят, Па Укоха серьезно болен. Поезжай к нему денька на два. Скажи, это я прислал тебя. Да захвати с собой ямса и кукурузы.

Утром дорогу близ Огене забили грузовики с прицепами. Был, правда, базарный день, но на этот раз вдоль обочин громоздились мебель и армейские пожитки. Ходил слух, будто солдат перебрасывают в другое место.

Жители Огене вышли проститься с ними, а заодно купить что-нибудь или продать по случаю.

Гледис сказала:

— Наберусь сил и поеду назад в Энугу, в дом моего отца.

— Как хочешь,— ответила Ма Одуго.— Только сперва ты должна оправиться после родов. Ты столько пережила, и тебе надо прийти в себя.

— Ничего, я не спешу,— ответила Гледис, и на глазах ее навернулись слезы.

Прошел еще один день, и дети Джеймса Одуго пригнали коз с пастбища на холме. Их сводная сестра Нкирука плакала на руках у матери. Па Одуго сидел, откинувшись в своем кресле, чуть покачивая ногой. Он говорил, не обращаясь ни к кому в отдельности:

— Мы пережили кровавую войну. Ведь я говорил: все на свете, начатое человеком, имеет свой конец. Человек не бог, а если возомнит себя богом, пусть попробует творить как всевышний...

Все слушали его не перебивая.

— Грядущая война, неважно, погибнем мы или уцелеем, будет еще страшней и разрушительней. И не случайно мы нарекли нашу младшую внучку Нкирука — Великое ждет нас впереди.— Он взглянул на личико Нкируки, потом на ее мать и заметил выражение счастья в ее глазах. Но он увидел также и горечь утраты, зиявшую черную пустоту.— И все же,— продолжал он,— война за жизнь продолжается. В ней участвуют и отдельные люди, и целые народы. Таков закон вселенной. Возблагодарим же бога за дарованную нам жизнь.

— Но разве мы не мертвы? — спросила Гледис.— Разве война не убила нас всех? Представьте себе человека, у которого было все и вдруг ничего не осталось. Это ли не смерть?

— Дочь моя Гледис,— отвечал Па Одуго.— Мне кажется, человек выживает только тогда, когда он считает, что уже не способен умереть.

Гледис стала качать ребенка. Ма Одуго достала большой белый чан, мыло — все, что надо для купания младенца.

— Дайте-ка мне Нкируку,— попросила она и присела на маленький резной стул — проверить своей высохшей старческой рукой, хороша ли вода.

Нигерия — самая большая по населению страна африканского континента: здесь проживает около 80 млн. человек — свыше двухсот племен и народностей, самые многочисленные из которых — йоруба, ибо и хауса. Конституция колониального времени делила страну на три административных области — провинции — с учетом расселения основных народностей. Это отражало интересы английской администрации, насаждавшей систему косвенного управления колонией. Однако, сохранившись и в независимой Нигерии, старое административное деление способствовало кровавым межплеменным столкновениям, порождало сепаратистские тенденции.

Спустя семь лет после получения независимости в Нигерии вспыхнула гражданская война (конечно, классический термин «гражданская война» в условиях Нигерии следует принимать с известными оговорками), которая продолжалась почти три года (1967—1970). Правители Восточной Нигерии, населенной в основном народностью ибо, заявили о выходе из федерации и создании самостоятельного государства — Биафры. Значительная часть ибо была ослеплена лозунгами сепаратистов, и демагогический характер требований политиков, преследовавших зачастую корыстные цели, выяснился не сразу. Однако по мере развития событий нигерийцы все более отчетливо видели безумие и бессмысленность братоубийственной бойни... Кроме того, африканцы воочию убедились, что западные державы, рвущиеся к нефти и промышленному сырью, могут «зарабатывать» на войне, не вмешиваясь в нее.

О гражданской войне в Нигерии писали многие литераторы (Элечи Амади, Воле Шойинка, Чинуа Ачебе, Исидор Окпевхо и другие), однако лучшая книга все еще впереди. Очевидно, она должна быть подготовлена другими произведениями, всем ходом литературного развития. На подступах к этой книге, естественно, бывают удачи и поучительные поражения. Но все имеет свою ценность и свое значение — ни одно усилие не пропадет втуне. Калейдоскопичность, разнообразие картин приобретают подчас не меньший смысл, чем углубленный психологизм; острота сюжета и умелое его развертывание бывают не менее важны, чем самый тонкий анализ.

Автор публикуемого романа Киприан Эквенси рассматривает события глазами журналиста. Журнализм Эквенси, о котором часто писали критики,— и впрямь достоинство в той же мере, что и недостаток. Сколько раз говорилось о нем (в том числе и у нас): «первый», «раньше других», «в гуще событий», «широкое полотно», «проблемность» — и тут же: «поспешность», «развлекательность», «противоречивость авторской позиции».

Волею судеб имя Киприана Эквенси останется в истории нигерийской литературы, ибо он — автор первого романа, написанного в его стране: книга «Люди города» вышла в 1954 году. Так Эквенси стал «первым» нигерийским писателем, и интерес к его творчеству никогда не пропадал, даже когда другие имена потеснили его. Ранее он работал в Нигерийской радиовещательной компании. Когда же прогремели выстрелы, Эквенси, ибо по происхождению, перешел на сторону Биафры и стал руководителем Бюро связи с зарубежной общественностью. После войны Эквенси бросил журналистику и стал работать химиком (по профессии он фармацевт) в одной частной фирме в городе Энугу. Сейчас он издатель.

Читатели заметят, что многие вехи этой биографии в точности повторены в судьбе Одуго, главного героя книги «Переживи мир». И если автор примерял свою судьбу к персонажу своей книги, то невольно возникает подозрение, что и судьба Одуго так или иначе примерялась к автору. Черты веселых, жизнелюбивых и женолюбивых протагонистов других романов Эквенси есть и в Одуго, но никогда прежде герой Эквенси не бывал таким разочарованным, печальным, разбитым. Горечь, которая проступает в словах Одуго: «Да вот, оказывается, в чьих бы руках ни была власть, тому я и служу», эта горечь, вполне вероятно, принадлежит Эквенси. Может быть, поэтому он и поступил так, как собирался поступить его герой,— забросить журналистику, переключиться. Должно быть, и гибель Одуго Эквенси пережил как возможное завершение собственной судьбы. Что же вызвало опустошенность и разочарованность героя романа (и автора)? Поражение в войне той стороны, на которой он воевал? Нет. В самом начале книги, когда исход войны еще неопределен, звучит циничный смех журналистов Биафры, «выпекающих для мира ложь». А там, где есть ложь, где ложь — привычное, обыденное, повседневное дело, не может быть чувства правоты, а стало быть, поражение не может ощущаться как унижение духа и растоптанность идеалов. Потому-то Одуго, догадываясь о близком конце войны, думает лишь о спасении. «Война проиграна,— снова пронзила его мысль.— Что я стою здесь как под гипнозом? Не пора ли бежать?» Никаких нравственных терзаний, даже никаких горьких чувств — в памяти всплывает лишь «главный закон войны — закон выживания. А он требует пищи, одежды, крова...». Как впоследствии, после официального объявления об окончании войны выразился один из посетителей модной забегаловки «Хэппи сэрвайвел»: «Ну знаете! Сперва должна выжить моя плоть, а там уж и дух».

«О доблестях, о подвигах, о славе» никто не думает, не заботятся даже о выполнении воинского долга. Доблесть проявляет в книге лишь один персонаж — Самсон Укоха, который, не зная об окончании войны, вступает в неравный бой и бессмысленно погибает. Но это расценивается скорее как одно из безумств войны, чем как геройство. Гораздо типичнее другой эпизод, когда биафрские солдаты срывают с себя форму и бросают оружие, дезертируя с поля боя, и над ними из репродуктора звучит «доверительный голос диктора: «Доблестные биафрские части отбили сегодня атаки противника...»

Война осознается всеми как братоубийство, ложь, политиканство. Один из персонажей, по прозвищу Капитан, приносит с фронта череп, который становится символом этой страшной войны, оставившей после себя «мерзость запустения».

Одуго, подобно многим своим соотечественникам, не сожалея о проигранной войне, включается в общее бегство с поля боя (впрочем, нисколько не позорное) ради спасения жизни. «С выживанием!» Это стало новой формой приветствия в послевоенной Нигерии. Трогательное поначалу, приветствие приобретает со временем пошловатый оттенок: «С выживаньицем!» И произносится с многозначительным подмигиванием: «Ну как? Много ли ухватил? А я вот урвал недурной кусочек!» Корысть, нравственная нечистоплотность, бандитизм — таково наследие нигерийской трагедии. И если бездуховность и ложь самой войны еще можно было перенести в надежде на грядущие перемены, то после окончания войны атмосфера, в которой расцветают чистоган, спекуляция и разврат, становится удушливой для человека, думающего не только о «выживании плоти» (тем более что эти слова превратились в синоним наживы). Вот почему Одуго сомневается в возможности полноценного возрождения.

Одуго и не сумел выжить. Смерть его как будто случайна — он гибнет от пули бандита. Однако в художественном произведении не бывает случайностей, и если писатель убивает своего героя, то следует задуматься о том, что это значит. Тем более что печать смерти замечают на челе Одуго его друзья задолго до его гибели. Один из них говорит: «Мне кажется, будто он знал, что должен умереть. Он лихорадочно рвался сделать побольше за краткий отпущенный ему срок».

Мир, наступивший после войны, не составляет войне контраста. Он движется и живет войной, он убийствен. В нем возможно не выживание, а «выживаньице». Такой мир пережить трудно И надо понять, что воздействие войны на душу человека не прекращается с официальным объявлением об окончании войны. Одуго близок к пониманию этого, когда надеется на в о з р о ж д е н и е, связанное не с возвращением к старому, а с р о ж д е н и е м н о в о г о (в его конкретном случае это ожидание ребенка от любимой женщины), но его собственная судьба уже предрешена, и душа его умирает прежде, чем пуля входит в его плоть.

«Переживи мир» — не эпопея, не психологическое произведение, это скорее роман-хроника, роман-репортаж, но, как бывало и прежде, Эквенси прикоснулся к струнам, которые богаты обертонами. Чуткий слушатель сможет уловить в звучании этих струн большее звуковое богатство, чем то, которое собирался извлечь из них сам исполнитель.

ВИКТОР БЕЙЛИС

■

ДЖОН АПДАЙК

Давай поженимся

РОМАНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

Перевод с английского Т. КУДРЯВЦЕВОЙ

Дома она расплатилась с миссис О., которая, накормив Джоанну с Чарли и отправив их на улицу, уселась в качалке подремать. Руфь налила в стакан апельсинового сока, добавила немного вермута и позвонила на работу Джерри. Телефон был занят. Она звонила ему четыре раза на протяжении двадцати минут, прежде чем телефон освободился и она услышала его голос.

— С кем ты так долго говорил?— спросила она.

— С Салли. Она сама мне позвонила.

— Вот это уже подло.

— Почему? Она была расстроена. Кому же ей еще звонить?

— Но ведь я только что просила ее этого не делать.

— И она обещала?

— Не совсем. Она сказала, что считает нас обоих очень незрелыми.

— Ага, она так и сказала, что ты передашь мне ее слова.

— А еще что она сказала?

— Сказала, что ты говорила ей, что я по-прежнему тебя люблю.

— А ты что на это сказал?

— Забыл. Я сказал, что, наверное, так оно и есть — в каком-то смысле. Не знаю, почему это должно было ее расстроить — она ведь и сама в общем-то так считала. Это же ясно.

— А почему это должно быть так уж ей ясно? Ты ведь говорил ей, что любишь ее, ты спал с ней, ты всем своим поведением давал ей понять, что я для тебя ничего не значу.

— Ты думаешь?

— Конечно, детка. Не будь таким тупицей, или садистом, или кто ты там еще есть. Ты же дал ей понять, что любишь ее.

— Ну конечно, но только мои чувства к ней совсем не исключают того, что я могу питать чувства и к кому-то еще.

— О, безусловно.

— Ну вот, теперь ты разозлилась. Это безнадежно. Почему бы вам не пристрелить меня и не жениться друг на дружке?

— А мы друг дружке не нужны. Мы попытались было обняться как сестры и отскочили друг от друга, как две мокрые кошки.

— Она сказала, ты просила ее какое-то время держаться от меня подальше.

— До конца лета. Мы же об этом с тобой условились.

— Вот как?

— А разве нет?

— Но я не думал, что ты отправишься туда и все ей выложишь.

— Ничего я ей не выкладывала. Я была с ней предельно любезна — до тошноты.

— Она сказала, ты была очень холодная и наглая.

— Неправда. Нет. Если кто и был наглый, так это она. Да и вообще, на мой взгляд, она та́ еще штучка.

---

[1] Окончание. Начало см. в № 7.

— Она считает, что ее предали,— попытался оправдать ее Джерри.— Говорит, что влюблена в меня, а я просто играю ею.

— Что ж. В общем-то ты ведь и сам признался мне, что для тебя это лишь эксперимент. Тебе интересно посмотреть, что будет. Если я взорвусь, это избавит тебя от необходимости принимать решение.

— Не совсем так. Во-первых, еще немного, и ты бы догадалась. Во-вторых, она торопила меня, чтобы я ч т о-т о предпринял.

— И все же, по-моему, говорить, что ее «предали»,— это уж слишком. Если кого и предали, так м е н я. Но никто из вас, видно, не намерен принимать во внимание, что и я имею право на чувства. Во время разговора с ней мне то и дело приходилось напоминать себе, что виновата-то не я. Вы оба, видно, считаете меня удивительно черствой — давно бы, мол, пора взять и сдохнуть.

— Ни Салли, ни я этого не считаем. Только, пожалуйста, не плачь. Ты же героическая женщина. Салли так и сказала.

— А что она еще обо мне сказала?

— Сказала, что ты очень складно говоришь.

— В самом деле? Это смешно. Я же говорила совсем не складно. Точно стреляла короткими очередями в разных направлениях.

— Она что-нибудь говорила о Ричарде?

— Почти ничего.

— А что она сказала про детей?

— Она, видимо, считает, что дети не играют во всей этой истории существенной роли. Она считает, что они — лишь предлог, которым мы пользуемся.

— Так она и сказала?

— Намекнула.

— А еще что было?— Эта его жажда слышать слова Салли казалась неутолимой — бездонный колодец, который ей придется без устали наполнять.

— Дай подумать,— сказала Руфь.— Да. Ей очень хотелось знать, кто был моим любовником, и она спросила, не Дэвид ли.

— Прости меня, солнышко, за то, что я проболтался. Но я подумал — пусть узнает, это хоть как-то уравняет вас.

Руфь невольно рассмеялась, несмотря на слезы и вермут, представив себе Джерри в роли рассудительного устроителя этого небольшого состязания двух кобылиц.

— Что тут смешного?

— Ты смешной

— В о в с е н е т,— сказал он.— Я вполне разумный, приличный человек, стремящийся никого не обидеть и одновременно принимающий участие в бесконечных идиотских совещаниях, на которых пытаются установить, какого оттенка серого цвета должен быть средний представитель «третьего мира» в этих идиотских тридцатисекундных вонючих сериях!— Поскольку она никак не реагировала на этот вопль души, он вдруг спросил:— А это в с е-т а к и был Дэвид?

— Нет, это был не Дэвид Коллинз. Меня никогда не влекло к Дэвиду Коллинзу. Я даже танцевать с ним не могу. И мне не нравится, что мой роман превращается в забавную историю для всеобщего увеселения.

— В о в с е н е т, солнышко. Все относятся к этому очень серьезно. Собственно, я считаю твой роман тем катализатором, который всем нам необходим.

— А я считаю, что этот катализатор необходим прежде всего твоей подружке для вполне дружеского шантажа.

— И откуда только у тебя такой макиавеллиевский ум? Что еще сказала Салли? Она подписала этот контракт «руки прочь», который ты ей предложила?

— Ничего подобного. Она все твердила, что решать должна не она.

— А кто же — ты или я?

— Ты. Мужчина. Господи, эта женщина произносит слово «мужчина», точно святее его в языке нет, меня чуть не стошнило.

— Да разве я м о г у решить? Я же далеко не все знаю. Не знаю, любишь ты меня или нет; ты говоришь, что любишь, но я этого не чувствую. Возможно, на самом деле ты как раз хочешь, чтобы я развелся с тобой, но молчишь из вежливости. Может, это будет самым счастливым событием в твоей жизни.

— Сомневаюсь,— медленно проговорила Руфь, пытаясь представить себя разведенной — одинокая, босая, седеющая.

А Джерри торопливо продолжал:

— Я не знаю — а вдруг у детей случится нервное расстройство. Я не знаю — а вдруг Салли, заполучив меня, обнаружит, что я зануда. Иной раз я думаю, что ее и тянет-то ко мне только потому, что она еще н е заполучила меня. Возможно, ей нравится лишь то, что недоступно. Возможно, все мы такие.

— Может быть,— сказала Руфь, не очень следившая за ходом его речи.

— Ну, а раз так,— заключил Джерри, словно она возражала, доказывая обратное,— нелепо разбивать две семьи, которые более или менее держатся, и портить жизнь полудюжине детей. С другой стороны, е с т ь что-то, связывающее меня с Салли. И что-то в известном смысле очень прочное.

— Я не желаю об этом слушать.

— Не желаешь? О'кей. Тогда скажи про себя. Как ты ко всему этому относишься? Радуешься? Огорчаешься? Хочешь развода?

— Не радуюсь и не хочу развода.

— Ты огорчена.

— Подавлена. Тянет на вермут. Разговор, который у нас с ней был, только сейчас начинает на меня действовать.

— Неужели это было так неприятно? А тебя не потрясла чистота у нее в доме? И так всегда, когда бы ни пришел — днем или ночью. Кстати, она не показалась тебе куда более умной, чем ты ожидала?

— Менее.

— Менее?

— Гораздо. Когда ты вернешься домой?

— Не знаю. В обычное время. Возможно, немного позже.

— Значит, поедешь к ней.

— О'кей! Ты не возражаешь?

— Возражаю.

Джерри явно удивился.— Я думаю, так оно лучше будет. Судя по голосу, она в полном отчаянии.

— Если она тебя увидит, ей станет только тяжелее.

— Почему? Я же ей нравлюсь. При мне у нее всегда поднимается настроение.

— Ричард может оказаться дома.

— Тогда мы встретимся где-нибудь на пляже.

— Тучи собираются.

— Так всегда бывает около полудня,— сказал ей Джерри.

— Вы, конечно, не только будете обсуждать великие проблемы,— вырвалось у нее.

Голос Джерри куда-то ушел, стал одним из компонентов телефонной трубки, как металл и кристаллы.

— Не фиглярствуй,— сказал он.— Это уже в прошлом. Благодаря тебе. Поздравляю.— И повесил трубку.

Она почувствовала себя отстраненной; она преступила границу дозволенного. У этого таинства были свои законы — не менее запутанные, чем лестницы в замке; она по ошибке постучалась в дверь комнаты, где лорд и леди возлежали и предавались любви. И стоя перед этой дверью, она почувствовала себя маленькой, испуганной и пристыженной, отринутой и завороженной, как дитя. Руфь только сейчас заметила, что пока левая рука ее держала трубку, правой она вычерчивала на обороте конверта со счетом цепочку из квадратных звеньев. Места пересечения квадратиков она заштриховала сообразно законам светотени, хоть и была в смятении чувств. Она внимательно изучила абстрактный рисунок и подумала: если Джерри ее бросит, она, быть может, в конце концов действительно станет художницей.

День был жаркий, и дети шумно требовали, чтобы их везли на пляж. Они не понимали, почему мать портит им такой день. В их воплях, казалось, слышался затаенный страх. Но Руфь считала, что надо сидеть дома, надо быть на месте: а вдруг что-то произойдет. Она не знала, что именно, но вбила себе в голову, что может понадобиться Джерри. От этой его воображаемой нужды в ней у Руфи буквально сосало под ложечкой. В положенное время Джоффри был уложен спать, а двое старших убежали к соседям. Рады уйти от матери. Она села за пианино, но музыка не завладела ею: барочные завитки Баха не сплетались в единую мелодию. Руфь подошла к телефону и позвонила на работу Джерри; ей сказали, что он уехал на весь день. Домой он вернулся только после пяти; она в это время была наверху — зашла посмотреть на Джоффри. Ей показалось, что мальчик неестественно долго спит; может, думала она, из-за того, что его опрокинула эта ужасная собака Матиасов — как же ее зовут?..

Входная дверь хлопнула. Раздался голос Джерри, вот уже его шаги зазвучали на нижних ступеньках лестницы. Руфь крикнула:— Не поднимайся!— Когда она вошла в гостиную, он кружил среди мебели, точно искал что-то, и курил. Дымящаяся сигарета в его руке показалась ей чем-то непристойным, хотя прошло всего три месяца с тех пор, как он бросил курить.— Зачем ты куришь?— спросила она.

— Я купил пачку по дороге домой,— сказал он.— Я ведь и курить-то бросил, чтобы лучше чувствовать ее вкус. А теперь хочу подцепить рак.

— Что случилось?

Он расправил ковер ногой, выровнял несколько книг на полке.

— Ничего,— сказал он.— Ничего особенного. Она плакала. Я сказал, что больше не приеду к ней, пока не буду свободен, а она сказала — да, этого она и ждала. Я сказал, что иначе — нечестно. Она согласилась и поблагодарила меня за то, что чувствует себя любимой. А я поблагодарил ее за то, что чувствую себя любимым. Все бы ничего, но потом она начала плакать.— Он глубоко, с надрывной драматичностью затянулся сигаретой и так впился в нее губами, словно не собирался больше выпускать.— Господи,— произнес он.— Не привык я к этому. Просто голова идет кругом.— Он осторожно опустился у столика и поправил абажур на лампе.— Она сказала — она не ожидала, что я так быстро сдамся тебе.

— А потом, я полагаю, ты заключил ее в объятия и попросил потерпеть всего несколько дней, пока ты уговоришь эту старую калошу дать тебе развод.

— Нет, вовсе не так. Я этого не говорил. Жаль, что тебя там не было: ты бы мне подсказала. Я вообще мало говорил. Одурел совсем.— Он снова глубоко затянулся, сделал несколько неверных шагов и с такою силой плюхнулся в датское кресло, что хрупкое дерево затрещало; а потом его словно ударило сзади накатившей волной, голова его пригнулась — Руфь подумала, что он сейчас закашляется, но он заплакал. Рыдания его перемежались громкими вздохами — так скрежещут, включаясь, тормоза грузовика,— обрывками фраз: он пытался выговориться.

— Она сказала мне... это почти последнее, что она мне сказала... чтобы я был добр с тобой... чтобы не мучил тебя ею

— Но как раз этим ты сейчас и занимаешься.

— Я не нарочно. Послушай. Я не хочу, чтобы наш никудышный брак наладился из-за того только, что она научила меня любить, а тебя научила... ценить меня...

— Я никогда не говорила, что не ценю тебя.

— А тебе и не надо было это говорить — я всегда это чувствовал. Ты вышла за меня замуж, потому что... я умею рисовать. Чтобы я рисовал... а ты... раскрашивала.

— Какая нелепица. Послушай, Джерри, ты мне не нужен, если ты намерен продолжать и дальше в таком же духе. И все из-за этой бабы. Извини, но я так не могу. Я не могу относиться к этому серьезно.

— Тогда скажи мне — уходи. Скажи сейчас же.

Когда у Джерри возникали приступы астмы, он просыпался ночью с ощущением, что ему нечем дышать. Он шел в ванную — выпить воды или просто размяться — и, ссутулившись, возвращался в постель, где Руфь обычно уже лежала без сна. Он говорил, что у него в легких словно встает стена или поднимается пол, и он не может набрать достаточно воздуха, и чем больше он старается, тем плотнее становится стена; внезапно он весь покрывался по́том, и кричал, что умирает, и спрашивал ее, зачем она его душит, зачем нарожала ему столько детей, почему не может поддерживать чистоту в доме, почему отказывается верить в Иисуса Христа, в воскрешение Лазаря, в бессмертие души,— не было границ его обвинениям, а она молча все сносила, так как знала: пока у него хватает дыхания все это изрыгать, он не задохнется. Проходил час, а то и больше; наконец ему надоедало оскорблять ее и через нее — бога, наступало расслабление, и он засыпал, доверчиво похрапывая, а она лежала рядом и широко раскрытыми глазами смотрела в темноту. Она не могла понять, как он, зная, что всего лишь страх спазмой сжимает ему легкие, лишая их нормального питания кислородом, не в силах мобилизовать волю и избавиться от своих приступов; но сейчас, заглядывая в себя, Руфь обнаружила, что и у нее внутри появилась такая же странная стена: мозг ее не в состоянии был представить себе, что надо отпустить Джерри. Она понимала, что он решил заставить ее страдать, если она его не отпустит, и что чувство собственного достоинства повелевает ей немедленно пожертвовать их браком. Эта жертва была бы таким простым шагом, смелым, чистым, прекрасным. Она вознесла бы ее над всеми мелкими людишками, этими гринвудскими прелюбодеями. Руфь даже чувствовала, как за этой стеной в ней рождаются мечты и жажда свободы. Но она не могла к ним прорваться. При всем своем старании — не могла. Наивный мужчина переспал с жадной до всего женщиной, зачем же делать вид, что тут что-то большее,— ничего за этим нет. Они преувеличивают — оба, и хотя Руфь понимала, что красота связана с преувеличением, кто-то должен же стоять за правду. А правда в том, что Салли, пожалуй, лучше держаться Ричарда, а Джерри — ее, чем объединяться вместе.

— Я бы так и поступила,— сказала она Джерри,— я бы завтра же пошла к адвокату, если бы речь шла о женщине, которую я уважаю.

— А ты уважала бы,— быстро парировал Джерри,— лишь женщину, которая была бы точной копией тебя.— Он перестал плакать.

— Неправда. Я совсем не в таком уж восторге от самой себя. Но Салли... она же д у р а, Джерри.

— Значит, и я дурак.

— Не настолько. Ты возненавидишь ее через год.

— Ты так думаешь?— Это его заинтересовало.

— Уверена. Я видела вас вдвоем на вечеринках: вы психуете, когда вместе.

— Ничего подобного.

— Вы оба ведете себя, точно с цепи сорвались.

— Я не могу сказать тебе, что именно я в ней люблю...

— Отчего же. Вы оба одинаковые в любви.

— Откуда ты знаешь?

— Догадалась.

— Это правда. Она не превращает секс в обряд, как ты. Просто ей это нравится.

— А чем же я превращаю секс в обряд?

— У тебя все должно быть безупречно. Раз в месяц ты бываешь потрясная, но у меня нет терпения столько ждать. Времени, отпущенного для жизни, остается в обрез. Я умираю, Руфь.

— Прекрати. Неужели ты не понимаешь, что перед каждой женщиной стоит эта проблема: жена доступна — никаких препятствий. Значит, она должна их создать. Мне знакомо это чувство служения мужчине: ты существуешь, чтоб утолять его голод, это чудесно. Но лишь тогда, когда ты — любовница. Салли — твоя любовница...

— Нет. Впрочем, да, конечно, но я уверен, что она и со своим мужем такая же, как со мной. Только нас связывает нечто большее, чем постель. Когда я с ней — неважно где, просто стою на углу улицы и жду, когда изменится огонь светофора,— я знаю, что не умру. Или даже если знаю, что умру, то мне это почему-то безразлично.

— А когда ты со мной?

— С тобой?— Он говорил с ней так, точно перед ним сидели слушатели, которых он перестал видеть.— Ты — смерть. Очень спокойная, очень чистая, очень далекая. Что бы я ни учудил, ты не изменишься. Это даже не позабавит тебя. Я женат на собственной смерти.

— Дерьмо.— Да как он может сидеть с этим самодовольным, даже выжидающим видом и говорить, что она — смерть? Он обвиняет ее в унитарианской самовлюбленности, а самовлюбленностью-то страдает он; это проявляется и в его горе, и в его безнадежной любви, и в этих его легковесных истинах.— Ты обязан как следует все продумать, а ты только болтаешь языком. Ну, предположим, ты женишься на Салли. Будешь ты ей верен?

— А тебе какое дело!

— Ну как же: ты ведь просишь, чтоб я уступила мое место этой твоей распрекрасной любви. Но только так ли уж она прекрасна? Ты обнаружил в себе некое удивительное качество: оказывается, женщины любят тебя.

— Вот как?

— Прекрати. Хватит паясничать. Подумай. Ты уходишь к Салли или же расстаешься со мной — что перевешивает? И в какой мере ты используешь ее, чтобы избавиться от брака? От детей? От работы?

— Разве я хочу от всего этого избавиться?

— Не знаю. Просто нет у меня такого чувства, что Салли серьезная мне соперница. По-моему, моей соперницей является возникшая у тебя мысль о свободе. Так вот что я тебе скажу: став женой, Салли возьмет тебя в шоры.

— Я это знаю. И она это знает.— Джерри поднял руку — Руфь подумала, что он хочет вытереть глаза, но он вместо этого почесал затылок. Разговор иссушал его.— В общем-то,— сказал он,— наверное, действительно безрассудно одну моногамию менять на другую.

— Безрассудно и дорого.

— По-видимому.

— А если ты поскользнешься, думаешь, она станет долго ждать и не отплатит тебе тем же?

— Долго не станет.

— Правильно. Поэтому оставь-ка ты ее в покое на какое-то время и подумай о том, чего ты на самом деле хочешь — эту толстозадую блондинку или...

— Или?

— Или женщин многих и разных.

Джерри улыбнулся.— Ты предлагаешь мне многих женщин?

— Не совсем. Даже вовсе нет. Я просто обрисовываю тебе реальное положение вещей.

— Одно в вас, унитариях, хорошо: вы не слишком обременены мещанской моралью.

— Лютеране вроде бы тоже.

— А нам она и не нужна. Нам хватает веры.

— Так или иначе, я рассчитываю, что мне за то разрешено будет завести двух-трех мужичков.

Это удивило его:— Кого именно?

— Я тебе сообщу.— Она прошлась по комнате в некоем подобии танца, и большое зеркало в золоченой раме, висевшее между двух окон, выдало ей неожиданное отражение: лихо выдвинутое бедро, задорно приподнятый локоть, плотно сжатые губы, будто она откусила от слишком сочного плода. Она замерла, потрясенная увиденным, а Джерри подошел к ней сзади и взял в ладони ее груди.

— Ты, видно, считаешь,— сказал он,— что тебе идет быть развратной.

Ей было неприятно его объятие: жалость к брошенной женщине отравила всю радость одержанного успеха. Она высвободилась и сказала: — Мне надо на пляж. Я весь день обещаю детям поехать. Ты едешь с нами или бросаешь нас?

— Нет. Еду. Все равно мне некуда деваться.

— Твои плавки висят на веревке во дворе.

У молодых супружеских пар Гринвуда — после того, как женщины перестали одаривать семьи новыми детьми,— возникла поистине ритуальная потребность поддерживать отношения, и они находили бесконечные поводы для встреч. Пляж,

танцы, теннис, различные комиссии, да еще волейбол по воскресеньям во второй половине дня. Естественно, что Конанты и Матиасы при таком положении вещей не могли не встречаться. Салли, ходившая все лето в пастельных тонах — белые брюки, трикотажные кофточки-безрукавки цвета слоновой кости, желтый, выцветший от солнца купальный костюм,— казалась Руфи застывшей, до ломкости хрупкой; она смотрела на Джерри, как завороженная, с неизменным страхом. Любопытно, думала Руфь, неужели ее муж способен, как мужчина, производить столь сильное впечатление. Вихрь, сломавший эту женщину, словно дерево в ледяную бурю, время от времени налетал и на нее, но в ней не шевелилось ни листочка, и Руфь, естественно, спрашивала себя, да жива ли она вообще. Из смятенных глубин ее души снова поднялось подозрение, что окружающие — и мать, и отец, и сестра — как бы участвуют в некоем заговоре, заговоре, именуемом жизнью, а она из него исключена. Ночью, лежа рядом с Джерри, она перебирала разные возможности: сбежать, завести нового любовника, пойти на работу, вернуть Ричарда, покончить с собой,— словом, так или иначе ринуться на невидимое препятствие и доказать легкой вспышкой, распустившимся цветком боли, что она существует. Она очутилась в совершенно немыслимом положении, когда надо заставить себя поверить, а она почему-то никак не может поверить Джерри до конца; он же, чувствуя эту ее неспособность, всячески ее вскармливал, расширял, ибо то была брешь, через которую он мог бежать. Он укреплял возникшее у нее впечатление, будто окружающий мир — не тот, в котором она родилась.

Вечером, по воскресеньям, после волейбола, Конанты возвращались домой, где царил полный ералаш, все было вверх дном — незастланные кровати, сломанные игрушки, грязные подушки, сваленные горой. Джерри садился в кресло и источал горе. Он играл в волейбол азартно — кидался на мяч, приседал, падал, а лужайка у Коллинзов, когда ноги игроков вытоптали на ней траву, обнаружила множество всякой дряни — бутылочные пробки, осколки разбитого стекла, так что Джерри часто резался; он сидел сейчас в своих укороченных шортах цвета хаки, колено у него кровоточило, как у мальчишки, упавшего с велосипеда, и пока она глядела на его опущенное лицо, на кончике его носа появилась капля, упала, и на ее месте тотчас возникла другая. Нет, не могла Руфь воспринимать его серьезно.

— Ради всего святого, Джерри. Возьми себя в руки.

— Я стараюсь, стараюсь. Мне действительно не надо с ней видеться. А то у меня потом наступает похмелье.

— Что ж, давай не будем больше ходить на волейбол.

— Придется — из-за детей.— Дети уже спали или дремали, завороженные бормотаньем телевизора.

— Из-за детей — еще чего скажешь! Господи, как же ты их используешь! Мы ходим на волейбол только для того, чтобы вы с ней могли обменяться под сеткой нежными тоскующими взглядами.

— Вот уж никак не нежными и не тоскующими. У нее глаза стали холоднющие.

— Они у нее всегда такие были.

— Она меня теперь ненавидит. Я потерял ее любовь — ну и прекрасно. Именно этого мы и хотели, теперь мне ничего не надо решать, сам не понимаю, почему меня это задевает. Извини.

— Не будь идиотом. Никакой ее любви ты не потерял. Просто она ведет себя так, как ты просил, и, по-моему, у нее это отлично получается.

— Она ведет себя так, как т ы просила.

— Еще чего! Да она...— Следующие слова удивили ее самое — это было старое, излюбленное выражение ее отца: — ...гроша ломаного не даст за меня — как и ты, впрочем. Я тут — ноль, борьба идет между ней и детьми, так что не пытайся взвалить всю вину на меня. Я не собираюсь тебя удерживать — вставай и поезжай к ней. П о е з ж а й.

— Извини,— сказал Джерри, и это было искренне.— Просто я увидел ее лицо в определенном ракурсе, посылая ей мяч, и оно застряло у меня в башке: я ведь поставил ее в такое унизительное положение.

— Но она сама на это н а п р о с и л а с ь, дружок. Женщины, ведя игру, знают, что далеко не всегда могут выиграть. Я считаю, что она действует очень даже смело и прямолинейно, так что перестань быть младенцем! Ей вовсе не нужны эти спектакли, которые ты устраиваешь каждое воскресенье.

Он поднял на нее глаза — щеки у него были мокрые, колено рассечено, на лице — жалкая улыбка, исполненная надежды.— Ты, правда, считаешь, что она все еще любит меня?

— Не такая она идиотка,— сказала ему Руфь.

Обычно ночью по воскресеньям, взбудораженный игрою, он приставал к ней с ласками, и она уступала ему, но не получала удовольствия, потому что она была тут ни при чем: он обнимал Салли. Его пальцы скользили по ее телу, словно пытались заколдовать его, превратить в другое тело, и все ее женино естество, которое принадлежало мужу, стремилось покориться. В темных извивах этого стремления покориться Руфь теряла всякое представление о происходящем. Наконец он взламывал ее, как взламывают неподатливый замок, и с глубоким вздохом облегчения отваливался,

довольный собою. Ее неспособность до конца ответить ему вполне его устраивала, он и хотел, чтобы было так; это оправдывало его будущее бегство.

— Ты слишком много куришь,— сказал он ей.— Это не возбуждает.

— Это ты не возбуждаешь.

— Неужели я так плох? Заведи себе любовника. Или вернись к тому, который у тебя был. Я уверен, что с другим ты можешь быть на уровне.

— Благодарю.

— Я серьезно. Ты красивая женщина. Хотя изо рта у тебя и пахнет, как из сарая, где сушится табак.

— Чего ты напустился на меня! Чего напустился! — Эти выкрики только еще больше распалили ее, но выхода ярости не дали; она ударила его, принялась молотить коленями; он схватил ее за запястья, навалился, прижал к кровати. Лицо его было совсем близко, оно казалось в темноте преувеличенно раздувшимся, точно сошедшим с картины Гойи.

— Безмозглая сука,— сказал он, снова и снова вжимая ее в матрац,— нечего сказать, умеешь держать себя в руках. Получила, что хотела, да? Получай же. Супружеское счастье.

Она плюнула ему в лицо — тьфу! — как кошка: сначала прыгнет, а потом подумает; слюна мелким дождем обрызгала ей же лицо и словно отрезвила. Она вдруг ощутила его тело, которое железной тяжестью давило на нее; при слабом свете увидела, как он заморгал и усмехнулся. Пальцы его разжались, он повернулся к ней спиной и весь съежился, словно стремясь защитить себя от нового каскада ударов.

— М-да, это нечто новое,— сказал он про ее плевок.

— Я это не подумав. Должно быть, вырвалось откуда-то из нутра.

— Я и почувствовал, что из нутра.

— Ты же держал меня за плечи. Я должна была как-то реагировать.

— Не извиняйся. Реагируй, пожалуйста, сколько влезет.

— Тебя это оскорбило?

— Нет. Даже понравилось. Это показывает, что я тебе не безразличен.

— Мой плевок мне же на лицо и упал.

— Это называется: плевать против ветра.

— Джерри? — Она протянула руку, обняла его обволакивающим жестом, размягченная его мужскою лаской.

— Угу?

— Как ты думаешь, мы с тобой — развратные?

— В пределах нормы. Я бы сказал: как положено людям.

— Хороший ты.— Она прижала его к себе, подавив желание признаться ему в любви.

А ему все это уже надоело, хотелось спать.— Спокойной ночи, солнышко.

— Спокойной ночи.

Спали они вместе каким-то очень нормальным, здоровым сном, а когда вместе бодрствовали, это было похоже на налетающий во сне бред.

Все узнали. На протяжении июля все друзья их узнали. Руфь чувствовала это на волейболе, чувствовала, что эта осведомленность задевает ее: всякий раз, подпрыгнув, рассмеявшись или упав, она чувствовала, как ее накрывает тонкая сеть их осведомленности. Мужчины начали ласково обнимать ее на вечеринках. За все годы жизни в Гринвуде только Ричард отважился пригласить ее на ленч; теперь же за одну неделю она получила два приглашения: одно — на вечеринке, другое — по телефону. Она от обоих отказалась, но обнаружила, что отказ дается ей нелегко. Зачем, собственно, отказываться? Ведь Джерри умолял ее помочь, предать его, бросить. Но она не желала в панике кидаться на шею первому встречному. Впервые она поняла, что без мужчины не останется. Своей опустошенностью, своей невозмутимостью она как раз и привлекала их. Ничего, подождут.

Женщины тоже начали ласково ее обнимать, особенно когда после одного на редкость скверного воскресенья она призналась Линде Коллинз в понедельник за кофе, что они с Джерри переживают очень «тяжелую полосу»; с тех пор мамаши на пляже подчеркнуто оживленно всем табором приветствовали ее, а потом подходили по одиночке, завязывали беседу, намеренно перемежая фразы долгими паузами в надежде, что она разговорится. Словом, ее приняли в тайное сообщество страдалиц. Интересно, думала Руфь, давно ли существует это сообщество и почему до сих пор ее туда не принимали — чего-то, видно, ей недоставало или что-то проявлялось не столь ярко. Она теперь поняла, что Салли всегда была членом этого сообщества. Но Салли нынче редко появлялась на пляже, а когда появлялась, то вокруг каждой из трагических королев этого лета незаметно собирались группки мамаш. Пооткровенничав немного с Линдой, Руфь последовала примеру Салли в этой новой для нее роли и плотно завернулась в мантию скрытности: говорила мало, ничего не отрицала.

Не сказала она ничего и родителям, когда они приехали погостить из Поукипси. При виде отца, благостного, в очках, исполненного сознания своего священнического сана, она вспомнила, как возмущалась когда-то его неизменной показной благостью

и той легкостью,— а с годами это стало проявляться все чаще,—с какой он вносил свою показную благость и в личные дела. Не желает она выслушивать советы, точно какая-нибудь прихожанка, не желает, чтобы на нее смотрели, как на карту «Обманутая Жена», извлеченную из колоды людских невзгод. Она знала, что он по-своему, не принимая этого близко к сердцу, откликнется на ее зов и даст ей совет не хуже кого другого (не паникуй, предоставь событиям идти своим чередом, держись с достоинством, думай о детях); она чувствовала себя виноватой, так как, отказывая ему в возможности поразглагольствовать (вне семьи его считали умным советчиком, и когда Руфь объявила ему о своей помолвке, он мягко предостерег ее насчет Джерри: «Он кажется мне даже моложе, чем есть»), она отказывала ему в том единственном, что еще способна была дарить,— в доверии взрослой дочери. Но в свое время он предал ее, причинил ей боль в сумрачных коридорах их приходских домов, подчеркнуто предпочитая мать, опираясь на нее и оставаясь глухим к собственным дочерям. Из странного уважения к их женскому достоинству он переодевался в чуланах, таился от них, придавая своему появлению характер священнодействия. Он наградил Руфь рефлексом неудачницы, инстинктивным ожиданием беды, и потому, когда Джерри стал ее возлюбленным, а потом мужем, это лишь усилило укоренившуюся в ней замкнутость. И она отослала своего старого папку в Поукипси, не растревожив его чувств.

Руфи ни разу не пришло в голову рассказать все матери. Ее мать была прирожденная жена. Она пришла бы в ужас.

А вот о том, чтобы обратиться к Ричарду, Руфь подумывала. Этот одноглазый трепач, как ни странно, в общем-то не подводил ее. Или, вернее, недостатки его проявлялись в таких областях, как мужество и ясность видения, где она способна была их восполнить. Но ведь та, другая женщина — его жена. Руфь видела — по тому, как он моргал, и склабился, и обильно потел на вечеринках, даже когда Джерри и Салли совсем уж нахально себя вели,— что в море жизневедения Ричард потерян, как островок среди водных просторов. Поэтому трудно было предсказать, какая ее ждет реакция, куда кинет этого неустойчивого человека. Последствия могли оказаться опасными и для нее, и это удерживало Руфь от то и дело возникавшего импульсивного желания взять знакомую руку и под прикрытием обычно царящей на вечеринках сумятицы увести Ричарда в укромный уголок. Интуитивно она боялась, что он может свалять дурака или хуже того — выставить дураком Джерри, и оберегала себя еще и от этого.

Итак, за неимением иной возможности, она говорила только с Джерри — ее убийца был и единственным ее духовником. Изучая его, привыкая к мысли, что он — любовник другой женщины, она стала уже хладнокровно думать о том, что́ в первые минуты шока начисто отметала. Да, вполне возможно, что она не любит его, вполне возможно, что она скоро его потеряет. Их сексуальная жизнь заметно улучшилась.

— Я в раю,— сказал ей однажды ночью Джерри.— Я люблю тебя.

Ее реакцией был страх. Последнее время Джерри ведь тщательно избегал говорить ей это.— В самом деле?

— Мне так кажется. Я же сказал.

— Значит, ты не собираешься уходить от меня?

— Нет, собираюсь, собираюсь. Утром я буду страшно зол на то, что ты такая сладко развратная и заставляешь меня предавать Салли.

— Неужели я развратнее Салли?— спросила она.

— О, значительно. Она очень выдержанная. А с тобой — окунаешься в грязь. В Матушку Грязь. С ней же,— она почувствовала, как он уходит в себя, задумывается,— я как бабочка, опустившаяся на цветок.

— Я этому просто не могу поверить.

— Стебель сгибается, единственная капля росы падает на землю. П л ю х.

— Я тебе ни чуточки не верю. По-моему, ты говоришь сейчас обратное тому, что думаешь. Ну, почему ты меня оскорбляешь — ведь тебе было так со мной хорошо?

— Да потому, что это сбивает меня с толку. А вообще, Руфь, почему б ы л о хорошо? Что с тобой в последнее время творится?

— Не знаю; наверно, возникает мысль: а почему бы нет? Терять мне нечего. И потом я каждый раз думаю, что это, может быть, в последний раз, и мой эстетический долг — получить подлинное наслаждение.

— Мне грустно это слушать. Неужели ты так убеждена, что я уйду?

Она почувствовала, что он хочет сам себя в этом убедить и тем укрепить свое решение, сделать его неизбежным.— Нет, не убеждена. Мне кажется, глупо бросать меня теперь, когда я стала куда более опытна.

— Может, я жду, пока ты станешь более в себе уверена и сможешь мигом подцепить другого мужчину.

— Не волнуйся, подцеплю.

— Но каким образом? Просто не могу себе представить. За кого ты можешь выйти замуж — после меня?

— О... за какого-нибудь идиота.

— Вот именно. За идиота. Совсем тебе не подходящего.

— Тогда не бросай меня.

— Но Ричард не подходит Салли.

— Он — идеальный муж. Они созданы друг для друга. Оставь их в покое.

— Не могу.

— А мне казалось, что можешь.

— Я все думаю. Это такая страшная ответственность, когда ты — единственный мужчина, который подходит всем.

— Наверно.

— Эй? Устрой для меня еще раз рай.

— Нет.

Август. Дни убывали минута за минутой, и сумерки наступали все раньше; растущая свежесть ночей умеряла дневную жару, делала ее более мягкой, менее жалящей. Глядя из окон кухни на лужайку, где ноги детей до пыльных проплешин вытоптали траву, Руфь думала о том, что этот период ее жизни со временем, когда предстоящий разрыв с Джерри уже станет далеким прошлым, покажется ей одной короткой минутой. Земля для мертвеца вся ровная, и события ее жизни, даже еще не отошедшие в прошлое, уже казались Руфи погребенными в ретроспективе. Она попала в зыбучие пески. Она упорно доказывала свое — что в повседневной жизни она больше ему подходит как жена, чем та, другая,— а сердце Джерри неудержимо ускользало из ее рук, тянулось к этой немыслимой женщине. Часто, звоня ему на работу, Руфь слышала сигнал «занято». Блеющие гудки были словно стена, которая все придвигалась к ней. Как-то раз она набрала номер Салли и услышала в ответ «занято» — та же стена.

В тот вечер она сказала ему: — Я набрала ее номер, и тоже было занято.

Он, пританцовывая, сделал шажок вбок.— А почему бы и нет? У нее есть приятели. И не один. Может, она завела себе еще любовника.

— Скажи мне правду. Это слишком серьезно.

И, к ее ужасу, пожав плечами, он тут же сдался.— Изволь. Я разговариваю с ней.

— Неправда.

— Ты хочешь знать правду или нет?

— Кто кому звонит?

— Всяко бывает.

— И давно это возобновилось?

Он сделал шажок назад, словно слил обратно в бутылку выплеснувшуюся жидкость.— Не очень давно. Она выглядела такой несчастной в позапрошлое воскресенье, что я позвонил, чтобы узнать, как там она.

— Ты нарушил наш уговор.

— Твой уговор. Да в общем-то и не нарушил. Я не даю ей никаких надежд. Послушай, ведь мы с ней были близки, она была мне д р у г о м, я чувствую себя в какой-то мере ответственным за нее. Если бы все было наоборот, интересно, как бы т ы вела себя на моем месте.

— Значит, я делаю вывод, что ты все еще интересуешься ею. Ну, и как же она там?

Ему, казалось, приятно было рассказать ей, нагромоздить побольше зыбучих песков.— Не ахти как. Поговаривает о том, чтобы удрать от всех нас.

— С какой стати ей бросать Ричарда?

— Он то и дело бьет ее. Злится, что она стала холодна к нему. А она говорит, не может иначе, потому что все еще любит меня. Она чувствует себя очень виноватой из-за того, что так себя с ним ведет, и не хочет больше причинять тебе боль, вот и решила, что самое лучшее — избавить нас от себя. Не путем самоубийства, конечно. У нее нет этой жажды смерти, как у тебя.

— Хватит, не хочу больше слушать. Да неужели ты не понимаешь, что она берет тебя на испуг? Она прекрасно могла бы оставить все по-прежнему, если б хотела,— жила же она с ним эти десять лет.

— О, конечно, ты — такая тонкая и деликатная, а у нее никаких проблем быть не может.

— Ах, отправляйся к ней, отправляйся и увези ее с собой в Аризону или куда там еще ты намерен уехать — в Вайоминг. Да? Если бы ты видел свое лицо, когда ты говоришь о ней, Джерри, ты бы себя возненавидел. Ты бы так хохотал.

— Ты что-то сказала?

— Я сказала: отправляйся к ней, потому что не могу я мириться с этими телефонными звонками. Извини — не могу Когда я слышу сигнал «занято», мне кажется, будто перед моим носом захлопнули дверь, у меня так портится настроение, я просто описать не могу. Сегодня утром я пошла на кухню и стала вслух называть по имени детей: Джоанна, Чарли, Джоффри, Джоанна, Чарли, Джоффри — снова и снова, не для кого-нибудь — для себя. Только это и удерживает меня от самоубийства.

Он нерешительно шагнул к ней и обнял за плечи.— Не говори так. Ты должна жить ради себя.

— У меня нет себя. Я отдала все свое «я» восемь лет назад.

— Никто тебя не просил.

— Все просили.

— В таком случае, не слишком-то, видно, сильное было это твое «я».

Он произнес это ровным, мстительным тоном — да как он смеет злорадствовать! Глубоко оскорбленная, она поклялась: — В следующий раз, как только застигну вас за разговором, тут же сажусь в машину, еду к Матиасам и уж не посмотрю, дома Ричард или нет. Я серьезно.

Джерри отступил от нее, пожал плечами и сказал: — Конечно, серьезно, — улыбкой давая понять, что, конечно же, несерьезно.— Но если по твоей милости Салли придется спасать, я вынужден буду это сделать.

— Мне кажется, ты слишком часто машешь перед моим носом этой палкой — уже не действует. Мне нечего терять, а так я чувствую, что теряю рассудок.

— Не говори глупостей. Мы все рассчитываем на твое здравомыслие. — Джерри вечно говорит подобные вещи — комплименты, ранящие, как оскорбление; он ловит в сети ее разум, и она всякий раз ломает голову над тем, что он хотел сказать. А он далеко не всегда имеет в виду противоположное тому, что сказал. В данном случае она подозревала, что он сказал правду: все они в своем безумии, увлечении и самообмане рассчитывали на то, что ее вялое, посрамленное здравомыслие удержит их от катастрофы. Ну, а ей это надоело.

В следующий раз, когда она позвонила Джерри и услышала «занято», а потом набрала номер Салли и услышала то же самое, был обычный рабочий день, часы показывали четверть одиннадцатого, и дети играли где-то неподалеку. Руфь позвонила одной молоденькой девушке, чтобы попросить ее посидеть с детьми, но та оказалась на пляже. Тогда она позвонила миссис О. — та сидела с детьми Линды Коллинз, которая уехала в город за покупками. А мисс Мэрдок, хоть и сущее страшилище, отправилась в парикмахерскую. Тут пошел дождь, и Руфь, глядя, как сочатся капли сквозь листву вяза, немного поостыла. Не надо обращать внимание, решила она. Ни на что не надо обращать внимание.

Но внезапно разразившаяся летняя гроза вернула девушку с пляжа, и та, узнав, что Руфь разыскивала ее, позвонила. Руфь попросила девушку прийти после ленча. Зачем? Ярость ее уже улеглась. Ехать в таком настроении — значит предстать перед Салли в смятенном, глупом виде. Может быть, лучше сначала поговорить с Ричардом. Туманно, никого не выдавая, и, однако же, получить совет, зарядиться мудростью. У него в Кэннонпорте была контора — над первой отцовской винной лавкой; Руфь бывала у него там, они даже занимались любовью на скользком диване, обитом искусственной кожей, под гравюрой, изображавшей диких уток в полете, в то время как секретарша агента по недвижимости стучала за стеной на машинке, а где-то неподалеку шипели и постукивали машины химической чистки. Руфи нравились эти посторонние шумы; ей нравилось лежать нагой за дверью из матового стекла, запертой изнутри. До Кэннонпорта ехать минут двадцать — пятнадцать, если гнать машину. Она надела юбку из легкой полосатой ткани и скромную блузку, чтобы прилично выглядеть в Кэннонпорте и в то же время не показаться разряженной, если она все же решит потом поехать к Салли.

«Фолкон» в ее руках вел себя легкомысленно, разрезая носом сырой после грозы, но уже пронизанный тусклым солнцем воздух. Вдоль дороги стояли интенсивно зеленые деревья — она уже видела такие на картине Моне или, может быть, Писсаро? А желтовато-розовые пятна на стволах берез были совсем как у Сезанна. В том месте, где ей следовало бы замедлить ход и свернуть на дорогу, ведущую вверх, к дому Салли, Руфь, наоборот, нажала на акселератор. Шоссе на Кэннонпорт с алчным шуршанием стачивало ее шины. Перед ней — одна за другой — возникали картины, побуждавшие повернуть назад, в Гринвуд. Запыленный, цвета хаки, стол Ричарда, — он ведь такой ленивый, этот Ричард, едва ли она застанет его в конторе. А вдруг... она представила себе их обнаженные тела на диване — нет, невозможно, и все же какая другая мысль может прийти ему в голову? Круглые, хрупкие головки ее детей — они, наверно, недоумевают, почему она уехала, оставив их одних в доме, запертом дождем. Ее отец, устало втискивающий плечи в пальто, уткнувшись подбородком в шарф, и отправляющийся на один из своих межрасовых митингов: «Смотри на вещи реально». Она свернула влево на проселок, который выведет ее на Садовую дорогу, чтобы кружным путем вернуться в Гринвуд — к детям, к Джерри и к Салли. Руфь решила осуществить свой первоначальный замысел и снова встретиться с Салли — в такое время дня они вместо кофе будут пить вермут, и это, пожалуй, поможет. Несколько миль, которые она проехала было к Ричарду, — позорная трата времени, ошибка, которую следует побыстрее исправить; она мчалась так, точно Салли ждала ее. Правда, потом оказалось, что она вряд ли делала больше сорока миль в час.

На «восьмерке», сразу за рекламным щитом «Ротари-Лайонс-Кивиниз», приветствовавшим всех въезжавших в Гринвуд, Руфь занесло; чуть не каждый месяц здесь случалась авария. И дело не только в том, что городская дорожная команда использовала для ремонта масло, от которого покрытие становилось скользким после дождя, но и само покрытие было сделано со скатом не в ту сторону. Можно было бы спрямить дорогу, что неоднократно предлагалось, но тогда пришлось бы от-

резать небольшой угол от имения Ван-Хьютенов, которое вот уже полтора века не меняло границ, а нынешний мистер Ван-Хьютен, любезный, весьма патриотичный, давно разведенный семидесятилетний джентльмен с черными как смоль волосами и при всех передних зубах, решительно противился какому-либо посягательству на свою собственность. Поскольку Руфь принимала активное участие в деятельности группы горожан, которая два года тому назад помогла мистеру Ван-Хьютену отразить попытки установить на его территории столбы электропередачи, она не могла порицать его теперь, даже когда смерть возникла перед нею.

«Фолкон», точно яхта, у которой подняли опускной киль, слегка подпрыгнул и заскользил влево. Руфь резко вывернула руль вправо и с удивлением обнаружила, что машина ее не слушается,— вот такое же было бы, наверно, у нее ощущение, если б она смотрелась в зеркало, а оно вдруг стало прозрачным. Затем где-то в конце этой бесконечно долгой минуты машина все-таки повиновалась ее попытке справиться с ситуацией, но невероятно исказив приказ: тяжело крутанулась на полоборота вправо, и Руфь, не успев затормозить, увидела, что сейчас перелетит через низкую каменную стену. Стена эта отделяла дорогу от лощины, поросшей деревьями: буками, красными кленами, пировидными дубами. Автомобиль мягко подпрыгнул, перемахнул через стену и покатился под откос, врезаясь в гибкую колючую зелень, среди которой торчали прямые стволы деревьев. Сначала Руфь пыталась вести машину между стволами; когда же их стало безнадежно много, она рухнула лицом вниз на сиденье и закрыла глаза. Машина ткнулась во что-то и встала. Руфь поискала на полу сигарету, которую курила до того, как все началось. Сигарета исчезла. Где-то совсем рядом чирикала птичка — необычно громко. Руфь открыла сопротивлявшуюся дверцу машины и вышла, тщательно и плотно закрыв ее. Дождь перестал, оставив после себя лишь колеблемую ветром сырость. Из хвоста машины валил сине-бурый дым; переднее колесо со стороны водителя было вывернуто под немыслимым углом — Руфь вспомнила о ключице Джоффри. В зеленой влажной тишине оскорбленно тикал мотор; автомобиль ведь может вот-вот взорваться, подумала Руфь, не мешало бы вытащить из него сумочку. Там у нее водительские права.

Открыв снова дверцу и потянувшись через переднее сиденье за сумочкой, Руфь только тут заметила — по ласковому прикосновению воздуха к руке и удивительной четкости, с какою она увидела листья, — что переднее стекло разбито. Вдребезги. Оставшиеся в раме острые куски были покрыты кружевом трещинок, а все переднее сиденье усыпано осколками, точно светлыми шершавыми конфетти. Дотронувшись до волос, Руфь обнаружила, что и там застряли осколки. В сумочке, которая, разинув пасть, лежала на сиденье, тоже оказалось полно битого стекла. Руфь сначала хотела вытряхнуть его, но потом решила, что не стоит — все-таки своего рода доказательство. Она вынула из сумочки кошелек, смахнула стекло с кожи и проверила, прямо ли стоит ключ зажигания. Хваля себя за присутствие духа, она пошла прочь от машины. Мокрые ветки задевали ее. Каждый листик со своими прожилками, каждый сучочек, казалось, застыл в ярко освещенной, несколько искусственной атмосфере, словно в глубине стереоскопа — необычно свежий и чистый; однако по стремительному свисту шин, с каким по мокрой дороге за стеной промчалась машина, невидимая и невидящая, Руфь поняла, что она еще не умерла и не находится в раю.

Она подозревала, что нарушила границу чужой собственности; надо побыстрее выбираться из драгоценных владений Ван-Хьютена. Она повредила его стену и его деревья. Лес кружился вокруг нее, не двигаясь с места, как кружится нарисованный на крыше карусели пейзаж. Она сделала еще несколько шагов в своих промокших туфлях на высоком каблуке, не привыкших ступать по земле, поросшей папоротником. Раз она может идти, значит, решила Руфь, кости у нее целы. Она посмотрела вниз, разгладила перед легкой полосатой юбки и увидела, что оба колена у нее разодраны, — она понятия не имела, как это случилось. Крови было немного, но Руфь обрадовало не это, а то, что она без чулок, иначе они бы порвались. У нее онемело правое запястье. Она стала осматривать руки, и чем дольше держала их перед глазами, тем сильнее они дрожали. Позади стук мотора смешивался со стуком падавших с деревьев капель и с вопросительным, бесконечно повторяющимся криком птицы. Руфь распрямилась и глубоко вдохнула воздух — тонкий волосок измороси щекотнул ей лицо. Хотела было помолиться, но от волнения перезабыла все слова. Ухватившись за низкую ветку, она стала карабкаться вверх по склону. Спрессованная палая листва превратилась в скользкую мульчу — ее тонкие высокие каблуки уходили в мох, как в мокрую губку. Поравнявшись с дорогой, она обнаружила место, где в стене была выбоина, и с помощью замшелого сука сумела перелезть через нее. Наконец Руфь очутилась в целости и сохранности на твердой земле, оглянулась и пришла в восторг — пришла в восторг и одновременно огорчилась при виде машины, ее свободы, ее стосильного «фолкона», нелепо и покорно стоявшего в глухой лесистой лощине. Совсем как у Анри Руссо: педантично выписанная листва, застывший в благости воздух, чудище, мирно и самозабвенно пасущееся среди папоротников и высоких трав. Руфь буквально услышала хохот Джерри, и в голове ее возникла робкая мысль, что он, возможно, будет даже гордиться ею, гордиться тем, что у нее

хватило духу пройти через подобное испытание и выжить, а значит она такая же безрассудная, такое же чудо, как Салли.

Пока Руфь стояла у края дороги, три машины проехали мимо. Пассажиры одной из них — «универсала» — возмущенно посмотрели на нее, когда она замахала рукой. Должно быть, приняли за искательницу приключений. Зато грузовик, ехавший в Гринвуд, остановился, и, увидев ее разодранные колени и растрепанные волосы, а также поврежденную стену, те двое сразу все поняли. Они повезли ее в полицейский участок. Она сидела в кабине высоко над землей между двумя мужчинами, а они, нимало не стесняясь ее, продолжали обсуждать скандал с городским управляющим, который во что бы то ни стало, вопреки проекту, хотел провести канализацию сначала на своей улице. Грузовик пыхтел и погромыхивал, будя воспоминания: много лет тому назад, летом, перед тем как поступить в художественную школу, Руфь встречалась с юношей, который водил в деревне грузовичок. У Билли были торчащие уши, красивый торс — он часто работал без рубашки — и весьма скромное честолюбие, что раздражало ее отца. Билли по-своему любил ее — спокойно, славно. Все у них было славно — и ласки, и молчание, — и он с добродушной безнадежностью смотрел на возможность совместного будущего; она далеко «обскачет» его. Ей хотелось ему возражать, но, пожалуй, не стоило слишком навязываться, да и вообще было уже поздно: лето подходило к концу. Сейчас, раскачиваясь в кабине грузовика так, что тело ее касалось то одного, то другого из этих двух немолодых, крепких людей, не слишком затруднявших себя размышлениями, приемлющих все, как есть, — Руфь почувствовала такой душевный подъем, какого не испытывала на протяжении многих недель. Надо обо всем рассказать Джерри.

В полицейском участке высокий блондин выслушал ее заявление. Руфь немного знала его — у него была польская фамилия, и зимой, стоя на перекрестке у школы в высокой меховой шапке с черными нашлепками на ушах, он выглядел, как принц в изгнании. До сих пор она еще никогда не общалась с ним. Она принялась объяснять: — Я ехала вроде бы очень спокойно, как вдруг машине пришло в голову свернуть с дороги и перескочить через стену. — Окна были распахнуты навстречу солнцу, вернувшемуся на небо, продлевая день, и полицейский медленно-медленно записывал ее показания, вдавливая шариковую ручку в бумагу. Руфь описала, как ее занесло сначала туда, потом сюда, как она мягко перелетела через стену и как, казалось ей, искусно вела машину среди деревьев, пока та сама не остановилась. Она не помнила, чтобы включала тормоза. Должно быть, она тогда подумала, что это ничего не даст: ведь правда бесполезно тормозить, когда машину заносит? Она вылезла из автомобиля — все волосы оказались в осколках. Из-под машины шел дым, поэтому она проверила, выключено ли зажигание. Переднее колесо так вывернулось, что нечего было и думать вывести машину задним ходом, иначе она бы попыталась. Полицейский спросил, с какой скоростью она ехала. Должно быть, около сорока миль в час — едва ли быстрее.

— Поскольку на этой «восьмерке» предельная скорость — тридцать пять, — сказал он, продолжая медленно писать, — давайте скажем, что вы ехали со скоростью тридцать пять.

Изящество этого откровенного маневра поразило ее. Все лето она сражалась с несоответствиями — например, между дозволенной скоростью и реальной, с какою она ехала, и вот этот польский принц показал ей, как уничтожить это несоответствие и приблизить реальность к идеалу. Бормоча слова благодарности, она покраснела — почувствовала, как стало жарко не только лицу, но горлу, груди, бедрам. Полицейский сказал, что вызовет аварийную бригаду, пока она будет звонить мужу.

— Но муж сейчас на работе в Нью-Йорке. А я могу и пешком дойти до дома. Тут меньше мили.

— Нет, — сказал молодой полицейский столь же непреложно, как непреложно меняются огни светофора.

— Да я же в полном порядке,— настаивала она, хоть и понимала: он будет уверять, что она не в порядке.

— Вы сейчас в шоковом состоянии, — сказал он ей. — А есть кто-нибудь в городе, кому вы могли бы позвонить и попросить приехать за вами? Какая-нибудь подруга?

У м е н я н е т п о д р у г — Руфь почувствовала, что он будет шокирован, если она произнесет это вслух. И она сказала: — Да, есть один человек. Я только не уверена, смогу ли до него добраться.

Но она сразу дозвонилась до Ричарда по кэннонпортскому номеру. Он терпеливо ждал, когда она сама положит конец молчанию.

— Дик? Привет. Это я. Руфь. Довольно неприятная получилась история: дело в том, что машина моя съехала с дороги, а Джерри — в Нью-Йорке, и меня не отпускают из полицейского участка, пока кто-нибудь не приедет за мной. Говорят, что я — в шоке.

— Небольшом шоке,— поправил полицейский.

— Руфи-детка!— сказал Ричард.— Это фантастика — слышать твой голос. Я просто потрясен.

— Не надо,— сказала она,— все весьма прозаично. Ты свободен или занят с моей преемницей?

Она понимала, что полицейский слушает, однако не думала о том, что́ говорит, словно, перелетев через стену Ван-Хьютена, вступила в зеленый мир свободы.

— Никаких преемниц, никаких преемниц,— тем временем говорил Ричард тоном занятого дельца, так раздражавшим ее своей нарочитостью.— Тебя гринвудские фараоны зацапали, да? Сейчас приеду.

— Это очень мило с твоей стороны. Через двадцать минут?

— Через десять.

— Не спеши. Прошу тебя. Хватит и одной аварии за день.

— Слушай. Я знаю эту дорогу назубок — так же хорошо, как твои прелести.

Сама напросилась, подумала Руфь, вешая трубку. Зачем она решила звонить ему? Должно быть, со злости. И она пожалела, что не Джерри и не Салли, а именно Ричард оказался ее жертвой. Но ведь мы выбираем себе жертвы, с которыми можем справиться, которые нам по плечу. И такая ли уж это большая жертва, если бывший любовник по ее просьбе проедет восемь миль, чтобы потом еще одну милю проделать вместе с нею? Полицейский предложил ей кофе в бумажном стаканчике и сказал, что ему уже позвонили из аварийной бригады: они смогут вытащить ее машину только завтра. В углу затрещало полицейское радио, и, вооружившись листами бумаги, все повернулись к нему; она почувствовала, что исчезла из сферы их внимания. Ей приятно было погрузиться в пустоту. Слава богу, за стенами ее дома есть мир, где людям платят за то, чтобы они заботились о ней,— правда, не слишком рьяно. Не забыть бы рассказать Джерри, как ей было хорошо в полицейском участке.

Ричард вошел и объявил дежурному за столиком:— Я приехал забрать вашу арестантку.

— Мистер Конант? — без улыбки спросил полицейский.

— Матиас,— сказал Ричард.— Временный заместитель. Как она?

— Она на редкость удачливая молодая дама,— сообщил ему полицейский. А Руфи сказал:— Аварийка осмотрела вашу машину, они говорят, что вы больше не сможете на ней ездить. Вы ее угробили.

Ричард попытался в тон полицейскому настроиться на серьезный лад и спросил: — Не отвезти ли ее к доктору?

— Я на вашем месте так бы и сделал.

— Не говорите ерунды,— возмутилась Руфь, видимо, от того, что полицейский переметнулся на другую сторону. Его царственное спокойствие превратилось в назидательную глупость; он протянул ей протокол. «Приблизительно в 1.45 дня... темно-синий «универсал» с четырьмя дверцами марки «форд», который вела миссис Джеральд Конант из... со скоростью 35 миль в час... на первый взгляд получила лишь незначительные царапины... машина разбита». Почерк у него был небрежный. Руфь подписала бумагу и вышла следом за Ричардом. Она уже забыла, что он намного крупнее Джерри. К собственному удивлению, она взяла его под руку.

— Что с тобой?—спросил он, садясь за руль своего любимого старенького «мерседеса». Забыла Руфь и эту его жалостно маленькую голову трусливого льва, и то, как западает у него верхняя губа и как выпирает нижняя.

— А что?— С горлом у Руфи происходило что-то странное: его словно затянуло серебряной паутиной, как и глазные впадины, и виски, и все пустоты ее черепной коробки.

Рот у Ричарда нетерпеливо дернулся.— Тебе, видно, моча в голову ударила, Руфи-детка.

— Авария могла случиться с кем угодно. Дорога...

— Плевал я на аварию. Ты все лето в сплошной истерике. Ведешь себя, как затравленная во время охоты на ведьм. Джерри что, снова тебя донимает, потому что ты не можешь прогнать огородное пугало, которого он боится?

— Нет, Джерри теперь почти не говорит о смерти.

— Значит, в доме тишь да гладь.

— Не совсем. А в твоем?

Он не понял намека. Бельмо на его глазу казалось в профиль нашлепкой.

— О'кей,— мрачно сказал он.— Не хочешь говорить — не надо. Плевал я на тебя.

— Я хочу говорить, Ричард. Но...

— Но вдруг до жены того, другого, дойдет, если ты проболтаешься мне, так?

— Чьей жены? Какого другого?

— Невесты, дамы сердца, временной подружки, femme[1] или кем там она еще приходится моему преемнику. Снова решила поиграть в эту игру — кирикет? Ну, а счастливый пес — это Дэвид Коллинз? Он выглядит таким бодрячком на волли-болли. Господи, Руфи, когда же ты, наконец, отчалишь и сменишь этого своего психопата-кровососа, этого полумужика, с которым ты связалась? Ты же сжираешь себя по кусочкам. Идешь по протоптанной старым графом Мазохом дорожке — ать-два-три.

— Ну и занесло тебя, Ричард. Я, конечно, польщена, но все это ты напридумывал — никакого романа у меня нет. И я не считаю Джерри полумужиком. Может, я сама полубаба.

---

[1] Жены *(франц.)*.

— Ты — баба на все сто пятьдесят, если память мне не изменяет. Ну, ладно, о'кей. Я — тронутый. Тупоголовый болван. Черт со мной. Но и черт с тобой. Что я тебе — таксист, которого вызывают раз в год?

— Куда ты едешь?

Он вез ее за город, в лес, к комариной дорожке, к пруду, над которым, застыв, стоял так ничего и не выловивший рыболов. Паутина в голове у Руфи порвалась, и она заплакала — слезы потекли стремительным потоком, ее трясло, хотелось кричать. Ей все виделись те деревья, проплывавшие мимо. Слезы вперемешку со словами текли и текли.— Нет, вези меня домой. Привези в мой дом и оставь. Я же об этом тебя просила, ты же обещал, не хочу я объятий, не хочу душещипательных разговоров, я хочу, Ричард, домой и хочу умереть. Прошу тебя. Извини. Я не могу. Ты так прав и так неправ, это меня просто убивает. В самом деле убивает. Ты — единственный, с кем я могла бы говорить, и ты самый неподходящий для этого человек. Прости меня. Мне это нравилось. Правда, нравилось. Дело не в тебе. Ты мне нравишься, Ричард. Не надувай так глупо и обиженно губы. Дело н е в тебе. Просто — т а к вышло!

— Успокойся, успокойся,— говорил он, перепугавшись, стараясь развернуться на узкой аллее, где кто-то разрисовал камни, а на лужайке посадил семейство пластмассовых уток.

— Н е м о г у я начать все сначала, н е м о г у я вернуться к тому, что между нами было, п о й м и. И прости меня за то, что я тебя вызвала: я не подумала. Надо было мне позвонить Линде. С тобой мне было так славно. Ты почему-то ч е р т - т е какой славный. Чудесный.

— Держись фактов,— сказал он, корча гримасу от усилий, которых требовало управление машиной.— Я уже все понял.

— Н и ч е г о ты не понял,— сказала ему Руфь.— Это-то меня и убивает.

Он высадил ее под вязом.— Ты уверена, что тебе не нужен врач? Ведь и до сотрясения мозга недолго.

Стоя у машины, она просунула голову внутрь и поцеловала его в губы. Он хорошо целовался — крепко, но не так жадно, как Джерри. Слезы у Руфи высохли, голова стала яснее.

— Ты д е й с т в и т е л ь н о славный,— сказала она Ричарду и, поддавшись своей излишней любви к правде, добавила: — Как ни странно.

— Ну и ну,— сказал он.— Спасибо. Так вот: я в твоем распоряжении. Позвони, когда у тебя в следующий раз произойдет авария.

— Ты узна́ешь первым,— сказала она ему.

Номер освободился; она поймала Джерри на работе и рассказала ему об аварии, в легких тонах обрисовав случившееся. Он вернулся домой на полчаса раньше обычного: ему хотелось до ужина посмотреть на то, что осталось от автомобиля. Он повез ее по Садовой дороге; камни на обочине, навесы над дверьми, лужайки, дети, деревья мелькали и сливались от скорости, и Руфь взмолилась: — Не надо так гнать.

— Я делаю всего тридцать миль.

— А кажется, что быстрее.

— Хочешь сама сесть за руль?

— Нет, спасибо.

— Я спросил вообще. Как ты считаешь, ты не потеряла уверенности в себе?

— Не думаю. И все же мне как-то дико снова сидеть в машине.

— Каким образом ты добралась от полицейского участка до дома?

— Полисмен подвез.

— А как насчет доктора? У тебя внутри все в порядке? Тебя сильно болтало?

— Я съехала как-то очень гладко и легко. Только от испуга не нажала на тормоз. Мне это в голову не пришло.

— А куда ты вообще ехала?

Она описала свое смятение, панику, как у него был бесконечно занят телефон, как она искала женщин, которые могли бы посидеть с детьми, как проехала мимо дороги к Салли и как в испуге повернула назад. Ричарда она опустила. Она снова принялась рассказывать — в строгой последовательности, точно просматривая кадры киноленты: автомобиль занесло в одну сторону, потом в другую, стена, застывшие деревья, райская красота и интенсивная зелень мокрого леса, когда она вылезла из остановившейся, окутанной дымом машины. Она снова и снова прокручивала эту киноленту, и с каждым разом все гуще становились краски, а сейчас они призрачно слились с реальностью, словно она прокрутила ленту назад и начало соединилось с концом, когда они с Джерри подъехали к месту происшествия с другой стороны. Он остановил машину на обочине, вышел и направился через дорогу. Она сказала, что не хочет смотреть: посидит в машине. Он поднял брови, и она тотчас изменила решение. Он ждет от нее здравых поступков. Они вместе пересекли асфальт. Это следы ее шин? Трудно сказать — их так много А вот здесь, где две прерванных колеи врезались в мягкую землю обочины и с полдюжины камней осыпалось со стены, — здесь она скатилась вниз. Со ствола гикори, довольно высоко, была содрана кора, а чуть подальше пригнулся к земле ободранный молоденький кленок. Машина налетела на него, попы-

талась взобраться и примяла. Воспоминания Руфи о плавном спуске вниз никак не вязались с этими жестокими ранами. Глубже в роще и другие деревья были ободраны, а колеи от колес выглядели следами гигантских пальцев, соскребших с мягкой почвы палую листву и молодой папоротник. Джерри был поражен тем, что машина проехала такое большое расстояние между деревьями и остановилась сама собой, не выдержав сражения с грязью и лесной порослью. — Ты тут пролетела добрых сто футов.

— Все казалось мне тогда каким-то абстрактным. — Быть может, подумала Руфь, он намекает на то, что она должна гордиться собой.

Джерри спустился к машине, открыл дверцу, достал из отделения для перчаток карты и регистрационные документы, а с заднего сиденья — полотенца и детские игрушки. Усмехаясь, пошел вокруг машины и вдруг расхохотался, зайдя за нее, — туда, где Руфи не было его видно. Потом перемахнул через стену и, вернувшись, сказал: — Вся правая сторона вмята. Как будто это жестянка.

— А можно ее выровнять?

— Машине — крышка. Если погнута рама, самое верное — идти получать страховку. Ее уже не выпрямишь.

— Бедненькая моя старушка. — Руфь нутром ощутила, как гнется металл, и что-то похожее на горе шевельнулось в ней. — Все-таки бессердечно бросать ее здесь.

— Аварийка приедет и оттащит ее. Поехали. Садись же. — Из его старенького «меркурия» со складным верхом вдруг пахнуло запахом Салли. Руфь встала как вкопанная. — П о е х а л и, — сказал он. — У нас ведь дома дети.

— Тебе давно пора бы об этом вспомнить, — сказала она, скользнув на сиденье.

— Я никогда и не забывал. А ты? Если бы ты думала о детях, ты бы не устраивала трюки на автомобилях, гоняя по округе. — Он резко включил зажигание — «запалил резину», по выражению мальчишек. К чему такой рывок — вот это уже гадко с его стороны.

Она сказала, твердо решив держаться спокойно: — Это ведь была авария.

— Это был трюк, — сказал Джерри. — Преднамеренный трюк. Жена, обуреваемая огромной, великой жаждой смерти, бросает смерти вызов. Ты даже не з а т о р м о з и л а.

— Я считала, что когда машину заносит, нельзя тормозить. Мне казалось, куда важнее рулить.

— Р у л и т ь! Но руль ведь тебя не слушался — как же, черт возьми, ты могла рулить?

— Мне казалось, что я рулила. А потом вдруг почувствовала, что больше не могу — тогда я уткнулась лицом в сиденье.

— Значит, вот как ты разрешаешь проблемы, да? Уткнуться лицом в сиденье и ждать — авось как-нибудь образуется. И самое возмутительное, что ведь так и в ы х о д и т. Любого другого, врежься он в этот лес, тут же бы у б и л о.

Она сидела, застыв от испуга, рядом с этим разозленным, стремительно гнавшим машину человеком, и ужасная правда разрасталась перед ее глазами, пока от созерцания ее Руфь не ощутила внутри пустоту. Снова раздвинулись облака зелени; она мягко скользила сквозь строй стволов. Вот машина ткнулась в один из них и встала. Она вылезла, и бодрящий воздух коснулся ее, приласкал. С ней случилась авария. А Джерри этого ждал. Он молился, чтобы это произошло. И молитва его была услышана, но какой это обернулось издевкой: пострадала-то лишь машина. Руфь вспомнила, с какой усмешкой он разглядывал разбитый автомобиль.

— Ты злишься, — сказала она, тщательно опробуя каждое слово, будто подгнившие перекладины лестницы,— что со мной этого не произошло.

— Что тебя не убило?

— Да.

Он подумал. — Нет, не совсем так. Я, наверное, ждал, что бог как-то явит свою волю, вот он ее и явил. Дал понять, что ничего не случится. Если мы сами — ты и я — не сделаем так, чтобы случилось.

— Да ты понимаешь, что г о в о р и ш ь! Ты же говоришь, что хочешь моей смерти.

— Разве? — Он спокойно улыбнулся. — Это, конечно же, твоя фантазия. — Улыбка сошла с его лица, и он, насупясь, похлопал ее по ноге. — А т ы хочешь, чтобы что-то случилось?

— Нет.

— Тогда успокойся. Ты — вечна. Ничего с тобой не случится.

На другой день после аварии Салли, с застывшей улыбкой и бегающими глазами, подошла на пляже к Руфи и сказала, как она рада, что Руфь не пострадала. Руфь поверила ей, а потом пожалела, что от неожиданности лишь кивнула в ответ. Она старалась солнцем выжечь из себя память об аварии — эту боль в коленях и плечах (от того, что она бессознательно изо всей силы вцепилась в руль?) и это мелькание, ощущение скольжения, полета, которое охватывало ее, стоило ей закрыть глаза. Лицо Салли, неестественно окрашенное в слепящих лучах солнца как на картинах Боннара — пурпурные губы, пепельно-серые волосы,— словно бледное феерическое видение вторг-

лось в безоблачную синеву, которой Руфь всецело отдалась.— Руфь, я слышала про твою аварию и просто хотела сказать, что я рада, что ты не пострадала. Правда.— Салли повернулась и пошла прочь; со спины она казалась такой худой — сзади на ляжках кожа набегала морщинками. Когда они только переехали в Гринвуд и были моложе, тело у Салли было гладкое, как у манекенщицы, не тело, а машина. Ее желтый купальный костюм все удалялся и наконец слился с пляжной публикой, издали похожей на прендергастовские мазки[1]. На другой день Салли, как выяснилось, посадила своих троих детей на самолет и улетела во Флориду, где у ее брата и его второй жены был дом в краю апельсиновых садов, возле Лейк-Уэльса. Руфь узнала об этом от Джерри, который, как выяснилось, и подвигнул Салли на отъезд.

— Но почему?

— Чувствовать себя связанной по рукам и ногам становилось для нее невыносимо.

— Чем связанной? И что, собственно, под этим подразумевается?

— Человек связан по рукам и ногам, когда у него нет выбора. Жизнь связывает нас по рукам и ногам. Человек не может жить дальше и не может умереть. Я не могу жениться на Салли, я не могу жить без нее. Ты не знаешь, что значит быть связанным по рукам и ногам, потому что невозможное тебя не интересует. Ты просто этого не видишь.

— Ну, ты, например, кажешься мне сейчас совершенно невозможным. Какое право, да, какое, собственно, право имел ты посылать ее во Флориду на деньги Ричарда?

Джерри расхохотался.— Значит, в с е д е л о в деньгах этого мерзавца, да?

— Джерри, ты болен. Почему ты так ненавидишь Ричарда?

— Потому что он атеист, как и все вокруг, и все вы стараетесь вогнать меня в гроб.— С отъездом Салли он как-то неприятно распоясался: Руфь почувствовала, что он ожесточает себя для решительного шага.

— А что эта поездка во Флориду должна доказать?— спросила она.— Ты полетишь за ней следом?

— Смотри-ка, мне это никогда бы в голову не пришло. А ведь я никогда не был во Флориде.

— Не смеши.

— Апельсиновые деревья цветут, кажется, именно в сентябре?

— Если ты уедешь, твоей ноги в этом доме больше не будет.

— Ну, как могу я уехать? Будь же разумна. Она уехала отдохнуть — от Ричарда, от меня, от тебя, от всего. Она совсем без сил. Ничего более жестокого ты придумать не могла, как просить ее переждать это лето. Мы убиваем ее — ты, и я, и этот, как там его. Она живет на лекарствах, она дошла до отчаяния.

— Живет на лекарствах — подумаешь! Любой женщине ничего не стоит довести себя до отчаяния, только бы этим чего-то добиться. Просто она хочет удрать с тобой.

Он задумался над такой возможностью, и черты его лица стали острее, резче — таким он нарисовал бы себя; Руфь помнила эту его манеру еще с той поры, когда, сидя за соседними мольбертами, они сосредоточенно переносили на бумагу одну и ту же модель.

— Не думаю, что это надо так делать,— сказал он сейчас.— А уж если делать, то надо все по правилам: адвокаты, суд о разделе прав, и огорченные родители, и рыдающие дети, и весь фейерверк. А каково будет нашим детям, если я вдруг исчезну с миссис Матиас, Бобби, Питером и крошкой Теодорой? Ужасные дети — все трое как две капли воды похожи на Ричарда. Чудовища, а не дети.

— Прекрати,— сказала ему Руфь.— Не жалуйся мне на то, что у Салли дети — от мужа, а не от тебя.

— Ну, ты грандиозна,— сказал он.— У всех проблемы, кроме тебя. А у тебя — никаких, верно? Мы с бедняжкой Салли висим часами на телефоне, обсуждаем, каково будет бедной старушке Руфи, когда она останется одна со всеми своими детьми, а ты, оказывается, живешь себе припеваючи и никаких, черт подери, проблем, так? Как это у тебя получается, детка? Разбиваешь машину, чтобы немного встряхнуться, а то уж очень выдался унылый день, и — ни единой царапины. Твой мир рушится, а ты лежишь себе на этом чертовом пляже все лето, счастливая как моллюск. Этот твой древний, единый и неделимый бог, должно быть,— настоящий огурчик.

— Я ведь не просто иудейка, но и христианка, как и ты,— сказала Руфь.

Дети, особенно Чарли, начали нервничать. Раньше после работы Джерри играл с мальчиками в кетч на заднем дворе или вез всех троих к Хорнунгам на вечернее купание в бассейне, а теперь он сидел дома и смотрел в пустоту, пил джин с тоником и слушал пластинки Рея Чарльза или говорил с сумрачной Руфью, пытаясь — уже довольно вяло — так повернуть разговор и направление мыслей, чтобы найти выход из создавшейся ситуации и облегчить душу. Во время еды глаза его то и дело теряли фокус — перед ним возникала Салли. Дни шли, прошла неделя, потом десять дней, а ни

[1] Прендергаст Морис Бэзил (1861—1924) — американский художник.

Джерри, ни Ричард не знали, когда она вернется. Яркая птица с заморским оперением, она улетела в тропики; оттуда, далекая, но незабываемая, она пела им, и сигнал «занято» в служебном телефоне Джерри был ее песней. Руфь бесилась, отчаивалась, а в промежутках жалела Джерри — они совсем «разодрали» его на части. Пятнышки на его радужной оболочке казались острыми закорючками, и на улице он держал голову под каким-то странным углом, словно прислушивался к некоему сигналу или, подобно Исааку, ждал знамения с небес.

— Пожалуйста, решай,— молила его Руфь.— Мы все выживем — поступай, как хочешь и перестань думать о нас.

— Не могу,— говорил он.— То, чего я хочу, слишком многих затрагивает. Это как уравнение с одними переменными величинами. Я не могу его решить. Не могу. Она плачет по телефону. Не хочет плакать. Она такая смешная и так мужественно держится. Говорит — там сто десять градусов[1], и ее невестка ходит совсем голая.

— Когда же Салли возвращается?

— Боится, что скоро. Она со своими детьми заполонила весь дом, и гостеприимство хозяев быстро иссякает.

— Она сказала им, почему приехала?

— Не совсем. Только призналась, что несчастлива с мужем, а брат сказал — не говори глупостей и не разыгрывай из себя балованного ребенка. Ричард заботится о ней, и потом у нее есть долг перед детьми.

— Что правда.

— Почему, собственно, правда? Ну, как он о ней заботится? Отправил ее в дорогу, а денег дал — едва на самолет хватило.

— Ты посылал ей деньги?— У Руфи подкосились ноги при мысли о том, что Джерри растрачивает деньги, отложенные на образование детей, а эта дорого стоящая женщина не только забралась в их дом, но теперь еще и залезла в их банковский счет.

— Нет, наверно, мне следовало бы послать туда себя. Но я не могу. Мне все время хочется к ней поехать, и никак не получается — то одно, то другое: то у Джоанны фортепьянный концерт, то Коллинзы позваны на ужин или надо идти к этому чертову зубному врачу. Господи, это ужасно. Ужасно говорить с ней. Поговорила бы ты, раз тебя это так трогает.

— Охотно. Соедини меня с ней. Я вдруг поняла, что у меня есть что сказать этой женщине.

— Она ведь и во Флориду-то уехала, чтобы тебя не мучить. Она очень переживала твою аварию.

— А по-моему, ты говорил, она уехала в надежде, что ты последуешь за ней.

— По-видимому, она думала и о том и о другом. Она совсем запуталась.

— Ну, не одна она.

Когда Руфь бодрствовала, она сознательно занимала себя заботой о детях и о доме, зато сны ее стали необычно жестоки. Насилия, ампутации, сумасшедшая скорость вперемешку со сценами и лицами из далеких уголков ее жизни. Однажды ей приснилось, что она едет в Вермонте по дороге на дачу, которую они там снимали. Судя по всему, это была та часть дороги, что шла под заброшенной лесопилкой, где были особенно глубокие колеи, потому что солнце не пробивало нависавшей листвы и не могло высушить грязь. Она ехала с кем-то наперегонки. Впереди в шатком открытом черном кабриолете сидели рядом, очень прямо, ее отец, Дэвид Коллинз и маленькая старушка из детских книжек; отец правил, и Руфи стало страшно, потому что он отличался рассеянностью, как это часто бывает со священниками, да к тому же в последнее время у него ослаб слух, и он уже не слышал, когда машины приближались к нему сбоку или сзади. Сама Руфь и Джоффри ехали следом в странной низкой повозке, без какой-либо видимой тягловой силы. Они как бы плавно летели, и, однако же, колеса повозки касались изрытой колеями дороги. Волнение сына передавалось ей — его слезы жгли ей горло. Внезапно кабриолет остановился — остановился как в застывшем фильме. Дэвид и папа ухватились за боковины, но старушке, сидевшей между ними, не за что было ухватиться, и она вылетела из кабриолета. Все столпились вокруг нее. Она лежала на краю дороги в нестриженой траве — маленькая, съежившаяся, одни кости. От падения тело ее под черным платьем словно укоротилось, перебитые ноги, точно лапы у паука, отвратительно торчали в разные стороны. Желтое лицо ее было наполовину скрыто разметавшимися волосами, рот раскрылся, и зубы — сплошная вставная челюсть — соскользнули вниз, точно спускная решетка. Она разбилась и умирала. Она пыталась что-то сказать. Руфь нагнулась, чтобы лучше услышать,— и перенеслась во сне в подводное царство, царство голубовато-зеленой воды, которая кажется ярко-голубой из-за белого кораллового песка на дне,— такая вода в Карибском море у берегов острова Сент-Джон, куда она ездила с Джерри много лет тому назад, когда ждала Джоффри. Возможно, ей хотелось увидеть во сне Флориду.

В субботу Джерри сказал, что ему надо съездить по делам в город, а часом позже позвонил ей по телефону.

[1] 110 градусов по Фаренгейту равны примерно 43 градусам по Цельсию.

— Руфь,— сказал он на два тона ниже обычного; она тотчас представила себе открытый телефон-автомат в магазине мелочей,— могу я вернуться сейчас и поговорить с тобой?

— Конечно.— У нее затряслись колени.

— Кто из детей дома?

— Один только Чарли. Джоанна поехала с Джоффри на распродажу в гараж Кантинелли.

Она прошла на кухню и, наполнив стакан для сока вермутом, выпила его как воду — воду, обжигавшую огнем. Она все еще была на кухне, когда он вошел через заднюю дверь; стрекот цикад и сухой, как запах футбольного мяча, воздух конца лета ворвался вместе с ним.

— Я разговаривал с Салли,— сказал он,— и она вынуждена уехать из Флориды. Детям там плохо. Да и занятия в школе начинаются через неделю.

— Да. Ну и что?— Он мялся, словно чего-то ждал. Она спросила:— И ты обо всем этом говорил по телефону из магазина мелочей?

— Я говорил с того, что позади бензоколонки «Тексако». Она хочет знать, ухожу ли я к ней. Лето ведь кончилось.

— Еще не было Дня труда[1].

— Но уже сентябрь.

Дрожь из ног перебралась выше, куда-то под ложечку, вермут в желудке был словно нож, вонзенный так плотно, что даже кровь не выступила.

Джерри выпалил:— Только, пожалуйста, не бледней так.— На его лице читалось абстрактное сострадание, с каким он вынимал бы занозу или шип из ее руки или из ноги кого-нибудь из детей.

Она спросила в надежде, что он оценит ее умение владеть собой:— Где же ты будешь ее ждать?

Он передернул плечами и рассмеялся с видом заговорщика.— Не знаю. В Вашингтоне? В Вайоминге? При ней, конечно, будут все эти чертовы дети. Не наилучший вариант, но как-нибудь справимся. Справляются же другие.

— Немногие.

Он уставился в вытертый линолеум на полу.

Она спросила его:— Ты хочешь уйти?

— Я боюсь этого шага, но — да. Я хочу уйти, скажи мне — у х о д и.

Теперь она, прислонившись к раковине со стаканом в руке, в котором плескались остатки вина, передернула плечами.— Так уходи.

— А ты справишься? У нас больше тысячи долларов на чековой книжке и, по-моему, около восьми с половиной в сберегательной кассе.— Он поднял обе руки, чтобы ее обнять; у Руфи было такое ощущение, что тело его — точно машина, которую кто-то намеренно включил, и она поехала, а из глаз кричал беспомощный пассажир.

— Ничего со мной не случится,— сказала она, осушила стакан и, словно что-то вспомнив, швырнула на пол. Осколки и капли разлетелись звездой по старому зеленому линолеуму в мраморных прожилках.

На шум в кухню прибежал Чарли; Руфь совсем забыла, что он дома. Чарли был славный мальчик, маленький для своих лет, со славным умненьким личиком и унаследованным от Джерри, упрямым, не поддающимся гребенке хохолком.

— Зачем ты это сделала?— спросил он, улыбаясь, готовый услышать в ответ, что это была шутка. Из всех их детей он отличался наиболее развитой логикой, и без теории «шуток» взрослые не укладывались бы в его представление о мире. Он стоял и ждал, маленький, улыбающийся. Ему было семь лет. Стоял в шортах цвета хаки, с голенькой грудкой, покрытой летним загаром.

Руфь прорвало, она почувствовала, как соленая вода брызнула из ее глаз. Она крикнула малышу:— Потому что папа хочет от нас уйти и поселиться с миссис Матиас!

Чарли молча повернулся и со стремительностью побитой кошки вылетел из кухни, Джерри кинулся за ним, и Руфь увидела их обоих уже в гостиной; в дверном проеме, как в раме, возникла бытовая сценка работы кого-нибудь из голландских мастеров: мальчик сидит в качалке, вытянув голые ножки, упрямо вскинув светлую головку, а отец в своих выходных джинсах от Леви и парусиновых туфлях стоит перед ним на коленях и пытается его обнять. Чарли отчаянно сопротивлялся. Любимый вяз Руфи добавлял к этой сцене затянутый желто-зеленым квадрат окна.

— Не плачь,— уговаривал сына Джерри.— Почему ты плачешь?

— Мама сказала... мама сказала, ты хочешь...— Худенькая грудка приподнялась от сдавленных рыданий.— ...хочешь жить с этими детьми...

— Нет, не хочу. Я хочу жить с тобой.

Руфь не могла больше на это смотреть. Осторожно — она ведь была босая — Руфь подмела осколки. Кусочки стекла — иные мелкие как пудра — со звоном высыпались из совка в ведро. П р а х в о п р а х. Она как раз все убрала, когда Чарли прошлепал к ней по чистому полу и объявил: — Папа ушел. Он сказал, что вернется.— Он сообщил об этом с большим достоинством, точно посол вражеской державы.

---

[1] День труда — первый понедельник сентября.

Джерри вернулся, когда Руфь закладывала в плиту тосты с сыром для ленча. Он задыхался, был какой-то бесплотный, с застывшим взглядом, похожий на пугало. По дороге с визгом промчалась машина.— Я снова звонил Салли.

Она закрыла дверцу плиты, проверила регулировку нагрева и спросила:— Ну и?

— Я сказал, что не могу к ней уйти. Описал то, что было с Чарли, и сказал, что просто не могу этого сделать. Завтра она возвращается к Ричарду. Она сказала, что это не слишком ее удивляет. Она была изрядно возмущена тобой — за то, что ты пустила в ход детей, но я сказал ей, что это получилось случайно. Она так разоралась — по-моему, уж слишком.

— Ну, в таких обстоятельствах у кого хватит духу ее винить?

— У меня,— сказал Джерри.— Я любил эту женщину, и она не должна была на меня нажимать.— Рот у него стал совсем маленький, а голос холодный, он устал от страсти, как устает от солнца лето. Руфь подумала, сможет ли она пожалеть Салли: ведь они вместе владели этим человеком, и ту, другую, он изгнал из своего сердца слишком своекорыстно, слишком жестоко. Руфи хотелось узнать еще, услышать каждое слово, произнесенное Салли, услышать ее крики, но Джерри запер на замок свое сокровище. Джоанна и Джоффри вернулись с распродажи — они купили пепельницу в виде цыпленка,— и тут все разговоры прекратились.

На другой день Салли появилась на волейбольной площадке. Стояло сентябрьское воскресенье, по небу неслись светлые серые облака; было не столько холодно, сколько ветрено — точно где-то в атмосфере оставили открытой дверь. Салли, приходившая в июле на площадку в желтом купальном костюме и накинутой поверх рубашке Ричарда, рукава которой она завязывала на животе, снова надела белые брючки и трикотажную кофточку, которые носила в начале лета. Кожа на лице у нее натянулась; от флоридского загара у глаз появились крошечные белые морщинки. Все так дружно приветствовали ее, точно она вернулась, чудом спасшись от какой-то напасти. Ричард, в клетчатых шортах, держался мягче, чем в тот день, когда влетел в полицейский участок. Интересно, подумала Руфь, что они с Салли сотворили друг с другом, отчего он стал таким любезно-сонным. Совсем не чувствуя глубины пространства, он то и дело посылал мячи в сетку и налетал на других игроков. В какую-то минуту он наскочил на Руфь, и в момент столкновения она уловила запах джина. В какую-то минуту Джерри предупреждающе крикнул: «Салли!», неудачно послав мяч прямо в нее, она вытянулась, готовясь к прыжку, но даже не задела мяча, и он упал между нею и сеткой. А крик Джерри, его мольба о помощи надолго повисли в воздухе среди молчания остальных. То, что было между ним и Салли, исчезло — осталась игра, обнаруживавшая всю несобранность Джерри, его манеру отчаянно бить по мячу. Он подпрыгивал, приседал, снова и снова падал среди грязи и разбитого стекла, пытаясь взять невозможные мячи,— он был как сумасшедший, оторванный от реальности, как рыба, выброшенная из воды. И все — ради Салли, но ее задубелое от солнца лицо сердечком было замкнуто: он больше не существовал для нее. Джерри в последний раз отравлял воскресный вечер своим скорбным видом после волейбола: назавтра был День труда. Волейбол, лето, роман — все осталось позади. Дети пошли в школу; недолгие посиделки на траве или у воды под предлогом детских игр прекратились. Шли недели — Конанты с Матиасами не встречались.

Руфь чувствовала себя обманутой. Она ждала поражения за наспех возведенными ею непрочными стенами, а поражения не последовало из-за ее же слез и слез сына — интересно, где та правильная шкала, по которой слезы ребенка весят больше, чем слезы взрослого мужчины? Джерри уронил себя, не сделав того шага, на который толкала его сила собственного несчастья. Руфь обнаружила в его машине карманное издание книги «Дети разведенных». Он пытался установить, чего может стоить поступок, не поддающийся подсчету: если Джоанна, Чарли и Джоффри прольют каждый по кварте слез, он останется; если же лишь по пинте — он уйдет. Если будет семь шансов из десяти, что Руфь снова выйдет замуж,— он уйдет; если же меньше, чем пятьдесят на пятьдесят,— он останется. Это было унизительно: мужчина не должен жить с женщиной из жалости, а если он все-таки живет, то не должен ей об этом говорить. Джерри и не говорил, но не говорил и другого, вернее — неоднократно и то и другое говорил. Подробности утрачивали значение — она едва его слушала, улавливая из потока слов лишь то, что ничего не утряслось, кульминации не было, он не успокоился, он все еще влюблен, и хотя Салли потеряна для него, она продолжает жить в нем прочнее, чем когда-либо, все это не кончено, Джерри не удовлетворен, жена подвела его — подвела, не сумела по своей нескладности даже умереть, во всем виновата она одна, и никогда ей не знать покоя.

Каждый вечер, возвращаясь с работы, он с надеждой спрашивал:— Ничего не произошло?

— Нет.

— Никто не звонил, не заходил?

— А ты ждешь звонка?

— Нет.

— Так в чем же дело?

Он принимался просматривать дневную почту.

Она спрашивала:— Как ты себя чувствуешь?

— О'кей. Отлично.

— Нет, правда.

— Устал.

— Физически устал?

— В итоге — да, конечно.

— Устал жить со мной?

— Я бы так не сказал.

— От того, что живешь без нее?

— Да нет. Я ведь никогда не был уверен, что мне понравится с ней жить. У нее могла появиться привычка мной командовать.

— Тогда что же тебя гложет? Страдать вот так, молча — ничего хуже нет. Мне, например, кажется, что я теряю рассудок.

— Глупости. Ты самая здравая женщина, какую я знаю.

— Была самая здравая женщина, какую ты знал. «Ничего не произошло?» Всякий раз, когда ты меня об этом спрашиваешь, мне хочется схватить тарелку и швырнуть об пол, хочется пробить кулаком эти стекла. Чего ты ждешь, что должно произойти?

— Не знаю. Ничего. Наверное, жду, чтобы она сделала какой-то шаг. Но что она может сделать?

Руфь пересекла комнату и схватила было его за плечи, словно намеревалась встряхнуть, но тут же разжала пальцы: плечи у него оказались такие тощие.— Неужели ты не понимаешь? Ты покончил с ней. Покончил.

Джерри смотрел куда-то поверх ее головы, сквозь ее волосы.— Этого не может быть.— Он говорил, еле ворочая языком, точно сомнамбула.— Нельзя так быстро перейти от наполненности к пустоте.

— Прошу тебя, сосредоточься, — сказала она, пытаясь встряхнуть его как ребенка, но он оказался слишком большой, и она встряхнула только сама себя.— Женщины зависят от мужчин. Она любила тебя, но ты не оправдал ее надежд, и теперь она вынуждена держаться за Ричарда. Ей нужен Ричард. У нее дети от Ричарда. Ты не должен больше вмешиваться в их жизнь.

— Она попытается теперь завести роман с кем-нибудь другим, чтоб выбраться из своего брака.

— Ну и ладно, пусть. Ты не имеешь на нее никаких прав, Джерри.

— Чьи-то надежды я должен был не оправдать. Либо ее, либо твои и наших детей.

— Я знаю. Не растравляй себя. Я знаю: если б выбор был между нею и только мной, ты бы не колебался.

— Неправда. Колебался бы.

— Очень смешно. Зачем ты говоришь это? Зачем утруждаешь себя?

— Из уважения к тебе, — сказал он, — я пытаюсь говорить правду.

— Ну так прекрати. Это уже не уважение. Я не хочу больше слышать правду. Что ты делаешь со мной, Джерри?

— Ничего я с тобой не делаю. Продолжаю оставаться твоим мужем.

— Какой же ты теперь муж? Это-то уж ты понимаешь, не так ли?

— Я думал, ты такой перемене будешь только рада.

— Почему?

— Мне казалось, ты этого не любишь.

— Очень даже люблю.

— Ты всегда поворачиваешься ко мне спиной.

— Не всегда.

— Тогда сегодня все будет иначе.

— Нет. Вместо меня опять будет она. В твоих мыслях будет она. Это слишком унизительно.

— Так чего же ты от меня хочешь?

— Перестань думать о ней.

— Не могу.

— Тогда постарайся, чтоб я этого не замечала. Думай о ней в Нью-Йорке. Думай на пляже. А когда ты со мной дома — думай обо мне. И если хочешь оставаться со мной, то чтоб я чувствовала, что именно со мной. Лги мне. Соблазняй меня.

— Ты ведь моя жена. Мне нет нужды тебя соблазнять.

— Сделай меня своей женой. Обними. Обними меня.

Она прижалась к нему, но руки его висели как плети.

— Послушай, Руфь, — сказал Джерри. — Бедная Руфь. Я же с тобой. Я думал, ты будешь счастлива. Неужели ты не счастлива?

— Нет. я боюсь.

— Ты никогда ничего не боялась.

— Меня тошнит.

— В прямом смысле слова?
— Нет еще.
— Тогда как же?
— Позволь мне кое в чем тебе признаться. В ту субботу, когда ты отправился стричься, не сказав мне, и пропадал всю вторую половину дня, я то и дело смотрела в окно — отчетливо помню каждый листик на вязе — и около половины шестого подумала: «Он ушел. Он бросил меня». И почувствовала о б л е г ч е н и е.

Он наконец прижал ее к себе, и в слиянии их тел было тепло, но Руфь не могла всецело отдаться страсти, потому что в объятиях Джерри чувствовала что-то недоброе, как в силе земного притяжения: ему доставляло удовольствие то, что она пошатнулась, что разум отказывает ей.

Она сама перестала себя понимать: разница между ее восприятием и чувствами перестала быть четкой. Сентябрь уходил в небытие; явился рабочий, отрегулировал печь, и остывающими ночами она теперь сама включалась и выключалась. Когда Руфь лежала без сна, ей не давало покоя непривычное урчание; она не понимала, реальный ли это звук, и если да, то откуда он — то ли печь гудит внизу, то ли самолет в небе, то ли трансформаторы на столбе за окном спальни. Где-то на просторах ее жизни работал мотор — но где? Джерри и Салли — она была уверена — так сильно ранили друг друга, что ни о какой возможности примирения не могло быть и речи, но Руфь чувствовала, что судьба ткет свое полотно и события складываются в рисунок, родившийся в темных закоулках ее мозга. Мир таков, какой, по нашему разумению, он есть; чего мы ждем, то и случается; а ждем мы того, чего жаждем. Как негатив порождает отпечаток, так и Руфь породила Салли. Откуда иначе то раздражение, с каким она относится к изъянам в красоте Салли — горькой складочке в уголке рта, слишком пышным бедрам? Руфи хотелось, чтобы Салли была безупречной, — как ей хотелось, чтобы Джерри был решительным. Руфь, воспитанную в иной вере, раздражало то, что Джерри так радуется своей раздвоенности, как доказательству глубокой пропасти между телом и душой, благодаря которой человек только и может избегнуть забвения. Все это слишком уж отдает религиозными бреднями, фантасмагорией. Дикий зверь его страсти чересчур легко подчинился велениям разума Руфи. Он застыл на три месяца, стоило ей взять и попросить, и совсем исчез с горизонта, лишь только она замахнулась, а у Чарли слезы блеснули в глазах. Слишком все получилось легко, слишком странно. Наверно, думала Руфь, надо бы поднапрячься и теперь, когда ночи стали равны дням, последним усилием воли разрядить напряжение лета. Она — пленница: пропасть между ее рассудком и миром, через которую был перекинут мостик из тысячи догадок, сомкнулась, и она оказалась плененной, как белый единорог на гобелене.

В последнюю пятницу месяца Коллинзы уговорили их поехать в Кэннонпорт на вечер греческих плясок. Старый Кэннонпорт, прижатый к морю, со своими скрипучими причалами и рыдающими чайками. Пляски были устроены в подвальном помещении местного зала Ветеранов войны, большого дощатого строения с квадратной башней стоявшего на откосе среди четырехэтажных, крытых черепицей жилых домов. Здесь, в нижней части улицы, соленая вода оставила на домах черные подтеки. Матовые стекла в окнах зала молочно светились — за ними находился гулкий, как пещера, подвал: грохот музыки проникал наружу даже сквозь стены. Джерри, Руфь, Дэвид и Линда спустились по бетонным ступенькам бокового входа; у какого-то типа, сверкавшего столь безупречной лысиной, что проглядывали швы на черепе, они купили малиновые билеты. Внутри было светло, жарко и шумно, люди стояли, сидели, пили пиво, плясали, извиваясь длинной, крепко сбитой цепочкой,— лица блестели, нелепые, сумасшедшие. Были тут и Матиасы. Они приехали с Хорнунгами.

— Я говорила им про эти танцы, но не думала, что они поедут, — поспешила сообщить Руфи Линда, когда Ричард направился к ним, а следом за ним и Салли.

Ричард казался пьяным и пришибленным; Руфь сразу увидела, что он завел или собирается завести роман с Дженет Хорнунг. На Салли было оранжевое платье — цвет этот шел ей и одновременно придавал трагический вид. У Руфи заломило виски. Ричард взял ее за руку, и они присоединились к танцующим, разорвав цепь, — она потащила их за собой, вовлекла в движущуюся людскую массу.

Во время танца в поле зрения Руфи то и дело появлялось оранжевое платье Салли. Порою они оказывались друг против друга, следуя спиралям цепи; лицо Салли было опущено, она танцевала как бы вне связи с окружающими, словно вставленная в общий фриз, тогда как Руфь чувствовала себя накрепко припаянной к своим соседям, которые тянули ее, непокорную, неуклюжую. Чьи-то руки спаривались с ее руками. Пухлые пальцы Ричарда то и дело перебирали ее руку, чтобы она не выскользнула. Какой-то незнакомец, поросший густой шерстью, которая пучками торчала из рукавов его пиджака, подпрыгивая, дергаясь, схватил ее за запястье и сверкнул многозначительной улыбкой, обнажившей сломанные зубы. У одних руки были толстые как булки, у других — вялые как растекающееся тесто. Несколько мгновений Руфь плясала рядом с приземистой греческой матроной в черном — крючкова-

тый нос, набухшие веки и рука, словно распластанная птичка, трепещущая невероятной, нечеловечески лихорадочной дрожью. Танец кончился, Руфь выпустила руку женщины и в изумлении уставилась на заурядное, усталое и тупое лицо. С таким же изумлением смотрела она и на Салли и думала, что та, наверное, часто встречалась с Джерри в этом платье, и Джерри, наверное, часто снимал его. Бузуки и кларнет разразились новой мелодией — голова у Руфи заболела с удвоенной силой. Подошел Джерри и взял ее за руку. Он так мягко держал ее, что рука то и дело выскальзывала — Руфи приходилось пальцами нащупывать его руку, ногами нащупывать нужные па. Притоп левой, левую за правую, шаг назад, вот так, ноги вместе, стоять на пятках один такт. Притоп. Оранжевое мелькнуло справа, а несколько мгновений спустя — слева. Рука Джерри соскользнула с ее руки, ослабившийся Ричард прошел мимо в танце, темп возрастал, Джерри снова взял ее руку. Музыка оборвалась. Вместо потолка над головой переплетались ядовито-зеленые трубы, и они вдруг стали опускаться на нее.

Джерри сказал ей: — Давай пошевеливайся. Ты пляшешь так, будто у тебя в туфле камень.

— У меня голова болит.

— Слишком много думаешь. Я сейчас принесу тебе выпить.

Но от бурбона у Руфи только закружилась голова, и теперь, танцевала она или стояла, зал вращался вокруг нее и яркая фигура Салли все мелькала, словно дразня бьющей через край энергией, врезалась в поле ее зрения то слева, то справа, как бы стачивая ее, делая все меньше и меньше, пока она не превратилась в комок, комок боли. Яркий свет вызывал у нее тошноту. Шеф оркестра вдруг встал с электрогитарой, гикнул, и начался твист. Грохот, казалось Руфи, плотной массой заполнил зал — оркестр непрерывно нагнетал его, словно стремился заполнить все пространство вплоть до самых дальних углов, вплоть до пыльных таинственных глубин между трубами и потолком. Джерри повел Салли к танцующим. Руфь не удивилась. Она заметила, как все взгляды сразу приковались к ним, пока они выходили на середину зала; эта пара бросалась в глаза: оба высокие, молодые, даже юные, слегка забавные и настоятельно требующие к себе внимания — так актеры требуют внимания публики. Они встали на расстоянии, друг к другу лицом и, расслабив угловатое тело, начали танец — зрители окружили их кольцом и скрыли от глаз Руфи. Дэвид Коллинз подошел было к ней, взглянул на ее лицо и тут же отошел; она почувствовала, что он испугался. Она была точно заразная, смердящая, проклятая, и еще эта боль в лобных пазухах, совсем как родовая — вот-вот родишь чудовище, такое же, как сама. Когда твист наконец прекратился, она подошла к Джерри и сказала: — Пожалуйста, отвези меня домой. Мне все это омерзительно.

На его возбужденном лице глаза округлились от удивления.

— П р о ш у т е б я.

Джерри поверх ее головы посмотрел на Салли и спросил: — Вы подвезете Коллинзов? Нам, видимо, придется уехать.

— Конечно. Мне очень жаль, Руфь, что ты плохо себя чувствуешь. — Голос Салли звучал изысканнейше, она безукоризненно изящно растягивала слова.

Руфь обернулась к ней.

— Ты мне солгала — сказала она, стараясь отчетливо произносить слова, несмотря на тошноту и ужас.

Мускулы на лице Салли напряглись, и глаза потемнели, так что глазницы стали глубокими-глубокими. Но она лишь повторила: — Мне очень жаль, Руфь, — словно ничего и не слышала.

Ничего. Сон продолжался своей чередой, но только уже без нее. Джерри в ярости гнал в Гринвуд машину — они оба могли разбиться, а Руфь не смела и голос подать, чтобы он не повернул назад. Однако опасность спаяла их, и от этого каждому было легче: Джерри бросал вызов смерти, а у Руфи от скорости прошла голова. Она чувствовала, как боль слетает с нее комьями и искрами, точно снег, когда его смахиваешь зимой с крыши машины. Они не разговаривали — слышалось лишь астматически шумное дыхание Джерри. Домой они приехали в полночь; потом он еще отвозил миссис О. Руфь надела ночную рубашку, махровый халат и подкрепила силы стаканом молока. Он вошел, жестикулируя, через кухонную дверь. На мокрых туфлях налипла палая листва.

— Солнышко,— сказал он, беспомощно опустив руки,— я должен с тобой расстаться. Она такое чудо. Я не могу отказаться от нее.

— Не надо этих аффектированных жестов и говори тише. Я ведь слышу тебя.

Он заговорил судорожными рывками, шагая взад и вперед по линолеуму: — Сегодня вечером я это понял — очень четко. Осенило. Я ждал этого, и вот оно пришло. Я должен уйти к ней. Должен уйти к этому оранжевому платью — погрузиться в него и исчезнуть. И пусть это убьет меня, пусть это убьет тебя. Меня ничто не удержит — ни дети, ни деньги, ни наши родители, ни Ричард,— ничто. Это всего лишь факты жизни, скверные факты. Упрямые факты. Нужна вера. А у меня не хватало веры — как ни странно, веры в тебя. Я не считал тебя личностью, существующей отдельно от меня. А ты — личность. Господи, Руфь, извини меня, извини. Все будет куда страшнее — я знаю, я даже представить себе не могу, как будет страшно. Но я

у б е ж д е н. Абсолютно убежден. А это такое облегчение, когда ты убежден. И я очень благодарен. Я тупица и трус, но я рад. Радуйся и ты тоже. Хорошо? А то я ведь просто сжирал тебя, изводил до смерти.

Пальцы у нее стали вдруг огромные, растеклись, как звук гонга, по холодному стеклу стакана.

— Хорошо, — сказала Руфь. — Я ведь обещала помочь тебе, если ты решишь. Как же мы это осуществим? Когда ты скажешь детям?

— Не заставляй меня пока говорить детям. Просто разреши сегодня не спать здесь. Не уговаривай меня. Наверное, ты могла бы меня уговорить, но не надо. Дай мне куда-нибудь уехать. К Коллинзам. В мотель.

— А что я скажу им утром? Детям?

— Скажи им правду. Скажи, что я куда-нибудь уехал. Скажи, что я вернусь домой днем, и выкупаю их, и уложу. Вечером я не выйду из дома, пока они не заснут.

— Она, очевидно, будет с тобой.

— Нет. Решительно нет. Я не хочу, чтоб она знала. Не хочу, чтоб она знала, пока это не окончательно: она только разволнуется.

— Ты хочешь сказать, что это не окончательно?

Он молчал, глядя широко раскрытыми глазами. Потом сказал: — Я должен посмотреть, как ты и деги перенесете это.

— Мы перенесем все, что предстоит перенести. Ведь ты этого от нас хочешь?

— Только не надо ожесточаться. Ты же обещала помочь. Подумай о моем достоинстве и дай мне попробовать.

Руфь передернула плечами: — Пробуй все, что хочешь. — Когда она поднесла молоко к губам, от него пахнуло кислятиной. Она увидела мелкие створоженные частички на поверхности и не смогла пить. — А если нас куда-нибудь пригласят — что мне говорить?

— Пока — соглашайся. Я поеду с тобой.

— Значит, просто не будешь жить со мной — разница только в этом?

— Разве это не главное? Во всяком случае, это — начало. И правильное. Что бы дальше ни произошло, это — правильно.

— О-о, какие любопытные вещи ты говоришь.

— Солнышко, синяя птица улетела. Мы слишком молоды, чтобы сидеть до конца жизни и ждать, не влетит ли она назад в окно. А она не влетит. Она никогда не возвращается.

Он снова принялся жестикулировать — неприятно-театрально, и Руфь обозлило самодовольство, промелькнувшее на его лице, когда он нашел этот образ никогда не возвращающейся синей птицы: экран его лица словно ожил. Она встала и подошла к раковине.

Джерри жалобно крикнул ей в спину: — Только не начни пить!

Она вылила молоко в раковину, сполоснула стакан и, перевернув, поставила на сушилку. Затем проверила, не осталось ли крошек на разделочной доске, которые могли бы привлечь муравьев, и, обнаружив несколько крошек у тостера, смахнула их рукой в ладонь и выбросила в раковину вслед за вылитым молоком. Мокрой тряпкой она вытерла мазок джема, замеченный возле тостера. Выключила свет над доской и сказала: —Пить я не собираюсь. Я ложусь спать.

Чтобы выйти на лестницу, ей надо было пройти мимо Джерри.

— Как твоя голова? — спросил он.

— Не дотрагивайся до меня, — сказала она. — Голова у меня меньше болит, но если ты дотронешься, я закричу или заплачу — не знаю, что из двух. Я ложусь: уже поздно. Ты будешь собирать вещи или что?

— Неужели нам больше нечего друг другу сказать? Мне кажется — есть.

— Позже наговоримся. Времени у нас предостаточно. Не надо меня подгонять.

Она почистила зубы в детской ванной — чтобы быть подальше от Джерри. Чистила она зубы щеткой Чарли, которая оказалась жесткой и колючей — видимо, он редко ее употреблял; надо будет сказать ему об этом. Прямо в халате она легла в постель. Отчаявшаяся, продрогшая, она сунула обе подушки себе под голову и, устроив нору из одеял, свернулась калачиком. Сомкнув веки, она погрузилась в багровую пустоту, прорезанную странными вспышками, и ощущение собственных волос на щеке и губах казалось ей касанием чужой руки. Она вслушивалась в отдаленное щелканье замков и скрежет, доносившийся из комнаты, где упаковывал вещи Джерри. Шаги его приблизились, дверь открылась, и проникший в спальню свет сделал багровую пустоту под ее веками прозрачной, кроваво-розовой — Джерри шарил в ящике у ее изголовья.

— Мне, пожалуй, надо взять ингалятор, — сказал он.

Голос его звучал пронзительно, дыхание было неглубоким, натужным.

— Если все так правильно, — спросила она, — почему же у тебя начался приступ?

— Астма на меня нападает, — сказал он, — от перегрузок и сырости, а также в определенное время года. Это не имеет отношения ни к тебе, ни к Салли, ни к богу,

ни к тому, что правильно или неправильно.— Он нагнулся, отвел прядь волос и поцеловал ее в щеку. — Подождать мне, пока ты заснешь?

— Нет. Все будет в порядке. Ничего со мной не случится. Уезжай.

Невероятно, но он подчинился. Она вслушивалась в звуки его шагов — он обходил дом, заглядывал в комнаты детей, подводя итог их совместной жизни, решительно открывая и закрывая двери; потом неровные шаги его, затихая, послышались на лестнице — должно быть, он нес что-то тяжелое и припадал на одну ногу. Входная дверь легко поддалась и открылась. Что-то осторожно бухнуло на крыльце. Там он, видимо, заколебался; она ждала, что дверь сейчас снова откроется и впустит его, его шаги послышатся на лестнице — только теперь он будет подниматься, знакомо стуча каблуками. Но она неверно истолковала тишину. Он просто бесшумно сошел с крыльца. Дверца машины открылась и захлопнулась. Чиркнул стартер, мотор заревел у нее в голове — все пронзительнее по мере того, как убывал звук. Он уехал.

Постель казалась огромной. Руфь слегка распрямилась на белизне. Она шла на лыжах — медленно скользила наискось по широкому, почти голому и обледенелому склону, старательно накренившись вперед, делая упор на нижнюю лыжу. Из-под снежного покрова виднелась полоска бурой травы, но Руфь легко перелетела через нее и воткнула палку в снег, чтобы развернуться. Она хорошо провела разворот и пошла вверх — хотя и не на большой скорости, но плавно, возможно потому, что на пятках ее лыж не налипло пушистого снега.

Проснувшись в субботу утром, она обнаружила у себя в постели Джоффри. В своем бездумном эгоизме маленькое тельце заняло всю середину постели, оттеснив ее на край; при Джерри, поскольку он тяжелее, посередине оказывалась она. Личико Джоффри, расслабленное и спокойное, было словно вырезано из плотного светлого мрамора, в который свет проникает лишь на миллиметр. Серьезность этого лица, неподдельное совершенство очертаний — брови, веки, пухлые завитки ноздрей и ушей — испугали ее, словно ночью ей положили в кровать украденный шедевр. Она постаралась подавить панический страх.

В спальню вошла Джоанна, ворча и протирая глаза, и спросила, где папа. «Папа рано встал: у него срочная работа». Дети восприняли ее объяснение без тени сомнения и без особого интереса. Руфь встала, и краны в ванной показались ей неестественно блестящими, словно елочные украшения. На кухне она снова посмотрела на календарь и проверила свои подсчеты: задержка была уже на три дня. Накормив детей завтраком, она взяла пылесос и отправилась вниз. Около десяти позвонил Джерри.

— Хорошо спала?

— Неплохо. Джоффри залез ко мне в постель, а я даже не проснулась.

— Вот видишь! Я же говорил, что тебе понравится, когда вся постель будет в твоем распоряжении.

Но постель как раз н е б ы л а в ее распоряжении — она ведь только что сказала ему об этом. Решив все же не спорить, она спросила:

— А как т ы спал?

— Ужасно. В мотеле возле самой моей двери всю ночь включалась и выключалась машина, готовящая лед. Женщина-портье никак не могла поверить, что я — один. Я думал о предстоящей ночи — так вот: у родителей Неда Хорнунга есть коттедж в Джейкобс-Пойнте, а они уже вернулись в город, так что, может быть, я смогу пожить там. Я ему позвоню. — Он говорил быстро, все это волновало, забавляло его — еще бы, такое приключение. Она закрыла глаза. Наконец он вспомнил и спросил: — А дети расстроились?

— Нет, они не восприняли это всерьез. Пока что.

— Дивно. Ей-богу, все до того нереально. Я заеду домой около четырех.

— Так поздно? А день такой чудесный — вот бы погулять по пляжу.

— Руфь, прошу тебя, не надо. Мне бы тоже очень хотелось, но давай попробуем пожить так, словно мы расстались. Может быть, Чарли с Джоанной предпочли бы пойти на футбол в школу.

— Как-то нелепо начинать новую жизнь с конца недели. А что, если тебе вернуться домой на сегодня и на воскресенье и приступить к новому распорядку в понедельник?

— Черт возьми, женщина, не могу я. Н е м о г у. У меня не хватит духу снова уйти. Это было ужасно — спускаться по лестнице с чемоданом. А когда мы утрясем все с детьми? — И, не дожидаясь ответа, Джерри добавил: — Ведь надо же мне что-то сказать и Хорнунгам, когда я буду просить насчет коттеджа.

Руфь молчала, потрясенная тем, как расширяются трещины в почве, которую она каждый день привыкла чувствовать под ногами. И у Джерри такой радостный голос.

День выдался ясный, погожий, небо было светлое, — день, словно созданный для того, чтобы провести его на воздухе, — но собирать палые листья было еще рано. Руфь принялась подстригать лужайку — босиком, в рабочих брюках и серой трикотажной нижней рубашке Джерри; земля под ее ногами была спекшаяся, за-

твердевшая, чужая. Лужайку можно бы и не подстригать, но Руфи хотелось чем-то занять себя. Быть может, от работы у нее прекратится задержка. К тому же теперь ей придется делать все это самой. Но уж очень было грустно: рубашка слишком живо напоминала о Джерри, а чахлый подорожник и цикорий, продолжавшие расти, хотя расти им уже и не следовало, напоминали ее самое. Отец не раз говорил с кафедры, что человек — как трава, которую бросают в печь, и при этом сам не подозревал, насколько это верно, — он, который был так уверен, что все его любят, да его и любили.

Держась за ручку косилки, Руфь бесплотной тенью висела над землей — землей с ее переплетением крошечных жизней и смертей, что издали кажется лужайкой, а вблизи — чем-то невыносимо путаным и жестоким. Смотри на вещи реально. Мы стареем — и нас выбрасывают на свалку. Мы слабеем — и нас съедают. Голоса детей, устроивших потасовку с Кантинелли, терзали ее слух. Чарли налетел на Джоффри, а тот, не понимая правил игры, изо всей силы прижимал к себе футбольный мяч и не выпускал, точно это была кукла или ценный приз, который он получил; Джоффри тяжело упал и заплакал. Руфь бросилась к ним. Ключицу он на сей раз не сломал, тем не менее Руфь наотмашь ударила Чарли, который вызывающе смотрел на нее, подняв кверху лицо с этакой ехидной, Джерриной полуулыбочкой. Он разразился такими горючими слезами, что Джоффри от удивления перестал плакать, потом снова заревел — уже из сочувствия к брату. «Он же не нарочно!» — всхлипывал Джоффри. Чувствуя, как подступает тошнота, потрясенная собственным поведением, Руфь повернулась и кинулась прочь от детей — в дом. На кухне она плеснула себе в стакан немного вермута. Со стаканом в руке она прошлась по комнатам нижнего этажа, глядя на мебель, которую они с Джерри накупили за годы совместной жизни, с таким удивлением, словно эти заурядные вещи находились в гроте и были причудливыми творениями эрозии, придавшей им определенные формы. Пришла почта — газеты и письма упали на пол в передней и так и остались там лежать. Джерри непременно бы подобрал всю груду. Если же она сейчас наклонится, то потеряет сознание. Руфь вслушалась: чей-то голос; может, это она сама молится? Зазвонил телефон — резко, оглушительно. Это был Джерри.

— Привет. Кажется, у меня добрые вести. — Но голос у него был далекий, испуганный, в нем звучала бравада беглеца, заключенного в телефонной будке. — Хорнунги в восторге от того, что я воспользуюсь коттеджем их родителей. Насколько я понял, их дважды обкрадывали прошлой осенью, и они даже рады, что я там поселюсь. Они дали мне ключи вместе с кофе и выражением сочувствия. Я им сказал, что это только эксперимент. В коттедже нет плиты, но есть электрическая плитка, и телефон пока еще не отключили. Хорнунги говорят, что коттедж — барахло, только вид хорош. А я сказал, что я как раз большой любитель видов. Запишешь номер телефона?

Руфь сгребла почту с пола и записала номер на обороте конверта с каким-то счетом. Она спросила: — Ты не мог бы приехать к ленчу?

— Я же сказал: вернусь к четырем. Почему ты не воспринимаешь всерьез того, что я говорю?

Она сказала: — Я хочу погулять по пляжу, а дети не хотят идти на футбол. Ты нам нужен.

— Но мы же р а с с т а л и с ь, черт побери!

— Мне надо кое-что тебе сказать.

— Что?

— Я не могу сказать по телефону.

— Почему? Что-нибудь плохое?

— Теперь — плохое. Когда-то, наверное, было бы хорошим. Вообще — ничего определенного. Скорее — сигнал тревоги.

— Что же это такое?

— Пусти в ход воображение.

— Это насчет Салли?

— Н е т. Ради всего святого. У тебя стал такой нудный одноколейный ум, Джерри. Подумай для разнообразия о н а с.

— Я скоро приеду.

Она ждала у окна. Ее вяз, ее священный вяз затоплял дорогу золотыми листьями, возвращаясь к наготе, которая выявляла все его арабески и веточки; он уводил ее взгляд вверх и вглубь, внутрь дома, к некоей неделимой надежде. Старый коричневый «меркурий» Джерри, с опущенным, словно в знак избавления, потрепанным верхом, свернул хрустя гравием, на ведущую к дому дорожку; в тот же момент «мерседес» Ричарда медленно проехал мимо и покатил дальше. Джерри вошел с усмешечкой. — Этот сукин сын непременно остановился бы, если бы я не завернул к дому. И как это он так быстро все учуял?

Руфь кинулась к нему, заставила обнять себя прямо в передней. Она была возбуждена, игриво настроена. Хоть он и качнулся назад и обнял ее с опаской, ему это явно польстило. — Что, детка? Неужели ты так быстро без меня соскучилась? — Он погладил ее по спине, по своей же рубашке.

— Отвези меня на пляж, — попросила она. — Отвези всех нас на пляж.

Залив у Лонг-Айленда был такой синевы, какой никогда не добьешься на полотне, цвета столь интенсивного, что на него ушла бы вся краска, тюбик за тюбиком, — синее копировальной бумаги и ярче титановых белил. Высокие осенние приливы прибили всякий мусор к самым дюнам; массивная килевая балка лежала, выброшенная бурей, и под ее прикрытием здесь разводили костры, оставившие черные подпалины. Дети умчались вперед, а еще дальше, за ними, широкими кругами носился спущенный с поводка пес, и лай его с опозданием долетал до их ушей. Вода холодом сковала лодыжки Руфи, и она вздрогнула, словно от счастья. Она прильнула к Джерри, взяла его под руку и сказала ему, глядя, как подпрыгивают головки детей, пересекая круги, оставленные собакой, что у нее задержка на три или четыре дня, но пусть он не волнуется.

Он спросил — почему.

Она сказала, что сделает аборт.

Он закрыл глаза и на ходу повернул лицо к солнцу, хотя солнце было уже слишком низкое и не давало загара. Он сказал, что это мерзко.

Она согласилась, но ведь из стоящих перед ней альтернатив эта — наименее мерзкая. Она считает, что нельзя производить на свет ребенка, у которого нет отца.

Он посмотрел на детей, плясавших на просторе точно солнечные зайчики, и сказал, что это все равно как если бы убить одного из них. Кого она выберет — Джоанну, Чарли или Джоффри?

Руфь сказала — глупости, вовсе это не так: ведь это все равно что убить рыбу, даже меньше. А силы моря, словно внося свою лепту в их беседу, выбрасывали им под ноги крошечные серебряные тельца — пескарей, попавших в водоворот прилива. Руфь вслух вспомнила о выкидыше, который был у нее шесть лет тому назад.

Но, сказал он, то произошло по воле всевышнего. А теперь это произойдет по их воле.

Конечно, сказала она, — и нетерпимость ее отца к предрассудкам проявилась в стремительности, с какой она это произнесла, — конечно, это не одно и то же. Но она знает, что может и хочет на это пойти. Хочет сделать ему такой подарок. Если надо, она полетит в Швецию, в Японию.

Он же винил во всем себя: зачем он продолжал с ней супружеские отношения после того, как разлюбил — или ему казалось, что разлюбил ее.

Она возразила: это неестественно — жить под одной крышей и не иметь супружеских отношений.

Он с ней не согласился. Но его несогласие — Руфь это чувствовала — главным образом объяснялось стремлением снять с себя моральную ответственность за аборт. Интуиция подсказывала Руфи, что теперь Джерри перейдет к преувеличениям, к пародии. Он вдруг остановился и, размахивая руками, объявил:

— Какой же это подарок — убить моего ребенка, чтоб потом, когда я умру, эта рыба таращилась на меня в чистилище.

— Ах, Джерри, — вздохнула Руфь. — Возможно, ничего и не потребуется.

— Три дня — большой срок, — сказал он. — Мир был наполовину сотворен за три дня. — И он обвел широким жестом сияющий мир вокруг.

— Ничего не известно, — сказала Руфь. — У женщин всяко бывает. Я чувствую себя так странно, все меня раздражает, как обычно перед началом.

— Ты просто чувствуешь себя как беременная, — сказал он и, вдруг остановившись, обхватил ее за бедра и приподнял, так что мокрые ноги ее заболтались в воздухе. — Солнышко, — сказал он. — У тебя будет маленький ребеночек!

— О п у с т и меня, — сказала она; он опустил, и она невольно рассмеялась, глядя на его облупленный нос, его улыбку, полную страха. Смех будто снял сдерживающие оковы: она расплакалась, повернулась и зашагала назад, к дому, а он окликнул детей и последовал за нею.

Джерри докосил за нее лужайку и рано поужинал вместе с ними. Пока Руфь мыла посуду, он приготовил детям ванну и пижамы и почитал на ночь книжку. Когда Джоанна улеглась в постель, часы показывали уже начало девятого, и Джерри явно заторопился. Возможно, у него была заранее назначена встреча с Салли: Руфь сомневалась, что они порвали всякую связь, как он утверждал. Она попыталась его удержать, но он сказал — нет, надо мужаться. Он собрал разные мелочи, которые забыл взять накануне, прихватил два одеяла, потому что в коттедже могло быть холодно, и, словно навьюченный бродяга, пошатываясь, вышел за дверь. Не успел он уехать, как Руфи захотелось позвонить ему, сказать, что все это — нелепица. Бывают такие дурацкие несчастные случаи: изменила курс шальная стрела, отлетел в сторону осколок металла, — и человек потерял глаз; отклонись они на полдюйма — и никакой беды не случилось бы.

Руфь сдерживалась и не звонила Джерри, хотя номер его телефона смотрел на нее с обратной стороны невскрытого конверта на телефонном столике. Она покружила по дому, подобрала игрушки, вылила остатки вермута в кухонную раковину, приняла нестерпимо горячую ванну и полистала «Детей разведенных». Потом захлопнула книжку. Вяз стоял перед ее глазами огромной подушкой тени. Она закрыла глаза. Обрывки каких-то глупостей, фотомонтаж из снов замелькал во тьме под ее

закрытыми веками; наконец раздался звонок. Голос у Джерри был хриплый, несчастный. Он заранее подготовил свою речь: — Я не хочу, чтобы ты делала аборт. Это было бы дурно. А в нашей жизни надо крепко держаться всего, что явно хорошо или явно дурно: слишком много ведь такого, что не поймешь. Если ты беременна, я возвращаюсь и остаюсь твоим мужем, и мы с Салли забудем друг друга.

— Не так надо эту проблему решать.

— Я знаю, но прошу тебя: уступи. Я все ждал божьего слова, и вот оно. Решительно выбрось аборт из головы.

— Это очень хорошо и великодушно с твоей стороны, Джерри, но я все равно сделаю аборт. Даже если ты порвешь с этой женщиной, мы не можем радоваться появлению еще одного ребенка.

— Ну, это мы обсудим потом. Я просто хотел, чтобы ты знала. Спокойной ночи. Спи крепко. Ты очень мужественная.

Ему стало явно легче от ее твердости. Держа омертвевшую трубку в руке, она поняла: ему стало легче, потому что появилась возможность выбора. Если она беременна, он не расстанется с нею; если нет, то расстанется.

В воскресенье утром, чуть свет, задолго до того, как проснулись дети, а колокольный звон католической церкви на другом конце городка стал сзывать верующих к первой мессе, Руфь обнаружила, что нездорова. Она стояла в ванной, смотрела на кусок туалетной бумаги, который держала в руке, и у нее возникло вполне отчетливое чувство, что и бумага, и кровь на ней, и утренний свет, усиленный кафелем ванной, и ее собственная, с набухшими венами, рука — все это одно целое. За ночь фотография проявилась. Ее жизнь за последнее время, ее борьба и смятенье — все свелось вот к этому, к красной кляксе на белом, к обычному пятну. Послание ее тела неизвестно кому, недвусмысленное объявление о том, что она пуста. Говоря языком современных абстракций, в руке у нее был не иероглиф и не символ, нет, это была она сама, то, к чему все свелось; бесспорно — она сама. Руфь спустила воду.

IV. Как реагировал Ричард

— Алло!

Голос принадлежал Ричарду.

Джерри уже стоял у двери. Шел десятый час, и ему пора было возвращаться в коттедж — на третью ночевку. Внезапно зазвонил телефон — не подумав, он снял трубку. И сейчас держал в руке низкий, гулкий, напыщенный, отвратительный голос Ричарда.

Он произнес в ответ: — Алло.

— Джерри, — сказал Ричард, — мне кажется, нам вчетвером неплохо бы поговорить.

— О чем?

— Я думаю, ты знаешь о чем.

— Знаю? — Голос звучал у него в ухе, и никуда от этого не деться, не повернуть поток вспять и не перекрыть его, этот поток, который, казалось, неуклонно уносил куда-то его опустившиеся внутренности. У Джерри почва ушла из-под ног.

Ричард сказал: — Ты именно такую хочешь вести игру, Джерри?

— Какую игру?

— Прекрати, давай все-таки будем взрослыми. Салли сказала мне, что вы с ней вот уже полгода любовники.

Джерри молчал и в образовавшейся воронке тишины снова и снова спрашивал себя, можно ли сказать про женщину — «любовник».

— Так что же? — спросил Ричард.— Она врет?

Это была вилка. Когда они только переехали сюда, Джерри с Ричардом играли в шахматы, пока Джерри не стал уклоняться. Уклонялся же он не потому, что они с Ричардом были неравными игроками, — как ни странно, их силы были равны, — а потому, что сам себя презирал за малодушный страх перед проигрышем. Джерри не получал удовольствия от игры, если проигрывал; у него даже не возникало чувства товарищества, как в покере, или приятного ощущения, что он поупражнял свой ум,— в памяти оставался лишь затхлый прокуренный воздух, долгие часы бдения и уверенность, что его перехитрили. А при вилке конем кто-то всегда теряет фигуру.

Руфь, бледная от перенапряжения, стоя у камина, делала ему знаки и одними губами беззвучно спрашивала: «Кто это?»

Джерри вздохнул — ему сразу стало легче: ничего тут не поделаешь, будь как будет, будь все как будет.

— Нет,— сказал он Ричарду.— Она не врет.

Теперь Руфь поняла, кто это. Краешком глаза Джерри видел, как она замерла, точно ее сковало льдом.

— Прекрасно, — сказал Ричард. — Это уже шаг.

Джерри рассмеялся.— В каком направлении?

— Вот именно, — сказал Ричард с комическим удовлетворением, видимо записывая себе очко. — В самом деле — в каком. В том направлении, куда ты хочешь нас повести, приятель-Джерри. Мы с Салли очень интересуемся — куда.

— Как на это посмотреть, — сказал Джерри уклончиво. Он чувствовал себя преданным. Салли внушила ему, что с Ричардом в общем-то можно не считаться. А с ним приходилось считаться, и даже очень: теперь, когда он узнал, все изменилось. Салли соврала.

— А вы не могли бы оба к нам приехать? — спрашивал тем временем Ричард. Казалось, вернулись былые дни — до того, как Конанты стали отказываться, когда Ричард или Салли неожиданно звонили и приглашали их пойти в пятницу вечером в кино или в воскресенье вместе выпить.

И Джерри в тоне тех былых дней ответил: — Слишком поздно, мы не сумеем никого позвать, чтобы посидеть с детьми.— Потом вспомнил про создавшееся положение, о котором так отчаянно стремился забыть, и спросил: — А может, вы приедете? У вас же есть Джози.

— Сегодня у Джози свободный вечер. Разве ты не знаешь нашего распорядка?

— В общем-то не слишком хорошо. А как насчет завтрашнего вечера? Не лучше ли переждать, чтоб собраться с мыслями?

— Мне нечего собираться с мыслями, — мягко сказал Ричард. Казалось, он читал по готовому сценарию, тогда как Джерри импровизировал. — Мое дело во всем этом — сторона. Никто со мной не советовался, никто не интересовался моим мнением.

— Да как же мы могли? И что бы мы тебе сказали?

Голос Ричарда зазвучал вновь, вкрадчивый, какой-то полужидкий, словно выдавливаемый из тюбика: — Понятия не имею, никакого понятия не имею. Я хочу, чтобы ты сказал все, что ты хочешь сказать, Джерри. По-моему, ситуация-то аховая.

— Ничего подобного. — Джерри старался нащупать опору, удержаться, не пасть ниц; хотелось же ему распластаться, блеять, умолять, забраться с Руфью в постель, натянуть на голову одеяло и хихикать.

Но вот терпение у Ричарда лопнуло, и от этого, а также от сознания своей силы в мягком голосе образовались сгустки. Он спросил: — Почему ты не спрашиваешь, как Салли? Насколько я понимаю, она говорит тебе, что я ее третирую. Тебе не кажется, что если бы я действительно так себя вел, сейчас мое поведение было бы оправданно?

А ведь под открытым небом лучше, верно? Больше кислорода.
А теперь отпусти меня!

— Так как же она?

Ричард сказал: — В неприкосновенности. Вы приедете или нет?

— Подожди. Я поговорю с Руфью. — Руфи он сказал: — Случилось. Ричард знает.

— Откуда? — Почти беззвучно.

— Видимо, Салли сказала ему. Мы не могли бы раздобыть миссис О.?

Руфь сказала: — Ужасно не люблю ее беспокоить. Дай я поговорю с Ричардом.

Джерри передал ей трубку, и она сказала каким-то застенчивым и удивительно ласковым тоном: — Привет. Это я. Та, другая. — Джерри показалось, что, слушая Ричарда, она сдерживает улыбку. — Извини, — сказала она, — я хотела, несколько раз уже совсем собралась, но я не знала, как ты себя поведешь. Я боялась, что ты вынудишь их сбежать...— Она снова послушала, и сначала шея, потом щеки у нее зарделись.— Я в п о л н е реалистична.— Затем рассмеялась и в ответ на какой-то вопрос Ричарда сказала: — Вермут и бурбон. Тебя — тоже.— И с улыбкой повесила трубку.

— Что он сказал?

— Он сказал: «Детка, тебе надо было все мне рассказать. Я же большой мальчик».

— Он действительно ни о чем не догадывался? Фантастика.

— Он подозревал, что у нее, возможно, кто-то есть, но никак не думал, что ты. Разве что, сказал, однажды на волейболе... вы с ней обменялись таким взглядом — он заметил. Но если уж ты непременно должен знать не слишком лестную правду: он не считал тебя способным на это.

— Вот сукин сын. Почему же я на это не способен?

— И еще он сказал, что я вела себя неверно. Я должна была сказать тебе — убирайся: он уверен, как он выразился, что ты тут же поджал бы хвост.

— А еще что оч сказал?

— Говорит, она сказала ему, что вы встречались с ней все лето и никакого перерыва в мае не было. Это правда?

— Более или менее Пожалуй.

— И часто?

— Не знаю. Раз в неделю. Реже. После ее поездки во Флориду я виделся с ней всего два раза.— Лицо у него пылало, будто его вжимали и вжимали в какую-то щелку.

— Значит, тот уговор,— сказала Руфь,— наш уговор на пляже — ты вовсе и не собирался выполнять? Ты меня просто обманул?

Мы плохо поступаем, верно?
Да. Мы правы, но мы поступаем плохо.
Не смей соглашаться со мной, Джерри. Из-за тебя я чувствую себя такой грешницей.

— Конечно, я собирался его выполнять. Но через неделю мне это показалось глупым. Как бы я мог сделать выбор между вами, если бы не видел ее? Не плачь. Теперь Ричард все знает. Ты уже не одинока.

Миссис О. пешком прошла четверть мили до их дома и появилась, с трудом переводя дух; грудь ее бурно вздымалась и опускалась под выцветшим бумажным платьем — светленьким, с наивным рисунком, точно она носила это платье еще девочкой и оно выросло и постарело вместе с ней. Она вошла в дом, принеся с собой запах осени и яблок. Конанты усадили ее перед телевизором, заверив, что все дети уже спят.

— Вы такая милая, что пришли,— сказала ей Руфь.— Мы постараемся вернуться до полуночи. Нас вызвали друзья — у них неприятности.

Джерри был потрясен: он понятия не имел, что Руфь умеет лгать. Но в общем-то это ведь была и не ложь. В машине — они взяли ее новую машину, «вольво» цвета тыквы — он спросил:

— А он сказал, почему Салли раскололась?

— Нет. Он сказал только, что как начала рассказывать, так и не может остановиться. Они разговаривают с самого ужина.

— Это до того непохоже на нее — все рассказать. Но может, оно и к лучшему.

— Что ты намерен делать?

— Не знаю. В какой-то мере это зависит от того, что будет делать Ричард. Как ты думаешь, он пристрелит меня?

— Сомневаюсь. У него в конце-то концов и у самого были романы.

— А в связи с чем ты сказала ему насчет бурбона и вермута?

— Он спросил, что мы будем пить.

— Знаешь, — сказал Джерри, — ей-богу, я начинаю бояться, что я — трус. Я неуверенно говорил с ним по телефону?

— Нет. Мне даже показалось, что довольно вызывающе.

— Какая ты милая! А по-моему, я говорил неуверенно. Что-то насчет сердитых людей — совсем как в школе. Меня всегда лупили на спортивной площадке.

— У тебя тело крепче, чем у Ричарда.

— А ты откуда знаешь?

Они подъехали к дороге, ведущей к дому Матиасов, свернули на нее и стали подниматься на холм. Выхваченные фарами кусты Матиасов выскакивали на них, как убийцы. Джерри, преодолевая неприятное ощущение в горле — совсем как позывы на рвоту,— повернулся к сидевшей рядом тени.

— Я не согласен с Ричардом, что ты неверно себя вела, — сказал он. — Ты прекрасно держалась все лето — лучше никто бы не мог. Как бы ни повернулись события, ты не виновата.

— Ты женишься на ней, да? — Она выкрикнула это так громко, словно он съехал с дороги или задавил зайца. Он остановил машину там, где дорога кончалась, у гаража. С боковой лужайки, из темноты, на них с лаем выскочил Цезарь — обнюхал Джерри и тотчас умолк. И лизнул знакомую руку. Три звезды, образующие пояс Ориона, яркие, чистые, висели над лесистым холмом. Матиасы включили свет у задней двери, но не вышли навстречу, предоставив им самим добираться по неровным плитам, мимо разросшегося винограда и выбившихся из трельяжа роз. Еще не отцветшие астры обрамляли с двух сторон гранитное крыльцо Салли — бывший мельничный жернов. Из маленького окошечка высоко в залитом луной доме раздался плач Теодоры, разбуженной лаем Цезаря. Джерри вспомнилось:

Теодора теперь всегда спит днем?
Нет, но она любит поспать. Она — как я. Ленивая.
Ты не ленивая. Ты — чудо.
Тебе просто нравится мой костюм.
Мои ребята уже непременно вломились бы в комнату.
Вы с Руфью плохо воспитываете своих детей.
Это все так говорят?
Я так говорю.
Ты слишком сурово судишь.

— Приятель-Джерри! — В прихожей появился Ричард, и Джерри на всякий случай отшатнулся, но тот лишь сжал его плечи, словно хотел на ощупь проверить то, что ускользало от понимания. Его жесткие темные волосы были взлохмачены, отчего

большая голова казалась еще больше.— Милая Руфь! — Он поцеловал ей руку — фигляр с серьезным лицом в плохо освещенном холле старого колониального дома.

— Спасибо,— просто сказала она.— Как ты, Ричард?

— О, он — отлично, — раздался пронзительный голос невидимой Салли где-то за стенами холла. — Он уже давно не был так счастлив. Вы посмотрите на него, посмотрите! — И правда: когда они перешли в ярко освещенную гостиную, Джерри увидел, что Ричард, весь лоснясь от пота, словно его покрыли глазурью, то скользил, то мелкими шажками передвигался по гостиной с неестественной для него раскованностью — словно медведь на роликах.

Но взгляд Джерри тотчас притянула к себе красота Салли. Пока он не видел ее — пусть даже короткое время, — он забывал, сколь безраздельно она владеет им. Когда на волейболе, в сумятице бросков, ему удавалось мельком увидеть сквозь сетку и пыль ее лицо, она всякий раз заново заполняла его, словно за несколько секунд, прошедших с того момента, как он в последний раз ее видел, образ ее уже успел чуть стереться в его памяти. Она сидела сейчас очень прямо в кресле с высокой спинкой — в том, что было обтянуто желтым габардином. Ноги она скрестила, так что одна голень блестела во всю длину, а тонкие руки сплела на коленях. Она казалась такой высокой в этом кресле. Джерри всегда забывал, какая она высокая, какие у нее широкие бедра, словно не мог поверить, что его духовной потребности в любви дано такое тело. Он тихо произнес: — Привет.

Она эхом откликнулась: — Привет! — и сложила рот в гримаску, которая ему так нравилась, с этаким чуть насмешливым и боязливым выражением: «а дальше что?» — словно после исповеди.

Но зачем ты мне это рассказала?

Мне казалось, ты должен знать. Я хочу, чтобы ты знал меня. Если уж мы любим друг друга, я хочу, чтобы ты любил меня такую, какая я есть. Какой я была.

Сколько же их было?

Мы ведь жили врозь, Джерри. По-моему, не слишком много. Во всяком случае, я так гордилась собой — еще бы: целый месяц прожить без мужчины.

— Что будем пить? — спросил Ричард. На нем были грязные бежевые штаны и полосатая рубашка на пуговицах, рукава которой он закатал выше локтя, точно трудяга. Спина на рубашке потемнела от пота, как летом, хотя оно давно кончилось. — Я-то уже выпил, — продолжал он, обращаясь главным образом к Руфи. — И даже не однажды. У меня праздничное настроение, точно я стал отцом. Гордым отцом, у которого родилось два прелестных молодых рога. Правда, маленьким чертенятам уже исполнилось полгода, но я уезжал по делам, когда они родились, и появились они, собственно, без меня — вылезли и торчат.

— Видишь? — обратилась Салли к Джерри.— Все острит. А на меня ему плевать — считает, что все это очень забавно.

Джерри передернул плечами.

— Сегодня его вечер, — сказал он ей.

Ричард повернулся со своей странной тяжеловесной легкостью, бутыль калифорнийского сотерна болталась на ремне у него за плечом, голова, как всегда, была чуть склонена набок.

— Благодарю, Джерри, — сказал он. — Вот это мне нравится. Мой вечер. А ведь это и в самом деле мой вечер. У тебя был твой вечер,— он поклонился Руфи, — у вас двоих тоже был свой вечер — вечера. Теперь настал мой черед. У каждого — свой вечер. Смотри, Джерри. — И свободной рукой он изобразил у себя надо лбом рога.— Мой сын — рогоносец. Никто не смеется.

— Зачем ты нас вызвал? — спросила Руфь. — Ведь уже поздно.

— Руфь, — сказал он, — ты права. Ты всегда права. Мне бы очень хотелось, чтобы ты была моим другом.

— Я и есть твой друг.

— Ты бы согласилась выйти за меня замуж?

Руфь вспыхнула и отказала ему так мягко, словно предложение было сделано всерьез.

— Спасибо, — сказала она, кокетливо склонив голову в незнакомой Джерри манере, — но я не думаю, чтобы ты этого хотел, да и не думаю, чтоб я хотела. — Ричард стоял, твердо упершись ногами в землю, и моргал, бутыль подрагивала у него за плечом. — Но это приятная мысль, — добавила Руфь.

Ричард сказал: — Я только пытаюсь понять, чего от меня ждут. Меня слишком поздно в это посвятили — извините, если я глупо себя веду.

Джерри, который всегда держался у Матиасов весело и беспардонно, спросил, указывая на бутыль: — А мы это будем пить?

Ричард с удивлением на него посмотрел и медленно произнес: — Нет, Джерри, это не такое уж хорошее вино, верно? Его пьют студенты во время пикников на пляже, а мы вроде бы из этого возраста вышли. Мы вроде бы слишком для таких вещей взрослые — одни в большей мере, чем другие. Верно?

Он ждал, и Джерри вынужден был сказать: — Верно.

— Но я вижу подходящее вино, а ты, приятель-Джерри? Для данного повода. Белое, не так ли? Белое, как символ невинности? За вот этих двух наших целомудренных невест? У меня есть немного чилийского, но оно, пожалуй, слишком высокохудожественное творение. Ты здесь у нас человек самый высокохудожественный — так что ты и решай. Значит, не чилийское. Лучше бордо. Нет, после ужина не годится. Я полагаю, вы оба поели.

— Конечно, — сказал Джерри. Как и Руфь до него, он тоже счел, что его спрашивают всерьез. Ехал на казнь, а его еще угощают. Руфь в упор смотрела на него, стремясь привлечь его внимание, и пальцем перечеркнула губы, показывая, что он улыбается и что это надо прекратить.

Ричард тем временем с грохотом переставлял бутылки в своем тесно заставленном винном погребке. Он отвел под него целый чулан, оборудовал там маленькую мойку, густо застроил все полками, где громоздились бутылки. Его почерневшая от пота спина выпрямилась, и он вытащил за горлышко желтую бутыль больше кварты, с желтой этикеткой.

— Рецина! — возвестил он. — Хорошая грецкая напи-и-тока! Греки знают, как идти навстречу своей судьбе. — С другой полки он достал четыре винных бокала в форме тюльпанов, сдул с них пыль и тщательно расставил квадратом на кафельной крышке кофейного столика. Посмотрел на плоды своих трудов, переставил бокалы четырехугольником другой формы, искоса глянул на Джерри — казалось, он сейчас прыснет со смеху и одновременно ударит его по спине. Он и прыснул, но беззвучно; рука же замерла в воздухе, так и не дотронувшись до Джерри, хотя тот весь сжался. Ричард откупорил бутылку, разлил вино по бокалам, отнес бокал жене, другой — Руфи, протянул бокал Джерри и поднял свой собственный на уровень глаз — на уровень зрячего глаза. Он внимательно разглядывал вино, проверяя, нет ли осадка, затем медленно произнес: — Мне хотелось бы предложить тост, но поскольку вы все трое не являетесь моими друзьями, в друзьях у себя остаюсь я один. Итак, предлагаю тост за меня. За м е н я. — Он выпил, и остальные, возможно, последовали бы его примеру, но он опустил бокал прежде, чем они успели поднести свои бокалы к губам. — Никто не пьет, — сказал он. — До чего же невежливо. До чего невоспитанно. Можно еще попробовать? Предложу другой тост. Дайте подумать. За счастье? Не будем дурака валять. За королеву? Это кто такая? Ага. У нас же есть дети. За наших деток. За этих хитрых маленьких дьяволят, за всех — сколько их у тебя, Джерри? Я что-то забыл.

— Трое.

— Трое. Правильно. Ты хороший отец, я всегда думал, что ты хороший отец. Отличный папка. Итак, поехали. За полдюжины маленьких дьяволят, будущее Америки, да благословит их господь всех до единого. — Салли покорно отпила вина; Руфь и Джерри последовали ее примеру. Рецина пахла горелым лаком и на вкус отдавала лекарством. Они выпили вместе, и это как бы объединило их в ритуале, связанном с тайной, которую еще предстояло раскрыть.

Войдя в комнату, Руфь села у двери на первый же стул с прямой спинкой и плетеным из камыша сиденьем, случайно попавший сюда из столовой. Джерри сел посередине белого дивана с подушками из гусиного пуха, так что обе женщины — Руфь у двери и Салли в кресле у камина — находились на равном от него расстоянии. Он скрестил ноги и широко раскинул руки, обхватив спинку дивана. А Ричард, перетягивая чашу весов в сторону Руфи, тяжело опустился подле нее в потертое кожаное кресло, которое, как знал Джерри, Салли терпеть не могла.

Почему ты его терпеть не можешь?

Оно так похоже на него. Правда, ужасно? Я хочу сказать, ужасно, что я говорю такое.

Это было кресло отца Ричарда, драное, потрескавшееся. Утонув в тусклой старой коже, Ричард как бы превратился в призрак собственного отца. Вялым движением он поднял руку ко лбу, голос его звучал обманчиво устало, мертво.

Он сказал: — Джерри, Салли поведала мне, что ты большой спец. Откровенно, я удивлен.

Джерри сделал еще глоток вина и сказал: — Ты уверен, что эту штуку безопасно пить?

— Оно постепенно вам понравится, — пообещал Ричард. — В нем есть смола. Я по дюжине ящиков в месяц опустошаю. В нем всего двадцать градусов. Господи, приятель-Джерри, ты повел себя совсем не так, как принято среди людей.

— То есть? Говори же.

— Я имею в виду не то, что ты спишь с ней: не могу я слишком уж сердиться на это, раз были и другие. Она тебе, наверно, говорила? В ту зиму, когда я ушел, она ведь изменяла мне даже с лыжным инструктором.

Джерри кивнул.

— Ей-богу, Джерри, ты должен был либо с ней порвать, либо вместе уехать куда-то. Ты же превратил жизнь этой женщины в ад. Ты превратил жизнь... моей жены... в ад.— Для большей убедительности он трижды ударил по ручке кресла.

Джерри передернул плечами.— У меня ведь тоже есть жена.

— Ну, так нужно выбирать. В нашем обществе приходится выбирать.

— Не заставляй его! — неожиданно выкрикнула Руфь.— Еще не время.

Ричард лениво повернулся к ней.— Ерунда, Руфь. Шесть месяцев. Они ведь пытались порвать. Если это продержалось у них шесть месяцев, значит, теперь уж навсегда.

Как здорово услышать такое. Джерри почувствовал, что Ричард наконец поставил все на прочную почву.

— Гораздо дольше,— сказал он.— Я всегда любил Салли.

— Отлично,— сказал Ричард.— Что есть — то есть. Салли-детка, дай-ка мне карандаш и бумагу.

Руфь вскочила на ноги.— Что ты мелешь, Джерри? Нет. Н е т. Я здесь не останусь больше ни минуты.— И она выскочила за дверь. Джерри поймал ее уже в холле, между кухней и дверью на улицу.

— Руфь,— сказал он — Теперь ты знаешь, как обстоит дело. Ты знаешь, что между нами ничего уже нет. Дай этому излиться. Прошу тебя, дай излиться.

Дыхание его жены было горячим, влажным, трепетным.— Она — сука. Она убьет тебя. Она убьет тебя, как почти убила его.

— Глупо с твоей стороны ненавидеть Салли. Она же беспомощный человек.

— Как ты можешь говорить, что она беспомощная? Кто же, по-твоему, всех нас сюда собрал? Мы пляшем на ее свадьбе.

— Не уходи. Не оставляй нас.

— А почему, собственно, я должна сидеть и смотреть, как тебя общипывают эти два хищника? Отбирают у тебя детей, талант, деньги...

— Деньги?

— А зачем еще, по-твоему, понадобились Ричарду карандаш и бумага? Он счастлив. Неужели ты этого не видишь, Джерри? Он счастлив, потому что избавляется от нее.

— Он пьян.

— Отпусти меня. Оставь свою любовную галиматью для других.

— Прости.— Он прижал ее к стене и крепко держал за плечи, словно арестовал. Когда же он ее отпустил, она не сделала ни шага к двери, а стояла насупясь, тяжело дыша,— его жена, всей своей кожей излучавшая непостижимо знакомое тепло.
— Вернись, поговори с нами,— попросил он.

— Я и вернусь,—сказала она,— и буду бороться за тебя. Не потому, что ты мне так уж нравишься, а потому, что мне не нравятся эти люди.

— И Ричард тоже?

— Я ненавижу его.

— Не надо ненавидеть,— взмолился он.— Слишком все мы скоры на ненависть. А нам сейчас надо друг друга любить.— Когда он был мальчиком, все в церкви нагоняло на него тоску, кроме причастия, того момента, когда они толпой устремлялись к ограде и облатки таяли у них во рту. Ему казалось сейчас, что нечто подобное произойдет и в гостиной или уже произошло. Его неверующая жена позволила отвести себя назад. Он гордился тем, что может показать Матиасам, какую власть еще имеет над нею,— показать, что она до конца остается его женой.

Ричард нашел карандаш и бумагу и пересел на краешек кресла, чтобы удобнее было писать на кофейном столике. Салли по-прежнему сидела не шевелясь — ее широкоскулое, с заостренным подбородком лицо опухло, глаза были закрыты. Наверху продолжала плакать малышка, разбуженная приходом Конантов.

— Салли,— сказал Ричард,— твой ребенок плачет.— Следуя раз и навсегда выработанному защитному рефлексу держаться с подчеркнутым вызовом, что так отличало ее от добропорядочных женщин Коннектикута, Салли встала, откинула волосы и широким шагом вышла из комнаты.

Почему ты плачешь? Салли? Почему?
Это слушком глупо. Прости.
Скажи мне. Прошу тебя, скажи.
Ты будешь смеяться.
Нет, не буду
Ты прости меня: я все тебе испортила.
Ничего подобного Послушай, ты — чудо. Ну, скажи.
Я как раз вспомнила, что сегодня — Покаянная среда[1].
О! Бедная моя любовь! Мое чудо, моя заблудшая католичка.
Это я-то заблудшая?
Не заблудшая, если ты еще думаешь о Покаянной среде. Вставай же. Вставай, одевайся, иди в церковь и облегчи душу.

[1] Первый день великого поста, когда священники посыпали пеплом головы молящихся.

Это такое лицемерие.

Нет. Я-то знаю, как оно бывает.

Должно быть, я действительно немного чокнутая, если радуюсь, что ты рядом, и терзаюсь, что сегодня — Покаянная среда. Я все тебе испортила. И ты уже погрустнел и притих.

Нет, мне нравится, что ты об этом вспомнила. Есть ведь такая штука — духовное удовлетворение. Ты мне даешь это удовлетворение. Так иди же. Оставь меня. Иди к обедне.

Сейчас не хочется.

Подожди. Я сейчас дотянусь до пепельницы.

Не шути с богом, Джерри. Я боюсь.

А кто не боится?

Руфь, заразившись энергичностью Салли, пересекла комнату и, подойдя к гравюре Бюффе над камином, сказала:— Отвратительная мазня. Все это отвратительно.— И жестом охватила гравюру Уайеса, литографии Кете Кольвиц, акварель неизвестного художника, на которой был изображен одинокий лыжник и его синяя тень под таким же синим скошенным небом Жест включал сюда и мебель.— Дешевка,— сказала она.— У нее вкус к дорогой дешевке.

Оба — Ричард и Джерри — рассмеялись. Затем Ричард медоточивым голосом сказал:— Руфь, у тебя есть достоинства, которых нет у нее, а у Салли есть достоинства, которых нет у т е б я.

— О, это я з н а ю,— поспешно сказала она, вспыхнув, и Джерри возмутило, что Ричард осадил ее: ведь она от природы такая застенчивая.

А Ричард тем временем продолжал:— Вы обе очень аппетитные бабенки, и мне жаль, что ни одна из вас не хочет м е н я в мужья.

Возмутило Джерри и это упорное самобичевание. Он сказал Ричарду:— А ты, оказывается, философски относишься ко всему этому.

— Что ты, я весь киплю, Джерри. Весь киплю.

— Так вывел бы ты его во двор,— посоветовала Руфь,— и вздул как следует!

— Я уверен, что ты меня одолеешь,— сказал Джерри.— Ты на целых двадцать фунтов тяжелее меня. Мы с тобой вполне могли бы выступать как Листон и Пэттерсон.

— Я так не действую,— заявил Ричард.— Но что я м о г у сделать — и об этом надо будет подумать,— я могу н а н я т ь кого-нибудь, чтоб тебя избили. Когда ты в винном деле, одно знаешь твердо — где горлышко. Дай подолью еще.

— О'кей, спасибо. Ты прав: действительно, чем больше пьешь, тем больше оно нравится.

— А тебе, Руфи-детка?

— Капельку. Один из нас все-таки д о л ж е н вернуться и отвезти домой эту женщину, которая сидит сейчас с нашими детьми.

— Вы ведь только что приехали,— заметил Ричард, до краев наполняя ее бокал.— В самом деле, что-то редковато мы видели этим летом Конантов, и я чрезвычайно обижен. У меня такое ощущение, что мне плюнули в душу.

— Я знала, что так будет,— сказала Руфь.— Мне очень жаль, но это одна из причин, по которой меня так и подмывало тебе рассказать. Жизнь моя разваливалась, и мне не хотелось обижать вас, избегая общения с вами. Но я просто не в состоянии была видеть Салли чаще, чем необходимо. Волейбол был для меня уже вполне достаточным адом — больше выдержать я не могла.

— Ты все лето знала, что они живут?

— Нет, я думала, что они п р е к р а т и л и. Ведь Джерри дал мне обещание. Так что я оказалась даже тупее тебя.

— Да, тупость изрядная,— сказал Ричард.— Ну, а я, видно, считал Джерри человеком со странностями, не знаю.

Джерри сказал:— Ты просто прелесть. Но как же ты все-таки узнал?

— По телефонным счетам. Просмотрел их за весь год. Там был счет на разговор по вызову из Нью-Йорка этой весной, номер был мне совершенно неизвестен, но это не породило у меня подозрений. Осторожничать они перестали только в августе. Уйма разговоров с нью-йоркским номером — видимо, это его рабочий телефон, и самое нелепое: она записала пару разговоров с ним из Флориды на н а ш счет.

Руфь сказала:— Значит, она хотела, чтобы ты обнаружил. Она разозлилась на Джерри за то, что он не поехал к ней во Флориду.

Джерри сказал:— Все это не так. Он просто избил ее, и она призналась. Он настоящий громила. Ты же слышала, что он говорил. Он большой бесстрашный громила из винной лавки — наверное, н а н я л кого-нибудь, чтобы ее избить.

Ричард сказал ему:— Поосторожней, Джерри. На свете есть такая штука, как диффамация. Я никогда не бил Салли — это одна из ее фантазий. Она, может, и сама этому верит, господи, в жизни не думал, что она так далеко зайдет. Тебе просто продали травленый товар, сынок.

— Я видел на ней синяки.

Руфь сказала:— Джерри. Неужели надо говорить такое?

— Пусть болтает, Руфь, пусть все выкладывает. Дай накукарекаться счастливому

петуху. Я видел мою истинную любовь без одежды. Каково, а? Я смотрел на голую красоту.

Джерри сказал:— Один раз ты так ударил ее по голове, что она целую неделю потом не слышала на одно ухо.

— Э-э? Это еще что за разговорчики? А ты насчет самообороны слыхал? Я поднял руку, чтоб защитить глаза, а она налетела на нее головой. Хочешь посмотреть на мои синяки? — Весь потный, но вдохновленный этой мыслью, Ричард встал и сделал вид, будто намеревается расстегнуть ремень. В эту минуту Салли с Теодорой на руках вернулась в комнату; с каким-то деревянным презрительным достоинством она прошла сквозь группу, постепенно создавшуюся за время ее отсутствия. Она опустилась в кресло с высокой спинкой и принялась укачивать на коленях отупело-сонную девочку. Джерри обе они казались блестящими куклами.

Ричард сказал: — Салли-О, твой дружок Джерри тут удивляется, с чего это ты выдала его.

— Ему сообщила моя невестка,— сказала Салли Конантам.

— Ни черта подобного,— сказал Ричард.— Она только сообщила, что у тебя есть любовник, который звонит тебе во Флориду каждый день, но кто он — она не знает, а я, черт побери, прекрасно знал, что у тебя все лето был любовник: очень уж посволочному ты относилась ко мне. Ты же чуть не отправила меня лечиться.— И, обращаясь к Руфи и Джерри, пояснил:— Она отталкивала меня. А раз Салли чего-то не желает, значит, есть на то причина. Я только до нее дотронусь, она мигом что-нибудь выкинет — только раза два было иначе, когда Джерри, видно, не мог добраться до нее. Надеюсь, дорогая,— сказал он, обращаясь уже к Салли,— ты не пудрила мозги своему любовнику и он не считает, что тебя никто не лапал.

— Меня — что?— переспросила Салли. Она сидела с девочкой на коленях, словно замурованная в звуконепроницаемой кабине.

— Не лапал. Не употреблял. Не обнимал с вожделением,— сказал Ричард, не настолько пьяный, чтобы не чувствовать смущения от своих слов.

— Видишь, она все еще не слышит одним ухом,— сказал Джерри, и Руфь расхохоталась.

А Ричард, утратив всякое чувство юмора, никак не мог отрешиться от своей обиды; оба его глаза — зрячий и незрячий — сосредоточенно смотрели в пустоту, словно перед ними вставали картины этого возмутительного лета.

— Я просто не мог понять,— продолжая он.— Я же ничего такого не сделал. Были у нас неприятности, но потом ведь мы помирились. И я каким был, таким и остался — тем же старым идиотом, всеобщим козлом отпущения.

— Прекрати,— сказала Руфь. Джерри потрясла ее сестринская прямота; у него возникло ощущение, будто их всех четверых сбили в одну семью, и он, единственный ребенок, обрел, наконец, сестер и брата. Он был счастлив и возбужден. Хоть бы никогда с ними не расставаться.

— Эта женщина...— Ричард театральным жестом указал на Салли, и на опухшем от сна озадаченном личике Теодоры появилась улыбка,—...она мне устроила сущий ад.

— Ты повторяешься,— сказал Джерри.

— И в довершение всего,— продолжал Ричард,— в довершение всего она еще нажаловалась своему дружку, будто я бью ее, а я в жизни не поднял на нее руки — разве что для самозащиты, чтоб мне самому не раскроили голову. Салли, ты помнишь эту подставку для книг?

Салли вместо ответа лишь холодно посмотрела на него и, глубоко вздохнув, издала долгий, почти астматический хрип.

— Бронзовая,— пояснил Ричард Джерри и Руфи,— а мне, ей-богу, она показалась свинцовой: я поймал ее у самого плеча. И все из-за того, что я спросил, почему она отталкивает меня. Помнишь, Салли-О?

Салли напряглась и выкрикнула, вся дрожа:— Послушать тебя, так я все это нарочно. А мне тошно от любви, я бы рада была не любить Джерри. Я вовсе не хочу причинять тебе боль, я не хочу причинять боль Руфи и д-д-д-детям.

— Можешь обо мне не плакать, — сказала Руфь. — Слишком поздно.

— Я достаточно наплакалась из-за тебя. Я жалею всех, кто настолько эгоистичен, настолько слаб, что не может отпустить мужчину, когда он хочет уйти.

— Я пытаюсь удержать отца моих детей. Неужели это так уж низко?

— Да!

— Ты так говоришь, потому что ты к своим детям относишься как к багажу, как к безделушкам, которые в подходящую минуту можно выставить напоказ.

— Я люблю моих детей, но я уважаю и мужа — уважаю настолько, что если бы он что-то решил, я бы не стала ему мешать.

— Но ведь Джерри ничего не решил.

— Он слишком добрый. Ты злоупотребляла этой добротой. Ты ею пользовалась. Ты не можешь дать ему то, что могу дать я, ты не любишь его. Если бы ты его любила, не было бы у тебя этого романа, о котором мы только и слышим.

— Девочки девочки, — вмешался Ричард.

— Но он сам меня на это толкал, — крикнула Руфь и согнулась на стуле, словно отражение, преломленное в воде, — я думала, я стану ему лучшей женой! —

От слез она пригнулась еще ниже, перекрутилась жалкой закорючкой — Джерри казалось, что от горя и унижения она сейчас вылетит из комнаты. А она, раскрывшись перед ними, сидела вся красная и от стыда кусала костяшку пальца. Пытаясь отвлечь от нее внимание, Джерри заговорил.

Он заботливо спросил Салли: — Ты что же, не слышала? Все уже позади, нечего устраивать потасовку. Я предлагаю тебе: давай поженимся.

Салли неуклюже повернулась к нему, скованная в движениях ручками кресла и ребенком на коленях; в сдвинутых бровях и в голосе был гнев: — Мне кажется, ты не очень-то в состоянии мне это предлагать.— Фраза оборвалась, незаконченная, растворившись во влажной улыбке, многозначительной улыбке, чуть перекосившей лицо под возмущенно нахмуренными бровями и показывавшей, что она понимает, как обстоит дело и в каком они положении, и прощает, прощает за все, что произошло, что происходит и что должно произойти, моля его — этой же горестной улыбкой, — чтобы и он простил.

Который час?

Восемь. Вставай, повелитель.

Только восемь? Ты шутишь.

Я уже с семи не сплю.

А я всю ночь не спал. Выходил. Снова ложился.

Сам виноват. Я же все время твердила тебе — спи.

Я не мог. Слишком ты хороша и непонятна. Ты дышала так тихо, я боялся, что ты исчезнешь.

Я есть хочу.

Хочешь есть? В раю-то?

Вот послушай. Сейчас услышишь, как у меня урчит в животе.

Какой у тебя суровый вид. Какой величественный. И ты уже одета.

Конечно. Можно так выйти на улицу? Или видно, что я только что выскочила из постели?

Недостаточно долго в ней пробыла.

Не смей. Одно я должна сказать тебе про себя: я настоящая сука, пока не выпью кофе.

В жизни этому не поверю. Все равно ты мне и такая нравишься.

Я чувствую запах кофе, даже когда включен кондиционер.

Поди ко мне на минутку, и я куплю тебе миллион чашек кофе.

Нет, Джерри. Ну же. Вставай.

На полминутки — за полмиллиона чашек. Нет, подожди. Встань вон там у окна: мне снится удивительный сон, будто это не ты стоишь там, а твоя тень и мне до тебя не дотянуться... Ты — обалденная.

Ох, Джерри. Не спеши. Слишком ты меня любишь. Я стараюсь сдерживаться, а ты — никогда.

Я знаю. Это нечестно. Я боюсь смерти, но не боюсь тебя, поэтому я хочу, чтобы ты убила меня.

Ну, не смешно ли, что ты не боишься меня? А все остальные вроде боятся.

Ричард держал карандаш над блокнотом — на каждом листике голубой бумаги была надпись крупными буквами: «Кэннонпортский винный магазин» и крошечное изображение его фасада. — Давайте зафиксируем некоторые факты. В каком отеле ты останавливался с нею в Вашингтоне?

В том отеле Джерри лежал с Салли, боясь услышать стук в дверь и обнаружить за ней Ричарда; теперь стук раздался, и у Джерри не было ни малейшего желания впускать Ричарда в ту памятную комнату. Он сказал: — Не вижу, какое это имеет значение.

— Не хочешь мне говорить. Прекрасно. Салли, в каком отеле? — И даже не дав ей времени ответить, спросил: — Руфь?

— Понятия не имею. Зачем тебе это нужно?

— Мне нужно знать, потому что все это распроклятое лето я был вонючим посмешищем. Я как-то сидел тут и вспоминал — все лето что-то было не так: всем сразу становилось весело, стоило мне появиться. Помню — очень меня тогда это задело — подошел я у Хорнунгов к Дженет и Линде, они шептались о чем-то, а как увидели меня, даже побелели. «Что происходит?» — спросил я, и лица у них стали такие, точно я навонял при них, да еще с трубным звуком.

— Ричард, — прервал его Джерри. — Я должен тебе кое-что сказать. Ты никогда мне не нравился...

— А ты всегда мне нравился, Джерри.

— ...но моя связь с Салли привела к тому — ты уж меня извини, — что и ты полюбился мне. И не пей ты, пожалуйста, эту гадость, это дерьмовое виски или что там у тебя.

— Рецина. Ваше здоровье. L'Chaim! Salute! Prosit![1]

[1] Ваше здоровье (*иврит, итал., нем.*).

Джерри разрешил налить себе еще вина и спросил: — Ричард, где ты выучил все эти языки?

— Ist wunderbar, nichts?[1]

— Может, вам, мужчинам, и весело, но для нас, остальных, это мука, — сказала Салли. Она сидела все так же, застыв как мадонна; Теодора на коленях у нее клевала носом словно загипнотизированная.

— Уложи это отродье в постель, — сказал Ричард.

— Нет. Если я уйду из комнаты, вы сразу начнете говорить обо мне. Начнете говорить о моей душе.

— Скажи мне название отеля. — Ричард произнес это, ни к кому не обращаясь. Никто ему не ответил.

— Что ж, о'кей. Хотите вести жесткую игру. Очень хорошо. Очень хорошо. Я тоже могу вести жесткую игру. Мой папа был человек жесткий, и я могу быть жестким.

Джерри сказал: — А почему бы и нет? Ты ведь мне ничем не обязан.

— Черт подери, Джерри, а ты заговорил на моем языке. Skål [2].

— Пьем до дна. Chin-chin[3].

— Проклятый мерзавец, не могу на тебя сердиться. Пытаюсь рассердиться, а ты не даешь.

— Он просто ужасен, когда вот так дурака валяет, — сказала Руфь.

— В чем же будет заключаться твоя жесткая игра? — спросил Джерри.

Ричард принялся что-то чертить в блокноте. — Ну, я могу отказать Салли в разводе. А это значит, что она не сможет выйти замуж за другого.

Салли села еще прямее, губы ее растянулись в тоненькую линию, слегка обнажив зубы; Джерри увидел, что она не только не стремится уйти от объяснений, а наоборот — рада сразиться с Ричардом.

— Да, — резко сказала она, — и у твоих детей не будет отца. Зачем же вредить собственным детям?

— А с чего ты взяла, что я отдам тебе детей?

— Я же, черт побери, прекрасно знаю, что тебе они не нужны. Ты никогда их не хотел. Мы решили их завести потому, что наши психоаналитики сочли, что это полезно для здоровья.

Они в таком темпе обменивались репликами, что Джерри понял: они уже не раз сражались на этой почве.

Ричард улыбался и продолжал что-то чертить в блокноте. Джерри подумал: интересно, каково это — видеть одним глазом. Он закрыл глаз и окинул взглядом комнату — стулья, женщины, бокалы сразу лишились одного измерения. Все стало плоским, невыразительным — таков мир, вдруг понял он, если смотреть на него глазами безбожника, ибо присутствие бога придает каждой вещи объемность и значение. Это было страшно. Ему всегда был ненавистен вид Ричарда — эта задумчиво склоненная голова, елейно-нерешительный рот, нелепо-безжизненный глаз. Может... не потому ли, что, глядя на его лицо, он представлял себе, каково было бы ему жить без глаза? Он открыл глаз, и все окружающее, завибрировав, вновь стало объемным, а Ричард поднял голову и сказал Салли: — Ты права. Мой юрист во всяком случае отговорил бы меня от этого. Давайте рассуждать здраво. Давайте рассуждать здраво, ребята. Попытаемся приструнить этих маленьких зеленоглазых дьяволят. Джерри, я знаю, ты будешь хорошим отцом моим детям. Я видел, как ты обращаешься со своими детьми, ты — хороший отец.

— Ничего подобного, — сказала Руфь. — Он садист. Он их дразнит.

Ричард слушал ее и кивал. — Он не идеальный, но он вполне о'кей, Руфи-детка. Он человек незрелый, ну, а кто сейчас зрелый?

Руфь продолжала: — Он заставляет их против воли ходить в воскресную школу.

— Детям необходима, — сказал Ричард, по-пьяному тупо и сонно растягивая слова, — детям необходима жизненная основа, пусть самая идиотская. Джерри, я буду платить за их обучение и одежду.

— Ну, за обучение — конечно.

— По рукам.

Ричард машинально чертил на бумаге какие-то цифры. В тишине как бы сдвинулась огромная, физически неощутимая тяжесть — так под папиросной бумагой в Библии обнаруживаются детали гравюры, изображающей ад.

Джерри воскликнул: — Да, но как же будет с моими детьми?

— Это уж твоя забота, — сказал Ричард, сразу протрезвев.

— Отдай мне одного, — обратился Джерри к Руфи. — Любого, Чарли или Джоффри — ты же знаешь, как Чарли изводит малыша. Их надо разделить.

Руфь плакала; дрожащими губами она произнесла: — Они нужны друг другу. Мы все нужны друг другу.

---

[1] Удивительно, не правда ли? *(искаж. нем.)*.
[2] Ваше здоровье *(шведск.)*.
[3] Ваше здоровье *(итал.)*.

— Прошу тебя. Чарли. Разреши мне взять Чарли.

Салли вмешалась в разговор: — А почему ты не можешь его взять? Они такие же твои дети, как и ее.

Руфь повернулась на своем стуле с прямой спинкой.

— Я бы, возможно, и отдала их, будь на твоем месте другая женщина,— сказала она. — Но не ты. Я не доверю тебе моих детей. Я не считаю тебя подходящей матерью.

— Как ты можешь говорить такое, Руфь! — возмутился Джерри. — Посмотри на нее! — Но уже сказав это, он вдруг понял, что, возможно, только ему она кажется нечеловечески доброй, только для него лучится добротой ее лицо — лицо, которое он видел запрокинутым в порыве страсти под своим лицом: глаза закрыты, губы раздвинуты — словно отражение в воде пруда. Он видел в ней слишком многое и был теперь как слепой, и, возможно, они — Ричард и Руфь — видели ее вернее.

Ты не веришь, что я такая простая. А я простая, как... как эта разбитая бутылка.

— По воскресеньям, на каникулы — безусловно,— сказала Руфь.— Если я рехнусь или убью себя — бери их. Но пока они остаются со мной.

— Да,— без всякой надобности подтвердил Джерри. Он находился в каком-то странном состоянии: стремясь побыстрее отделаться от Ричарда, он так себя взвинтил, что потерял над собой контроль и в этом состоянии неуправляемости невольно повысил голос, измеряя всю глубину своей беспомощности. Измерив же ее, он умолк, и наступила необъятная тишина.

Внезапно Ричард сказал:— Ну, Салли-О, поздравляю. Поздравляю, девочка, ты своего добилась. Ты ведь многие годы нацеливалась на Джерри Конанта.

— В самом деле?— спросил Джерри.

— Конечно,— сказала ему Руфь.— Каждому это было ясно. Даже как-то неловко становилось.

Ричард сказал:— Не перечеркивай этого, Руфь. А может, это самая что ни на есть настоящая, подлинная amour de coeur[1]. Давай пожелаем деткам счастья. Единственное, от чего ты никогда не будешь страдать, Джерри,— это от скуки. Салли — существо неспокойное. У нее много прекрасных качеств: она хорошо готовит, хорошо одевается, хороша — ну, относительно хороша — в любви. Но спокойной ее не назовешь.

— Разве мы об этом говорили?— спросил Джерри.

— Мы говорили об обучении детей,— сказала Руфь. И поднялась.— Я поехала домой. Больше я не могу.

— Должен сказать,— заявил Джерри с вновь пробудившимся желанием досадить этому типу,— что я сторонник государственных школ.

— Вот и я тоже, приятель-Джерри,— сказал Ричард,— и я тоже. Это Салли настаивает на том, чтобы деток возили автобусом в школу для снобов.

— Это мои дети,— сухо заявила Салли,— и я хочу, чтобы они получили самое лучшее образование.— М о и — Джерри сразу заметил, что в этом слове для нее заключена особая, несомненная красота: по ее артикуляции ясно было, какое это бесценное слово.

Руфь спросила, нерешительно опускаясь снова на стул:— А что, если Джерри взбредет в голову бросить работу? Ты согласишься жить с ним в бедности?

Салли тщательно обдумала ответ и, казалось, была довольна результатом.— Нет. Я не хочу быть бедной, Руфь. Да и кто захочет?

— Я. Если бы всем нам приходилось в поте лица добывать свой хлеб, у нас не было бы времени на это... это безумие. Все мы до того избалованы, что от нас смердит.

— Руфи,— сказал Ричард,— ты высказываешь вслух мои мысли. Назад к природе, к простоте и бедности. Я всю жизнь регистрировался как демократ. Я дважды голосовал за Эдлая Стивенсона.

Салли, обретя, наконец, дар речи, решила теперь высказать все, что пришло ей в голову, пока говорили другие.— Понимаете, подпись под бумагой еще не означает, что вы уже не муж и жена.— Джерри слышал это и прежде, когда она шепотом поверяла ему свою душевную муку; сейчас это прозвучало неуместно, нескладно, не вполне нормально. Руфь поймала его взгляд, потом посмотрела на Ричарда. Салли же, почувствовав, что они втихомолку потешаются над нею, распалилась еще больше:— А человек, который больше всех теряет, не вызывает ни у кого из нас н и к а п л и сочувствия. У Руфи остаются ее детки, мы с Джерри получаем друг друга, а Ричард — ни черта! — Она потупилась; волосы упали ей на лицо, словно опустился занавес после пламенной речи.

Ричард наблюдал за своими гостями, подстерегая их реакцию, и, казалось, колебался, не зная, присоединиться ли к ним или возродить союз с женой. Переняв ее тон, он ринулся в наступление:— Джерри, разреши мне кое о чем тебя спросить. Ты

[1] Лирическая любовь *(франц.)*.

когда-нибудь был один? Я хочу сказать: как перед богом, до самых потрохов, растуды тебя в качель,— с о в с е м о д и н. Так вот: эта широкозадая тупая баба была моим единственным в жизни другом, а теперь она бросает меня ради тебя.

— Значит, ты л ю б и ш ь ее,— сказала Руфь.

Ричард тотчас отступил.— О да, я ее люблю, конечно, люблю, эту сумасшедшую, но... какого черта. Моя карта бита. Que sera, sera[1].

— А я считаю, что два вполне приличных брака летят к черту по какой-то идиотской ошибке — из-за этакой жалкой алчности,— сказала Руфь и снова поднялась,— но никто со мной не согласен, а потому на этот раз я уж действительно ухожу.

— Значит, решено?— спросил Джерри.

— А разве нет?

— Это ты сказала — не я. Как же мы теперь поступим? Вернуться вместе домой мы уже не можем. Салли, поезжай с Руфью и проведи ночь в нашем доме.

— Нет,— коротко, испуганно ответила Салли.

— Она не обидит тебя. Доверься нам. Прошу тебя, это ведь единственное место, куда я могу тебя послать. Поезжай с нею, а я буду с Ричардом.

— Нет. Я не оставлю моих детей.

— Даже на одну ночь? Я буду здесь, мы с Ричардом можем приготовить им завтрак. Не вижу, в чем проблема.

— Он отберет у меня детей и скажет, что я их бросила.

— Это несерьезно, Салли. Ты должна бы лучше знать своего мужа. Ричард, ты ведь такого не сделаешь.

— Конечно, нет,— сказал Ричард, и Джерри вдруг прочел на его лице нечто неожиданное: стыд за Салли.

Джерри принялся ее уговаривать: — Разве ты не слышишь, что́ он говорит? Он не станет красть твоих детей. Он любит тебя, любит их. Он не чудовище.— Он повернулся к Ричарду.— Мы можем поиграть в шахматы. Помнишь, какие мы с тобой разыгрывали партии?

— Я не считаю нужным уезжать,— сказала Салли. И, словно драгоценный приз, крепко обхватила руками Теодору.

— Но не могу же я просить Р и ч а р д а ехать к нам домой с Руфью.— Все рассмеялись, а Джерри обозлился, эта схватка на краю могилы была недостойна их всех, и выигрыш от его словесных ухищрений был таким жалким вознаграждением за ту жертву, за тот роковой прыжок, который он наконец совершил.

— Салли-О, обещаю тебе: я не украду детей,— сказал Ричард.

— Но если я оставлю ее с тобой, ты ее изобьешь,— сказал Джерри.

— Господи, Джерри, я начинаю ненавидеть тебя до самых потрохов. Она еще не твоя жена, растуды тебя в качель, и я изобью ее, если, растуды, захочу. Это мой дом, и я не собираюсь выезжать отсюда только потому, что моя жена вешается на шею кому попало

— Кто со мной едет, поехали,— сказала Руфь.— Джерри, мне кажется, мы им больше не нужны

Джерри спросил Салли:— С тобой ничего не случится?

— Нет. Ничего.

— Ты действительно считаешь, что так лучше?

— Пожалуй, да.— Впервые за этот вечер взгляды их встретились.

Джерри, у тебя глаза такие печальные!
Да как же они могут быть печальные, когда я так счастлив?
И все же они у тебя печальные, Джерри.
Не надо смотреть мне в глаза.
А я всегда смотрю.
Тогда я их закрою

Джерри вздохнул.— Ну что ж. Мы, по-моему, достаточно ночей провели вместе, и еще одна ночь нас не убьет. Позвони мне,— сказал он Салли,— если я тебе понадоблюсь.

— Спасибо, Джерри. Я не буду звонить. Спокойной ночи.— Она улыбнулась и отвела от него глаза.— Руфь?..

Руфь была уже в холле.

— Прекрати,— крикнула она Салли.— Мы все слишком устали.

У Джерри было такое ощущение, что его вываляли в грязи; поначалу, когда все они только переехали в Гринвуд, он всегда чувствовал себя у Матиасов, среди их дорогих вещей, неловким и немытым. Сейчас ему хотелось облегчиться, но Ричард, стоявший рядом, своим молчанием как бы вежливо выражал нетерпение, и у Джерри не хватило духа зайти в туалет на первом этаже. На улице три звезды пояса Ориона опустились и круче нависли над лесом, а луна продвинулась ввысь, освещая пепельное, в барашках, небо. Конанты услышали, как заскулил и заскребся в гараже Цезарь, но не залаял. Шум их машины осквернил ночь. Когда они двинулись вниз по извили-

[1] Будь что будет (*франц.*).

стой подъездной дороге, Руфь закурила сигарету. Джерри потер палец о палец. Она передала ему сигарету.

— Любопытная вещь,— сказала она,— у меня такое чувство, будто я возвращаюсь с очередной вечеринки у Салли и Ричарда. Во всяком случае, на этот раз мне не было скучно. Ричард не разглагольствовал насчет акций и ценных бумаг.

— Да, он не казался таким ужасно нудным, как обычно. У него было даже несколько великих минут. Он меня просто обскакал. А как я выглядел? Сияльно уступал ему?

— Ты был таким, как всегда,— сказала Руфь.

У него начались рези в низу живота. Он спросил жену: — Не возражаешь, если я на минуту остановлю машину?

— Мы ведь уже почти приехали,— сказала она.— Неужели не можешь потерпеть?

— Нет.

Он остановил ее «вольво» цвета тыквы и открыл дверцу, и выцветшая сухая трава и придорожный чертополох сразу стали вдруг бесконечно милыми. Поблизости высился телеграфный столб. Подойдя к нему, Джерри дернул за молнию и отдал свою боль земле. Луна протянула колючку тени от каждой зазубрины на столбе; в высокой траве серебристо поблескивала изморозь. Все вокруг, казалось Джерри, было словно картина, написанная на черном фоне, гравированная нашим неясным, тупым страхом. Прокрякал невидимый треугольник гусей; машина на соседней дороге прошелестела — и звук замер; в воздухе возник призрачный запах яблок. Джерри попытался отключиться от реальностей ночи и осознать — как пытаешься осознать вращение земли — тот огромный печальный поворот, который произошел в его жизни. Но в сознании была лишь трава, да Руфь, дожидавшаяся его в машине, да утончавшаяся дуга, приносившая облегчение.

Проехав мимо многих темных домов, они остановились у своего дома — все окна горели. Миссис О., хоть и была хороша с детьми, ни разу еще не вымыла ни одного блюдца и никогда не выключала свет. Они расплатились с ней, и она сказала:

— Тут одна женщина из индепендентской церкви заходила насчет каких-то объявлений.

— О, господи,— сказала Руфь.— Я совсем забыла. Ведь их следовало сделать к субботе.

— Эти люди начинают просто тиранить тебя,— сказал Джерри и, обращаясь к миссис О., спросил:— Вы в пальто?— Женщина молча покачала головой; лицо у нее было красное, и, выходя на крыльцо, она приложила платок к глазам.

Закрывая за нею дверь, Руфь сказала:

— Бедняжка. Интересно, много ли она знает?

— А почему, собственно, она должна знать?

— Она ведь из нашего городка, Джерри. А весь городок знает, что у н а с дело худо. Я все лето замечала это по лицам мальчишек у Гристеда.

— Хм. Мне, например, не казалось, что у нас дело худо. У меня — да, и у тебя — тоже, но не у н а с.

— Пошли спать. Или ты уезжаешь в свой коттедж?

— Я не в состоянии. Хочешь молока?

— А ты?

— Если ты сделаешь тосты.

— О, конечно. Почему бы и нет? Который теперь час?

— Десять минут второго.

— Так рано? Удивительно. Мне казалось, мы провели там целую жизнь.

— Может, позвонить?— спросил Джерри.— Ты думаешь, с ней все в порядке?

— Она ведь сама так хотела, оставь ее в покое.

— Она казалась такой жалкой.

— Это ее поза.

— Нет, я никогда еще не видел ее такой. У меня было ощущение, что вот мы сидим, трое разумных людей, и обсуждаем участь прелестного... р е б е н к а...

— Хлеб подрумянился. Масло нужно? Это твой тост.

А ему не терпелось поговорить о Салли и о минувшем вечере со всеми его сложными перипетиями; ему необходимо было вслух перебрать все подробности и узнать мнение Руфи о них. Но она не стала слушать и пошла наверх. В холодной спальне все невысказанное комом сдавило ему грудь, дыхание стало прерывистым.

— Сукин сын,— еле выдохнул он,— я же оставил ингалятор там, в коттедже.

— А ты расслабься,— сказала Руфь далеким певучим голосом.— Распустись, ни о чем не думай.

— Холодно... здесь наверху,— сказал он.— Почему мы живем в таком вшивом доме?

— Залезай под одеяло,— сказала она,— там славно, тепло, дыши неглубоко, не думай о своих легких.

— Мои бедные... дети,— сказал он. Постель, когда он залез в нее, показалась ему ловушкой: стоит лечь ничком — и задохнешься. Руфь выключила свет — последнюю лампочку в доме. В окне сквозь плотное кружево вяза просвечивали звезды, и Джер-

ри понемногу вновь обрел способность дышать. Руфь залезла в постель с другой стороны и, прижавшись к нему, положила руку ему на грудь. Окутанный медленно нараставшим теплом — теплом, которым он наслаждался последний раз в вечности,— Джерри почувствовал, как грудь его расширяется; ноги и руки расслабились, напряжение вытекло из них; стена в легких постепенно рушилась под напором каждого вздоха. Тело Руфи рядом было крепкое, упругое, сонное.— Мне очень жаль,— вслух произнес он,— но, наверное, так правильно.— Эта фраза, обретшая плоть благодаря его голосу, казалось, повторялась без конца, как отражение в двойном зеркале, как дни, как дыхание. Он открыл глаза Кресты оконных переплетов застывшими благословениями оберегали его в ночи; в легких его установилось безбрежное царство мира и покоя. И в эту чудесную страну он не спеша, лениво вступил.

Телефон дребезжал и дребезжал в верхнем холле — казалось, будто прорвало трубу и мрак наполнился кипящей пеной.

— О, господи,— произнесла Руфь

Они с Джерри давно уговорились, что утром она встает вместе с детьми, поэтому всеми ночными происшествиями занимается он. Он выбросил тело из теплой норы, где оно нашло избавление; по тому, каких усилий ему стоило встать, он понял, что лишь недавно заснул. Ведь первый сон — самый глубокий. Ноги его и лицо были словно покрыты пылью. Он снял трубку на четвертом звонке, оборвав его на середине. Скрипнула кровать под кем-то из детей.— Алло?

— Джерри? Это я.— Голос Салли звучал немыслимо близко — так комета нависает над землей, хоть и находится на расстоянии миллионов миль.

— Привет.

— Ты спал?

— Вроде бы. Который час?

— Извини. Я не думала, что ты сможешь заснуть.

— Я и сам не думал.

— Я позвонила тебе в коттедж, но ты не отвечал. Мне стало очень больно.

— Вот как? А мне и в голову не пришло поехать туда. К чему — теперь ведь все решено.

— Разве? А как Руфь?

— Спит.

— Ничего подобного!— послышался из постели голос Руфи.— Скажи ей, чтоб не занимала мой телефон!

— А ты как?— спросил у Салли Джерри.

— Не очень хорошо.

— Нет? А где Ричард?

— Уехал. Наверное, я тебе потому и звоню, чтобы это сообщить. Ричард ушел из дома. Сказал, что не может больше выносить меня ни минуты, и хлопнул дверью. Даже чемодана не взял Он обозвал меня проституткой.— Голос у нее прервался, и в трубке зашелестело от слез. Скрипнула еще чья-то кровать. Неужели все дети не спят?

— Он тебя бил?

— Нет. Но пусть бы и побил — мне все равно.

— Что ж, все складывается хорошо, верно? Разве не лучше, что он ушел? Ты сможешь заснуть?

— Гореть мне в аду за то, что я сделала этому человеку.

Джерри перенес тяжесть тела на другую ногу и постарался говорить так, чтобы Руфь не могла слышать каждое слово: уж очень слова были нелепые.

— Никто не будет гореть в аду,— зашептал он Салли.— Меньше всего — ты. Ты не виновата в том, что так получилось: ты же пыталась отвадить меня. Верно?

— В-вроде бы. Но мне следовало настоять на своем. А я не хотела отваживать тебя и не хотела на тебя наседать. Скажешь мне одну вещь?

— Конечно.

— Скажешь по-честному?

— Да.

— Ты считаешь, что я на тебя давлю?

— Конечно, нет.

— Я вовсе не хотела говорить ему все, но стоило начать, и я уже не могла остановиться. Он заставил меня все выложить: он куда умнее, чем ты думаешь.

— Я считаю его очень умным. Он мне даже понравился сегодня.

— В самом деле?— В голосе ее зазвенела такая надежда, что он испугался следующих ее слов: она ведь может сказать лишнее. Она сказала:— А я была ужасна.

— Нет, ничего подобного Ты была чудо как хороша.

— Я слова из себя не могла выдавить, а когда все же выжимала что-то, это были гадкие, злые слова.

— Все было отлично.

— У меня в голове все путалось, мне было так стыдно. Я предала Ричарда, а потом предала тебя. А ведь вы оба на меня рассчитывали.

— Даже слишком.

Ее молчание снова заполнилось шелестом, и у него было такое чувство, будто он выплескивает слова в пропасть, в пустоту.

— Салли. Послушай. Я рад, что он знает. Я рад, что ты сказала ему. Теперь все позади и все в порядке. Но мы теперь должны быть лучше других — ты и я. Мы просим Ричарда, Руфь и детей об огромной жертве, и отплатить им мы можем, только если будем лучше других до конца своих дней. Поняла?

— Да.— Она шмыгнула носом.

— Ты мне веришь?

— По-моему, да. Я сама не знаю, что делаю. Только что съела целую миску салата, который приготовила к сегодняшнему ужину. Мы забыли поесть, и муж ушел голодный.

— Ты сумеешь лечь и заснуть? У тебя есть таблетки?

— Да. У меня есть таблетки. Ничего со мной не случится.— В голосе ее зазвучали злые нотки. Он спросил:

— Ты хочешь, чтоб я приехал?

— Нет. Дети взбудоражатся. Теодора до сих пор не спит.

— Бедная крошка. А когда придет Джози?

— Завтра утром. Что мне ей сказать?

— Не знаю. Ничего? Правду? Мне кажется, это должно меньше всего тебя волновать.

— Ты прав, Джерри. Ты всегда прав. Ты прими на себя заботу о Руфи, а я приму таблетку.

— По-моему, это сейчас самое правильное.

— Ложись снова спать. Извини, что побеспокоила.

Он ждал от нее извинения. Он сказал:

— Не смеши. Я рад, что ты позвонила. Конечно же, рад.

— Спокойной ночи, Джерри.

— Спокойной ночи. Ты грандиозна.— Не мог он заставить себя сказать, зная, что Руфь слушает: «Я люблю тебя».

Когда он вернулся в постель, Руфь спросила:

— Чего она хотела?

— Утешения. Ричард уехал.

— Среди ночи?

— Видимо.

— Что ж... молодец.

— Чем же он молодец? Тем, что оставил женщину в полной растерянности? Мерзавец.

— А еще что она говорила?

— Ей было неприятно, что я здесь, а не в коттедже. Она, видимо, ожидала, что я высажу тебя, а сам поеду туда.— Джерри мучило то, что Руфь сказала «молодец», явно намекая на его пассивность.— Я должен был так поступить?— спросил он.— Значит, чтобы завоевать твое уважение, надо встать, одеться и уйти из дома, как Ричард?

— Поступай, как знаешь. А какой у нее был голос?

— Благодарю, несчастный.

— С чего бы это? Ведь она получила то, что хотела.

— Ты так думаешь? Мне кажется, она сама не знает, чего хочет,— теперь, когда она это получила.

— Повтори еще раз.

— Нет. Я сейчас буду спать. У меня какое-то странное ощущение,— сказал он, пускаясь в очередную фантазию, за что его так ценили в студии рекламы,— будто я — Северная Африка и ноги у меня — Египет, а голова — Марокко. И весь я — сплошной песок.

Когда телефон снова разбудил его, он проснулся с чувством вины, так как видел во сне не свою «ситуацию» — не Салли, или Ричарда, или Руфь, а далекие уголки своего детства, горку на площадке для игр, которую натирают вощеной бумагой, чтобы скатываться быстрее; две потрепанные коробки с настольным хоккеем; пятачок затоптанной травы за киоском, где дети постарше обменивались невообразимыми секретами, усыпая землю окурками «Олд голд»,— то прошлое, тот рай, где ты не волен ничего выбирать. Он пошел, спотыкаясь, заткнуть телефонный звонок — понимая, что повторяется, что сам обрек себя на бесконечное повторение, совершив этот грех, который свинцовой тяжестью давил ему на диафрагму. Звонила снова Салли, Салли; голос у нее обладал центробежной силой, и слова разлетались во всех направлениях — ей было унизительно снова звонить ему, она говорила задыхаясь, прерывисто.

— Эй, Джерри? Если я тебя кое о чем спрошу, ты мне скажешь по-честному?

— Конечно. Ты приняла таблетку?

— Только что приняла и решила позвонить тебе, пока она не подействовала. Хотелось услышать твой голос, прежде чем отключусь. Не будешь на меня сердиться?

— Почему я должен на тебя сердиться? Я чувствую себя ужасно от того, что нахожусь далеко. Ричард не вернулся?

— Нет, и н е вернется.— Салли произнесяа это по-старомодному, чуть в нос: так соседки когда-то выговаривали ему за то, что он топчет траву на их лужайках.

— Спрашивай же,— сказал он.

— Ты не сердишься, что я ему сказала?

— Об этом ты и хотела меня спросить?

— Вроде бы.

— Нет, не сержусь, конечно, нет. Я-то ведь сказал еще несколько месяцев тому назад, так что тебе за мной не угнаться.

— Ты все-таки с е р д и ш ь с я,— сказала она.— Я так и подумала, еще когда раньше тебе звонила, что ты сердишься.

— Я немножко дохлый,— признался он.— Завтра буду в форме. По-моему, ты очень храбрая и достаточно долго все скрывала, и я очень тебе признателен. Ты дала мне большую фору. В конце-то концов, ведь он сам обнаружил телефонные счета.

— Да, но я умела нагнать туману кое в чем и похуже. Я просто очень устала. Кстати, Джерри! Знаешь, что еще случилось? Это в самом деле ужасно.

— Что еще, солнышко?

— Ты меня возненавидишь.

Ему надоело говорить «нет», и он промолчал.

Тогда она сказала:— Я солгала ему. Я ему сказала, что мы никогда...

— Что — никогда?

— Я сказала, что мы никогда не устраивали свиданий у нас в доме. Я подумала, что это было бы слишком ужасно при его самолюбии. Ну, разве не глупо?

— Нет, не глупо.

— Я сумасшедшая?

— Нет.

— Пожалуйста, не говори ему. Если мы все пойдем в суд, там я признаюсь, но только ты, пожалуйста, ему не говори. Это ведь не твой д о м, Джерри.— Таблетка начала действовать, и она говорила как-то странно.

— А собственно, зачем мне это нужно?— сказал он.— Чем меньше мне придется с ним говорить, тем лучше.

— Он т а к уязвлен в своем самолюбии.

— Ну, такое впечатление он постарался создать у тебя. И сейчас он явно ведет к тому, чтобы все почувствовали себя виноватыми.

— Обещаешь, что не скажешь ему?

— Обещаю.

— Вот я, к примеру, очень многое никогда не скажу Руфи. Интимное.

— Я же сказал: обещаю. Ты думаешь, ты сможешь заснуть? Сколько сейчас, черт возьми, времени?

— Эй?

— Да?

— Помнишь, тогда, в Вашингтоне, на тебя напала бессонница? Я никак не могла понять, что тебя так мучило. А теперь знаю.

— Жизнь — мучительная штука,— изрек он.

Она рассмеялась.

— Я прямо вижу, как у тебя губы поджались, когда ты это произнес. Джерри? Вот теперь таблетка начала действовать. Я стала вся такая тяжелая.

— А ты расслабься,— посоветовал он ей.— Проснешься — и будет утро, и мир все такой же вокруг.

— Меня куда-то утягивает. Я боюсь. Мне страшно, как бы чего не случилось с детьми.

— Ничего с детьми не случится.

— Мне страшно — вдруг я не проснусь. И уже никогда не увижу тебя, и ты будешь любить другую. Снова влюбишься в Руфь. Ты ведь л ю б и ш ь ее, я это сегодня понял.

— Обещаю: ты проснешься. Ты очень сильная, ты очень здоровая, ты не куришь.— Он прикрыл рукой рот и зашептал так, чтобы Руфь не могла услышать: — Ты — солнышко.

— Я вешаю трубку, а то рука совсем отяжелела. В самом деле со мной ничего не случится?

— Ничего. Ты ведь уже не раз оставалась одна в доме.

— Не так.

— Ничего с тобой не случится.

— Спокойной ночи, любовь моя.

— Спокойной ночи, Салли.

На этот раз, когда он снова залез в постель, Руфь лишь спросила:

— Почему голос у тебя такой чудной, когда ты с ней разговариваешь?

Руфь встала рано, и в странно преломленном солнечном свете этого утра Джерри почувствовал, что он не вправе перекатиться на середину постели и поспать еще минутку, прежде чем она, по обыкновению, позовет его, чтобы он успел на поезд

в 8.17. Он вспомнил обрывки своего сна. Все происходило как бы после вечеринки в большой гостиничной комнате с высоким потолком. Салли прикорнула на диване, и, как это бывало у них с Руфью, Джерри стал искать, что бы на нее накинуть. Он обнаружил на резной спинке стула грязный мужской дождевик с клетчатой подкладкой. Он укрыл им плечи Салли, но длинные ноги ее высовывались: плащ оказался короток. Это был детский плащ, совсем маленький. А что было дальше, Джерри не помнил. Он встал, побрился и сошел вниз. Дети в пижамах казались нежными пчелками, гудевшими вокруг свечей из молока. Джоанна встретила его широкой хитренькой ухмылкой, раздвинувшей ее веснушки.

— А папа сегодня ночевал дома,— объявила она.

— Папа всегда ночует дома,— сказал Джоффри.

Чарли потянулся через угол стола и натренированной рукой стукнул брата по голове.— Ничего подобного. Они с мамой слишком много ссорятся.

Личико Джоффри, расплывавшееся от счастья, медленно сморщилось, и улыбка сменилась рыданиями.

— Чарли, это — н е наилучший способ,— сказал Джерри.— И не самый правильный.

— Он же дурачок,— оправдывался Чарли.

Джоанна хихикнула.

— Чарли всегда говорит, что Джоффри — дурачок,— сказала она.— Развоображался.

— Ничего подобного,—сказал Чарли, обращаясь к отцу; маленькое личико его заострилось от напряжения. Он повернулся к Джоанне и сказал: — С а м а ты воображала. Джоанна развоображалась потому, что у нее есть дружок.

— Ничего п о д о б н о г о. Мама, чего он болтает, что у меня есть дружок, нет у меня никаких дружков. Он все врет. В р у н. Воображала. Врун.

— Джерри, да с к а ж и же им что-нибудь,— сказала Руфь, ставя на стол большую тарелку с намазанными маслом тостами.— Не стой так.

— Он... он... он...— заикаясь, произнес Джоффри, взывая к отцу,— он оби-идел меня.

— Он — дурачок, — деловито изрек Чарли, как неопровержимую истину; губы его лоснились от масла.

— Знаете, что я думаю по поводу ваших пререканий? — спросил, обращаясь к ним, Джерри, и сам же ответил: — Кака.— Все дети — даже Джоффри — дружно рассмеялись, услышав от отца детское словцо. Личики их повернулись к нему, приподнялись, засветились в ожидании продолжения.— А вы сами — знаете, кто вы, по-моему, такие? — спросил он.— По-моему, вы — какашки.

Они захихикали и захлопали в ладоши.

— И еще тонкозадики,— добавил Чарли и быстро оглядел стол, проверяя, попал ли он в точку; легкое хихиканье подтвердило, что попал.

Джоффри, улыбаясь всеми своими ямочками, объявил:— И вонючки.

— И тошнилки,— пропела Джоанна, словно изобретая новую считалку.

— И дыроколы,— внес свой вклад Чарли, после чего началось такое веселье, что Джерри, боясь поверить своей догадке, на всякий случай постарался сдержать смех.

— Послушайте, мне кажется, это не слишком подходящая беседа за столом,— объявила Руфь.— Джоанна и Чарли, у вас всего семь минут на одеванье. Чарли, тебе придется снова надеть клетчатую рубашку, у меня не было времени выгладить белую, и з в и н и.— Она произнесла это с таким нажимом, что он, занудив было, тотчас умолк.— Джоффри, бери свой тост и отправляйся смотреть телевизор. Садись на пол: я не хочу, чтоб на диване среди подушек были крошки.— Наконец Руфь и Джерри остались на кухне одни.— Что заставило тебя подняться в такую рань? — спросила она. Было тридцать пять минут восьмого; он сидел в нижней рубашке и в серых брюках от своего рабочего костюма.

— Чувство вины,— ответил он.— И страх. Как ты считаешь, идти мне сегодня на работу?

— А у тебя есть что-нибудь срочное? — спросила Руфь. Она слила недопитый детьми апельсиновый сок в чистый стакан и дала ему.

— В общем нет. Эта реклама для «третьего мира» скисает: Информационной службе США снова срезали ассигнования.— От сока стало жечь под ложечкой, и одновременно с болью он осознал, что наступивший день — качественно иной, чем предыдущий, и что отныне все дни будут такими.— Я думаю, мне лучше побыть здесь, чтобы принимать на себя огонь зениток.

— Это будет очень любезно с твоей стороны,— сказала ему Руфь. Лицо у нее было настороженное и застывшее. Она тоже лишь сейчас начала осознавать случившееся.— Мне б хотелось, чтоб ты сделал для меня кое-что.

— Что?— Его сердце запоздало подпрыгнуло от благодарности, когда он услышал, что все еще может быть ей полезен.

— Эти чертовы объявления, которые я обещала сделать к распродаже барахла. Прежде чем отбыть, ты не мог бы написать их за меня? Я обещала сделать пять

штук. Это займет у тебя десять минут и, конечно, получится куда лучше, чем у меня, сколько бы я ни старалась, даже если бы сумела взять себя в руки.

— У меня такое впечатление, что ты вполне держишь себя в руках,— не без укора сказал он.

— Я приняла успокоительное. Я решила, что не могу позволить себе напиться, поэтому отыскала старые таблетки, которые принимала после рождения Джоффри. Не знаю, какое уж они оказывают действие, но я словно парю, и меня слегка тошнит.

— Тошнилка, вонючка и тонкозадик?

— Очень они распустились. Учуяли беду, наверно? Они могли расколошматить всю посуду на столе, я бы и пальцем не шевельнула. Ну, пожалуйста, м о ж е ш ь ты написать эти объявления? Я не в состоянии думать о них — это для меня уж слишком.

— Конечно.

— Тогда я посмотрю, что надо писать. По-моему, текст у меня наверху вместе с картоном, который я купила. Н и к о г д а больше не стану ничего делать для этих индепенденток. Почему они такие н а с т ы р н ы е?

— От усердия,— сказал он.— Мне очень жаль, что я тебя в это втянул.

Сверху раздался крик Чарли, звавшего мать, и Руфь, скользнув по кухне невозмутимо, как луна среди облаков, отбыла ему на помощь. Джерри растер в мисочке кукурузные хлопья, залил их молоком и тут вспомнил о газете — она, наверное, так и лежит на крыльце. Он как раз подходил к входной двери, когда раздался звонок; Джерри открыл дверь и обнаружил мужчину, поднимавшего свернутую газету,— на его макушке сквозь спутанные черные жесткие волосы просвечивала лысина. Ричард выпрямился с искаженным, покрасневшим от напряжения лицом и протянул газету Джерри.

— Спасибо,— сказал Джерри.— Входи же. Раненько ты встал.

— Я и не ложился. А Руфь здесь? Я думал, Руфь здесь.

Джерри крикнул: «Ру-уфь!», но она уже спускалась по лестнице. Джоанна и Чарли, одетые для школы, стуча ботинками, спускались следом за ней.

— Доброе утро,— спокойно сказала Руфь.— Ричард, я буду в твоем распоряжении, как только найду деньги им на завтрак. Джерри, у тебя нет двух долларовых бумажек и двух четвертаков?

— Бумажник у меня наверху, на бюро,— сказал он и хотел было протиснуться между ними.

— Не беспокойся,— сказала она,— моя сумка на кухне. Чарли, пойди, вынь из нее два доллара. Загвоздка в четвертаках — все их тащат.

— Вот вам два четвертака,— сказал Ричард, выудив их из кармана.

— Грандиозно,— сказал Джерри.— Теперь мы твои должники.— Серебро, перекочевавшее к нему из руки Ричарда, было холодное. Должно быть, он всю ночь провел на улице.

— Мам, тут нет с у м к и,— раздался крик Чарли.

Джоффри, услышав шум, появился в прихожей и, ко всеобщему удивлению, боднул Ричарда головой между колен. Несколько месяцев тому назад, на пляже, когда поверхность их жизни была еще безмятежно спокойна, Ричард, обладавший способностью лежа качаться на волне, разрешал двум маленьким мальчикам — Джоффри и собственному сыну Питеру — толкать его в мелководье точно большую надувную лодку, и вот теперь Джоффри вспомнил доброе старое время и налетел на него, предлагая продолжить игру, так что Ричарду пришлось расслабить мускулы, чтобы не упасть.

— Полегче, шкипер,— сказал он, натянуто улыбаясь и ероша густые волосы на круглой головенке, упиравшейся ему в ноги.

Джерри от смущения стал просматривать заголовки в газете, которую держал в руке. «Негр принят в университет штата Миссисипи; трое погибли во время волнений в университетском городке». «Хрущев приглашает Кеннеди в Москву». «Чжоу Энь-лай непреклонен в споре с Советами». «Гиганты» и «Финты» борются за первенство».

— Папа едет играть в гольф?— спросил Чарли, выходя наконец из кухни с зеленой сумочкой Руфи. Он не мог представить себе зачем бы еще чужому дяде являться к ним в такую рань, хотя Ричард в своем гангстерском клетчатом спортивном пиджаке, розовой рубашке на пуговицах и хорошо повязанном галстуке был вовсе не похож на человека, одевшегося для игры в гольф.

— Дурачок,— сказала Джоанна.— Мистер Матиас не играет в гольф, это только мистер Коллинз играет.

— Мистер Матиас пришел по делу,— сказала Руфь, обменивая деньги на поцелуи, и потянулась через плечо Ричарда, чтобы открыть дверь. Джоанна и Чарли, не оглядываясь, сбежали по ступенькам крыльца и пересекли дорогу.

До чего же у них серьезный вид, подумал Джерри, отрывая взгляд от газеты и глядя сквозь оконное стекло на детей, которые встали под вязом в ожидании школьного автобуса. Не замечая, что приютившее их дерево все уменьшается в размерах, они подбрасывали ногами опавшие листья. Вокруг каждого палого листа на асфальте было влажное пятно — поцелуй.

Руфь спросила Ричарда:— Хочешь кофе?

— Если можно,— сказал он. Страдающий потный клоун минувшей ночи исчез, на его месте возник некто большой и жесткий, чье присутствие угрожало их дому.— Мне надо кое-что сказать Джерри, раз уж он здесь, и кое-что сказать тебе, Руфь. То, что я должен тебе сказать, не займет много времени,— добавил он, обращаясь к Джерри.— Где мы могли бы поговорить?— Джоффри все еще цеплялся за ноги Ричарда.

— Лучше всего, пожалуй, на заднем дворе,— сказал Джерри. Слова эти словно повисли в пространстве: он чувствовал себя как перепуганный актер, подающий реплики, которые он не успел выучить.

Руфь сказала:— Я сейчас сварю свежего кофе. Джоффри, иди смотри телевизор. Там сейчас фильм.

Джерри вывел Ричарда через кухню на воздух. Они остановились под кленом; на одной из веток Джерри давно уже пристроил качели. Вся земля вокруг качелей была утрамбована и начисто вытоптана, тогда как остальная лужайка нуждалась в стрижке: она заросла высокой тощей осенней травой, которая умирает в августе и снова оживает под сентябрьскими дождями. Джерри спросил:— Ты, правда, был всю ночь на ногах? Что ты делал?

Ричард не желал смягчаться. Он остановился в таком месте покатого двора, чтобы возвышаться над Джерри не только на природный дюйм.

— Поехал в Кэннонпорт и шатался по улицам. Время от времени заходил куда-нибудь выпить и наблюдал, как солнце встает над причалами. Меня ведь точно обухом по голове ударило, приятель.

Джерри передернул плечами.— Что ж, пополняй ряды хорошо известного клуба.

— Я завтракал с моим адвокатом,— продолжал Ричард.— В результате наших разговоров выяснилось два — нет, три — момента, о которых сейчас и пойдет речь.

Джерри снова передернул плечами; он чувствовал, что должен подать какую-то реплику, но забыл какую.

— Во-первых,— заявил Ричард,— я сейчас приехал из моего дома — моего бывшего дома,— где я оставил Салли в отличном здравии.

— Прекрасно.

— Я ничем ей не досаждал. Принял душ, побрился и сообщил ей свое решение — в той части, которая ее касается.

— Ей все-таки удалось уснуть?

Ричард искоса бросил на него взгляд, слегка озадаченный тем, что Джерри, похоже, знает больше его.

— Она спала как младенец. Я еле ее добудился. Она поздно встает — придется тебе к этому привыкать. Теперь насчет дома: я намерен жить в нем. Я полагаю, вы с ней, как только сможете, подыщете себе другое место, а до тех пор мы будем жить с ней вместе, но, так сказать, не как муж и жена.

— Так сказать. Выражение твоего юриста?

— Я говорю серьезно, Джерри.

— Конечно.— Он посмотрел вверх: небо было голубое, как выцветший бархат, и с запада на него наползали грозовые серые тучи.

— Во-вторых, я разведусь с Салли, если ты согласен на ней жениться.

— Если? Я считал, что уже дал согласие.— Голос Джерри прозвучал хрипло: он почувствовал, что скользит по наклонной плоскости.

— Разводиться будем не в нашем штате — об условиях договорятся ее адвокат и мой. Я не буду претендовать на детей, хотя, естественно, рассчитываю, что мне будет предоставлено право видеть их в разумных пределах и участвовать в их воспитании.

— Конечно. Тут я не могу тебя заменить. Нам всем придется помогать друг другу, чтобы дети легче это пережили.

— Совершенно верно,— сказал Ричард сквозь зубы.— В-третьих, если ты не женишься на Салли, я намерен подать на тебя в суд за алиенацию супружеских отношений.

В Джерри словно швырнули подушкой — не больно и спрятаться можно; внимание его вдруг привлек двор, нестриженая трава, обрывки бумаги, разбросанные игрушки, которые следовало подобрать, кочки и изрытые дырочками горки под ногами — свидетельства существования иных городов, где у насекомых есть свои иерархии, своя обыденность, свои торговые пути, и королевы, и пятилетние планы. Джерри сказал: — Я не очень точно представляю себе, что значит «алиенация супружеских отношений». Очевидно, мне это растолкует юрист. Но мне кажется, ты совершаешь ошибку, думая, что влечение не было обоюдным.

Ричард сказал, неожиданно вкрадчиво: — И ты, и я, мы оба знаем, Джерри, что Салли во всей этой истории была не менее агрессивна, чем ты, а возможно, даже более. Но в глазах закона она — не свободное лицо. Она — движимое имущество. В глазах закона, оторвав от меня жену, ты причинил мне немалый моральный ущерб — моральный и, в известной мере, физический, и я имею права на компенсацию. Она швырнула мне в голову бронзовую подставку для книг и могла меня убить; это ущерб. Теперь мне какое-то время придется прибегать к помощи проституток — вот тебе еще ущерб. Эти законники — премерзкие людишки, приятель-Джерри.

— Ерунда,— сказал Джерри.— Она бы не пришла ко мне, если бы уже не настроилась против тебя. Она же твоя жена — твое было дело ее удерживать. Из-за тебя мои дети будут теперь искалечены. Из-за того, что ты такое дерьмо, моя жена хочет умереть.

— Хватит, по-моему. Не обольщайся насчет Руфи: она вполне обойдется без тебя. И поосторожнее со словом «дерьмо». Лучше не заводи меня, приятель-Джерри. Ты сейчас ведешь игру со взрослыми людьми.

— У меня есть вопрос.

— Слушаю тебя.

— Насчет ваших супружеских отношений с Салли, которые, как ты выражаешься, я алиенировал. Если бы я вдруг исчез, ты думаешь, ты мог бы их восстановить?

Лицо Ричарда дернулось, как бывает, когда в фильме проскакивает несколько кадров, а быть может, Джерри в этот момент просто моргнул, затронув самую больную точку. Ричард медленно произнес:

— Если ты плюнешь на Салли, я сам решу, как с ней дальше быть. Сейчас я исхожу из того, что ты ж е н и ш ь с я на ней. Я прав?

Неправильно это, да?

— Я прав? Да или нет, Джерри?

— Я пришлю тебе сейчас Руфь. По-моему, все, что мне адресовано, ты уже выложил.

— На данный момент — да.

Когда Джерри вошел в дом, Руфь спросила его:— Что он сказал?

— Ничего. Всякое разное. Если я не женюсь на Салли, он потащит меня в суд.

— За что? За то, что ты был с ней близок?

— Это называется «алиенация супружеских отношений».

— Но ведь инициатива-то принадлежала ей.

— Все это блеф, Руфь. Этот идиот и мерзавец не хочет говорить впрямую, вот он и блефует.

— Ну, он уязвлен. Он человек слабый.

— А кто не слабый?

— Нельзя же, чтоб он стоял там один на дворе. Выключи воду для кофе, когда чайник запоет.

Из окна кухни Джерри наблюдал за тем, как разговаривали Руфь и Ричард. С нею Ричард расслабился и вел себя совсем уж нелепо, по-домашнему: сел на качели и в изнеможении принялся раскачиваться — вперед, назад. Через некоторое время, побуждаемый, судя по жестам, Руфью, он встал, снял свой клетчатый пиджак, расстелил его на траве возле сарая, где хранились велосипеды, лестница и садовый инструмент, и они оба сели. Сидели рядышком и курили, деля одну сигарету. Когда Ричард затягивался, нижняя губа у него по-старчески отвисала; Руфь кивала в ответ на слова, вылетавшие у него изо рта вместе с дымом, она раскраснелась и вся напряглась, точно в сексуальном экстазе,— так бывало в художественной школе, когда преподаватель останавливался у ее мольберта. Тучи, надвигавшиеся с запада, принесли с собой ветер; вокруг поглощенной разговорами пары взлетали и кружились листья, и Джерри подумал, как хорошо было бы, если б Ричард с Руфью так и остались навеки там, на заднем дворе, этакими садовыми статуями, полубогами-хранителями. Вода для кофе закипела; Джерри выключил горелку. За его спиной, в доме, жалобно причитал Джоффри: он попытался сам одеться и никак не мог справиться с пуговицами. Джерри застегнул его вельветовый комбинезончик и позвонил на работу — сказал, что проснулся с ощущением ужасной простуды. И в самом деле от недосыпа у него саднило горло и текло из носа. Позади бюро, за которым работала Руфь, он обнаружил картон, а в детской — несколько бутылочек с засохшей краской для картона и затвердевшую кисточку, которую он вымыл под краном на кухне. Когда Руфь и Ричард наконец вернулись в дом, они застали его в гостиной — он сидел на полу и писал плакаты для индепендентской церкви.

— Молодец,— сказала Руфь и подала кофе.

Ричард сидел на диване и в изумлении смотрел, как Джерри широкими уверенными мазками выводил РАСПРОДАЖА СТАРЬЯ по-диснеевски танцующими крупными буквами, а потом поставил число, указал место распродажи и нарисовал карикатурную сломанную лампу, пустую раму от картины и пару по-дурацки заштопанных носков. Руфь пошла к телефону.

Джерри спросил: — Ты кому собираешься звонить? — Он-то ждал, что она сядет и будет восторгаться его творчеством.

— Снова миссис О., — сказала она. — Ричард считает, что мне надо поехать в Кэннонпорт и поговорить с его адвокатом.

— Зачем тебе говорить с адвокатом Ричарда?

— Он подберет мне адвоката.

Ричард сказал: — Я твердо уверен, что Руфь должна нанять адвоката.

— Пожалуй, — сказал Джерри, опуская кисточку сначала в воду, затем в малиновую краску.

— Если бы она наняла адвоката полгода тому назад, мы бы сегодня все так не страдали и дело бы уже шло на заживление.

Малиновая краска жирно легла на картон.

Мужчины молчали, пока Руфь договаривалась с миссис О., чтобы та пришла через полчаса. Когда она повесила трубку, Ричард сказал ей: — Он ждет тебя. Я прикинул, что ты подъедешь к нему до полудня, сумеешь?

— Конечно. Я должна вернуться домой к трем, чтобы отправить Джоанну на урок музыки.

— Тогда я сейчас позвоню ему и подтвержу. У тебя ведь есть его адрес?

— Да, Ричард, да. Я же не идиотка. Ты только что дал его мне.

— Я устал. Господи, мне просто необходимо на боковую. Будем поддерживать контакт. — Ричард тяжело поднялся с дивана, а встав, явно почувствовал себя обязанным что-то изречь.— Сегодня у нас черный день,— сказал он,— но будем надеяться, что впереди нас ждут лучшие дни.

Сидя на полу, Джерри посмотрел на него снизу вверх и смутно почувствовал преимущество своей позы. Не вставая, он сказал: — Ричард, мне хочется поблагодарить тебя за то, что ты так помогаешь Руфи и относишься ко всему так практично, по-мужски.

— Премного благодарен, — мрачно произнес Ричард.

Джерри увидел то, чего не заметил вчера ночью во время объяснений в тесном семейном кругу, а именно: что Ричард вылез из своего обитого ватой туннеля с глубокой раной, которую намерен использовать к своей выгоде в предстоящие жестокие дни.

Когда шаги Ричарда затихли на дорожке, Джерри спросил Руфь: — О чем он там с тобой трепался так долго?

— О... видишь ли... О всяком разном. Он сказал мне, что я еще молодая, и хорошо выгляжу, и меня еще многое ждет в жизни. Что ты не единственный мужчина на свете и что по закону у тебя есть обязательства передо мной и детьми.

— Я этого никогда и не отрицал.

— Он сказал, что я все лето уговаривала тебя остаться, а теперь надо попробовать что-нибудь другое. Я должна дать тебе развод. Он сказал, что хватит думать о тебе, пора подумать о с е б е , о том, чего я хочу.

— Прямо не человек, а Торговая палата.

— Он говорит разумные вещи.

— А что он сказал про детей?

— Он сказал, что дети — это, конечно, важно, но не они должны определять мое решение. Собственно, он не сказал ничего такого, чего мы бы с тобой уже не знали, но все как-то становится яснее, когда слышишь от другого.

— Счастливая разводка. Черт меня подери. О'кей, когда ты сама примешься за свои чертовы плакаты для распродажи?

— Не приставай ко мне с ними — я не могу сейчас этим заниматься. Через четверть часа придет миссис О. Ты уже сделал один плакат — получилось отлично, сделай еще четыре таких же. И не оригинальничай — тогда это займет у тебя ровно пять минут. Ну, что тебе сегодня еще делать? Или ты собираешься к ней?

— По-моему, я должен к ней поехать.

— Сделай для меня эти плакаты, и я никогда больше ни о чем тебя не попрошу.

— «Будем поддерживать контакт» — этот елейный мерзавец говорит моей жене, что он будет с ней поддерживать контакт.

— Джерри, мне п о р а одеваться.

Точно он ее задерживает. А может быть, все-таки задерживает? Хотя рука у него дрожала и пол под картоном перекатывался, точно палуба корабля, он все-таки старался сделать очередной плакат лучше предыдущего — смешнее, живее, завлекательнее. На это у него ушло больше пяти минут: Руфь приняла душ, оделась и спустилась вниз, а он все еще работал. На ней было гладкое черное платье, которое ему всегда нравилось: трикотаж облегал бедра, а черный цвет придавал что-то трагическое ее уступчиво-мягкому, бледному лицу. Она поцеловала его на прощание. А у него пальцы были выпачканы в краске, и он не мог до нее дотронуться. Он спросил: — Это Ричард подсказал тебе, как должна быть одета дама, когда она едет к адвокату?

— А тебе это кажется правильным? Мне, наверное, следовало бы надеть шляпу с вуалью — как в церковь, да только у меня ее нет. Я, конечно, могла бы снова взять у Линды. Как ты думаешь, он уже сейчас спросит меня о разделе денежных средств?

— Вероятно. А сколько, по мнению Ричарда, ты должна просить?

— Он упомянул цифру «пятнадцать». Мне кажется, это очень много. Не думаю, чтобы мой отец за всю свою жизнь столько заработал.

— Что ж, постарайся получить сколько сможешь. Я уверен, у адвоката Ричарда будет немало прекрасных идей.

— Ты злишься? Разве я неправильно поступаю? У меня же нет выбора, верно?

— Я вовсе не злюсь. Мне грустно. По-моему, ты очень храбрая и выглядишь

грандиозно. Поцелуй меня еще раз. — Он наклонился к ней, но рук не протянул. Нос у нее был холодный, а язык теплый. На крыльце раздались тяжелые шаги. Прибыла миссис О. Руфь направилась к выходу, по дороге роясь в сумочке, и Джерри слышал, как она твердила себе под нос: «Ключи от машины, ключи от машины».

Он дорисовал плакаты, пока миссис О. кормила Джоффри вторым завтраком. Очутившись наконец наедине с безусловно добрым человеком, Джоффри болтал без умолку. До слуха Джерри долетало журчанье речи, и вдруг он понял, что голоса детей, если слушать их с мыслью, что скоро с ними расстанешься, меняют тональность, звучат глуше — так глаз раздражал бы рисунок, где все тщательно выписано, только у одного здания на втором плане смещена перспектива и крыша скошена под немыслимым углом, отчего все кажется чуть сдвинутым, ненужно гулким. Все лето из других комнат, через полосы асфальта и травы Джерри слышал вот такое же приглушенное журчанье голосов; оно раздражало не меньше, чем чувство унылого однообразия, которое неизменно возникало у него по утрам, когда он просыпался от сна, наполненного желаниями и планами, связанными с Салли, и видел перед собой слегка улыбающуюся Руфь на автопортрете, удивительно точном по цвету, но вовсе не похожем на оригинал, — портрет этот она подарила ему, краснея от смущения, прошлой зимой, к его тридцатилетию. Она как бы подарила ему себя — тем способом, каким умела.

Только когда плакаты были готовы и разложены на диване для просушки, а кисточка вымыта и краски убраны в детской, Джерри почувствовал, что должен позвонить Салли. Миссис О. повела Джоффри по палой листве на прогулку в кондитерский магазин; Джерри остался дома один. Было странно набирать номер Салли из своего дома. Он набрал шестерку вместо семерки, опустил трубку на рычаг, словно затыкая рот, разверстый для крика, и набрал заново.

— Алло. — Голос ее уже не звучал в конце слова вопросом.

— Привет, ты, сумасшедшая мисс Матиас. Это я. Как ты там?

— Прили-чно. — Она разделила слово на две части.

— Ричард у тебя — спит?

— Нет, он снова уехал, он ужасно возбужден. Он всегда возбуждается, когда имеет дело с адвокатами. А ты как?

— Я — один. Руфь поехала повидать адвоката твоего мужа, а женщина, которая приходит к нам, отправилась с Джоффри гулять.

— Ты уже сказал детям?

— О господи, нет. Все пока так неясно. Ричард был тут — сыпал ультиматумами и раздавал советы.

— Он сказал, что вид у тебя перепуганный.

— Смешно, да и только. Он вздумал нас стращать.

— Ему т а к больно, Джерри.

— Эй! Хочешь, чтоб я приехал?

— Если ты хочешь, я буду рада.

— Конечно, хочу. Почему бы мне не хотеть? — И когда она промолчала, он добавил: — Голос у тебя такой, будто ты вся в ссадинах.

— Да, пожалуй, так оно и есть. В ссадинах.

— Ну, больше ни на что не налетай — стой посреди комнаты и не двигайся. Я мигом примчусь.

— Я люблю тебя.

Надо спешить, иначе он потонет. Джерри надел парусиновые туфли, но забыл завязать шнурки и, выскочив на задний двор, обнаружил, что они развеваются и тащатся по земле. Зачем-то он вытянул подсос в своем «меркурии», точно на дворе была зима, и теперь захлебывавшийся бензином мотор не желал заводиться. Наконец он взревел, и машина помчалась мимо почтовых ящиков, распахнутых гаражей, палых листьев в дымящихся кучах, пустых дворов. Весь городок словно вымер — Джерри подумал, уж не началась ли атомная война, и посмотрел на небо: а вдруг изменилось. Но облака в вышине отражали лишь тоску повседневности. Дом Матиасов на холме казался развалиной, заброшенной ветряной мельницей. Цезарь примчался из рощи и залаял, но вяло; на астрах у входа на кухню, поглощенных накануне ночной тьмой, теперь виднелись ржавые пятна. Сразу за дверью Салли робко прижалась к нему. Она была — его. Тело ее поразило Джерри своей реальностью — такое крепкое, большое и твердое; она деревянно уткнулась лбом в сгиб его шеи, от ее лица шел сухой жар. Он крепко прижал ее к себе — этого она и ждала. В холл притопала Теодора и уставилась на них. Брови у нее, как у Салли, были изогнутые и более темные к переносице, отчего лицо казалось если не разгневанным, то настороженным, словно мордочка дикого, вечно преследуемого зверька. Нижней половиной лица девочка пошла в Ричарда: у нее был такой же тонкий птичий рот. В широко раскрытых, в упор смотрящих глазах отражалась живая прозрачность окружающего мира, и они с Салли стояли как на витрине в этом доме с высокими потолками. Он сказал: — Эй?

Салли только крепче сцепила руки на его спине, глубже вовлекая его в свою потрясенную неподвижность. На ней была трикотажная кофточка в оранжевую полоску и белые летние брюки — этакий задорный матросский костюм.

Джерри спросил ее: — Тебе не кажется, что мы — как двое детишек, которых застигли с поличным, когда они залезли в банку со сластями?

Она отстранилась и без улыбки посмотрела на него.

— Нет. А тебе так кажется?

Он передернул плечами. — Что-то в этом роде. В какой-то степени. Я уверен, что это пройдет.

Она снова вжала лицо в его шею и спросила: — Ты чего-нибудь хочешь?

Неужели она предлагает ему заняться любовью здесь, когда весь мир глядит на них? Он обратился к малышке через плечо Салли, чтобы напомнить, что здесь ее дочка: — Ты не спишь, Теодора?

— Она теперь больше не спит по утрам,— сказала Салли. В стремлении еще больше к нему прижаться — раньше это выходило само собой — она слегка отстранилась, создав между ними воздушное пространство, но головы не подняла, словно боялась показать ему свое лицо. И глядя вниз, рассмеялась. — Ты забыл завязать шнурки.

— Ага, и забыл взять сигареты.

Она решила совсем от него отстраниться. — По-моему, Ричард оставил несколько штук в гостиной. Где мы сядем?

— Где угодно.

Где?

Мы могли бы как-нибудь встретиться, попить кофе, если хотите. Только не в Гринвуде. Это ведь было бы нехорошо?

Нет. Впрочем, да. Нехорошо, зато правильно. Когда? Когда же, Салли, милая? Не дразните меня.

Это вы дразните меня, Джерри.

— Сколько чашек кофе ты выпил сегодня утром? — предвкушая ответ, улыбнулась Салли.

— Не так много. Две, — сказал он, раздражаясь при мысли, что предал ее, не выпив больше. Она не спала всю ночь, она хлестала кофе, а он наслаждался теплом жены и, как ребенок, красил на полу.

Он сидел на ее яркой кухоньке — вокруг сверкали ножи, формы для паштета, края кухонного стола, временами тускневшие, когда солнце заглатывали облака, — и говорил о Ричарде и о Руфи: они с Салли обнаружили, что им трудно говорить о себе. Их любовь, их связь лежала между ними — огромная, нелепая, с острыми углами. К своему стыду, Джерри думал лишь о том, как бы не коснуться Салли; ему хотелось бы объяснить, что не в ней дело: не она изменилась — изменился мир. То, что Ричард знает, пронизало все и оголило: деревья стояли безлистые, в доме все было натерто и сверкало как на витрине, холмы высились точно каменные скелеты, и даже если бы Джерри и Салли зарылись, обнявшись, в землю, их все равно бы увидели. Чувство скромности отталкивало его от Салли — только и всего, однако эта же скромность не позволяла объяснить, почему он не хочет ее касаться. Непостижимо, но их отношения, оказывается, тоже требуют такта. Она встала; он встал; обоих, грозя бедою, бомбардировал свет. Джерри охотно приглушил бы яркость Салли, ибо в этом удивительно прозрачном мире она изобличала, выдавала их присутствие, а им так необходимо было укрыться.

Они не слышали, как подъехала машина Ричарда. Он обнаружил их в кухне — они стояли с таким видом, будто только сейчас разомкнули объятия. Губы Ричарда были поджаты, как у старика.

— Ну и ну, — сказал он. — Это уж слишком.

Джерри захотелось стать совсем маленьким, незаметным, и он опустился на жесткий кухонный стул. А Салли продолжала стоять.

— Нам надо поговорить, — сказала она. — Куда же нам идти?

Ричард по-прежнему был в пиджаке и в туго повязанном галстуке, словно после продолжительных консультаций сам стал юристом.

— Конечно, конечно, — согласился он. Это двукратное повторение как бы придавало словам силу закона. — Вам надо поговорить — все как следует перелопатить. Извини, возможно, мы не всегда разумны, но мы стараемся, стараемся. Я заехал взять кое-какие бумаги — банковские книги и страховые полисы: ты знаешь эту папку, Салли. Ты мне разрешишь подняться наверх в нашу бывшую спальню?

— У нас был очень грустный разговор, — попробовала перекинуть к нему мостик Салли, — о т е б е.

— Право же, это очень мило с вашей стороны. Вы оба, право же, очень заботитесь о моем благополучии.

— Ох, Ричард, успокойся, — сказала Салли. — Мы же все-таки люди.

— Я ценю это. Ценю. Насколько мне известно, я никогда не утверждал, что стороны, участвующие в данных переговорах,— не люди. Джерри, ты куришь свои сигареты или мои?

— Твои.

— Так я и думал.

— Вот, возьми двадцать восемь центов.

— Оставь свои деньги при себе — они тебе понадобятся. Располагайся как дома, приятель-Джерри. Салли-О, позаботься о том, чтобы Джерри как следует пообедал у нас, ладно? Сожалею, но не смогу присоединиться к вам, хоть и знаю, что вы меня очень просите.

Джерри встал со словами: — Я ухожу.

— Не смей, — приказала Салли.

— Это не мой дом, — сказал ей Джерри. — Это его дом. Он прав. Мне не следует здесь оставаться.

Ричард шагнул к нему, по-медвежьи обхватил рукой и прижал к себе; на близком расстоянии в его дыхании чувствовалось виски — тяжелый неистребимый запах сепии. — Очень даже следует, Джерри. Иисусе Христе, конечно, следует. Прости меня, а? Когда я только вошел, я на минуту потерял голову, но сейчас все о'кей. Все, что мое,— теперь твое, угу? А ты, ей-богу, крепко ее захомутал, верно? — Он сильнее сжал плечи Джерри, и у того мгновенно возникло неприятное ощущение, что он — младенец, совсем крошечный, которого можно сдавить, поднять на воздух и выкинуть. Ладони у Джерри зачесались, во рту пересохло. А Ричард тем временем продолжал: — Приятного аппетита. Салли хорошая кулинарка — этого у нее не отнимешь. Она превратила мою жизнь, приятель, в сущий ад, но еда всегда была на столе — трижды в день, приятель: раз, раз, раз. Неплохая она девчонка, Джерри, счастливчик ты этакий: ты ведь действительно ее захомутал, а? Никак не могу с этим примириться; знаю, ничего тут от разума нет, знаю, просто какой-то защитный рефлекс работает, но никак это не умещается в моей дурацкой, тупой башке.

Джерри сказал: — Она по-прежнему хорошо к тебе относится. — Сердце у Джерри колотилось, он старался вылезти из ямы, добиться одобрения Ричарда, его прощения.— До прошлой ночи,— продолжал он,— я понятия не имел, насколько хорошо она к тебе относится.

— Дерьмо,— сказал Ричард.— Merde. Саса. Убери ее с глаз моих — от одного ее вида меня, честное слово, с души воротит. Желаю удачи, дружище. Даю вам, двум палачам, три года, самое большее.

— Оставь его в покое, — сказала Салли Ричарду. — Неужели ты не видишь, как он мучается из-за своих детей?

— Мне самому жаль его детей, — сказал Ричард. — Мне жаль и моих тоже. Мне жаль всех, кроме тебя, Салли-О. Ведь все это твоих рук дело.

— Джерри волен в любую минуту уйти, — сказала Салли, гордо вскинув подбородок. — Я его не держу. Я хочу, чтобы мужчина х о т е л меня.

Но Ричард уже повернулся к ней спиной и шел вверх по лестнице, перешагивая сразу через три ступеньки. Оттуда он крикнул: — Где мой чертов халат?

Салли подошла к подножию лестницы и не менее громко крикнула: — Не смей лазать в мой шкаф!

Тяжелые шаги Ричарда шаркали по полу над их головой туда-сюда, и вскоре он спустился вниз с чемоданом; даже не взглянув в их сторону, он проследовал на улицу, хотя они вышли в холл, точно слуги, чтобы получить последние указания.

Салли отбросила с ушей свои длинные волосы и вздохнула.

— Все разыгрывают такую мелодраму.

— Не надо тебе здесь оставаться, — сказал Джерри. — Я не смогу навещать тебя: Ричард будет шнырять туда и обратно. Он сказал мне, что намерен здесь жить.

— Это не только его дом, но и мой, — сказала Салли.

— Так-то оно так, но ведь не Ричард, а ты хочешь развода.

Она уставилась на него; глаза ее расширились с наигранной наивностью.

— Только я? А мне казалось, мы в с е хотим этого.

— Ну, одни больше, чем другие.

— Возможно, я не так поняла прошлой ночью, — не отступалась Салли. — Мне показалось, я слышала, как ты сказал, что хочешь на мне жениться.

— Я и сказал. И мне не нравится, что ты здесь живешь. Мне кажется, тебе здесь небезопасно.

— Ах, ты о Ричарде, — мягко сказала она, снова отбрасывая назад волосы. — С н и м я справлюсь.— Это подчеркнутое с н и м словно раскрыло перед Джерри неведомые земли. Он почти прозрел, вот если б только Салли со своими непрестанными заботами и отчаянной практичностью не стояла на пути его прозрения. Она сказала: — Хочешь, поедем посмотрим дом художника? Помнишь, я тебе говорила?

Он — прелесть, Джерри, он тебе понравится, он прелестный старикан. Не знаю, сколько ему лет, но духом он такой молодой.

По твоим словам, он еще мужчина что надо.

Он любит меня. Называет меня своей дочкой.

Как мило. С его стороны. И с твоей.

Джерри был ненавистен в это лето их связи ее флирт со старым художником, который зимой давал уроки в городе и был тем, чем мог бы стать Джерри, — художником, свободным человеком.

— Как же я мог забыть?

— Наверное, это для нас слишком дорого. Он ведь там все сам устроил, сам столярничал. — Она понизила голос, зазвеневший было от восторга. — Там ты мог бы поселить меня, пока мы не объединимся. И тогда едва ли он много запросит. И детям не придется менять школу.

— Далеко это отсюда?

— Всего одна миля.

Джерри рассмеялся: — Не намного же мы продвинемся к Вайомингу.

В машине Джерри был сломан глушитель, мотор грохотал и отравлял воздух, и потому они поехали в сером «саабе» Салли — она за это время успела починить стартер. Салли вела машину; Теодора застенчиво сидела на коленях у Джерри. Художник построил свой высокий домик, своеобразную пагоду без драконов, на поросшем сосною склоне первого холма за Гринвудом; камни полетели из-под колес «сааба», когда машина начала карабкаться вверх. Скошенное под углом деревянное строение, трехэтажное — каждый этаж меньше предыдущего, — было словно сложено из кубиков гигантом-ребенком. Джерри неловко держал на руках Теодору; она была младше и легче Джоффри, но у Джерри было такое чувство, будто он держит собственного малыша; потом в памяти всплыло, как много лет назад, в те невозвратные безгрешные дни, Салли и Руфь обменивались платьями, сшитыми на период беременности, пользуясь тем, что она у них не совпадала, и он, вернувшись домой, вдруг обнаруживал Руфь то в рыжем крапчатом шерстяном платье, то в широкой юбке цвета зеленого леса, в которых глаз его привык видеть Салли, а ведь он — смутно, бессловесно — уже любил ее.

Ключ хранился в доме на сто ярдов дальше. Джерри и Теодора ждали, когда вернется Салли, и девочка так далеко отстранилась от этого чужого дяди, державшего ее, что у него заныли плечи от напряжения и он опустил ее на ножки. Она вперевалку направилась к недавно разбитой лужайке, — на траве появились крошечные следы, сначала оставленные случайно, потом нарочно. Он хотел побранить ее, но это было бы предательством по отношению к детям, которых он призван воспитывать, и слова осуждения так и не были произнесены. Салли подошла к ним своей широкой крестьянской походкой, слегка запыхавшись от подъема, и впустила их в дом. В доме было холодно — холоднее, чем на улице.

— У него электрическое отопление,— сказала она.

— Оно не включено.

— Просто поставлено на слабый накал.

Балки красного дерева и сосновые доски, просмоленные до оранжевого блеска, не сочетались со стеклом и каменными плитами; внутренность дома была таинственна, как внутренность палатки. Между большими, чуть скошенными окнами строгая прямолинейная мебель прятала острые углы под восточными подушками. Цветные шерстяные коврики пытались приглушить холод каменного пола. Ветви сосен за окном, их тени и отражения наполняли комнату призраками каких-то зверей, а перекладины высоких датских стульев казались насестами или шестницами.

— Прелестный дом, — сказал Джерри, а сам подумал, что жить бы он здесь не мог. Это был дом человека, изгнавшего из сознания все, кроме себя, своих потребностей, своего тела, своей гордыни.

— Кухня, — объявила Салли, невозмутимо продолжая обход дома, словно агент по продаже недвижимости, не желающий отступаться, хоть и ясно, что дело не выгорит. — Маленькая, — сказала она, — но ужасно удобная для работы. Типично мужская кухня.

— Он живет один?

— У него бывают гости.

— Он что же, из выродков?

— Иногда с ним это бывает. Он старый человек, Джерри; философ. Видишь, сколько тут полок? Хватит места и для наших книг.

— Но я же не буду здесь с тобой жить, верно?

— Ты мог бы приезжать ко мне. Я думаю, ты даже д о л ж е н приезжать, чтобы дети к тебе привыкли. Это вызовет у тебя новые угрызения совести?

— Угрызения совести? А разве они у меня есть?

— Пожалуйста, постарайся не грустить. Пошли. Тут есть кое-что любопытное — я хочу тебе показать. — Она повела его вверх по лестнице в виде спирали из натертых досок; затем — через верхний холл. Сквозь раскрытые двери из необработанной сосны он увидел тиковые кровати без белья, с матрацами из пенопласта.— Мальчикам придется здесь жить вдвоем,— заметила Салли. В глубине верхнего холла была ванная, оборудованная с римской роскошью. Рядом с дверью стояла лестница — Салли полезла по ней. Ее бедра, обтянутые белыми брюками, проплыли вверх мимо него, точно воздушные шары.— Иди-ка, взгляни,— крикнула она вниз.

Салли стояла в восьмиугольной комнате; южные стены ее были сплошные, без окон, а в остальные стороны открывался вид на верхушки сосен и на северное небо, весь свет с которого забирали окна в скошенных свинцовых переплетах,— вот так какой-нибудь человек, подумал Джерри, запрокидывает чашу и пьет, а все прочие стоят рядом, изнывая от жажды. За неподвижными оконными переплетами быстро

мчались облака. Под окнами стоял большой мольберт, пустой и новый: остатки соскобленной краски в желобке указывали на то, что им пользовались не больше одного сезона. Отсутствующий художник отличался аккуратностью, он явно любил, чтобы рабочее место было хорошо оборудовано: стеклянные полочки, чертежная доска из матового плексигласа, лампы на шарнирах немецкого или шведского производства. Джерри представил себе картины этого художника — абстрактные, с изобилием воздуха на полотне, остроугольные, по новейшей моде. Джерри еще в детстве надумал пользоваться чертежной доской; карандаш его то и дело прорывал бумагу, потому что они с приятелем приспособили эту доску еще и для метания дротиков, а также как верстак, и от гвоздей, которые они на ней распрямляли, оставались дырки.

— Тебе это противно, да? — спросила Салли.

— Нет, что ты. Я восхищен. Мальчишкой я мечтал о такой мастерской.

Салли подождала, не добавит ли он чего-нибудь, затем сказала: — Ну, для нас это слишком дорого. Он хочет двести двадцать в месяц, и счет за отопление будет ужас какой.

— Не знаю, — признался он. — Это... это, пожалуй, слишком хорошо для нас. Пока что.

Он с тревогой впился в нее взглядом, проверяя, поняла ли она его. Она быстро закивала — д а, д а, — точно лишенный разума автомат.

— Пора домой, — сказала она. — Питер, наверно, уже вернулся из детского сада, и мне надо готовить ленч. Хочешь поесть с нами?

— Конечно,—сказал Джерри.— Мы... я вызвал женщину посидеть с детьми.

Оказалось, что Питер еще не вернулся. По вторникам эту группу детей из школы и в школу возила Руфь. Все словно происходило в другом временном измерении по сравнению с тем, когда Руфь в своем мягком черном платье вышла на глазах у Джерри из комнаты и исчезла, улыбаясь и смешно твердя про себя: «Ключи от машины, ключи от машины». А Салли, ставя четыре прибора на тяжелый орехового дерева кухонный стол, тем временем говорила: — Я сегодня утром спросила мальчиков, хотят ли они, чтобы мистер Кочант жил с нами, и они подумали немного, а потом Бобби сказал: «Ч а р л и Конант?» Они очень любят Чарли, все его любят.

— За исключением бедняжки Джоффри.

— Это потому, что ты недостаточно их д и с ц и п л и н и р у е ш ь, Джерри. Бобби тоже пытается подкусывать Питера, но я не позволяю. Я этого не терплю и говорю ему — почему. Мне кажется, очень важно всегда объяснять детям п о ч е м у.

— А как мне сказать своим, почему я ухожу от них?

Она отнеслась к этому вопросу серьезно: — Просто скажи им, что вы с мамой хоть и очень любите друг друга, но считаете, что будете куда счастливее, если разъедетесь. Что ты их очень любишь, и будешь часто видеться с ними, и постараешься обеспечить их всем что в твоих силах.

— Обеспечить. Это для тебя — главное слово, да?

Она подняла на него потемневшие глаза: — Разве?

— Я вовсе не хотел сказать гадость. У каждого должно быть свое главное слово. У меня, например, — вера. А может быть, страх? У Руфи, как ни странно, — свобода. Когда она сегодня утром уезжала, она казалась такой счастливой. Она словно бы разводилась со всем, что окружает ее.

— Ты устроил ей превеселенькую жизнь, — заметила Салли.

— Это же ради тебя

— Нет. Не думаю. Ты вел себя так, потому что тебе это нравилось. Ты ведь и мне устроил превеселенькую жизнь.

— Я не хотел.

Она улыбнулась — криво, потом широко. — Не огорчайся так, повелитель. Мы ведь этого ждали. — Она отделяла от стеблей листики салата-латука для сандвичей. Джерри обнаружил, что его раздражает эта ее расточительность: вовсе ни к чему отрезать сначала стебель. Готовя, она многое делала вот так — чуть бессердечно. На кухне у нее все сверкало, сияло, а у них на кухне было сумрачно и прохладно даже летом.

Салли протянула Теодоре кусочек хлеба с маслом и спросила: — А какое главное слово у Ричарда?

Джерри почувствовал облегчение оттого, что прозвучало имя Ричарда, что Ричард хотя бы таким путем снова вошел в дом. — У Ричарда? А у него есть главное слово? Вчера вечером я был поражен его чувством ответственности. Я хочу сказать, что он сразу все увидел в социальном контексте — юристы, школы для детей.

— Мне кажется, ты не слишком хорошо его знаешь, — заметила Салли.

— Как бы он поступил... а, неважно.

— Ну спрашивай же.

— Как бы он с тобой поступил, если бы я дал задний ход?

— Никак.

— Никак?

— Да, он ничего не стал бы делать, Джерри. Возможно, подулся бы и заставил меня поползать перед ним несколько недель, но ничего не стал бы делать — и вовсе не потому, что так уж любит семью. Просто развод стоит денег, а он не любит тратить деньги. Так что пусть это соображение не останавливает тебя.

— Не останавливает меня? Разве я смотрю в сторону?

— По-моему, да, — сказала Салли, выключая горелку под закипевшим супом.

Вернулся Питер; на этот раз группу развозила Дженет Хорнунг, и Джерри, хотя присутствие его и выдавала машина, стоявшая на дорожке, укрылся в кухне, пока Салли оживленно болтала с Дженет у двери, где все еще цвели астры. Питер ворвался в кухню, замер и с самым серьезным видом уставился на Джерри. Из троих детей Салли он был меньше всех похож на Ричарда. Это отнюдь не утешало Джерри: ведь Питер вполне мог родиться от их связи, и тогда он заслонил бы собою остальных, и на него одного излилась бы вся мера любви, которая сейчас рассеяна и поделена между троими детьми. Тонкое лицо Питера, даже на ушах и на носу покрытое прозрачным, заметным на солнце пушком, было мужским слепком с круто замешанной красоты Салли, и это-то как раз наводило на размышления. Джерри не хватало в этом лице тяжеловесности, одутловатости, жесткости, унаследованной от Ричарда другими детьми.

— Привет, Питер,— сказал Джерри.— Это всего лишь я. Как дела в школе?

Мальчик улыбнулся:— О'кей.

— Чему же ты научился?

— Ничему.

— А мама твоя говорит, что ты теперь умеешь сам застегивать пуговицы.

Питер кивнул, однако почему-то снова погрустнел и встревожился.— Я ботинки завязывать не умею.— Слова он произносил отчетливо, с неестественным нажимом — совсем как Салли, когда она разговаривала в Вашингтоне со служащими отеля или в аэропорту.

— Это трудная штука,— сказал Джерри.— Ботинки трудно завязывать. Но когда ты этому выучишься, придется тебе еще научиться завязывать галстук и бриться.

Малыш кивнул, завороженно и настороженно, быть может чувствуя, что этот не совсем незнакомый разговорчивый человек, так странно явившийся к ним среди бела дня без своих детей, и есть источник неблагополучия, которое пришло откуда-то и заполнило дом. Решив показать, что у него и в мыслях нет ничего дурного, Джерри опустился на кухонный стул. Из холла притопала Теодора — ротик у нее блестел от хлеба с маслом — и стала карабкаться на колени к Джерри. Не привыкнув распознавать ее желания по движениям, он не сразу ей помог; наконец, она неловко уселась, больно давя ему на колени: она была совсем худенькая — не то что Джоффри. Вернулась Салли, благополучно спровадив свою коллегу по материнским заботам, и тотчас поняла, что надо освобождать его от детей. Она усадила Теодору и Питера за стол (глубокая тень легла на его зернистую поверхность) и поставила перед ними молоко и куриный суп, а Джерри подала сандвич с вином в гостиной (к этому времени солнце уже снова вышло, и кафельные плитки в крышке кофейного столика своей яркостью резали глаза). Вино в двух бокалах на тонких ножках было не вчерашнее, а сухое бордо, такое светлое, что отливало зеленью, словно в нем жил призрак виноградного листа. Сандвич — салями с салатом — был на вкус как мольба: зеленая, перченая смесь сожалений и обещаний. Есть Джерри не хотелось, но он принялся старательно жевать.

Он сидел в грязном кожаном кресле Ричарда, оставив для Салли весь белый диван, но она не села и не стала есть, *а* бродила вдоль окон, держа в руке бокал, ее ноги в белых брюках бесшумно отмеряли длинные шаги, волосы чуть не летели сзади.

— Как все славно получается,— сказал он.

— Зачем ты пугаешь меня?— спросила она.— Почему не взять и не сказать напрямик?

— Сказать — что?

— Почему ты не спросишь меня, зачем я все ему выболтала. Почему не говоришь, что я толкала тебя на это.

— Ты имела право меня подталкивать — чуть-чуть. Ты заслужила это право. Вот я не имел права, никакого права хотеть тебя — я мог любить тебя, но я не должен был тебя хотеть. Нехорошо стремиться к обладанию человеком, как, например... красивой вещью. Или роскошным домом, или прекрасным участком земли.

— Наверное,— рассеянно произнесла она, словно мысли ее были заняты детьми на кухне или самолетом, гудевшим высоко в небе

— На меня то и дело откуда-то из глубины накатывает странный мрак,— он почувствовал, что обязан ей объяснить.— и лишает вкуса даже вино.

Она стремительно шагнула к нему — казалось, вот-вот взорвется; схватила в охапку волосы, свисавшие вдоль лица, оттянула назад и задержала на затылке. Потом посмотрела вниз на него и пылко, с осуждением спросила:— Неужели ты никогда не избавишься от своей депрессии?

Он поднял на нее глаза, представил себе, что лежит на смертном одре, и спросил себя: «Именно это лицо хочу я видеть?»

Уже в самом вопросе содержался ответ: лицо Салли давило на его глаза как щит, он не видел в этом лице ни грана сочувствия, никакой помощи в предстоящем

переходе в мир иной,— лишь эгоистический страх, страх такой сильный, что ее редкие бледные веснушки словно взбугрились на коже, натянутой собранными на затылке волосами.

Не вставая, он неловко обнял ее — тело ее не хотело сгибаться, рука не желала отпускать волосы. Он закрыл глаза, и темнота под веками стала багровой и теплой, она ширилась, растекалась, охватывая их обоих, и он вдруг увидел себя и ее с большой высоты: они стояли на плоту, крепко вцепившись друг в друга, посреди безбрежного кроваво-красного океана. Самолет прогрохотал в небе и улетел.

Вошли насытившиеся дети. Джерри быстро прошептал:— Я струсил.

Салли выпрямилась, посмотрела вниз, разжала кулак, и волосы, падая, медленно легли ей на спину, точно растрепанный канат.

— Давай прокатимся,— сказала она.— Очень уж сегодня хороший день — жалко его терять.

Он неуклюже поднялся — с ненужной благодарностью инвалида.

— Да,— согласился он,— давай. Может быть, выйдя из этого дома, я вновь обрету чувство перспективы.

Я люблю этот дом.

Любишь мой дом — люби меня.

Твой дом — это, собственно, ты. Тебе он дорог — вот что говорит твой дом. Тебе дороги многие мелочи.

У меня пошлый ум.

Нет: ты — как растение, у которого короткий период роста, и поэтому оно выпускает множество крошечных корней.

Это звучит трагически, Джерри.

Я вовсе не хотел, чтобы это звучало трагически. У каждого из нас свой период роста.

Облака, которые, по мнению Джерри, должны были принести грозу, начали, наоборот, таять, рассеиваться; однако, хотя был всего час дня, казалось, что летний день подходит к концу. Они поехали вчетвером не на Гринвудский пляж, где их обоих — Джерри и Салли — могли узнать, а на другой, несколькими милями дальше,— песчаную дугу, зажатую между двумя нагромождениями больших полосатых камней. Несколько парусников пестрели на поверхности залива, словно налипшие листья. Салли и Джерри отмахали по пляжу полмили до дальних скал и уже шли назад, как вдруг он воскликнул:— Господи! Красивее этого места я ничего не видел!— И волны, и белые гребешки на них, и желтые полосатые камни — все казалось ему озаренным каким-то божественным сиянием, а объяснялось это тем, что, шагая по пляжу, они приняли решение не вступать в брак. Или, вернее, Джерри дал ей понять, что они не поженятся.

Салли несколько раз молча быстро кивнула, потом вдруг резко вскинула голову, рассмеялась и заметила:— Ну, скажу я тебе, Джерри, ты держался до последней минуты!— На свежем воздухе в лице ее прибавилось красок.

— Я сам этого до сих пор не знал, честное слово, не знал,— сказал он. И добавил:— Я боялся потерять то единственное, что имеет значение.

— Куда все исчезло, Джерри?

— Да все по-прежнему тут. Глубоко запрятано. Но тут.— И, обиженный ее молчанием, добавил:— Почему ты не борешься?

Она покачала головой, глядя вниз, на свои босые ноги, шагавшие по мокрому ребристому песку вдоль извилистой линии высушенных солнцем водорослей, и сказала:— Нет, Джерри, я не буду бороться. Не мне надо бороться. Бороться надо тебе.

Теодора все больше и больше отставала и теперь в отчаянии плюхнулась на мокрый песок. Дойдя до скал, взрослые повернули назад, и Джерри нес девочку до самой машины. Он с ужасом обнаружил, что тела их приноравливаются друг к другу и малышка с возрастающим доверием льнет к нему. Автомобилей на стоянке почти не было — совсем как в мае, и высокие дюны вновь обрели свою необжитую девственность. Когда они залезли в машину, Салли сказала:— Поблагодарите милого дядю, дети, за то, что он свозил вас на пляж.

— Но мы так мало там были,— заныл Питер.

— Я свожу вас завтра еще раз,— сказала она.

Джерри отвез их домой и подождал внизу в холле, пока Салли сходила наверх и принесла из своего шкафа, из шляпной коробки, задвинутой подальше на полку, большой конверт с письмами, дружескими забавными рисуночками, сквернями стишками,— все это накопилось, как выбрасываемые морем водоросли, за долгие месяцы их связи и тщательно хранилось ею.

— По-моему, здесь — все,— сказала она.— Я всегда так боялась; вдруг Ричард их найдет.

— Если он все-таки решит довести развод до конца...

— Нет. Даже и не думай. Этого не произойдет.

— Эй...

— Не плачь. Мы же знали, что все кончится. Я, во всяком случае, знала.

— Извини, я просто не могу с тобой расстаться, не могу подойти к этой последней минуте. Теперь, когда ты уже не моя, вся былая любовь вернулась, нахлынула. Ты выглядишь — обалдеть можно.

— Пожалуйста, уходи. Ты же, по-моему, принял решение. Будь добрым с Руфью, не смей ее наказывать за то, что ты принял такое решение.

— А ты найдешь себе кого-нибудь другого?

— Нет.— Она произнесла это очень быстро. Она дотронулась до его щеки кончиками пальцев.— Никто другой не сможет дать мне...— Она помедлила, подыскивая слова, и, найдя их, улыбнулась: — Столько радости.

— Я никогда в жизни не чувствовал, что прав,— как бы это выразить?— только когда был с тобой. Я никогда не чувствовал себя дома — только когда был с тобой.

На лице Салли возникло выражение, какое появлялось у нее, когда люди, по ее мнению, устраивали «мелодраму». Она пожала плечами и сказала:— Я рада, что это был ты.

— Позвонишь мне, если я тебе понадоблюсь? Поговоришь со мной?

— Не думаю, нет. Это должен быть конец — раз и навсегда. Иначе люди решат, что мы совсем рехнулись. Спасибо тебе, Джерри.

Он хотел поцеловать ее, но она не далась.

В холле она повернулась к нему спиной прежде, чем он закрыл за собою дверь.

На дорожке он встретил Ричарда. Ричард взглянул на его лицо, на большой конверт у него в руке и сказал:— Храбрости не хватило, а, Джерри?

Джерри решил, что предстоит долгий разговор, и крепче сжал толстый конверт.

— Одно дело,— сказал он,— быть храбрым, когда речь идет о тебе самом, и совсем другое, когда речь идет о твоих детях.

— Угу, конечно, приятель-Джерри, только об этом следовало подумать немного раньше. Но я заставлю тебя заплатить за все, дружище. Меня словно обухом ударило, а в нашем обществе принято расплачиваться за причиненную боль.

— Что ты с н е й сделаешь?

Ричард закурил сигарету и впился взглядом в невидимую шахматную доску, на которой отважно рокировался его противник.

— Не знаю, Джерри,— сказал он, выпуская из угла рта дым и прикрыв от него один глаз — то ли слепой, то ли зрячий.— Я не спал, у меня не очень ясная голова.

— Она — твоя жена,— сказал Джерри.— Я провел с ней не один час, и все это время она считала себя твоей женой. И это твои дети, и это твой дом.

— Премного благодарен,— сказал Ричард.— Mucho gracias, señor [1].— Он бросил едва начатую сигарету, раздавил ее в траве и вошел в свой дом, хлопнув дверью. Джерри стоял, застыв как вор, и прислушивался. Дом молчал, воссоединение происходило молча, ни звука — только Цезарь царапал когтями гравий на дорожке, вернувшись после какой-то неспешной охоты в роще к своему привычному укрытию в гараже.

Опустив верх своего «меркурия», Джерри ехал домой, свободный. В листве деревьев над его мчавшейся машиной было много багрянца и золота — рыжие пятна выскакивали из зелени и летели назад на фоне неба. Грозная Природа времен его детства, казалось, возродилась; в воздухе был привкус унижения и позора, но таков же, как ни странно, и вкус вечной жизни. Он обнаружил Джоффри и маленького Кантинелли на заднем дворе — они пытались играть в бейсбол погнутой пластмассовой битой и мягким мячом, и прежде, чем войти в дом, Джерри несколько раз бросил мяч сыну; эти мальчики — разновидности отринутого им «я»— были его ангелами-хранителями. Как хотелось ему, чтобы этот мирный миг длился вечно: стоять бы вот так на твердой осенней земле, видеть рядом маленькие грязные личики, смотрящие на тебя без осуждения, и читать на лице сынишки любовь и зависимость, а на лице соседского мальчика (что было еще убедительнее)— просто уважение к старшему, взрослому человеку. Но он не мог задерживаться — надо скорей бежать отсюда, скорее уединиться: у него работа. Он так и сказал миссис О Она кивнула и извлекла из глубин своей грудной клетки воркующий звук, означавший покорность, надежду, что Руфь скоро вернется, и заверение в том, что с детьми все будет в порядке. Джерри поднялся наверх и надел пиджак к тем брюкам, которые с утра были на нем. В кухне он цветным карандашом написал на оборотной стороне счета за молоко: ВСЕ КОНЧЕНО. БУДЬ МОЕЙ. Поставил вместо подписи: ХХ. И помчался в Нью-Йорк, тогда как послеполуденный поток машин мчался ему навстречу.

Ох, Джерри, никакой спешки нет, пусть пройдет столько времени, сколько тебе нужно, потому что я знаю — всякий раз, как вижу тебя, знаю, что это ты, именно ты — есть и будешь. И не так уж важно, что́ ты решишь и решишь ли вообще, не в нас дело — дело в нашей любви, в том, что мы чувствуем друг к другу, это мы должны оберегать, нельзя допустить, чтобы мир у нас это отнял.

[1] Премного благодарен, сеньор *(испан. ред.)*.

Я хочу дотянуться до тебя.

Приходи, если можешь. Я здесь. Сама любовь к тебе делает меня счастливой, даже когда ты не приходишь ко мне.

Ты так говоришь, а ведь это не всегда будет правдой.

Почему ты никогда не веришь мне?

На работе ему сказали, что в его отсутствие предложенные им идеи и наброски мультипликаций были отклонены конференцией по собачьему питанию. Он сел за свой стол, в то время как вестибюль уже полнился щебетом и стуком каблучков уходивших секретарш, и принялся рисовать собак, вышагивающих на двух ногах и беседующих друг с другом. На его стальном письменном столе зазвонил телефон.

— Милый, что случилось?

— Не знаю, — сказал он Руфи. — Не случилось того, что должно было случиться. Согласна взять меня обратно? Или тебе бы не хотелось? Тогда я могу еще какое-то время пожить в коттедже.

— Конечно, согласна. А ты хочешь снова быть со мной?

— Видимо. Что-то не смог я сфокусироваться на бедняжке Салли: у меня засело в печенках, как ты надела свое платье для коктейля и вышла из моей жизни.

— Она была расстроена?

— Нет, она была невероятно спокойна и покорна. У меня такое чувство, что она сама этого хотела. У нее засел в печенках Ричард. И вдруг оказалось, что мы оба пусты.

— А Ричард был там?

— Приходил и уходил. Я видел его в самом конце, и он сказал мне, что у меня не хватило храбрости.

Руфь помолчала, потом сказала: — Как это подло.

Он спросил: — А как адвокат?

— О, прелестный человек. Еврей, примерно возраста моего отца, очень любезный и совершенно прелестный. Мы все обсудили в общих чертах: он считает, что подавать надо не в Алабаме, но после разговора с Ричардом думает, что дело до этого не дойдет.

— Значит, не дойдет. — Как страшно, как унизительно знать, что кто-то предвидел твой поступок.

Жена попыталась отвлечь его от этих мыслей: — Ты бы видел, как я ехала в Кэннонпорт — еле плелась, это была просто мука. Мне гудели, меня обгоняли, а я думала: «У детей осталась теперь только я» — и ехала медленно, как никогда. Просто удивительно, что сзади на меня никто не налетел.

— Можешь написать брошюру: «Как я стала ездить осторожно», автор — Руфь Конант.

— Почему ты в Нью-Йорке?

— Сам не знаю. Наверно потому, что не могу в довершение всего потерять еще и работу. Мне здесь спокойнее.

— Ждешь, что она тебе позвонит?

— Нет, ей-богу, этого я как раз не жду. Потерпишь еще часа два?

— О, конечно.

— Накорми детей, я вернусь к ужину, часов около восьми. Я люблю тебя.

— Ну и ну. Все так неожиданно. Я теперь уж и не знаю, на каком я свете.

Он рассмеялся и сказал: — Почему женщины такие смешные? Она тоже все время острила.

— Джерри?

— Да?

— Ты только не вздумай чего-чибудь выкинуть.

Он снова рассмеялся: — Например, взрезать себе вены? Вам всем тогда бы крупно повезло.

— Не говори глупостей.

— Ты такая милая, — сказал ей Джерри, — что выждала лето.

— Я поверить не могу, — сказала Руфь, — что все позади. Я уже столько раз думала, что все позади, а оно все продолжалось и продолжалось.

— Теперь кончилось. Пожалуйста, успокойся и будь снова сама собой.

— А именно? Какой?

— Ты знаешь.

Она повесила трубку, но он обнаружил, что не может рисовать. Рука у него дрожала; за окном множились огни по мере того как город погружался в вечер, словно огромный, мерцающий, тихо тонущий корабль. Шел уже седьмой час — делать ему здесь больше было нечего. Он взял блокнот для рисования и направился на автомобильную стоянку возле колоссального котлована; по дороге в Гринвуд, сквозь грозящее гибелью переплетение сигналов и фар, в его сознание снова просочился тот страшный разговор на пляже. Вся розовая от соленого бриза — и подбородок, и щеки, и веки, — Салли спросила, еще не вполне веря, что он отступается от нее:

Неужели мы не сумеем наладить жизнь?

Никогда.

Да ты хоть понимаешь, что ты мне говоришь?

Я говорю, что нам никогда не будет хорошо. И что потом уже ни одному из нас не будет хорошо — ни мне, ни Руфи, ни тебе, ни Ричарду.

Все дело в моих детях? Это из-за того, что ты не выносишь моих детей?

Они мне нравятся. Единственное, чем они меня не устраивают,— они напоминают мне о моих.

Не надо было тебе удерживать меня, когда я хотела уйти и когда у меня еще были для этого силы.

Я любил тебя. Все еще люблю. Если я тебе нужен, я в твоем распоряжении. Я тут — упакованный и доставленный стараниями Ричарда Матиаса.

Ты мне не нужен такой. Зачем ты мне — несчастливый.

О, я снова буду счастливым. Как только попаду в сказочный домик художника.

Нет. Все прошло. Я это чувствую.

Вот как? А я ничего не чувствую.

Питер, перестань приставать к мистеру Конанту. Он не хочет играть.

Он ведь только показывает мне ракушку. Она, Питер, чистенькая. Есть у тебя кармашек для сокровищ?

Не подождем Теодору?

Она ходит совсем как ты, верно?

Никогда этого не замечала.

Хочешь перебраться через камни, посмотреть, что там?

Тебе же охота вернуться.

Я могу и подождать.

Джерри...

Скажи.

Прости, что я такая дура, прости, что вчера не могла говорить как надо, а сегодня вот и поступить как надо не могу...

Ты держалась отлично. Ты — это ты.

Нет, я знаю, я сегодня плохо к тебе относилась, но не всегда будет так. Я же знаю, что нам вместе хорошо.

Я это тоже знаю. Дело не в тебе, Салли. Дело в обстоятельствах. Мы не можем устранить их с дороги. Ты не можешь устранить их для меня. И я не могу устранить их для тебя. Я бы очень хотел, но не могу.

О'кей, повелитель. Не можешь, так не можешь.

А ты уверена, что не могу?

Это не я, а ты уверен

Господи. Красивее этого места я ничего не видел!

Его фары выхватили указатель съезда на Гринвуд. Он вспомнил, что на заднем сиденье лежит объемистый конверт, который дала ему Салли, — труп, оставшийся от их связи. Он свернул на боковую дорогу, остановил «меркурий» у обочины и ключом открыл багажник: в глубине, рядом с жирным гаечным ключом, торчащим куском отставшего пластика и мотком каната — памятью о бойскаутских соревнованиях на воде, в которых участвовал Чарли, — было укромное место, которое пока вполне могло послужить тайником. Конверт был так туго набит свидетельствами взаимной любви, что когда Джерри стал его класть в укрытие, зажимчик сорвался и содержимое рассыпалось, обнаружив, словно края отбитого стекла, зазубрины букв на кусочках бумаги, которая уже начала желтеть. Несколько листков упало на дорогу; остальное разлетелось по резиновому дну багажника. Фары проносившихся мимо машин то и дело высвечивали его; он боялся, что кто-нибудь из знакомых остановится и увидит, как он стоит на коленях и вытаскивает любовное послание из-под колеса. Трясущимися руками он стал торопливо засовывать письма обратно в конверт; они словно разбухли и не желали влезать — приходилось комкать. Между двумя письмами, написанными его почерком, лежало несколько прядок волос. Он попытался рассмотреть их при красном свете хвостовых огней, но не мог понять, какого они цвета. Только это были явно не ее волосы — слишком короткие. И вспомнил, что иной раз у себя дома она его причесывала после всего. Значит, она сохранила его волосы.

У тебя такие мягкие волосы, Джерри.

Я их мыл вчера вечером. Специально для тебя.

Для меня?

Вчера на пляже я набрал полную голову песка и подумал: завтра я, возможно, увижу Салли, и мы снова будем вместе, и я вовсе не хочу, чтоб песок попал ей в глаза.

Знаешь, как ни смешно, но я знала, что так ты и скажешь: я поняла это по твоим губам еще прежде, чем ты раскрыл рот.

Он попытался было положить волосы на место, но они выскользнули из его пальцев и упали на скопившийся у дороги мусор. Он резко захлопнул крышку ба-

гажника. Он опаздывает, он куда-то опаздывает — неизвестно куда. Его преследуют. Дорога, которой он вновь завладел, побежала вниз, через Гринвуд, с его улицами и деревьями, — этот лабиринт Джерри знал лучше своего преследователя. Его дом, его окна, его крыльцо, голоса его детей возникли, как из сна спящего бога.

Судя по всему, во время его отсутствия произошла драма. Руфь встретила его восклицанием: — Где ты был? Мы все обыскались тебя.

— Все?

— Да. Они были здесь оба. С этой их девчушкой — как там ее зовут? И все уехали совсем недавно — я только что подала детям еду. Входи и давай поговорим. — Он молча подчинился, ни о чем не спрашивая. Руфь провела его в кабинет и плотно закрыла за собой дверь. — Она приехала первая. Мол, приехала, чтобы растолковать мне, за каким человеком я замужем, но мне совершенно ясно, что искала она тебя. Она все озиралась и прислушивалась к звукам наверху. Я сказала, что не видела тебя — просто получила записку и разговаривала с тобой по твоему рабочему телефону. Она не могла поверить, что ты уехал в Нью-Йорк. Она сказала, что вы встречались с ней — когда же это было? — в субботу вечером, то есть накануне взрыва. Это правда?

— Да.

— Ну, это уж последняя капля.

— Солнышко, о какой последней капле может теперь идти речь. Ну, какие еще гадости она говорила?

— О, я не знаю. Все говорила, говорила. Она была вне себя. Как актриса, которая вдруг поняла, что она уже не примадонна. Сказала, что ты обошелся с нами обеими ужасно и что, если у меня есть гордость, я не должна тебя принимать. Сказала, что ты — дьявол, а ей гореть в вечном огне за то, как она поступила с Ричардом. Так и сказала. И все не отпускала от себя Теодору — наконец-то я вспомнила ее имя, — держала на руках бедную растерянную малышку и даже заставила меня н а к о р м и т ь ее. «Руфи, твой муж — просто мерзавец, у тебя нет случайно печенья для Тео, он встречался со мной в субботу вечером, кстати, не найдется у тебя стаканчика молока?»

Джерри расхохотался; ему стало легче от того, что Салли так по-идиотски себя вела. Легче стало и оттого, что она еще жива: ведь ее жизнь — это его жизнь, так было и будет.

— А когда же в эту картину вписался Ричард?

— Она пробыла у меня с полчаса, а может, и больше, когда он приехал ее забрать. Именно забрать, точнее слова не придумаешь. Мальчики сидели в машине. Вид у него был измученный.

— А как он был с ней?

— Можно сказать, нежен. Мягок. Спокоен. Сказал, что у нее истерика. Когда он вошел в дверь, она завопила, хотела упасть перед ним на колени. Кажется, даже говорила, чтоб он избил ее. Все это было так дико.

— Бедная моя голубка.

— Послушай. Если мы будем жить вместе, чтобы таких штук больше не было. Конечно с бедной голубкой.

— Согласен. Что еще? Он искал меня?

— Он говорит, что не желает тебя видеть, что ему противен самый твой вид, но он хочет сказать тебе кое-что по телефону.

— А он очень зол?

— Вовсе нет. Он очень философично настроен. Он сказал, что так и знал, что ты пойдешь на попятную, но думал, ты встретишься с ней еще несколько раз.

— Он просто не в состоянии понять, до какой степени я идеалист!

— Он излагал философию связи. Сказал, что женщина должна думать о том, чтобы не забеременеть, а мужчина — о том, чтобы прекратить связь, когда это начинает слишком затягивать женщину; надо сказать, мне было несколько странно слышать это от него.

— Почему странно? Это вполне в его стиле.

— Не знаю, забудь, что я сказала. Когда я заметила, что это лето д л я т е б я было сущим адом, он сказал: «Не будь дурой. Он такой себе устроил праздник!»

— А потом он увез ее домой.

— Через некоторое время. Он еще выпил. Она была в ярости оттого, что он вообще со мной разговаривал. Она даже отпустила несколько шуточек насчет того, что я, мол, хочу заграбастать всех мужчин. Честное слово, она с у м а с ш е д ш а я.

— Что ж, может быть, только сумасшедшие женщины и умеют как следует любить.

— Я попросила бы не отпускать больше таких замечаний. Я ее даже пожалела. Возможно, я все еще люблю тебя, Джерри, сама не знаю, но уважения к тебе я сейчас особого не испытываю.

— А ты бы больше меня уважала, если бы я довел дело до конца и бросил тебя и детей?

— В известном смысле — да. Ведь волновало-то тебя не то, что станет с детьми.

— Нет, именно это.

— Тебя волновало, что станет с твоей бессмертной душой, или еще какая-то чушь в этом роде.

— Я вовсе не говорю, что она — бессмертная, я говорю, что она должна быть бессмертной

— Так или иначе, в одном я уверена.

— В чем же?

— С ней у тебя все кончено. Она несла такое, что даже Ричард стал тебя защищать.

Руфь внимательно следила, как он это воспримет. Он сказал: — Отлично.

Джерри уложил детей спать. Укладывая Джоффри, он всегда читал одну и ту же молитву, которую мальчик бормотал следом за ним: — Боже милостивый, благодарю тебя за прошедший день: за еду, которую мы ели, за одежду, которую носили, за удовольствия, которые получали. Благослови маму, папу, Джоанну и Чарли...

— И Джоффри, — неизменно вставлял мальчик, глядя на себя со стороны, как на члена семьи.

— ...и Джоффри, и дедушку с бабушкой, и наших учителей, и всех наших друзей. Аминь.

— Аминь.

Чарли, самый живой из детей, спал крепко и так быстро засыпал, что Джерри едва успевал взъерошить ему волосы и поцеловать в ухо. Ни о каких молитвах не могло быть и речи. Когда же прекратился этот ритуал? Возможно, мальчик потому так быстро и засыпал, чтоб не молиться. Что ж, пускай, считал Джерри. Ему нравилось, что у мальчика есть гордость — ведь он самый пытливый из троих и потому должен быть самым храбрым.

— Спокойной ночи,— сказал Джерри темной комнате и вышел, не получив ответа.

Джоанна, уже не показывавшаяся отцу раздетой, устроилась в постели с «Пингвинами мистера Поппера».

— Папа? — окликнула она его, когда он приостановился на пороге ее комнаты.

— Да, Джоджо?

— Мистер и миссис Матиас разводятся?

— Откуда ты знаешь это слово — «разводятся»?

— Миссис О. сказала. Ее дочка развелась с одним военным, потому что он слишком много играл в карты.

— А с чего ты взяла, что Матиасы хотят разводиться?

— Она была здесь и ужас как злилась.

— Не думаю, чтобы она злилась на мистера Матиаса.

— А на кого же тогда? На эту ее плаксу?

— Нет. Скорей на себя. А тебе нравится миссис Матиас?

— Вроде да.

— Почему только вроде?

Джоанна подумала: — Она никогда ни на кого не обращает внимания.

Джерри рассмеялся, быть может, слишком тепло, ибо Джоанна спросила:

— Она — твоя подружка?

— Что за глупый вопрос. У взрослых не бывает подружек. У взрослых бывают мужья и жены и маленькие дети.

— А у мамы есть дружок.

— Кто же это?

— Мистер Матиас.

Джерри расхохотался от абсурдности такого утверждения.

— Они просто любят иногда поболтать,— сказал он девочке,— но она считает его кретином.

Девочка почтительно посмотрела на него: — О'кей.

— А тебе спать не охота?

— Вроде. В этой книжке слишком много слов, которых я не знаю. То есть я хочу сказать, в р о д е б ы я их знаю, только смысл не могу понять.

— Таких книг много. Так что не утомляй глаза. Доктор Олбени говорит, вообще нельзя читать в постели.

— Он кретин.

— Глаза — это очень важно для человека. Спи крепко, детка. Дай я тебя поцелую. — И, обняв дочь, он почувствовал, что голова у нее стала почти как у взрослой, а очертания щеки и голого плеча, когда она уткнулась в подушку,— женские. Она выросла с тех пор, как он последний раз по-настоящему видел ее.

Комнаты первого этажа, пустые, без детей, прошитые светом фар проходящих машин и тишиной, казались огромными. Руфь поставила на кухонный стол два прибора. Он нерешительно вошел в кухню; когда он был ребенком и мама болела, он так же нерешительно входил к ней в комнату, боясь, как бы она, словно героиня волшебной сказки, не превратилась за это время в медведицу, или в ведьму, или в мертвеца. Руфь протянула ему рюмочку вермута. Вид у нее был выжидающий, а он

прохаживался по кухне, потягивая вермут, ел телячью отбивную с салатом, которую она ему подала, и всячески старался заполнить тишину — арену своего поражения, пытаясь объясниться. Он говорил:

— Я не понимаю, что произошло. Став женой, или как там это ни назови, она перестала быть м е ч т о й, и впервые я у в и д е л ее.

Он говорил:

— Я не хотел, чтобы она предоставляла выбор мне. Салли не должна была без конца предоставлять мне выбор: ведь я поехал к ней в то утро, уверенный, что все должно быть именно так, а потом поговорил с ней и обнаружил, что это в о в с е не обязательно. Все пути были еще до ужаса открыты. Она не так уж сильно хотела, чтобы я был с ней,— хотела не в такой мере, как т ы.

Или:

— В общем-то все дело в Ричарде. Я сидел там тогда вечером и, глядя на него, сказал себе: «А в е д ь о н н е т а к у ж и п л о х». У меня сложилось совсем неверное представление о нем по ее описаниям и жалобам; а ведь он был человечным; он старался. Я сказал себе: «Г о с п о д и б о ж е м о й, е с л и о н н е с м о г с д е л а т ь е е с ч а с т л и в о й, т о и я н е с м о г у».

Или:

— Она такая самонадеянная.

В его попытки объясниться — неуклюжие и надуманные, нелепые и неопределенные — вторгался голос Руфи, мягкий, но с какими-то жесткими нотками, и в этих ее поисках истины было что-то унитарианское, убежденное, даже разрушительное:

— Не понравилось мне, как они вместе навалились на тебя.

И:

— Если она так уж тебя любит, почему же ее не устраивает просто связь с тобой?

И:

— Они оба такие самонадеянные.

И периоды сдвоенного молчания, не казавшиеся тягостными от того, что оба они рывками — то продвигаясь вперед, то останавливаясь — одновременно начали рассматривать оказавшийся перед ними предмет, набор предметов, тайну из света, и цвета, и тени. В этой готовности жить на параллелях таилась их слабость и их сила.

Когда они сели пить кофе, а за окном такая же темная, как кофе, чернела ночь, зазвонил телефон. Джерри застыл в испуге, вынуждая Руфь подойти к аппарату; она сняла трубку в гостиной, послушала и сказала: — Он здесь.— И негромко позвала, повернувшись к кухне: — Джерри, это Ричард.

Он тяжело поднялся из-за стола и прошел сквозь полосы тени к телефону. Руфь слушала, кружа по комнате, включая лампы.

— Да, Ричард. — Иронично, устало, примирительно.

Голос у Ричарда словно ссохся, гулкость ушла: — Джерри, мы разговаривали сегодня не слишком долго, и я, возможно, чего-то не понял. Правильно ли я тебя понял, что если я разведусь с Салли, ты н е будешь с ней? Повторяю: н е будешь?

Старая вилка конем.

Джерри мог бы слабо заблеять, взывая к рассудку, хотя давно убедился, что на хамов это не производит впечатления, или возразить, что жизнь, в отличие от шахматной доски, — не всегда только черная или белая. Вместо этого он сказал:— Совершенно верно. Я не буду с ней.

Ричард помолчал, ожидая, что Джерри объяснит, но объяснений не последовало, и он сказал: — Я так и подумал, но, откровенно говоря, Джерри, просто не мог поверить. Не мог поверить, что ты такой черствый, хотя Салли уверяет меня, что ты — порядочный человек. Значит, ты не будешь с ней, что бы ни случилось?

По тому, с какой сценической четкостью Ричард произносил слова, Джерри догадался, что Салли, видимо, слушает по отводной трубке наверху. Он вздохнул:— Ты будешь с ней. Она твоя жена. А у меня есть своя.

— Не знаю, приятель-Джерри, просто не знаю После того, как она вела себя со мной, не знаю, останется ли она моей женой или нет.

— Это уж тебе решать. Как скажешь, так и будет.

Ричард сказал: — Я заставлю тебя заплатить за это, приятель-Джерри. Я заставлю тебя страдать — так, как ты заставил страдать нас. Ты потрясающий малый. Потрясающе жестокий.

Память Джерри метнулась назад — пляж, дюны, желтый купальный костюм, теплое вино, запах их тел, — и он спросил с искренним любопытством: — В самом деле?

Ричард бросил трубку.

Руфь спросила: — Что ему было надо?

— По-моему, он хотел устроить спектакль и показать Салли, какая я сволочь. Она все слышала по отводной трубке.

— Она что-нибудь сказала? Или ты слышал, как она дышала в трубку?

— Нет.

— Откуда же ты знаешь, что она была у телефона?

Джерри повернулся и рявкнул: — Потому что она — везде!

Руфь испуганно уставилась на него. Хотя она зажгла лампы на всех столиках у стен, середина большой комнаты тонула в темноте, а именно там Руфь и стояла.

Джерри пояснил:— Ричард был раздражен, потому что теперь ему надо принимать решение, а ему совсем неохота, как и мне: мужчины не любят принимать решения, они хотят, чтобы бог или женщины принимали решения за них.

— Некоторые мужчины,— сказала Руфь.

Она пошла на кухню, а Джерри подошел к окну. В темноте за холодным стеклом был Ричард — ветви вяза переплетались и гнили в лишенной бога стихии, которая и есть главная суть его врага. Весь мир был Ричардом. Я заставлю тебя заплатить за это, приятель-Джерри. Где-то выше на дороге с ревом включился мотор автомобиля; Джерри съежился, сознавая, что силуэтом выделяется на фоне окна. Визжа шинами, автомобиль промчался мимо — какие-то мальчишки, никого; выстрела не последовало. Джерри улыбнулся. Ты потрясающий малый. Потрясающе жестокий. До сих пор его никто еще не ненавидел. Не любили, не считались с ним, но никто не ненавидел; а это, оказывается, помогает чувствовать себя живым. Смотри-ка, Салли-О, верно, из Христа получилась хорошая ногтечистка? Глядя сквозь черное, мутно отсвечивающее стекло — стекло, похожее на холодную оболочку его разума,— Джерри порадовался, что нанес своему врагу-мраку неизлечимую рану. Кинжалом своей плоти он заставил умолкнуть насмешников. Христос был отомщен.

Вайоминг

Джерри и Салли сошли с самолета в Шайенне. Они с трудом спускались на негнущихся ногах по гулким стальным ступеням, и Джерри, вдохнув всей грудью воздух, понял, что он — дома: непередаваемый воздух Запада, казалось, навеки освободил его легкие от угрозы удушья. В порыве признательности он поспешно обернулся, чтобы проверить, ощутила ли и Салли эту благодать,— она спускалась за ним следом, держа обоих мальчиков за руки, тогда как он нес Теодору и выданный авиакомпанией большой пластиковый мешок, набитый игрушками и книжками. При виде Салли на душе снова — как всегда — стало радостно. На ней был полотняный костюм в тонкую полоску, с рукавами, доходившими до половины ее длинных, покрытых пушком рук, поперечные складки, образовавшиеся спереди на юбке от долгого сидения, подчеркивали красоту ее широких бедер. Она улыбнулась и сказала:— Здорово, верно?

— Небо,— сказал он.— Фантастическое небо.— Над ними, в светлой голубизне, припудренной и строгой, кипели, кипели грозовые тучи, снизу прозрачные, а выше — белые, такие исконно, девственно белые, что глаз невольно окружал их черной каймой, увеличивавшей их массу. По форме они были самые разные, но не тяжелые и не насыщенные дождем,— достаточно, казалось Джерри, малейшего дуновения, малейшей перемены в воздухе, и они рассеются.

На западе вздымались горы, фиолетовые, в меловых, а скорее — снеговых пятнах; в прозрачном воздухе далекие пики казались совсем близкими и в то же время необитаемыми, ненастоящими, как внезапно прыгающий на тебя пейзаж с укороченной перспективой, если смотреть на него в телескоп. В рыжеватых просторах, где-то на полпути к горам, бежала одинокая лошадь без всадника, а линия деревьев — скорее всего тополей — возвещала близость воды. Долина была устлана молодой серебристой аристократичной зеленью — должно быть, полынь, подумал Джерри. Созвездие камней вдали превратилось в отару овец. На переднем плане были озера, поле для гольфа, красный форт. А как раз под ними кричаще-черной страницей лежал макадам аэродрома, испещренный полосами и нефтяными пятнами, цифрами, стрелами и разноцветными крышками закопанных в землю резервуаров,— всеми этими знаками сложного языка, которым пользуется во всем мире раса близоруких гигантов. Став на твердую землю, Джерри поднял глаза и сказал:— Привет?

— Привет,— сказала Салли позади него, уже рядом с ним.— Чувствуешь себя совсем свободным?

— А мы свободны?

— От некоторых вещей.— Произнося это, она откинула назад волосы и широко шагнула вперед. Она устала. Бобби и Теодору тошнило, пока они летели над шахматной доской центральных штатов. Наверное, потому, что Бобби больше всех похож на отца, Джерри обнаружил, что подыгрывает ему,— то ли стремясь преодолеть инстинктивную неприязнь, то ли желая умиротворить мерзкую властность, которую он чувствовал в Ричарде. И сейчас он обратился к мальчику:— Как дела, шкипер?

— У меня горло болит,— сказал Бобби, утыкаясь лицом в бедро матери.

— Ты просто пить хочешь,— сказал ему Джерри.— Мы тебе сейчас купим кока-колы в аэропорту.

— А я хочу виноградной содовой,— заявил Бобби.

— А где ковбой?— спросил Питер. Хоть и совсем еще крошка, он словно бы вменил себе в обязанность быть буфером между братом и отчимом, отвлекая их от мертвой схватки, которую им вечно предстоит вести.

— Я видел уже двадцать ковбоев,— объявил Бобби, да так оно и было, потому что даже механики на аэродроме — и те носили десятигаллоновые шляпы.

В аэровокзале было такое множество ковбоев, что казалось — танцевальная труппа ждет самолет на Нью-Йорк: все в театрально узких джинсах от Леви, сапогах в гармошку, распахнутых жилетах, крученых шнурках на шее. Но нет, то были обычные люди, запрограммированные и подогнанные под костюм, который в свою очередь подогнан под местную природу. Взглядом, отточенным непогодой до жестокой скуки, бесцветными глазами, из которых небо вытянуло всю краску, ковбои изучали Салли, ее ситцевую красоту. Джерри легонько обнял ее за талию, демонстрируя свое право и отклоняя всякие подозрения: ему казалось, всем и каждому ясно, что все трое детей — не его. Салли вздрогнула от его прикосновения, повернулась с застывшим от испуга взглядом и резко сказала: — Я подержу Теодору, а ты сходи за чемоданами.

— Возьми-ка для Бобби кока-колы там, в автомате. Может, там есть и виноградная содовая.

— Если уж брать ему, надо брать всем троим. А он может попить и у фонтанчика. Это у него от рвоты раздражено горло.

— Я обещал мальчику кока-колу.

— Ты и з б а л у е ш ь его, Джерри.

Он подумал: а быть может, и в самом деле по какой-то непонятной причине он стремится перетянуть на свою сторону этого мальчика, оторвать его от матери, которая слишком с ним крута. Он почувствовал, что начинают возникать ситуации, над которыми ему и в голову не приходило задуматься; внезапно все, даже получение багажа — а ведь это был, несомненно, их багаж, — показалось ему необычайно сложным, хуже того — непорядочным, нечестным, вызывавшим клаустрофобию. Он явно переоценил себя. Собрать разбросанные вещи, вывести их всех из аэровокзала на улицу представлялось ему поистине невозможным.

Салли, уловив перемену в его настроении, спросила: — Рад, что ты здесь?

— Что с тобой — да.

— Я научу тебя ездить верхом. Ты здорово будешь выглядеть на лошади.

— Я сломаю себе шею.

— Смотри, вон наши чемоданы. Теодора, не смей. — Под грохот громкоговорителей и шарканье спешащих пассажиров девочка опустилась на пол и заплакала.— Твой новый папа решит, что ты очень несчастна.

— Я тоже хочу коку, — сказала она.

— Вот,— повернувшись к Салли, сказал Джерри.— Три монеты.

Когда багаж, наконец, был получен, и носильщику дали на чай, и схватили такси, дух приключения — повеление рисковать, завещанное нам священным писанием,— объединил их вновь. Бобби сел с шофером; Джерри, Салли и двое младших детишек разместились сзади. Машину — вместительный старый «понтиак» — вел индеец. Голос у него, когда он спросил, куда ехать, был низкий, и он тщательно произносил слова, словно выкапывал их из земли или мысленно переводил на английский с какого-то более древнего языка. Бобби, как зачарованный, уставился на блестящие черные волосы, пергаментную щеку и амулет из бусинок на зеркальце заднего обзора, и Джерри почувствовал облегчение оттого, что ему удалось на какое-то время умиротворить этого сложного ребенка — свою новую совесть. Дорога, которая сразу за аэропортом пошла по голым окраинам, где то и дело приходилось снижать скорость и останавливаться на перекрестках, вывела их на просторы долины, и к Джерри вернулось первое впечатление шири и благодати. Воскрешая познания, почерпнутые из путеводителей, он наугад определял буйволову траву, метиолы и колокольчики; между пучками полыни были гладкие проплешины, где ничто не желало расти. Чтобы не наслаждаться таким счастьем одному, он протянул руку за спинами детей и переплел свои пальцы с пальцами Салли. А она остекленело глядела на однообразный пейзаж. Ее рука на ощупь была твердой и напряженной — рукою труженицы, что ему нравилось. Хотя она ответила на его застенчивое пожатие, которым он давал понять, что готов оберегать ее, в уголке ее рта появилась горькая складка, словно она сожалела, что уже не может по своей воле дарить ему то, что им завоевано и принадлежит по праву. И будто капнули ядом. Самый воздух изменился — чуть-чуть, но достаточно, чтобы нарушить хрупкое равновесие их обоюдной иллюзии. Запах полыни усилился; такси поехало быстрее; светло-зеленые побеги замелькали с такой стремительностью, что казались голубыми. Голова индейца, как изваяние, вырисовывалась на свету. Детские головки словно застыли изящными черными силуэтами; Джерри окликнул: «Эй?», и Салли не ответила; пустыня вокруг них — и они вместе с нею — испарилась, исчезла, ничего и не было.

Джерри и Руфь спускались к Ницце. Самолет накренился, и сверкающее Средиземное море прыгнуло на них: пилот совершил серьезную ошибку. В самый последний момент, словно карта, вытянутая со дна колоды, под ними все же открылась земля; колеса самолета ударились так, что затрещали шасси; все закачалось, моторы яростно взревели: они приземлились. Чарли рассмеялся. Маленькие, крытые черепицей домики Лазурного берега потянулись мимо, точно игрушки на веревоч-

ке, пока самолет подруливал к стоянке. Надпись «Attachez vos ceintures» [1] погасла, затем погасло: «Defense de fumer» [2]. Они схватили свои пальто и встали; вслушиваясь в гул голосов вокруг, Джерри понял, что самолет, весь оклеенный пластиком, такой весь голубой и американский на аэродроме Айдлуайлд, теперь аннексирован французами. Все говорили по-французски, а он этого языка не знал. «Au revoir» [3], — сказала стюардесса, и они стали спускаться по металлическим ступеням. Воздух был мягкий, чистый и как бы состоявший из отдельных частиц — изрезанный и иссеченный, точно на картинах кубистов, косыми лучами чуть теплого солнца. Им открывались целые миры для обозрения, но глаза Джерри были мертвы: утрата притупила их остроту; дети и жена нетвердой походкой пронесли его чувства по закодированной ленте бетона, через обрывки впечатлений. В толчее у паспортного контроля он услышал — потому что это было повторено несколько раз, — как чиновник в синей форме с раздражающим удивлением произнес: «Trois enfants» [4]. Джерри услышал, что его жена разговаривает с этим человеком по-французски, и удивился; что за странная женщина стоит рядом с ним, как она могла прятать в себе целый язык. А в аэровокзале, наполненном, будто во сне, шарканьем чужих ног, стояла Марлен Дитрих в замшевых брюках и сапожках на высоком каблуке и курила сигарету, держа длинный перламутровый мундштук. Его дети, в упоении от чувства безопасности и свободы, промчались под ее взглядом, и эта женщина, сочетание света и тени, призраком возникшая из времен его детства, посмотрела на них с откровенным, неожиданным для призрака интересом и благожелательностью.

Марлен Дитрих выглядела молодо за зубчатой стеной своих чемоданов. Джерри увидел в ней доказательство той истины, что путешествия отодвигают смерть — это способ купить жизнь за мили. Он же путешествует, потому что адвокат Ричарда посоветовал ему уехать. Он взял отпуск в своем агентстве и собирался заняться живописью. Он и Руфь снова будут сидеть рядом и рисовать. Он прошел сквозь стекло на улицу, где ждала череда такси, на которых вопреки ожиданию значилось: ТАКСИ.

— A Nice? [5] — спросил шофер в куртке такой синевы, какую Джерри видел только на картинах.

— Oui, à Nice, s'il vous plaît [6], — сказала Руфь и, краснея, назвала отель, словно агент из бюро путешествий мог их подвести. — Votre voiture, est-ce que c'est assez grande pour trois enfants [7].

— Oui, oui, ça va, madame, les enfants sont petits [8].

Чарли сел впереди с шофером, остальные четверо — сзади. Джоффи захныкал, что его совсем задавили.

— Нас в с е х задавили, — сказал ему Джерри, отчаянно стараясь преодолеть стеснение в легких, которое патологически возникало при всяком нервном напряжении.

Руфь сказала: — Посмотрите все в мое окно — прямо как на картине. — По ту сторону дороги, напротив моря, на недавно разбитых участках произрастала древняя культура; крутые зеленые склоны, которые по сравнению со стертыми холмами Коннектикута, казалось, только-только обрели форму, были со скаредным тщанием разделены на поля и террасы; по этим склонам, уходя ввысь средневековой перспективой, карабкались городки. Европа была четкой по цвету и загроможденной по рисунку. Сероватая зелень на ближних холмах, тускло поблескивавшая, как волосы женщины, когда она их расчесывает, — это, должно быть, оливы. А по другую сторону — извилистая полоса желтовато-грязного песка чуть шире шоссе, окаймленная водорослями и утыканная волнорезами, отнюдь не напоминала то, что Джерри привык называть пляжем, — тут требуется другое слово. Оно и значилось на зеленом указателе: PLAGE.

Джоанна, зажатая между Джерри и окном, произнесла величественно-безразличным тоном: — На всех дорожных знаках — маленькие рисуночки. — У Джерри было такое чувство, будто она обращается не столько к своим родителям, сколько к идеальным родителям из школьных хрестоматий, лишенным национальной принадлежности, счастливым и автоматически восхищающимся всеми чудесами жизни.

Стремясь подладиться под ее тон, Джерри сказал: — Это для того, чтобы такие тупицы, как мы, не потерялись. — Когда путешествуешь, всюду видишь опознавательные знаки, указатели, инструкции. Только дома их нет.

Джоанна спросила: — Почему здесь столько этих стекляшек?

— Оранжерей?

— Наверное.

— Они выращивают цветы для парфюмерной промышленности.

— В самом деле?

— Я так полагаю.

Мимо них на скутере промчалась блондинка с развевающимися на ветру волосами. На ней были белые брюки в стиле «Сен-Тропез» и полосатая вязаная кофточ-

---

[1] Пристегните ремни *(франц.)*.
[2] Курить запрещается *(франц.)*.
[3] До свиданья *(франц.)*.
[4] Трое детей *(франц.)*.
[5] В Ниццу? *(франц.)*
[6] Да, в Ниццу, пожалуйста *(франц.)*.
[7] А у вас машина достаточно большая — в ней поместятся трое детей? *(франц.)*.
[8] Все будет в порядке, мадам, дети — ведь они маленькие *(франц.)*.

ка; Джерри вжал ногу в пол — прибавить скорость, нагнать ее, заглянуть ей в лицо. Сердце у него учащенно забилось, но такси ехало с прежней скоростью. Руфь повернулась, вглядываясь в его лицо, и то, что она на нем обнаружила, передалось ей, потом снова передалось ему, словно отразившись в двух зеркалах, и маленькое пространство машины наполнилось душераздирающей тоской и напряжением. Он промямлил в качестве объяснения:— Непостижимо.

Руфь сказала:— Ты увидел ее позже, чем я. Сходства почти никакого.

— Очень это плохо,— сказал он. Она отвернулась: он почувствовал, что настроение у нее упало, а у него соответственно поднялось. Он посадил на колени Джоффри, прижал его к себе и спросил:— Как дела, шкипер?

— Отлично.— Мальчик произнес это каким-то грустным тоном, протянув «и».

— Тебе все еще кажется, что тебя задавили?

— Не очень.

Чарли, не сводивший зачарованных глаз с шофера, обернулся — личико его сияло лукавством — и сказал: — Он вечно жалуется, потому что он еще маленький.

Нижняя губа у Джоффри задрожала, животик под рукой отца вздулся от воздуха, который он набрал в легкие, готовясь зареветь. Джерри быстро произнес: — Смотрите-ка! Мы въезжаем в город, который зовется Славным[1].

Они въехали в Ниццу — совсем как если б въехали в призму. Фасады высоких белых отелей заливало солнце, так что от карнизов и тентов над окнами падали под углом в сорок пять градусов синие тени. Под пальмами, за круглыми стеклянными столиками, сидели дамы и господа в пальто. По Английскому променаду прогуливались люди, четко разделенные на свет и тень, как луна в срединной фазе. Джерри заметил одного типа в самом настоящем монокле. Он увидел женщину в жакете из шиншиллы, которая покупала букетик горных фиалок, завернутый в газету, в то время как пара серых пуделей симметрично обвивала ее ноги своими поводками. За зелеными перилами, ограждающими променад, убегал, извиваясь, вдаль пляж — туда, где над блестящей сталью моря нависает что-то вроде нежно-розового форта; пляж — каменистый, весь в подвижных, намытых водою камешках, в крошечных впадинах и щелях, между которыми, словно в трубах органа, мелодично вздыхал океан. Берег полнился этой музыкой, а вокруг — солнце, сверканье, яркие краски. Джерри сказал Руфи, просто чтобы что-то сказать: — До чего хорошо. Мне здесь может понравиться.

Она восприняла его слова как эстетическую оценку и посмотрела в окно.

— Разве не тут обосновываются все короли в изгнании? — спросила она.

Такси свернуло с набережной Соединенных Штатов и поехало вверх по боковой улочке, мимо заржавевшего остова цветочного рынка и магазина с украшенными железной филигранью решетками.

— Nous sommes arrivés, mes enfants[2] — объявил шофер и обернулся, охватив всех широкой улыбкой, обнажившей желтые от табака зубы.— Ми приехаль!

А из отеля уже выскочили портье и два его помощника, весело и жадно накинувшиеся на них, ибо в это время года постояльцы редки. Было ведь начало ноября. Предводительствуемые Руфью, они последовали за багажом и долго взбирались по ступеням зеленовато-серого мрамора к фасаду, похожему на свадебный торт.

Джерри сошел в Сент-Круа. Тропический воздух, живой и нежный, как брызги распылителя, дохнувший ему в лицо на заре в Сан-Хуане, здесь был суше. Джерри чувствовал необычайную легкость во всем теле, на душе у него было хорошо; он спал всего два часа во время ночного полета из Айдлуайлда, где, стремясь избавиться от стеснения в груди, вдруг взял и сел в самолет. И тяжесть из легких ушла. Аэровокзал был новый, без дверей, так что лишь тень лежала границей между «внутри» и «снаружи». В помещение залетал бриз, принося дыхание земли и цветов. За кромкой тени, сквозь дымку равномерно вращающегося распылителя и сетку аэродромной ограды, видно было, как потоки воздуха, взвихренные пропеллерами самолета «Кериб Эйр», на котором он прилетел, взметнули столбы пыли и черные носильщики, вдруг обезножев, словно повисли в воздухе. На низком зеленом холме, таком тусклом, точно вся краска впиталась в незагрунтованное полотно, высилась конусообразная громада — должно быть, остатки сахарного завода, подумал Джерри. Земля казалась одновременно истощенной и девственной. Похоже, самое подходящее для него место.

На стоянке такси негр с сигаретой за каждым ухом спросил, куда он хочет ехать — в «Кристианстед» или в «Фредериксте́д». Джерри не ожидал, что здесь будет выбор.— А который из них вы рекомендуете?

Негр деликатно пожал плечами: — Сами решайте, приятель. Один — там, другой,— он повел глазами в нужном направлении: — Вон там.

— Значит, в оба сразу поехать я не могу? — сказал Джерри, решив пошутить.

Спокойное молчание последовало за его вопросом, не нуждавшимся в ответе; дышалось ему легко, он чувствовал, что начинает любить эту черту обитателей тропиков — терпеливое ожидание. Он сказал: — Все, что мне надо, это комната и пляж.— Стоял март, ему говорили, что гостиницы к этому времени начинают пустеть.

[1] Nice (Ницца) на английском языке означает «славный».

[2] Приехали, дети мои (*франц.*).

Негр посмотрел поверх плеча Джерри, затем повернулся и нежным жестом открыл дверцу своего такси.

— Устроим вас в наилучшем виде, — сказал он.

Джерри сел в машину, и за те несколько минут, что он ждал, пока она двинется с места, еще два негра, а потом еще один вышли из тени аэровокзала и залезли к нему в такси: один расположился рядом с шофером, двое других — сзади, с ним. Его оттеснили в угол. Негры, взрослые мужчины, хихикали и болтали о чем-то загадочном; они переговаривались на каком-то своем языке — помеси колких шепотков и недосказанных намеков,— на совершенно непонятном, хоть и английском языке. Такси помчалось на большой скорости по левой стороне прямой дороги, огражденной с обеих сторон стеной сахарного тростника; прямо на них мчалось другое такси, и они в последний момент чудом избежали столкновения — совсем как в аттракционе с зеркалами. Они проезжали мимо каменных остовов с прорезями, в которых когда-то стояли штыри исчезнувших жерновов, мимо хибар, крытых жестью, и более новых, американского типа, домиков, белых, оштукатуренных, с окнами, прикрытыми жалюзи, с бугенвилеями, с водосточными трубами и цистернами для дождевой воды. На перекрестке указатель гласил: «Верхняя Любовь»; такси остановилось, и один из негров вылез. Шофер спросил громко, совсем другим голосом, явно обращаясь к Джерри: — Хотите поехать через горы-ы?

— Конечно, — сказал он. Покорись. Забудь.

Они забрались высоко — туда, где были пастбища и стояли раскидистые деревья с белой корой, свисавшей вниз, точно листья, засохшие среди лета. Выше и выше — бирюзовый океан, испещренный пятнами лаванды, то появлялся перед глазами, то исчезал. Теперь вокруг них сомкнулся лес, где волосатые лианы тонули в облаках гибискуса, а корни красного дерева сплетались над землей, образуя у края дороги причудливые храмы-пещеры. Что-то серебристое точно ртуть нырнуло под колеса такси, в машине вспыхнул возбужденный разговор, и таксист произнес намеренно четко, для Джерри: — Мангу-ста. — Громыхая по скверной, в выбоинах дороге, они за поворотом вдруг выскочили из леса прямо в небо и остановились. Двое негров вышли и, не оглядываясь, направились к невидимому дому. Джерри понял, что никогда не увидит их домов. Передвинувшись на другой край опустевшего заднего сиденья, он глядел на ленту берега, ниточку шоссе, точечки красных крыш с такой же высоты, с какой месяц назад глядел на серые крыши Квинса, тесно придвинутые одна к другой, как картонки на складе.

Моторы самолета тогда вдруг заревели сильнее, черная вода подпрыгнула навстречу им, дети умолкли. Руфь сжала его руку. Колеса чиркнули по бетону полосы, огромное голубое тело машины содрогнулось и жалобно заскрипело — минута опасности миновала. Они были дома.

Из окна спальни домика, что они сняли в О-де-Кане, Джерри, задыхаясь от удушья рядом с Руфью, спавшей сном праведницы, мог видеть за глубокой узкой долиной, где когда-то жил Модильяни со своей любовницей, созвездие Ориона. Созвездие это словно бы сопутствует морю и самой своей вытянутой формой, напоминающей стройного мужчину, почему-то приносит успокоение, помогает дышать. Вернувшись в Америку, Джерри обнаружил, что созвездие трудно найти: его заслоняли вездесущие деревья, затмевали яркие искусственные огни — оно словно переместилось в звездном пространстве. Когда же однажды с какого-то открытого места Джерри увидел своего утешителя в изгнании, у Ориона не было того дружелюбного сияния, какое, возможно, придавала ему близость посеребренного луною тела его переменчивой возлюбленной — Средиземного моря, чей шелестящий сон поверженный охотник, опершись на локоть, казалось, неусыпно оберегал.

В Гринвуде Салли нигде не было видно, хотя Ричард в новом белом «порше» появлялся в городке по уик-эндам, а однажды в сумерках не по сезону мягкого мартовского дня Джерри увидел его на довольно пустынной дороге: Ричард ехал с Дженет Хорнунг в машине со спущенным верхом, и выглядели они точно дети, застигнутые врасплох в одной ванне.

Шофер вытянул сигарету из-за уха и закурил; они спускались к пляжу и к городу. Россыпь камней на откосе оказалась отарой овец. Появились дома, но людей не было.

Эй, Салли?

Да, Джерри?

Ну, как все было? Очень худо?

Временами, но ты был прав, я это знала. Ты очень мудро понял в тот день, чего я на самом деле хотела, а мне казалось, я хотела как раз обратного.

Жаль, что я был таким мудрым. Жаль, что на самом деле ты хотела не меня.

Я хотела тебя и хочу. И ты принадлежишь мне, как Орион принадлежит морю.

Но то ведь боги, а мы с тобой простые смертные, как ты однажды сказала. И мы запутались, потому что мы люди. Ведь все получилось главным образом из-за детей.

Нет, мне бы тоже хотелось так думать, и ты очень добр, что лжешь мне. Но не было бы детей, было бы что-то другое. Была бы Руфь. А поведи себя Руфь иначе, ты бы нашел другой предлог. Ты хотел, чтобы я была безупречной.

В том-то и дело, верно? Такой ты останешься для меня навсегда.

Не навсегда, дорогой,— ты ведь не любишь, когда я зову тебя «дорогой», да? Никогда не любил, тебе казалось это искусственным. Я никогда не знала, как тебя называть, а в минуты близости мне так хотелось придумать тебе имя, но я молчала.

Надо было хоть что-то сказать. Что угодно.

Я стеснялась.

Ты?

Да.

А сейчас ты как? У меня такое чувство, будто я мертвый.

Я все еще не оправилась от потрясения, но теперь уже легче. Я больше не твоя. Ты должен это знать. Через какое-то время, наверное, ожесточусь и стану тебя ненавидеть, потому что ты унизил меня, а потом и это пройдет, и все мне будет в общем-то безразлично. Ты станешь моим бывшим любовником, и между нами могут даже установиться дружеские отношения.

Это звучит ужасно. Ужасно.

Женщины пытаются быть как мужчины, Джерри, но в конечном счете все мы люди практичные — жизнь заставляет. Надо идти своей дорогой, одному.

Нет. Я не верю тебе. Я любил тебя, потому что ты верила в то, во что верил я. И я следовал за тобой туда, где, кроме нас, никого не было.

Любая женщина, с которой ты будешь близок, отведет тебя туда же. Ничего другого у нас с тобой нет, мой дорогой,— только настоящее, а это — Руфь и Ричард. Люби Руфь, Джерри. А теперь пора кончать разговор, иначе люди скажут, что я — шлюха.

Этот воображаемый разговор между ним и той Салли, чей образ он носил в себе, закончился словами, которые она действительно ему сказала. Это было на вечеринке у Коллинзов, в феврале. Войдя в набитую людьми комнату, он увидел ее, и у него возникло ощущение, что он вобрал ее глазами и она сразу заполнила матрицу, которую он всю жизнь, включая и месяцы, проведенные во Франции, создавал. Они вернулись из Франции, потому что дети заскучали по дому и им пора было в школу. Линда Коллинз написала, что Ричард не будет устраивать сцены: Салли утихомирила его. С живописью ничего не получилось: погода все время стояла слишком прохладная для работы на улице, а однажды даже пошел снег, оторочив белым пухом кактусы у них в садике. Словом, хотя Джерри взял отпуск на полгода, во Франции они пробыли меньше трех месяцев. Сидя в комнате, он рисовал карикатуры — и не без удовольствия, хотя все карикатуры потом вернулись к нему. Как и он вернулся домой. После недолгой болтовни сквозь дым его сигареты — о здоровье, о лыжах, о детях — Салли сказала: «А теперь пора кончать разговор, иначе люди скажут, что я — шлюха», и отвернулась. В отеле в Вашингтоне она в свое время вот так же повернулась к нему спиной и заснула, а он терзался бессонницей. И вот он бродил по комнате, переходя от одной группы гостей к другой и терзаясь, а она стояла рядом с Ричардом. Ричард располнел, налился, как положено зрелому мужчине, волосы у него так отросли, что завивались на шее, и, возможно для большего впечатления, он надел черную повязку на слепой глаз. Он выглядел огромным и очень храбрым. Из безопасного укрытия под его крылышком пронзительно звучал голос Салли, отдаваясь в каждом углу. Руфь подошла к Джерри и шепнула, что Салли, похоже, снова стала прежней. Он согласился — да, и подумал: а не напрасно ли он пытался оторвать ее от ее подлинного «я».

— Ви едит Сент-Круа для отдых?

— Для перемены места.

Они въезжали в город. Выбеленные солнцем деревянные домики со старинным кружевным орнаментом стояли, как на сюрреалистической картине, вдоль прямой пустой улицы. Негр, лишенный тени, кособоко перекособочил через дорогу под самым их носом. Справа трепетало и переливалось молочно-зеленое море, и грязно-серое грузовое судно стояло на якоре. В конце улицы высился форт, весь красный, как цветок на открытке, какие посылают в день святого Валентина.

— Где я? — спросил Джерри

— «Фредерикстед», — ответил шофер.

— Я на востоке или на западе?

— Запад, мсье. Конец остров. Ви хотел на восток?

— Нет, это меня вполне устраивает. А место для меня тут найдется?

— Минутка — сейчас приедем. Не надо терять терпеньев.

Джерри опустил стекло, нетерпеливо стремясь почувствовать себя свободным, слиться с этими редкими домиками, с жалкими унылыми лавчонками, с лютеранской церковью, оставшейся от датчан, с фортом — со всем этим розовым покоем, излучаемым высоким зеленым морем. Он всей грудью вдохнул воздух. Да, наконец, он нашел это место, и воздух здесь такой, как надо. Он всегда говорил ей, что есть такое место, и вот теперь он его нашел, он сдержал слово и привез их сюда. Он был несказанно, безмерно счастлив. Сам факт существования этого места на земле убеждал его, что есть такое измерение, в котором он пошел — что было правильно — на ту или другую вечеринку и, глядя застенчиво и ликующе на ее милое, печальное, с опущенными глазами лицо, сказал своей Салли: «Давай поженимся».

◆

Литературные иллюстрации

Из французской поэзии 70-х годов

(НОВЫЕ ИМЕНА)

ЖАК РУБО

Сюиты для виолончели соло

из вара времени вдруг вырван голос
не голос линия длины набросок
вслепую взятый чувства отголосок
чтоб воздуха пространство раскололось

на белых нотах дня твердит без речи
на черных нотах ночи лезет выше
одновременно он и сад и ниша
веков иззябших голос человечий

твердит в моем нутре могила мрак
скользит под мраком остье пуха скрытое
смола скользит скользит и плачет жак

а я как вечер со смолою слитый
вслед голосу еще один молит-
ва тень замок которым рот закрыт

Элегия: возраст

и каждый из нас оборачивается к призрачной Эвридике
и неразличим даже взгляд ее исчезающей в жизненной скверне
вечерний единорог роется в персти вечерней
нежное око-карбункул режет туман безликий

он пожалеет каждого за страхи пустые и дикие
что с прошлой осени гонят нас на белые иглы терний
пеной белесой плывут облака летят с окоемной черни
хлопки лебединых крыльев журавлей простудные крики

но единорог удаляется к заставам заржавленной ночи
в последнем скачке шелестит легчайшего платья синь
ты стынешь на срезанной кромке безгласый бесстрастный орфей

и больше не будет слов не будет случая! дочь
прозрачности Эвридика из сада лазоревых линий
хоть раз явись обнаженная и травы примятые взбей

Составление Т. Балашовой. О представленных поэтах см. статью «Пространство слова», стр. 168.

■ ■ ■

ВИДЯ ТЕБЯ УМИРАЮ. видеть тебя быть глазами твоими их серою или синей радужницей в разные миги ночи. каждый период зрения есть смерть. время частицами оседает во мне, жизнь расчленяет мою: «мир снаружи смехом искрящийся желтый зеленый красный но изнутри он черен темен как смерть» я видя тебя умираю. твои глаза расширяют меня и сводят к малюсенькой точке. я ношу их с собою повсюду, отравление цветом, ожог цветом, серым или иссиня-серым, как смена оттенков воды. во мне начинается твоя смерть. я живу в зренье твоем; облекающем смерть мою как бой часов как слюна; приготовляющем смерть мою. я в точке кипящей зрения твоего

расширенной или схваченной вдруг, в спирали твоего взгляда (покрытие плоскости многими вертикалями) я поднимаюсь обращаясь к мнимым высотам. и оттуда я низвергаюсь. сущность смерти моей в твоем постигнута зренье. ничего мне не надо надо только рассечь умолчанье себя сердцевиною глаз твоих; нужен лишь непостижимый скачок стрелки происходящий когда иссякнут твои глаза; мне довольно. и от того я умираю: я есмь твои глаза. я нежусь в их омывающей влаге, беспокоемый равновесьем, радужными красками. я сокрушаюсь в слезах твоих. под ношею век твоих я не смеюсь. я вхожу в эти глаза, ухожу в миг замедления век, внешний покров твоих глаз меня убивает. быть вне, быть снаружи, утратить права. я хочу носить твои цвета, открывать глаза на точно те же кольца зримого, чтобы ничто на тебя не смотрело, что невидимо мне, что не проверено мной, и это

есть моя смерть. или, может быть, смерть моя есть время вне тебя, вне твоего зрения; зренье твое, остановка смертельного бегства, маятник крови маячащий на вершине взмаха в глазах твоих если я перестаю двигаться, мыслить, жить, я не умираю более, мой вес больше веса сиянья всех совокупностей звезд. и все же зренье твое есть моя смерть, ибо оно замирает когда ухожу от тебя, когда падаю вне твоих глаз, ибо я не свечусь непрерывно амальгамою глаз твоих, не свечусь серым серебром в мыслящей глубине твоих глаз. все же я умираю, в этом источник смерти моей. глаза твои вот моя смерть. не избегнуть.

я смотрю на смерть свою в тебе, я сопровождаю ее в твоем пейзаже, она сочится из каждой капли серого воска, из каждой соломинки солнца приручennой кожей твоей, поет слова доверчивые или скорбные губами твоими. я поощряю ее, восхищаюсь ей, у нее твой голос, твои добрые руки во мраке ночи. твоею походкой ходит она, смехом смеется твоим, ртом твоим пьет.

благодаря моей смерти я смешиваюсь с тобой, ею я соблазняю тебя, я заставляю дрожать толщу льда твоего, я проникаю в сокровищницу криков твоих, я проникаю в глубь силы твоей. смерти своей обязан я всем. в ней те слоги которые в слухе твоем. смерть, что тебя защищает, что согревает тебя, паляща (рука на чреве твоем, губы на чреве твоем). ты слушаешь, не узнавая ее. не называя по имени. смерть моя царство твое, твоя длань. это она старит глаза мои под взглядом твоим. нет ничего

менее черного, менее припорошенного прахом (нет, не уголь на кости слоновой). моя смерть порождается зреньем твоим. я умираю видя тебя. умираю глазами твоими став, но нет в этой смерти причины для страха (саркастический карнавал, гримаса без плоти). я умираю в спокойствии. прекращаю быть. я прерываюсь в твоих глазах. я там замещен нескончаемой тенью. я исчезаю, я есмь твои глаза. я стал незрим. смерть не тяготит меня. смерть облегчает. ей благодаря я совместимым становлюсь, стираю все длинноты между тобою и мной. я в лучшем мире. люблю мою смерть, люблю умирать под взглядом твоим, видеть тебя, быть глазами твоими, всею их синей, всею их серой материей под небом твоим, к тому же я твой внутренний стержень, я нахожусь на кончиках пальцев твоих, в зрачке твоей кожи. я никогда не любуюсь собой, не заставляю тебя кричать. никогда.

© Editions Gallimard, 1973.
Воспроизводится авторское расположение строк.

■ ■ ■

Что станет со словами
Когда я перестану сочинять
Они обрывки сделанных вещей
Края абстракций их углы

Захлопнутые словно лифт ландшафты
Несущиеся вниз
(Считайте этажи
Глаза не пяльте на попутных пассажиров)

Даже не
Прядево времени
Шевелящееся наподобие
Пакли пеньковой меж бревнами риги

■ ■ ■

И даже если я вцеплюсь зубами
В то что хочу произнести

Дробится воздух
И слова дробятся

Как будто решено
Не отвечать на собственное имя

Я слышу гул войны

Как замечают в собственных движеньях
Чужие жесты

И будто мать моя предстанет молодой
Когда ее увижу снова

За что держаться

О как мне хочется чтоб вещи совпадали
(Здесь бесполезны объясненья)
Пишу закраины ласкаю
Изнанку ящика
Смещаются воспоминанья явь
Съеженная превращенная в мгновенье
Приемник чтобы время знать и книги
Чтоб школьников сегодняшних учить
Я времени даю скользить
Как дверцам двум стенного шкафа
Скользить дают

© Les Editeurs Français Réunis, 1975.

■ ■ ■

Легкая слива
Бурая
Свет травяной
В ладонях моих

Легкое дыханье
Съеженное
Зимняя изморозь
Руки в руках

Легкая птица
Апреля
Щебечет и грезит
Сжавшись в комок

Легкое утро
В туфельках
Кутающееся в шаль
Раскрытые губы *

■ ■ ■

Уста пустынные упорно
  урчанье речь лишенная корней
О шевеленье слов
  всегда подобное морщинам близкой смерти
                оно
Колеблется на кромке разговоров
Протягиваясь вдоль порогов у ржавых ведер
                тех рассказов
Где все слова скользят **

■ ■ ■

Где каждый носит собственное имя
Работник Мы преобразуем

Соль воду разницу меж ними
В столь долгой классовой борьбе

Как символ братства
Любовь любви упорство

Движенье смирный шорох
Дверей тут где-то рядом

О если б стала речь признаньем
Постигнутых внезапно соответствий ***

Перевод АЛЕКСЕЯ ПАРИНА

* © Les Editeurs Français Réunis, 1975.
** © Editions Seghers, 1975.
*** © Action Poétique, 1977.

ПЬЕР ТИЛЬМАН*

Перечень будней

выпутываться в меру своих возможностей
и своих невозможностей
например
верить в свою правоту
и в ошибки других
тряпки
объятия
трёп
перечень будней
УСТАЛОСТЬ
ты оставила мне записку
не волнуйся родной целую
будет ли у нас что-нибудь кроме этого
я перечисляю
стол
пепельница
горящая лампа
остаток пирожного на тарелке
стопка бумаги

Пустота

я нагой
считаю потери
нищ и раздет
с пустыми руками
с пустой головой
весь в ранах и язвах
я ничего не вижу тьма
больше нечего видеть
людей больше нет
люди ушли домой
но исчезли дома
не стоит труда обличать комфорт и печать
и серость житья-бытья
пустые труды ничего больше нет
песок пыль и смог
в горле першит
говорите о загрязнении среды
об ожирении и отупении
говорите о лени
бездари-жизни
это уже не имеет значения
я снова берусь за перо я вновь излил свои жалобы
я дописал до конца старый романс
я был поэтом потом я отложил перо
и я больше не был поэтом
я не входил ни в один разряд
я не был уже человеком

* © Editions Seghers, 1975.

определениям в словарях плевать друг на друга
достичь познавать революция счастье слова
истертые вылинявшие разбухшие как губки
(простите меня за вечное «я»
но я говорю «я» еще раз)
Рембо был проклятым
Арто рассерженным
а я пустой
опустошенный
если б я мог понять почему
женщина берет ребенка на руки
и роняет его на землю
юноша выходит на солнце
и захлебывается кашлем
говорите о совпадениях
говорите о чем хотите
во мне одна пустота
я вижу пустые сны живу на пустой желудок целую с пустой душой
но я знаю все что нужно говорить чтобы казаться живым я знаю
цену любви и мгновениям счастья умею играть как мальчишка
я знаю что нужно говорить
чтобы иметь живой вид
но я вздрагиваю каждый раз
когда мимо проносится парень на мотоцикле
и я не могу отвести глаз от девчушки
которая прыгает через веревочку заливаясь смехом
и я помню каждую минуту
о тех кто брошен в тюрьму
о тех кто отправился в путь
о тех кто кончает с собой
меня охватывает трепет и жар
при мысли о них
втайне я как художники прошлого
люблю невозможное
и мечтателей обжигающих крылья

И все продолжается

неподвижность
я вновь начинаю свой старый бой
ловушка души и общества
ловушка написанных строчек
одному
представлять себе все в подробностях
этот тип просидевший четыре часа на электрической плите
и сгоревший до костей
этот сумасшедший который без устали
бьется головой о перегородку
эта девочка с телом так мной любимым
которая идет по комнате
закутавшись в смех
эти чудесные люди (жалкие)
с их жалким житьем (чудесным)

они убьют себя работой
и деньгами которые заработают
усталость запирает меня в клетку ребер
продолжается перечень будней
но всегда что-нибудь забывают
и все остается по-старому

Всего понемногу

я долго бродил по улицам
я долго работал сегодня
я долго тебя целовал вчера вечером
во мне всего понемногу
витрины служба и мы с тобой в нашей постели
и еще тысяча разных вещей
совершенно ненужных
я вижу лица
и руки тянущиеся друг к другу
и вижу как пустота повисает между лицами
и как в пустоте повисают простертые руки
каждый рвет свой кусок
каждый ведет свою женщину
размалеванную как афиша
отчаяние не дремлет

ФРАНК ВЕНАЙ

■ ■ ■

Сегодня вечером ты в комнате один
окурки на полу и пепла везде полно
во двор цементный распахнуто окно
по-стариковски сутулится спина
понурившись сидишь давным-давно
и с кресла встать сил нет и лень
дыханье тяжело в испарине спина
да под ногтями грязь и руки липки от газет
на улице промозгло и темно
но тело женское тепло и нежно

ты студишь лоб о мутное стекло
глядишь с тоской на собственную тень

и сознаешь одно назавтра неизбежно
опять настанет день

■ ■ ■

Если я люблю тебя недостаточно нежно, то это потому, что дни сотканы из лжи и ненависти, а я безоружен. Я притворяюсь сильным, а из зеркал на меня смотрит ребенок, и мне так холодно, что я готов молиться; я трачу свою жизнь, я подгоняю часы, но мне хочется разрыдаться, безутешно, как итальянские матери на экране, глядя на твои детские плечи, опущенные от усталости — ежедневной гостьи

наших вечеров. И все же за каждую твою слезинку воздастся сторицей, и пока я могу любить тебя и твоя грудь поднимается под моей рукой, мы побеждаем ночь, и я отгораживаюсь от одиночества завесой кромешного наслаждения.

■ ■ ■

Моя вера. Моя опора в горе. Ты в ладонях моих как дюймовочка. Моя непорочная. Моя пресветлая. Моя непреклонная льдинка. Моя колючка. Долго тлел наш огонь. Долго таил я тебя в своем сердце. Моя нежная. Моя возлюбленная. Не замеченная мной, обиженная мной, измученная мной, по ночам ты всхлипывала в моей груди. Я зову тебя. Моя мадонна. Твое святейшество. Твое высочество. Моя нелюдимая дикарка. Моя домашняя саламандра. Веревка крепка, возьмемся за веревку. Лезвия обнажены и не отклонятся с пути. Мы вырвем у них оружие, оно холоднее самой холодной женщины.

■ ■ ■

Этот дивный день к закату клонится
возможно что наша жизнь лучше могла сложиться
с разбега могли повалиться в траву парную
лепить дорогие лица глину размяв речную
могли прожить не впустую сделать хоть самую малость
но прогоняет усталость воодушевленье
и малиновки пенье за уличным шумом не слышно
в сумерках краски тускнеют и блекнут
но дайте мне рассказать о том что еще есть где-то
взошедший овес и зеленый покос
агония цвета и прощание света
таянье аромата
мне было двенадцать когда-то
ночь жеребенком резвилась за дверью хлева мычали телята
я помню запах хлеба и теплого молока
цепочки девчушек среди полей
и как мы глотали Шерлока Холмса в пыли чердака
и ни ветерка
а теперь предо мной кишки ваших улиц
и голые ляжки ваших столиц
я воспою не это а щеки румяные кирпичей
заводь что солнцем согрета и полуденный звон знойного лета

МОРИС РЕНЬО

■ ■ ■

Но если
Я ничего не хочу
Для тебя
Я ничего не хочу

Но если
Я ничего не могу
Для тебя
Я ничего не могу

Но если
Не значу я ничего
Для тебя
Пусть провалится этот мир
Где мы на коне только во сне

■ ■ ■

Я боюсь всех
Всех живых
Живой я боюсь

Я боюсь облаков
Облаков бестелесных
Я бестелесный боюсь

Я боюсь крика
Крика пустого
Попусту боюсь

Я боюсь поверить
Поверить в бездну
Бездну где я боюсь

Боюсь боюсь
Что и в себе
Себе самом
Тебя теряю

■ ■ ■

Поэт все поет
поэт все поет

цель безграничное счастье
против поруганной страсти
цель безграничное счастье

поэт все поет
наедине с ветрами
наедине со штыками
наедине с ночами

поэт все поет

быть одному несчастье
против смерти всевластья
быть одному несчастье

поэт все поет
поэт все поет *

* © Editions P. J. Oswald, 1974.

Перевод НАТАЛЬИ СТРИЖЕВСКОЙ

■

Критика

Т. БАЛАШОВА

ПРОСТРАНСТВО СЛОВА

Новые имена во французской поэзии

Климат поэтического десятилетия часто определяется поколением, вступающим в литературу. Как бы ни был значителен опыт мастеров, как бы ни были интересны, неожиданны их новые книги, черты десятилетия останутся расплывчатыми до той поры, пока не зазвучат громко новые голоса. Литературная атмосфера Франции 60-х годов словно была наполнена ожиданием: кто примет эстафету? По какому пути пойдут младшие собратья Арагона и Сен Жон-Перса, Жака Превера и Рене Шара, Мишеля Деги и Жан-Клода Ренара?

В пору военного лихолетия многие и многие французские поэты прорвались из герметично закрытой поэтической лаборатории к согражданам, томящимся в казематах расистского «нового порядка», чтобы вселить в них мужество, звать к стойкости. Патетика гневных, темпераментных строф редко у кого тогда вызывала неловкость за их чрезмерную темпераментность; но потом снова вернулись решенные вроде бы вопросы: совместима ли поэзия с политикой? Нужна ли поэту широкая аудитория? Должна ли иссякнуть традиция Сопротивления после освобождения узников гитлеровских лагерей?

Авторы подпольных патриотических сборников «Честь поэтов», поддержавших в годы войны и честь нации, честь Франции, не собирались менять позицию: читатель, захваченный мирными днями, по-прежнему нуждался в их весомом слове. А ревнители «поэтической сущности» вроде Бенжамена Пере[1] видели в опыте гражданственной лирики лишь «бесчестие», отказ от звания поэта. Спор продолжается по сей день.

Оппоненты и не предполагали убедить друг друга; они защищали точку зрения, которую считали единственно приемлемой для поэзии. Спор касался теперь не столько тех, кто в нем непосредственно участвовал, сколько тех, кто к нему прислушивался, склоняясь над своим первым стихотворением.

Начинающим как раз предстояло выбрать, оценить по-своему опыт, который не был их собственным опытом.

В конце 60-х годов ведущие литературные издания Франции почти одновременно начали разговор о новой поэтической волне. Эльза Триоле представила публике Жака Рубо, Доминика Грандмона, Клода Адлена; Арагон в цикле статей о молодой поэзии назвал в качестве своих преемников Жана Риста, Бернара Варгафтига, Мориса Реньо. Одни критики увидели исток новых путей в изощренных опытах Дени Роша, другие — в разговорной интонации Франка Веная и Пьера Тильмана.

Эти имена и сегодня находятся в центре поэтических дискуссий, их неизменно произносят, когда звучит вопрос: какова же она, французская поэзия 70-х годов? Важными поэтическими дебютами отмечена середина 60-х годов: 1963-й — «Полнота повествования» Дени Роша; 1965-й — «Ложе Буало и Жюля Верна» Жана Риста; 1966-й — «Документы» Франка Веная и «Цвет времени» Доминика Грандмона; 1967-й — «Повсюду дома» Бернара Варгаф-

[1] Книга Б. Пере «Бесчестие поэтов» (1945) имела, как известно, своих поклонников и стала фундаментом для теоретических доказательств несовместимости поэзии с политикой.

тига и «Эпсилон» Жака Рубо[1]; 1968-й — «На повестке дня» Клода Адлена.

Открытые критикой как представители единой «новой волны», постепенно эти поэты сильно разошлись в своих творческих поисках, но стянули к себе единомышленников, благодаря чему эстетические размежевания прочертились еще яснее. Специальный поэтический номер «Нувель критик» 1965 года[2] без особого усилия объединял подавляющее большинство начинающих поэтов под знаменем «реалистической поэзии» — с обостренным вкусом к «современной повседневной жизни». Сегодня имена, выдвинутые тогда как самые представительные, довольно далеко отстоят друг от друга — либо соприкасаясь уже с областью авангардистского экспериментаторства (Жан Риста, Дени Рош, Жак Рубо), либо являя собой разные грани реалистической манеры, совсем не обязательно погруженной в «повседневную» жизнь.

«Краски» Сопротивления почти не выходили на поверхность, но опыт поэзии, как социального действия, активизирующего мысль, бесспорно ощутим (особенно у Варгафтига, Реньо).

В поэтической подборке, предложенной сегодня «Иностранной литературой», представлены пять поэтов нового поколения[3], творчество которых ярко иллюстрирует разноплановость поэтических поисков, противоречивость художественных результатов. Этим поэтам случалось спорить друг с другом, бескомпромиссно отвергая опыт коллег по поэтическому цеху. Но было бы неверно — следуя их собственным резким несогласиям — остановить внимание нашего читателя только на одном из потоков. Новая поэзия Франции — это и рационально расчерченное поэтическое поле стиха Жака Рубо, и горячая импульсивность Франка Веная, Пьера Тильмана, и мерцание философских граней в слове Бернара Варгафтига, и беспокойный призыв строф Мориса Реньо.

В разное время вступали они в жизнь (Рубо, например, родился в 1932 году, Тильман — в 1944-м), но как поэты оказались ровесниками, наиболее характерными представителями тех поэтических направлений, карту которых попытался недавно нарисовать специальный номер еженедельника «Нувель литтерер», торжественно возвестившего: «Во Франции сейчас 50 тысяч поэтов».

Каждый из публикуемых сегодня поэтов представляет не только себя. За опытами Рубо — одержимость так называемой потенциальной поэзией, чрезмерно увлеченно играющей символами, полисемией слова: здесь ощутима опасность превратить поэтическое слово в антипоэзию, как произошло это, например, с Рошем. В творчестве Веная и Тильмана утвердил свои права «новый», или «городской», реализм. Варгафтиг сосредоточил внимание на значении слова в жизни человека; все реально происходящее разъято на слова, смысл которых вновь и вновь поверяется реальностью социальных контрастов, реальностью людских взаимоотношений. Морис Реньо пытается освоить поэзию, обращенную прямо к читателю, открыто зовущую его к действию, к гражданственной активности. По каждой из этих поэтических дорог нужно пройти (иногда легко, без препятствий; порой с трудом, настраиваясь на непривычный лад голоса) тому, кто хочет почувствовать поэтическую атмосферу сегодняшней Франции.

Жак Рубо начинал как лирик арагоновского склада, но вскоре увлекся экспериментаторством «потенциальной поэзии» и посвятил свое творчество поискам особой, «математической», формы современной поэзии. Строгость лексического строя и ритмической структуры была подчинена задаче дать многовариантное прочтение стихотворной страницы. В ряде случаев эти поиски, не свободные от холодной изощренности, завершались тем не менее интересными результатами. В 1968 году Жак Рубо получил премию Фенеон, в 1976-м — премию Поля Вайян-Кутюрье. Для публикуемой подборки предпочтение отдано фрагментам, находящимся как бы в русле перехода от лирической эмоциональности первого периода творчества Жака Рубо к его изощренным экспериментам. Фрагменты, обозначенные как «Сюита для виолончели соло» и «Элегия: возраст» (сб. «Эпсилон», 1967), передают затрудненность поэтической речи; когда «из вара времени вдруг вырван голос», когда из отдельных зрительно-чувственных впечатлений (щепа, булыжники-бобы, яркость звезд, напор ветра) художник пытается воссоздать картину бескрайнего холодного мира, делающего Орфея безголосым. Читатель услышит трагические ноты, горькое признание поэта, не решающегося петь, звать за собой Эвридику. «Видя тебя, умираю» (сборник «Тридцать один в кубе», 1973) — теплее по общему тону. Традиционные для поэзии всех веков размышления о жизни, любви и смерти воплощены в форме монолога. Поэту кажется, что нужна такая протяженность строки, чтобы ее течение казалось бесконечным, изнурительным, чтобы паузы возникали внезапно, посреди строки, как будто перехвачено дыхание.

Новизна трактовки традиционной темы ощутима в нераздельности двух антагонистических чувств: головокружительное счастье любви, остро переживаемый миг бли-

---

[1] С «Эпсилона», родившегося с большим перерывом после «Вечернего путешествия» (1952), наметилась новая манера Жака Рубо, знаменовавшая пересмотр поэтом и собственного опыта.

[2] Материалы этого номера освещены в рецензии Э. Поповой «Молодая поэзия Франции». «Вопросы литературы» № 10, 1965.

[3] В разделе «Литературные иллюстрации» печатаются стихи Жака Рубо, Бернара Варгафтига, Франка Веная, Пьера Тильмана, Мориса Реньо.

Т. БАЛАШОВА

ПРОСТРАНСТВО СЛОВА

зости с любимым человеком и в тот же миг — пронзительно резкий страх смерти, осязаемое — до безумия — движение времени, приближающего нас к роковой черте. Перспективу выхода из этого круга подсказывает первая строка третьей строфы: «смерть моя есть время вне тебя... зрение твое, остановка смертельного бегства...» Никто не докажет поэту, что руку грядущей смерти можно остановить, отвести; но все-таки быть рядом с любимой, *«видя тебя»*, умирать» — это щедрый дар жизни, а без дорогого существа любая минута бытия — холод, мрак, антижизнь.

Многие другие стихотворения Рубо из «Эпсилона», «Тридцати одного в кубе», «Чувства вещей» (1970) гораздо претенциознее; они или зашифрованы по сложной схеме японской игры «го», или тяготеют к многовариантному прочтению в духе «потенциальной поэзии».

Влюбленность Рубо в японскую культуру позволила одному из его коллег сказать, что «благодаря Жаку Рубо Восток перестал быть Дальним».

Чрезмерная увлеченность Жака Рубо рисунком строфы, типографским оформлением страницы и произвольными комбинациями отдельных стихотворных фрагментов уводит его часто к берегам формализма, опасность которого для французской поэзии по-прежнему велика[1].

Как ответ на изощренную игру словом и знаком складывалось течение «нового реализма».

■

Творчеством Франка Веная и Пьера Тильмана это течение заявило о себе в полный голос. Потребность вернуться к жизни, прислушаться к биению ее пульса, присмотреться к краскам, образующим спектр ощущений обыкновенного человека, возникала в противовес лингвистической апоэзии, превозносимой журналами «Тель кель» и «ТХТ» («Текст»). С начала 70-х годов французская критика заговорила о рождении «нового реализма» в поэзии, соединив имена Франка Веная, Бернара Ноэля, Даниэля Бига, Марка Холоденко, Патриса Дельбура, Бернара Дельвая, Пьера Тильмана. Как особая тенденция «новый реализм» был осознан только по контрасту с манифестами и художественной практикой неоавангардных групп 60—70-х годов. Присутствие большого города с его гигантскими рекламными щитами и теснотой метро, с людским потоком «костюмов из «Призюник»[2] и машинами, засевшими в уличной пробке, так навязчиво, что некоторые критики предпочитают говорить о «городском реализме», об открытии мира, «где соната вытеснена джазом».

Иногда к этой поэзии относятся как к наивному возрождению традиции трубадуров, чаще рассматривают ее в контексте трагических конфликтов современной западной цивилизации, сквозь которые поэты хотят прорваться к «моментам света, закрепив их в слове»[1].

У поэтов «нового реализма» деталь накрепко заземлена в типичной ситуации «общества потребления». Темная комната, озаряемая вплоть до рассвета мигающей рекламой и фарами авто (Венай); резкий, душераздирающий скрип тормозов (Тильман); мотели-оазисы, глазок транзистора как «единственный свет», единственная ниточка связи с жизнью; бесстыдно щедрая витрина обувного магазина и негры в стоптанных башмаках, сгрудившиеся у телевизора прямо на улице (Дельбур), женское тело, призывно распластавшееся на стене,— «свежая афиша — реклама бюстгальтера» (Дельбур) и чопорный мосье с женой, «размалеванной как афиша» (Тильман). Пьер Тильман так и называет свои стихотворения «Всего понемногу», «Жизнь в замедленной съемке», «Перечень будней», он играет как на клавишах, на привычных деталях.

Это, конечно, не просто «детали», но символика определенного мироощущения человека, захваченного водоворотом вещей и жестов, человека, которому неуютно в хваленом «обществе благоденствия», который — презирая себя за пассивность — копирует жесты и поступки, ему ненавистные. Так складывается некий новый лирический герой, бесспорно отличающийся от лирического героя и Арагона, и Превера, и Гильвика. «Общество потребления» окружило человека злобным роем предметов, вырвавшихся из-под его подчинения; картина бездушной пестроты, которая притягивает, но одновременно держит на расстоянии, в полосе отчужденности, всесторонне воссоздана зарубежным романом. С «новым реализмом» эта стихия хлынула в поэзию.

Поэтической прозой Франка Веная («Лицо женщины», сб. «Документы», 1966) зафиксировано психическое состояние, столь характерное для городской цивилизации: «Если я люблю тебя недостаточно нежно, то это потому, что дни сотканы из лжи и ненависти, а я безоружен. Я притворяюсь сильным, а из зеркал на меня смотрит ребенок, и мне так холодно, что я готов молиться; я тороплю свою жизнь, я подгоняю часы, но мне хочется разрыдаться безутешно, как итальянские матери на экране, глядя на твои детские плечи, опущенные от усталости — ежедневной гостьи наших вечеров...» И вспыхивает искоркой надежды контраст:

на улице промозгло и темно
но тело женское тепло и нежно...

(Перевод Н. Стрижевской)

Поэты «нового реализма» настроены просто фиксировать «непосредственную жизнь, без всякого второго смысла» (Марк Холо-

[1] См. об этом статью М. Ваксмахера в журнале «Иностранная литература» № 12, 1975.

[2] Магазин стандартных товаров и цен.

[1] C.-M. Cluny. Le réalisme poétique, «Magazine littéraire» № 140, 1978.

денко), останавливая бегущие мгновенья, воспроизводя бытовые сценки:

Она втиснула грудь и живот в пуловер
Бедра — в брюки
Наклонилась закрыла молнию
И ушла

(Пьер Тильман)

Ковбои
стреноженные сапогами
одетые в кожу
как в поэме Лафорга
ночью
курят сигары и ждут
когда струя тепловатого пива
брызнет в глотку
и начнется
эротический танец[1]

(Бернар Дельвай)

«Надо описывать улицу,— пояснял свой замысел Тильман, которого критика часто сравнивает с известным американским поэтом Аленом Гинзбергом.— Улица — своеобразный коллаж, бинт, наложенный на свежую или застаревшую рану... Воспроизвести все, что есть на стенах: афиши, анонсы, объявления о найме рабочей силы; воспроизводить вой полицейских сирен, описывать прохожих, машины, шум движения. Брать любой элемент реальности наугад. Зачем ее описывать? Да чтобы показать людям, что они не видят улицы, по которой идут, у края которой останавливают машину, хлопая дверью и торопясь на деловую встречу или свидание». Марк Холоденко уточняет, что подобная «непосредственность», вторичное возвращение к физическим основам бытия возникли из желания уменьшить «разрыв между жизнью и письмом». «Мы слишком упорно повторяли,— развивает ту же мысль Ноэль,— что письмо равнозначно смерти. Нет ли, однако, второго направления у поэзии, нет ли в ней аппетита к реальному, не хочет ли она приблизиться к нему?»

Если бы практика «нового реализма» точно следовала совету фиксировать факты, «взятые наугад» (Тильман), «без всякого второго смысла» (Холоденко), поэзия на этом пути обрекла бы себя на самоубийство. Но Венаю, Тильману удалось создать психологически достоверный образ лирического героя — человека, находящегося в затяжной стрессовой ситуации, болезненно реагирующего на любое прикосновение реальности, недовольного собой, страдающего от вечного состояния «на перепутье». Перед Пьером Тильманом жизнь раскручивается, как длинный больничный коридор, поднимается, как глухая госпитальная стена (символика его книги «Госпиталь — молчание», 1975); люди здесь «ни счастливы, ни несчастны»:

Я вижу лица
и руки тянущиеся друг к другу
я вижу как пустота повисает между
лицами
и как в пустоте повисают простертые руки

(Перевод Н. Стрижевской)

Контакт необходим, а если он кажется невозможным, так потому, что

Вы подменили судьбу человека
поиском прибыли
денег
и удобного ложа.
Сотни вещей окружающих вас
из которых соткано ваше существование
вам не принадлежат
у вас нет ничего

О самом себе поэт говорит с беспощадной горечью: «Во мне одна пустота, я вижу пустые сны, живу на пустой желудок, целую с пустой душой»[1].

Часто основной мотив стиха у поэтов «нового реализма» — пассивное ожидание. Attente — ожидание, j'attends — жду, l'inertie — инертность, patience — терпение — вот слова, передающие реакцию их лирического героя на агрессивность окружающего мира; эти слова (количественно они явно превалируют) образуют как бы густую сеть, сквозь ячейки которой рвется стремительный поток мелких событий и фактов. «Разное» («Faits divers», 1976) — название одного из сборников Дельвая — подобно рубрике в газете. Сознание героя пропускает поток через себя как нечто фатально неизбежное.

Мне хочется принять решение
но я подожду немного

— строки, весьма, характерные для «нового реализма». Характерна и позиция недовольства героя собой, своей пассивностью. Трагических высот это чувство достигает в поэзии Франка Веная.

Он любит современный город, поутру «встряхивающий шевелюрой заводских труб и зевающий звоном трамваев», но ностальгически бредит деревней, зелеными перелесками; он хочет противопоставить холоду общественного равнодушия тепло любви, но болезненно ощущает ущербность такого «решения»; он рвется к революции, но боится, что

революцию свершенную народом
переварит в своем чреве чернь.

Отчаянный спор с самим собой придает поэзии Веная интонацию чистоты и искренности.

Рисунок стиха Веная, пожалуй, не поразит читателя новизной: нет раздробленных слов, нет прочерков и линий, берущих на себя основную «смысловую» нагрузку, даже переносы слов, начинающих новую фразу, строго оправданны. Речь Веная современна только своей свободой — поэт легко переходит от лирической прозы к стихотворной строфе, от разговорного стиля к цепочке

[1] В тех случаях, когда имя переводчика не указано, подстрочный перевод — автора статьи.

[1] Использована идиома (je sonne creux), передающая звук полого предмета и восходящая к элиотовскому образу «полых людей».

сложных метафор. Опыт разных направлений поэзии XX века здесь воспринят как нечто естественное и вполне цельное.

В русле «нового реализма» творчество Франка Веная представляется наиболее интересным. Концентрируя в себе качества, определяющие лицо «нового реализма», оно в то же время нарушает многие его заповеди; внимание Веная к деталям, из которых соткана будничная череда дней, максимально активно. Взгляд автора цепко соединяет разрозненные факты, различные моменты пассивности, не страшась прервать поток впечатлений выводом о подмеченном в жизни законе. Для него, как и для Тильмана, важны не просто детали повседневности, но факты, сквозь которые просвечивают социальные контрасты, классовые коллизии:

Я помню каждую минуту
о тех кто брошен в тюрьму
о тех кто отправился в путь
о тех кто кончает с собой

(Перевод Н. Стрижевской)

«Новый реализм» поглощен предчувствием угрозы, которая кажется ему сейчас на Западе наиболее реальной: гибель человека не под бомбами, а под... вещами, стандартизация души, утрата личностного начала. «В. как Вьетнам» называлась одна из политических пьес 60-х годов. «В. как машина» (Даниэль Бига) — отвечают поэты «нового реализма»: опасна агрессия во Вьетнаме, но опасна и агрессивность предметов; машина — voiture тоже может одержать победу — victoire, поработить человека, уничтожить его.

Лирический герой, появляющийся в книгах Веная, Ноэля, Тильмана. Дельвая, точно регистрирует процесс стандартизации души и даже распада собственной личности, но не хочет (не может?) действовать, в нем много фатализма, буржуазные отношения кажутся ему навек укоренившимися, всесильными. Это поэзия своеобразного свидетельства — почти документально (множество деталей, перенесенных из жизни прямо в текст) она подтверждает несовместимость человеческого счастья с буржуазной цивилизацией.

Портреты наших современников зафиксированы поэзией «нового реализма» в момент, который предвешает вероятность какого-то «перехода» — отсюда один шаг и до холодного цинизма (ощутимого иногда в стихах Тильмана), и до решительного прощания с пассивностью. Звучащая порой ностальгия по «улыбке тех, что вместе», эмоционально готовит переход к иной образно-поэтической системе, иному мировосприятию — где реальность мира пропущена сквозь жесткий фильтр размышлений, где обобщающая мысль сильнее спонтанности лирического чувства.

■

Когда попадаешь в поэтическую вселенную Бернара Варгафтига, пестрое множество реалий, характерных для «нового реализма», отступает. Словно перевернут бинокль и предметы — отодвинувшись — утрачивают свой цвет, конкретную форму, сохраняя лишь общие очертания. Вместо теснящихся за витриной манекенов или лакированных электроприборов, чье назначение загадочно, появляется снова и снова просто Вещь. Безликая и оттого еще более холодная, чужая, чем ее модификации из полиэтилена и пластмассы.

Поэту хочется, «чтобы вещи совпадали» с эмоциональным состоянием человека, чтобы они становились дружественными посредниками между ним и огромной вселенной. Письменный стол, хранилище рукописей и мыслей, «приемник, чтобы время знать, и книги, чтоб школьников сегодняшних учить» — все надо очеловечить, вернуть им тепло души, соединить с собственным видением истории, времени (стихотворение «За что держаться» из книги «Уторы», 1975). Но пока поэт констатирует отчужденность предмета от Человека в мире бизнеса.

Вещи у Варгафтига тоже своего рода детали-фрагменты, как у Дельвая, Дельбура, Тильмана, Веная. Но лишенные конкретности, осязаемости, изменчивости. Они и должны быть по замыслу автора максимально стерты, безлики, идентичны до такой степени, что уже нет нужды различать их, называть; достаточно видеть, что это — вещь. «Вещи бьются друг о друга», «вещи цепляются за нас и окостеневают». Освобождая поле поэтического зрения от конкретно-осязаемых реалий, Варгафтиг заставляет читателя довольствоваться родовыми понятиями.

Это, как видим, совсем иной лексический ряд, чем в «новом реализме». Если в первой своей книге («Повсюду — дома», 1965) Варгафтиг обещал сложить рассказ

...из осязаемых вещей
работа каждый день и стол
неубранный нехватка денег ожидание
письма
минуты до открытия бюро по найму...

то дальше он пошел иным путем, сохранив в подтексте «работу каждый день... нехватку денег», но отказавшись от всего «осязаемого».

Устраняя детали, он как бы хочет дать простор своему взгляду, чтобы не только заметить, но и обдумать главное: почему «страх вокруг нас как хлопающие двери», почему «даже во сне не прекращается крик», почему домашний покой эфемерен, словно наши дома «поставлены на порог» какой-то катастрофы.

Социальные причины такой неустойчивости отчасти пояснены Варгафтигом: в обществе, где он живет, слово не совпадает с явлением. «Общество благоденствия» скрывает за своим фасадом нищету и безработицу: «равные возможности для всех» оборачиваются равным правом держаться в рамках своих материальных возможностей (либо беззаботно спускать миллионы, либо экономить каждый франк): «цивилизация досуга» превратила сей «досуг» в цар-

ство наркотиков, эротомании, немотивированных преступлений. Несоответствие слова и явления отозвалось в литературной жизни Франции, в частности, и вспышкой интереса к философским проблемам лингвистики, процессам функционирования слова в социальной системе.

«Слово» — столь же частый лексический элемент поэтической системы Варгафтига, что и «вещь». Трудно удержаться от искушения призвать на помощь арифметику. «Вещь» и «слово» не просто самые многочисленные единицы текста в книгах Варгафтига, они подменяют собой чуть ли не все понятия, давят, угнетают своей настойчивостью, образуют лавину, которая движется на читателя с фантастическим упорством; слова — «края абстракции», «захлопнутые словно лифт ландшафты», чужая речь предательски скользит мимо сознания, а «шевеленье слов» предвещает смерть — смерть естественности и щедрой радости бытия.

«Язык весь перештопан, речь «искромсана без ножниц», мы как «линия страха, тире между вещью и словом»,— отсюда многоступенчатая опосредованность ассоциативных связей, не всегда открываемых даже при внимательном чтении, отсюда опасные «пробелы» между отдельными моментами движения поэтической мысли, сильно затрудняющие понимание стиха.

Слово в отличие от вещи не может вас ударить, раздавить. Но лишенное своей сущности, вывернутое наизнанку, оно еще опаснее. Вот почему у Варгафтига слова умеют двигаться и постоянно что-то делают («скользят», «кишат», «сталкиваются друг с другом», «обрывают свои корни» и т. д.). Жесты слов (gestes de paroles) не менее характерная единица его стиха, чем окостенелость вещей (rigidité des choses). Сама смерть есть порожденье слов:

Слова умеют увеличивать
число смертей

Но слова — это и область активности самого поэта, здесь он все-таки хозяин, способный создать вселенную, где «слова будут совпадать» с явлениями и найдут путь к чужому сердцу. Вот почему даже в момент предельной затрудненности речи, когда о самом главном сказать не удается («дробится воздух и слова дробятся»), поэт имеет власть соединить эпохи, услышав «гул войны»; по критериям патриотической героики оценить настоящее; он тоже мог бы сказать: «все, что было не со мной, помню», потому что уверен: человек способен осознать себя личностью, только связав свою судьбу с судьбами ушедших и грядущих поколений.

Как будто решено
не отвечать на собственное имя
я слышу гул войны
как замечают в собственных движеньях
чужие жесты...

(Перевод А. Парина)

Память — Бернару Варгафтигу было пять лет, когда началась война,— приносит картины, отметившие трагической печатью сознание всех, кто хотя бы слышал о фашизме: «дети в газовых камерах-чемоданах»,

обувь расставлена по кругу
и так похожа на мою
будто и я сожжен был вместе
с мальчишками-евреями

Словно совмещаются границы двух гетто: того, что осталось позади, в историческом прошлом, и сегодняшнего — за глухой стеной бездушно-агрессивных вещей и лживых слов. Поэзию Варгафтига можно было бы назвать философской, но еще вернее, пожалуй,— «понятийной». Действительно, поэт остерегается развертывать философские заключения, формулировать какие-либо выводы. Ткань его стиха составлена (именно не сплетена, а составлена, а потому легче говорить о конструкции, чем о ткани) из отдельных элементов, которые противятся (таков поэтический принцип автора) включению в общую систему рассуждений, размышлений.

Структура стиха Варгафтига — будучи свободной от хаотического потока впечатлений и тяготея к понятийным категориям — позволяет читателю преодолеть чувство обреченности. Автор держит читателя рядом с собой — не в сумятице слов и вещей,— а чуть-чуть в отдалении, заставляя размышлять, анализировать. Тогда среди чужих и холодных элементов вселенной быта появляется нечто, что «нельзя путать со словами» и чем можно «наполнить вещи». Появляется основа, удержавшись на которой человек способен обрести тепло дружеских контактов и пробить брешь в страшной, почти неприступной стене.

Для поэзии Варгафтига характерны резкие переходы с одного смыслового уровня на другой, когда в близком (почти идентичном) сочетании слов вдруг начинает звучать иной смысл. Весьма показательно, например, движение понятия «сходство» (и его производных). Все похожее угнетает: уныло-однообразны вещи, слова, жесты, люди. Унифицирующие черты сходства усиливают безликость человека, стандартность его реакций на окружающий мир, механизм его бытия. Но похожее иногда бывает необходимым. Во-первых, человек должен быть «похож на самого себя», во-вторых, он теряется, если вокруг нет никого, кто был бы с ним схож привычками, идеалами; ему надо убедить окружающих в собственной аутентичности. И вот уже унылый, навевающий тоску образ «похожести» переосмыслен:

Ласковое сходство
вопреки жестокости слов

Безликое «слово» превращается в лирично звучащее «признание», каждый отчетливо

знает «свое имя», сходство осознанно как духовное единство.

О если б стала речь признаньем
постигнутых внезапно соответствий...

(Перевод А. Парина)

Движение к идее коллективной ответственности и делает вполне реальной эту надежду — знать «собственное имя», уничтожить пропасть между словом и явлением, найти живую, теплую речь вместо окостеневших штампов равнодушной безликости.

Решимость Варгафтига пробиться сквозь мертвые, пустые слова к тем словам, что необходимы людям, помогая им осознать «ласковое сходство» с другими, разделяют его единомышленники — Морис Реньо, Доминик Грандмон, Клод Адлен, Ален Ланс. Каждый из них, как и Варгафтиг, связал свою судьбу с коммунистической партией, чтобы

Познать ее силу
доказать правоту
жить незаметно но прямо
укрепляя общими корнями
склоны холмов

(Клод Адлен)

Художественная манера этих поэтов достаточно индивидуальна. Например, Грандмон в отличие от Варгафтига охотнее дифференцирует облик вещи, охотнее вводит в стихотворение лирическую исповедь, предпочитая иногда длинную (на несколько страниц) поэтическую фразу, которая как бы «наматывает» на себя наблюдения и размышления; Адлену ближе элюаровская строгость, афористичность; Ланс стремится зафиксировать и воспроизвести конкретную ситуацию, сцену, завершив ее философской сентенцией.

И тем не менее здесь ощутима эстетическая общность, которая позволяет рассматривать творчество Варгафтига, Реньо, Грандмона, Ланса как особое явление, явно отличающееся от «нового реализма».

Сосредоточенность на отчуждающем слове является как бы трамплином для броска в иную реальность, где «люди похожи на самих себя». Атмосфера, воссоздаваемая их книгами, отнюдь не идиллична. Здесь тяжкий труд («руки как из ваты», нервная дрожь «уставших пальцев с цементом под ногтями»). Здесь вещи «угрюмо молчат», а слова «столь свободны, что уж не о чем говорить» (Грандмон).

Здесь даже «в словах и движениях брата своего узнаешь слова и жесты хозяина» (Адлен); здесь «как сероватую ткань, нас, заживо омертвевших, прошивает машинка Зингера» (Ланс), или, как пишет Морис Реньо,

Я боюсь всех
всех живых
живой я боюсь
Я боюсь облаков
облаков бестелесных
я бестелесный боюсь
я боюсь крика
крика пустого
попусту я боюсь

(Перевод Н. Стрижевской)

Многими строфами предвещена в грядущем иная «география» добра и зла. Сегодня мы еще слышим из уст своего брата «речь хозяина», но завтра многие из тех, что пока солидарны с «хозяином», будут нашими братьями. Ведь они только «пленники своей каски» (стихи Грандмона о Чили), или, как в стихах Ланса о Вьетнаме, когда ведут

арестованных с завязанными глазами
слеп скорее конвоир
он у них в плену

Конвоир — побежденный, конвоир, который обманут и потому бессилен,— этим дерзким образом воскрешено элюаровское «люди должны понять слабость убийц»; воскрешена та мудрость, которая побудила Элюара завершить стихотворение «Мужество» решительной строфой:

Идиотская сила побеждена
Эти рабы наши враги
Если поймут
Если смогут понять
Поднимутся с нами

Агрессия бывает открытой, грубой, когда падают бомбы на беззащитные города и льется кровь; она бывает изощренной, утонченной, когда необходимо отрегулировать механизм буржуазных свобод:

При условии что
уличное движение не будет стеснено
при условии что
колонна обогнет торговые магистрали
при условии что
участники будут легко опознаваемы
и без сумок где может быть спрятаны
гранаты
при условии что
лозунги транспарантов не будут
противоречить духу конституции
демонстрация разрешена
ведь мы в свободной стране
правда ради безопасности
цепь бронированных машин
будет охранять демонстрантов
от возможной вспышки дурного
настроения сограждан

«По германскому образцу» назвал это стихотворение Ален Ланс, разоблачая ложь о правах человека в обществе эксплуатации.

Но если «ложь — их профессия»[1], поэт больше, чем кто-либо другой, обязан вступить с ней в борьбу: за слово в этом мире отвечает он.

Каждый звук человеческой речи весом и значим. Надо выхватить из мутного словесного потока, очистить от ржавчины лжи слова, без которых существовать невозможно.

Послушай произнеси слова
которые я не решаюсь произносить
произнеси один-единственный раз

[1] Mentir est leur métier — фраза образована Домиником Грандмоном по аналогии с названием известной книги Робера Мерля «La mort est mon métier» («Смерть — моя профессия»).

чтобы вернуть им новизну
Да — Надежда — Мужество —
Будущее.

(Морис Реньо)

Напряженное чувство ответственности передано в нервном, телеграфном ритме Морисом Реньо. Поэт обязан говорить, потому что радость в этом мире труднодостижима, поэт обязан говорить, потому что одиночество должно быть преодолено: в структуре стихотворения возникает сначала утверждение: «радость невозможна», потом: «одиночество невозможно», а между ними сигнал «SOS» — «поэт зовет», «поэт поет», поет, чтобы пробить брешь в стене одиночества, чтобы люди осознали единство своих целей.

В творчестве Варгафтига, Реньо, Грандмона, Ланса, Адлена гораздо отчетливее, чем в границах «нового реализма», движение реалистического метода. Лирический герой здесь сложен, как сложна сама действительность с ее разнонаправленными психологическими факторами: в нем множество эмоциональных позиций — страха, надежды, неудовлетворенности собой, отчаяния, мудрого спокойствия и готовности к борьбе. Обостренное ощущение слова в его соотнесенности с жизненно важными для человека понятиями, сосредоточенность на процессах девальвации слова, происходящих в буржуазном обществе и осознанных в конце 60-х годов как своеобразное поле идеологической борьбы,— вот чем определяется идейно-художественное своеобразие этой поэзии.

Идя по пути активной гражданственной поэзии, ее создатели не собираются гиперболизировать силу слова, им чужды иллюзии «леваков» от литературы, твердящих, будто «революция — дело языка». Но образ мира, чувство боли, возмущение, надежда должны быть переданы словом. С его помощью постигая мир, наши современники могут мир изменить, переделать.

Бернар Варгафтиг, с которым я познакомилась в Париже на книжном базаре, организованном воскресным майским днем 1977 года, ответил на мой вопрос о дальнейших планах с застенчивой улыбкой, но решительно: «Планы абсолютно ясны: писать стихи и строить во Франции социализм».

◆

ЛИДЖИЯ МАКОВЕЙ. Румыния.
Иллюстрация к стихам М. Эминеску

Ю. ФРИДШТЕЙН

ПОИСКИ И РАЗОЧАРОВАНИЯ

Об английских пьесах последних лет

История «новой драмы» в Великобритании открывается постановкой 8 мая 1956 года пьесы Джона Осборна «Оглянись во гневе» (лондонский театр «Роял Корт»)[1] «Новая драма» прошла через многие периоды подъемов и спадов, через первую и вторую «волны» (а критики сегодня всерьез и не без основания заговорили о «третьей волне») — и не утратила актуальности проблематики и социальной значимости. Вслед за Осборном появляется целая плеяда молодых драматургов — Джон Арден, Арнольд Уэскер, Шейла Дилени и другие,— которых отличает стремление критически осмыслить современную английскую действительность. Произведения этих писателей и сегодня, спустя более чем двадцать лет, продолжают привлекать внимание режиссеров и критиков.

В середине 60-х годов появляется группа драматургов, названная «второй волной» (Дэвид Мерсер, Эдвард Бонд, Том Стоппард, Дэвид Стори). Возникнув как антитеза Осборну и его соратникам, «вторая волна» вскоре вливается в общее русло развития драматургии Великобритании; и, сравнивая, например пьесы Осборна и Бонда, мы больше внимания уделяем сходству между ними, нежели различию. Эта общность проявилась в особой степени в начале 70-х годов, когда многие драматурги разных поколений словно бы сошлись на одной теме: месте писателя, художника в современном западном обществе и той роли, которую он должен — или может,— по их мнению, играть в жизни сограждан и современников. В центре их пьес оказались люди незаурядные, талантливые — и тем сильнее становится ощущение их беспомощности и апатии, душевного спада, томительного молчания. Попытаемся проследить, как раскрывают эту тему такие разные по своей творческой манере писатели, как Эдвард Бонд, Джон Арзен, Том Стоппард, Джон Осборн и Дэвид Стори.

Надо сказать, что пьесы, о которых пойдет речь, успешно шли и идут на сценах крупнейших лондонских театров. Актеры и режиссеры с интересом откликнулись на обсуждение проблемы, начатой драматургами, увидев в ней возможность высказать и свои мысли о роли художника в современном буржуазном мире. Мысли о творчестве, о том, что такое поэт, режиссер, актер, к чему ему следует стремиться, чего желать, на что надеяться, во что верить. А главное — каково его место в «коммерческом и технологическом обществе» (определение драматурга Эдварда Бонда), в мире, который один из героев пьесы Джона Осборна «Посмотри, как все рушится» называет миром, «презирающим фантазию».

■

Сложный путь прошел Эдвард Бонд за пятнадцать лет, отделяющие нас от премьеры его первой пьесы «Спасенные», героем которой стал простой парень Лен, умеющий быть добрым и человечным. Он спасает семью, в которой случайно оказывается, от взаимной ненависти и распада. Эта пьеса — единственная в творчестве Бонда, имеющая более или менее оптимистический финал, а Лен — единственный герой Бонда, которому что-то удается сделать.

Тема «спасителя» с тех пор становится центральной у Бонда, определяя смысл

[1] См. статью И. Левидовой «В театр приходит новый герой». «ИЛ» № 1, 1962.

многих его произведений. Одним из таких «спасителей» оказывается поэт Мацуо Басё, герой пьесы 1968 года «Узкая дорога на дальний Север». Басё жил в XVII веке, в предисловии же к этой своего рода притче Бонд пишет, что действие происходит в XVII—XIX вв.: он не имел намерения писать конкретно-историческую, еще менее того, биографическую пьесу — конкретные факты из жизни Басё его, очевидно, мало интересовали. Бонд ставит в центре реально жившего писателя и показывает, в чем выражается его роль в обществе, каковы его возможности, в чем смысл его пребывания в этом мире. Пьеса Бонда открывается вступлением, в котором Басё — поэт, мыслитель, философ — отправляется в далекое странствие в поисках «высшей мудрости». А по дороге, на берегу реки, он наталкивается на плачущего в траве ребенка. Басё проходит мимо: что для него один ребенок, когда миссия его, как он считает, в спасении всей страны от угнетения, тирании, беззакония?

«В идеальном обществе Басё подобрал бы ребенка и ушел со сцены — так что исчезла бы всякая необходимость писать пьесу». Эти слова Бонда подтверждают мысль о том, что создание пьесы было вызвано необходимостью в разговоре о современном буржуазном мире, который диктует людям их поступки.

Возвратившись через тридцать лет, проведенных на чужбине, Басё находит родину страдающей под игом тирана Сёго, того самого «ребенка», от которого в свое время отвернулся. А Сёго вырос и усвоил очень простую «истину»: если не хочешь быть порабощенным, поработи других. На смену тирании и жестокости Сёго приходят приведенные Басё иноземцы. Они свергают Сёго, но суть правящего режима остается прежней.

Гуманист и великий поэт Басё в пьесе Бонда поступает крайне негуманно: оставляет на произвол судьбы ребенка, а потом жертвой его непреднамеренной жестокости становится целый народ. Перед лицом реальной жизни художник в антигуманном обществе оказывается слепым и недальновидным, вся деятельность его обречена на неуспех — вот основной тезис Бонда в этой пьесе. Потому, обратившись вновь к образу реально существовавшего художника прошлого в пьесе 1974 года «Бинго», Бонд противопоставляет активности и поискам истины, присущим Басё, пассивность и апатию своего нового героя, которым на этот раз оказывается Шекспир.

Не гениальный драматург и поэт, умерший в расцвете сил, а старик, отошедший от мирских дел, думающий лишь о себе. Действие происходит в городе Стратфорд-он-Эйвон, куда Шекспир удалился на покой. Бонд ни словом не обмолвился о том, что позади слава и величие, жизнь, насыщенная событиями и поисками. На глазах Шекспира творятся неслыханные злодеяния, гибнут люди, процветает беззаконие, но неизменная ремарка автора пьесы: «Шекспир молчит».

В одном из своих интервью Бонд замечает: «Противоречия в характере Шекспира — это противоречия в сегодняшнем обществе... Мы говорим, что следует быть великодушными, добрыми, разумными. Но общество наше может существовать только при условии, что мы будем завистливыми, расточительными, алчными и жестокими...» И все же Бонд верит в силу искусства, в силу слова. «...Любое искусство воспитывает»,— утверждает он в том же интервью. На шатком равновесии между представлениями о беспомощности искусства и убежденностью в его великих возможностях и строятся многие произведения Бонда. Стремясь отрешиться от мира, герой Бонда предает в себе писателя-гуманиста, признается в собственном бессилии. В притче Бонда Шекспир умирает, принимая яд,— так он подводит итог своей жизни.

В пьесе «Шут» (1976) Бонд вновь обращается к реальному литературному прошлому Англии: ее герой — поэт XIX века Джон Клэр. Если раньше Бонд показывал писателя, чья сила давно позади, то в «Шуте» он воссоздает процесс становления поэта. Как пишет английский критик Мартин Эсслин, «в пьесе рассказывается история жизни человека, который вначале был лишь одним из многих, но который благодаря поэтическому дару отходит от толпы, становится все более одиноким и кончает полной отрешенностью от мира, безумием...»; а актриса Эврил Марш, принимавшая участие в спектакле «Шут» (лондонский театр «Роял Корт») считает, что пьеса Бонда написана «об изолированности художника», о том, что ее герой «не мог реализовать себя как поэт». Именно об этом — об одиночестве художника в западном обществе, о трагизме его судьбы — и рассказывается в «Шуте».

В первой картине мы встречаем Джона Клэра среди крестьян: ничем не отличающийся от других, он участвует в представлении, которое разыгрывается для «господ». Он еще не поэт — перед нами обычный человек, он бедствует, голодает, любит... Но в какой-то момент с ним происходит нечто — и вот он уже не просто крестьянин, не просто человек, он уже знает что-то о мире, неведомое «всем прочим»: он стал поэтом. Спустя несколько лет Клэр обзаводится семьей, детьми, хозяйством, но сам очень далек от повседневных дел и занятий. Теперь он живет стихами, творчество поглощает его целиком. Клэр жалуется, что книга не получается,— а жена недоумевает: как же так, ведь буквально весь дом завален стихами.

Бонд не ставит своего героя в какие-либо исключительные ситуации, как это было с Шекспиром и Мацуо Басё, нет, он показывает повседневную жизнь поэта, ее засасывающее однообразие. Отчаявшись, Клэр говорит: «К черту книги». И жена с радостью подхватывает его «идею» («муже-

---

Ю. ФРИДШТЕЙН
ПОИСКИ И РАЗОЧАРОВАНИЯ

нек излечился») и просит только об одном: чистя картошку, не срезать слишком толсто кожуру. Мы слышим горестный голос Клэра: «Моя голова полна стихов. Я не могу чувствовать себя человеком, пока не запишу их». И все время повторяющуюся жалобу: «Я так одинок».

Знатным «меценатам», поначалу поощряющим талант Клэра, чужд и непонятен его образ мыслей и ощущение жизни, он представляется им странным, потому — опасным. Разговор Клэра с миссис Эммерсон, «покровительницей искусств», идет параллельно с матчем бокса, происходящим тут же на сцене. Этот фон неслучаен. Бонд, очевидно, хочет подчеркнуть: подобно боксерской жизнь поэта — это тоже «вечный бой». Бой за право быть поэтом, за свою независимость, за свое место в литературе и жизни. И Шекспир, и Джон Клэр в интерпретации Бонда этот бой проигрывают — в последней картине «Шута» мы находим Клэра в сумасшедшем доме: он нем, безгласен, безумен...

■

Наиболее интересные пьесы Джона Ардена написаны в жанре исторической притчи. Причем Арден все больше удаляется в глубь веков: так, действие пьесы «Танец сержанта Мастрейва» (1959) происходит в Англии конца XIX века, в пьесах «Гёц фон Берлихинген» (1965) и «Последнее прости Армстронга» (1965) Арден описывает события, происходившие в Европе эпохи Реформации, героем пьесы «Свобода, дарованная левой рукой» (1965) становится английский король Иоанн Безземельный (XIII в.). И, наконец, в «Острове всемогущих» (1974), пьесе, о которой и пойдет речь, Арден обращается к эпохе легендарного Артура, короля бриттов (VI в.).

В этой пьесе действует несколько поэтов — и каждый несет определенную «смысловую нагрузку». Как и для Бонда, история для Ардена представляет интерес лишь в качестве материала для более глубокого постижения всегда современных проблем, в том числе — места писателя в трудные для нации дни, когда каждый должен особенно четко осознать собственное жизненное назначение.

В «Острове всемогущих» проходит целая эпоха жизни государства короля Артура: от его славы до гибели. И на всех этапах рядом с воинами, правителями, генералами оказываются поэты.

Режиссер Дэвид Джонс, поставивший пьесу Ардена в Королевском Шекспировском театре, сказал: «Думаю, что Арден считает себя поэтом в лучшем смысле этого слова — человеком, чья задача — видеть в жизни общества нечто сокрытое от невнимательных глаз. Одна из тем «Острова всемогущих» — роль поэта в обществе».

Арден сталкивает подчас противоположные точки зрения, пытаясь докопаться до сути. Вот перед нами старый поэт Телайзин: именно он в решающую минуту, когда на карту поставлена судьба народа и государства, оказывается в центре битвы, пытаясь примирить враждующие армии. Арден задает вопрос: способно ли в современном мире с л о в о предотвратить войны, трагические катаклизмы, способно ли оно излечить мир от бесчеловечности? И на примере Телайзина драматург демонстрирует невозможность столь однозначного решения вопроса — все много сложнее.

Тяжело раненный копьем в тот самый момент, когда он обратился с речью к враждующим армиям, пытаясь предотвратить кровопролитие, Телайзин погибает. И посылает в него это копье не кто иной, как Мерлин, носящий звание главного поэта Артура, центральный персонаж пьесы, являющийся либо комментатором происходящих в ней событий, либо их участником. Что же хотел сказать Арден, вложив это копье именно в руки Мерлина? Умирая, Телайзин проклинает Мерлина, предрекая ему вечные скитания, безнадежную утрату покоя. Быть может, Арден думает о том, что проклятие Телайзина и по сей день не снято, что именно оно определяет беспомощность современного поэта в том обществе, в котором живет Арден и о котором он пишет?.. После поражения армии бриттов и смерти Артура Мерлин сходит с ума и скитается по стране, а остатки армии бриттов во главе с неким Бедвиром ищут его. Для чего? Чтобы Мерлин снова вдохновлял воинов на дальнейшие подвиги, был летописцем их побед — или же для того, чтобы сладкими речами прикрывал нечестные дела правителей? Арден здесь нередко противоречит сам себе, склонен подвергать сомнению любые решения. Сталкивая противоположные точки зрения, писатель стремится найти истину — мучительно, медленно продираясь к ней и ведя за собой своего читателя. Итак, путь Телайзина наивен и малореален; поведение Мерлина жестоко. Быть может, истина где-то посередине? Прислушаемся к голосу еще одного поэта — самого молодого, Анеурина.

Анеурин рассказывает, как однажды он сочинил стихотворение и прочитал его бродячему музыканту, и тот запомнил его — и понес дальше... Анеурин напевает первые две строки сочиненной им песенки — и Мерлин вспоминает, что однажды уже слышал ее от лесного разбойника. И тогда на его скептические слова: «Человек, который пел твою песню, даже никогда не слышал твоего имени» — Анеурин отвечает: «Неважно. Он знал мою песню». Но что означают следующие слова Анеурина: «Лишь в темном лесу, в полном одиночестве поэт может постичь, что такое быть Поэтом?» Неужели Арден действительно считает, что только вдали от людей поэту удается познать истину, стать творцом и мастером? Пьеса завершается словами Анеурина: «Поэт без народа — ничто. Народ без поэта — это все-таки народ...» Но прав ли Анеурин, может ли народ жить без поэта? На этом и обрывается пьеса, оставив без ответа немало вопросов...

Бонд и Арден обратились к жанру исторической притчи, выводя либо реально су-

ществовавших художников прошлого, либо персонажей, имена которых почерпнуты из истории и преданий. Но история здесь модернизирована, она оказывается лишь поводом для раздумий о проблемах современной жизни.

И все же, если Бонд видит в истории лишь такой повод — и не более, то для Ардена прошлое Англии интересно само по себе, он пишет о нем с любовью и знанием дела, но в конечном итоге и у Ардена история насыщена параллелями с настоящим.

■

Особый вариант темы, своеобразный парафраз конфликта Моцарта и Сальери, возникает в пьесе Тома Стоппарда «Художник, упавший с лестницы» (1973). Бесталанные люди живут вполне благополучно; талантливый же художник Доннер погибает, причем Стоппард не открывает нам истинных обстоятельств его смерти. Пьеса Стоппарда — тоже притча. Но, в отличие от пьес Бонда и Ардена, это притча, если так можно сказать, «внеисторическая». Вместо исторических аллюзий и параллелей в ней мы обнаруживаем хитроумно сплетенный сюжет. Герои Бонда и Ардена довольно много говорят, им предоставляется возможность сформулировать свое жизненное и творческое кредо; Доннер же в пьесе Стоппарда и на это права не получает, зато высказывается некий Бошан, художник, лишенный таланта: «Каким способом может художник оправдать свое существование в обществе? В чем его роль? В чем смысл его жизни?.. Ни в чем. И ему не следует морочить людям голову и эгоистично претендовать на то, что в его существовании есть хоть какая-то необходимость. Просто художник счастливчик. В любом обществе, состоящем, скажем, из тысячи человек, найдется девятьсот, делающих свое дело, девяносто, делающих его хорошо, девять — отлично, и лишь один — кистью или пером,— фиксирующий работу этих 999 человек...» Таким образом, по мнению обывателя, художник беззаботно порхает по жизни, не зная никаких проблем и тревог, рожденный для сплошных праздников и удовольствий. Бошану — Сальери не дано понять Моцарта—Доннера, истинного художника и мастера, не дано подняться до высот истинной духовности. Подобно миссис Эммерсон в бондовском «Шуте», он способен усмотреть в художнике лишь непонятную, а потому враждебную и опасную силу и стремиться к ее уничтожению. Как и Бонд, Стоппард беспощаден к мещанам и обывателям, не принимает он их образ мышления, лишенный полета фантазии.

Характерную ситуацию, наглядно демонстрирующую мысль о сизифовом труде, на который обречен всякий художник, создал Стоппард в пьесе «Мост Альберта» (1969). Главный герой Альберт — художник, ставший маляром и нашедший удовлетворение в этой профессии. Вместе с еще тремя другими рабочими Альберт красит мост. На это уходят годы (но куда спешить?) — и к тому времени, когда покраска моста закончена, надо начинать все сначала. Однако кто-то изобретает краску, которая держится ровно в четыре раза дольше,— следовательно, не нужны четверо рабочих, достаточно одного. И единственный, кто соглашается на такую работу,— это Альберт, он забывает дом, жену, детей, свои прежние интересы — лишь мост становится смыслом и пафосом его дальнейшей жизни.

Итак, еще один вариант решения темы: художник, приспособившийся к жизни общества, нашедший своеобразное утешение в полном одиночестве, в утилитарном использовании своего дара. Перед зрителем довольно страшная картина: мост над пропастью, над ним, в люльке,— маленький, едва различимый с земли человечек. И так всегда, на всю жизнь?..

Склонный к символике и аллегориям, Стоппард солидарен с Бондом: художник обществу не нужен, он обречен на одиночество, непонятость. Причем — и в этом особый трагизм стоппардовской притчи — Альберт выбирает свою миссию добровольно, он и не пытается хоть как-то сопротивляться обстоятельствам, бороться с ними.

Дальнейший путь Стоппарда — наглядный пример того, к чему приходит буржуазный художник, разочаровавшийся в собственном предназначении, утративший веру в идеалы, которые были ему некогда дороги. В середине 70-х годов Стоппард от отрицания смысла труда художника приходит к пропаганде откровенно антидемократических идей. элитарности и индивидуализма. Мотив бессмысленности творчества, заведомой непонятости, на которую художник обречен, доводится Стоппардом до абсурда — отсюда тотальный пессимизм и безверие, которые присущи пьесам, написанным Стоппардом в этот период. Драматург, начинавший как критик буржуазного общества, доводящего живую и неповторимую человеческую личность до положения «винтика», пришел к отрицанию социального прогресса вообще, к неверию в творческие силы и разум честного художника. Развенчивая своих героев, Стоппард развенчивает и самого себя. На смену критическим рассуждениям приходят цинизм и скепсис, раздумья о смысле жизни интеллигента сменяются желчными и злыми зарисовками, цель которых показать бесплодность всяческих исканий и благородных устремлений. Жить, думая и страдая, трудно, потому лучше жить бездумно, не тратя сил на ненужные и бесполезные эмоции,— вот вывод, к которому приходит Стоппард сегодня и который принять невозможно.

■

О месте писателя в жизни общества, о судьбе собственной профессии склонен в

последние годы задумываться и зачинатель английской «новой драмы» Джон Осборн. Свои размышления Осборн открывает пьесой «К западу от Суэца» (1971). Ее герои — старый писатель Джиллман и его многочисленная семья — собираются вместе на каком-то отдаленном от Англии, от «цивилизации» острове (место действия — вымышленное). Здесь Джиллман и его спутники пытаются скрыться от тягот «века прогресса». «Я ненавижу прогресс. Никто не ненавидит его больше, чем я»,— заявляет Джиллман в интервью местной журналистке. Однако даже на этом острове, столь далеком от «цивилизации», нет покоя, нет счастья осборновским героям. Эту пьесу английские критики недаром назвали «чеховской», имея в виду, естественно, «Вишневый сад» (интересно заметить, что и сам Осборн давно мечтал написать именно «чеховскую» пьесу); подобно русскому писателю, Осборн размышляет об уходящем в небытие «старом мире», со всем его очарованием и больными вопросами. Осборн усиливает трагизм основного мотива «Вишневого сада»: если Лопахин еще способен оценить и разделить высокие чувства, гуманные и добрые порывы, то осборновские персонажи, которые противостоят Джиллману и его окружению,— всего лишь статисты, воплощающие печальные представления Осборна о «новой цивилизации», насаждающей цинизм, бездуховность, безразличие к человеческой жизни. Это прежде всего молодые американские туристы, попавшие на остров. В монологе, который один из них, Джед, произносит в финале пьесы, запечатлено его презрение к англичанам, к людям, уходящим в прошлое, чья связь с настоящим иллюзорна: «Все, что вам остается, все, что вам следует сделать,— это умереть, умереть. И весьма скоро. Совсем скоро. Завтра, например. Или даже сегодня». Мрачное «пророчество» Джеда сбывается в буквальном смысле: на виллу, где живет Джиллман со своей семьей, врываются вооруженные местные жители — и первым же выстрелом убивают Джиллмана. Так и завершается эта пьеса, открывшая нам Осборна — обостренно чувствующего конец «доброй старой Англии».

Герои пьесы Осборна «Дар дружбы» (1972) — тоже писатели: Джослин Брум и Билл Уэйкли. Содержание составляют их беседы: о творчестве, об отношении к жизни, к искусству. Говорит больше Билл Уэйкли, который много моложе Брума и еще сохранил в себе заряд бодрости и веры в жизнь. Именно в его уста Осборн вкладывает мучающие его самого мысли: «Я говорил уже, почему писатели никому теперь не интересны... Они озабочены проблемами вчерашнего дня и даже позавчерашнего. Будущее все больше утрачивает свое значение, становится несущественным...» И если Джиллман погибает, успев высказать свое отношение к жизни, Джослин Брум умирает где-то за рамками пьесы, тихонько и неслышно ускользает в небытие. Гибель писателей воспринимается не только как жестокий символ их неприспособленности к окружающему миру. Они — не просто чужеродное в нем тело. Их гибель красноречиво говорит о самом этом обществе без будущего.

В инсценировке романа Уайльда «Портрет Дориана Грея» (1973) Осборн, казалось бы, следует за первоисточником. Однако в центре внимания драматурга не Дориан Грей, а художник Бэзил Холуорд, написавший портрет Дориана Грея. Он пытается спасти Дориана от пагубного влияния циничного и жестокого ума лорда Генри, видя в юноше прекрасное творение природы, которое хочет сберечь и сохранить. Но Холуорд гибнет, потому что попытался вмешаться в реальную жизнь, пойти против течения. Осборновская интерпретация романа Уайльда воспринимается как еще один вариант тех размышлений о художнике, которые занимают Осборна в последние годы.

Действие пьесы Осборна «Посмотри, как все рушится» (1975) происходит в здании бывшего вокзала, превращенном в некое подобие жилья. Здесь собрались люди, связанные родственными или дружескими узами: кинорежиссер Бен, когда-то прогремевший на Каннском фестивале, впоследствии даже получивший «Оскара», его жена Сэлли, мечтающая стать писательницей, писатель Глен, его подруга Джо, еще несколько человек. Подобно героям пьесы «К западу от Суэца», эти люди пытаются создать некий островок, на котором можно было бы спрятаться от быстротекущей жизни. Но терпят фиаско. Причем поначалу кажется, что Осборн видит выход из тупика, в котором оказались его герои,— в любви, в добром и заботливом отношении к людям, в стремлении все понять и умении простить.

Кульминацией столь неожиданных рассуждений становится монолог Джо, обращенный к двум людям, которые ей особенно дороги,— Бену и Глену. «Мы будем дружить и любить друг друга,— говорит она.— Мы не станем бояться быть сентиментальными или романтичными...» И дальше: «О, Глен, я благословляю тебя за жизнь, которую ты дал мне, и тебя, Бен, за твою работу и боль, которую ты стремишься преодолеть... Мы будем говорить и думать о любви, даже если в нас еще есть остатки ненависти...» Однако уже следующие реплики персонажей пьесы показывают всю нежизненность и наивность мыслей Джо. Дурман иллюзорных представлений о жизни скоро рассеивается, проступает действительность. Слово берут Глен и Бен. Глен: «В последние годы я стал писать книги о людях, потому что мне казалось, я могу показать им их вчерашний день и сегодняшний... Но слишком поздно. От моих книг нет никакого толка. Слишком поздно. Век вырвал почву у меня из-под ног». Бен: «В моих фильмах нет ничего особенного. Какой в них смысл?.. Как можно быть романтиком в мире, презирающем фантазию...» Бен продолжает: «Что же это будет? Он еще не развернулся вовсю. Двадцатый век». Так Осборн уже не впервые

устами своих героев высказывает собственный страх перед наступлением века, «презирающего фантазию», века, западный вариант которого враждебен романтике, мечте, всему лучшему, что заложено в человеческой природе...

Сюжет и этой пьесы неудержимо ведет к трагическому финалу. Умирает от тяжелой болезни Глен, кончает самоубийством Джо, бросившаяся под поезд. Какие-то бандиты обстреливают дом и убивают Бена, и Сэлли говорит ему, умирающему: «О Бен, не уходи. Не покидай меня. Все мы, нас так мало, все мы нужны друг другу». Подобно смерти Джиллмана и Брума, неожиданная гибель Бена — столь же явный символ умирающей «старой цивилизации». Они в чем-то сильно отстали от жизни — и Осборн резко, жестоко подчеркивает чуждость своих героев веку буржуазного «прогресса», их оторванность от действительности, враждебность этой действительности по отношению к ним. В отличие от Бонда и Ардена, создающих свои исторические притчи, в отличие от Стоппарда, придумывающего головоломные ситуации, Осборн находит своих героев в реальной действительности,— это живые англичане, увиденные глазами писателя, их современника. Осборну не нужно ничего придумывать — стоит лишь прислушаться к разговору на улице, в кафе, открыть газету, посмотреть новый спектакль.

Героями телевизионных пьес Осборна «Мама, ты не смотришь на меня» и «Немного нежности» (1978) вновь становятся художники, люди творчества: талантливая актриса Джемина и незадачливый писатель Тэд. Этих двух людей объединяет одно очень важное свойство—любовь к своей профессии, понимание смысла и важности творчества. И не только творчества. Гражданская активность для них также существенна. В Джемине и Тэде есть сила духа, убежденность, вера в свое предназначение, что отличает их от персонажей предыдущих произведений Осборна — Джиллмана, Брума, Глена. Эти две скромные теленовеллы существенны для позиции самого Осборна: не уход от жизни, а активное вторжение в нее — вот установка его новых героев. В пьесе «Мама, ты не смотришь на меня» Осборн называет сегодняшний день в английской истории «днем хронической, все усиливающейся инфляции». Причем инфляции не только в экономической области, но и духовной — вот почему, по мысли автора, именно сегодня особенно значительной становится роль художника в английском обществе — роль своеобразного идейного лидера, писателя-гражданина и общественного деятеля, не имеющего права замыкаться в башне из слоновой кости...

■

Действие пьесы Дэвида Стори «Класс живой натуры» (1975) происходит в провинции, в художественной школе, где работает преподавателем живописи талантливый художник Эллот. Персонажей ее мы застаем в самый обычный для них день: постоянная натурщица, привычные шутки — словом, все как всегда. Из речей Эллота, обращенных к ученикам, мы понимаем, что перед нами человек незаурядный, наделенный большими знаниями и разнообразными способностями. Он пытается внушить им любовь к прекрасному, учит преклонению перед красотой, стремится привить им тонкий вкус, без которого немыслим художник. Но всем дальнейшим ходом действия Стори развенчивает своего героя, убеждая нас в том, что в решающий момент Эллот оказывается человеком апатичным, беспомощным, лишенным воли. Стори вводит в пьесу сцену чудовищного насилия, происходящего у всех на глазах. Каждый из студентов реагирует по-своему — молчит лишь Эллот. Даже не молчит, а просто отсутствует — Стори не дает ни единой ремарки, которая хоть как-то объяснила бы нам состояние души его героя в этот момент. Молчание Эллота сродни молчанию бондовского Шекспира — это еще одна вариация на тему о беспомощности художника в современном западном мире.

Таковы смысл и суть сегодняшних поисков видных английских драматургов, одновременно задумавшихся о роли собственной профессии, о взаимоотношениях, возникающих между художником и современным западным обществом. Их пути к постижению этой проблемы были различны. Осборн и Стори, писатели реалистического направления, пришли к ней через изображение бытия рядового интеллигента, задыхающегося от тягостной бездуховности западного образа жизни. Эдвард Бонд, склонный к наставничеству, морализаторству, превращающий подчас свои социально-литературные притчи в некий урок на темы нравственности, попытался увидеть и обрести в художнике «спасителя», задача жизни которого — в искоренении зла, творящегося в окружающем их мире, в облегчении участи человека, в этом мире живущего... Но поиски бондовских героев заканчиваются фиаско, перед лицом реальной жизни они оказываются слабыми и обреченными на безгласность. Писатель и народ, писатель и история — так можно определить содержание исторического парафраза Джона Ардена «Остров всемогущих», пьесы, в которой автор стремится раскрыть различные возможности поведения художника в критической для страны ситуации.

Пьесы, о которых шла речь, воспринимаются как единый рассказ о трудности судьбы художника в сегодняшнем западном мире, о том, как тяжела его жизненная ноша. И все же своим собственным творчеством, собственной активностью писатели отвечают на поставленный ими вопрос единодушно: да, художник нужен. И пусть его путь непрост, а участь подчас печальна — все равно художник должен оставаться верным своему предназначению.

◆

ДЖОРДЖЕ МАКОВЕСКУ

КОЛДОВСТВО ЗЕМЛИ

Перевод с румынского и вступление МИХАЙЛА ФРИДМАНА

Румынский поэт Ангел Думбрэвяну писал недавно в статье, посвященной 65-летию Джордже Маковеску, что его, известного писателя, ученого, крупного общественного и политического деятеля, в последнее время «все чаще осаждают просьбами рассказать о далекой поре молодости...». Фрагменты воспоминаний Дж. Маковеску были опубликованы на страницах журнала «Манускриптум» и ряда других изданий, не говоря уже о выпущенных в последнее время книгах — «Высокие мечты», «Возраст времени», «Колдовство земли». Но вот что бросается в глаза: чем настойчивее просят его рассказать о себе, тем охотнее пишет он о других. А если — и о себе, то как об одном из многих. В этом сказывается, естественно, не только скромность человека, прошедшего большую и богатую событиями жизнь. Не только привычная реакция подчинять мысль о себе велению событий, ритму истории. Главное иное: позиция бывалого бойца, во всем и всегда видящего себя участником общего дела, строителем социализма.

Но с тем же правом, с каким художник стремится «слить» свою биографию с биографией своего поколения, своего народа, можно и отобрать во фрагментах воспоминаний то, что касается лично его, выстроить эти скупые сведения в жизненно логический ряд, восстановить таким образом путь писателя и путь поколения, сыгравшего незабываемую роль в судьбах новой Румынии. И определить — крайними точками этого пути — «возраст времени», жизненный тонус нашего революционного столетия.

А жизнь и творческая судьба Дж. Маковеску знаменательны. На одном конце — детство учительского сына, нищего сельского мальчонки, родившегося в 1913 году «под знаком войны и потерь», постигавшего азы грамоты в школе, поврежденной снарядом, на другом — профессура в Бухарестском университете. На одном конце — годы, когда букварем служила газетенка, выписываемая отцом, на другом — долголетняя работа публициста, коммуниста, считавшего своим долгом говорить правду в стране, где к власти рвались фашисты. На одном конце — детство, «которое не знало игр в солдаты и войну», ибо настоящая война ворвалась в родной дом, отняла отца, погубила мать, на другом — деятельность посла народной Румынии, а затем на протяжении нескольких лет и министра иностранных дел. На одном — робкие литературные опыты в годы юности, когда испытание голодом достигало порой двух, а то и трех суток, когда чтение стихов Тудора Аргези квалифицировалось в лицейском интернате как «преступление», на другом — многогранная работа руководителя писательской организации социалистической страны.

История нашего времени уже научила видеть в подобных взлетах закономерность, разумную последовательность. Тем более убедительно звучит в послевоенных очерках и статьях Дж. Маковеску призыв помнить о прошлом и не повторять его ошибок.

В труднейших нелегальных или полулегальных условиях, когда начинался творческий путь Маковеску, он умел продуманно выбирать наиболее уязвимые «болевые участки» общества и писать о них убедительно и точно, с ошеломляющей достоверностью. В его коротких, внешне неброских очерках вставал образ представителя самого многочисленного класса страны — трудового крестьянства, «тратившего на пропитание 12 лей в день» (чего едва хватало на мамалыгу, фасоль и... лебеду), подвергавшегося нещадной эксплуатации на молотильных токах и в недрах горных разработок Западных Карпат. В них слышался голос румынской детворы, восемьдесят процентов которой жило впроголодь (4000 умирало в месяц!), мечтая о рационе домашней собаки в зажиточной семье. (Обращаясь к одной из этих холеных собак, щеголявших в теплых башмачках, писатель просил ее «от имени многих ближних, от имени людей: не найдется ли у нее пара ненужных, изношенных башмаков для семилетнего мальца, что бегает босиком в февральскую стужу?..».)

От рассказа об изнурительном труде докеров в порту Констанцы он переходил к описанию доли бедных студентов, мечтавших попасть в туберкулезный санаторий,— в стране, где «лишь один больной из двенадцати мог получить такую койку». От размышлений о контрастах бухарестских улиц — к описанию путешествия по Америке, к подтвержденному фактами и аргументами выводу о том, что США — вовсе не есть «земля обетованная», но «земля разочарований»... И далее — к уверенному заключению, что обновление жизни возможно только на социалистическом пути.

То был голос человека большого мужества. Ибо, как отмечал сам Дж. Маковеску (говоря, разумеется, о д р у г и х), «быть левым журналистом в период, когда легионеры убивали на вокзальных перронах премьер-министров страны, когда с противниками они расправлялись с помощью кинжалов, пистолетов, а то и ручных пулеметов, было делом отнюдь не простым. Выступать против проникновения фашизма в страну, выставлять на всеобщее обозрение методы подкупа румынских политиканов гитлеровцами, осуждать меры, принимаемые правительством против рабочих, писать о коммунистической партии, когда одно упоминание о ней считалось наказуемым преступлением,— все это было проявлением гражданского мужества, за которое часто приходилось дорого платить».

Но он «за ценою не стоял», он боролся. Кровавый лик фашизма виделся ему прежде всего в образе надвигавшейся войны: японские бедняки «за плату, равную 42 леям в день, опробовали на себе противогазы в специальных газовых камерах»; в Гернике и Бильбао «опробовалась техника массового убийства»; а Франко «с улыбкой прохаживался среди руин городов, разрушенных немецкой и итальянской авиацией...».

Отвратительным был и лик фашизма — погромщика культуры, ненавистника светлых идей. «С выпирающими челюстями и скошенными лбами, растоптав идеи и чувства, возглавили парад!» — предостерегал писатель.

Тот же голос напоминал, что и в буржуазно-помещичьей Румынии, где классики литературы преданы забвению, где в родном селе Эминеску нет даже начальной школы, а на улицах Бухареста побираются больные чахоткой поэты,— зеленорубашечники стали воздвигать костры из книг писателей-демократов, из левых газет и журналов. Банды книгорубов и факельщиков осаждали газетные киоски, избивали тех, кто покупал демократические издания. И Маковеску не только выступает со статьями в защиту прогрессивных деятелей культуры, он выходит на улицы вместе с товарищами по борьбе — с рабочими типографий, писателями, журналистами. «Вооруженные одной лишь беззаветностью молодости», полные решимости «не дать заглохнуть слову партии», они в рукопашных схватках защищают свое печатное слово, которое несло людям правду.

В годы войны Джордже Маковеску — один из сотрудников подпольной редакции «Ромыния либерэ» — органа патриотических сил, объединенных вокруг коммунистической партии. Об этой редакции, действовавшей «везде и нигде», получавшей обильный материал даже из тюрем, где томились антифашисты, от сотрудников, которые рисковали жизнью, добывая материал для крохотной заметки, он напишет проникновенные слова уже после 1945 года. И одним из первых его легальных выступлений станет очерк «Сумерки сатаны» — о закате рейха благодаря приближающейся победе Советской Армии.

Активная и разносторонняя деятельность после освобождения Румынии от фашистского ига значительно расширяет диапазон публицистической тематики писателя. Он рассказывает об обновлении румынского села и о беспросветной судьбе индейцев, вымирающих в резервациях Южной Флориды; о благах электрификации Румынии и о гибели ценнейших памятников культуры в древнем Вавилоне. Его тревожат мысли не только о том, поспеет ли нравственный мир гражданина нового общества за бурными темпами научно-технической революции, но и сумеют ли правильно понять труженики земли сущность той планомерной борьбы за мир, за будущее человечества, которую ведут социалистические страны.

Он пишет о мемориале в Разливе, где «Ленин изложил на бумаге тезисы, которые должны были несколько месяцев спустя открыть золотые ворота перед человечеством». О радостном новогоднем вечере на Новом Арбате в Москве, о бое часов на

Спасской башне: «Я слушал бой часов и думал о неостановимом беге времени и о преобразованиях, принесенных им...»

Его память — неистощимый кладезь сведений о героической поре довоенной румынской публицистики, о славном пути Ал. Сахии, Дж. Богзы, Н. Кочи. Он рассказывает о своих встречах с М. Садовяну, З. Станку и другими крупнейшими румынскими художниками слова. Его выступления проникнуты уверенностью, что сегодняшний и завтрашний день румынской литературы зависят от того, насколько прочны будут эти традиции, насколько плодотворно они будут развиваться. И хотя, как он заявил в одной из статей, «в социалистической Румынии нет башни из слоновой кости», он считает необходимым напоминать об особой ответственности писателя в годы созидания новых общественных отношений, о его обязанности чутко прислушиваться к голосу эпохи.

Жизнь Дж. Маковеску, его неустанный сорокапятилетний труд — символ единства прошлого и настоящего румынской литературы, единства лучших ее традиций. Ощущение вечно обновляющегося времени пронизывает его творчество — и прозу и поэзию. Ибо, как признает он, «самым желанным средством выражения остается поэзия». И если поэзия порой печально напоминает: «Ночью /я вдруг увидал, как в окно убегало время, /и в страхе позвал его/. Оно обернулось, всмотрелось в лицо мое,/ словно хотело сказать: /«А как же иначе?»/ — и продолжало свой бег. /Я слышал звуки шагов, /и ночь поглотила их. Тишина заполнила пространство/ меж мною и временем...», то проза уверенно заключает: «Минули годы?.. И пусть! Что мне до них? Я ношу в себе колдовство земли, баюкавшей мои первые шаги...»

Случай в Нью-Йорке

Несколько дней тому назад одна из нью-йоркских радиокомпаний «Американ Бродкастинг корпорейшн» передавала инсценировку «Войны миров» Г. Уэллса. Сопровождающие ее шумовые эффекты были использованы при этом столь правдоподобно, что у слушателей возникло впечатление подлинного участия в войне миров, о которой писал Уэллс. Известные американские режиссеры оказались на высоте: радиоспектакль был достоин их славы.

Но вот слушатели не ограничились одними «художественными переживаниями». Волнение, охватившее их, оказалось самым настоящим и не нуждалось ни в каких определениях. Когда действие достигло кульминации, люди, собравшиеся у радиоприемников, потеряли власть над собой — начались сцены, встречающиеся лишь в моменты катаклизмов. Люди выбегали на улицы с криками: «Нью-Йорк погиб!» Женщины вопили, что настал конец света, дети кричали со страху. В течение получаса царила атмосфера ужасающей паники, отмеченная трагическими сценами, каких ни Америка, ни остальной мир еще не видывали. Пришлось выступить с немедленным опровержением, объяснить сущность передачи, дабы успокоить американских жителей.

Можно по-разному оценить случившееся в Нью-Йорке, но одно несомненно: оно в точности отражает суть эпохи, в которой мы живем, дух этой эпохи. Человечество живет в страхе перед войной. Истина эта бесспорна. Можно приводить множество доказательств, свидетельствующих об отвращении людей, народов к надвигающейся бойне.

Месяц тому назад мы пережили дни кануна военных действий, и те, кто не раз наблюдал поведение людей в минуты особых испытаний, увидели, что забыты были все прочие интересы,— человеком владело лишь чувство самосохранения, оно заставляло его делать все во имя своего спасения. Мы видели людей, требовавших мира. Его требовали и целые народы. Но были сделаны уступки — их вредоносность скажется со временем еще болезненнее,— только из страха перед кровопролитием, куда более жестоким, чем в те времена, когда люди уничтожали друг друга тяжелыми палицами, обжигали кипятком, бросали друг в друга горшками, полными ядовитых змей, или когда с пленных живьем сдирали кожу.

Несмотря на все громкие заверения, на усилия, затраченные во имя прочного мира, мы переживаем более чем мучительный кошмар. Чувство ужаса парализует человека, творческий дух притаился, весь мир подобен трусливому ежу, готовому укрыться под защитой своих колючек.

Так жить более невозможно. Подобная жизнь бессмысленна, это зияющая брешь в истории, и будущие поколения дорого заплатят за нее.

И все это по той причине, что существуют лица, занимающие весьма ответственные государственные посты, позволяющие себе в наш XX век утверждать: «Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет».

Эта формула, обозначившая позорным пятном наш век, синтезирует самую суть этих людей, превыше всего ставящих насилие.

В такие времена случай в Нью-Йорке нельзя отнести к простому проявлению коллективного психоза. Назовем вещи своими именами: это проявление страха человечества перед войной — человечества, напуганного режимами, которые следовало бы как можно скорее выбросить на мусорную свалку истории.

1938

Сумерки сатаны

Это было вечером 30 января 1933 года. Двадцать пять тысяч штурмовиков маршировали по улицам Берлина с факелами в руках. На Вильгельмштрассе, стоя у окна рейхсканцелярии, Гинденбург рассеянно наблюдал за шумным прохождением колонн молодых людей. Он думал, наверно, о тех многочисленных парадах, которые ему доводилось принимать в жизни, и о том, что отряды, проходившие теперь под его окнами, ничем не напоминали былые войска. Опытным глазом старого рубаки он видел, что молодые люди мало смыслили в военном деле, да и равнение они не очень-то соблюдали. Зато старательно тянули руку кверху наподобие римского приветствия и не умолкая кричали что-то вовсе не понятное ему, старому маршалу,— такое, что он никогда не позволил бы кричать вверенным ему войскам.

Рядом, у соседнего окна, кто-то отвечал проходившим колоннам таким же жестом правой руки. То был новый рейхсканцлер, Адольф Гитлер. На лице его застыла улыбка, выражавшая не радость, а лишь удовлетворение. Наконец-то он, австрийский капрал, стоял рядом с маршалом Гинденбургом, а перед ним проходили тысячи его «ребят».

Что понимал во всем этом старик? Ровно ничего... Зато тот, Гитлер, прекрасно все понимал. Более того, он знал, что́ ему надо делать. Впрочем, на окраинах столицы «ребята» уже приступали к работе, план поджога рейхстага был разработан до мельчайших подробностей, а концлагерь в Дахау — готов к принятию «постояльцев».

Все это происходило 30 января 1933 года.

Прошло двенадцать лет. Такой же вечер 30 января 1945 года. Улицы Берлина погружены во мрак, того и гляди завоют сирены воздушной тревоги. В развалинах жутко воет зимняя стужа. У перекрестков зорко следят за движением патрули. Только в районе министерств не затихает движение — на автомашины грузят тяжелые ящики. Правительство покидает столицу, правительство укрывается в баварских горах.

В это же время на всех радиоволнах во всем мире передают последние известия: армии маршала Жукова наступают на Берлин... Гарнизон в Познани окружен... Захвачен Бейт... Железная дорога Данциг — Штеттин перерезана... За 14 дней наступления советских войск немцы потеряли 308 000 убитыми... Мавзолей в Танненберге взорван отступающими гитлеровцами... Советские войска в 120 километрах от Берлина...

В этот вечер исполнилось двенадцать лет со дня захвата власти нацистами. И Гитлер, конечно, вспомнил парад на Вильгельмштрассе, крики толпы, невыразительную фигуру Гинденбурга.

Среди наполнивших эфир известий о неминуемом крахе нацистской Германии с трудом пробивался хриплый голос фюрера, пытавшегося убедить немецкий народ, что он... выиграет войну. Веский аргумент? Провидение не покинет Германию. И для вящей убедительности он напомнил, что 20 июля 1944 года бомба, разорвавшаяся в полутора метрах от него, не причинила ему, «избраннику небес», никакого вреда.

Ничего путного за эти 15 минут он так и не сказал. Да и что он мог сказать? И все же нетрудно было заметить, что и Геббельс приложил руку к речи фюрера, так как в ней содержались довольно прозрачные намеки насчет того, что западные союзники мало что выиграют от краха Германии.

Гитлер выступил по радио вечером 30 января 1945 года. Но это был уже не тот новоявленный канцлер, который двенадцать лет назад, стоя рядом с Гинденбургом, принимал парад на Вильгельмштрассе. Теперь до него долетал гул битвы, приближавшейся с Востока, он видел остатки своей разгромленной армии, а вокруг простирались одни руины, всюду были одни страдания.

Гитлер хотел войны. Он получил ее. Красная Армия приближается к Берлину.

1945

Суд истории

...Порою я мысленно обращаюсь к прошлому, ко всему пережитому мною и сравниваю его с той картиной о нем, которая создается в современных исследованиях. При этом я всячески стараюсь, при неизбежно субъективном подходе к явлениям прошлого, имевшим место по обеим сторонам баррикад, устранить в душе любое воздействие ненависти или предвзятости. Не могу, однако, не заметить, что — вольно или невольно — в изображении прошлого обходят порой драматические его аспекты, сохраняя лишь аромат минувшего, причем аромат фальшивый.

Я думаю о литературной жизни межвоенного периода — одной из наиболее бурных эпох в истории румынской культуры. То была буря, потрясшая самые глубины духовной жизни румынского народа. Противоборство стало тотальным, бескомпромиссным. И речь шла — не так, как это освещается в иных трудах о том периоде— не о борьбе литературных кружков, о полемике между собой тех или других групп, о диспутах между различными журналами. Речь шла о беспощадной схватке между мировоззрениями, между демократией и фашизмом.

Первая мировая война до основания потрясла старый мир, вызвав самый тяжкий кризис в его истории. Золотой эпохе буржуазии настал конец. Великая Октябрьская социалистическая революция заложила основы нового общества. Солдаты, вернувшиеся с фронта, вместе с новыми идеями выдвигали и новые требования. Призрак, о котором писали Маркс и Энгельс, бродил

ДЖОРДЖЕ МАКОВЕСКУ
КОЛДОВСТВО ЗЕМЛИ

по Европе. Но вот прошло несколько лет после войны, и эксплуататорские классы приняли все меры, чтобы упрочить свои позиции и помешать развитию демократии.

Так случилось и в Румынии. Наша коммунистическая партия, основанная в 1921 году, существовала в легальных условиях лишь три года. И это в то время, как ввезенный из-за границы и подкармливаемый заграничными фондами фашизм, послушно заимствовав формы и униформы у партий и движений других стран, стал действовать все более напористо. Так появились кузистские и легионерские отряды, которые вместе с другими правыми группировками представляли вплоть до августа 1944 года самую гибельную для народа, для прогресса во всех областях жизни силу. Для тех, кто не пережил этих времен, фашизм — понятие абстрактное. Для тех, кому пришлось непосредственно его узнать,— фашизм представлял конкретное опасное явление, с которым они сталкивались постоянно во всех областях. Ибо речь шла не только о полувоенизированных отрядах молодчиков в подпоясанных ремнями синих или зеленых рубашках, вооруженных кастетами, штыками, пистолетами и автоматами. За спиной этих отрядов, готовых на самые ужасные преступления, которые совершались когда-либо на земле Румынии, стояла своя идеология смерти, ненависти к жизни, презрения к человеку, отрицания самых элементарных его прав — идеология, которая должна была преградить путь демократии. В те годы бороться за демократию, за прогресс, за цивилизацию означало бороться против фашизма.

Сегодня, когда говорят или пишут о фашизме, иной раз сводят это явление к диким зверствам, к политике предательства интересов нашей страны, нашего народа и почти не замечают или вовсе игнорируют идеологический его аспект. Но мы не должны, мы не можем игнорировать ту истину, что в межвоенный период в Румынии существовала четко оформленная фашистская идеология с определенными целями, разнообразными формами организации — идеология, обслуживаемая отнюдь не беспомощными интеллектуальными силами. Я говорю об этом для того, чтобы не подумали, будто демократические силы Румынии имели дело в 1920—1944 годы с одними громилами, хулиганами, преступниками. Им пришлось бороться с идеологией, которая по мере усиления международных и внутренних позиций фашизма становилась все более агрессивной, нетерпимой, опасной для духовной жизни нашего народа, для развития его культуры.

Надо признать, что во многих случаях фашистские идеологи изрядно преуспели в своей деятельности, направленной на смешение понятий «национальное» и «националистическое», «опыт прошлого» и «мрачный застывший традиционализм». На все лады, всеми средствами воспевались древности и архаика. Свидетельство тому — философия, искусство, литература, пронизанные фашистской идеологией. И мотивировалось это характером нашей истории, истории земледельческого народа, единственной защитой которого от ударов истории было сохранение изначального образа жизни, обычаев и традиций, идущих из туманных глубин прошлого; мотивировалось это и неприспособленностью румынского народа к новым идеям, новым формам цивилизации. Всячески утверждалась мысль, что в Румынии невозможна иная цивилизация, кроме как крестьянская, ибо румыну чужда любая другая форма жизни. Отсюда и идеализация деревенской жизни.

Идеологи фашизма всячески распространяли теорию, согласно которой демократия не соответствует румынской действительности. На страницах журналов, книг, газет того времени — в этом любой может легко убедиться — велась бешеная, упорная, настойчивая кампания, направленная на дискредитацию в глазах народных масс Румынии понятия демократии. Средства и методы были разнообразны — порой грубые, вульгарные, подлые, иногда достаточно утонченные, но конечная их цель ясна любому. Утверждалось, что по своему характеру, образу жизни, мыслей, чувств румын — индивидуалист и потому не в состоянии усвоить идеи демократии, они чужды ему и чуждыми останутся. Этот так называемый индивидуализм раздувался до необычайных размеров, подкреплялся аргументами из далекой истории и делался вывод об «особом предназначении» румын. Отсюда и до апологии диктатуры и тоталитаризма было рукой подать.

Основной концепцией фашистской философии был «трэиризм»[1]. Ничего нового в нем не было, да и быть не могло: это был румынский вариант понятия «vivere pericolosamente»[2]. И если философией тут и не пахло, то политический смысл был совершенно ясен. Человек — согласно фашистской концепции — должен жить, не постигая смысла явлений жизни, не проявляя своего отношения к ним. Человек должен жить (конечно, так, как указывали ему), но не размышлять. Следующим шагом было слепое подчинение, диктатура.

Отличительным проявлением идеологического наступления фашизма была борьба против рационализма. Один из представителей фашистской идеологии в Румынии писал: «Эпоха Возрождения была, в сущности, началом современной духовной агонии». Отвергая Возрождение, он тем самым отвергал дух рационализма, свойственный той эпохе подлинного расцвета человеческой цивилизации, подобными абсурдными утверждениями пытался скомпрометировать то, что представляет суть прогресса и основу современной духовной жизни. Страх перед homo sapiens, перед человеком, задающимся вопросами и ищущим ответы, мыслящим и действующим в соответствии со своими решениями, про-

[1] От глагола «a trăi» — жить *(румынск.). (Здесь и далее — прим. перев.).*

[2] Здесь: жить острыми ощущениями *(итал.).*

низывает фашистскую идеологию, ибо политический фундамент подобного реакционного движения можно было построить не с людьми, которые мыслят, а с теми, кто живет, не думая.

В одном из обращений Румынской коммунистической партии периода захвата власти фашистами говорилось, что фашизм означает не только удушение рабочего движения, не только уничтожение демократии, не только войну, но и «преследование всего прогрессивного, всего интеллектуального, запрещение любого свободного проявления мысли».

Агрессивная фашистская идеология не могла остаться и не осталась без ответа. И если говорить об интеллигенции Румынии тех лет, то великая заслуга большинства ее в том, что она не дала себя обмануть, что выступила против этой идеологии. Наиболее яркие представители художников слова находились в рядах тех, кто считал борьбу с фашизмом делом чести.

1971

Традиции

Когда настанет черед создания истории социальных битв межвоенного периода, публицистике, несомненно, будет выделена особая глава. Внимательное ознакомление с огромным материалом, который все еще ждет своих исследователей, выявит одну не подлежащую сомнению истину, а именно то, что наша коммунистическая партия оказывала особое влияние на публицистику тех лет Сопротивления, которые мы не можем и не должны забывать, ибо они ознаменовали важнейшую веху в истории румынского народа.

Что же отличало публицистику, находившуюся под непосредственным влиянием коммунистической партии? Коротко можно было бы ответить так: ее отличали актуальность, разнообразие, жизненность. Журналистика по самой своей сути обращена к современности, хотя и тут возможны случаи ухода от нее. Но румынская левая публицистика неизменно держала руку на пульсе времени. Лупенские забастовки, ужасные условия труда кожевенников, задержка в оплате труда рабочим Гривицы, рост безработицы, отсутствие санаториев для больных туберкулезом, дикие расправы с узниками тюрем Дофтаны, Аюда, Карансебеша, скандальная афера Шкоды, стоившая государству многих миллионов, вопрос о месте захоронения писателей, подготовка Гитлера к войне, преступления громил гого-кузистов, которые вели страну к фашизму, перебои с продажей хлеба, костры из книг на площадях, глумление над национальным достоинством нашего народа со стороны тех, кто импортировал идеи фашизма — гитлеризма, франкизма... Всегда находились острые перья, умевшие пригвоздить виновных к позорному столбу. К чести румынской литературы мы должны сказать— и твердить об этом неустанно,— что крупные писатели межвоенного периода (из которых одних уже нет в живых, а другие продолжают работать) не жалея сил разоблачали преступления, корысть, подлость, измену родине и народу.

В те годы активно использовались самые разнообразные жанры публицистики — заметки, репортаж, памфлет, полемические статьи. Публицисты выбирали наиболее подходящие средства в зависимости от поставленной цели. Это не было искусством ради искусства — искусство было оружием в жестокой, беспощадной, изнурительной борьбе. Условия были неравны, приходилось противостоять власти государства и тем, кто опирался на эту власть. «Порядок» в буржуазном государстве охраняли жандармы, полицейские, прокуроры, судьи, хозяева больших газет и подчиненные им борзописцы. Охраняла цензура. Числа не было судебным разбирательствам по делам о «нанесении урона государству» и «оскорблении его величества короля», и вряд ли был хоть один прогрессивный журналист, которому не пришлось бы предстать перед судом.

На улице эти публицисты, чьи имена значились в списках под рубрикой «Кто они и чего добиваются», регулярно печатавшихся фашистскими листками, подвергались нападению подкупленных или «обработанных» молодчиков, вооруженных кастетами, железными прутьями, пистолетами. Мостовые Бухареста и многих других городов страны не раз обагрялись кровью людей, боровшихся с пером в руке за новый мир — тот, что построен ныне в нашей стране.

Вскоре после своего основания Румынская коммунистическая партия была загнана в подполье, но и в подполье, вплоть до 23 августа 1944 года, она ни на минуту не прекращала борьбы. И величайшей заслугой нашей партии является то, что в тот период она умела использовать все возможные средства для сочетания легальной и нелегальной борьбы. В годы Сопротивления партия располагала широкой сетью нелегальных изданий, несмотря на трудные условия распространявших во всех уголках страны слово коммунистической правды. В это же время партия воздействовала и на работу влиятельных публицистов в легальных изданиях. Использовались страницы самых распространенных газет; деятельность одних журналов и газет направлялась целиком, других удавалось привлечь к отдельным акциям — все средства пускались в ход во имя того, чтобы передовая публицистика межвоенного периода служила интересам трудовых масс народа, основным интересам страны. Под влиянием коммунистической партии румынская публицистика в неимоверно трудных условиях добилась успехов, которыми по праву может гордиться.

Эти традиции — свидетельство высоких достоинств нашей публицистики. Конечно,

---

ДЖОРДЖЕ МАКОВЕСКУ
КОЛДОВСТВО ЗЕМЛИ

времена уже не те. Изменились условия, изменилась действительность. Иные задачи стоят перед нами. Но так же как мы в те годы находили самые верные средства и пути, чтобы повсюду нести слово партии, так и теперь должны постоянно оставаться в строю, служить великому народному делу.

Только таким образом мы будем всегда бойцами партии.

1969

Поединок

У нас есть пословица: кто рано встает, тот далеко пойдет. Признаюсь чистосердечно: я так и не дорос до этой мудрости, так и не постиг этого закона. Поздние ночные часы привлекают меня своей тишиной. Вслушиваясь в затихающее дыхание города, я собираюсь с мыслями и порой, увы, слишком редко, набрасываю их в беспорядке или в относительном порядке на обрывках бумаги.

Правда, на днях пришлось мне нарушить обычай. Газеты сообщали, что спутник пролетит над Бухарестом в ранний утренний час и что он будет виден четко, как никогда прежде. И я встал на рассвете и долго смотрел на небо, где должен был появиться спутник. Звезды мерцали, спеша под укрытие голубой пелены облаков. И вдруг одна из них, возникнув неведомо откуда, скользнула между остальными и вскоре — слишком скоро для моего жадного взора — исчезла за горизонтом.

Так я впервые увидел небесного мятежника — того, что презрел законы бескрайней тишины, нависшей над нами. Современного Прометея, поднятого в небо неизмеримой силой человеческого разума. Я увидел его, и гордость охватила меня, а вместе с ней и сожаление, что нет меня там, наверху, что я не вижу бескрайних просторов вселенной, что не мчусь по ним, ощущая близость иных миров и догадываясь о существовании других, более отдаленных. Но ничего, настанет и эта пора, настанет — и скоро!

Спутник скрылся за вершинами ив, обрамляющих озеро Херэстрэу. А мысль моя скользила вслед за ним, порою и опережая его. Вот так, стоя однажды на бухарестской окраине, на заре одного из февральских дней и глядя на небо, точно на огромный экран, на котором гасли звезды, я вспомнил вдруг случай, происшедший со мной незадолго до этого.

Осенью 1956 года я пересек Соединенные Штаты Америки от вод Атлантики до Тихого океана, а затем обратно, путешествуя на самолетах, поездах, автомобилях. Люди, которых мы узнали за этот долгий путь, взирали на нас, трех румын-путешественников, с интересом, хотя порой я испытывал ощущение, что они глазеют на нас как на редкостных зверей.

Однажды вечером, после того как мы долго ехали берегом Миссисипи, потом пересекли нескончаемые кукурузные поля Миннесоты и, наконец, увидели вверху трубы многочисленных детройтских заводов, мы остановились в городе вблизи Великих озер в доме одного местного писателя. Весь следующий день я потратил на посещение автомобильного завода, редакции газеты и музея, где обнаружил несколько прекрасных картин Пикассо голубого периода.

Впечатления наслаивались, беспорядочно нагромождались в таком темпе, что к вечеру я испытал потребность уединиться где-то в парке, посмотреть, как облетают листья с буков и кленов, покрывая пестрым мягким ковром влажный и теплый лик земли.

Я сидел на скамейке в парке, а мимо меня проходили люди разных возрастов и состояний. Но в этот час мне не очень хотелось смотреть на них. Природа совершала свой круговорот. Я был весь охвачен ее таинственной прелестью, мимо которой мы часто проходим с такой поспешностью, словно жить нам — века.

А вечером, спасаясь от осенней тишины и печали, я вернулся в дом нашего хозяина и увидел там гостей, пришедших познакомиться с нами. То были разные люди: директор завода, где мы сегодня побывали, профессор университета, несколько адвокатов, писатель, журналисты, бывший рабочий — ныне профсоюзный деятель. Со многими из них мы обменялись мнениями, мыслями. А с иными просто поговорили о погоде, о вкусе европейских и американских блюд. Путешественник должен уметь беседовать и на такие темы!

За столом каждый сидел, где ему хотелось. Что до меня, то я выбрал стол, за которым сидели дети,— их было четверо, этих русоволосых малышей. Вскоре мы уже были приятелями. А все началось с невинной игры. Из миниатюрных сандвичей на тарелках торчали маленькие пластмассовые сабельки. Мы проглотили несколько вкусных квадратиков и, освободив тем самым «ужасное» оружие, стали «сражаться» на саблях, причем каждый поединок завершался моим поражением, хотя старшему из четырех было только восемь лет. Но больше всего досталось мне от пятилетнего крепыша: ему обязательно хотелось услышать сказку, и он ее услышал, как только выполнил обещание и выпил свой стакан молока. Я рассказал ему «Козу с тремя козлятами», и оба мы остались очень довольны.

Ужин закончился. Дети, взволнованные судьбой козлят и хитростью козы, готовились отойти ко сну. Мы простились, пожали друг другу руки, обнялись, пообещав, что при следующей встрече я продолжу сказку о козлятах, а они взамен расскажут сказку, которую я не знаю.

Кофе я пил уже со взрослыми. А потом, когда оказался один, хозяйка дома отошла от группы гостей, приблизилась ко мне, вновь наполнила чашку и спросила в упор:

— Почему вы хотите убить моих детей?

Лицо мое, видимо, выразило такое недоумение, что женщина тут же уточнила:

— Почему вы, коммунисты, хотите начать войну и убить наших детей?

Удар был ошеломляющим. В первое мгновение я не нашелся что сказать. Но помогла сама хозяйка дома. Пронизывая меня твердым взглядом, она продолжала голосом, в котором не было места притворству:

— Я следила за вами, пока вы сидели с моими детьми. Вы играли с ними, рассказывали им сказку. И я подумала: они могли бы быть вашими детьми. Зачем же вы хотите убить их?

Мучительный вопрос звучал в третий раз, и тон его не оставлял никаких сомнений: мать четырех малышей действительно видела во мне возможного убийцу.

Шум разговора в комнате затих, образы людей и самого помещения заволокло туманом: в этот ноябрьский вечер в доме среднего американца лицом к лицу стояли женщина и мужчина, представлявшие два различных, противоборствующих мира, и старались ответить на вставший между ними трагический вопрос.

Я поднял руку к верхнему карману — там, где сердце,— и внешне спокойным движением достал оттуда фотографию шестилетнего ребенка с янтарными кудрями, с голубыми, как южные моря, глазами, широко смотревшими на мир.

И я протянул женщине фотографию, и прежде чем она смогла что-либо произнести, сурово спросил:

— А вы почему хотите убить этого малыша? Ему всего лишь шесть лет, и он хочет только жить, смеяться, радоваться жизни. А я хочу только сделать из него человека, настоящего человека. Почему же вы хотите убить его?

Женщина отступила на шаг, протянула руку, словно ища опору, посмотрела на меня полными ужаса глазами и после долгого молчания прерывисто спросила:

— Откуда вы взяли, что я хочу убить вашего малыша?

Последовал долгий и трудный разговор о положении в мире, о военных приготовлениях, о тех, кто отвергает все попытки наладить мирные отношения,— тех, кто совершает агрессивные акты, посылает в далекие уголки земли орудия смерти, готовя гибель детей — и не только детей — на больше чем трети земного шара.

Разговор был трудный, не всегда откровенный, но постепенно я убеждался, что передо мной — честный человек.

Была уже поздняя ночь, когда мы разошлись. В комнате давно не было ни директора завода, ни писателя, ни профессора, ни адвокатов... Им предстояло встать рано утром и ехать по делам, кое-кому довольно далеко.

Утром проснулась и мать русоволосых малышей — надо было обеспечить им очередной день жизни.

Встал и я наутро, чтобы продолжить путь, оставив позади город у Великих американских озер. Из самолета я увидел снова дом, в котором десять часов тому назад хозяйка утверждала, что я собираюсь убить ее детей. Почудилось ли мне или в самом деле кто-то на дворе махал белым платком?

...На заре февральского дня, на окраине Бухареста, ощущая приближение весны и провожая глазами советский спутник, я снова увидел на огромном экране неба с угасающими звездами этот взмах белого платка.

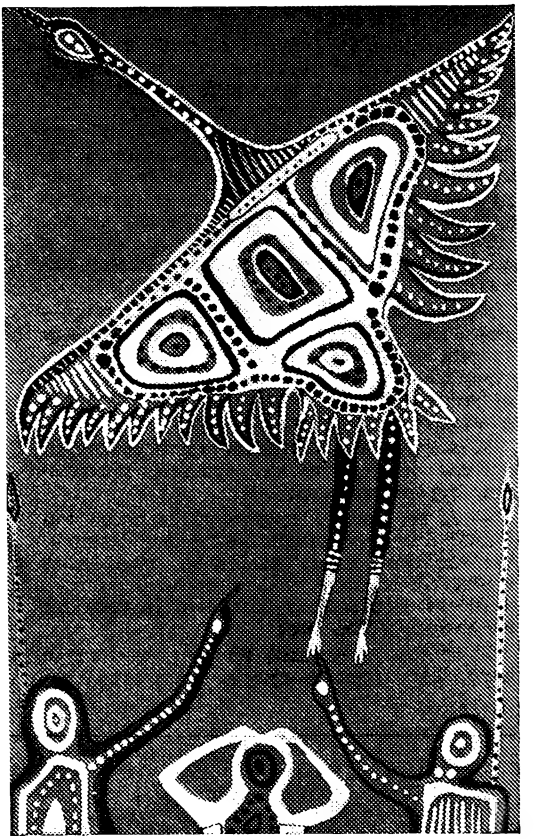
Пролетая тогда над городом у Великих озер, я не мог ответить на это приветствие. Мне кажется, ответил я только теперь. Ибо спутник представляет и меня.

1958

◆

ЛИДЖИЯ МАКОВЕЙ. Румыния.
Двое. Рисунок.

Интервью



АЛАН МАРШАЛЛ: «ЖИТЬ ЖИЗНЬЮ СЧАСТЛИВОГО ЧЕЛОВЕКА»

Беседа, которая не была запланирована

Повидать Алана Маршалла — замечательного человека, писателя, пользующегося всемирной известностью, Национального президента Общества дружбы «Австралия—СССР» — у него на родине, конечно же, было заветной мечтой, но обременять его просьбой о встрече я не решилась: он чувствовал себя в эти дни неважно — все еще давала себя знать недавняя операция. Однако друзья из Общества дружбы передали его приглашение, и всех колебаний как не бывало.

Деревянный домик в пригороде Мельбурна. Австралийская весна представала во всей своей красе, деревья скорее напоминали яркие пышные букеты невиданных цветов, и думалось, несчастья, болезни, житейские невзгоды, беды возможны где угодно, только не здесь и не сейчас.

Кабинет маститого писателя, главное место в котором занимает письменный стол во всю ширь окна, поражает скромностью. Заслышав голоса, хозяин повернулся к нам в кресле на колесах: знакомый облик, неповторимая маршалловская улыбка... На стене полки с сувенирами — беглый взгляд замечает художественные изделия аборигенов, нашу хохлому. За стеклом книжного шкафа произведения Алана Маршалла — издания роскошные и поскромнее, переводы на русский язык, которые хозяин показывает не без гордости, ведь почти все его произведения публиковались в нашей стране, и он любовно коллекционирует переводы, как правило, с автографами переводчиков, его друзей: знаменитая трилогия «Я умею прыгать через лужи», «Это трава», «В сердце моем»,

многочисленные рассказы, мифы аборигенов — «Люди незапамятных времен». Какая счастливая возможность пополнить эту коллекцию подарком из Москвы: «Мы такие же люди» — еще один перевод из аборигеновского «цикла», который занимает такое важное место в его творчестве. Гаравилла, что на языке аборигенов означает слагатель песен — так любовно называют Маршалла друзья-аборигены — снимает с полки книгу «Люди незапамятных времен», она переиздана в 1978 году с иллюстрациями Мириам Роз Анганмер — первой художницы-аборигенки, продолжающей богатые традиции своего народа. Об этом говорит не только манера ее письма, но и кирпичного цвета фон рисунков, как бы воспроизводящий цвет коры и дерева, на которых испокон века рисовали аборигены,— краски Австралии [1].

Внимание привлекла книжечка карманного формата — на голубом фоне глянцевой обложки покрытый рыжей пылью австралийской земли стоптанный башмак с кожаным шнурком. «Как прекрасны ее ножки» — его первый роман. Переведен ли он на русский язык — вопрос, заданный лишь для проверки памяти,— похоже, задел живые струны души, напомнил автору молодые годы. Поток воспоминаний полился — неудержимый, не раз прерываемый заразительным смехом, диалогами в лицах. Набравшись смелости, обращаюсь к писателю и прошу разрешения включить магнитофон. К счастью, это не только не сбило его с мысли, напротив — послужило организующим моментом для рассказа, который просто не хотелось перебивать вопросами.

— ...«Как прекрасны ее ножки» — мой первый роман. Я писал его, когда работал на обувной фабрике. В то время я восхищался стилем американского писателя Джона Дос Пассоса. У него было то, что он назвал «глаз-камера», то есть проницательный, острый глаз. Я был полон честолюбивых планов, желания создать шедевр. Словом, желания написать книгу, которая будет правдивым отображением жизни того времени. Я работал на обувной фабрике в бухгалтерии и вел там регистрацию приходов и расходов в журнале с отрывными листами. Когда приходил какой-нибудь посетитель — интересный человек и у нас завязывалась беседа, я записывал в этот журнал. А затем, переписав в свой блокнот, вырывал страницу. Словом, в пересчете на листы гроссбуха я им дорого обходился. Так вот, у меня собрался очень интересный материал, который я использовал в дальнейшем. Но, видите ли, если диалог — дословная запись, он лишен убедительности, жизни. В нем непременно должна заключаться и частица самого писателя. И то, что привносил в него я, надо было сплавить в единое целое, тесно увязать с характером персонажа. Я даже полюбил этих людей, потому что они были сильные, они умели преодолевать житейские невзгоды. Но когда ты калека и ходишь на костылях, то сам, как ни странно, не решаешься обратиться за помощью к тем, кто живет трудно, потому что им не понять, с какими проблемами приходится сталкиваться тебе.

Итак, я записывал, записывал, записывал — я заполнял целые блокноты. У меня собралось их в общей сложности около тридцати, и впоследствии я послал их в Национальную библиотеку в Канберре — они составят часть так называемого Архива Алана Маршалла.

Я записывал разговоры людей, которые заходили в бухгалтерию или работали на фабрике, а затем обрабатывал, что-то изменял или дополнял. При написании этого романа у меня была двойная цель. Во-первых, я хотел описать жизнь девушек — фабричных работниц. Но, главное, я хотел ритмом самой книги передать ритм работы обувной фабрики. Видите ли, у меня были странные идеи. Я думал, что эту книгу надо декламировать под музыкальный аккомпанемент и я должен обязательно найти композитора. Я предпослал книге эпиграф — цитату из стихотворения Коула «Погребальная песнь фабрики», которое было напечатано в 1933 году. Оно очень мрачное и настраивало читателя на определенный лад. История этой книги примечательна еще и тем, что прошло десять лет, прежде чем мне удалось ее опубликовать. Я верил в нее и, не отступаясь, продолжал рассылать рукопись издателям по всей Англии, пока, наконец, она не попала в руки учителю одного технического колледжа Австралии в Перте. Этот человек прочел рукопись, и она ему так понравилась, что он отпечатал ее на школьном станке в количестве 2000 экземпляров. На нее никто не откликнулся, не написал рецензии ни один критик. Люди просто не знали о существовании этого романа — ведь он нигде никогда не упоминался. Но я много выступал с чтением отрывков, чаще всего читал пролог.

Писатель раскрыл книгу, но не смотрел в нее, а напевно декламировал по памяти:

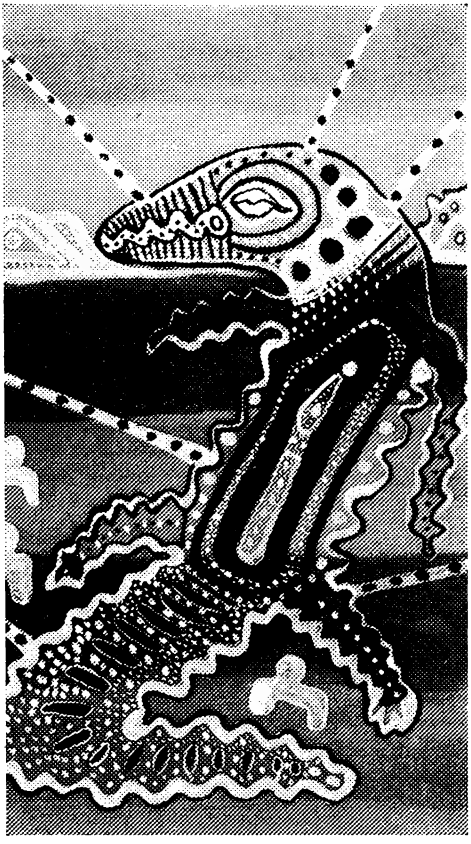
— Фабрика — это динозавр... поднимающий голову над миазмами узких улиц... над болотом домов. Он несет разрушение... у него металлические каблуки... его внутренности — машины... его пасть — дверь, а за ней — вы, рабочие... Он уносит с собой вашу молодость... вашу гладкую шею... лицо без единой морщины... ваш смех... Сквозь солнечные дни... сквозь месяцы... сквозь годы... сквозь жизнь — тысячи жизней; он будет высасывать все живое из вашего молодого, крепкого тела... пока ваша кожа не покроется морщинами, руки не станут дрожать, пока пыль не пропитает ваши легкие и плевок не окрасится красным, а смех не превратится в слезы... Он доведет вас до погибели. Король Тирано-

[1] Мы знакомим читателя с несколькими репродукциями этих иллюстраций.

завр доведет вас до погибели. Опьяненный грохотом, он выплевывает башмаки и туфли, которые вы делаете... красные туфельки танцовщиц, башмаки работяг... тысяча пар в день, ТЫСЯЧА ПАР В ДЕНЬ... Фабрика... Динозавр... Король Тиранозавр.

Нетрудно догадаться, почему издатели отказывались публиковать этот роман. Я нарисовал слишком неприглядную картину жизни того времени, когда людей обманывали, внушая им, что все идет как нельзя лучше — стоит только хорошо потрудиться, и они заработают кучу денег. То были годы Большого кризиса, многие чуть ли не умирали с голоду. Я был одним из них. Я приехал из деревни, и мне позарез нужна была работа, но я никак не мог устроиться — сложность моего положения усугублялась тем, что я калека. Это был очень тяжелый период в моей жизни.

За те десять лет, пока мой первый роман так и не находил издателя, я написал еще четыре книги. И когда они вышли, они приобрели широкую известность. Одна из них — «Это мой народ». Но ту, первую мою книгу по-прежнему никто так и не желал печатать. Вот тогда-то ее рукопись и прочел учитель технического колледжа в Перте, отпечатал и выпустил. А один книжный магазин, где продавалась прогрессивная литература, закупил почти весь тираж — 2000 экземпляров — и продавал по три шиллинга за книгу. Таким образом, какое-то время спустя я получил свою долю — деньги небольшие, но я еще в жизни таких не зарабатывал.



Однажды сюда приехал из Советского Союза замечательный человек — журналист и писатель. Он прочел многие мои новеллы и сказал: «Как прекрасно вы пишете о детях! Мне так понравилось. Можно я возьму ваши рассказы с собой, в Москву?» А между тем были и такие, кто критиковал меня тогда именно за то, что я уделяю так много внимания детям и отошел от показа жизни рабочих. Это меня подзадорило, и я начал писать статьи для еженедельника «Уоркерс вонс». Собственно, вот тогда-то я и начал систематически заниматься журналистикой. Одна моя статья называлась «Пролетарская книга с картинками». Я рисовал свои «картинки» на улице, прямо с натуры. К тому времени меня выгнали с работы, и я был одним из тех безработных, кто обычно ходил к зданию Армии спасения, где нам предоставляли бесплатный ночлег. Нередко мне тоже случалось просить там ночлега, и я сделал для себя открытие, что люди, которые помогали мне больше других, сами нуждались и страдали. Это меня многому научило, закалило. Разговаривая с ними, я стал осознавать, что ведь я же просто счастливчик. Постепенно я укреплялся в своем чувстве. Оно вошло в меня, и я стал жить жизнью счастливого человека, светлой и полной надежд. И я прожил чудесную жизнь. Когда я сталкивался с людьми, которые перенесли страдания, они говорили мне: знаешь, а ведь все не так уж и плохо, верно?

Сколько времени уже длится это интервью-монолог? Во всяком случае, давно пора уже было бы спросить, не утомила ли писателя наша беседа.

— Что вы! — вскричал он с лукавой улыбкой.— Просто не припомню, когда я чувствовал себя так превосходно!

Было ли это данью гостеприимству или нежеланием прерывать воспоминания?

Перезаряжая кассету и воспользовавшись паузой, передаю Маршаллу привет от Общества дружбы «СССР — Австралия».

— Да, дружба между нашими странами существовала издревле: еще раньше, чем зафиксировано письменной историей, австралийские аборигены принимали гостей из Сибири — птиц, прилетавших сюда на зимовье.

И Маршалл продолжал рассказ, едва передохнув, пока перезаряжали диктофон.

— Итак, к тому времени я вступил в Лигу писателей — то была левая организация, практически она состояла из одних коммунистов. И они стали моими друзьями и помощниками. Впоследствии меня выбрали ее председателем. Вот тогда-то я и научился выступать — раньше я всегда ужасно смущался.

В этой Лиге я встречался с интересными людьми, любившими при каждой возмож-

ности проявлять свою эрудицию в таких вопросах, о которых я тогда и понятия не имел. Правда, это вело к тому, что я замыкался в себе, чтобы не проявлять неосведомленность.

Ее председатель обычно по дороге в Лигу заглядывал в книжную лавку и спрашивал продавца (его звали Генри Лоусон, как и известного нашего писателя, и позднее он стал членом парламента): «Ну, что новенького?» И продавец рассказывал ему о последних новостях. Таким образом, он всегда был в курсе всех дел. Я просто восхищался им. Однажды я встал рано утром и, проходя мимо книжной лавки, тоже засунул туда голову и спросил у Генри Лоусона: «Ну, что новенького?» Тот вскричал: «Как это что новенького? Господи, да ты случайно не Алан Маршалл?» — «Да, он самый». И он сказал: «Ты что, не слышал последние новости?» Я сказал: «Не слышал». — «Так вот, в Англии напечатали статью об Алане Маршалле». Оказывается, английский журнал «Лефт ревью» перепечатал ряд моих статей из коммунистического журнала «Уоркерс войс», и один из издателей откликнулся на эту публикацию и назвал их мастерскими.

Ну что ж, сказал я, это чудесно. И я сказал: «Послушай, а не мог бы ты мне удружить? Когда наш председатель сунет в дверь свою голову и спросит: «Ну, что новенького?» — скажи ему про это дело». Так он и поступил.

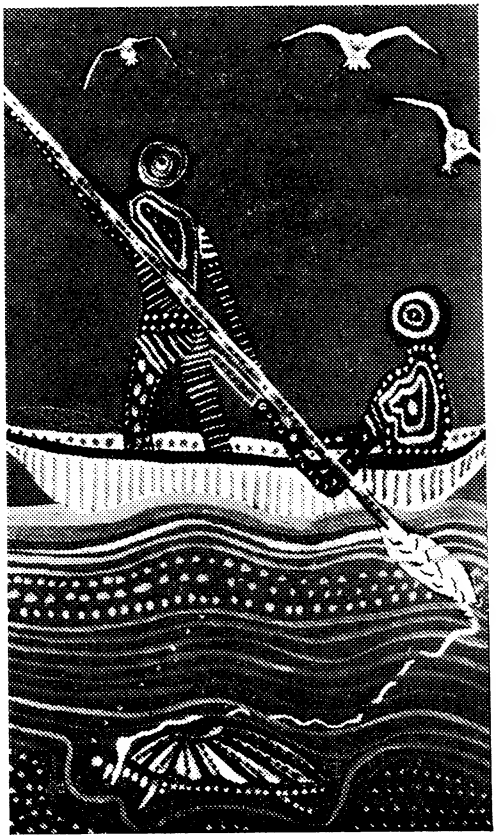
И в тот вечер, когда все просили председателя что-нибудь рассказать, он встал и произнес целую речь. В частности, он сказал: «Я очень рад вас видеть, тут собралось так много народу, и у нас будет большая дискуссия о Блейке (или о Донне, или о Китсе — неважно). Нет,— сказал он,— на этой неделе никаких особенных новостей нет, все по-старому». Тогда я сказал: «Послушайте, мистер председатель, вы меня извините, но мне хотелось бы сообщить вам новость: в Англии вышла обо мне статья — это большое дело».

Боже ты мой! Его чуть не хватил удар. Куда только девался его гонор? Он просто не знал, как ему и реагировать.

Словом, так я начал печататься в Англии и нет-нет да и стал получать заказы на статьи.

И так шло до моей поездки в Советский Союз, где, к своему превеликому удивлению, я узнал, что считаюсь крупным писателем.

Когда я обнаружил, что мои произведения переводят и печатают в Советском Союзе, я был просто в восторге, тем более что возвращался домой, в Австралию, с экземпляром «Я умею прыгать через лужи» на русском языке. И несмотря на то, что у Советского Союза было тогда много недоброжелателей в Австралии, сам факт, что я популярен у советских читателей, странным образом сказался на моей репутации, так как австралийцы не могут не считаться с тем, что Советский Союз дал человечеству Толстого (или по крайней мере его дала Россия), Горького и других



литературных богов, которых чтят во всем мире.

Из Советского Союза мои книги стали переходить одну границу за другой — их начали переводить в Венгрии, потом в Румынии, потом в Болгарии...

— Сколько раз вы приезжали в Советский Союз?

Этот вопрос повел нашу беседу по другому руслу, но явно не менее приятному для моего собеседника.

— Четыре. Один раз ненадолго, проездом в Берлин — на писательскую конференцию.

Однажды у меня состоялся разговор, который, может быть, покажется вам интересным. Мы летели в Восточную Сибирь. Один из пассажиров все время разговаривал с соседом и смеялся. Я повернулся к нему и спросил, откуда они родом, и они ответили: из Дагестана. Я сказал: «Послушай, а мне бы хотелось побывать в ваших краях». «Ну, что ж, приезжайте — будем рады»,— услышал я в ответ. «Обязательно приеду,— усмехнулся я.— Интересно побывать в местах, где живут лучшие танцоры Советского Союза». И тут громкий жен-

ский голос ответил мне: «Послушай, друг, лучше грузинских танцоров нет». Тотчас же запротестовали узбеки: «Вот смех, не слушай ты эту болтовню, лучше наших танцоров нет во всем Советском Союзе. У нас самые красивые женщины и самые прекрасные танцоры — ни в одной республике таких нет». Неожиданно раздался женский возмущенный голос: «Ничего подобного, все лучшие танцоры у нас в Киеве».— «Ерунда,— оборвал ее мужчина, молчавший все это время,— вы уж извините, но лучше вам приехать в Центральную Россию, неподалеку от Ленинграда,— какое точно место он назвал, не помню,— наши плясуньи — вот это красотки! Наши пляски на празднике урожая — ни в сказке сказать, ни пером описать. Я с удовольствием отвез бы вас туда. Непременно приезжайте к нам, если хотите увидеть лучших танцоров — лучших, что бы вам там ни говорили». И тут они затеяли между собой спор. Они спорили и спорили, а тем временем мы пролетели чуть ли не через весь Советский Союз...

Мне довелось познакомиться с Корнеем Чуковским. Он был уже в преклонных годах. Почему я так стремился встретиться с ним? Потому что он был хорошо знаком с Горьким, а Горький — человек и писатель, которого я люблю больше всего. Он величайший художник. Еще Чехов. И вот, когда я приехал к Чуковскому, мне навстречу поднялся со стула высокий, статный мужчина. Он приветливо кивнул моей дочери — ей было восемнадцать лет, и она очень стеснялась и робела, это было ее первое далекое путешествие. Чуковский хотел помочь ей освоиться, и он сказал: «Пошли погуляем по лесу». И он пошел с ней гулять. А когда они вернулись, оживленно беседуя, моя дочь чувствовала себя уже совсем иначе. Чуковский дал мне посмотреть письма Максима Горького, а потом показал здание рядом со своей дачей — детскую библиотеку, свое детище.

В мой последний приезд в Советский Союз меня с дочерью возили к Самуилу Маршаку — самому чудесному человеку из всех писателей, которых я встречал. Он написал прелестную историю своего детства. В самом деле, совершенно прелестную. И я очень стремился повидаться с ним, побывать у него. Его стол был завален бумагами и книгами. Полки тоже ломились от книг. И он обнял меня обеими руками, прижал к себе крепко-крепко и долго не отпускал. И сказал: «Знаете, мы с вами как дети». А я ответил: «Вы написали прекрасную книгу о своем детстве». «У меня не было намерения написать книгу о своем детстве, я старался написать о том, что такое детство»,— услышал я в ответ. И я сказал: «Именно это вы и сделали. Вы рассказали, что такое детство. Это было и моим детством». Несколько дней спустя он умер. Моей дочери он подарил свою книгу с автографом.

Ах, какая же это книга! Маршак так умел понимать детей потому, что говорил с ними «на равных», а не снисходительно и при этом находил слова, хотя и понятные им и тем не менее такие, какими взрослый говорит со взрослыми. Еще он сказал мне: «Почему бы вам не написать волшебную сказку, у вас должно хорошо получиться».

Голос рассказчика, голос доброго сказочника, завораживал, в особенности всякий раз, когда речь заходила о детях или о детской литературе, занимающей столь важное место в его творчестве. Ведь все, что написано им о детях и для детей,— свидетельство великолепного дара художника проникать в душу ребенка. Только человек, безгранично любящий детвору, мог создать такие точные портреты своих юных друзей, в том числе аборигенов. Причем диалог, к которому писатель так активно прибегает, служит самораскрытию сложного детского характера — словно бы и нет здесь вмешательства автора.

— И вот я вернулся в Австралию и написал историю под названием «Шепот на ветру». Как все-таки жаль, что ее не перевели в Советском Союзе. Я так любил свою сказку, что нередко читал ее детям или рассказывал о ней. Это волшебная сказка о любви, о том, что взаимная любовь помогает сносить удары судьбы и служит великим жизненным стимулом. А еще это история мальчика Питера, который ищет красивую принцессу, какую ищет каждый мальчик. И когда мой герой нашел свою принцессу, она оказалась пленницей жестокого короля и злой королевы, которые заточили ее под самой крышей огромного замка, лишив свободы до тех пор, пока она не выдержит трудные экзамены. Моя сказка учила, что надо хорошо вести себя и трудиться. Ведь дети, читая книги, извлекают из них уроки.

Многие дети прочли эту сказку, несмотря на то что ее не включали в школьный рекомендательный список; и они писали мне письма. Школьники буквально засыпали меня письмами, и я отвечал им.

Эта волшебная сказка необычна тем, что я старался сочетать в ней австралийский фольклор с европейским — здесь действуют ведьмы и великаны, кенгуру и эму. Но как всякая сказка, она кончается торжеством добра. В жизни, однако, далеко не всегда добро так легко побеждает зло.

Разумеется, не эта грустная нота определила ощущение от беседы с писателем. Главной была радость встречи с необыкновенным человеком, обладающим подлинным душевным богатством и даром мудрой простоты

Беседу записала и перевела
ЛИЯ ЗАВЬЯЛОВА

◆

По страницам британской прессы

НЕТИПИЧНЫЕ И ТИПИЧНЫЕ АНГЛИЙСКИЕ РОМАНЫ

В обзоре литературных новинок за 1976 год Алан Форрест в редакционной статье журнала «Букс энд букмен» заметил, что появление книг с узкокамерной, сугубо этической проблематикой воспринимается английскими критиками как норма, отклонение от которой едва ли возможно. В самом деле, писатели — разные по возрасту, по уровню дарования — чаще всего не выходили за рамки внутреннего мирка своих современников. Однако именно 1976 год, о котором в столь пессимистическом тоне писал Алан Форрест, показал, что в британской литературе наметились существенные изменения, и, как выяснилось в последующие «литературные годы», они были отнюдь не случайностью.

К немалому удивлению многих маститых английских критиков, одна из самых почитаемых литературных наград Великобритании — премия «Букер» — была присуждена тогда роману Дэвида Стори «Сэвилл», выпущенному недавно издательством «Прогресс». Книга в полтысячи страниц, в которой с неторопливостью Томаса Харди или Дэвида Герберта Лоуренса описывалась жизнь героя Колина Сэвилла, поразила рецензентов мощным слиянием частного и общественного, того, что в классическую пору романа XIX века составляло гордость и славу английского реализма. Писатели и критики были убеждены, что именно лаконизм, а не обстоятельность определяет современную британскую прозу. Поэтому неудивительно, что на страницах журнала «Лиснер» Джон Меллорз, критик вдумчивый и компетентный, задал вопрос: «Сэвилл» — это литературный анахронизм или произведение, глубоко новаторское по своему характеру?

В известной степени ответом на этот вопрос стала премия «Букер» за 1977 год. Ею была награждена книга рано ушедшего из литературы прозаика Поля Скотта «Задержавшиеся» — социально-историческое полотно, в котором впервые после «Поездки в Индию» Эдуарда Моргана Форстера, как писал Пол Бейли в «Таймс литерари саппламент», английский романист обратился к осмыслению важного социально-психологического феномена в истории Великобритании — связи бывшей монополии с ее самой крупной бывшей колонией. Стало ясно, что «Сэвилл» положил начало процессу, который известный романист, критик и литературовед Малькольм Брэдбери в одной из своих последних статей «Абстракция и ирония», опубликованной в журнале «Энкаунтер», назвал «мощной перестройкой сил». Литературную жизнь сегодняшней Великобритании характеризует многообразие, а если вновь воспользоваться словами Брэдбери, то и «взаимотерпимость существующих явлений». Однако несомненно одно: английский роман вышел из состояния интеллектуального провинциализма, и узость социальной проблематики не есть больше его доминирующая черта. Правы те критики, которые видят в толщине романов последних лет не просто формальный признак. Объем книги, отмечает

Алан Форрест в статье «Что читают и что это означает?» («Букс энд букмен»), отражает стремление к эпически емкому изображению жизни.

Не случайно в этой связи неожиданное и даже парадоксальное возрождение интереса к «сердитым молодым людям», многие из которых, как пишет Форрест, «давно уже не сердитые, и все они уже отнюдь не молоды». В Англии переиздано с новым предисловием автора классическое произведение социально ангажированной литературы 50-х годов — роман Джона Уэйна «Спеши вниз», по телевидению с успехом демонстрируется фильм «Путь наверх» по одноименному роману бывшего «сердитого», а ныне значительно «подобревшего» Джона Брейна. И, наконец, в театре «Янг Вик» идет в новой постановке пьеса Джона Осборна «Оглянись во гневе», произведение, которое было символом протеста целого поколения, заявившего о себе в середине 50-х годов.

Отчетливо прослеживается в романах последних лет вкус к истории, причем именно к реальному историческому процессу, а не историческим декорациям в духе экзистенциалистов. В критике все чаще встречается термин «большой роман», который в послевоенной англоязычной литературе традиционно соотносится с прозой американских писателей, в гораздо большей степени, нежели их британские коллеги, выразивших в слове современную судьбу своей страны. Наиболее ярким примером такого «большого романа» стал «Даниэл Мартин» Джона Фаулза, писателя, с которым, как пишет в «Файнэншл таймс» Чарльз Перси Сноу, «связаны надежды нашей литературы».

Сноу назвал произведение Фаулза «романом воспитания». Этот жанр имеет давнюю и очень богатую традицию в европейской, и в частности в английской, классической литературе. В книге подробно прослеживается духовная эволюция преуспевающего в Голливуде сценариста Даниэла Мартина, постепенное обретение им целостности и подлинной, взаимной любви. Такова внешняя канва романа. Истинное его содержание — изображение судеб английской интеллигенции в XX веке. На страницах этой, по словам критиков, «самой толстой книги года», герои спорят о кризисе в Англии, о путях развития Америки и «третьего мира», о влиянии марксизма на судьбы личности и общества, о религии, искусстве, ответственности художника.

Несмотря на объективную значимость романа и несомненную актуальность поставленных в нем проблем, «Даниэл Мартин» вызвал серьезные споры, что само по себе достаточно симптоматично, поскольку отражает узость взгляда, свойственного в целом современной британской критике. Многие рецензенты, привыкшие за последнее десятилетие считать камерную, психологическую, во многом провинциальную по характеру прозу своих современников как литературную данность, отнеслись к роману весьма сдержанно, а некоторые даже пристрастно. Майкл Мейзон, рецензент «Таймс литерари сапплмент», издания, в значительной степени формирующего литературное мнение в стране, начал обзор романа с дотошного перечня опечаток. Потом, не желая замечать серьезность проблем, которых касается Фаулз, он занялся сопоставлением формы «Даниэла Мартина» с «Поминками по Финнегану» Джеймса Джойса. Хотя трудно найти более неподходящее сравнение для «Даниэла Мартина», чем роман-шифр Джойса, недоступный пониманию читателя-нелитературоведа, Мейзон огульно обвинял Фаулза в том, что его роман лишен «цементирующей идеи», а раздумья писателя о судьбах английской интеллигенции неубедительны.

Особенно скептически Мейзон высказался о линии Джейн, юношеской любви Мартина, с которой теперь, в пору зрелости, он хочет связать свою жизнь. Жена известного богослова, сама ученый с именем, Джейн приходит к сознательному принятию социализма, единственно правильной и гуманной, с ее точки зрения, социальной системы. Однако Мейзон считает, что рассуждения Фаулза о марксизме, вложенные в уста Джейн, не нужны в общей структуре «этого и без того бесформенного романа», тем более что критику неясно, что же хочет сказать Фаулз читателю образом Джейн. Хотя, вне всякого сомнения, направление мысли писателя в данном случае совершенно определенно.

Джон Фаулз, как правило, избегает каких-либо публичных выступлений. Но в данном случае он решил ответить своим оппонентам, которые, говоря словами популярной английской пословицы, «выплеснули воду вместе с младенцем». «Даниэл Мартин», заметил он в интервью журналу «Маклинз», «это книга о том, что чувствует человек XX века, как он воспринимает свой век и свое поколение».

Иначе расценили новое произведение Фаулза американские критики. Известный литературовед Уильям Притчард писал в «Нью-Йорк таймс бук ревью»: «Это не только лучшее на сегодняшний день произведение Джона Фаулза, но и один из самых значительных романов года — именно в силу содержащейся в нем проблематики и широкой панорамы действительности». Напряженный интерес к философско-социальным вопросам, в целом несвойственный, по мнению критика, британским романистам, позволяет Притчарду назвать «Даниэла Мартина» «не английским романом». Он считает, что произведение Фаулза — это и «нетипичный роман XX века», ибо современные книги слишком часто бывают «воплощением одной из самых глупых литературных догм... это отлично работающие механизмы без сердца». Но в «Даниэле Мартине», пишет Притчард, есть «сердце, мысли, чувства, ответственность писателя за судьбы мира».

Хочется присоединиться к словам Притчарда и подчеркнуть очевидные художественные достижения Фаулза: смелое обращение с жанровыми характеристиками, сли-

яние «романа воспитания» с дискурсивным повествованием и философским романом идей. Самое же существенное — это идейно-проблемная сторона «Даниэла Мартина», по актуальности и масштабности не имеющая равных в послевоенной английской литературе.

Широкое социальное полотно нарисовано и в последнем романе Маргарет Дрэббл «Ледяной век». Писательница поставила своей задачей отразить глубокий политический, экономический и культурный кризис, определяющий, по ее мнению, современное состояние Великобритании. Масштабность нарисованной картины, в которой частное есть способ постижения общественно закономерного, позволила рецензенту журнала «Листнер» Д. А. Джоунзу сказать, что «Ледяной век» «выдержан в традиции великого романа XIX века». Похвала очень высокая.

Герои книги, выдвинувшей Дрэббл, по мнению рецензентов, в первые ряды английских писателей сегодняшнего дня,— представители самых разных слоев общества. Это уже не молодые женщины, ищущие себя и свой путь в жизни, как многие персонажи ранних ее романов. У Энтони Китинга, его любовницы Элисон, его друзей и приятелей все позади: учеба в колледже, надежды, творческое вдохновение. Действие охватывает десятилетие с 60-х по 70-е годы. Писательницу особенно интересует социальная и общественная обусловленность эволюции сознания ее современников. «Наступившие 70-е годы,— пишет Джоунз,— решительным образом изменили их жизнь — на героев рушатся самые разные несчастья: ломаются благополучные и крепкие семьи, людей затягивает паутина адюльтеров и разводов, рождаются недоразвитые дети, родители не могут найти общего языка с молодым поколением. Каждое мгновение что-то случается». Личные неприятности перемежаются в романе с бедами всей страны: в книге возникает панорама разрухи и разгула насилия, символ которого вынесен в название книги — «Ледяной век».

Задача, которую поставила перед собой писательница — влияние тотального кризиса на судьбу каждого,— определила манеру подачи материала, его документальный характер, к которому тяготеют многие английские романисты второй половины 70-х годов. «Новая» Дрэббл,— пишет критик «Таймс литерари сапплмент» Майкл Ирвин,— почти не интересуется поведением своих героев, не останавливается на описании их внешности, речевых особенностей, внутреннего мира: ведь их функции чисто иллюстративны. О таких, как они, можно прочитать в газетах и журналах последних лет. Как художественные образы, они, по воле автора, лишены права на самостоятельную жизнь. Мы привыкли к тому, что наблюдения М. Дрэббл точны, умны, проницательны. Но в этом произведении они не подкреплены логикой и убедительностью художественного текста... «Ледяной век» нельзя назвать романом. Это скорее мятежная, мучительная исповедь о том состоянии, в котором находится Англия».

Добавим, что не только определенная художественная сухость снижает достоинства этого романа. Существенный урон произведению наносит и его политическая направленность. Состояние кризиса, тупика свойственно, как считает Дрэббл, не только Англии, символизирующей буржуазный мир, но и социалистическому содружеству, которое выступает в книге в образе вымышленной страны Валахии, государства «за железным занавесом». Тенденциозность глав, действие в которых происходит в Валахии, столь откровенна, что о ней весьма неодобрительно отозвались даже буржуазные критики, которые, как показывает практика, не упускают случая воздать хвалу антисоветским пассажам в произведениях английских писателей.

«Политические романы не в моде в английской литературе сегодня,— пишет Пол Джонсон в «Таймс литерари сапплмент».— И потому мы с еще большим интересом открываем новое произведение Мелвина Брэгга, выступающего в «Осенних маневрах» именно в этом жанре. Время действия — период, предшествующий всеобщим выборам. У кормила власти — консервативная партия во главе с мисс Тэтчер... Однако политический характер роману придают собственно не идеи и не проблемы, но люди, втянутые в большую политику и их судьбы».

Мелвин Брэгг известен нашему читателю романом «За городской стеной», который вышел в 1975 году в издательстве «Прогресс». Ныне председатель Совета искусств Великобритании, он сменил на этом посту старейшего поэта и критика Роя Фуллера. В центре «Осенних маневров», опубликованных в 1978 году,— член парламента от Камберленда, лейборист Джимми Джонсон, которому в начале его политической карьеры пророчили блестящее будущее. Теперь перед читателем усталый, разочаровавшийся во всем человек. Он почти простился со своими увлечениями, давно перестал верить в торжество добродетели и терпимости и соглашается выставить свою кандидатуру на выборах скорее в силу инерции. Теперь, когда уже известны результаты майских выборов в парламент, необходимо отметить политическое чутье писателя, а следовательно, и актуальность его книги, нацеленной на осмысление сложной общественно-политической ситуации в стране. Однако при всем профессионализме Мелвина Брэгга, который ощутимо возрастает от произведения к произведению, умении держать читателя в напряжении буквально до последней страницы, роман, на мой взгляд, страдает некоторой заданностью. Это и отмечает Пол Джонсон, считая, что автор подгоняет сюжет и действующих лиц под определенную идейную схему и тем самым не всегда предоставляет своим героям возможность самораскрытия.

Английский сатирический роман также значительно расширил свои «социальные» границы. К такому выводу неизбежно приходишь, когда сравниваешь, например, одно из последних произведений Тома Шарпа «Великий поиск», с блестящими, но по сути своей сознательно сконцентрированными лишь на воссоздании современных нравов едкими сатирами Мюриэл Спарк. Главный персонаж книги «Великий поиск» — Фрэнсик, владелец частного литературного агентства «с поразительным чутьем на будущие бестселлеры». Фрэнсик действует по продуманной системе. Отбирая произведения, он отвергает все то, что могло бы удовлетворить Фрэнсиса Ливиса, известного английского литературоведа — идеалиста пуристских взглядов,— и, напротив, все то, что не попадает под критерии Ливиса, он объявляет шедевром. Сюжет строится вокруг анонимной рукописи, которую Фрэнсик получает по почте и которая приводит его в полный восторг, так как в ней живописуются грязные похождения семнадцатилетнего юноши и восьмидесятилетней старухи. Фрэнсик немедленно отсылает рукопись в Америку и выбирает, как пишет Том Шарп, «самого неграмотного издателя в мире», предвкушая «сумасшедшие доходы» от такой публикации. Однако из-за анонимности рукописи возникает проблема автора. Фрэнсик уговаривает молодого, полного самых высоких представлений о силе и роли искусства, но совершенно бесталанного литератора Питера Пайпера поставить под рукописью свое имя, за что ему гарантируется публикация его собственного романа.

«Блистательно, зло и остроумно,— замечает в журнале «Лиснер» Джон Меллорз,— словом, в духе Тома Шарпа описаны злоключения невинного Пайпера в Америке. Роман демонстрирует несомненную эволюцию искусства писателя: его сатира, лишившись присущего ей ранее зубоскальства, обрела конкретные и важные социальные цели — общество вседозволенности,— а его образы большую психологическую глубину и многомерность».

Сатирическая литература Великобритании сегодняшнего дня пополнилась и еще одним именем. Творчество Берил Бейнбридж критики считают «одним из наиболее интересных явлений английской литературы 70-х годов» (Д. Джонсон, «Таймс литерари сапплмент»). По собственному признанию писательницы, основная мишень ее книг — мещанская ограниченность, понятая и изображенная как социально-психологическое явление. Роман Берил Бейнбридж, который сейчас в центре внимания англо-американской критики, называется «Молодой Адольф» (1978) и посвящен юности Гитлера. Как полагает Джонсон, обращение писательницы к этой фигуре неслучайно. Проблема власти, политической тирании и ее влияния на жизнь простых, обычных людей и раньше интересовали Бейнбридж. В данном же случае это нашло выражение в созданном ею образе Гитлера. «Молодой Адольф»,— замечает Джонсон,— не исторический роман. Это драматическое изображение известных фактов, измененных безудержной фантазией автора».

Холодным, бесстрастно остраненным тоном, который читатель сразу воспринимает как продуманный прием, способствующий пробуждению в нем ответной негативной реакции по отношению к происходящему, Берил Бейнбридж рассказывает, как молодой Гитлер, с детства подверженный приступам депрессии и беспричинного раздражения, граничащего с садизмом, за короткое время пребывания у сводного брата в Ливерпуле — события относятся к 1912 году — превращает существование близких в ад. В романе показано, как приобретались повадки, которые потом стали печально известными всему миру, как была надета коричневая рубашка, спустилась на глаз прядь волос, как начались первые рассуждения о расовой чистоте.

Знаменательно, что английские критики, не любящие столь откровенной тенденциозности, если речь не идет, конечно, о тех, кого они считают идейными противниками, дали новой книге Берил Бейнбридж весьма высокую оценку. Д. Джонсон пишет: «Молодой Адольф» свидетельствует о расширении социального диапазона в творчестве Берил Бейнбридж. Видя в психологии Гитлера типичные черты мещанина, писательница показывает, в какую страшную и бесчеловечную политическую силу они могут превратиться при определенных обстоятельствах».

Однако Англия остается Англией, и английская литература сохраняет свой национальный акцент — отчетливый интерес к нравственной, морально-этической проблематике. Свидетельство этому — последний роман Айрис Мердок «Море, море», удостоенный премии «Букер» за минувший год. В девятнадцатом по счету романе Айрис Мердок буквально с первых же строк возникает ощущение специфического мира писательницы — одновременно искусственного и жизненного. Герой, удалившийся от дел директор театра и в прошлом известный актер Чарльз Эрроуби, имеет немало «родственников» в предыдущих произведениях Мердок. Это человек, зачерствевший в собственном эгоизме, который мешает ему «правильно» увидеть мир. Проблема бескорыстной любви, любви-жертвы, любви-служения занимает — как и в других поздних романах Мердок: «Черный принц», «Любовь земная и любовь небесная», «Генри и Катон» — центральное место в идейной структуре романа. Уединившись в небольшом коттедже на берегу моря, сознательно оградив себя от контактов с людьми, Чарльз Эрроуби внезапно — как и полагается в «мердоковском» романе — встречает «любовь» своей юности, Хартли, которой сейчас за шестьдесят. Старые чувства с новой силой овладевают героем. Он хочет жить вместе с Хартли, отношения только с ней представляются ему истинными.

Чарльз хитростью заманивает Хартли себе в дом и «заключает» ее в одной из комнат, полагая, что навязанное заключение поможет Хартли смириться с положением «любимой и необходимой». Лишь постепенно, пройдя через многие испытания, Чарльз приходит к истинному пониманию любви. И тем самым обретает — что очень важно для сегодняшней Айрис Мердок — этический стержень существования.

Майкл Ирвин, знаток творчества Айрис Мердок, объясняя значение заглавия, в развернутой рецензии на роман в «Таймс литерари сапплмент» пишет: «Море — это море жизни. Чарльз, в отличие от Хартли,— пловец. Он превосходно ощущает себя в этой опасной стихии, он любит риск. Но отвага, самообладание, ловкость, качества, которыми в избытке обладает герой,— все на службе у его эгоизма».

В «Море, море» Мердок продолжает развитие проблемы — эгоизма и его преодоления,— которая получила столь глубокое разрешение в ее предшествующем романе «Генри и Катон». Но, как это нередко бывает с Мердок, второе произведение на «ту же тему», хотя и удостоено высокой награды, проигрывает по сравнению с так сказать первоисточником. Поэтому до известной степени прав Том Полин, который, отнюдь не разделяя восторгов комитета по присуждению премии «Букер», писал относительно «Моря, моря» в обзоре книжных новинок в журнале «Энкаунтер»: «К сожалению, это один из тех романов, которые подчеркивают свою конечную идею на каждой странице. Его тема — неправильность любви-обладания и необходимость раскаяния в эгоизме. Однако хорошие писатели мыслят образами, а не понятиями. Тогда как роман Айрис Мердок напоминает исследование о любви и обладании... Это одна из тех беспредметных фантазий, которыми так увлекается наша академическая среда».

Думается, что суждения Тома Полина излишне резки. Чтобы воспринимать романы Айрис Мердок, необходимо принимать правила игры, которые она предлагает читателю. Поэтому стоит прислушаться к суждению Майкла Ирвина, который в заключение своей статьи о романе «Море, море» заметил: «Подобно шекспировским комедиям, сходство с которыми Айрис Мердок все отчетливее обнаруживает с каждым новым произведением, ее романы через сознательные преувеличения, через внешне неправдоподобное ускорение действия драматически представляют сложности человеческих отношений». И в этом, думается, смысл творчества этой самобытной английской романистки, которое, к сожалению, также часто недооценивается британской прессой.

Однако факты — вещь упрямая. Как показали данные читательского опроса, приведенные в статье Алана Форреста «Что читают и что это означает», новое произведение Айрис Мердок плохо раскупается. Зато невероятным успехом пользуются в читательской среде последние произведения Барбары Пим «Квартет осенью» и «Голубка умирает», первое из которых также рассматривалось комитетом по присуждению премии «Букер».

Творческая судьба Барбары Пим сложилась необычно. Писать она начала еще в конце 40-х годов. Но в ту пору ее книги или отвергались английскими издателями, или получали весьма сдержанный, а иногда и холодный прием. Тем большее внимание читателей привлек в марте 1977 года разворот в «Таймс литерари сапплмент» с большой статьей известного английского поэта Филипа Ларкина, посвященной некоей — тогда еще никому не известной — Барбаре Пим. Прошло два года, и теперь английские критики единодушно считают ее подлинным открытием 70-х годов.

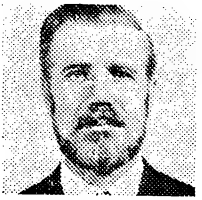
Барбара Пим пишет о замкнутом мирке английской провинции, об обездоленных людях, пишет с юмором, иногда с сарказмом, но всегда с сочувствием. Ее внимательный, зоркий взгляд напряженно всматривается в характеры персонажей, видит в непреклонности и нетерпимости молодости будущее одиночество, в притворном благочестии — цинизм и лицемерие, и под ее пером возникает камерный эпос грустной человеческой жизни. Ее произведения, отмечает Э. Дюшен, рецензент «Таймс литерари сапплмент», можно назвать классическими английскими нравоописательными романами, очень напоминающими книги Джейн Остин или «Крэнфорд» Элизабет Гаскелл. В романе «Голубка умирает», как и в предыдущих произведениях Барбары Пим, грустно-ироническая, местами надсадно-лирическая история пожилой одинокой англичанки миссис Фокс и ее окружения перерастает рамки романа «малой темы». За незначительным Барбара Пим видит социально значимое. И потому внешне камерная атмосфера ее книги таит в себе лаконичную, но правдивую историю современного среднего класса.

В силу какой-то неписаной традиции британские критики, проявляя и в этой области деятельности типично английскую «нелюбовь к теории», редко выступают с проблемными статьями, в которых бы осмыслялись тенденции литературного процесса. Чтобы знать мнение британских литературоведов, чаще всего приходится довольствоваться их соображениями, рассеянными по рецензиям или обзорным статьям. Но, как видно даже из этих материалов, минувшие несколько лет оказались весьма плодотворными для интеллектуальной жизни страны. «Типичные» английские романы сосуществуют с романами для Англии «нетипичными». Каково будет соотношение этих романов в дальнейшем, покажет будущее.

Е. ГЕНИЕВА

◆

АМЕРИКАНСКИЕ РАКУРСЫ



ЮРИЙ ЗАМОШКИН

Советский социолог, доктор философских наук. Автор книг «Кризис буржуазного индивидуализма и личность» (1966), «Отношение к науке и технике в странах капитализма» (1976), а также многих работ, исследующих проблемы личности в странах социализма, в том числе в Советском Союзе.

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ В США

Опыт анализа ценностных ориентаций американцев на фоне идейно-политической ситуации 70-х годов

Исследование взглядов, умонастроений, чувств, жизненных ожиданий и форм поведения американцев показывает крайнюю сложность и противоречивость эволюции ценностных и политических ориентаций личности в США. Это и не может быть иначе в стране наиболее развитого государственно-монополистического капитализма. В США разворачивается острая борьба различных классов, социально-политических группировок и сил. Происходят существенные изменения в производительных силах, социальной структуре и формах организации, в условиях труда и быта. В США действует мощный аппарат манипуляции умами и чувствами масс; в сознании людей прочно укоренены привычки и традиции, созданные прошедшими периодами истории.

На ценностные и политические ориентации личности влияет общий кризис капитализма, который вызывает все более серьезные экономические проблемы, рост безработицы и инфляции, который «поражает институты власти и буржуазные политические партии, расшатывает элементарные нравственные нормы» [1]. «Капитализм порождает глубокий кризис общества, духовную деградацию, потребительские отношения к жизни, культ насилия, деформирующие личность»,— отмечалось в Постановлении ЦК КПСС о шестидесятой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции [2].

С другой стороны, под влиянием объективного и необратимого процесса развития производственных, хозяйственных, политических, социальных и идеологических отношений в международном и национальном масштабе совершается обновление личности, ее сознания и чувств, ее ценностных и политических ориентаций. Усиливается противоборство различных, разнонаправленных тенденций.

■

В США спад леворадикального движения протеста «яростных 60-х» не означал, однако, спада социально-критических настроений. Хотя волна леворадикального активизма учащейся молодежи и интеллигенции схлынула, все более настойчиво заявляло о себе вновь назревающее недовольство. Притом социальный критицизм захватывал теперь среду тех американцев, которых в США принято называть «рядовыми»,— в численном отношении они составляют большинство населения страны.

Рядовой американец реагировал на заметное ухудшение положения дел в стране, на многочисленные симптомы углубления кризиса в политике, экономике и морали: поражение во Вьетнаме, провалы прочих внешнеполитических авантюр, Уотергейт и другие громкие политические скандалы,

[1] Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, стр. 29.

[2] Постановление ЦК КПСС «О шестидесятой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции» от 31 января 1977 г. М., 1977, стр. 17.

распространение коррупции в верхах правящей элиты, рост насилия, преступности, наркомании. Немалую роль сыграли тут спад производства, возрастание инфляции и безработицы, обострение энергетических проблем.

Подъем настроений недовольства и критицизма рядовых американцев в 70-е годы — факт общепризнанный, отмеченный многочисленными наблюдателями и исследователями. Например, американский ученый Д. Янкелович, один из самых авторитетных специалистов по изучению общественного мнения, констатировал в 1975 г.: с конца 60-х годов все обследования настроений общественности регистрировали прямо-таки «взрывоподобные» сдвиги в самочувствии большинства американцев.

Так, недоверие к «большому бизнесу», по его свидетельству, выросло с 30% в 1968 г. до 70% в 1975 г. В 1975 г. 91% американцев в общей форме выразил недоверие к тем, «кто находится у власти»[3].

Сходные данные приводит и Л. Харрис[4]:

Основные институты	Высокая степень доверия (в %)			
	1976 г.	1975 г.	1974 г.	1966 г.
Военные	23	24	33	62
Верховный суд	22	26	40	50
Ведущие организации в сфере бизнеса	16	19	21	55
Исполнительная власть	11	13	28	41
Конгресс	9	13	19	42

[3] D. Yankelovich. The Status of Ressentiment in America. In: «Social Research) № 4, 1975, p. 761.

[4] «The Harris Survey». March 22, 1974.

Стремясь конкретизировать внутреннюю структуру и основные параметры ощущаемого рядовыми американцами недовольства, некоторые организаторы опросов общественного мнения выработали ряд стандартных формулировок и предложили опрашиваемым высказать согласие или несогласие с ними. Получены (Д. Янкеловичем) следующие результаты. С формулировкой «люди, наделенные властью, больше не заслуживают доверия» согласились 82% опрашиваемых. С высказываниями «в стране наблюдается низкий уровень морали, и он падает все ниже» — 73%; «правительство отбирает у народа свободу» — 62%; «слишком большое внимание уделяется группам, отражающим интересы меньшинства населения,— 48%; «к бедным относятся несправедливо» — 47% населения.

В общенациональных опросах, проведенных Л. Харрисом, в качестве основных параметров проявления недовольства были использованы несколько иные, хотя и сходные в чем-то высказывания. В результате выявлены следующие изменения в сознании недовольных американцев, происшедшие с 1966 г.:

	1977 г.	1972 г.	1966 г.
Богатые становятся богаче, а бедные беднее	77%	67%	45%
Группы специальных интересов* получают от правительства больше, чем простые люди	76%	Этот вопрос не был задан	
Законы о налогах помогают богатым, а не простым людям	73%	74%	XX
Большинство людей на выборных постах занимаются политической деятельностью для того, чтобы извлечь личную выгоду.	65%	Этот вопрос не был задан	
Тому, что думаете вы, не придают большого значения	61%	51%	37%
Людей, руководящих страной, мало заботит, что происходит с вами	60%	48%	26%
Большинство людей, стоящих у власти, стараются извлечь выгоду из таких людей, как вы.	60%	36%	XX
Люди, руководящие правительством в Вашингтоне, не имеют контакта со страной.	59%	XX	XX

* «Группами специальных интересов», или «группами давления», обычно называются в США ассоциации, или организации, оказывающие воздействие на государственные органы и на конгресс США с целью получения для себя каких-либо результатов. К их числу относятся объединения и союзы предпринимателей, профсоюзы, различного рода политические организации (менее крупные, чем партии), организации, объединяющие этнические и национальные группы, религиозные организации, разнообразные добровольные общества. Следует учитывать, что в США большинство рядовых американцев обычно не ассоциируют себя с данными объединениями и не рассчитывают на их помощь. Это относится даже к ведущим профсоюзам, которые в США, как известно, включают меньшинство рабочего класса и руководство которых очень часто заботится не об улучшении жизни всех трудящихся или реализации общих целей социального прогресса, а отстаивает лишь групповые интересы своих членов.

Не только опросы общественного мнения, но и углубленные исследования, выполненные социологами-профессионалами, систематически регистрировали в этот период аналогичные параметры самочувствия рядовых американцев. Так, в ходе обследования, проведенного в 1974 г. Национальным центром по изучению общественного мнения при Чикагском университете, 65,7% согласились с высказыванием «большинство официальных лиц (лиц, занимающих посты, которые имеют общественную значимость) не интересуется на деле проблемами рядового человека» [5].

Сознание и самочувствие, характеризуемое указанными параметрами, высказываниями и мнениями, получило в США наименование «политического отчуждения», а личность, в четкой форме демонстрирующую такое самочувствие и сознание, стали называть «политически отчужденной». Понятие «политическое отчуждение» начали широко применять не только исследователи, но и многие журналисты при оценке состояния общественного мнения в стране, а также сами рядовые американцы при оценке собственных чувств и взглядов. Характерно, что понятия «отчуждение» и «политическое отчуждение» получили в США широкое распространение первоначально в конце 60-х годов в среде интеллигенции и учащейся молодежи. Здесь они возникли как результат знакомства (хотя зачастую и весьма поверхностного) с работами К. Маркса и Ф. Энгельса, с европейской философской литературой. К середине 70-х годов эти понятия вошли в сознание «средних» американцев. И хотя в данном случае содержание понятия «политическое отчуждение» не соответствовало сколько-нибудь адекватно содержанию теоретической концепции отчуждения, разработанной в мировой философской и политэкономической литературе, оно все же довольно точно характеризовало реальное состояние личности, остро ощущающей свою отчужденность от основных институтов, группировок и лиц, контролирующих политическую жизнь в США. Речь идет о личности, осознающей тот факт, что «большая» политика в США делается за ее спиной, а те, кто ее делает, преследуют свои эгоистические цели и не считаются с интересами, проблемами и мнениями рядовых американцев. Речь идет о миллионах американцев, которые, по выражению Д. Янкеловича, «почувствовали себя изолированными и отстраненными от политического процесса». И вот в середине 70-х годов многие американцы ощущают себя «забытыми и бессильными», они «убеждены в том, что их мнению не придают никакого значения», чувствуют себя объектами «манипуляции и своекорыстного использования со стороны тех, кто управляет страной», опасаются, что власть имущих «не заботит» то, что волнует большинство американцев [6].

Политическое отчуждение крайне болезненно переживалось большинством граждан США. Здесь надо учесть, во-первых, традиционную веру многих американцев в возможности их демократического воздействия на политику и, во-вторых, растущее понимание того, что сегодня судьба отдельного человека все в большей степени зависит от общеполитических решений. Американские наблюдатели не раз подчеркивали особую болезненность, с которой многие американцы восприняли факт своего политического отчуждения. Например, Л. Ченовез, характеризуя в своей книге «Американская мечта об успехе» самочувствие «средних» американцев, особо подчеркивал «растущую растерянность»: «Мы верим, что индивид имеет важное значение, и в то же время ощущаем себя не имеющими никакого значения. Мы считаем, что человек может контролировать жизнь в демократическом обществе, но мы чувствуем, что сами-то бессильны повлиять на наши политические и экономические институты» [7].

Распространение политического отчуждения в США в середине 70-х годов неразрывно связано с быстрым ростом беспокойства по поводу тревожного положения дел в экономике. Начиная с 1973 г. это беспокойство возрастает непрерывно, и уже в 1974 г. оно достигает небывало высокого уровня. Опросы, проведенные в 1974—1975 гг., показывают, что очень многие американцы всерьез боялись наступления общего экономического кризиса, аналогичного кризису 30-х годов. Осенью 1975 г. газета «Нью-Йорк таймс», проведя очередной опрос населения по экономическим проблемам, пришла к выводу, что впервые с 1959 г. (то есть с момента, когда начали проводиться подобные опросы) большинство американцев «ощутило, что экономическая почва уходит у них из-под ног — в результате действия сил, не поддающихся контролю» [8]. Опрос, организованный Д. Янкеловичем в марте 1975 г., показал, что 77% американцев считали: «дела в экономике обстоят плохо». В январе 1976 г., когда в экономике наступило некоторое оживление, 79% американцев продолжали считать, что экономика страны по-прежнему находится в состоянии спада; 72% констатировали, что цены растут быстрее, чем год назад; 53% были обеспокоены размерами безработицы и ожидали дальнейшего увеличения числа безработных.

Ответственность за кризисное состояние экономики страны американцы возлагают на крупнейшие корпорации. По данным опроса, организованного «Народной комиссией по празднованию 200-летия США», 58%

[5] D. Garth Taylor. The Srole Anomic Data. «Social Change Trend Reports» № 38. Chicago, April, 1975, p. 1.

[6] D. Yankelovich. The Status of Ressentiment in America, p. 762.

[7] L. Chenoweth. The American Dream of Success, N.Y., 1974, p. VII.

[8] «International Herald Tribune», Oct. 27, 1975.

американцев высказали убеждение: «крупные американские корпорации господствуют в Вашингтоне и определяют образ действия властей», а 57% утверждали: «как демократическая, так и республиканская партии действуют в интересах большого бизнеса, а не среднего трудящегося» [9].

Для того чтобы в полной мере представить себе степень личного беспокойства и недовольства, испытываемого рядовым американцем в связи с кризисными тенденциями в экономике, вспомним, что еще в конце 60-х — начале 70-х годов этот же американец часто был уверен в постоянном и неуклонном росте экономики и материального благосостояния. Правда, в сознании некоторых людей, особенно тех, кто постарше, еще жили страхи, поддерживаемые воспоминаниями о кризисе 30-х годов. Но в 60-х годах, по свидетельству многих исследователей, эти страхи уступили место «новой психологии» — «психологии благосостояния». В середине 70-х годов страхи возникли снова, возродясь в очень острой форме, притом на этот раз — у большинства американцев. Контраст был весьма резким, а перелом в самочувствии — очень болезненным для личности. Здесь следует принять во внимание то, что мера недовольства и беспокойства, испытываемых личностью, зависит не только от глубины и масштабов реальных трудностей, с которыми непосредственно на практике сталкивается эта личность, но и от уровня ожиданий и притязаний, которые она усвоила. Человек с низким уровнем жизненных ожиданий и притязаний реагирует на неожиданно возникшие трудности зачастую менее болезненно, чем человек, у которого этот уровень весьма высок. А ожидания и притязания очень многих американцев в отношении экономического роста и перспектив роста благосостояния на рубеже 60—70-х годов были, как никогда, высоки. Даже в 1975 г. Д. Янкелович обнаружил, что 56% американцев выразили точку зрения, согласно которой они «по праву могут притязать на постоянно возрастающий уровень жизни». Одновременно большинство американцев (тоже 56%), опрошенных в 1975 г., заявили, что «находятся в очень тяжелом экономическом положении, не могут поспевать за ростом стоимости питания, квартплаты, страховок: их сбережения поглощаются инфляцией; они боятся потерять работу» [10].

Резкие перемены и в самочувствии рядового американца, и в оценке им американской действительности сопровождались также все более отчетливо утверждавшимся ощущением того, что в стране отсутствует социальная справедливость. В результате проведенных опросов Д. Янкелович обнаружил, что от 60 до 85% американцев отмечали наличие, как он весьма осторожно выразился, «разрывов» или «разломов» в нынешней системе социальной справедливости: «Все резче бросается в глаза: те, кто много работает и живет как положено, оказываются забытыми, отодвинутыми назад, эксплуатируемыми; зато игнорирующим правила, демонстративно нарушающим социальные нормы достаются все блага». «И подавляющее большинство приходит к заключению, что система награждает не тех, кого следует, и не за то, за что следует; при этом и самые нормы, общественные установления лишаются своего смысла» [11].

Очевидно, что речь здесь идет не о том понимании социальной справедливости, которое опирается на революционную антикапиталистическую и антиэксплуататорскую идеологию, а скорее о той концепции «социальной справедливости», которая традиционно внушалась каждому американцу господствующей идеологией. Как известно, многие американцы приняли эту концепцию. Они поверили в существование в США системы «социальной справедливости», в рамках которой упорный труд и примерное поведение вознаграждаются, а паразитизм, лень и нарушение существующих норм наказываются. Но в середине 70-х годов наступило массовое разочарование в идеях, которые насаждались в течение столетий и, казалось бы, прочно укоренились в массовом сознании. Теперь же многим американцам Соединенные Штаты представились страной, в которой нет справедливости, где царят моральный релятивизм и цинизм.

Итак, личность, испытывающая недовольство и критически оценивающая общее положение дел, оказалась в США середины 70-х годов статистически доминирующей. Это означало, что данный тип личности можно было обнаружить (хотя и в разной мере) во многих группах и классах, составляющих большинство населения. Исследования подтвердили этот факт. Естественно, менее всего были удовлетворены своим положением национальные меньшинства, а также американцы с более низким уровнем годового дохода. Среди черных американцев в 1975 г. число недовольных составляло 75%; в группах населения с более низким годовым доходом — 66%; в группах квалифицированных рабочих — 63%. Но и в группе имеющих высшее образование недовольные составили 56%, в среде служащих и чиновников — 58%. Среди тех, чей годовой доход составлял 15 тыс. долларов и более, недовольных насчитывалось 58%.

«Тень отчуждения,— констатировал известный социолог М. Симэн,— сегодня пересекает линии классового деления». «Перемены в характере распределения отчуждения,— писали социологи Дж. Хауз и У. Мейзон,— поразительно равномерно распространяются на весь контингент американских избирателей» [12].

[9] «Congressional Records», Sept. 10, 1975, p. E-4648.

[10] D. Yankelovich. The Status of Ressentiment in America, p. 762.

[11] Ibidem, pp. 763—764.

[12] «Annual Review of Sociology», v. I, Polo Alto, Calif., 1975.

Отражением процесса массового роста настроений отчуждения и недовольства явилось широкое и быстрое распространение критических и «самокритических» (в отношении США) суждений в первой половине 70-х годов. Тема кризиса в политике, идеологии и морали в практике государственного управления в целом стала все чаще и чаще звучать в литературе, журналистике. Она громче зазвучала и в выступлениях многих политических деятелей, причем самой различной политической ориентации. Все чаще делаются обобщенные выводы: Америка — «больное общество».

Вот некоторые типичные заявления. Сенатор Эдвард Кеннеди: «Где бы я ни путешествовал, я обнаруживаю, что рядовой американец — будь то бедняк, представитель «средних» классов или богач, белый, черный, «цветной», горожанин, фермер или обитатель пригорода — демонстрирует глубокую неудовлетворенность своим образом жизни». Сенатор Эдмунд Маски: «Что-то чудовищно разладилось в современной Америке. Мы дошли до того, что люди готовы скорее умереть, чем жить в Америке еще один день». Гэри Харт, руководитель предвыборной кампании Макговерна в 1972 г., рекламируя своего кандидата в президенты, говорил об Америке как об обществе, «стоящем почти на краю морального банкротства и распада». Питер Дракер, авторитетный в США специалист по технологии управления: «Сегодня люди с тревогой приходят к выводу, что жизнь у нас в стране распалась...» Журнал «Тайм», весьма близкий к «истэблишменту»: «Существует смутная обеспокоенность, машина XX века начинает выходить из-под контроля». Ширли Маклейн, популярная кинозвезда: «В настоящий момент социальная душа Америки так больна, что даже изменение политического режима может уже оказаться недостаточным, чтобы поправить дело» [13].

Характеризуя все эти настроения, Бен Уотенберг, в прошлом советник президента Л. Джонсона, констатировал в 1974 г.: «Поражение и вина. кризис и отчаяние стали стилем мышления в Америке»[14]. И хотя можно предположить, что для какой-то части журналистов и политических деятелей рассуждения о кризисе и болезни страны были не более чем данью моде, конъюнктурным стереотипам,— сам факт частой констатации симптомов болезни и кризиса общества явно не случаен. Он отражает общую идейно-психологическую ситуацию, сложившуюся в США к середине 70-х годов.

■

Казалось бы, в стране создались условия для нового подъема движения протеста — на этот раз уже действительно массового. И то, что такой подъем не наступил, имело свои причины. Настроения недовольства, социального критицизма, «политического отчуждения», охватившие в этот период большинство американцев, не опирались на готовность к активному политическому действию. Свойственные десяткам миллионов людей, они не были выражением их внутренних социальных связей и того идейного единства, которое могло бы стать основой массового коллективного политического действия. Не выступают на общественной арене и организации, которые пользовались бы достаточно широким авторитетом, чтобы возглавить серьезное массовое движение протеста.

Характерный момент: переживаемое многими американцами политическое отчуждение выражается в особой форме — оно становится отчуждением не только от правящей верхушки, возглавляющей основные институты, но и от политики в целом. Кризис доверия к «людям, стоящим у власти», нередко обращается в кризис доверия к любым институционным формам социально-преобразующего политического действия. Он перерастает в недоверие ко всем окружающим людям, к их побуждениям и поступкам (75,7% американцев согласились с суждением: «в наши дни человек не знает, на кого он может положиться», а 59,3% присоединились к высказыванию: «большинство людей в действительности не заботятся о том, что происходит с человеком, находящимся рядом» [15]). Следовательно, падение доверия к тем, кто стоит во главе основных политических институтов, у многих американцев перерастает в убеждение, будто имеет место кризис активного политического действия, способного радикально изменить к лучшему положение дел в стране.

Рост настроений политического отчуждения нередко сопровождается усилением чувства бессилия, неверия в способность личности и общества в целом устранить то, что вызывает критику и недовольство. Такое соединение настроений политического отчуждения с чувством бессилия порождает разные варианты внутренней структуры и поведения личности. Например, сложился тип личности, резко критически настроенной по отношению к основным институтам, но остающейся конформистской в своих практических повседневных делах. Мелкий, будничный прагматизм и даже цинизм способны сосуществовать с высокой степенью неудовлетворенности.

Возникли и другие типы личности. Так, у личности, ощущающей свое бессилие и склонной к интровертивным реакциям, неудовлетворенность порой выражается в неврозах, в стремлении забыться с помощью алкоголя и наркотиков. У личности, склонной к экстровертивным реакциям, внутренняя неудовлетворенность легко перерастает в раздражение и озлобленность. Вследствие непонимания смысла общесоциальных процессов это раздражение и озлобленность способны смещаться, перено-

[13] B. Watenberg. The Real America. N. Y., 1974, pp. 14, 15, 20, 21.

[14] Ibidem, pp. 7, 185.

[15] D. Garth Taylor. The Srole Anomic Data, pp. 1—2.

ситься на тех, кто рядом, особенно тех, кто послабее, на ком можно сорвать раздражение и гнев, на любые внешние объекты, которые в силу тех или иных идеологических ситуаций оказываются в роли «козлов отпущения».

Таким образом, типичным и широко распространенным следствием соединения в сознании американцев чувства политического отчуждения и бессилия становится спад политической активности в сфере общественных отношений. Так, например, Дж. Д. Райт, обобщая различные исследования, пришел к выводу, что в США существует «большое число отчужденных, чьи действия, однако, являются минимальными по масштабам и в основном носят сугубо частный характер». Он далее отметил, что у части американцев неудовлетворенность проявлялась в стремлении к уходу от большой политики. Мельвин Симэн приводит многочисленные данные, свидетельствующие, что соединение отчуждения и самоотчуждения с бессилием часто рождает политическую апатию.

Идейно-психологическое состояние, получившее в США название политического отчуждения, как правило, не подразумевало идеологическую программу коренного преобразования общества. Рядовой американец — даже недовольный, разочарованный в господствующих формах идеологии и политики, прежде всего неолиберальных — в подавляющем большинстве случаев еще не обрел действительно альтернативной идеологии и программы политического действия. Чаще всего он вообще не видит альтернативной модели будущего развития общества; в оптимистических и утопических картинах-прогнозах, предложенных неолибералами в 60-е годы, он изрядно разочаровался. (Социолог Рональд Ингельхарт указывал: «Мы не имеем модели будущего», и для большинства американцев быстрые изменения — а они ощущались в 70-е годы особенно сильно — есть «прыжок в неизвестное»[16]).

Разуверившись в правительственных программах 60-х годов вроде программы «Великого общества» президента Л. Джонсона, никаких новых общесоциальных проектов взамен он не получил. Журнал «Общественный интерес» отмечает: «Хотя наше поколение утратило ту, почти безграничную веру в правительственные программы, которая существовала в 30-е годы и даже еще в первой половине 60-х годов, ничто не заняло места этой веры. Похоже, что альтернативы не существует»[17].

Недовольные и политически отчужденные американцы в середине 70-х годов явно испытывали перед лицом будущего смятение и страх. Эти настроения были очень хорошо переданы в книге Олвина Тоффлера «Столкновение с будущим»[18], приобретшей, как известно, огромную популярность в описываемый период и выдержавшей много изданий.

Итак, у одних смятение и страх перед будущим, столь характерные для «недовольного большинства» 70-х годов, перерастали в общее ощущение неизбежной грядущей катастрофы или катаклизма, предотвратить которые, как им казалось, не в состоянии ни отдельные люди, ни общество в целом. У других же они вызывали фаталистические настроения: будущее, рассуждали эти люди, само о себе побеспокоится; дела как-нибудь и когда-нибудь образуются сами собой. Такие типы самочувствия хорошо описаны, например, в книге Х. Хендина «Век господства чувств». Наконец, смятение и страх перед будущим и резко критическое отношение к новым процессам, происходящим в Америке, породили — особенно во второй половине 70-х годов — склонность к идеализации и романтизации прошлого.

Эти настроения были обусловлены и тем, что утрачивалась вера в целостность исторического процесса, в его закономерное развитие. Следствием явилось особое мировосприятие некоторых американцев. В их сознании и представлениях как бы «распадалась связь времен». Их собственная жизнь воспринималась ими как чередование, сосуществование отдельных эмпирических ситуаций, отдельных проблем, отдельных мгновений, не связанных никакой объективной логикой. Для такого человека, по наблюдению того же Д. Янкеловича, «само время теряет свою четкую последовательность, превращаясь в неупорядоченную серию квантов — скачков от одного состояния чувств к другому»[19]. Обобщая данные опросов «недовольного большинства», он подчеркивает тенденцию к «рассредоточению («compartmentalization»)»[20]. В этом случае чувство недовольства, как бы рассредоточиваясь, направлялось на многие, притом различные институты, на различных лиц, на неоднородные проблемы. Оно не концентрировалось в едином порыве критической энергии, направленной против государственно-монополистической системы в целом, не объективировалось в массовом политическом движении протеста.

Поскольку глубокое недовольство, испытываемое очень многими рядовыми американцами, лишено теоретико-идеологической базы, оно нередко, с одной стороны, приобретает характер такого критицизма, когда гнев направляется как бы на весь окружающий мир. Воплощаясь в общем эмо-

[16] R. Ingelhart. The Silent Revolution. Princeton, 1977, p. 6.

[17] «The Public Interest», Winter 1976, № 42, pp. 45—46.

[18] Фрагменты книги опубликованы в «Иностранной литературе» № 3 за 1972 г.

[19] D. Yankelovich. The Changing Values on Campus, N. Y., 1972, p. 173—174.

[20] D. Yankelovich. The Status of Ressentiment in America, p. 767.

циональном состоянии и настрое личности, недовольство в этом случае остается абстрактным: на дифференцированный анализ окружающей реальности оно не опирается, не адресуется к конкретным формам социальных отношений, которые четко определялись бы и осмысливались личностью в понятиях, имеющих классовый смысл. Объектами недовольства и критического отношения становятся такие крайне общие и неопределенные для личности феномены, как «современная жизнь», «современная цивилизация» или «человеческое общество». Типичны декларации: «Кажется, мы находимся в одном из тех периодов, когда цивилизация переживает упадок» (журнал «Нью рипаблик»). Или: «Существует веское свидетельство, что человеческое общество находится на стадии явного распада» (Норман Казенс).

С другой стороны, отсутствие адекватной идеолого-теоретической базы — при одновременном влиянии индивидуалистической традиции — сплошь и рядом приводит к тому, что глубокое недовольство рядовых американцев оказывается адресованным не социальной системе в целом, не ее институтам, а лишь конкретным людям, во главе этих институтов стоящим. Напомним, что индивидуалистическая идеология и психология приучили американца концентрировать внимание на личностях и личностном факторе в общественной жизни, а не на объективных (и в этом смысле «безличных») характеристиках социальной системы и входящих в нее институтов.

■

Внутренняя противоречивость недовольства, которое испытывало большинство американцев в середине 70-х годов, проявилось еще в одном факте, вызвавшем острые споры в американской литературе. Признавая, что «дела в стране обстоят плохо», многие американцы на вопрос о проблемах в личной жизни отвечают: «Здесь все обстоит вполне благополучно». В 1975 г. 79% американцев считали, что «страна идет к черту», и одновременно 83% утверждали, что лично у них «дела складываются неплохо».

Развернулась целая дискуссия о том, как надо толковать столь явное противоречие. Некоторые авторы — такие, например, как упоминавшийся Б. Уотенберг,— использовали это противоречие для того, чтобы поставить под сомнение значимость негативной оценки рядовыми американцами общего положения дел в стране. Рядовой американец, поучал Уотенберг, со знанием дела может судить лишь о проблемах своей личной жизни. Знать, как обстоят дела в стране в целом, он не может. Рассуждая об общем положении дел в стране, он, как полагает Уотенберг, просто вспоминает и некритически повторяет мнения тех журналистов, писателей, политических деятелей, которые много писали в 70-е годы о кризисе системы в целом. С подобной точкой зрения не согласились крупнейшие американские специалисты в области общественного мнения. Как писал Дж. Гэллап, «средний гражданин», пускай он часто и не имеет четкого представления о том, что происходит в экономике страны в целом, тем не менее чутко улавливает малейшие изменения в ней. Поэтому высказывания рядовых американцев он счел достаточно «точным барометром» реальных тенденций, имеющих место в стране в целом.

И все же как объяснить это противоречие, выявленное опросами общественного мнения? Здесь, видимо, следует учесть и влияние традиционной индивидуалистической идеологии и психологии. Ведь в течение 200 лет рядовому американцу внушали: если у него лично дела идут плохо, то виноват в этом только он сам. Значит, у него отсутствуют высоко ценимые личные качества: воля, упорство, трудолюбие, предусмотрительность, ум и т. п. А человек, лишенный таких личностных свойств,— заведомый неудачник, не обладающий самоуважением и не внушающий уважения другим людям. Американец, воспринявший индивидуалистическую традицию, естественно, не хочет казаться неудачником ни самому себе, ни другим — в том числе и интервьюерам, проводящим опросы общественного мнения. В результате многие рядовые американцы проявляют явное нежелание определять свое личное положение при помощи негативных оценок [21]. Зато когда их спрашивают о положении дел в стране в целом или у других людей — тогда вырываются наружу их действительные настроения беспокойства, недовольства, критицизма.

Однако для объяснения столь резкого расхождения между даваемой многими американцами оценкой своего личного положения и их оценкой общего положения в стране надо принять во внимание еще одно важное обстоятельство. «Недовольное большинство» середины 70-х годов объединяло представителей самых разных социальных групп и слоев населения; их объективное положение, и прежде всего положение экономическое, было далеко не однородным. К «недовольным американцам», понятно, принадлежали те слои населения США, которые, по свидетельству их представителей, на себе испытали достаточно серьезные последствия спада в экономике.

Но к числу «недовольных американцев» относились и те слои населения, чье экономическое положение, согласно обследованиям, осталось на прежнем уровне. Эта часть населения США более остро реагировала не на кризисные явления в экономике, а на провал вьетнамской авантюры и громкие политические скандалы. Она сталкивалась с ростом преступности и нарко-

[21] Д. Янкелович, обсуждая вышеуказанное противоречие, предупреждает: люди неохотно признаются в том, что они не справляются со своими личными проблемами. (См. «Social Research» № 4, 1975, N Y., p. 767.)

мании, с распадом семей и другими проявлениями нравственно-психологического кризиса. Вот почему и у этой категории людей возникало чувство недовольства общим положением дел. Таким образом, внутренняя неоднородность «недовольного большинства» сказывалась и в том, что разные группы заостряли внимание на разных проблемах и сторонах кризиса.

Но и в тех случаях, когда обнаруживалось единство — в основных интересах, в «точках пересечения» наиболее острого недовольства,— за общими данными о явном недовольстве «средних» американцев скрывались фактически разные способы объяснения социальных проблем и, в конечном счете, разные политические ориентации. Приведем характерный пример. Известно, какой взрыв массового недовольства в США вызвал провал вьетнамской авантюры. В одном опросе, проведенном после ухода американских войск из Вьетнама, выяснялись взгляды американцев на главнейшую причину поражения. На первом месте в численном отношении оказалась группа сторонников мнения, что такой причиной явилась коррупция южновьетнамского правительства, то есть по сути дела отмечались конъюнктурные, а не существенные причины. Второе и третье места заняли те, кто поражение США связывал с волей к борьбе «вьетконга» и Северного Вьетнама, а также с помощью других социалистических стран, и прежде всего СССР. И лишь четвертое место заняли американцы, указавшие на порочность внешнеполитического курса, который привел к войне во Вьетнаме, а затем и к поражению США [22].

Этот факт, наряду со многими другими, свидетельствует об определенной неразвитости и незрелости критического сознания многих американцев. Характерные для «среднего» американца глубокое недовольство и явный критицизм зачастую не опирались на понимание самых основных фундаментальных причин, вызвавших кризисные процессы в экономике, внешней и внутренней политике, общественной жизни и морали США. Отношение недовольного американца к окружающему миру определялось прежде всего эмоциями. Типичное для него состояние недовольства и политического отчуждения отличалось фрагментарностью, эклектичностью, а потому было весьма неустойчивым и обнаруживало тенденции к колебаниям, к быстрым подъемам и спадам, к шараханью из стороны в сторону.

Это была, так сказать, «плазма», находящаяся в процессе постоянного брожения, кипения, изменения и превращения. Ее структурализация и кристаллизация происходили по разным направлениям, вызывая к жизни различные варианты личностной ориентации, весьма сложные, внутренне противоречивые. Здесь, конечно, огромную роль играла расстановка сил в политике и идеологии, та борьба, которую вели наиболее влиятельные в США группировки и организации, целенаправленно занятые выработкой политических и идеологических позиций, лозунгов и их систематическим внедрением в сознание рядовых американцев. Огромную роль играла деятельность профессионалов-идеологов, создающих инструменты массовой пропаганды и манипуляции умами и чувствами рядовых американцев.

■

Как известно, в начале 70-х годов в США заметно усилили свои позиции прогрессивные движения и организации, прежде всего коммунистическая партия. Явно возрос интерес к социализму и марксизму-ленинизму.

Заметные позитивные сдвиги произошли во внешней политике и связанных с ней формах идеологии. Значительные успехи были достигнуты в деле разрядки международной напряженности и нормализации отношений между США и СССР. Имел место существенный пересмотр идейно-политического арсенала «холодной войны», хотя следует отметить, что произошел он не столько в рамках господствующей в США идеологической теории, сколько в повседневной практике.

Антисоциалистическая и антисоветская пропаганда в начале 70-х годов продолжала оставаться в США постоянным элементом господствующей идеологии. Тем не менее наблюдалось некоторое снижение ее агрессивного тона и сокращение размеров. В этот же период наметились разлад и брожение в среде идеологов и политических активистов неолиберального толка. Имел место рост тех же настроений беспокойства и общего критицизма, которые были характерны для «среднего» американца, причем либералы — профессиональные идеологи и политики — зачастую не поднимались выше уровня сознания «недовольного большинства». Их высказывания и мнения отличались противоречивостью. Нередко своего рода «остаточный» оптимизм соседствовал с констатациями общего кризиса, распада и отсутствия ценностей, провалов и поражений в тех или иных сферах политики. Многие работы и выступления свидетельствовали о верности технократическим и бюрократическим схемам и одновременно содержали явные уступки леворадикальному бунтарству, особенно в сфере духовной жизни личности, культуры и «частной» жизни, например в сфере половых и межличностных отношений.

Переломными оказались 1974—1976 годы. Именно эти годы в сфере идеологии и политики отмечены заметной активизацией правоконсервативных группировок. В системе идеологических и политических отношений США постепенно берут верх люди, выступающие под флагом традиционализма. В сфере политической идеологии наи-

[22] D. Yankelovich. The Status of Resentiment in America, p. 769.

более активную роль начинает играть своеобразный блок, основное ядро которого составляют, во-первых, вчерашние неолибералы, сдвинувшиеся вправо и получившие в США наименование неоконсерваторов, и, во-вторых, представители традиционной правоконсервативной мысли, приспособившие консервативную традицию к тем задачам консолидации власти, «закона и порядка», которые с такой остротой ставит перед правящим классом США сегодняшний день. Именно с этим фактом связано укрепившееся в литературе США представление, что в 1975—1977 годы наступила новая «весна американского консерватизма», в результате чего «центр политической жизни переместился вправо»[23].

В каких же конкретных формах проявилась тенденция к консолидации консервативных и правых группировок в политической идеологии?

Прежде всего, началось активное наступление на все формы социального критицизма внутри страны. Критика внутренних критиков — таков лейтмотив выступлений и публикаций, которые с 1975 г. становились все более многочисленными. Вновь выдвинулись на первый план апологеты. Они стали призывать всех деятелей в сфере идеологии, массовых коммуникаций и культуры к быстрейшему изживанию «комплекса поражения, неудач и кризиса» (типичный пример — книга Б. Уотенберга «Реальная Америка», получившая очень широкую рекламу в 1975—1976 годах. Она построена по простой до примитивности схеме. Под рубрикой «Комплекс вины и неудачи» собраны различные критические высказывания, авторам которых Уотенберг бросает прямое обвинение в распространении психологии пораженчества и национальной неполноценности, в идейном разоружении и моральной дезорганизации рядовых американцев. Он стремится внушить читателям, что настроения недовольства якобы свойственны в США лишь узкой прослойке левых «интеллигентов» и критиканов, создавших моду на критику, и тех безответственных журналистов и политиков, которые стали следовать этой моде. «Господствующая сегодня риторика,— пишет он,— это риторика неудачи, вины и кризиса. Объективные же данные говорят о прогрессе, экономическом росте и успехе». B. Wattenberg. The Real America. p. 8), к преодолению того идейно-политического и социально-психологического состояния, которое получило в США наименование «расстройства нервов»[24]. В стране все чаще появлялись статьи и работы, в которых сам феномен политического отчуждения большинства американцев ставился под сомнение. Более того, авторы таких работ приходили к выводу, что понятие «отчуждения», импортированное-де из Европы леворадикалами или «марксистами», якобы вовсе неприменимо к ситуации, сложившейся в США.

Настойчивая апологетика американского капитализма и стремление приуменьшить значимость переживаемых страною кризисных процессов сочетались с идеализацией и романтизацией прошлого, истории США. Здесь большую роль сыграла широкая идеологическая, пропагандистская, рекламная кампания по празднованию 200-летия США, в ходе которой акцент делался на «возрождение связи с прошлым страны». В юбилейной кампании очень активно проявилось стремление к восстановлению и реабилитации «традиционных американских ценностей». Если идеологи и политики, представляющие существовавшую ранее правоконсервативную политическую идеологию, начали откровенную пропаганду традиционализма, то вчерашние либералы, ставшие неоконсерваторами, перенесли акцент на «возврат к традиционным ценностям», в то же время пытаясь приспособить их к новым потребностям современного государственно-монополистического капитализма[25].

Во второй половине 70-х годов все больше ведущих идеологов, политиков и журналистов выступают с открытой рекламой капитализма, частной собственности, буржуазного предпринимательства и рынка.

Капитализм, частная собственность и рынок все чаще и все более откровенно объявляются основой и главной предпосылкой развития экономики. Открыто консервативные идеологи требуют «освобождения» частнокапиталистической деятельности от вмешательства со стороны государства. Более «умеренные» неоконсерваторы стремятся сочетать апологию частнокапиталистического рынка с признанием регулирующей роли государства, которую считают уже постоянным и необходимым фактором экономики, особенно в условиях роста кризисных процессов.

Консервативные идеологи стремятся взвалить ответственность за инфляцию прежде всего на рядовых американцев, которые, дескать, предъявляют «чрезмерные» притязания, требуя повышения зарплаты и уровня жизни. Д. Белл, например, много пишет о «деструктивном» характере «революции растущих притязаний», происходящей, по его мнению, в США[26]. «Деструктивным» считает он тот факт, что рядовые американцы, «находящиеся на нижней ступени пирамиды доходов», стали выдвигать требования реального экономического равенства,

---

[23] S. Tonsor. The Second Spring of American Conservation. In: «National Review», Sept. 30, 1977, p. 1107.

[24] В 1976 г. журнал «Комментари», совершивший к тому времени полный переход с либеральных позиций на консервативные (редактор Н. Подгорец), устроил широкую дискуссию под названием «Америка сегодня: нервное расстройство?». С апологетическими, оптимистически-бодрыми и шовинистическими призывами выступили З. Бжезинский, П. Бергер, Ч. Френкель, Г. Кан, И. Кристол, С. Липсет, Р. Нисбет, Р. Такер и др.

[25] См. А. Ю. Мельвиль. Идеология американского неоконсерватизма «США: экономика, политика, идеология» № 11, 1978.

[26] D. Bell. The Revolution of Rising Entitlements. In: «Fortune», April 1975; The Future World Disorder. In: «Foreign Policy», Summer 1977, p. 135.

адресуя их прежде всего государству и привилегированной верхушке правящего класса. Этим требованиям фактического экономического равенства консервативные идеологи противопоставляют традиционную индивидуалистическую идею «равенства возможностей», практическая реализация которой в США неизбежно выливается именно в действительное неравенство экономического «статуса» и доходов.

В последние годы консервативные идеологи все чаще обращают к рядовым американцам призывы быть «умеренными» и «скромными» в своих жизненных ожиданиях. Усилилась традиционно-консервативная, апеллирующая к добродетели пуританской этики критика «гедонизма», «чрезмерного материализма», расточительности, обращенная к тем же рядовым американцам, которые испытывают все большее беспокойство по поводу инфляции и реального падения уровня их жизни.

Наконец, в консервативной литературе, в изобилии публикуемой сегодня в США, очень настойчиво проводится идея принципиальной невозможности ликвидировать бедность и добиться «всеобщего благосостояния». Притом опять-таки критикуются неолиберальные оптимистические проекты, которые якобы и были причиной «чрезмерно высоких» притязаний рядовых американцев.

Современные консерваторы США выступают с апологией «прав индивидуальной личности», понимаемых в традиционно-индивидуалистическом плане. Эта апология иной раз сочетается с критикой бюрократии федерального правительства. Характерно, что, критикуя «вашингтонскую бюрократию», они, ничтоже сумняшеся, выступают за усиление таких явно бюрократических органов центральной власти, как ФБР, ЦРУ и Пентагон. Борьбу за «восстановление» индивидуальных свобод и прав в их традиционно-буржуазном понимании правые ведут под лозунгом «демократии». «Демократия» снова четко и прямо связывается в их высказываниях с частной собственностью, конкуренцией в экономике и политике, то есть с капитализмом [27]. Консервативные идеологи, отождествляющие демократию с капитализмом, естественно, лидируют в развязанной в США антисоциалистической и антисоветской кампании, которая ведется под флагом «защиты прав человека». Официальная идеология США обнаружила явное стремление переместить центр острых идейных дискуссий о демократии, так сказать, вовне, путем непрерывного выдвижения обвинений против стран социализма и, прежде всего, против СССР, чтобы отвлечь внимание американцев от пугающих их антидемократических тенденций внутри страны. Одновременно внутри США правоконсервативными идеологами предпринимается массированная кампания, рассчитанная на фактическое ограничение демократии. Она идет под традиционным лозунгом «укрепления национального единства» перед лицом якобы усиливающейся «угрозы коммунизма», «угрозы СССР». Распространяются идеи о необходимости «сдерживания демократии» внутри страны. Известный политолог С. Хантингтон пишет: «Уязвимость демократического правительства в США проистекает... скорее от внутренней динамики демократического процесса. Существует желательный предел расширению политической демократии; демократия окажется более жизнеспособной, если она будет более сдержанной» [28].

Рядовым американцам, действительно стремящимся к расширению демократии в США, правоконсервативная идеология адресует призывы к усилению социальной дисциплины, социального и политического конформизма. В «драматическом росте демократического пыла в Америке», как выражается С. Хантингтон, правоконсервативные идеологи видят реальную угрозу внутреннего «кризиса власти» [29]. Они пугают американцев «кризисом гражданственности», который якобы обязательно наступает, если рядовые американцы усиливают свой критицизм в отношении основных органов власти, если по отношению к этим органам утрачивается «чувство долга». Той же цели служит усиленная правоконсервативная пропаганда «закона и порядка»: американцев учат строго повиноваться нормам-рамкам, создаваемым авторитарно-бюрократической организацией США.

Вообще для официальной идеологии современной Америки очень характерно резкое усиление морализаторства, адресованного рядовому американцу и выдержанного в духе описанной нами выше традиции классического консерватизма. В этом отношении американская социально-политическая литература сегодня представляет резкий контраст публикациям конца 60-х — начала 70-х годов.

Наиболее заметна активизация правоконсервативных группировок в США в вопросах внешней политики. Их главные усилия направлены на преодоление того, что во многих работах американских авторов получило название «кризиса духа». «Кризис духа,— пояснял, например, З. Бжезинский, — был стимулирован вьетнамской войной и конституционным и моральным кризисом Уотергейта». Кроме того, «кризис духа»,— признает З. Бжезинский,— возник в результате столкновения американцев с «широко распространенным глобальным

[27] «Существует высокая степень положительной соотнесенности между капитализмом и демократией...— говорит П. Бергер.— Все демократические общества — капиталистические». («Commentary», April, 1978, p. 33.).

[28] S. Huntington. The Democratic Distemper. In: «The Public Interest», Fall., 1975, № 41, pp. 5, 36.

[29] См. В. О. Печатнов «О кризисе власти». «США: экономика, политика, идеология» № 3, 1978.

феноменом антиамериканизма»[30]. «Кризис духа» означал, что была утрачена вера в «мировую миссию» США.

Стремясь преодолеть «кризис духа», правоконсервативные идеологи призывают к восстановлению «чувства уверенности и оптимизма, к формированию «нового духа». Именно с такими призывами, начиная с 1975 г., постоянно выступает З. Бжезинский[31]. На самом же деле «новый дух», глашатаями которого являются правоконсервативные группировки, есть новый вариант националистически-имперской идеологии. «Новый дух» связан с традиционной идеей морального «превосходства» США над всеми другими странами. «Обновление» аргументации состоит лишь в том, что особый упор делается именно на «моральную миссию» США в мире.

Правоконсервативная идеология сделала особый акцент на кампанию по поводу «прав человека». Правые используют эту кампанию, надеясь разжечь антисоветскую истерию и остановить наметившийся позитивный процесс разрядки международной напряженности. С ее помощью они хотели бы поднять международный престиж США, изобразив их, пользуясь выражением того же Бжезинского, носителем «планетарного гуманизма».

Правоконсервативные идеологи и политики спекулируют на чувстве страха, которое многие американцы испытывают в связи с угрозой ядерной войны, и пытаются направить его в русло антисоветизма и милитаризма, заставляя США снова форсировать гонку вооружений. Раздувая миф о «советской военной угрозе», они всячески пытались затормозить переговоры об ограничении стратегических вооружений и воспрепятствовать реализации мирных инициатив, предпринимаемых СССР и странами социализма.

Они ведут активное контрнаступление против тех групп в США, которые в начале 70-х годов проявили и проявляют сегодня политический реализм, отстаивая курс на разрядку международной напряженности. Правоконсервативные идеологи адресуют свои идеи прежде всего тем американцам, которые напуганы кризисными процессами, имевшими место в США в 70-е годы. Поскольку именно эти — «напуганные» члены общества чаще всего не понимают действительных причин этих кризисных процессов, им стремятся внушить ложную мысль, будто разрядка, развивавшаяся в те же годы, способствовала кризису, будто для США она была «улицей с односторонним движением» (то есть несла с собой преимущества только для СССР и стран социализма). Отсюда — настойчивые требования правых, чтобы в отношениях с СССР проводился более «жесткий курс» — с целью обеспечения преимуществ для США.

Наконец, правоконсервативные идеологи и политики, стремясь снова активизировать экспансионистскую политику США в Азии, Африке и Латинской Америке, запугивают рядовых американцев угрозой экономического и сырьевого кризиса. А эта угроза, как известно, становится все более реальной для США — страны, население которой составляет лишь 6% мирового населения, но которая потребляет не менее 40% мировых ресурсов. Осознание этого факта вызывает у рядовых американцев весьма противоречивые чувства. «Новые правые» пытаются сыграть на них в целях пропаганды экспансионизма и империалистического «активизма» на международной арене, а также в целях распространения антикоммунистических и антисоветских настроений. Рядовым американцам, не всегда грамотным в международных отношениях, постоянно внушается мысль, будто СССР, Куба и другие социалистические страны угрожают «американским интересам» в Африке, Азии, Латинской Америке, в том числе стремлению США обеспечить себя нефтью и другим необходимым сырьем.

Борьба различных сил обостряется. Стремлениям «новых правых» к полному господству в идеологии и политике оказывают противодействие группы, выступающие за разрядку, за социально-значимые внутренние реформы. И все-таки в области идеологии и политики в последние годы, а также, что весьма показательно, в деятельности средств массовых коммуникаций произошла активизация правоконсервативных групп. Влияние правых консерваторов — не только на процесс принятия важнейших политических решений, но и на общественное мнение, на политические ориентации многих рядовых американцев — усилилось. Масштабы и границы этого влияния вызывают споры. Консерваторы склонны его всячески преувеличивать. Что касается либералов, то некоторые из них, например Р. Тиллем, согласны с консерваторами в том, что в 70-е годы в США налицо «неоконсервативная реакция». Другие этот вывод оспаривают.

Какие же процессы, затрагивающие систему ценностных и социально-политических ориентаций рядового американца, происходят в США сегодня? В какой мере процессы, происходящие в массовом сознании и общественном мнении, отражают влияние правоконсервативных группировок?

Нельзя не признать, что предпринятая ведущими идеологами, политиками и средствами массовых коммуникаций массированная кампания «критики внутренних критиков» сыграла-таки свою роль: начиная с 1975—1976 годов заметно уменьшается число документов и высказываний с выражением недовольства общим положением дел в стране и констатацией политического отчуждения в тех четких, резких и открытых формах, которые были типичны для 1972—1974 годов. Национальные опросы общест-

[30] Z. Brzezinski. The Priorities of U.S. Foreign Policy. In: «Dialogue» № 2, 1978, pp. 49—50.

[31] «Commentary», July 1975, p. 27; «Dialogue» № 2, 1978, pp. 49—50

венного мнения во второй половине 70-х годов показывают, что довольно большое число американцев зачисляет себя в ряды консерваторов. Так, по данным Л. Харриса, в 1978 году 35% опрошенных отнесли себя к консерваторам (при этом 21% опрошенных объявили себя сторонниками либерализма), а остальные заявили, что они занимают «среднюю», или «центристскую», позицию по отношению к консерваторам и либералам.

Вероятно, последнее свидетельствует о разочаровании большого числа американцев в либерализме, точнее в неолиберализме 60-х годов. Ведь в глазах многих рядовых американцев «либерал» — это бюрократ-карьерист, который, разбогатев и получив власть в 60-е годы, сверху вниз смотрит на «простых людей» и не считается с их мнением[32]. Но здесь-то и сказывается узость, одномерность той схемы, или шкалы, альтернативных идеологических позиций, которая предлагается американцу и которая задает ему выбор только между либерализмом и консерватизмом. Человека, разочаровавшегося в либерализме и не желающего идентифицировать себя с ним, тем самым побуждают к идентификации с консерватизмом или к определению своей новой позиции как «серединной», или «центристской». И многие рядовые американцы подчиняются, поддаются влиянию этой дихотомической идеологической схемы, хотя на самом деле весьма смутно представляют себе реальное содержание как либеральных, так и консервативных идеолого-политических позиций и программ.

Следует учесть, что в рамках навязываемой американцу схемы-шкалы идеологических позиций его отношение к различным, сугубо конкретным проблемам зачастую четко «привязывается» либо к либерализму, либо к консерватизму. Например, в США имеет широкое хождение такой стереотип рассуждения: если ты выступаешь за разрешение абортов, значит, ты — либерал; если ты настаиваешь на необходимости смертной казни за убийство, то ты обязательно консерватор. Коль скоро ты выступаешь за более решительные меры в борьбе с преступностью, за строгую дисциплину, за прочные моральные принципы, значит, тебя следует причислить к консерваторам (в США именно консерваторы традиционно делали больший, чем либералы, акцент на этих проблемах и чаще использовали лозунг «закона и порядка»). Но ведь американцы, выступающие за укрепление «законности», на деле могут не иметь ничего общего с принципами консерватизма. Так, сегодня борьба за соблюдение «законности» означает для многих черных американцев, борющихся за свои права, требование последовательно выполнять те законы о равноправии, которые уже приняты в США, но фактически очень часто нарушаются. А растущий протест рядовых американцев против роста преступности, аморализма и нравственной распущенности? Ведь он вполне понятен, оправдан и естествен. Он может ничего общего не иметь с политической идеологией консерватизма, да и вообще с дихотомией «консерватизм—либерализм».

Жесткая схема «либерально-консервативного континуума» мешает американцам правильно оценить свои стремления, отношения, идейно-психологические позиции. Она препятствует развитию и обновлению их социально-политических ориентаций, придавая этому развитию характер маятникообразных колебаний лишь между либерализмом и консерватизмом. «Центристская», «серединная» позиция на деле нередко означает неспособность, а то и нежелание человека идентифицировать себя либо с либерализмом, либо с консерватизмом или разочарование и в том, и в другом при неумении выйти за рамки самой дилеммы. И тем не менее сегодня в США в сознании многих американцев получают развитие идейно-политические тенденции, создающие своего рода питательную среду для некоторого усиления и активизации правоконсервативных сил. Обострение общего кризиса, как уже было подчеркнуто, оказывает на американцев очень противоречивое влияние. Кризис способствует краху многих иллюзий, росту внутреннего недовольства и отчуждения от господствующей системы. Он создает — об этом подробнее далее — также ряд важных предпосылок для обновления социально-политической ориентации и возможного в будущем подъема прогрессивных движений.

Однако обострение кризиса у человека, пока не нашедшего путей к принципиально новой и действительно альтернативной ориентации, нередко вызывает целый комплекс болезненных чувств, настроений и состояний, на которых сегодня спекулируют консерваторы. Для большого числа людей типичным становится состояние депрессий, усталости, душевного опустошения, нервного напряжения, растерянности, беспокойства и страха. Все эти состояния широко распространены сегодня в США, что открыто здесь признается. Например, А. Шлессинджер, характеризуя идейно-политический климат в США, констатирует распространенность «политической депрессии» (political doldrums), «усталости», «нервного истощения» вследствие накопления проблем, явно нерешенных и нерешаемых. Он говорит об «апатии» (acquiescence) многих американцев, о том, что они ощущают «разрыв между миром политики и реальным миром», теряют интерес к большой политике («люди просто устали и хотят, чтобы их избавили от политики...»)[33].

[32] Об этом, например, говорит исследование, проведенное известным психологом Робертом Коулсом. (См. «Commentary», Sept., 1976, p. 49.).

[33] «Public Opinion», Sept/Oct. 1978, pp. 8—10.

Вместе с утратой веры в будущее растет страх перед ухудшением нынешнего положения дел, страх потерять то, что есть. А это, в свою очередь, выражается в стремлении сохранить, консервировать сегодняшнее положение дел. На смену ранее типичной для многих американцев ориентации на личный и социальный динамизм приходит ориентация на «стабильность». Одновременно получает развитие ностальгия по прошлому, которое по мере ухудшения реальной ситуации начинает казаться все более привлекательным. Усиливается склонность к идеализации прошлого. Рядовой американец сегодня все чаще вспоминает о тех уже прошедших временах, когда еще существовали условия для массового проявления свободной инициативы и не было столь развитых форм бюрократической организации. Американец начинает идеализировать жизнь фермера, ремесленника в XIX в. Он с тоской вспоминает о временах, когда еще не стояли столь остро энергетическая и экологическая проблемы, не было угрозы ядерной катастрофы и была уверенность в военной неуязвимости США. Он все охотнее вспоминает и о тех более близких временах, когда существовала в его сознании вера в экономическое, моральное и военное превосходство США, даже в возможность «американского мира» (pax Americana). Именно эти тенденции используют сегодня правоконсервативные группировки.

Но рядом с рассмотренными тенденциями и в противоборстве с ними развиваются тенденции, имеющие принципиально иную направленность. Так, несмотря на активизацию явно апологетической пропаганды, в сознании рядовых американцев продолжается процесс накопления социального недовольства. Продолжается процесс падения доверия к основным институтам власти, и прежде всего к институтам политической власти, к государству и федеральному правительству. Американцы сегодня явно недовольны всевластием государственной бюрократии: 69% опрошенных заявляют, что «правительство имеет слишком большую власть».

Известный обозреватель Роберт Новак, констатируя поразительно высокий уровень «отчуждения» в политике, отмечает: американцы убеждены в том, что именно правительство «ответственно за многие их беды»[34].

Правда, растущее разочарование в деятельности правительства имеет весьма противоречивые последствия. Так, многие рядовые американцы сегодня теряют интерес к «большой» политике и возлагают надежды на политику, делаемую на местном уровне. Более популярна, чем раньше, идея децентрализации власти и усиления роли частнопредпринимательских инициатив в решении многих острых проблем. Такие тенденции и идеи еще укладываются в русло традиции, и консерваторы их всячески поддерживают.

Но глубокая неудовлетворенность государством часто приводит рядовых американцев и к выводам совершенно иного рода. Она способствует предъявлению к государству, к центральным органам политической власти таких требований, которые противоречат консервативной традиции. Как вынужден констатировать Э. Лэдд, «сегодня возрастает склонность использовать правительство как источник социальных услуг и, в целом, как инструмент решения проблем»[35]. По сути дела речь здесь идет о сравнительно новой, очень важной, явно долговременной и необратимой тенденции: происходит более интенсивная политизация сознания рядовых американцев. А это решительно противостоит привычным для США традиционно-индивидуалистическим буржуазным представлениям о путях решения основных жизненных проблем, встающих перед индивидом.

Американцы все больше понимают необходимость политического механизма обеспечения основных социальных прав человека: права на труд, права на медицинскую помощь и т. п. Например, сегодня 74% американцев считают, что «правительство должно гарантировать работу каждому американцу», 81% — что «оно должно помочь людям получать медицинскую помощь и доступ в больницы за низкую плату». Интересно, что эти идеи в равной степени разделяют американцы, идентифицирующие себя с либералами (81% и 91%), с «центристами» (79% и 85%) и даже с консерваторами (71% и 82%), что лишний раз подтверждает условность подобной самоидентификации.

Консерваторы, пытаясь доказать, что они имеют в США большое влияние, часто ссылаются на факт недовольства правительственными программами помощи беднейшим слоям и неграм (а также правительственными постановлениями о закреплении определенного числа рабочих мест и мест в учебных заведениях за неграми и представителями других наименее обеспеченных групп). Это недовольство распространено главным образом среди американцев из слоя мелкой буржуазии, а также среди служащих и отчасти даже среди рабочих средней и высокой квалификации. Подобные настроения характерны сегодня для американцев с наименее развитым социально политическим сознанием, обработанных активной пропагандой правоконсервативных сил. Появлению таких настроений в немалой степени способствует и развитие кризисных тенденций в экономике. Многие американцы, в том числе и среднеоплачиваемые, столкнулись с реальной угрозой ухудшения уровня их жизни — это испугало их и резко обострило конкуренцию между группами и индивидами. Как уже говорилось, правые стремятся использовать в своих интересах страх, испытываемый американцами, разжигая антинегритянские настроения. Правые спекулируют на том, что правительство, вынужденное пойти на некоторую помощь

[34] «Public Opinion», Sept/Oct. 1978, p. 4.

[35] «Public Opinion», Sept/Oct 1978, p, 33.

черным американцам и беднейшим слоям населения, по сути дела ничего не предприняло — да и сейчас не предпринимает— для помощи рабочим и служащим средней квалификации, которые сегодня все больше ощущают беспокойство и недовольство, испытывают нужду в помощи. Кроме того, государство переложило плату за такие программы помощи нуждающимся на плечи налогоплательщиков, основную массу которых составляют трудящиеся США. Столь сложная и противоречивая ситуация иногда порождает настроения, используемые консерваторами. В качестве примера приведем интервью с нью-йоркским рабочим-строителем: «Какое дело до меня Линдсею (тогдашний мэр Нью-Йорка — *Ю. З.*)? Ему наплевать на то, есть ли у моего парня обувь, получит ли он в подарок на пасху новый костюм, имеется ли у меня хоть что-нибудь в банке. Никому из политиков до этого дела нет. Их беспокоят только ниггеры, и для ниггеров они делают все. Ниггеры получают школы, новые площадки для игр — причем получают все это, не работая. А вот я работаю сварщиком на стройке. Когда ухожу на работу, не знаю, вернусь ли живым. Моя жена все время живет в страхе за меня. Если там, наверху, дует сильный ветер или леса обледеневают, мне стоит сделать один неверный шаг, и все, меня нет. Кто будет кормить мать и ребенка, если я разобьюсь? Линдсей? Ведомство по оказанию помощи бедным? Вы-то ответ знаете: никто... Из моего кармана текут денежки, и отдают их какому-то лентяю, бездельнику. Но я вам вот что скажу: хватит! Теперь есть много людей, которые этого терпеть не будут»[36]. Обратите внимание, как тесно переплелись в сознании этого рабочего расовые предрассудки с естественными, законными притязаниями, как легко его оправданный гнев и недовольство против всех «политиканов» обращаются против даже частных уступок, отвоеванных беднейшими слоями населения США. (Заметим в скобках, что недовольство помощью «бездельникам» имеет под собой определенные основания, поскольку государственную и муниципальную поддержку иной раз оказывают представителям «дна», люмпенам, которых плодит и развращает современный американский капитализм.)

И все-таки факты говорят о том, что все большее число американцев освобождается от расистских предрассудков. В отношениях рядовых американцев к борьбе черных американцев за свои права наблюдаются позитивные сдвиги. Так, 84% белых американцев заявили, что стали бы голосовать за черного американца — достойного кандидата в президенты США; 93% белых отмечали: «черные имеют право жить всюду, где захотят». Подавляющее большинство американцев считает, что «правительство должно гарантировать черным достойную работу и жилье» (эти мнения опять-таки по существу безотносительны к самоидентификации опрашиваемых — их придерживаются 79% среди тех, кто относит себя к «либералам»; 73% среди тех, кто считает себя «центристами»; 67% — среди тех, кто говорит о себе как о консерваторах).

Факты говорят о том, что процесс развития общедемократического сознания в США необратим. Следует упомянуть в этой связи успехи борьбы американской общественности за освобождение Уилмингтонской десятки и ряда других жертв расизма, об усилившейся борьбе против всевластия ФБР, против антидемократической системы слежки и преследования инакомыслящих, за сохранение и расширение демократических свобод и прав в США. Правда, нельзя упускать из виду всю сложность процесса. Активизация идеологов-традиционалистов в последние годы в какой-то мере способствовала тому, что сегодня некоторые американцы снова стали трактовать проблему прав и свобод человека в традиционно-индивидуалистическом и традиционно-либеральном духе. Определенное число американцев позволило правоконсервативным силам, развязавшим шумную антикоммунистическую кампанию по поводу прав человека в СССР и странах социализма, отвлечь себя от активной борьбы за права человека внутри США. И все же процесс развития демократического сознания рядовых американцев происходит. Он, вопреки всем стараниям реакционных идеологов, политологов и журналистов, расширяется. Свидетельства этому можно также найти в общенациональных опросах общественного мнения. Например, даже в условиях заметного оживления правоконсервативных тенденций в идеологии в 1977 г. 62% американцев (в сравнении с 37% в 1954 г.) выступили против тех, кто хотел был запретить атеистам вести публичную антирелигиозную и антицерковную пропаганду, а 76% высказались против тех, кто не хотел бы позволять социалисту вести публичную пропаганду своих идей. Свидетельством роста демократического сознания являются все шире выдвигаемые требования «открытого правительства», все действия которого были бы доступны контролю общественности. Отстаивается идея «партиципарного государства», в работе которого участвовали бы широкие массы американцев.

Поскольку в США сохраняется господство буржуазной идеологии, не вызывает удивления тот факт, что большинство рядовых американцев продолжают считать «частную собственность» и «свободу предпринимательства» устойчивыми ценностями, особенно если вопросы задаются в ходе обследований общественного мнения в самой общей форме, и если они преследуют цель выявить отношение американцев к общеидеологической символике. Но как только вопросы начинают ставить конкретно, как только возникает возможность оценить различные аспекты сегодняшней частнособственнической практики, рядовые американцы

[36] «The White Majority Between Poverty and Affluence», ed. by Louise Kapp Howe. N. Y., 1970, p. 12.

обнаруживают все более откровенно критические настроения. Даже консерватор Э. Лэдд вынужден признать, что «в течение последнего десятилетия возрос критицизм по отношению к некоторым сторонам предпринимательской практики»[37]. Неуклонно, необратимо растет недовольство американских трудящихся деятельностью крупных корпораций. На них американцы все чаще возлагают ответственность за безработицу и рост цен, за создание форм авторитарной бюрократии, за ухудшение качества товаров, за хищническое использование естественных ресурсов, обострение экологических проблем и т. д.

Это недовольство выражается в разных типах политической ориентации личности. В последние годы в США снова наблюдается усиление традиционалистско-популистских ориентаций. Их разделяют прежде всего представители мелкой буржуазии, «люмпен-буржуазии» и люмпен-пролетариата, а также те неудовлетворенные, разочарованные американцы, в чьем сознании укрепляется и находит проявление дух традиционного индивидуализма. Носители такого сознания считают крупные корпорации врагами «свободного индивидуализма» (читай: мелкого и среднего предпринимательства), противниками традиционных идеалов «независимости» личности. Критика крупных корпораций, часто очень страстная и радикальная, ведется сегодня от имени «предпринимателей-производителей», которые отождествляются с «народом» в целом (отсюда «популизм»). Обеспечение для каждого рядового, «простого» американца возможности и права вести частнопредпринимательскую деятельность — вот в чем видят эти критики главное средство сопротивления всевластию авторитаризма, представляемого крупными корпорациями и связанной с ними государственной бюрократией. «Право человека начать мелкий бизнес поддерживает демократию, освобождая людей от страха перед единым режимом, контролирующим и экономику и политику»,— так формулирует эту иллюзию Д. Рисмен[38]. «Традиционалист-популист» в его наиболее экстремистских вариантах принимает многие тезисы ультраправых группировок, тезисы расизма, воинствующего шовинизма и антикоммунизма.

Но в последние годы в США все более заметным становится процесс девальвации традиционной буржуазной идеи об основополагающем значении частной собственности. Этот процесс идет прежде всего в сознании рабочих, непосредственно сталкивающихся с крупными корпоративными формами собственности. О его глубине и широте можно судить по тому, что он совершается даже в сознании людей, причисляющих себя к консерваторам. Вот рассказ Р. Коулса о беседе с рабочим-текстильщиком, живущим в маленьком провинциальном городе на юге страны и принадлежащим к самым низкооплачиваемым слоям рабочего класса. На фабрике, где тот работает, владельцам удалось помешать созданию профсоюзной организации и внушить рабочим недоверие к профсоюзам. Собеседник Р. Коулса называет себя консерватором. Однако этот «консерватор» высказывает следующую мысль: «Почему владельцы фабрик не мы, а эти акционеры, которые никогда здесь не были? Они загребают всю прибыль, которую мы производим, выжимая из тебя все соки в течение долгих часов работы» [39]. Р. Коулс считает такое настроение типичным. А это значит, что в США возникают тенденции, противостоящие господствующей традиции (и тем более ее консервативному варианту), что в стране развивается сознание, стихийно тяготеющее к социализму. Рост недовольства в США крупными корпорациями выходит за узкие рамки мелкобуржуазных, «популистских» иллюзий и привычек и создает предпосылки для формирования у американских трудящихся антимонополистического сознания.

Особенно явно проявляются сегодня антимонополистические настроения в случае, когда американцы говорят о необходимости ограничения прибылей крупных корпораций. Американцы, которые, начиная с 1975 года, выдвигают эти требования, теперь уже составляют большинство населения (55%), причем росту этой тенденции не смогла помешать даже активизация правоконсервативных групп. В особенно четких формах развитие антимонополистического сознания происходит в среде американских рабочих. Именно здесь широко распространено мнение «богатые становятся богаче, а бедные беднее» (по данным Л. Харриса, в конце 1977 г. это мнение разделяли 80% населения). Следовательно, все более многочисленные слои трудящихся в какой-то мере сознают, что в США происходит поляризация классов. Американские рабочие приходят к широкому осознанию идеи несправедливости, фактического экономического неравенства классов. Даже апологет и признанный лидер неоконсерватизма в США И. Кристол вынужден признать: «Существует очень много людей в этом обществе, которые полагают, исходя из моральных оснований, что перераспределение—превыше всего, что оно есть политическая необходимость». Кристол считает, что вокруг этого требования сложилась особая идеология[40]. Все большее число американских рабочих начинают понимать тесную связь верхушки корпораций с государственным аппаратом, понимать, что «богатые и правительство действуют заодно, чтобы обманывать все остальное население страны»[41]. Рабочие все чаще осознают, что правительство, находящееся сегодня у власти, не сможет решить стоя-

[37] «Public Opinion», March/April 1978, p. 49.

[38] «Commentary», April 1978, p. 67.

[39] «Commentary», Sept. 1976, p. 49.

[40] «Public Opinion», Sept./Oct. 1978, p. 58.

[41] P. I. Warren. The Radical Center. N. Y., 1976, p. 1.

щие перед ними трудные и острые проблемы. Даже на страницах таких журналов, как «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт», появляются высказывания рабочих, вроде следующего: «Помощь из Вашингтона? Забудьте об этом: моя жизнь не улучшилась с тех пор, как Картер занял свой пост. Я по-прежнему должен работать на двух работах, чтобы сводить концы с концами»[42].

Политизация сознания рабочих проявляется в том, что их растущее недовольство все чаще направляется в адрес существующей в США системы. «Люди считают, что все дело в системе,— заключает исследователь общественного мнения Марвин Филд.— Они не верят, что можно что-либо изменить голосованием за того или другого кандидата»[43].

Очень важные сдвиги происходят ныне в отношении рядовых американцев к проблемам международной жизни и внешней политики. И здесь на политические ориентации личности влияют разнонаправленные силы и процессы.

Националистическая и шовинистическая пропаганда, интенсивно ведущаяся сегодня правоконсервативными группировками, естественно, оставляет свой след, особенно когда она попадает на почву, относительно для нее благоприятную. Мы имеем в виду прежде всего традиционную веру многих американцев в американскую исключительность, в превосходство США над другими странами, в особую историческую миссию США. Эта вера родилась непосредственно в ходе буржуазной революции и в тот момент выражала отношение идеологии революции к феодальным порядкам, все еще сохранявшимся в большинстве стран мира. Затем эта вера отражала оптимизм и самоуверенность молодого и очень интенсивно развивающегося американского капитализма. В эпоху империализма эта вера воплотилась в имперские притязания и откровенно шовинистические, «джингоистские» настроения и идеологию «холодной войны». Но в течение веков эта вера, во всех ее весьма различных вариантах, жила в сознании весьма большого числа американцев.

События конца 60-х — начала 70-х годов нанесли этой вере сильнейший удар[44]. У одних американцев крушение данной веры открыло путь для формирования новой политической ориентации, ориентации на уважение других стран и народов, их суверенности и прав, ориентации на мирное сосуществование государств с разными социальными системами, на разрядку международной напряженности и взаимовыгодное сотрудничество, на участие в конструктивном решении глобальных проблем, на бескорыстную помощь развивающимся странам. У других— традиционные верования как бы отступили на задний план, оказались подавленными или «вытесненными в сферу подсознания», но не разрушились и не исчезли. Возникло болезненное чувство оскорбленной национальной гордости, «национального унижения», «национальной неполноценности», нередко соединенное с обидой, раздражением и даже озлоблением против всего мира. Чувства эти накладывались на другие, столь же болезненные чувства беспокойства и страха, вызванные углублением кризиса в экономике страны, во внутренней политике, в сфере морали. Они, эти чувства, жили, искали выхода, идеологического и психологического самооправдания. Правоконсервативные группировки, «ястребы» в американской идеологии и политике, сознательно играли на этих чувствах, усиливали и обостряли их, направляли в русло антикоммунизма и антисоветизма, «ура-патриотизма», национализма и шовинизма[45].

Новая волна этих настроений заметно поднялась в США во второй половине 70-х годов. Однако история в конце концов необратима, и процессы, которые выглядят как возврат к старому, происходят на новой основе, в новых условиях. Хотя под влиянием империалистической пропаганды немалое число американцев стало высказываться за более активную политику обеспечения интересов США на мировой арене[46], этот «активизм», по наблюдению Д. Янкеловича, можно охарактеризовать как «осторожный». Большинство американцев помнят «уроки Вьетнама» и высказывают очевидное нежелание идти на военные авантюры даже тогда, когда пропаганда начинает истерически кричать об угрозе жизненным интересам США. Даже при опросах, организаторы которых тенденциозно формулируют вопросник, прямо включая в него клеветнические домыслы об имевшем якобы место вмешательстве СССР и Кубы в дела африканских государств и угрозе интересам США, большинство американцев (67% в июне 1978 г.) выступают против посылки американских войск в этот регион, хотя многие из них высказываются за посылку военного снаряжения. На сознание многих американцев не может не оказывать влияния непрерывно ведущаяся клеветническая кампания о «военной угрозе», исходящей якобы от СССР и стран Варшавского договора. Смысл этой кампании ясен: «Те, кто сейчас подогревает на Западе кампанию о «советской военной угрозе»,— говорил Л. И. Брежнев,— в действительности думают о

[42] «U.S. News & World Report», May 8, 1978, p. 23.

[43] «Newsweek», Nov. 6, 1978, p. 53.

[44] По данным опросов, 72% американцев «почувствовали, что роль, сыгранная США во Вьетнаме, была черным моментом в американской истории».

[45] Использование чувства оскорбленной национальной гордости правошовинистическими группами мы не раз встречали в истории. В свое время В. И. Ленин отмечал, что шовинизм в России начала века «явился как реванш за поражение в войне с японцами». (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 19, стр. 220).

[46] 55% согласны, что «Соединенные Штаты должны в будущем играть более важную роль в качестве мирового лидера». (См. «ABC News—Harris Survey», February 12, 1979.).

другом. Они не желают примириться со сложившимся примерным равновесием в соотношении военных сил сторон и хотят добиться превосходства»[47]. Влияние милитаристских группировок в США, естественно, порождает смятение в мыслях и чувствах американцев; в 1978 году 46% опрошенных поддержали ту идею, что США должны обеспечить себе «превосходство над СССР в военной мощи», хотя значительный процент опрошенных — 47% — выступили за равенство сил обеих сторон.

Активизация противников разрядки не может не повлиять на настроения определенных слоев населения. В результате отношение к расходам на вооружение за последние пять лет претерпело в США заметное изменение. Если в 1974 г. 32% считали, что на военные нужды тратится слишком много средств, то последние известные нам опросы показывают, что так думает только 16%. Соответственно, число тех, кто считает, что тратится слишком мало, возросло с 13 до 32%. Однако, несмотря на эти изменения, все же только одна треть опрошенных выступает за увеличение военного бюджета. Причем, когда вопрос о военных расходах задается в сравнении с расходами на другие программы, число выступающих за сокращение военных расходов повышается. Очень важно, что, несмотря на активность сторонников гонки вооружений, значительный процент (64%) назвал важной внешнеполитической целью «контроль над вооружениями во всемирном масштабе»[48].

Вопреки всем попыткам возродить идеологию антикоммунизма и «холодной войны» большинство американцев поддерживают разрядку международной напряженности. Число американцев, высказывающихся в поддержку разрядки, хотя и колеблется, но остается высоким (в течение 1978 г. оно составляло примерно 70%). Столь же значительным является количество американцев, выступавших за заключение нового соглашения с СССР об ограничении стратегических и наступательных вооружений: по данным Л. Харриса в феврале 1979 г.— 74%[49]. За расширение советско-американской торговли выступают около 70% американцев 68% американцев выступают за совместные усилия с СССР в области решения энергетических проблем. 62% — за соглашение, с помощью которого было бы достигнуто полное запрещение всего ядерного оружия.

Подавляющее большинство (75%) считают, что СССР является «страной, представляющей жизненно важный интерес для США с точки зрения политики, экономики и безопасности»[50].

Таким образом, анализ личностных политических ориентаций рядовых американцев показывает, что применительно к проблемам международных отношений, несмотря на активизацию реакционных групп и наличие многих предрассудков, обнаруживаются позитивные тенденции. «В то время, как некоторые голоса в Вашингтоне звучат, как клекот ястребов войны, народ через опросы общественного мнения и массовые демонстрации, собирающие рекордное число людей, выражает решительную беспрецедентную поддержку миру, разрядке, соглашению по ОСВ-2, торговле с Советским Союзом... Подавляющее большинство людей не приемлет возврата к «холодной войне»[51]. Такой вывод делает генеральный секретарь компартии США Гесс Холл.

■

Ориентации на успех в его частнопредпринимательском, бюрократически-карьеристском и узкопотребительском вариантах противостоит ориентация на внутреннее саморазвитие личности, на проявление ее инициативы и творчества в общественно-полезном труде и социально значимой деятельности. Стремления личности к индивидуальности и самостоятельности, освобождающиеся от своей привязанности к традициям буржуазного индивидуализма, противопоставляют себя этими традициями.

Ориентации на конкуренцию противостоит ориентация на сотрудничество и человеческое общение, на создание форм такой коллективности, развитие которой необходимо предполагает развитие индивидуальности.

Конформистской ориентации противостоит ориентация на активность личности, на превращение ее из объекта авторитарного командования и манипуляции в действительный субъект истории и политики, на борьбу за расширение демократии.

Прагматизму, мелкоутилитарному расчету, бюрократической рациональности противостоят поиски личностью новых способов социального видения, новых форм рациональности, которые бы помогли лучше понять объективные потребности и тенденции развития современной истории и современного человека.

Мифологии, фетишизму, романтической утопии и иллюзии противостоит реализм в отношениях личности к обществу и самой себе, в вопросах внутренней и внешней политики.

Традиционализму, ностальгии по прошлому, страху перед социальными переменами, перед будущим противостоит ориентация на глубокое осмысление перспектив истории, перспектив, все более прочно и полно ассоциируемых с коренным изменением системы государственно-монополистического капитализма и преобразованием общества в направлении социализма.

---

[47] «Правда», 4 мая 1978 г.

[48] «American Public Opinion and U.S. Foreign Policy», ed. by John E. Reilly. Chicago, «Council of Foreign Relations», March 1979.

[49] «ABC News — Harris Survey», February 13, 1979.

[50] «American Public Opinion and U.S. Foreign Policy», March 1979.

[51] «Правда», 27 октября 1978 г.

Национализму, шовинизму, внешнеполитическому экспансионизму и милитаризму противостоит ориентация на мирное сосуществование, разрядку международной напряженности и равноправное сотрудничество с другими государствами и народами в деле решения глобальных проблем, вставших перед человечеством.

Ход и конкретные результаты противоборства данных тенденций зависят от многих обстоятельств и факторов: от соотношения сил на мировой арене и изменения этого соотношения в пользу социализма, мира и разрядки международной напряженности, от объективной диалектики экономической, политической, идейной и духовной жизни внутри США, от размаха и итогов борьбы различных классов, группировок и тенденций.

В ходе этого противоборства обозначают себя существенно отличающиеся между собой типы личности, воплощающие сложные и нередко противоречивые комбинации и сочетания тех или иных ориентаций. Обнаруживаются и сменяют друг друга различные состояния умов и чувств, опирающиеся на них различные многовариантные формы поведения. Возможными и реальными становятся переломы, зигзаги и колебания в настроениях и мироощущении людей, многообразные конфликты и симптомы кризиса в системе их ценностных и политических ориентаций.

Поскольку эти процессы и состояния становятся массовыми, и поскольку они практически взаимосвязаны с силами и группировками, непосредственно действующими в сфере политики и идеологии, данные процессы могут оказывать и оказывают значительное влияние на динамику исторического развития США, на существующий здесь идейно-политический климат, на внутреннюю и внешнюю политику страны, на ее отношения с другими странами, и, что для нас особенно важно, с СССР и странами социалистического содружества.

■

ВЛАДИМИР ПОЗНЕР

Французский писатель, публицист, автор киносценариев, переводчик. Во время войны с фашизмом был участником Сопротивления. На русский язык переведены книги: «Кто убил Баррела?», «До свидания, Париж», «Место казни». Роман «Испания — первая любовь» напечатан в «Иностранной литературе» № 6, 1967. Публикуемый очерк получен в рукописи.

АМЕРИКА НА БЕГУ

Я не был в Нью-Йорке с сорок седьмого года. Тридцать один год спустя мне довелось увидеть его вновь. Темнело. Самолет медленно снижался. Небо было почти такое же черное, как расстилавшийся внизу океан. Светящиеся многоточия сливались в пересекающиеся прямые линии... Америка...

Узнать Нью-Йорк было легко. Багровые облака окутывали новые небоскребы, состоящие сплошь из освещенных окон и гладких черных стен, в которых отражались огни соседних зданий. В дорогих ресторанах клиенты без галстуков выбирали галстук у метрдотеля. В вестибюлях богатых домов швейцары в ливреях уступали место ночным дежурным в униформах, с крупнокалиберными револьверами на боку. Автобусы увозили в Гарлем прислугу, мусорщиков, мойщиков окон, мойщиков машин. Клаксоны автомобилей, визг тормозов, крики, смех — все это сливалось в гул большого города, гул, в который то и дело врывался вой сирены «скорой помощи», полицейской или пожарной машины, возвещавший о преступлении, пожаре, катастрофе, самоубийстве.

Наутро я увидел Нью-Йорк при дневном свете.

Выщербленный, весь в колдобинах тротуар был завален пакетами с мусором. Впереди меня шел человек. Небритый, худой, скверно одетый. На груди и на спине у него болтались плакаты с изречениями из Нового Завета. Чуть поодаль другой мужчина, пожалуй не менее потрепанный, чем его видавшие виды башмаки, совал прохожим зеленые бумажки с изображением стоявшей на четвереньках голой женщины: «Сад наслаждения. Самые красивые девушки Нью-Йорка по самым доступным ценам». У входа в баптистскую церковь я прочел: «Воскресная проповедь. Человек и самоубийство. Начало в 11 часов. Приглашаются все желающие». В автобусе вместе со мной ехал мальчик лет пятнадцати, на его тен-

ниске были нарисованы купающиеся и печатающие на машинке люди, а поперек шла надпись: «На его счету в банке шесть миллионов». Какой-то хромой предлагал на перекрестке рекламные проспекты: женщина и мужчина сидят в креслах, наподобие зубоврачебных, намереваясь приступить к «серии тестов на выявление способностей. Полученный Вами коэффициент ТВС сыграет в Вашей жизни не меньшую роль, чем номер карточки социального обеспечения, и поможет Вам понять себя лучше, чем знак зодиака, под которым Вы родились». На авеню Америк плешивый субъект раздавал листки бумаги — на сей раз розовые,— на которых была изображена голая женщина, лежащая в постели с приоткрытым ртом, а внизу надпись: «Женщины всех цветов. Десять долларов. Никаких других расходов». В общем, Нью-Йорк оставался Нью-Йорком, и на Таймс-сквер, забитой машинами и пешеходами, ничего не изменилось. Внезапно мне бросилось в глаза нечто новое.

Я увидел мужчину лет сорока. На нем были спортивные тапочки, майка и шорты. Он бежал не спеша, прокладывая себе дорогу в толпе, едва отрывая ноги от земли. Игнорируя светофоры, он выскочил на проезжую часть и пересек по диагонали площадь, не обращая внимания на машины, вынужденные резко затормозить, чтобы дать ему дорогу. Я видел, как, двигаясь в том же темпе, он свернул в переулок, причем ни одна живая душа, кроме меня, не остановилась, не обернулась, не поглядела ему вслед. Я решил, что он, вероятно, давно примелькался в этой части города и что если даже он сумасшедший, то, во всяком случае, его мания не опасна. Я даже представить себе не мог, сколь глубоко было мое заблуждение.

Впервые я заподозрил недоброе, когда переходил Пятую авеню, намереваясь прогуляться в Центральном парке. Две амазонки и сопровождавший их всадник, явно направлявшиеся туда же, ждали зеленого света. Едва они тронулись с места, как им пришлось изо всех сил натянуть поводья: перед ними, словно из-под земли, возникла бегущая парочка, одетая в точности так же, как человек с Таймс-сквер, только костюм женщины был белый с красным, а мужчины — белый с голубым. Проводив их взглядом, я вошел в парк; за какие-нибудь четверть часа мне попалось огромное количество людей, сосредоточенно бегущих по дорожкам небольшими группами или в одиночку и одетых совершенно одинаково, если не считать разницы в цвете.

Отныне мне предстояло встречать их каждый день, в любое время суток и в самых неожиданных местах. Я не нахожу ничего удивительного в том, что человек совершает пробежку по аллеям парка, но зачем — если, конечно, вы не опаздываете на работу или на свидание — носиться с такой скоростью вокруг биржи, почтамта или Публичной библиотеки? Мне очень хотелось задать этот вопрос кому-нибудь из бегунов, но ни один из них не остановился со мной побеседовать, а у меня как-то не было охоты пускаться за ними вдогонку. Так я и уехал из Нью-Йорка в полном неведении на сей счет.

От Пенсильвании, страны антрацита, где когда-то мои знакомые шахтеры, оставшись без работы, продолжали добывать уголь в покинутых владельцами шахтах, до самых скал Вайоминга, напоминавших то гигантских черепах и крокодилов, то окаменелых носорогов, то сфинксов, картины не отличались разнообразием. Мы пересекли континент, ночуя каждый раз в новом штате, но мотели, где мы останавливались, были похожи как две капли воды; повсюду щиты со световой рекламой сулили путешественникам уютный номер с кондиционером и цветным телевизором. Каждый штат имел свое телевидение, программы были разные, однако всюду преобладала реклама.

Она вклинивалась не только между передачами, но и вторгалась в них непосредственно. Помню, например, один фильм о войне между Севером и Югом. Представьте себе такую сцену: молодая очаровательная блондинка прощается с сыном, который уходит воевать, они целуются, он уходит. Мать плачет, повернувшись спиной к зрителям, и вдруг женский голос сообщает, что появился новый способ выводить волосы под мышками, не прибегая к бритве; его обладательница тут же демонстрирует его и в восторге начинает танцевать, поворачивается к камере, мы видим, что это — другая женщина; реклама кончилась, перед нами опять безутешная мать, фильм продолжается. Мы засыпаем под жужжание кондиционера.

Так, изо дня в день, переезжая из штата в штат, мы вкушали одну и ту же пищу на одних и тех же экранах, в одних и тех же кафе самообслуживания. Зато люди все-таки отличались друг от друга.

Однажды вечером, на подступах к Дикому Западу, в Небраске, оставив у дверей машину, в кафе вошла молодая женщина. Высокая, ростом с меня, но более широкая и мускулистая; при ней был свисток, карманный фонарик и тяжелый револьвер в расстегнутой кобуре. Я оглядел ее форму, которая ей очень шла, и спросил:

— Давно вы работаете в полиции?

— Около года.

— А раньше?
— Раньше я была секретаршей.
— Что вас заставило сменить профессию?
— Я скучала.
— А теперь?
— Теперь позабавней.

Она допила свой стакан, села в машину и уехала.

Я пожалел, что не смог расспросить ее поподробнее, как пожалел потом в Ролинсе — этом городке из вестерна, где вместо лошадей по улицам с ревом несутся машины,— что не смог поговорить с единственным человеком, который своими сапогами и широкополой шляпой хоть немного напоминал ковбоя: он был до такой степени пьян, что никак не мог забраться в свой автомобиль.

А одна пожилая женщина заговорила со мной первая. Это было за Большим Соленым озером, в пустыне, утыканной телеграфными столбами. Сухая, костлявая, с грубыми руками и морщинистым лицом, она сидела возле стойки с напитками на заправочной станции и глядела на подъезжавшую машину.

— Черт, как неохота вставать,— пробормотала она и, обращаясь ко мне, добавила: «Вы что, хотите выпить?»

Я ответил, что единственное, от чего бы я не отказался, это от кофе, но что я не хочу ее лишний раз беспокоить, тем более что не вижу здесь плиты и вообще в такую жару пить кофе необязательно. Она указала мне на холмы за гаражом, по которым некогда плелись через пустыню обессиленные эмигранты. Я представил себе их силуэты на фоне неба.

— Они падали и умирали там от жажды,— сказала старуха и встала, чтобы сварить мне кофе.

Она жила здесь около двух лет вместе с калекой-сыном, который не мог передвигаться без костылей, он занимался мелким ремонтом автомобилей и каждый день отправлялся за тридцать километров, чтобы запастись водой. Старуха жила в вагончике, а сын, его жена, страдающая головными болями, и внучка — в гараже; у девушки были широкие бедра, тяжелая грудь и разум пятилетнего ребенка; едва завидев мужчину, она пускалась в пляс. Полагаю, что задержись мы на станции еще немного, мы стали бы свидетелями сцены в духе Хемингуэя: неподалеку терпит аварию трайлер, механик, лежа под машиной, чинит задний мост, дурочка и водитель — вдвоем в кабине, машина начинает сотрясаться, калека понимает, бросается туда, бьет водителя костылем по затылку и т. д. Однако дожидаться этого зрелища мы не стали и, сев в автомобиль, выехали на шоссе.

Жара стояла невыносимая, градусов сорок, а то и больше. Перед нами то и дело возникали лужицы, но, едва мы приближались, они высыхали. Наконец, впервые за три дня мы увидели тополиную рощу. И это был не мираж — она не исчезала. Мы свернули с шоссе и подъехали к ветхим постройкам.

Нам навстречу вышел старик. Мы попросили разрешения немного отдохнуть в тени, от которой за это время успели отвыкнуть. Он с видимым удовольствием составил нам компанию. Одного вопроса оказалось достаточно, чтобы узнать всю его жизнь. Бóльшая часть ее прошла здесь: он привязался к этим вековым деревьям, к земле с ослепительно зеленой травой. Он рассказал, как его пытались выселить отсюда; если бы им это удалось, от его сада ничего бы не осталось. «Вот во что они превратили бы его,— сказал он, жестом указав на шоссе.— Они уже много чего здесь разрушили».— И он кивнул в сторону маленького заброшенного домика, который некогда служил школой для индейских детей.

Потом он заговорил о своей жене. Она была прикована к постели и вела дневник. Он спросил наши имена и парижский адрес: жена занесет в дневник приезд двух французов.

Издали послышался шум приближающегося поезда, и тут только мы заметили, что прямо у изгороди проходит железная дорога. Внезапно совсем близко раздались два долгих паровозных гудка. Сотня товарных вагонов медленно прокатилась мимо нас. Я спросил:

— Это вам машинист сигналил?

— Те, что постарше, всегда сигналят,— ответил он.— Я сорок лет проработал на этой линии.

Мы собрались уезжать. Пожали друг другу руки, он поцеловал мою жену и, загрустив, отошел. Сюда редко кто-нибудь заглядывал, а уж инопланетяне вроде нас наверняка впервые. Нам, конечно, следовало бы задержаться там и узнать о жизни Америки побольше, увидеть то, что не показывают по телевидению, о чем не пишут в газетах. Мы снова выехали на шоссе. На следующий день мы были в Сан-Франциско.

Порт перенесли, суда теперь причаливали по другую сторону залива, в Окленде. В остальном же город не изменился. Улочки по-прежнему карабкались в самое небо и тут же снова спускались на землю. В нищих кварталах по-прежнему жили нищие. Холмы были усеяны бирюзовыми, фисташковыми домиками вперемежку с бежевыми и коралловыми; три постройки, почти вплотную примы-

кавшие друг к другу, наполовину черные, наполовину цвета бычьей крови, принадлежали, без сомнения, трем подружкам-ведьмам, в двух других, выкрашенных в один и тот же серо-бежевый цвет, наверняка коротали свой век две бывшие одноклассницы, старые девы, которых я, быть может, даже встречал, когда мы жили здесь. Эти игрушечные домики сбегали с горы к самому заливу, и если знать, куда пойти, то можно было попасть, например, в Китай или на Мавританский берег. Панорама была нам хорошо знакома, если не считать мужчин и женщин в разноцветных майках и шортах, бегущих по улицам точь-в-точь, как в Нью-Йорке,— только медленнее на подъемах и резвее на спусках, ведь в Сан-Франциско нет ни одного ровного места, разве что мост Золотые Ворота, один из самых длинных подвесных мостов в мире; по этому мосту, над которым, окутывая город, плыл тихоокеанский туман, широкими, размеренными скачками бежали две женщины, отец семейства с детьми, еще одна семья, еще одна женщина, парочка, несколько мужчин.

Я обратился к друзьям за разъяснениями. Большинство только пожимало плечами. Никого это не удивляло. Кто-то предположил, что все дело в появившейся год назад брошюре под названием «Всё о беге трусцой». В местной газете она печаталась из номера в номер. Я развернул газету и прочел следующее:

«Что делать, если в вашем распорядке дня для бега не остается времени? Ответ один: необходимо чем-то жертвовать; откажитесь, например, от питья коктейлей или заставьте себя вставать раньше... Имеет свои преимущества и бег после работы. Заметим, что физическая нагрузка уменьшает аппетит и помогает воздержаться от чересчур сытного обеда. Если же вы работаете не слишком далеко от дома, то почему бы вам не добираться туда и обратно бегом? Многие находят это очень удобным. Принимая во внимание сложности с транспортом в часы «пик», вы можете даже сэкономить время... Если у вас маленький ребенок, вам, конечно, особенно трудно выбрать время для бега, и тем не менее это возможно. Попросите мужа посидеть с малышами. Или наймите на несколько часов человека: вы не пожалеете о затратах...»

Я поглядел в окно. Верхушки деревьев растворялись в тумане. Ветер нес по небу легкие, прозрачные клочья облаков. Над соседними домами сгущались серые тени. Внезапно последние лучи солнца выхватили из сумерек очертания города. Мгновение — и все угасло: остались лишь облака и одинокий человек внизу. Он не спеша бежал по улице. Я никак не мог решить, убегает ли он от тумана или догоняет его.

На вопрос репортера: «Каким образом вы хотели бы изменить свою жизнь?» некто — возможно, его звали Кевин Эверсон — ответил:

— Я хотел бы жить на Юнион-стрит, где люди гуляют с собачками в костюмах по пятьсот долларов.

Тот же вопрос задали и студенту, кажется, Кену Грегори. Он сказал:

— Я жду не дождусь, когда наконец закончу учебу и начну работать, чтобы поскорее сделать свой первый миллион. Я поставил себе цель стать миллионером.

Обоих одолевала одна и та же страсть, и мне стало любопытно, не является ли тот, третий, которого поглотил туман, их двойником, и не гонится ли и он, как эти двое, за богатством. Я покинул Сан-Франциско, так и не получив ответа на этот вопрос.

Мы уже объехали все города, в которых когда-то жили и работали, и добрались, наконец, до последнего — Лос-Анджелеса. Здесь мы нашли массу прежних друзей и их детей, которые давно уже успели стать взрослыми. Никто из них трусцой не бегал, за исключением одной пары, которая каждое утро исправно посвящала этому четверть часа: она — чтобы похудеть, он — из-за больного сердца. В данном случае бег был вызван причинами медицинскими и не имел никакого отношения к душе. В те часы, когда мы не колесили по городским автострадам в поисках кого-то из старых знакомых, чье жилище затерялось среди новых зданий, я усаживался на балконе с кипой газет: я читал объявления, эти маленькие исповеди, признания, откровения.

Время от времени я отрывался, чтобы взглянуть на город.

Передо мной широкая улица: три ряда в одну сторону, три — в другую. За улицей — вереница пальм, за пальмами — утес, под ним пляж с белой каемкой волн и дальше, до самого горизонта — неподвижный Тихий океан. Еще рано: мало машин, прохожие попадаются редко, но по кактусовой аллее уже бегут американцы: трое белых, один негр, женщина в розовом, женщина в красном — все до одного в шортах и в майках.

Я читаю газету:

«Бракоразводные дела. Вы подаете жалобу, мы обеспечиваем остальное. 50 долларов».

«Ищу донора для искусственного осеменения. Требуется: высокий интеллект, здравый смысл, превосходное здоровье, долголетие в роду. Белый. Не наркоман, не пьющий, не курящий; рост средний, зрение стопроцентное, зубы здоровые, глаза и волосы черные». Фамилия женщины и адрес.

«Ваши фантазии сбудутся. Карен и Лиза. Интимно, быстро, весело».

Я поднимаю глаза. Между мной и океаном три бегуна: один — в одну сторону, двое — в другую, и две чайки. Я читаю дальше:

«Роберт Шуллер читает новую серию проповедей под открытым небом. Спешите услышать рассказ д-ра Шуллера о том, как прошлым летом он и его семья превратили личную трагедию в подлинный триумф».

«Вы нуждаетесь в потусторонней помощи? Звоните по телефону...» и номер.

«Вы страдаете от одиночества? Позвоните мне. Кредитные карточки. Чеки».

«Сговорчивые молодые женщины. Цена умеренная. Острые ощущения».

День угасает. Океан едва различим в вечерней дымке. Редкие фонари освещают пальмы. В небе, еще не утратившем голубизны, загорается звезда. Один за другим бегут два человека. Им навстречу парочка плечом к плечу.

Я включаю телевизор: в церкви штата Индиана две юные негритянки с микрофонами распевают куплеты, в которых изобличают обманщика-Дарвина и отрицают всякое родство с обезьянами. Я снова берусь за газету:

«Послушайте Доктора Роя В. Маккоуна, председателя Международного Интернационала Удачи. Для туристов и занятых людей — один час».

«Служба Чудес. Заведите в нашем агентстве личную карточку Чудес и ждите своего чуда».

«На путь, ведущий к Господу, вам поможет ступить преподобная Элен Лэнд. Космическая медитация. Духовное исцеление».

Я разглядываю фотографию преподобной. С газетной страницы на меня смотрит улыбающаяся блондинка. Солнце садится. Черные пальмы вырисовываются на фоне голубовато-розового неба и сиреневого океана. Среди гуляющих — один бегун.

«Звоните Рону днем и ночью. Частный массажист для мужчин, покладист, привлекателен».

«Девицы напрокат. Кредитные карточки. Чеки».

«Привлекательный брюнет в расцвете сил. Для женщин и мужчин».

«Рэйчел. Массажи». «Черил. Массажи».

«Куплю лошадей, ненужных или старых. Не для убоя».

Скоро полночь. На фоне океана все бежит и бежит куда-то одинокий человек... Америка...

Перевод с французского И. КУЗНЕЦОВОЙ

■

ДЖЕЙМС БОЛДУИН

Американский негритянский писатель, драматург, публицист, автор романов «Иди и поведай с горы» (1953), «Комната Джованни» (1958), нескольких книг документальной прозы и художественной публицистики: «Записки сына Америки» (1955), «Никто не знает моего имени» (1960), «В следующий раз — пожар!» (1963) и др.

На страницах «Иностранной литературы» опубликованы его пьеса «Блюз для мистера Чарли» (№ 1, 1964), рассказы из сборника «Поехали смотреть на него» (№ 4, 1971), фрагменты публицистической книги «Имени его не будет на площади» (№ 2, 1974), роман «Если Бийл-стрит могла бы заговорить» (№ 7, 1975) и др. Публикуемое ниже эссе — текст из книги-фотоальбома «1964. Без личных выпадов», созданной Болдуином совместно с известным фотографом Ричардом Аведоном.

1964. БЕЗ ЛИЧНЫХ ВЫПАДОВ

Перевод с английского В. ВОРОНИНА

По утрам я иногда предавался такой забаве: нажимал, не вылезая из постели, кнопки дистанционного управления телевизора и глядел, как мелькают на экране разные программы. Пожалуй, только так и можно смотреть телевизор: зрелище поистине сногсшибательное! Вот блондинки и брюнетки (быть может, и рыжие — не знаю, мой телевизор с черно-белым изображением) намыливают волосы, недоступно улыбаясь и ослепительно сверкая двумя рядами зубов, напоминающими

хромированные решетки автомобилей. Бюсты у них замораживающе плотно обтянуты — так сказать, упакованы! — и блистательно приподняты — навсегда! — всякое обвисание устранено — навсегда! — весь возрастной жирок (возрастной жирок!) убран; глаза их полны чувства и тайны, как мармеладки; губы блестят целлофаном; прическа, опрысканная лаком,— настоящий алюминий; пояски у них послушно сидят на месте; чулки укрощены и не смеют собираться гармошкой, перекручиваться, сползать и рваться; руки предохранены от морщин невероятно мягкими лосьонами, ногти никогда не ломаются благодаря изумительно ровному маникюру; зубы никогда не портятся благодаря таинственным химическим формулам; любой неприятный запах от тела ликвидируется на все двадцать четыре часа каждых суток — отныне и во веки веков! А вот смотрите: детские кости прочно сращиваются благодаря предусмотрительной заботе крупных кондитеров; вот табак, полностью обезвреженный путем добавления мяты, устранения никотина, введения фильтров и увеличения длины сигареты; вот шины, которые никогда вас не подведут; автомобили, которыми вы будете гордиться; дверцы, которые не способны прищемить эти драгоценные пальчики и ноготки; вот диаграммы, показывающие — нет, неопровержимо доказывающие! — как можно в два счета прогнать нахальную боль; вот, глядите, молодые люди с квадратными челюстями танцуют; вот другие молодые люди с квадратными челюстями, вооруженные гитарами или сопровождаемые оркестрами, истошно вопят. Все это — и многое-многое другое в этом же роде! — перемежается ревом длинных автомобилей, преследующих гангстеров; пальбой автоматов, косящих гангстерские ряды; звучанием органа в момент, когда героиня собирается с духом «рассказать все»; трогательной улыбкой домашней хозяйки, только что выигравшей целую гору металлической и фаянсовой посуды; новостями — новостями? откуда? — которые сыплются в это море бойко и бессмысленно, как камешки; сексом, который выглядит неумолимо удручающе — например, в виде профилактической сигареты, протягиваемой цветущим мужчиной алюминиево-целлофановой девушке. И вот они счастливо пускают дым друг другу в лицо, мармеладки блестят от желания, хромированные решетки ослепительно сверкают; как знать, может, они — эти несчастные, обманутые изгнанники — пытаются выяснить, есть ли у них за этими никелированными решетками, за всеми этими барьерами — язык?

Впрочем, как видно из более длительных и менее вразумительных рекламных передач, в которые вставлены эти образы, цветущий мужчина лишен-таки языка — надо думать, он его проглотил. Умудренный отец вещает ныне только на арене политики, и это единственное место, где мы его можем увидеть и где он — увы! — совершенно неотличим от американского юнца. Непохоже даже, чтобы он стоял намного ближе к могиле,— применительно к большинству наших самых влиятельных политиков это обстоятельство приводит в отчаяние множество людей во всем мире.

И не мудрено! Все мы слышали остроту: какая, мол, жалость, что Плимутская скала не ступила на отцов-пилигримов, когда те ступили на американскую землю. Я никогда не находил эту шутку особенно смешной. Она, по-моему, звучит вымученно и мстительно и к тому же содержит горькую-горькую истину. Неподвижность этой скалы предвещала гибель индейцам, порабощение — черным и духовное бедствие — тем бездомным европейцам, которые теперь называют себя американцами и которые так никогда и не смогли определить свои отношения как с покинутым материком, так и с завоеванным. Оставляя в стороне — ведь многим из нас думается, что это можно сделать — тех людей, к которым мы приклеиваем странный ярлык «меньшинства», скажите, кто бы вообще стал когда-либо пускаться в плавание через грозный океан, чтобы населить эти глухие края, не находясь под давлением тяжелых, прямо-таки отчаянных обстоятельств? Я знаю, легенда гласит, будто сюда пришли герои в поисках свободы, подобно тому как другая легенда утверждает, будто Америка — страна улыбающихся людей. Ну что ж, герои всегда ищут свободу, на то они и герои, и, конечно же, несколько героев прибыло и сюда — интересно, как им тут жилось; и хотя сам я редко вижу здесь улыбающиеся лица, я готов поверить, что улыбаются многие (вот только чему? — лишь один бог знает). Так или иначе, истина состоит в том, что нашу страну заселяла алчная орда чуждых друг другу и доведенных до отчаяния людей, которые были полны решимости забыть свое прошлое и нажить здесь состояние. Мы явно не переменились в этом отношении, и доказательством тому — наши лица, наши дети, наше невообразимое одиночество, вопиющее уродство и враждебная атмосфера наших городов. Наши города ужасно нелюбимы нами. Похоже, ни у кого нет чувства принадлежности к ним, желания считать город своим.

Отчаяние. Пожалуй, именно это отчаяние нужно нам попытаться рассмотреть, если мы хотим напоить водой сию безводную пустыню.

Конечно, сущность всякого мифа такова, что люди, являющиеся его жертвами и вместе с тем его создателями, не способны, в силу двух этих фактов, подвергнуть этот миф рассмотрению; они не только не сознают, но даже и не подозревают, что миф правит их жизнью и калечит их жизнь. По-моему, особенно наглядным и зловещим примером этого служит положение белого бедняка в глубинных районах южных штатов. Белый бедняк был порабощен почти с момента прибытия к американским берегам, и он по сей день остается порабощенным жестокой и циничной олигархией. Благодаря появлению белого бедняка рабовладение стало прибыльным и безопасным

Генеральши «Дочерей американской революции» (консервативная женская организация — прим. ред.).

делом, а завезенный им из Европы зародыш идеи «господства белых» разросся на американской почве буйным цветом. Двух мировых войн и мирового экономического кризиса оказалось недостаточно для того, чтобы открыть этому бедняку глаза на то, что у него куда больше общего с бывшим рабом, которого он боится, нежели с хозяевами, угнетающими и эксплуатирующими их обоих. Не случайно, что на этих хмурых холмах до сих пор можно услышать старинные шотландские баллады и песни елизаветинских времен — это ли не люди, запертые в прошлом?! Оказаться запертым в прошлом по существу означает, что у вас нет прошлого, поскольку вы никогда не сможете оценить его или воспользоваться его уроками, а тот, кто не способен пользоваться опытом прошлого, лишен возможности действовать в настоящем и поэтому никогда не бывает свободен. Вот это я и считаю наглядным выражением американской ситуации, причиной нашей скорби, в которой мы не признаемся, верным ключом к пониманию нашего кризиса.

Всегда было много легче (ибо казалось много безопасней) указать на какое-нибудь внешнее зло, чем обнаружить источник ужаса внутри себя. И все же то, что внушает ужас внутри нас, гораздо реальней и гораздо существенней любых ярлыков, которые мы наклеиваем; ярлыки меняются, ужас постоянен. И этот ужас каким-то образом связан с непроходимой пропастью, разделяющей нашу вымышленную личность — то, за что человек себя принимает и что, однако, по самой своей сути представляет собой наше временное и предположительное «я»,— и личность непознаваемую, которая в любой миг способна вдребезги разбить наше временное «я». Вполне может статься — и в жизни такое нередко бывает,— что человек, ложась вечером спать или же просыпаясь поутру, а то и просто входя в знакомую с детства дверь, вдруг обнаруживает в момент между вдохом и выдохом, что его «я», которое он с такими усилиями сшивал,— лишь одно грязное отрепье, ни на что не пригодное. Его прежнего «я» больше нет. Из какого же материала станет он теперь заново строить свою личность? Жизнь людей — а следовательно, и народов — прямо-таки в невообразимой степени зависит от того, насколько ярко живет в сознании этот вопрос. Конечно, это такой вопрос, который может парализовать сознание; однако если вопрос этот вовсе не живет в сознании, то тогда вы обречены на вечную инфантильность, равнозначную деградации.

В зимние дни, когда Нью-Йорк бывает занесен снегом (вот радость-то, у людей появляется повод поговорить друг с другом, а они, помоги им бог, нуждаются в поводе для этого), или в преддверии холодной нью-йоркской весны я иной раз выхожу из дому и иду наугад, всматриваясь в лица прохожих. Откуда очи — такие? Как стали они — эти лица — столь жестокими и бесцветными? Кому и чему они сродни? Нет, они, конечно, не родственны этим зданиям — ни одно человеческое существо не может быть сродни им. Более того, как мне сдается, многие из нас живут с загнанным внутрь страхом, что эти домища, того и гляди, рухнут на нас: движение людей по улицам носит характер панического бегства. Напрасно искать здесь влюбленных. Я больше двадцати лет не слышал на улицах Нью-Йорка пения — чтобы человек пел от радости, ради удовольствия петь. Разумеется, я не считаю пением одинокие, тоскливые, пьяные стенания в предутренний час: это просто какой-то бедолага, давясь, пытается выблевать свою боль. Там, где люди умеют петь, может жить поэт. Пожалуй, следует сказать и наоборот: там, где может петь поэт, у людей есть жизнь. Когда нация начинает относиться к своим поэтам с таким презрением, с каким мы относимся к нашим, недалеко до беды, недалеко до избиения младенцев. Все на улицах куда-то несутся, все невесть чего ищут, но сразу видно, что счастливых здесь нет и что утрачено нечто важное. Лишь изредка, может быть в жилых кварталах верхней части города, где-нибудь у реки, мне доводилось видеть иные лица — нездешние; лица людей, приехавших сюда на день, на неделю, на месяц или только что переселившихся: юношу и девушку, двух мальчиков, мужчину и женщину, мужчину с ребенком или женщину с ребенком. Да, в этих лицах было что-то узнаваемое, рождающее душевный отклик, вызывающее желание улыбнуться или даже заплакать от радости. Они были все еще отличимы от бетона и стали. Чувствовалось, что к ним можно подойти, не рискуя обморозиться до смерти.

2

Меня и моего друга, европейца, арестовали среди бела дня на Бродвее, когда мы ловили такси. Мой друг гостил здесь третий день, еще плохо говорил по-английски, и я показывал ему чудеса Нью-Йорка. Он поражался и изумлялся, хотя, кажется, несколько недоумевал, для чего нужны эти чудеса,— как вдруг перед нами, словно из-под земли, выросли двое полицейских в штатском и без лишних слов поволокли нас в разные стороны. На моих глазах мой друг, ведомый за шиворот, исчез в уличной толпе. Наш арест не привлек ничьего внимания; очевидно, это было слишком заурядным событием. Полицейский втолкнул меня в дверь аптеки-закусочной, обыскал, заставил вывернуть карманы, закатать рукава, спросил, что я здесь делаю («здесь» — значит в городе, где я родился).

Джордж Уоллес, губернатор штата Алабама.

В этих делах я стреляный воробей: полисмены всегда любили задерживать меня, а случалось, и избивать. Поэтому я не проронил ни слова во время всей этой процедуры. Я только беспокоился за моего друга, который мог не понять теплоты приема, оказываемого ему в краю свободы; сумеет ли он объясниться по-английски, особенно если учесть, что полицейские говорят на весьма своеобразной разновидности английского языка? У нас не было при себе ни ножей, ни револьверов, и мы не употребляли наркотиков — уголовный аспект этим исчерпывался. К тому же мой друг был женатым человеком, отцом двух детей, прибывшим сюда с абсолютно респектабельным визитом, притом не из какой-нибудь грязной страны с сомнительной репутацией вроде Греции, а из геометрически правильной и платежеспособной Швейцарии — этим исчерпывался моральный аспект. Да и меня было трудно принять за бродягу, поэтому я с интересом ждал, что скажет полицейский.

Похоже, он был чрезвычайно разочарован, не обнаружив у меня оружия и следов от уколов на венах,— и разочарование делало его все более грубым. Тогда я в энергичных выражениях дал ему понять, что я не так уж беззащитен и что я вполне могу и очень хочу причинить ему большие неприятности. Итак, что именно послужило основанием для нашего ареста?

Тут он пришел в замешательство, перепугался и заговорил извиняющимся тоном, и это преисполнило меня глубоким к нему презрением. Он сказал — сколько раз приходилось мне это слышать! — что им было приказано задержать двух парней с точь-в-точь такими же, как у нас, приметами.

— То есть белого и черного, да?

Если исключить моих друзей, я думаю, мне хватило бы пальцев на одной руке, чтобы пересчитать всех американцев, с которыми я когда-либо встречался, способных дать честный ответ на прямо поставленный вопрос по существу.

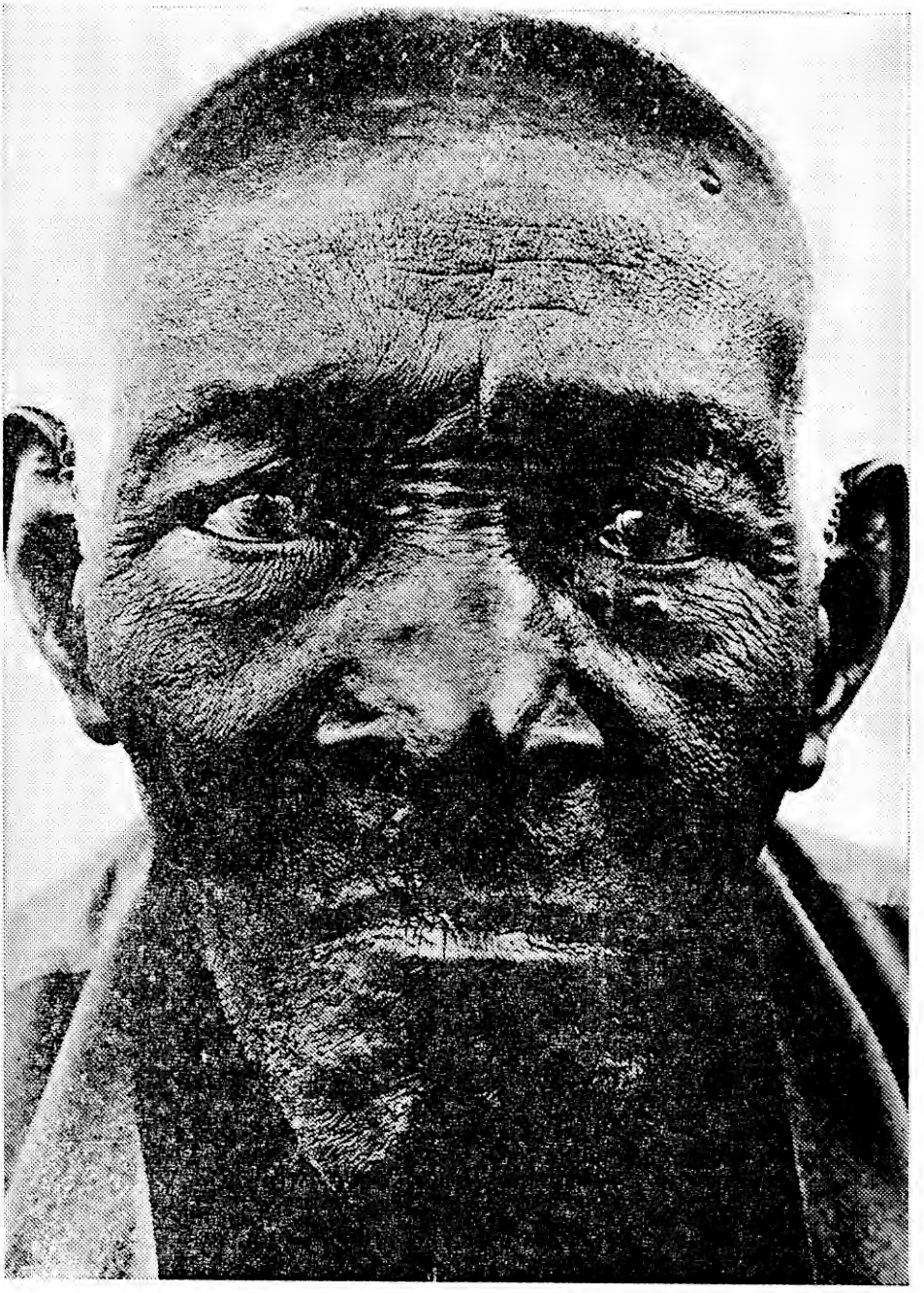
— Не совсем так. Нет, нет! — Он даже не знал, что тот, второй парень — белый. Он принял его за пуэрториканца. (Тоже весьма красноречивое заявление.)

Как бы там ни было, он попал в затруднительное положение: ему не удастся отвертеться, извинившись передо мной и отпустив меня на все четыре стороны. Если только он сейчас же не отыщет своего напарника и моего друга, я заставлю его формально задержать меня и привлеку к суду за незаконный арест. И вот мы отправились на поиски и не без труда нашли моего друга, который был выпущен на волю и дожидался меня в баре за углом, возле нашего дома. Он тоже озадачил своего полицейского собеседника — озадачил, оказавшись именно тем, за кого себя выдавал, что само по себе, по-моему, красноречиво характеризует наше, американцев, отношение друг к другу. Полисмен дал моему другу полезный совет: если он хочет хорошо провести время в Америке, пусть лучше не показывается на людях с черномазыми. Мой друг горячо его поблагодарил, что, надо думать, согрело простое сердце блюстителя порядка (до чего же мы обожаем простоту!), и с тех пор взял себе за правило избегать общества белых американцев.

И я, конечно же, не осуждаю его. Хотя бы потому, что говорить с американцами чаще всего невероятно трудно. Мы боимся открывать душу: ведь мы так мало себе дозволяем. Отношения американцев ужасающе неискренни, как, впрочем, и у многих других народов мира. Но у нас дело усугубляется тем, что отношение преподносится в персонифицированном виде; вы, как ожидают здесь от вас, должны подтверждать отношение, чтобы успокоить некую личность, до встречи с которой, увы, еще далеко и которая блуждает в каком-то страшном частном лабиринте на расстоянии многих световых лет. Причем эта личность в своем лабиринте отчаянно старается НЕ установить, что она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО чувствует. Вот почему правда не может быть высказана — даже о том, как мы друг к другу относимся: мы живем ложью. Мы лжем не только, например, тогда, когда говорим о расе (что бы ни значило это слово в наши дни здесь, в Америке, да и во всем мире), мы лжем и о себе, о своей подлинной сущности. Ложь проникла в сокровеннейшие тайники наших сердец.

Это самое страшное, что может случиться с любым обществом, с любым народом. И коль скоро такое случается, это значит, что народ как бы замкнут в пустоте между своим настоящим и своим прошлым — романтизированным, то есть оклеветанным, прошлым и отвергнутым, обесчещенным настоящим. Это кризис самосознания. А когда наступает такой кризис, когда переживаются такие трудности, оказывается совершенно необходимым обнаружить или выдумать (тут эти два слова — синонимы) чужака, злокозненного пришельца, ответственного за наше смятение и за нашу боль. Как только он будет изгнан — уничтожен! — мы снова обретем душевный покой: тревожащие нас вопросы отпадут. Вопросы эти, конечно, не отпадут никогда, но убивать всегда казалось легче, чем изменяться. А ведь именно такой выбор стоит сейчас перед нами.

Я знаю, что эти слова звучат резко применительно к солнечной, оптимистической стране, которая пребывает в глубокой эйфории, будучи убаюкана долгим экономическим процветанием (которое зиждется на угрозе войны), журналами типа «Ридерс дайджест», громкими политическими лозунгами, Голливудом и телевидением (средствами информации, призванными не информировать, а успокаивать)... Так вот. Америка, какой ее знаю я, поклонялась насилию и поощряла насилие все время, что я живу на земле. Правда, насилие осуществлялось главным образом в отношении



Уильям Кесби, рожденный в рабстве.

черных, то бишь чужаков, и поэтому не считалось насилием. Но если общество допускает, чтобы одну часть его граждан терроризировали или истребляли, то очень скоро ни один человек в этом обществе не сможет чувствовать себя в безопасности. Разбуженные подобным образом в народе злые силы никогда не удастся обуздать — они совершат свой губительный путь, разрушая те самые устои, которые, как предполагалось, они были призваны спасать.

Однако мы невероятно плохо осведомлены о том, что происходит у нас в стране (уж ничего не говоря о происходящем в остальном мире), и, как видно, стали слишком робки, чтобы подвергать сомнению то, в чем нас уверяют. Наша неспособность доверять друг другу хотя бы настолько, чтобы быть способными разговаривать друг с другом, ныне достигла таких размеров, что те, у кого есть сомнения в душе, больше не высказывают их; наше богатство столь вездесуще, что люди, страшащиеся потерять то, что они считают своей собственностью, убеждают себя в правдивости лжи и способствуют ее распространению. И помоги здесь бог невинной душе, мужчине или женщине, которые просто хотят любить и быть любимыми. Если только эти несчастные, мечтающие любить, не сумеют заменить свой становой хребет стальным прутом, они обречены. Здесь нет места для любви. Наверное, читатель ждет, что сейчас я отвешу поклон в сторону миллионов ничем не примечательных счастливых супружеских пар по всей Америке, но я не способен со всей честностью сделать это, так как не нахожу в нашем моральном и социальном климате — в частности, я имею в виду наше отношение к детям — никакого намека на существование таких пар. Говоря об этих счастливых и столь непостижимо невидимых людях, мы, как я подозреваю, просто-напросто тоскуем по счастливой, простой, богобоязненной жизни, которую якобы вели когда-то. Во всяком случае всюду, где есть любовь, она неизменно выражает себя в личности, в личном авторитете человека. Если судить по этому, мы являем собой нацию, которая не знает любви. В самом лучшем случае можно сказать, что кое-кто из нас борется. Мы боремся против той смерти в сердцах человеческих, которая не только ведет к кровопролитию, но и превращает людей в мертвецов еще при жизни.

3

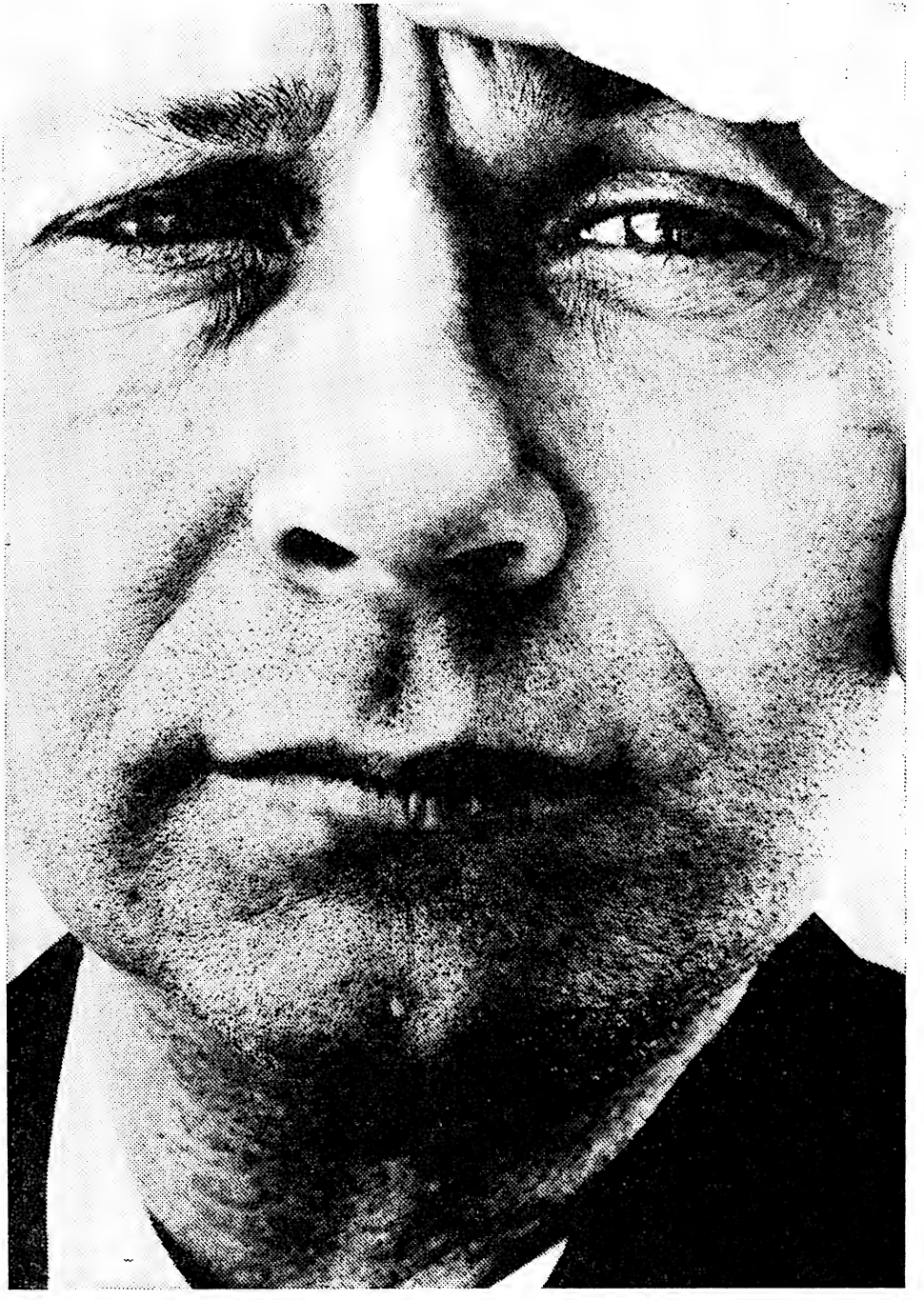
Четыре часа ночи — роковое время. День, какой бы он ни был, безусловно, закончился; почти сразу же начинается новый день: как-то удастся прожить его? Вероятно, не лучше, чем минувший; быть может, хуже. Более того, близится тот день, который тебе не дано будет вспоминать,— последний день твоей жизни, день, когда ты сам уйдешь безвозвратно, как ушли все прожитые тобою дни.

Ужасно думать — вернее ужасно сознавать,— что однажды твои глаза перестанут видеть мир. Что ты больше не будешь присутствовать на всечеловеческой перекличке. И рассвет нового дня настанет для других, но не для тебя. Иногда, в четыре часа ночи, этого сознания почти достаточно для того, чтобы заставить тебя примириться со всей твоей болью, всеми твоими ошибками. Ведь если жизнь все равно должна кончиться, то почему бы не попытать ее — жизнь — еще раз? «Это длинный долгий путь,— поет Бесси Смит,— но и он придет к концу». Ну, а раз так, устало и упрямо продолжает она, «я взяла мои пожитки и опять пошла вперед». Ее песня кончается на щемяще-горькой и многоговорящей ноте: «Никому нельзя верить, лучше уж одиночество. Нашла пропавшего друга, но, может, лучше б остаться дома!»

И все же ведь ее тянуло найти этого пропавшего друга, снова с робкой надеждой пожать неохотно, без любви протянутую руку другого человека. Думается, всеми нами движет эта тяга, потому что, по моему глубокому убеждению, человека может спасти только другой человек. Я знаю, мы не так уж часто спасаем друг друга. Но я также знаю и то, что мы спасаем друг друга — иногда. И единственное, что может сделать бог, единственное, о чем я прошу его,— это дать человеку мужество продолжать свой путь и достойно встретить свой смертный час в конце пути.

А ведь, может быть — может быть,— между сегодняшним и тем последним днем произойдет нечто изумительное, случится чудо, чудо соединения и высвобождения. И это чудо, на котором сосредоточено наше неустойчивое внимание, всегда означает одно и то же, какие определения ему ни давай и как ни пытайся обойтись без определения. Это чудо любви, любви достаточно сильной, чтобы помочь человеку достичь великого состояния зрелости, иначе говоря, привести его к постижению и приятию своей собственной сущности. Некий глубокий и неискоренимый инстинкт — я уверен — наделяет нас твердым знанием, что только любовь может пережить и осилить смерть, заставить жизнь возродиться из смерти.

Однако иной раз, в четыре ночи, когда тебе кажется, что ты, наверное, просто больше не способен уповать на это чудо, ибо все твои душевные раны кровоточат и пульсируют, вся твоя страшная несостоятельность смотрит и вопиет со стен, пола и потолка, а сжавшаяся вселенная превратилась в тюремную камеру для твоего «я», смерть манит, как единственный свет на темной дороге высоко в горах, где ты заблудился, безнадежно и навсегда. И тогда многие из нас умирают.



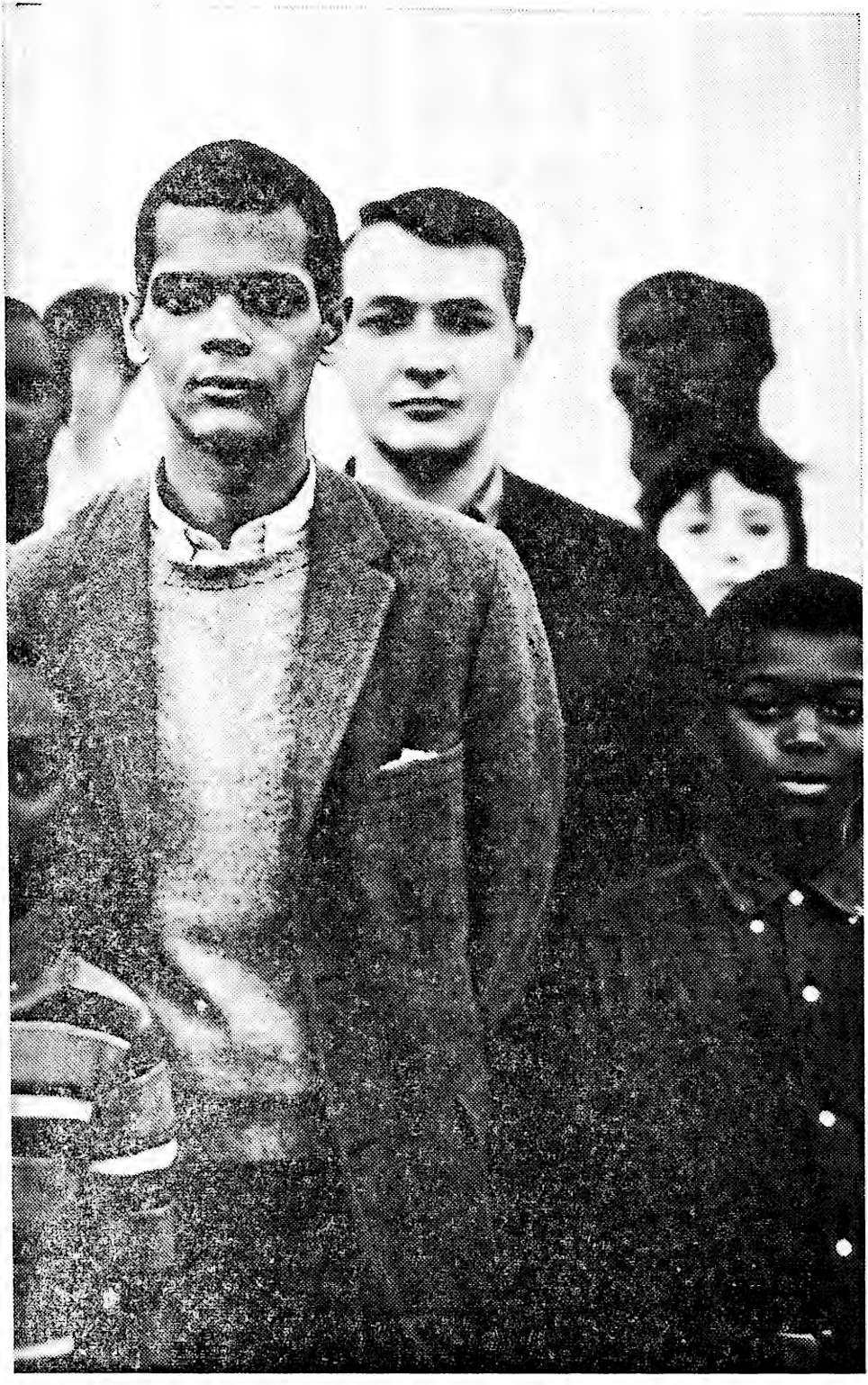
Майор Клод Изерли, пилот, сбросивший бомбу на Хиросиму 6 августа 1945 года.

Но если ты сможешь вернуться назад, спуститься вглубь — в себя, в свою жизнь — и найти там хоть какое-то, пускай неожиданное, пускай противоречивое, свидетельство собственной реальности, это даст тебе силу встретить — может быть, и без особого воодушевления — новый день. («Новый день пустился в путь,— бывало, пели мы в церкви,— и я ликую, что мир не причинит мне зла!») К тебе должно прийти осознание в четыре часа пополуночи, что человек не вправе лишать себя жизни — по крайней мере из-за своих личных мук. Ведь всякая жизнь связана с другими жизнями, и когда уходит один человек, с ним уходит нечто гораздо большее. Человек должен смотреть на себя как на опекуна той количественной и качественной неповторимости — своей индивидуальности,— которая совершенно уникальна в мире, потому что ее никогда не было здесь раньше и никогда не будет потом. Но до чего же трудно смотреть на себя так в нашей стране и в наше время! Там, где все связи между людьми ставятся под подозрение, человек очень скоро теряет самого себя.

Четыре часа ночи позади, опасный поворот еще раз удачно пройден; сознание воспринимает луч солнца или шум дождя, и жесткий, металлический, бездушный свет, и звуки жизни за окном, и движение на улицах. Осторожно отодвинув штору, выглядываешь наружу: какая там погода? И тогда, наконец, из парного тумана ванной, словно из чистилища, появляется, всплывая из невообразимых пучин, твое лицо. Вот оно здесь, ничего, как всегда, не выражающее: терпеливые кости все так же обтянуты кожей, глаза скрывают растерянность ума и боль сердца, и лишь губы подают тайный знак о нездоровье духа, живущего в этом бренном теле. Затем ты выбираешь личину, которую будешь носить сегодня. Эта личина служит для того, чтобы сигнализировать другим людям, что именно им надлежит видеть,— благодаря этому они не испытают чувства неловкости или, может быть, враждебности, которое испытали бы, если бы их вынудили посмотреть на другого человека. Личина должна говорить об определенном положении в обществе, предписывать определенную манеру обращения и, кроме того, внушать с помощью разных тонких средств представление о скрытой агрессивности, подобной мощи спящего льва. Необходимо, чтобы каждый встречный на улице хорошенько подумал, прежде чем попытаться сорвать на тебе свое отчаяние. Вооружившись таким образом, ты выходишь на нелюбимые улицы. Нелюбимые улицы. Сколько раз ходил я по улицам Нью-Йорка, воображая себя неким необычным путешественником, отправившимся на поиски спрятанного сокровища и очутившимся в стане дикарей, так что теперь весь вопрос в том, чтобы обнаружить сокровище, прежде чем дикари обнаружат тебя; вот почему я прячусь под личиной. В конце концов, я видел города, где каменные вазы на парапетах парков не были чем-то немыслимым, где прогулка по парку была вполне возможным делом, а не игрой со смертью. Интересно, как долго простояла бы каменная ваза в Сентрал-парке? А посмотрите на нью-йоркские дома, тиранически вздымающиеся ввысь и рассекающие воздух как орлы из стекла, стали и алюминия, эти наспех построенные, абсурдные, надменные небоскрёбы. Кто способен работать в этих зданиях и на чью потребу они выстроены? Нелюбимые дома. Посмотрите на наших детей: они шатаются по улицам, такие же заносчивые и непочтительные, как бизнесмены, и такие же потенциально опасные, как ребячьи ватаги, шатавшиеся по улицам разбомбленных городов Европы после минувшей мировой войны. Вот только нет здесь незнакомых улыбающихся солдат, которые раздавали бы им шоколадные конфеты или жевательную резинку, и некому дать им тепло родного дома. У нас никто никому ничего не дает, и само слово «давать» перестало что-либо значить; вообще ничто так не бросается в глаза в американской действительности, как тот факт, что мы не уважаем наших детей, а наши дети не уважают нас. Став теми, кто мы есть, поставив вещи над людьми, мы давно разбили сердца наших детей и оттолкнули их от себя.

Каким странным кажется мне наше чувство реального — пожалуй, вернее будет назвать это удивительным пристрастием к ирреальному. Сам собою встает вопрос: как можно растить ребенка, не любя его? Как можно любить ребенка, не зная, кто ты есть? Как может ребенок вырасти без родительской любви? Дети могут выжить без денег, без обеспеченности, без защиты, без вещей, но они пропали, если у них не будет перед глазами любящего примера, ибо только этот пример может снабдить их критерием для их собственной жизни. «До сих пор и не дальше»,— вот о чем должен говорить отец ребенку. Если ребенку не сказать, где проходят границы, где находятся пределы, он всю остальную жизнь будет пытаться найти их. Ведь ребенок, которому не говорят, где есть предел, знает — хотя он может и не знать, что знает это,— что никто не заботится о нем, ибо никто не готовит его в путь по жизни.

По-моему, это помогает объяснить феномен нестареющего американского юнца, не имеющий прецедентов в мире; это помогает объяснить факт нашего отчаянного заискивания перед простодушием и молодостью: как жестоко обманутым надо быть в юности, чтобы предположить, что сохранять простодушие или оставаться всю жизнь юнцом — достоинство! И это помогает также объяснить (мне — во всяком случае) некоторые прямо-таки ошеломляющие способы использования американцами неточной науки психиатрии. Я знавал людей, действительно больных психически, которые все же как-то ухитрялись жить со своей бедой; и как выгодно отличаются они — бывшие наркоманы и бывшие заключенные — от той текучей компании моих знакомых в литературном и окололитературном мире, которые, страдая разве что инертностью,



Члены студенческого координационного комитета по ненасильственным действиям в Атланте, штат Джорджия.

готовы заниматься самой постыдной работой ради того, чтобы позволить себе роскошь оплачивать чье-то внимание к себе по цене в двадцать пять долларов за час. Моя черная задубелая пуританская совесть воспринимает это как скандальное позорище; и опять-таки подобное постыдное самоублажение ужаснейшим образом сказывается на их детях, которых они совершенно не способны воспитать. А воспитать их они не могут потому, что сделали ставку на получение единственного блага, которое совершенно недоступно человеку,— личной безопасности. В этом, на мой взгляд, коренится одна из причин нашей малой образованности: ведь стать образованным (как всегда было известно всем тиранам) — значит стать недосягаемо независимым, овладеть опасным методом оценки опасности и взять в свои руки средства изменения действительности. Последнее как небо от земли отличается от «приспособления» к действительности: попытка «приспособиться» к действительности имеет парадоксальный эффект уничтожения действительности, так как подменяет собственную речь человека какофонией общеупотребительных цитат, выдаваемой за его внутренний голос. Люди терпят жизненное крушение, сходят с ума или гибнут по-разному: одни среди безмолвия той долины, «где я не слышал голоса молитв», многие посреди грохочущего публичного ужаса, где ни вопль, ни плач, ни пение, ни вздох надежды не отделимы от общего рева. Вот так мы и идем ко дну, жертвы той всеобщей жестокости, которая живет в сердце человеческом и в мире, жертвы всеобщего безразличия к судьбе ближнего, жертвы всеобщей боязни любви,— и это служит доказательством того, что настоящая жизнь абсолютно невозможна без любви. Когда-нибудь, может быть через много-много поколений, мы придем к сознанию, что люди важнее собственности, и позволим этому сознанию стать руководящим принципом нашей жизни. Я ни на мгновение не сомневаюсь — и с этой верой сойду в могилу,— что мы сможем построить царство небесное на земле, если захотим.

4

«В твоих глазах я вижу свет. Он мне напоминает небо, что светится над нами каждый день»,— написал наш влюбленный современник, движимый бог знает какой болью, надеждой и тоской. Но он увидел свет в глазах, единственный настоящий свет в мире, и почтил его, и доверился ему; он всегда сможет найти его, потому что свет — тут и ждет, чтобы его нашли. Свет становится виден во тьме, для этого и нужна тьма; но все в нашей жизни зависит от того, как мы несем в себе свет. Пребывая во тьме, нужно твердо помнить, что где-то есть свет и что в тебе самом живет свет, дожидающийся, чтобы кто-нибудь его обнаружил. Свет раскрывает опасность и требует веры...

Что за путешествие эта наша жизнь! Какая полная зависимость от духовного мира!..

Кажется, я знаю, сколько раз приходится начинать заново и как часто мы чувствуем, что начинать заново незмоготу. И все же вы никогда не сможете оставаться на одном месте, даже под страхом смерти. Свет. Свет. Без света человек погибнет.

Я ночевал на крышах, в подвалах и тоннелях, холодал и голодал всю жизнь, думал, что никакой огонь уже не согреет меня и ничьи руки никогда меня не удержат. Мне, как поется в песне, приходилось сносить «оскорбленья и униженья» и, я знаю, всегда придется сносить их. Но, бог ты мой, какой громадный огонь горел в этой тьме, которая была уделом моих предков и моей собственной участью. В этой тьме насилия и деградации, в этом кровавом тумане, сквозь весь этот ужас, преодолевая бессилие, живая душа двигалась вперед и отказывалась умирать. Мы и впрямь вычерпывали океаны самодельной ложкой и срывали горы собственными руками.

Это замечательное наследие, наследие человечности, и только на него можно положиться. Я понял это, когда попробовал взглянуть на жизнь глазами моего отца и моей матери. В детстве я часто спрашивал себя: как же они выносят это? Ведь я видел, как тяжело им достается. Мне еще не приходило в голову, что и моя доля будет не легче. Но они знали это, и немыслимые трудности их жизненного пути помогли им подготовить меня в дорогу. Вот почему человек должен говорить жизни «да» и принимать ее всюду, где она есть,— а она бывает в ужасных местах. Тем не менее вот она, жизнь, и если отец может сказать: «Да, господи», сын сможет научиться труднейшему из слов: «Аминь».

Ибо ничто в мире не застыло в неподвижности на веки вечные, нет ничего незыблемого; земля постоянно движется, свет постоянно меняется, волна беспрестанно подтачивает камень. Рождаются новые и новые поколения, и мы несем ответственность перед ними, потому что мы — единственные свидетели жизни, которые у них есть.

Море вздымается, свет меркнет, влюбленные крепче держатся друг за друга, дети цепляются за нас. Если мы отпустим друг друга, если мы перестанем верить друг другу, море в тот же миг поглотит нас и свет погаснет.

Американские ракурсы

Три материала, объединенных под общей рубрикой «Американские ракурсы» — на первый взгляд очень разные,— в конечном счете составляют единое тематическое целое. При явных различиях в подходе к американской действительности, в способах ее исследования, в стиле изложения все они — и научный очерк советского социолога, анализирующего динамику ценностных ориентаций американцев на протяжении 70-х годов во взаимодействии с идейно-политической ситуацией в США в тот же период, и беглые путевые заметки французского писателя-коммуниста, посетившего Америку в 1978 году, и страстное, искреннее, эмоциональное эссе крупного американского писателя-негра, увидевшее свет пятнадцать лет тому назад,— написаны по существу об одном: о личности рядового американца, о его самочувствии в современном обществе, о лице и душе Америки. Складывающаяся общая картина американской действительности, наблюдаемая с разных точек зрения, получает дополнительную объемность.

На основе изучения результатов опросов общественного мнения в США, оценки высказываний множества видных американских социологов, идеологов, политологов и журналистов, учета сложных и многообразных идейно-политических факторов Ю. Замошкин предлагает опыт марксистского анализа личности рядового американца, его умонастроений и мироощущения, чувств и мыслей, взглядов, надежд и опасений, сложных процессов, происходящих у него в сознании. Это социально-психологический анализ личности как динамической системы в ее живой взаимосвязи с другой динамической системой — обществом, анализ, увязывающий события, происходящие на уровне общесоциальной жизни, с реакцией на них на уровне внутренней жизни личности. В этом ракурсе Америка рассматривается как бы со стороны — так исследует заинтересовавшее его явление ученый-естественник, вооружившийся микроскопом или телескопом; так обследует больного врач: измеряет пульс, давление, температуру, разглядывает рентгенограммы, изучает показания анализов, ставит диагноз.

Ракурс второй: моментальный снимок Америки конца 70-х. Вроде бы любительское фото, запечатлевшее случайные подробности и лица, а вместе с тем — работа художника-профессионала, который с цепкой писательской наблюдательностью и изрядной толикой иронии подметил характерные детали современной американской жизни, забавные — и не слишком забавные — штрихи быта, новые приметы времени. Как расшифровать символическую фигуру бегущего американца в майке, шортах и тапочках? Куда, зачем он бежит? То ли и вправду за первым миллионом долларов, как шутливо предполагает В. Познер, то ли прочь от трудных жизненных проблем? В XXI век или обратно в прошлое? От инфаркта, от скуки, от самого себя?

Третий ракурс: взгляд на Америку изнутри. Внутренний облик Америки и изломанная психология ее сыновей предстают нашему взору высвеченными яростной вспышкой гнева, любви и ненависти одного из ее пасынков, чернокожего американца Джеймса Болдуина. Это и горячая исповедь, и неистовая инвектива, и пламенная проповедь, и — подчас — мучительный крик души, исполненной горечи отчаяния, тоски по чуду любви, жажды человеческого тепла и доверия. Его видение американской действительности в самых ее коренных, сокровенных проявлениях, выстраданное всем тяжким опытом собственной жизни и жизни многих поколений черных предков, настолько проницательно, глубоко и верно, что его пронзительно острое эссе звучит совершенно по-современному и сейчас, на пороге 80-х годов.

Эссе Джеймса Болдуина было помещено в фотоальбоме «Без личных выпадов» («Nothing Personal») как своего рода литературное сопровождение к собранию работ известного американского художника-фотографа Ричарда Аведона. Оно не служит пояснительным текстом к фотографиям, равно как и фото Аведона не являются иллюстрациями к тексту Болдуина. Произведения обоих мастеров совершенно самостоятельны и вместе с тем образуют, в силу общности творческих взглядов авторов, единое идейно-художественное целое. Об этом, как мне кажется, наглядно свидетельствуют несколько работ Р. Аведона, воспроизведенных на предыдущих страницах публикации. С непривычно крупных, во всю полосу, фотопортретов (в самом альбоме форматом 26 на 36 см эти портреты много крупнее — и от дальнейшего уменьшения размеров репродукций они проиграли бы в выразительности) смотрят на нас лица — поразительно разные: чванливые, бездушные и серьезные, одухотворенные; самодовольные и страдальческие; окаменело-холодные и живые, интеллигентные — взятые в совокупности, они как бы являют собой еще один социально-психологический разрез (конечно, лишь едва намеченный) американского общества, еще один ракурс американской действительности.

В. ВОРОНИН

◆

РОБЕР ЛИНАР

Французский литератор и социолог (род. в 1944 г.). В настоящее время преподает философию в университете в Венсане. Автор нескольких работ, посвященных проблемам организации промышленности и технологии производства.

ИТАК, Я РАБОТАЮ НА ЗАВОДЕ...

Фрагменты книги

Перевод с французского О. МОИСЕЕНКО

Техническая консультация Г. ФЕСТА

Посвящается Али, сыну марабута и разнорабочему на заводе Ситроена.

— Покажи-ка ему, Мулуд!

И человек в белом халате (мастер Гравье, как я узнал впоследствии) торопливо направляется к своей застекленной будке.

Я смотрю на рабочих, смотрю на цех, на конвейер. Никто не заговаривает со мной. Мулуд не обращает на меня внимания. Начальник ушел. Мой взгляд рассеянно блуждает по сторонам, задерживаясь то на Мулуде, то на кузовах автомобилей 2CV [1], которые проходят мимо, то на ком-нибудь из рабочих.

Конвейер не соответствует моему представлению о нем. Я ожидал увидеть равномерное чередование перемещений и остановок у каждого рабочего места. Платформа, на которой стоит машина, проходит несколько метров, останавливается, рабочий выполняет свою операцию, платформа следует дальше, подходит другая, рабочий повторяет ту же операцию и т. д. Я представлял себе стремительный темп, свойственный потогонной системе, о которой говорится в листовках. Само слово «конвейер» наводило на мысль о неравномерном, но быстром движении.

Между тем мне показалось сначала, что конвейер движется медленно и непрерывно, а в том, как работают люди, чувствуется скорее унылая покорность, чем та спешка, которой я ожидал. Бесконечная зеленоватая лента конвейера постепенно навевает на меня дремоту, прерываемую ударами, стуком, вспышками,— они повторяются циклически, через равные промежутки времени. Разнообразные звуки, скольжение серых кузовов из необработанных листов металла, повторение одних и тех же операций рабочими — все это понемногу обволакивает меня, убаюкивает. Время как бы останавливается.

Этот новый для меня мир определяется тремя ощущениями: резким запахом горелого металла и металлической пыли, всевозможными звуками — визгом

© 1978, by Les Editions de Minuit.

[1] 2CV — название самой дешевой модели автомобильной фирмы «Ситроен». Cheval-vapeur — лошадиная сила *(франц.)*. Французы прозвали этот автомобиль «Две лошади». *(Прим. ред.)*.

сверл, шипением горелок, ударами молотков и своим серым цветом, ибо здесь все серо: стены цеха, остовы машин, комбинезоны и спецовки рабочих. Даже лица кажутся серыми, словно они вобрали в себя белесые отблески кузовов, проплывающих мимо них.

Сварочный цех, куда меня только что определили («Пусть поработает в 86-м»,— сказал уполномоченный по кадрам), невелик, каких-нибудь тридцать рабочих мест у полукруглого конвейера. Машины поступают сюда в виде скрепленных между собой металлических листов; здесь их сваривают, правят неровности, зачищают стыки. И все же из цеха выходит лишь серый остов машины (попросту «ящик»), но остов, как бы состоящий из цельного металла и готовый для окраски и сборки.

Я присматриваюсь к последовательным стадиям работы. В начале конвейера находится крановщик. Он поднимает с помощью крана один из кузовов, стоящих во дворе (мы занимаем второй этаж здания или, точнее, антресоли, внешняя стена которых отсутствует), резким движением ставит его на платформу, которую тут же прицепляет к одному из огромных крюков — они медленно движутся у самого пола на расстоянии каких-нибудь двух метров один от другого, составляя видимую часть безостановочной цепи, называемой «конвейером». Рядом с крановщиком стоит человек в синем халате и следит за его работой. Несколько раз за этот день я вижу его на том же месте. Он торопит крановщика («Ну, поживей, а теперь крепи!»), требуя, чтобы тот включал в цепь как можно больше кузовов. Оказывается, это бригадир Антуан. Он корсиканец, мал ростом, суетлив

— Антуан любит покричать,— говорят о нем рабочие,— но парень он невредный, беда только, что боится мастера Гравье.

Грохот, сопровождающий появление нового кузова, каждые три-четыре минуты как бы расчленяет весь этот процесс.

Поступившие на конвейер кузова начинают свой путь по полукружию, последовательно подвергаясь различным операциям: сварке, оплавлению припоем, зачистке напильником, шлифовке, рихтовке. Как я уже говорил, конвейер движется непрерывно и настолько медленно, что при беглом взгляде создается впечатление неподвижности. Но если не спускать глаз с какого-нибудь кузова, можно заметить, что он переходит от одного рабочего места к другому. Так как конвейер не останавливается, идут за платформами рабочие, чтобы вовремя закончить свою операцию. Каждому из них отведен определенный участок метра в три-четыре длиной, не имеющий, впрочем, ясно очерченных границ. Как только кузов машины входит в его зону, рабочий берет горелку, паяльник, молоток или напильник и принимается за дело. Несколько вспышек, несколько ударов — и требуемый шов готов еще до того, как кузов успел перейти на соседний участок. А между тем следующий кузов уже приблизился, и рабочий все начинает сызнова. Иной раз, если он быстро справился со своей операцией, у него остается в запасе несколько секунд перед прибытием нового кузова. Он пользуется этим, чтобы перевести дух или, напротив, еще ускоряя темп, делает шаг-другой против движения конвейера; иными словами, заходит на территорию предыдущего рабочего и принимается за дело одновременно с ним, чтобы сэкономить еще немного времени. И когда по истечении часа или двух у него окажется сказочный капитал в две-три минуты, он потратит их на то, чтобы выкурить сигарету, и, положив руки в карманы, словно какой-нибудь рантье, станет с удовлетворением смотреть на проходящий мимо уже обработанный им кузов, тогда как другие парни будут трудиться без передышки. Мимолетное счастье: на подходе уже следующий кузов! Надо снова браться за дело и, прибегая к той же тактике, «возвращаться вспять» в надежде, что потом удастся спокойно выкурить еще одну сигарету. Если же, напротив, рабочий замешкается, он начинает «тонуть» и ему не остается ничего другого, как идти все дальше и дальше по движению конвейера и продолжать дело на участке соседа, уже успевшего приступить к работе. И вот тут-то приходится напрягать все силы, чтоб как-то выправить положение. И медленное скольжение конвейера, который показался мне вначале почти неподвижным, становится в моих глазах грозным, как вздувшийся поток, который при всем желании не удается запрудить. Конвейер уже продвинулся на пятьдесят сантиметров, на целый метр, а это секунд тридцать опоздания, со швом у тебя все не ладится, и ты вынужден следовать за кузовом все дальше и дальше... Тем временем новый кузов, подойдя к твоему рабочему месту, продолжает двигаться с тупым упорством неодушевленного предмета. Кузов достиг уже половины твоего участка, а ты еще не принялся за него и нагонишь платформу лишь на соседнем участке. Сколько потеряно времени! Вот это и называется «тонуть», и рабочий испытывает при этом такое же отчаяние, словно он и в самом деле идет ко дну.

Эту жизнь я узнал лишь впоследствии, с течением времени. В первый же день, проведенный мной у конвейера, я лишь догадываюсь о ней, замечая чье-то напряженное лицо, чье-то судорожное движение или тревожный взгляд, устремленный на кузов, который уже приближается, когда предыдущий еще не готов. И все же, наблюдая за рабочими, я начинаю видеть разнообразие в том, что при

поверхностном взгляде показалось мне однородной людской массой. Один человек осмотрителен и точен, другой весь в поту, едва справляется с работой, вот этот опережает график, тот отстает, а кое-кто прибегает к мелким тактическим уловкам; в промежутке между двумя операциями иной кладет свои инструменты, другой держит их в руке... И все продолжается неотвратимое движение машин 2CV, которые создаются с каждой минутой, с каждым движением рабочего, с каждой его операцией. Зажим сварочными клещами, искры, визг сверл, запах горелого металла.

Когда в конце полукружия кузов машины завершает свой цикл, его снимают с платформы и по транспортному туннелю отправляют в цех окраски. И грохот нового кузова в начале конвейера возвещает о том, что все начинается сызнова.

Однообразное движение серого конвейера наводит меня на мысль о беспощадной борьбе, которая ведется здесь между смертью и жизнью, между жизнью и смертью. Смерть — это цепь конвейера, нескончаемое движение кузовов машин, повторение одних и тех же операций, выполнение задачи, которой нет конца. Одна машина готова, но следующая уже пришла ей на смену со щелью там, где мы ее только что сварили, бугристая в том месте, которое только что было зачищено. Сварка окончена? Нет, ее еще предстоит сделать. Но теперь-то уж окончательно? Нет, снова, все всегда приходится начинать снова, никогда ничего не заканчивая, словно не существует больше ни поступательного движения, ни результатов работы, ни перемен, а только бессмысленное подобие труда, плоды которого сразу же гибнут, словно под действием чьего-то тайного проклятия. Ну, а если внушить себе, будто ничто на свете не имеет значения, будто достаточно приучить себя к повторению одних и тех же операций в одинаковые промежутки времени и стремиться лишь к безупречному качеству работы? Так искушает нас смерть, но жизнь восстает, сопротивляется. Сопротивляется наш организм, сопротивляются мускулы, нервы. Что-то в нашем теле и в нашей голове встает на борьбу против бесчисленных повторений и небытия. Жизнь — это торопливое движение, это рука, которая опускается невпопад, это малейшее нарушение заведенного порядка, это неловкий жест, «возвращение вспять» и чувство, что «идешь ко дну», это мелкие тактические уловки, словом, все то, из-за чего на рабочем месте — смехотворном пятачке сопротивления против бессмысленной вечности — еще случаются события, пусть самые незначительные, еще имеется свободное время, пусть даже безжалостно урезанное. И неловкость, и излишние передвижения, и внезапная торопливость, и неудачный шов, и дважды повторенная операция, и переход на рабочее место соседа, и гримаса недовольства — все это борьба жизни, отзвук того голоса, который взывает в каждом человеке, стоящем у конвейера: «Я не машина!»

Как раз поблизости от Мулуда какой-то рабочий — он тоже алжирец, но с более типичными, чем у Мулуда, почти азиатскими чертами лица — начинает «тонуть». Он уже перешел на следующий участок и бьется над четырьмя точками сварки. Я вижу, как он возбужден, как быстро водит сварочными клещами. Наконец, он не выдерживает и кричит крановщику: «Эй, повремени там, придержи свои ящики, у меня заминка!» И он отцепляет платформу с кузовом машины, над которым работает. Платформа застывает на месте до тех пор, пока ее не прикрепят к следующему крюку, который подхватит ее несколько секунд спустя. В начале конвейера все рабочие тоже отцепляют платформы, чтобы избежать столкновения. Минутная передышка. Получается пролет в несколько метров, немного длиннее обычного расстояния между платформами, но это помогает алжирцу наверстать упущенное. На этот раз бригадир Антуан промолчал, ибо за последний час у него образовался резерв в три-четыре машины. Обычно же он вмешивается в дело, набрасывается на «тонущего» рабочего, не дает ему отцепить платформу или спешит вернуть ее в исходное положение.

Благодаря этому инциденту я понял, как сильно уплотнено здесь время. Однако движение конвейера кажется медленным, и у рабочих не замечается явной спешки.

■

Итак, я работаю на заводе. Я интеллигент-рабочий. Поступил сюда без особого труда, гораздо легче, чем предполагал. Биографию свою я полностью выдумал. Сказал, что служил сначала приказчиком у воображаемого дяди — бакалейщика в Орлеане, а затем целый год работал кладовщиком (справка об этом была выдана мне по знакомству). Военную службу якобы отбывал в инженерных войсках в Авиньоне (сказал, что потерял свой воинский билет), а все нужные сведения взял из воинского билета одного рабочего, моего сверстника. Никаких дипломов у меня нет, даже свидетельства об окончании неполной средней школы. Я и в самом деле мог сойти за провинциала, чувствующего себя потерянным в Париже и вынужденного стать рабочим из-за несчастья, случившегося с его родителями. Я кратко отвечал на вопросы с мрачным, тревожным выражением лица. Мой жалкий вид вряд ли отличался от вида парней, пришедших наниматься-

ся вместе со мной. И это не было притворством с моей стороны. Печать судорожных дней, наступивших после мая 68 года, печать летних раздоров и стычек еще лежала на моем лице, уподобляя меня остальным ребятам, чья внешность свидетельствовала о тяжелых условиях жизни. Ясно, что человек не слишком преуспевает, если он пришел клянчить плохо оплачиваемую физическую работу («Мне бы лишь прокормиться, прошу вас») и если он робко отвечает «нет» и «ничего» на вопросы о дипломах, квалификации и о том, что он умеет делать. Я без труда читал в глазах моих соседей по очереди в бюро найма — все они были иностранцами — чувство унижения от этих «нет» и «ничего». У меня тоже вид был достаточно пришибленный, чтобы походить на кандидата в рабочие, не вызывающего никаких подозрений. Наниматель, верно, подумал: «А вот еще один приезжий из деревни. Вид у него обалделый, и это хорошо — неприятностей с ним не будет». И он протянул мне талон для медицинского осмотра. «Следующий!»

Да и какие могут быть осложнения при найме простого рабочего? Измышления интеллигента, привыкшего к длительным переговорам, к хвастливому перечислению научных званий, «профилей специальности»... Так бывает, когда ты что-то представляешь собой, но если ты попросту ничто? В этом случае все проходит быстро: две руки нетрудно оценить. Врач молниеносно осматривает меня вместе с несколькими иностранными рабочими. Два-три физических упражнения, просвечивание, взвешивание. Сразу же попадаешь в заводскую обстановку: «Стать сюда», «Раздеться до пояса!», «Эй, вы там, поскорее!» Врач ставит несколько крестиков на моей учетной карточке. Готово! Годен для работы на заводе Ситроена. «Следующий!»

Начало сентября благоприятствует подысканию работы: «Ситроен» буквально пожирает рабочую силу. Производство идет полным ходом, да и приходится заполнять пустоты, образовавшиеся в августе среди контингента иностранных рабочих: одни остались после отпуска на своей далекой родине, другие приехали слишком поздно и с отчаянием узнали, что уже уволены и заменены другими («Плевать мне на твои россказни о престарелой больной матери. Можешь убираться!»). Такая замена происходит быстро и грубо. Как ни верти, а положение с рабочей силой у «Ситроена» неустойчивое: людей быстро оформляют и столь же быстро увольняют. Средняя продолжительность пребывания рабочего на заводе — один год. «Большая текучесть», утверждают социологи. Словом, рабочие там не задерживаются. Для меня вопрос решен — я попал в партию новичков.

Я пришел в пятницу в бюро найма завода «Ситроен» в предместье Жавель и вышел оттуда с бумагой в руках: зачислен на завод Ситроена в предместье Шуази. «Вы должны явиться к уполномоченному по кадрам в следующий понедельник, в семь утра». И в понедельник в сварочном цехе нескончаемой вереницей тянутся передо мной кузова машин.

■

Мулуд молчит по-прежнему. Я смотрю на то, что он делает. Как будто это не слишком трудно. Между металлическими частями, составляющими изгиб над передним окном кузова, остается щель, хотя они и пригнаны одна к другой. Эту щель Мулуд должен заделать. Он берет в левую руку брусок какого-то блестящего металла, а в правую — паяльную горелку. Вспыхивает пламя. Часть бруска превращается в кучку кашеобразной массы, которую Мулуд тщательно размазывает по стыку с помощью деревянной лопатки, он схватил ее, едва отложив горелку. Щель исчезает. Теперь можно подумать, что металлическая поверхность над оконным проемом состоит из цельного куска. Мулуд прошел два метра вслед за кузовом. Окончив работу, он возвращается на свое обычное место и ждет следующего. Мулуд работает так быстро, что между двумя операциями получается интервал в несколько секунд, но никогда не переходит на участок предыдущего рабочего. Он предпочитает ждать. Подошел новый кузов. Повторяется то же самое: блестящий брусок, пламя горелки, деревянная лопатка, несколько движений влево, вправо, вперед, назад... Работая, Мулуд идет за платформой. Последнее прикосновение лопатки — шва как не бывало. Мулуд возвращается ко мне. Подходит новый кузов. Нет, по-видимому, это не слишком трудно. Почему он не дает мне попробовать?

Конвейер останавливается. Рабочие развертывают бутерброды.

— Перерыв,— говорит мне Мулуд,— сейчас четверть десятого.

Только-то? Мне показалось, что прошло несколько часов в этом сером помещении среди однообразного скольжения корпусов машин и белесых отблесков горелок. Нескончаемое движение металлических кузовов не укладывается в рамки времени. Неужели прошел только час с четвертью?

Мулуд предлагает разделить с ним кусок хлеба, тщательно завернутый в газету.

— Нет, спасибо, я не голоден.

— Ты откуда приехал?

— Я здешний.

— Впервые у Ситроена?

— Да, и вообще это моя первая работа на производстве.

— Вот как! А я из Кабилии. У меня там жена, дети.

Он вынимает из бумажника пожелтевшую семейную фотографию. Я говорю ему, что бывал в Алжире. Мы беседуем об извилистых дорогах Большой Кабилии, о Малой Кабилии, берег которой отвесно спускается к морю возле Колло. Десять минут прошли. Конвейер снова включен. Мулуд хватает горелку и направляется к приближающемуся кузову.

Мы продолжаем разговор в короткие промежутки между двумя кузовами.

— Пока что смотри и учись у меня,— говорит Мулуд.— Видишь, как я паяю. Брусок — это припой. Надо только наловчиться: если переложишь припоя, на кузове получится шишка, а это не годится. Если положишь недостаточно, металл не заполнит щели, это тоже не годится. Смотри, как я это делаю, а после обеда сам попробуешь.— И, помолчав, добавляет: — Еще нахлебаешься горя...

И мы снова говорим о Кабилии, об Алжире, о посадках олив, о плодородной равнине Митиджа, о тракторах, о пахоте и плохих урожаях, а также о деревушке в горах, где осталась семья Мулуда. Он ежемесячно посылает домой триста франков, старается как можно меньше тратить на себя. Последний месяц выдался неудачный: скончался знакомый алжирец, и все его товарищи сложились, чтобы оплатить перевозку тела на родину и послать немного денег вдове. Это пробило брешь в бюджете Мулуда, но он гордится солидарностью алжирцев, и в особенности кабилов.

— Мы по-братски поддерживаем друг друга,— говорит он.

На вид Мулуду лет сорок. У него маленькие усики, седеющие виски, медленная, серьезная речь. Говорит он так же, как и работает,— четко, точно. Ни лишних жестов, ни лишних слов.

Кузова движутся по-прежнему. Мулуд паяет. Горелка, припой, удары лопатки. Горелка, припой, удары лопатки.

Четверть первого. Перерыв 45 минут. Иду в столовку. Когда я возвращаюсь, Мулуд уже на месте. Мне приятно видеть его знакомое лицо в этом грязном, сером помещении, среди тусклых металлических кузовов.

Еще нет часа. Ждем возобновления работы. Неподалеку от нас люди сгрудились вокруг алжирца с азиатскими чертами лица, который сегодня утром «тонул» на моих глазах. «Эй, Садок, давай сюда! Где достал?» Я подхожу. Садок показывает, смеясь, порнографический журнал, кажется, датский. Я нахожу картинки отвратительными, но Садок, видимо, от них в восторге. Он купил журнал у одного из водителей грузовиков, которые перевозят по поручению «Ситроена» листовой металл, моторы, части машин, контейнеры, автомобили и одновременно снабжают рабочих сигарами, сигаретами и другими мелкими товарами.

Мулуд, сразу понявший причину всеобщего оживления, не двинулся с места. Кто-то крикнул ему:

— Эй, Мулуд, погляди-ка на эту задницу, видик что надо!

Даже не повернув головы, он возразил:

— А мне не интересно.

Когда же я подошел к нему, он сказал, понизив голос:

— Нехорошо это. У меня жена, дети в Кабилии. Не то что у Садока. Он не женат, ну и пусть себе забавляется.

Порнографический журнал среди металлической пыли и грязных, серых комбинезонов производит тягостное впечатление! Нечто вроде болезненной мании заключенных. Я рад, что Мулуд держится в стороне.

Грохот листового металла, все расходятся по местам, конвейер снова приходит в движение.

— Ну, а теперь сам попробуй!— говорит мне Мулуд.— Ты видел, что надо делать.— И он протягивает мне горелку и брусок припоя.— Да нет, не так, не так! И надень перчатки, не то обожжешься! Эй, поосторожнее с горелкой! Ступай за платформой!..

Я погею уже над десятым кузовом. Как ни старается Мулуд помочь мне — предупреждает, указывает, сует в руку припой, держит мою горелку,— у меня ничего не получается.

Сперва у меня расплавился весь припой, так как я слишком близко поднес к нему горелку. Он разлился по поверхности кузова, и Мулуду ничего не осталось, как соскоблить металл и срочно переделать шов, так как кузов машины был уже на границе следующего участка. Затем я положил слишком мало припоя, и первое же движение лопаточки обнажило щель, которую надо было заделать. А если по счастливой случайности мне удается расплавить нужное количество, я так неловко размазываю припой (проклятая лопатка никак не желает повиноваться), что шов уподобляется «русским горам», и там, где у Мулуда получалась ровная кривая, у меня она идет то вверх, то вниз.

Я все время забываю о последовательности операций. Прежде чем взять горелку, надо надеть перчатки, снять их, когда берешь лопатку. Не дотрагиваться

до раскаленного припоя голой рукой, держать припой в левой руке, горелку в правой руке, лопатку тоже в правой, а сняв перчатки, переложить их в левую руку вместе с припоем. Все казалось просто, когда это делал Мулуд, работая организованно, четко, последовательно. А вот у меня ничего не получается, и я начинаю паниковать. Десять раз я чуть было не обжегся, и спас меня Мулуд, быстро отстранив горелку.

Все мои швы приходится переделывать. Мулуд отбирает у меня инструменты и едва успевает нагнать платформу в трех метрах от нашего рабочего места. Я весь в поту, Мулуд тоже начинает уставать: темп его работы нарушен. Он не раздражается, продолжает выполнять двойную работу — руководит мной и переделывает все, что я делаю,— но мы понемногу начинаем «тонуть». Нас неудержимо сносит к следующему рабочему месту, мы приступаем к новому кузову с разрывом сперва в один метр, потом в два и заканчиваем его, точнее, Мулуд заканчивает его уже с разрывом в три-четыре метра, до предела натянув шнур горелки и работая на участке соседа. Чем больше я спешу, тем больше делаю промахов: разбрызгивая припой, роняю лопатку, оборачиваюсь к Мулуду, грозя обжечь его пламенем горелки.

— Да нет, не так, гляди, учись у меня!

Ничего не могу с собой поделать. Пальцы меня не слушаются, моя неуклюжесть неизлечима. Я выдыхаюсь, дрожу, слишком сильно сжимаю лопатку, пот застилает мне глаза. Мне кажется, что конвейер несется с бешеной скоростью, а вернуть его вспять невозможно. Мулуду все труднее и труднее нагонять опоздание.

— Полно, не теряй головы. Отдохни немного и поучись у меня!

Мулуд отбирает у меня инструменты и вновь обретает свойственный ему равномерный ритм, но работает теперь быстрее, чтобы наверстать упущенное, сэкономив несколько сантиметров на каждом кузове. После десятого кузова он возвращается на свое место. Я перевожу дух и смотрю на то, как он работает. Как естественны его движения! Чем его руки отличаются от моих? Почему у него все так складно выходит? Почему я так не могу? Подходит новый кузов: припой, горелка, движение-другое лопаткой, и выгиб над окном готов, шов абсолютно гладкий, щели как не бывало. Почему он умеет работать, а я не умею?

Четверть четвертого — короткий перерыв. Мулуд жертвует им ради меня. Остальные рабочие разминаются, собираются кучками, болтают, ходят взад и вперед, садятся на что попало или прислоняются к неподвижным кузовам. Мулуд снова принимается за свои объяснения. Кузов перед ним стоит на месте, и это облегчает дело.

— Гляди, вот на каком расстоянии надо держать горелку. А вот как брать лопатку. Взяв ее, упираешься в рукоятку большим пальцем, чтобы легче было разровнять припой. В середине нажимаешь на припой слегка, чтобы не сдвинуть его с места, а потом все сильнее и сильнее, стараясь, чтобы толщина слоя сходила на нет. Сперва ведешь лопаткой налево, затем направо и наконец вверх и вниз.

Мулуд повторяет все это медленно четыре-пять раз подряд. Теперь мой черед. Он направляет мою руку, вкладывает в нее ручку лопатки.

— Вот так, смотри. Ладно, может, справишься.

Умом-то я все понимаю, но будут ли слушаться руки?

Конец перерыва. Грохот конвейера. Приближается новый кузов, приближается медленно, грозно. Сейчас всю операцию придется повторить, но теперь уже взаправду. Скорее взять горелку, да нет, совсем забыл, прежде всего перчатки. Где же припой? Черт возьми, как быстро движется платформа, она уже на середине нашего участка. Включаю горелку. Дьявольщина! Опять переложил припоя, надо снять часть его лопаткой. Наляпал припоя повсюду... Мулуд берет у меня инструменты. Еще одна проба... Нет, не ладится. Я в отчаянии и, видно, так сокрушенно взглянул на Мулуда, что он сказал:

— Не расстраивайся, спервоначала всегда бывает трудно. Отдохни. Дай я поработаю.

Я снова стою в стороне и беспомощно смотрю на конвейер, который отверг меня. Однако движется он как будто медленно...

Мулуд отказывается отдать мне инструменты.

— Завтра дело у тебя пойдет лучше, не огорчайся.

Мы говорим о начале его собственной работы на этом месте много лет тому назад. Он довольно быстро приобрел сноровку, но первое время и ему было нелегко... Теперь он уже опытный рабочий и делает пайку механически.

Кстати, мне говорили, что пайка — это профессия. Какой же разряд у Мулуда? Я спрашиваю его об этом.

— Р2,— отвечает он лаконически.

Разнорабочий 2-го разряда? Я недоумеваю. Мулуд всего-навсего разнорабочий?! Однако паять не так уж просто. А ведь меня зачислили операционником (О2 — значится в контракте), хотя я ничего не умею делать. Это не бог весть что, но все же выше разнорабочего. Мулуду явно не хочется говорить на эту

тему. Я не настаиваю. Справлюсь при случае, в чем тут дело. Несколько дней спустя мне разъяснили это. На заводе существуют шесть разрядов неквалифицированных рабочих:— три разряда разнорабочих (Р1, Р2, Р3) и три разряда операционников (О1, О2, О3). А принцип присвоения того или иного разряда — попросту расистский. Негры находятся в самом низу этой иерархической лестницы (Р1). Арабы принадлежат к категориям Р2 и Р3. Испанцы, португальцы и прочие иностранные рабочие с белой кожей получают, как правило, О1. Французы сразу же получают разряд О2. А операционниками 3-го, высшего, разряда (О3) люди становятся по усмотрению начальства. Вот почему я операционник, тогда как Мулуд всего-навсего разнорабочий. Вот почему я получаю в час на несколько сантимов больше, чем он, хотя и не способен выполнять его работу. И чего стоят после этого все рассуждения о статистических данных и глубокомысленные выводы из «сетки зарплаты», по выражению специалистов?

Так-то. Мулуд только что закончил свой сорок восьмой кузов, последний за этот день. Без четверти шесть. Конвейер останавливается. Шум затихает.

— Привет,— говорит Мулуд,— до завтра... Не тужи, завтра дело пойдет лучше.

Он спешит в раздевалку. Я на минуту задерживаюсь в цеху, который быстро пустеет. В голове у меня шумит, ноги дрожат. Когда я выхожу на лестницу, никого уже нет. Свет погас, кузова машин, темные неподвижные глыбы, ожидают начала следующего рабочего дня.

Я возвращаюсь домой измученный, в тревоге. Почему у меня болит все тело? Почему болят ноги, поясница, плечо? Ведь паяльная горелка и лопатка не так уж тяжелы... Очевидно, дело в повторении одних и тех же движений, в усилии преодолеть собственную безрукость, а также в том, что все десять часов я пробыл на ногах. Ну, а как же остальные? Неужто и они так же измотаны?

Я думаю о неприспособленности интеллигента к физическому труду. Глупости. Вопрос заключается не только в физической силе. Первый день на заводе пугает решительно всех. Многие рабочие вспоминают о нем с чувством, близким к ужасу. Чей ум, чье тело может примириться без сопротивления с противоестественным, выматывающим все силы темпом конвейера? Его губительное действие испытывают на себе рабочие и крестьяне, люди умственного и физического труда, иностранцы и французы. Нередко поступивший на завод рабочий берет расчет в тот же день, сведенный с ума шумом, вспышками пламени, чудовищной уплотненностью времени, однообразием бесконечно повторяемых движений, деспотичностью и грубостью начальников и мрачной, леденящей кровь тюремной обстановкой в цеху. Проработать здесь месяцы, годы? Возможно ли? Нет, уж лучше бежать, лучше нищета, лучше шаткое положение мелкого ремесленника, только не это!

Ну, а я, интеллигент, сумею ли я выстоять? Что случится со мной завтра, если я не справлюсь с пайкой? Меня выставят за дверь? Какая нелепица! Полтора дня работы... и увольнение за непригодностью! Ну, а как же другие, те, у кого нет ни дипломов, ни физической силы, ни сноровки? Как они изворачиваются, чтобы заработать себе на жизнь?

Ночь. Никак не могу уснуть. Стоит мне закрыть глаза, и передо мной возникает зловещая процессия серых машин 2 CV. Я вижу порнографический журнал Садока среди бутербродов, металла и бидонов с маслом. Все вокруг безобразно. А эти кузова, эта нескончаемая вереница кузовов... Звонит будильник. Уже шесть утра. Я чувствую себя разбитым и таким же усталым, как вчера. Ночь не принесла мне отдыха.

■

Я напрасно тревожился. Никто не думает меня увольнять. «Ситроен» сумеет приспособить мои две руки, цена которым четыре франка в час, даже если они и не слишком ловки. Не пригоден для пайки? Неважно, имеется множество других работ! Сколько гаек еще надо завернуть, сколько тяжестей перенести! Будь я негром или арабом, я не получил бы права на повторное испытание — мне сунули бы в руки метлу или заставили бы толкать перегруженную тележку. Но я француз. И при всей своей неловкости достоин лучшей участи, чем участь метельщика.

В семь утра, когда конвейер был пущен в ход, Мулуд снова подверг меня испытанию. В половине восьмого он окончательно отказался от меня.

— Не переживай, вот увидишь, они подберут тебе что-нибудь другое. И, возможно, ты выиграешь на этом. Знаешь, здесь плохо работать. Припой — вредная штука. У меня ежемесячно берут на исследование кровь. Моего предшественника сняли с этого места, потому что он почувствовал себя плохо. У него не нашли профессионального заболевания, конечно не нашли. Его попросту перевели в другой цех. Они ни за что не признают у рабочего профессиональной

болезни, вызванной припоем. Но тогда к чему все эти исследования?.. А меня переведут на другое место, лишь когда из горла у меня полезут металлические опилки. Не тужи, ты немного потеряешь...

Небольшой столик рядом с конвейером. На конвейере движутся двери машин, которым рабочие придают окончательный вид (вставляют стекла, замки, ручки, хромированные детали...). На столике — груда стекол. При приближении двери рабочий берет одно из них и тотчас же вставляет его. Моя работа состоит в том, чтобы подготовлять стекла, иначе говоря, окантовывать их. Столик неподвижен, но темп работы на нем зависит, понятно, от скорости движения конвейера. Я пользуюсь пудрой, похожей на тальк (она нужна для того, чтобы резина не скользила в руках), и деревянным молотком. Резина должна точно прийтись по стеклу, иначе в одних местах образуются складки, в других она чересчур натянется или отстанет на изгибах, и все придется начинать сначала. Рыжий наладчик, похожий на ирландского капитана, берет два стекла, показывает мне, что надо делать, спрашивает, понял ли я («Да, понял»), и ворчливо доводит до моего сведения, что работа эта сдельная и норма моей выработки не ниже трехсот двадцати стекол в день. После чего он удаляется, не торопясь, словно на прогулке. Он даже не взглянул, как я взялся за свое первое стекло.

Сразу же испытываю неприятное ощущение от прикосновения к порошку и к резине и от их тошнотворного запаха. Подсчитываю в уме: триста двадцать стекол в день, иными словами — тридцать два стекла в час или немногим меньше двух в минуту. Сколько же раз в месяц придется мне проделывать эту мелкую работу, которой так и не будет конца? Полно! Для размышлений времени нет. Надо торопиться: запас подготовленных стекол тает на глазах, и рабочий, только что взявший одно из них, бросает на меня беспокойные взгляды. Начинаю.

По прошествии получаса я прихожу к убеждению, что мое будущее столь же безрадостно в окантовке стекол, как и в паяльном деле. Я и не предполагал, сколько неприятностей может доставить полоса резины, стекло или белый порошок, которым я ухитрился испачкать решительно все — стол, стекла, собственную куртку и лицо. Из трех стекол я порчу два и за полчаса сделал только шесть штук вместо шестнадцати. А между тем их запас почти исчерпан. Озадаченный, растерянный, я вытираю свой потный лоб, но тут приходит неожиданная помощь.

Высокий малый — стиль плейбоя, джинсы и свитер с воротником под подбородок,— который работал посвистывая у конвейера, в нескольких метрах от моего стола, бросает свое место и, ни слова не говоря, принимается окантовывать мои стекла. За каких-нибудь десять минут он сделал их не то шесть, не то семь.

Четверть девятого — утренний перерыв. Я благодарю своего помощника.

— Пустяки, пустяки,— отвечает он.

Выражаю удивление: как он мог отойти от конвейера на десять минут? Он смеется.

— Но ведь там оставались Павел и Степан!

И пускается в объяснения. Трое югославов, и он в том числе, занимают три соседних места и обеспечивают установку всех дверных замков — канительная работа с кучей маленьких винтиков, которые надо завинтить по углам. Но ребята так наловчились и так быстро справляются с делом, что двое работают за троих. Вот почему каждый из них может попеременно отдохнуть, спокойно выкурить сигарету в уборной или поболтать с девушками — сборщицами сидений. Благодаря этой системе Жоржу (так зовут моего нового приятеля) удалось помочь мне. Начальник закрывает глаза на эту маленькую хитрость трех югославов, на их бригаду дружеской взаимопомощи, ибо на этом конвейере, прозванном «дверной каруселью», не бывает неполадок. Конечно, администрацию не раз соблазняла мысль сократить здесь на одну треть число рабочих мест, поскольку югославы доказали, что это возможно. Но достаточно взглянуть на них во время работы, чтобы убедиться — никто другой не выдержит такого темпа. Можно подумать, что видишь перед собой фокусников.

Жорж — и я не замедлил в этом убедиться — пользуется особым положением главаря не только у своих двух товарищей, но и в заводском коллективе югославов, а коллектив этот довольно многочисленный. «Ситроен» распределяет рабочих по национальностям: в Шуази — югославы, в Жавеле — турки... Он сосредоточивает в одном месте крупные национальные коллективы, чтобы легче было охватить людей, наблюдать, шпионить за ними. Для этого существуют переводчики—ищейки начальства, неусыпная слежка на заводе и в общежитии, проникновение в среду рабочих при пособничестве администрации, грозной политической полиции, испанских и марокканских шпиков, осведомителей из португальской ПИДЕ. Турки приезжают в Жавель целыми деревнями, свято блюдя свою феодальную иерархию. Феодализм? Ну что ж, он вполне устраивает Ситроена! В одно прекрасное утро глава деревни прибывает на завод с группой из двадцати — двадцати пяти человек. Портфель и тот несут за ним добровольные по-

мощники. За весь день он ни разу не притронется ни к одному инструменту. Как и многие другие, он числится операционником, но это лишь на бумаге, ибо с благословения Ситроена его обязанности сводятся к слежке за односельчанами. А те еще выплачивают ему известный процент своей зарплаты!

Какой здесь ошеломляющий круговорот наций, культур, общественных формаций, разгромленных, распавшихся, наполовину уничтоженных! Нищета и всемирное распространение капитализма бросают людей, обломки этих формаций, в разветвленные каналы — уловители рабочей силы. Турки, югославы, алжирцы, марокканцы, испанцы, португальцы, сенегальцы — товарищи мои, я узнал лишь отдельные странички вашей биографии! Но кто поведает нам всю вашу историю, кто расскажет о долгом пути, который вы проделали перед тем, как стать операционниками или разнорабочими, о вампирах-вербовщиках, этих прислужниках международных монополий, проникающих в самые отдаленные деревушки, дабы наживаться на вашей нищете, о бюрократах и мелких дельцах, продающих всевозможные свидетельства, о спекулянтах и перевозчиках, о торговцах рабами и наркотиками, о перегруженных судах и тряских грузовиках, о горных перевалах, которые вам пришлось преодолеть, и о щемящем душу страхе при переходе границ?

Навербовав, отторгнув от родной почвы, от семейных очагов, Ситроен объединяет вас, чтобы легче было следить за вами. Иной раз слежка приносит ему пользу. Но тот факт, что вы сохраняете свою национальную общность, помогает вам выстоять, выжить во враждебном окружении. Некоторые иностранные рабочие пользуются среди своих соотечественников властью, которая не только не дублирует многоликую власть патрона, но, напротив, противостоит ей и уравновешивает ее. Это либо естественный авторитет сильной личности, внушающей уважение даже администрации, либо влияние крохотной ячейки культурного сопротивления (велико значение для коллектива некоего «общественного писаря», который после десятичасового рабочего дня у конвейера еще находит в себе силы писать в общежитии письма по просьбе своих неграмотных товарищей), либо наследие отгремевших боев (после алжирского ФНО сохранились кое-какие традиции). Впрочем, я так никогда и не узнал, почему Жорж считается важным лицом у югославов. Сам он скромно подчеркивает это — курит английские сигареты, говорит свободно, непринужденно, передвигается среди автокаров, контейнеров и кузовов машин с таким видом, словно прохаживается по гостиной среди собравшихся группами гостей. Своим изяществом он как бы бросает вызов заводской машине «Ситроена» и отупляющей работе у конвейера. Улыбаясь, он дает мне несколько советов относительно более рационального использования лежащих передо мной резиновых полос и стекол.

Конец перерыва. Ободряюще подмигнув мне, Жорж возвращается на свое место. Снова принимаюсь за работу. Дело идет ничуть не лучше. Часов в девять возвращается наладчик — «ирландский капитан». Бросает презрительный взгляд на мой жалкий запас стекол. Смотрит, как я сражаюсь с непокорной резиной. «Да не так же, не так»... Переделывает три стекла. Смотрит, как я берусь за следующее стекло и тут же порчу его. Пожимает плечами, поднимая глаза к небу, и удаляется с безмерно скучающим видом. В десять часов у меня в запасе всего одно стекло, и Жорж снова приходит мне на помощь в ту самую минуту, когда снабжение стеклами конвейера грозит прерваться по моей вине. Теперь у меня уже десять стекол. С теми, которые мне удастся сделать, я спасен... на один час. А потом? Не могу же я перепробовать все имеющиеся на заводе работы! Меня снова охватывает отчаяние. Ясно, что на этот раз я буду уволен. Какая нелепость, право! Меня обуревают мрачные мысли о несостоятельности интеллигенции, о гегелевской диалектике в применении к хозяину и рабу, об отмирании физических навыков у той части человеческого рода, которая добровольно приковала себя к письменному столу... Всюду рассыпан тальк, стекла выскальзывают из рук, на полу валяются грязные полосы резины...

В своих передвижениях по цеху рыжий наладчик — ирландский капитан — раза два заходит в мои воды и молча, с явным осуждением делает мне в назидание три-четыре стекла. Несколько раз подходит Жорж и в последнюю минуту пополняет исчерпанный запас стекол. Без явного провала, хотя и измученный темпом «дверной карусели», я дотягиваю до полудня — времени обеденного перерыва в 85-м. Небольшая передышка, но у меня нет иллюзий: с этой работой я тоже не справлюсь.

Столовая.

Без четверти час — возобновление работы.

Уже несколько секунд я бьюсь над своим первым послеобеденным стеклом, когда снова возникает рыжий наладчик в сопровождении бригадира Дюпре. Они прекрасно дополняют друг друга: у первого такой вид, будто ему все осточертело, у второго такой вид, будто он постоянно озабочен, болеет за вверенное ему дело.

— Он не справляется,— говорит наладчик начальнику.

— Поставьте его на сборку сидений, ведь Фернандес до сих пор не вернулся,— говорит начальник наладчику.

Приказ приводится в исполнение.

— Брось это и ступай за мной.

Я без сожаления оставляю деревянный молоток, тальк, стекла и полосы черной резины. Выходим из цеха. За каждым поворотом открываются новые закоулки, новые средоточия рабочих. Неподвижные рабочие места, рабочие места у конвейера. Перехваченные мимоходом взгляды. Скука. усталость. Немой вопрос. Беспокойство. Взгляды возбужденные. Взгляды потухшие. Взбудораженное лицо негра. Усталое женское лицо. Вереницы сверкающих машин — красных, синих, зеленых.

Приходим на место.

Трое человек — одна женщина и двое мужчин — стоят каждый у своей стойки. Они делают передние сиденья для машин 2 CV. На стойку кладут металлический каркас сиденья, иначе говоря, скелет кресла (это обыкновенный металлический изогнутый прут, серый или бежевый, с просверленными в нем отверстиями) и с помощью маленьких резиновых кружков прикрепляют к нему два прямоугольных куска обивочной ткани. Каждый кружок снабжен двумя симметрично расположенными крючками. Вставив один крючок в отверстие каркаса, растягивают резину и втыкают другой в обивочную ткань (при этом надо с силой нажать на крючок, чтобы прорвать крепкую материю). Когда все резиновые кружки поставлены на место, получается мягкое сиденье со спинкой. Рядом с тремя занятыми стойками имеется одна свободная: она предназначена мне. Эта работа тоже сдельная. За день надо заготовить по меньшей мере семьдесят пять сидений, а так как нас четверо, это соответствует ежедневной выработке в триста передних кресел для оснащения ста пятидесяти машин. Правда, иной раз продукция завода бывает еще выше, но, по расчету администрации, ничтожная прогрессивка, которую мы получаем, должна содействовать не только устранению этого разрыва, но и значительному перевыполнению нормы. Чтобы изготовить автомобильное сиденье, надо воткнуть в обивочную ткань пятьдесят крючков, иными словами, пятьдесят раз нажать на них своими большими пальцами. А для выполнения дневной нормы придется повторить это движение три тысячи семьсот пятьдесят раз. Я задумчиво смотрю на покрытые лейкопластырями и бинтами большие пальцы трех моих товарищей, которые работают со скоростью машин.

— Ну как, понял? — Наладчик выводит меня из задумчивости.— Ладно, в таком случае начинай. Времени у тебя в обрез.

Я кладу каркас на стойку, беру кусок ткани и два резиновых кружка. Нажимаю раз, другой...

В конце рабочего дня у меня оказалось двадцать пять сидений, и бригадир Дюпре нашел, что это обнадеживающий результат для новичка, ведь я начал работать только после обеда. В самом деле, два дня спустя я добился требуемой производительности в семьдесят пять сидений. Вероятно, на этом месте, третьем по счету, я удержусь.

■

После первого дня работы я пришел домой с распухшими и кровоточащими пальцами. На следующее утро я обернул их, по примеру своих товарищей, толстыми повязками, верхний слой которых вскоре уподобился корпии. И все же они довольно надежно защищают кожу, вызывая вместе с тем неприятное ощущение как своим неэстетичным видом, так и запахом лейкопластыря, который смешивается с вонью резины, к тому же весьма противной на ощупь. Как ни крути, а за день приходится три тысячи семьсот пятьдесят раз нажать пальцами на крючки! Это вызывает прилив крови к рукам, и вечером, по окончании работы, я чувствую такую тяжесть в своих набрякших руках, что требуется по меньшей мере час, чтобы привести их в нормальное состояние. Впрочем, дома я тщательно оберегаю свои большие пальцы и беру предметы с огромной осторожностью. Раздражающее действие резины и рваных бинтов не дает мне покоя, притупляет всякое восприятие и вызывает тошноту во время еды. Мы не говорим об этом на работе, но и мои товарищи испытывают то же самое. Мы чихаем чаще обычного. Я замечаю красноту на своем теле — явное начало аллергии. Как быть? Я притерпелся и перестал обращать внимание на все это. Но тягостное впечатление оставалось, его ничем нельзя было заглушить.

Я постепенно открывал неведомую мне доселе сторону заводской жизни: постоянную опасность, которая таится для человека в неодушевленных предметах, неприятное, раздражающее, вредное действие на него различных материалов: острых ржавых листов металла, грязного железа, резины, мазута, предметов, покрытых смазкой, досок, от которых остаются занозы, химических продуктов, вызывающих воспаление кожи, обжигающих бронхи. Ко всему этому при-

выкаешь, но полного иммунитета приобрести нельзя. И, конечно, существует множество еще не опознанных форм аллергии. Вечером мы изо всех сил стараемся избавиться от накопленной за день грязи. Иные прибегают к кислоте, к детергентам, трут ими кожу и только осложняют свою болезнь. Это делается иной раз прямо в цеху, после остановки конвейера, под безразличным взглядом начальства: «Пусть сдирают с себя шкуру! На здоровье! Ситроена от этого не убудет, другое дело, если им вздумается испортить кузов автомобиля!» А все те опасные вещества, действие которых еще не изучено! Припой доконает в конце концов легкие Мулуда, но никто этого так и не признает! Хронические бронхиты, постоянные насморки, приступы астмы, затрудненное, хриплое дыхание — все это приписывается табаку. «Вы слишком много курите»,— заявляет, не моргнув глазом, заводской врач. А на нашем конвейере и на связанных с ним рабочих местах никто не застрахован от кожных болезней. У рабочих появляются трещины, язвы. Они чешутся, трут больные места. По сравнению со всем этим аллергия, начавшаяся у меня из-за работы с резиной,— сущий пустяк.

Время идет...

Дни становятся короче, и завод, как огромный корабль, сведенный к своему машинному отделению, медленно вплывает в зиму. По вечерам мы уходим с работы в темноте, утром приходим на работу в темноте. Мы живем при электрическом свете, и надо дождаться субботы, чтобы увидеть белый день.

Ноябрь. Скоро три месяца, как я изготовляю сиденья. «Ситроен» сократил рабочий день до девяти часов с четвертью. В нашем цехе, как и во всех остальных, администрация воспользовалась этим, чтобы несколько ускорить темп. Теперь мы делаем семьдесят сидений, всего на пять сидений меньше, тогда как рабочий день сокращен на сорок пять минут! Кристиан негодует. Он даже поругался с Дюпре. Кончать работу на три четверти часа раньше, конечно, приятно, но администрации, видно, захотелось отыграться, заставив нас работать еще интенсивнее.

■

Серый, холодный день. С самого утра я чувствую себя усталым. Нажимаю большими пальцами на крючки — резиновый кружок вставлен, опять нажимаю, потом еще и еще раз... Сиденье готово. Кладу на стойку новый каркас. Нажимаю на следующий кружок. Бросаю взгляд на нашу «скоростницу»: она словно с цепи сорвалась — принимается за четвертое сиденье, и это через двадцать минут после начала работы! Как быстро снуют ее руки! Смотрю на ее забинтованные большие пальцы: раз, два, три. От этого зрелища у меня начинает кружиться голова. Помещение вращается перед моими глазами, подгоняемое ее не знающими усталости руками. Женщина ничего не видит вокруг, ее взор устремлен на каркас сиденья. Руки мои отяжелели, большие пальцы болят. Как удается этой женщине-машине выдерживать такой темп? Пытаюсь подражать ей. Второе сиденье готово. Беру новый каркас, новые кружки. Она уже делает пятое кресло. Пятое или шестое?

От запаха резины у меня поднимается тошнота. Как эта неутомимая женщина выдерживает такое напряжение? Как выдерживают его те, кто работает на главном конвейере? Сварка, сверление, удары молотка. Мотор установлен. С конвейера сходит еще одна машина, потом вторая... И как не отвалятся руки у того малийца, который только что завернул на блоке двигателя шестидесятую гайку? Опять берусь за работу. Дрели будто сверлят у меня в голове. Я читал где-то, что в Гонконге молоденькие работницы начинают слепнуть с пятнадцати лет, испортив себе зрение на сборке транзисторов, которые продаются у нас за гроши. Куда идут все эти транзисторы? Куда идут все эти автомобили? Машины, сиденья, вещи полезные, вещи бесполезные... Все качается у меня перед глазами, качаются без конца выпускаемые предметы, которые губят Степана, Павла, Садока, Мулуда, Кристиана, «скоростницу», мою соседку, и молоденьких работниц из Гонконга, впрочем, я их не знаю...

— Эй, очнись, старик! Тебе плохо? Ты весь побелел.— Кристиан стоит передо мной и трясет меня за плечо. Лицо у него худое, угловатое.— Послушай! — Во взгляде его беспокойство.— Не стой ты столбом, не то хлопнешься в обморок! Ступай скорей в амбулаторию. Нет, погоди...

Приходит вызванный Кристианом Дюпре в расстегнутом, безукоризненно отутюженном синем халате и бросает на меня сквозь очки оценивающий взгляд. Он как бы назло нам выставляет напоказ свою немыслимую опрятность...

— Что случилось?

— Он заболел,— говорит Кристиан,— надо отправить его в амбулаторию. Он чуть было не свалился на пол.

Дюпре что-то ворчит себе под нос, колеблется. Замечает, что я сильно отстал. Это ему не по вкусу. Еще есть небольшой запас сидений, но он на исходе. Если не выправить положения, хлопот не оберешься. Дюпре обеспокоен. Впро-

чем, если парень действительно заболел, его надо заменить таким рабочим, который нагонит отставание, тогда все придет в норму. Наконец он решается:

— Ладно, я дам тебе направление.

Я получаю нужную бумажку и ретируюсь, послав слабую улыбку Кристиану, который уже принялся за работу. Для меня работа кончена, по крайней мере на сегодня. Мои ничем не занятые руки безмерно счастливы, и кровь постепенно отливает от натруженных больших пальцев. Я выхожу из цеха, постепенно слабеет запах главного конвейера, шум затихает. Радость, ликование! Наконец-то можно ничего не делать! Первые минуты свободы опьяняют.

Амбулатория.

— Что с этим парнем? — небрежно бросает врач.

Заводского врача ненавидят все рабочие и зовут его «ветеринаром».

— Он может мертвому дать аспирин,— сказал мне Садок, когда по прошествии четверти часа его вернули из амбулатории в сварочный цех. Бедняга пришел бледный, осунувшийся. Он жаловался на боли в животе и, схватив горелку, изрек:

— Заводской доктор — подонок!

Гравье, шлявшийся поблизости, услышал эти слова.

— Ты что, не доволен? Никто тебя здесь не держит.

— Ладно, начальник, все в порядке. Я ничего не говорил...

Всем здешним рабочим известно, что ситроеновские врачи получают премии, размер которых тем выше, чем меньше больных они освобождают от работы. Поэтому им выгодно отсылать людей обратно в цех.

В бело-серой амбулатории пахнет лекарствами, болезнью и производством. Даже здесь я ощущаю — а быть может, мне кажется — неистребимый запах металла и резины. Я бормочу, что внезапно почувствовал себя плохо. Врач — жирный боров в белом халате (он заслуженный холуй фирмы) — поворачивает голову к медицинской сестре и велит дать мне свое излюбленное лекарство:

— Ну что ж, дайте ему аспирина и отошлите обратно в цех.

Но у меня, видно, такой жалкий вид, что сестра не сразу выполняет приказ.

— Доктор,— говорит она нерешительно,— у него как будто жар. Может, поставить ему градусник?

Ученый муж пожимает плечами и переносит свое внимание на алжирца с окровавленной рукой, который только что робко вошел в амбулаторию.

— И как этот растяпа ухитрился поранить себе руку?

Рабочий пытается что-то объяснить, путается, ибо плохо говорит по-французски, и принимает сокрушенный вид, как бы желая сказать: «Право же, я очень сожалею, что обеспокоил вас».

Я возвращаю градусник. Температура у меня сорок.

— Хорошо,— нехотя соглашается врач,— отошлите парня домой на санитарной машине. Даю ему освобождение на три дня.

Пока выправляют нужные бумаги, мысли мои перескакивают с предмета на предмет. Жалкая амбулатория, запах дезинфекции, алжирский товарищ — его вернули на работу с забинтованной рукой, звонит телефон — отравление бензолом в цехе окраски, врач спорит, раздражается... на кого? Жалоба со стороны профсоюза? Уж эта мне продажная заводская медицина! Вспоминаю о запахе резины, и меня снова начинает тошнить... Кружится голова. Выхожу из амбулатории Смотрю как бы сквозь туман на водителя машины. «Теперь ты отдохнешь»,— говорит он. Мелькают улицы. Я дома, в постели. Жадно принимаюсь мечтать о шелке, о душистом женском теле. Забыть бы все, что осталось позади,— пыль, резину, металл, серость, грохот! Мне грезится загорелое женское тело, я отдаюсь во власть лихорадке, погружаюсь в фантасмагорию солнца и моря, во что-то горячее и страстно желаю иной жизни, задыхаясь среди мокрых от пота простынь.

■

Как быстро прошли эти три дня! Я преодолел грипп и усталость, вытерпел одно или два посещения и провел долгие беспокойные ночи, населенные знакомыми лицами и автомобилями, пропитанные отвратительным запахом резины...

И вот, миновав табельную и пройдя через холодный двор среди по-утреннему зябких фигур в блейзерах, куртках, пальто, я снова явился на завод.

— А, вот и ты, привет! Привет!

Без пяти семь. В цехе еще тихо, но тишина эта таит в себе угрозу, предвещая грохот конвейеров. Все готово — кузова, конвейер... Машины как бы затаили дыхание перед бурей, которая разразится в семь часов. Рабочие занимают свои места, осматривают инструменты, заготовленные накануне кучки болтов, винтов, резины и пятьдесят квадратных сантиметров своих владений. Иные кладут в укромное место завернутый в газету завтрак, другие (немолодые французы) — солдатский котелок, который заботливая супруга до отказа наполнила

тушеным мясом с морковью. Сидя или прислонясь к стене, рабочие сосредоточенно молчат, чтобы лучше насладиться двумя-тремя минутами безделья, которые тают, улетучиваются... Как хотелось бы удержать, растянуть эти промежутки ничем не занятого времени, особенно когда неотвратимо приближается пуск грохочущего конвейера!

Я подхожу к своему рабочему месту. Что это? Оно занято?! Рабочий, заменивший меня на три дня, уже здесь и готовит резиновые кружки. Он алжирец. Его большие пальцы забинтованы.

— Здравствуй, тебя поставили на сиденья?

— Да, меня прислали сюда. Это ты здесь работал?

— Да.

Он улыбается мне, пожимает плечами. Мы — мелкие сошки, мы ничего не умеем и вместе с тем все можем делать. Операционника легко заменить за какие-нибудь четверть часа. Оставят ли алжирца Мектуба здесь или переведут в другое место? Выгадает ли он от этого или прогадает? Увидим. А пока что он готовит резиновые кружки. Семь часов. Грохот. Конвейер пущен в ход. Мектуб принимается за работу.

Я стою в стороне и жду. Недолго. Дюпре приближается быстрым шагом, опустив голову, верный своему излюбленному стилю начальника-обремененного заботами.

— Ступай за мной! — бросает он мне.

Это означает, что меня куда-то переводят. Очевидно, мой заместитель делает больше сидений, чем я, и это устраивает Дюпре.

— Ты будешь разгружать подвески.

И Дюпре пускается в объяснения. Кузова машин прибывают из окраски на главный конвейер оголенные, то есть без дверей, капотов, крыльев, багажников, которые поступают сюда также из окраски по подвесному конвейеру, снабженному специальными крюками («подвесками»). Мое рабочее место находится в конце этого конвейера. В мою обязанность входит снимать с крюков эти детали, проверять, нет ли у них какого-нибудь изъяна окраски (царапины, потеки, «слезы») и класть в соответствующую тележку (одна тележка предназначена для левых крыльев, другая — для правых крыльев, третья — для капотов и т. д.). Бракованные части надлежит помечать мелом и отправлять в ремонт. Каждые несколько минут подсобник подкатывает ко мне пустую тележку и увозит другую, уже нагруженную, в соответствующую часть цеха: двери идут на «карусель», остальные детали — в различные пункты главного конвейера.

— Ну как, понял?

Я утвердительно киваю. Дюпре смотрит несколько минут на то, как я снимаю металлические части всевозможных расцветок, убеждается, что я способен отличить переднюю левую дверь от задней правой и обвести мелом недостаток окраски, и спешит туда, куда его призывают лежащие на нем важные обязанности.

Рабочий, приставленный к тележкам, вскоре подбегает ко мне, несясь вскачь за своей повозкой.

— Здравствуй! Теперь ты здесь работаешь?

Я удивлен: передо мной довольно пожилой француз, а ведь обычно подсобниками бывают иностранцы. У него большой лоб, лысая спереди голова и почти совсем седые волосы. Я нахожу, что он похож на учителя. На нем старый поношенный комбинезон. Стремительно переходя от тележки к тележке, он бросает по сторонам быстрые взгляды. Нет времени поговорить с ним: он уже убежал со своим грузом капотов...

Шум и неразбериха, которые ошеломили меня в первый день моего пребывания на заводе, упорядочились по мере того, как я менял рабочие места, узнавал людей, знакомился с производством. Помещение по-прежнему загромождено контейнерами, все так же стремительно несутся автокары, все так же торчат углы застекленных будок мастера и уполномоченного по кадрам. Но у меня понемногу образовались свои привычки. Я захожу на сборку сидений или на дверную карусель, чтобы поздороваться с югославами; третья ступенька лестницы, которая ведет в цех окраски, стала тем местом, где я обычно закусываю; а в перерыве или в конце рабочего дня Кристиан приходит поболтать со мной. Несколько ориентиров, несколько знакомых лиц — этого достаточно, чтобы освоиться с чуждым мне миром, достаточно, чтобы свыкнуться с медленным, однообразным течением времени и примириться с нескончаемой вереницей одинаковых, ничем не примечательных дней. Во вторник или в среду Дюпре разозлился на малийца, работающего на сборке шасси? Сколько времени прошло с тех пор, как Садок забежал ко мне в послеобеденный перерыв? Неделя или две?

Такая жизнь все больше притупляет чувства, и ты рискуешь погрузиться в оцепенение и с полным равнодушием смотреть на то, как проходят месяцы и даже годы (а почему бы нет?), заполненные теми же словами, теми же движениями и постоянным ожиданием то утреннего завтрака, то обеда в столовой, то

вечернего перерыва и, наконец, пяти часов вечера. Подгоняемый этим бесплодным подсчетом времени, рабочий день все же подходит к концу. Если тебе удалось выдержать потрясение первого дня на заводе, подлинная опасность подстерегает тебя именно на этом пути. Опасность эта — безразличие. Забыть все, даже причину твоего присутствия здесь. Удовлетвориться тем, что тебе чудом удалось выстоять. Привыкнуть. Говорят, человек ко всему привыкает. Раствориться в массе. Научиться смягчать удары и избегать неприятностей, помех. Умерять свою усталость. Искать прибежище в суррогате жизни. Таков соблазн...

Начинаешь слишком много думать о мелочах. Иной раз какой-нибудь пустяк занимает тебя целое утро. Будет ли сегодня в столовой рыба? А может быть, курица под соусом? Никогда до поступления на завод я не воспринимал с такой остротой смысла глагола «экономить». Экономить движения. Экономить слова. Экономить желания. Недаром внутренний голос твердит тебе, что запас жизненных сил человека ограничен. Завод высасывает этот запас, и надо рассчитывать силы, если не хочешь быть выжатым, как лимон. Иной раз решаешь: «Вот что, в обеденный перерыв занесу газету Садоку и потолкую с ним о том, что делается у Гравье». И тут же спохватываешься: «Нет, сегодня я слишком устал. Придется спуститься по одной лестнице, подняться по другой и бегом вернуться обратно... Повидаемся с ним в другой раз или перед уходом. Сейчас у меня нет сил, не могу двинуться с места». Заняты ли такими же расчетами рабочие, которые сидят вокруг меня и смотрят прямо перед собой пустым взглядом? Например: стоит ли подняться на третий этаж и налить себе из автомата стакан лимонада или сходить на другой конец цеха, чтобы потолковать с приятелем и попросить у него сигарету? Люди думают, взвешивают. Экономия! Ситроен измеряет с точностью до одной секунды труд, который он выколачивает из нас. Мы измеряем нашу усталость по каждому лишнему движению.

Я и представить себе не мог прежде, что у меня украдут минуту времени и что эта кража возмутит меня, как самое гнусное мошенничество. Когда неожиданно коварно конвейер бывает включен по истечении лишь девяти минут перерыва, крики поднимаются во всех углах цеха:

— Эй, вы там, еще рано! Осталась одна минута!.. Сволочи!

Слышатся проклятия, резиновые кружки летят на пол, разговоры умолкают, люди торопливо расходятся по местам. И хотя минута у нас украдена, все берутся за работу. Ведь никому не хочется отстать, чувствовать, что начинаешь «тонуть», и мучиться целые полчаса, пока не вернешься на свое обычное место. Однако нам явно недостает этой минуты. Мы жалеем о ней, жалеем о недосказанной мысли, о недоеденном бутерброде. Жалеем о вопросе, который так и остался без ответа. Целая минута! У нас украли минуту! А ее-то нам и не хватало, чтобы как следует отдохнуть. И вот она потеряна навсегда.

Однако их подлости не всегда удаются: слишком много накопилось у нас усталости, слишком много унижений. Они не получат этой минуты, мы не позволим обкрадывать себя. Вместо того чтобы утихнуть, гневные выкрики становятся все громче, цех бурлит. Шум нарастает, и трое-четверо смельчаков бегом направляются к началу конвейера и выключают ток. Конвейер останавливается. Прибегают начальники, ругаются для проформы, потрясают часами. За препирательствами незаметно проходит спорная минута. На этот раз мы ее отвоевали! Конвейер снова включен, на этот раз без всякого возражения с нашей стороны. Мы отстояли наше законное право на десятиминутный перерыв и чувствуем себя отдохнувшими! Одержана небольшая победа. У конвейера даже мелькают улыбки.

Такие стычки взбадривают, и некоторое время ты держишься молодцом. Затем повторение одних и тех же движений снова усыпляет тебя. Тянет с головой уйти в каждодневную рутину, побольше беречь силы, примириться с обволакивающим тебя безразличием, избегать всего, что несет с собой беспокойство и добавочную усталость... Крыло, окрашенное берлинской лазурью, белый капот, задняя левая дверь с царапинами... Помечаю дефект мелом. Не волноваться. Насладиться перерывом. Выкурить сигарету, перебросится несколькими ничего не значащими словами с подсобником, приставленным к тележкам, не пускаться в разговоры. Не утомляться. Возобновление работы. Скоро обед. Крыло... капот... дверь...

Спокойствие, сходное с небытием? Оно недостижимо. Подвесной конвейер — не остров. Внешний мир бурей врывается ко мне.

Человек, перевозящий тележки, заинтриговал меня с первого же дня. Почему француз, и к тому же довольно пожилой, стал подсобником? Странное впечатление производит его учительская физиономия, выступающая из воротника синей потертой куртки, похожей на одежду заключенного. Эдакий живчик, довольно болтливый, постоянно чем-то встревоженный, он говорил со мной о том о сем в короткие промежутки, когда его путешествия по цеху приводили его ко мне, чтобы запастись разными деталями. Он как-то представился мне, сказав, что его зовут Симон.

Однажды утром, во время перерыва, Симон подходит ко мне. Он кажется расстроенным. В начале работы он, вопреки своей привычке, не проронил ни слова, бегая быстрее обычного за тележками. Итак, во время перерыва он с видимым смущением, скороговоркой спрашивает меня:

— Ты не мог бы дать мне взаймы сто франков? Жена у меня заболела — плеврит. А у нас ни гроша. Деньги нужны на лекарства.

У меня были при себе сто франков. Я отдал их ему.

Он явно обрадовался, и мы разговорились. Я спрашиваю, почему он стал подсобником и не может ли он получить у Ситроена какую-нибудь более выгодную работу?

Он медлит с ответом. Затем, растерянно глядя на меня, говорит:

— Видишь ли, они и так на многое закрыли глаза, когда нанимали меня. Мне не на что жаловаться, приходится помалкивать.— Новая пауза. Я молчу, хотя и заинтригован. Он добавляет, понизив голос: — Дело в том... что у меня не все в порядке. У меня судимость.

Судимость у Симона? У этого смирного папаши?

Он рассказывает о себе. Его жена вечно болеет (у нее слабые легкие), расходы на врача, на лекарство... Он не уплатил за квартиру — не было денег. Нагрянул судебный исполнитель... Имущество было описано, а их выселили. Симон с женой оказались на улице. В спешке кое-какие личные вещи (главным образом одежда) остались в помещении. На дворе была зима. Надо было во что бы то ни стало добыть их. Он сломал печати на двери своей квартиры и забрал забытое барахло. За это преступление (взлом помещения) Симона привлекли к суду, который приговорил его условно к трем годам заключения. К трем годам!

С тех пор на Симоне висит эта «судимость», он живет в вечном страхе, довольствуется самой невыгодной работой и ходит по струнке, радуясь уже тому, что хозяева «закрывают глаза».

Право же, ему оказали снисхождение! Ведь в принципе Ситроен требует, чтобы у его рабочих не было судимости. Справку об этом надлежит предъявить через две недели после поступления, еще до окончания испытательного срока. Совершенно очевидно, что для работы у конвейера человеку необходимо представить серьезные гарантии своего добронравия. Не станет же предприятие платить восемьсот франков в месяц за десятичасовой рабочий день какому-нибудь висельнику! Но не подумайте, будто после этого строгого отбора Ситроен считает своих рабочих честными людьми. Нет. Для Ситроена все рабочие потенциальные жулики, правонарушители, которых еще не удалось накрыть с поличным. За нами установлен строгий надзор, и сторожа часто обыскивают нас перед уходом с завода. («Эй, ты там!.. Да, ты! Открой-ка свой портфель...» «Распахни пальто, оно почему-то топорщится!») Унизительные, мелочные, дурацкие обыски! Бутерброды и те тщательно осматриваются. Понятно, это относится только к рабочим. Никто не осматривает машин инженерно-технических работников, которые беспрепятственно ездят по заводу и столь же беспрепятственно выезжают из него. А между тем известно, что они запросто прихватывают с собой коробки передач и не брезгают некоторыми запасными частями. Безнаказанность им обеспечена. Но если какой-нибудь бедолага вздумает вынести с завода отвертку, он тут же будет уволен.

История Симона поразила меня. Этот процесс, этот приговор! Опомниться не могу! А он, видимо, чувствует облегчение после того, как открылся мне. Теперь мы с ним как бы соучастники. Он рассказывает мне кое-что о своей жизни, ежедневно сообщает о состоянии здоровья жены. А как-то, в промежутке между двумя перевозками — дверей и капотов,— внезапно поделился со мной своим горем: у него нет детей, и он боится одиночества, если, к несчастью, лишится жены.

Я тоже рассказываю о себе. Между нами устанавливается нечто вроде доверия. Его признания понемногу открывают мне другого человека, не такого, каким он показался мне вначале. Он лишь для вида сгибает спину: возмущение так и бурлит в нем. Он пытается скрыть это чувство, но оно проявляется подчас в каких-то мальчишеских выходках. Симон рассказывает мне о своем тайном участии в подготовке забастовок, о мелких актах саботажа, о том, как он незаметно вручал рабочим листовки. Он воодушевляется, вспоминая о том, что произошло в мае 1968 года у Ситроена в Шуази, когда рабочие заняли завод, не пустили туда ненавистного уполномоченного по кадрам Жюно, а его чучело повесили над воротами. Симон оставался день и ночь с забастовщиками, оказывал мелкие услуги пикетчикам, помогал укреплять здание и устанавливать ловушки на случай, если нагрянут республиканские отряды безопасности. Он все же старался, чтобы с улицы его не было видно, и действовал «под шумок». («Я не должен привлекать к себе внимание, понимаешь?»)

Стоя между своими тележками, он вслух мечтает о революции, и глаза его блестят. Но как только появляется кто-нибудь из начальства, он тут же втяги-

вает голову в плечи, надевает на лицо маску усердного работяги и поспешно везет свои капоты или крылья в противоположный конец цеха...

Кузова, крылья, двери, капоты! Все они гладкие, блестящие, многоцветные. Мы, рабочие, бесцветны, грязны, помяты. Яркие краски вобрала в себя машина — для нас ничего не осталось. В процессе производства она начинает сверкать всеми своими красками. Она неторопливо проходит разные стадии сборки, оснащается всевозможными аксессуарами и хромированными деталями, обивается изнутри мягкими, шелковистыми тканями. Всеобщее внимание сосредоточено на ней. Она смеется, издевается над нами. Огни главного конвейера сияют для нее, для нее одной. Нас же окутывает невидимая глазу ночь.

Как не испытать при этом жажды разрушения? Кто из нас не мечтал порой отомстить этим мерзким, нахальным автомобилям, таким невозмутимым, таким гладким-гладким?

Иной раз нервы рабочего не выдерживают, и он переходит от мысли к делу. Кристиан рассказал мне историю одного парня, который набросился на машины как раз здесь, в 85-м, незадолго до моего поступления. Все еще помнят об этом.

Рабочий этот, высокий, здоровенный негр, с трудом говорил по-французски, но все же кое-как объяснялся. Он привинчивал какую-то деталь приборной доски, по пяти винтиков на доску. В ту пятницу, после обеда, он уже дошел, вероятно, до своего пятисотого винта. Вдруг он заорал и кинулся к машинам, потрясая отверткой, словно кинжалом. Он поцарапал добрую дюжину крыльев, когда белым и синим халатам удалось наконец схватить парня, как он ни отбивался, и отправить его в амбулаторию.

— И что же?

— Ему сделали укол и отвезли на санитарной машине в психиатрическую больницу.

— И он больше не вернулся?

— Как же, вернулся. Он пробыл три недели в больнице. Затем его выписали, заявив, что у него не было ничего серьезного — только нервный припадок. Тогда Ситроен снова взял его.

— На конвейер?

— Нет, парня перевели на сдельщину, рядом с его прежним рабочим местом. Он изолировал кабели, вон там, где сейчас работает португалец. Не знаю, что с ним сделали в больнице, но он стал какой-то чудной. Вид у него был отсутствующий, глаза тусклые. Он ни с кем не разговаривал, делал свое дело молча, почти не двигаясь... Стоял, как истукан. Представляешь себе? Считался здоровым, а потом куда-то исчез. Не знаю, что с ним сталось.

■

Весь декабрь прошел у подвесного конвейера...

Порой меня охватывает отчаяние. Что сделал я за эти четыре месяца кроме того, что работал над машинами 2 CV? Я поступил к Ситроену не для того, чтобы выпускать машины; а для «ведения организационной работы среди рабочего класса». Я хотел способствовать сопротивлению, борьбе, революции. В наших студенческих спорах я всегда возражал тем, кто рассматривал свое поступление на завод как некий опыт самосовершенствования. Для меня это имело и имеет лишь политическое значение. А теперь именно политическая работа ускользает от меня. С чего начать? Заводы, как правило, велики, на нашем и то не менее тысячи двухсот рабочих. Невозможно перезнакомиться со всеми. Происходят случайные встречи, завязываются приятельские отношения, скажем, с соседями по рабочему месту. Какой-нибудь славный малый заговаривает с тобой в столовой, в раздевалке. Это позволяет выстоять, приносит глоток свежего воздуха. Но все дело случая, а он не всегда сводит тебя с людьми наиболее, как говорится, боевыми.

Если смотреть со стороны, все кажется очень просто: интеллигент поступает на завод и ведет там организационную работу. Но при своем проникновении в рабочий класс я наталкиваюсь на множество привходящих обстоятельств, и мне никак не удается обрести точку опоры. Более того, сам термин «рабочий класс» уже не имеет в моих глазах прежнего точного смысла. Дело не в том, что я стал сомневаться в глубоком значении того, что подразумевается под этим понятием, но пестрота и текучесть рабочих, среди которых я оказался, ошеломили меня. Каждый человек здесь — особый случай. У каждого своя история, каждый изобретает собственную тактику и наугад ищет выход из положения. Как ориентироваться в этом странном, временном, неустойчивом мире, похожем на тюрьму? Кто из операционников может хоть на минуту вообразить, будто он сделает здесь «карьеру»? Кто из них не воспринимает в глубине души как унижение или досадную случайность свое пребывание на заводе и нелепость своей мелкой работы? Люди делятся своими замыслами, мечтают вернуться на родину и открыть там небольшую лавочку. Многие играют на скачках и лишь пускают по ветру

свою двухнедельную получку, какие-то жалкие четыреста франков. Иные «промышляют» вне стен завода. Чем? Кто их знает. Иные спекулируют. А кроме того, по субботам и воскресеньям подвертывается работа «налево», а такая перегрузка после недельного стояния у конвейера вполне может свести человека в могилу.

Как же найти точку опоры?

Я составил список моих приятелей, знакомых, тех людей, которых можно было бы объединить.

Кристиан — туберкулезный бретонец, со сборки сидений. Ему восемнадцать лет, но на вид не более шестнадцати. Человек он живой, нервный. Он продолжает трудиться на одном месте и приходит в отчаяние от своей бессмысленной работы: больше девяти часов в день нажимать большими пальцами на резиновые кружки! Денег не хватает, и он бьется как рыба об лед, ведь у него есть молоденькая подружка, родители и т. д. По утрам он приходит на работу бледный, с покрасневшими глазами. Девушка Кристиана учится в лицее, и ее родители неодобрительно относятся к ее связи с простым рабочим. К тому же он живет в общежитии Ситроена, где установлена казарменная дисциплина, и влюбленным негде встречаться. Как-то вечером я пригласил их обоих к себе и предоставил комнату в их распоряжение. Странная это пара. Она милая, улыбчивая, гораздо выше его ростом. Он возбужденно разглагольствует, строит всевозможные планы, а она слушает его как зачарованная. Вскоре им удалось снять комнатушку для прислуги, и Кристиан описал мне, как они проводят свои уик-энды. Из-за безденежья им приходится весь день лежать в постели, коротая время за вязаньем. Представляю себе эту картину. Вязанье спадает с кровати. Кристиан считает петли своим острым взглядом — такой взгляд у него бывает на работе. И планы, вечные планы... Нелегко бывает парню возвращаться по понедельникам на сборку нескончаемой вереницы сидений. Конечно, если представится случай, Кристиан займется чем-нибудь стоящим. Но мне нечего ему предложить. Я беседовал с ним о Китае, о Вьетнаме, давал читать газеты, книги. «Занятная книжка»,— небрежно бросал он и тут же заговаривал о другом.

Садок, алжирец с азиатскими чертами лица, который «тонул» при мне в первый день моей работы у Гравье, часто приглашает меня в закусочную «Кружка пива» поблизости от завода. В пять часов он ждет меня в раздевалке уже одетый и говорит смущенно, словно речь идет об одолжении: «Выпьем вместе по кружке?» И почти всегда сидит молча за своим пивом. Он неопределенно улыбается, видимо, довольный, что находится с приятелем. Вечером он неохотно покидает завод, всячески стараясь задержаться хотя бы где-нибудь поблизости. Его страх одиночества не знает предела, он граничит с паникой. По отрывочным словам Садока я понял, что у него нигде нет корней, даже в Алжире. Война все уничтожила. Никто ему не пишет, ему тоже некому писать. Случись с ним несчастье, это никого не огорчит. Он бесследно исчезнет с лица земли.

Однажды он зашел ко мне очень расстроенный. Квартирный хозяин, сдававший ему одну из трех коек в крошечной комнатушке, выставил его за дверь. Денег у Садока не было, и он не знал, где провести ночь. Он боялся, что его заберет полиция, если найдет спящим в каком-нибудь общественном месте. Я приютил его, пока он не нашел себе места в общежитии. Теперь не проходит дня, чтобы Садок не забежал ко мне в перерыв или не пригласил вечером в кафе. Он сообщает мне новости о сварочном цехе, о кабиле Мулуде.

— Ничего хорошего, знаешь. Все быстрее приходится работать. Все больше выпускаем машин.

Я давал ему читать газеты. Но я понимаю, что он безумно боится Гравье и не чувствует почвы под ногами.

Ну а остальные? Симон, югославы, соседи по работе, сотрапезники, престарелый Жожо, стенной шкаф которого находится рядом с моим в раздевалке? Случайные разговоры, беглый обмен мнениями, а время не ждет, мы торопимся в раздевалке, толкаемся в полдень, чтобы обслужить себя в столовой, а вечером, едва дождавшись конца работы, кричим: «Ладно, привет! До скорого!»

Я рассказал как-то приятелям о забастовке в Бретани, во время которой рабочие заняли предприятие и арестовали его владельца. В другой раз я говорил им о шанхайском металлургическом заводе. Рабочие этого завода пробили обширные бреши в стенах здания, чтобы получить доступ к внешнему миру и уничтожить сходство с тюрьмой его производственных помещений. Нам удается поговорить также о системе образования во Франции и об изощренных способах, направленных к тому, чтобы затруднить путь к знаниям детям рабочих и крестьян.

Ну а дальше что? Я блуждаю в потемках.

«Осколочная» пропаганда. Нащупывание потенциальных активистов.

Ничто не приносит мне удовлетворения. Ничто не компенсирует того факта, что при моем участии завод ежедневно выпускает сто сорок пять машин. Я мечтал, что стану пламенным пропагандистом, а превратился в пассивного трудягу, пленника своего рабочего места.

Иногда я пытаюсь понять, в чем же тут дело, где секрет ловушки, в которую я попал.

Во-первых, работа.

Она обрушилась на меня и уже давно тяжким грузом лежит на других. Девять часов или около того одних и тех же утомительных операций, с короткими перерывами между ними, когда каждый думает лишь о том, чтобы перевести дух. Все остальное время раздроблено, сжато, спрессовано. Для серьезного разговора надо ждать коротких минут перерыва или торопливого обеда в столовой. Утром ты завел речь с соседом по раздевалке о какой-нибудь машине, на которой небезопасно работать, и о большом количестве несчастных случаев на заводах «Ситроена». Ты приводишь цифры, рассказываешь о том, как дело поставлено в Жавеле. Собеседник заинтересован, хочет высказать свое мнение... Прошло уже несколько минут, и начало работы разлучает нас, мы спешим в свои цеха, пообещав вернуться к этой теме вечером. А когда по окончании работы мы встречаемся в раздевалке, мы оба утомлены, ты уже забыл, на чем вы остановились, он тоже. Ты все же пытаешься возобновить разговор, но твой собеседник спешит.

— Знаешь, надо будет потолковать об этом в другой раз. Привет!

И его уже след простыл.

Время стало для нас на вес золота.

Организовать собрание? Сделать это в городе проще простого. Но здесь, на заводе, я почувствовал, что с моей стороны было бы нахальством занять у товарищей два-три часа времени без всякого основания, лишь для того, чтобы обсудить, что следует предпринять. А между тем выходные дни зачастую не приносят им ничего, кроме скуки и унылого подсчета часов, которые остаются до возобновления работы в понедельник утром. Кое-кто из молодых затевает «гульбу»: парни группами шатаются по городу, забредают в дансинги, в кино или попросту напиваются. Но большинство рабочих, в особенности иностранцев, погружается в своего рода летаргию: их движения замедленны, они ведут бесконечные разговоры, часами сидят в кафе. Словом, люди временно расслабляются, чтобы дать отдых своим мускулам и нервам. Воскресными вечерами я уже давно встречаю в бистро тринадцатого округа рабочих-иностранцев, которые неподвижно, задумчиво сидят за едва початой кружкой пива. Прежде я не обращал на них внимания. Теперь я присматриваюсь к ним. Во взгляде этих рабочих я вижу сожаление о бесплодно проходящем времени, мучительное чувство, что каждая потерянная минута приближает их к грохоту конвейера, к новой изнурительной рабочей неделе.

Я говорю себе тогда, что надо уважать их ритм жизни, что нельзя так вот, с бухты-барахты покушаться на равновесие, которое они с таким трудом восстанавливают каждый вечер и в конце каждой недели.

Во-вторых, страх.

Трудно определить это чувство. Вначале я ощущал его в отдельности у каждого рабочего. Страх Садока, страх Симона, страх женщины со сборки сидений. И в каждом случае находил ему особое объяснение. Но со временем я почувствовал, что имею дело с явлением более глубоким. Страх неотделим от завода, он составляет необходимую пружину процесса производства.

Сначала страх предстает перед тобой в обличии всего аппарата власти, надзора и репрессий — сторожей, бригадиров, мастеров, уполномоченного по кадрам, особенно последнего. Уполномоченный по кадрам, который ведает лишь несколькими цехами,— новшество «Ситроена». Официально признанный шпик, он возглавляет охрану, ведет учет взысканиям, оформляет увольнения. Он носит костюм-тройку, не имеет ничего общего с производством, ибо функции его чисто репрессивные. Как это часто бывает, наш уполномоченный, Жюно, служил ранее в колониальных войсках, а после отставки поступил к Ситроену. Этот красномордый алкоголик относится к иностранным рабочим так, как в «доброе старое время» он относился к туземцам — с презрением и ненавистью. Более того, мне кажется, что к этим чувствам у него примешивается желание мстить за потерю Францией ее колониальных владений. Когда он бродит по цеху, все подтягиваются и делают вид, будто исключительно заняты работой. Разговоры сразу прекращаются, люди молча делают свое дело, и слышится только грохот машин. А если тебя потребуют в канцелярию, если мастер позовет тебя или какой-нибудь сторож в каскетке неожиданно окликнет тебя во дворе, сердце твое волей-неволей екнет. Впрочем, все это известно: на заводе мы находимся в откровенно полицейской обстановке. Мы оказываемся чуть ли не преступниками, если нас заметят в нескольких метрах от нашего рабочего места или в коридоре без бумажки, снабженной подписью соответствующего начальника; мы подвергаемся взысканиям за малейший брак и немедленному увольнению за потасовку, привлекаемся к ответу за одну минуту опоздания или за резкое слово, сказанное бригадиру, короче говоря, нам грозит множество кар, о которых мы даже не помышляем, но о них ни на секунду не забывают сторожа, мастера, уполномоченный по кадрам и им подобные.

Но наш страх в действительности еще глубже. Можно провести весь день, не увидев ни одного начальника (они либо дремлют над бумагами, запершись у себя в кабинете, либо благополучно отлучились на какое-нибудь заседание, избавив от своего присутствия рабочих), и все же страх не рассеялся, он ощущается в самой атмосфере завода, в поведении окружающих, в тебе самом. Это происходит отчасти потому, что административный аппарат «Ситроена» представляет собой лишь видимую часть разветвленной системы сыска на предприятии. Среди нас имеются доносчики всевозможных национальностей, особенно много их среди членов профсоюзной секции, входящей в ФКТ — это сборище штрейкбрехеров и специалистов по фальсификации выборов. Сей желтый профсоюз — любимое детище дирекции. Вступление в него способствует карьере инженерно-технических работников, что же касается иностранных рабочих, то уполномоченный по кадрам нередко заставляет их вступать в эту организацию под угрозой увольнения или выселения из ситроеновских общежитий.

Но этим опять-таки не исчерпывается сущность нашего страха. В нем заложено нечто более тонкое и глубокое. Он неразрывно связан с работой как таковой.

Нам угрожают вереницы кузовов, хронометрирование, весь этот мир машин, где ежеминутно боишься растеряться, не справиться, начать «тонуть», оказаться не у дел, искалечиться, погибнуть. Страх пронизывает весь завод, ибо завод — на уровне наиболее простом и ощутимом — постоянно угрожает людям, которых он использует. Если нет поблизости начальства и если мы временно забываем о шпиках, за нами надзирают машины — от их размеренного движения никуда не уйдешь, нам угрожают при малейшей рассеянности наши собственные инструменты, нас грубо призывает к порядку сам конвейер. Могущество хозяев проявляется здесь прежде всего во всемогуществе вещей.

И когда весь завод грохочет и автокары несутся по проходам, когда краны с шумом опускают на платформы кузова машин, когда ритмично воют электродрели и гайковерты, каждые несколько минут конвейер выплевывает новую машину, которую проглатывает транспортный конвейер, когда все это движется без остановки и слитный гул множества бесконечно повторяемых операций отзывается у нас в голове, мы вспоминаем, что мы люди и как таковые гораздо уязвимее машин.

И каждый из нас чувствует себя ничтожной песчинкой.

Я вступил в профсоюзную секцию, входящую в ВКТ, но там все идет как-то слишком спокойно. Секция руководит работой комитета предприятия (он ведает столовой, лагерями летнего отдыха, социальными мероприятиями), что почти целиком поглощает ее силы, тем более что дирекция «Ситроена» ведет с ней войну на измор. Борьба идет из-за размера требуемых средств, из-за их перерасхода, из-за отказа в ассигнованиях и пр. Время от времени появляется листовка, разоблачающая действия администрации, которая препятствует работе комитета предприятия, или призывающая к кратковременной забастовке по случаю межпрофсоюзного дня металлистов. В этот день некоторые рабочие уходят с завода за час до положенного времени. Начальство сразу же заменяет их, и производственный процесс продолжается без всякой заминки. ВКТ привлекает главным образом квалифицированных рабочих, французов, занятых текущим ремонтом оборудования. Таков, например, старик Жожо, мой сосед по раздевалке, вручивший мне мой профсоюзный билет. Он внимательно следит за профсоюзными делами, тем более что сам оказался втянутым в яростный спор с администрацией, требуя, чтобы его легочное заболевание было признано профессиональной болезнью (он много лет работает в цехе окраски). Но, по мнению большинства рабочих, профсоюз — лишь одна из многих заводских организаций. Поэтому они вспоминают о нем лишь от случая к случаю, если, например, им требуется какое-нибудь содействие: «Схожу-ка на днях к делегату по поводу истории с премиальными...» В начале января я побывал на ежегодном собрании по обмену профсоюзных билетов. За столом сидели каких-нибудь пятнадцать человек и попивали аперитив.

■

Сопротивление. Я чувствую, оно таится в национальных коллективах иностранных рабочих, люди шепчутся о нем по-кабильски, по-арабски, по-сербохорватски, по-португальски. Оно скрывается под маской покорности. Оно прорывается, неистребимое и неожиданное, в криках, которые поднимаются у нас из-за кражи одной минуты отдыха. Оно ощущается в возбуждении, царящем по пятницам, когда нервы у рабочих напряжены до крайности, когда резиновые кружки и болты летят на пол и нередко по непонятным причинам останавливается конвейер. Иной раз оно принимает более скромную форму — форму помощи, оказываемой товарищу. Рабочий видит, что его сосед «тонет», и делает часть его работы прежде, нежели тот окончательно «пойдет ко дну». Так помог мне югослав Жорж, когда я работал на окантовке стекол, хотя он ничего не знал обо мне, видел только, что я совершенно растерялся. Оно сказывается и в нашем поведении. Держаться прямо, следить по мере возможности за внешностью.

В этом отношении меня поражает раздевалка. Она служит как бы границей между двумя мирами, и по вечерам там до неузнаваемости преображается весь наш коллектив. За какие-нибудь четверть часа рабочие лихорадочно стараются не только уничтожить все следы истекшего дня, но и изменить свою осанку. Происходит ритуал чистки и приведения себя в порядок. Люди хотят уйти с завода чистыми, более того — элегантными.

Вода в умывальниках брызжет во все стороны. В ход пущены мыло, пудра, лосьоны, кремы. И постепенно запах завода и пота уступает место свежести, чистоте. Наконец люди осторожно разворачивают и надевают свой городской костюм: девственно чистую рубашку, а зачастую и галстук. Да, раздевалка — граница между затхлой атмосферой заводского деспотизма и теоретической свободой за его стенами. С одной стороны, завод — грязь, поношенные куртки, чересчур широкие комбинезоны, засаленные спецовки, вялая походка, окрики начальства, унижения («Эй, ты там!..»). С другой стороны, город — костюм-тройка, начищенные до блеска башмаки, прямая осанка и надежда, что тебя назовут «месье».

Среди иностранных рабочих своей щеголеватостью выделяются негры. Неприметный метельщик в бесформенном сером комбинезоне, десять минут назад сметавший мусор со ступеньки на ступеньку, выходит на улицу преображенный. На нем костюм в мелкую полоску, белоснежная рубашка, галстук, сверкающие ботинки и портфель «дипломат» в руках. Некоторые рабочие приходят на завод именно с такими чемоданчиками, куда они кладут бутерброды, а иной раз спортивную газету, чтобы подготовиться к игре на скачках. Им явно хочется сойти на улице или в метро за служащих, чиновников или ответственных работников, прибывших в командировку из какой-нибудь африканской страны. При других обстоятельствах я нашел бы такой маскарад смешным. Но в этом случае он составляет, на мой взгляд, неотъемлемую часть сопротивления. Доказать при любых обстоятельствах, что ты сумеешь выстоять. Подчеркнуть во что бы то ни стало свое самоуважение.

Подлинное основание для надежды я нахожу не столько в политическом анализе, сколько в этих мелких, ежедневно наблюдаемых фактах сопротивления. В минуты глубочайшего уныния я все же сохраняю смутную, не вполне осознанную уверенность в том, что где-то рядом таятся подспудные силы и что настанет день, когда они вырвутся наружу.

Итак, надо ждать. Я убеждаю себя, что в конце концов что-то должно произойти.

(Окончание следует)

ЛИДЖИЯ МАКОВЕЙ. Румыния.
Иллюстрация к стихам С. Квазимодо

ВАЛЕНТИН СИЛЬВЕСТРУ

ЮМОРЕСКИ

АМЕЛИТА

Аксинте ежедневно получал сенсационные сведения о своей жене, очаровательной блондинке с натуральными локонами и маленькими, черными с поволокой глазами.

Вот он сидит себе спокойненько в конторе, кушает редиску с бисквитом — деликатес, придуманный, приготовленный и завернутый в пакет лично Амелитой (так звали его жену: Амелита Галикурчь Стойкитою),— кушает, стало быть, он деликатес этот, держа его правой рукой, а левой, тоже спокойненько, снимает телефонную трубку и выслушивает первое утреннее сообщение, которое передает соседка по лестничной площадке, госпожа Грэбэдэу.

— Извините, пожалуйста, что я вас беспокою,— жеманно начинает госпожа Грэбэдэу,— но вынуждена поставить вас в известность о том, что ваша жена упала с балкона.

— Как это произошло? — хладнокровно интересуется Аксинте, отрывая зубами хвостик у редиски: ему-то известно, что они живут на первом этаже.

— Она разложила на перилах подушки, а они полетели вниз, вслед за подушками — одеяло, вслед за одеялом — ваша жена. Но это произошло нечаянно, вы не беспокойтесь, она не пострадала,— успокаивала его информатор-доброхот.— Мой муж отнес ее вместе с остальными упавшими предметами наверх, так что не волнуйтесь, все в порядке...

В обеденный перерыв позвонила сама Амелита, она была несколько озадачена:

— Дорогой, это я... Извини, пожалуйста, что я тебя беспокою, но ответь мне, что бы это могло значить: из нашего холодильника валит дым?

— Вероятнее всего,— невозмутимо отвечает Аксинте,— это значит, что внутри что-то горит.

Сразу же после его ответа, не вешая трубку, жена открывает дверцу холодильника, и выясняется, что да, действительно, внутри, на пучках гороха, каким-то образом оказался раскаленный докрасна утюг — и все загорелось.

В таких вот маленьких происшествиях была своя прелесть, так что жизнь шла вперед, не особенно отклоняясь от курса и в целом, вообще-то говоря, нормально. Даже в своем простодушии Амелита была очаровательна. Однажды, например, у нее возникла блестящая идея спустить по лестнице баллон из-под сжиженного газа человеку, который приехал из газовой конторы, и когда с запозданием выяснилось, что баллон, вместо того чтобы быть пустым, почему-то оказался полным, в результате чего произошла некоторая неувязка в виде взрыва и последующего разрушения всего первого этажа, правда, обошлось при этом без человеческих жертв — последствия реализации этой идеи для Амелиты были совсем иными, чем они могли бы быть для

любого другого человека, окажись он автором и исполнителем упомянутой идеи...

И все-таки как-то Аксинте, махнув рукой на службу, сбежал в горы, где пропадал целых две недели, питаясь где придется и чем придется — то при какой-нибудь турбазе, а то и просто переходя на подножный корм. Произошло это после того, как Амелита, желая развесить белье, появилась на балконе в костюме праматери Евы, в результате чего немедленно имело место столкновение трех троллейбусов, двух фургонов и развозившей кефир тележки. Однако не сам по себе этот инцидент привел в отчаяние терпеливого — и, надо отдать ему должное, любящего — мужа. Срочно было созвано заседание месткома, на котором он был сурово осужден за то, что не заботится о повышении общего культурного уровня своей жены. Она была домохозяйкой, в профсоюзе нигде не состояла, так что обсуждение ее поступка происходило по месту работы мужа.

Больше того, может быть, даже и это собрание, в ходе которого открытым голосованием ему было единодушно вынесено общественное порицание, не толкнуло бы его на безрассудный поступок, если бы Амелита, впервые в жизни пришедшая в ярость, не явилась без ведома мужа в кабинет председателя месткома, чтобы доказать, что она, наоборот, очень и очень развита, и как раз по части общей культуры.

— Слушай, братец,— шепотом взмолился по телефону председатель,— не смог бы ты сейчас зайти к нам и забрать свою жену?

— Сейчас, сейчас,— ответил Аксинте.— А что она там у вас делает?

— Явилась на грузовике с двумя грузчиками, привезла все издания Профиздата из вашей домашней библиотеки и требует внимания, сейчас, говорит, я вам продемонстрирую, какая я культурная. Подумай о том, что мы всего-навсего люди...

Аксинте положил телефонную трубку на стол, взял потихонечку шляпу — и был таков. Обратно он был возвращен лишь две недели спустя, из гор Бузэулуй, где его, наполовину одичавшего, случайно обнаружила экспедиция института фольклора, занятая поиском неизвестных науке старинных народных песен.

■

МАЛЕНЬКАЯ ТРАГЕДИЯ В ПИСЬМАХ

Глубокоуважаемый товарищ!

Здесь, в М., я познакомился с вашей женой, Маричикой, и влюбился в нее самым катастрофическим образом. Это вопрос жизни или смерти. До настоящего времени события развивались, конечно, весьма корректно, я по своему служебному положению являюсь ответственным работником и не могу позволить себе всякие глупости, да еще публично; но они, то есть события, в настоящий момент достигли точки кипения, по каковой причине я счел нужным уведомить вас обо всем и просить отказаться от своей жены с тем, чтобы я мог жениться на ней.

С уважением Ганнибал Чиопырцан,
экономист банка.

■ ■ ■

Дорогая жена!

Я получил какое-то чудно́е письмо, писал его не иначе чокнутый. Он просит у меня твоей руки, вроде как бы не муж я, а отец твой. Зачем ты вступаешь в разговоры со всякими ненормальными провинциалами, а не проводишь нормально свой отпуск, как это требуется при твоем слабом здоровье? Вот почему я думаю, что ты должна поскорее вернуться домой.

Крепко обнимаю и целую тебя, твой муж
Митрикэ.

■ ■ ■

Досточтимая госпожа!

Это пишет незнакомый вам, но вполне порядочный человек, Помпилиан Чиопырцан, дядя вашего знакомого, Ганнибала, в отношении которого у обеспокоенных род-

ственников сложилось впечатление, что он из-за вас готов покончить жизнь самоубийством. Мы все чрезвычайно любим Ганнибала, купили ему четырехкомнатную кооперативную квартиру в Бухаресте, куда он в ближайшее время переезжает, чтобы занять должность начальника отделения, мы купили ему также автомобиль и на случай женитьбы — несмотря на свои сорок лет он, увы, до сих пор холост,— положили в сберкассу на его имя сто пятьдесят тысяч лей. Кроме того, он располагает драгоценностями на сумму порядка четверти миллиона лей и, наконец, является единственным наследником четырех весьма состоятельных дядей и теток, из которых один дядя — директор местной скотобойни, другой — директор предприятия по обработке овощей и фруктов. Я излагаю эти интимные биографические детали, чтобы вы поняли, насколько серьезной является возникшая проблема и как важно решить ее в духе гуманности.

С уважением Помпилиу Чиопырцан, юрисконсульт,
специалист по разводам, лиценциат Сорбонны.

■ ■ ■

Дорогой Митрикэ, верный друг жизни!

Надеюсь, ты из-за меня не лишился сна, воображая себе бог знает какие нелепицы. Седовласый юноша, который втюрился в меня с первого взгляда, ведет себя очень уважительно и ухаживает за мной с почтительной дистанции, как правило, через своих родственников. Я пересылаю тебе письмо его дяди, которое, как мне кажется, не лишено интереса. Изучи его, наведи кое-какие справки и подумай, не должны ли мы пораскинуть по этому поводу мозгами еще и еще раз. Ганнибал, о котором говорится в письме, дурак, какого поискать — не найдешь.

Крепко целую тебя, твоя Маричика.

■ ■ ■

Уважаемый согражданин!

Я приветствую вас из М., города, бурно развивающегося, о чем вам, вероятно, хорошо известно из газет. Положение нашего племянника Ганнибала еще больше осложнилось, и поскольку вы пока не высказали своего мнения, очень просим встретиться с нами, чтобы мы могли сделать вам конкретное предложение. Разумеется, эта встреча ни к чему вас не обяжет. Незамужняя сорокадвухлетняя сестра нашего мальчика является весьма достойной личностью, она в частном порядке преподает домоводство; ее, так же как и Ганнибала, семья обеспечит квартирой в Бухаресте, а также определенной суммой в виде драгоценностей, если вы согласитесь, не придавая это широкой гласности, вступить с нею в брак. Разумеется, нет никакой необходимости в том, чтобы вы уведомляли об этом свою теперешнюю жену, равно как и мы не будем пока никакой предварительной информацией усугублять и без того удручающе-ожесточенное состояние нашего несчастного мальчика.

С чувством полнейшего уважения Помпилиу
Чиопырцан.

■ ■ ■

Любимая моя женушка!

Дело становится все более интересным, так как, после какой-нибудь парочки лет совместного твоего проживания с этим спятившим от любви карфагенянином из М., мы могли бы стать владельцами квартиры в Бухаресте и обладателями кругленькой суммы. Мне предложили его сестричку, так что, выходит, мы оба извлечем выгоду: я тоже постараюсь заполучить и квартиру, и какое-никакое золотишко. Для серьезных людей каких-нибудь два-три года пролетят незаметно. Прошу тебя изложить свою точку зрения и, если сможешь, дать описание особы женского рода, поинтересовав-

шись детальнее, не обладает ли она какими-нибудь серьезными дефектами по части кровообращения, зрения, слуха и т. д.

Любящий тебя не только за твою красоту, но и за сообразительность
твой муженек.

Постскриптум. Они согласны взять на себя все хлопоты, связанные с разводом. Думаю, что это справедливо, не так ли?

■ ■ ■

Мой господин и любящий друг, дядя Помпилиан!

Благородная любовь вашего юного племянника глубоко взволновала меня. Воспоминание о моем муже (теперь уже можно сказать — о моем бывшем муже) затерялось где-то в глубинах памяти. Не знаю, быть может, я совершаю роковой шаг, так как затрудняюсь отдать себе отчет, что мною движет — разум или чувство, но я, кажется, готова к встрече с вами и со всем семейством. Когда я вижу Ганнибала, что-то потрясает все мое существо.

С дружеским приветом Маричика Леордяну, урожденная Гэргэу.

■ ■ ■

Дядюшка Помпилиан!

Моя семейная жизнь потерпела крушение как раз в тот момент, когда на горизонте возник достойный выход из положения. После нашей приятной встречи и последующей информации, полученной мною, я полагаю, предполагаю, я больше чем уверен, что готов начать новую жизнь рука об руку с вашей племянницей. Остается одно-единственное препятствие чисто морального порядка. Я не могу — поймите меня правильно! — не могу, повторяю, и мою теперешнюю жену, которая вот-вот станет моей бывшей женой, и Ганнибала лишать квартиры. Позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы моя будущая супруга, Петронелла Чиопырцан, также приобрела в Бухаресте квартиру,— и я не вижу тогда никаких препятствий к тому, чтобы, к нашему взаимному удовольствию, завершить все дело... конечно, при условии справедливого раздела драгоценностей и сбережений.

Тепло обнимаю вас, Митрикэ Леордяну, кооператор,
специалист по дублению шкур мелких животных.

■ ■ ■

Ганнибал, племянник мой!

Посылаю тебе целиком всю переписку, порожденную твоей несчастливой и, прости за откровенность, просто-напросто идиотской любовью. Не представляешь, скольких денег, времени и сил стоила нам возможность заполучить в свои руки письма мошенницы и ее муженька, но это было необходимо сделать, ибо не вижу, каким еще образом смогли бы мы окончательно и бесповоротно излечить тебя от очередной сентиментальной дурости, совершенно необъяснимой в столь зрелом возрасте, которого ты достиг.

Дружески обнимаю тебя, остающийся по-прежнему твоим дядей и вторым отцом
Помпилиан.

РОМАНС

На съемочной площадке громоздятся в необъяснимом соседстве друг с другом как привычные, так и весьма странные предметы: кавалерийское седло, феска с черной кисточкой, куст чертополоха, картонная башня, чучело филина, бородатая маска, поп-артская композиция, свеча, человеческий череп, покрытый глазурью кувшин. Молодая певица, от-

АНТИРУБРИКА

бивая каблучком такт, лихорадочно причесывается; электрик, мигая рефлектором, безадресно матерится.

Появляется режиссер, размахивая зажатым в руке текстом романса; за ним гуськом — редактор, гитарист, главный оператор и еще две какие-то мрачные личности. Реквизитор, задыхающийся толстяк астматик, несет, прижимая к груди, судорожно вырывающегося белого зайца.

— Ну что, все готовы? — спрашивает режиссер, водружая на нос дымчатые очки.

— Мы тебя уже битый час ждем! — гремит в невидимый мегафон чей-то голос.— Учти, твое время записи кончается ровно в три.

— Как дела, девочка, песню не забыла? — бегло, но цепко оглядев солистку, интересуется режиссер.

— Ой, как можно! — И девушка непроизвольным движением головы перебрасывает челку с левого глаза на правый.

— Знает она, сударь, знает всю, без запинки,— дружелюбно подтверждает гитарист; тронув струны, он кивком головы подает знак:

— Спой для пробы начало куплета.

Вот ключ тебе... Ты отвори калитку...[1]—

безнадежно-отчаянным воплем взвивается голос певицы.

— Стоп! — раздается невидимый голос.— Ты мне все микрофоны выведешь из строя! Здесь тебе не клуб! Поубавь, поубавь громкости!.. Что же ты мешкаешь, Эмиль,— окрик теперь адресуется режиссеру,— почему вокруг нее размещен реквизит? Расставьте все как положено и поставьте ее в позицию...

Девушка вздрагивает и с испуганным видом придвигается поближе к гитаристу.

— Мда! — похоже, соглашается режиссер.— У нас есть сирень?

Никто не отвечает.

— Откуда же ей взяться, сирени-то, в феврале? — сетует реквизитор, продолжая успокаивать зайца.

— Но ведь она поет о сирени,— сердито вступает в разговор редактор, тщедушный, нервно мигающий человечек в галстуке-бабочке.— Ну-ка, ты, как это там поется?

Певица вновь подает голос, но на сей раз более сдержанно:

Когда сойдет на нет апрельский день,
И вспыхнет белым торжеством сирень,
И перережет ночь заката нитку.
Дрожь соловья по звездочкам сирени
В полуночной и гулкой тишине
Вдруг пробежит. Резных листочков тени
Взметнутся по бревенчатой стене.

— Ну скажите на милость,— едва она смолкла, вновь заканючил реквизитор,— где мне, при такой нищенской смете, взять сирень, да еще и соловья в придачу?

— Зайца принес? — рассеянно вопрошает его режиссер, не отрывая глаз от бумаги.

— Да,— следует ответ,— заяц имеется в наличии.

— В песне о зайце — ни слова! — неожиданно встревает в разговор певица, обрадованная возможностью внести свою лепту в процесс творчества.

— А вас, барышня, никто не спрашивает! — это уже сердится художник-декоратор.— Явите милость и предоставьте оформление нам.

Режиссер, однако, считает нужным разъяснить:

— Видишь ли, дорогуша, по ходу исполнения первого куплета ты приближаешься к кустам чертополоха, и в этот момент из них выскакивает заяц.

— Да разве заяц сможет проникнуть в заросли чертополоха?! — изумленно восклицает гитарист.

Выясняется, что чертополох призван заменить собою сирень, а заяц должен появиться под тюлевой занавесью как род некоей фантасмы памяти, как некое смутное видение.

— Для того чтобы предстать смутным видением, он должен в момент съемки устремиться не в сторону камеры, а в противоположном направлении. Но в таком случае Гицэ, который должен его выпустить в этом направлении, своей могучей спиной и прочими достатками заполнит весь кадр.

Обоснованность недовольства оператора неоспорима. Между тем режиссер вспоминает, что имеется еще одна камера, но тут же замечает, что обе камеры, естественно, не могут быть установлены одна против другой. Остается единственно возможный маршрут движения зайца — вбок.

— И потом, не забудьте,— напоминает редактор,— о том, что ночь, точнее, полночь...

— Учти, что на репетицию тебе осталось только пятьдесят минут! — низвергаются с верхотуры раскаты раздраженного глухого голоса.

Но нем засов. Не заскрипят ступени...—

неожиданно с прежним неистовством разражается певица, но гитарист, который не успевает взять вступительные аккорды, слегка пожурив ее, велит начать сначала, а в это время заяц, нацеленный реквизитором «по направлению вбок», стартует и, в мгновение ока преодолев расстояние в несколько метров до выхода из съемочного павильона, исчезает.

— Подходяще,— одобряет оператор.— Давай, барышня, давай...

Мой неожиданный, ты не придешь
ко мне...

— Стой, красавица, стой! От твоего крика косой перепугался и дал деру. Мы здесь работаем все вместе, надо уважать и наш труд... Ищи его теперь по всему телецентру! Почему вы не закрыли дверь, как я вам велел?! — Реквизитор в запале срывает берет с головы и хлопает им оземь.

— Нет! Нет! — протестует между тем художник-декоратор, тыча карандашом в режиссерские записи.— Ведь договорились, что она взбирается не в седло, а на столб. Здесь же записано.

[1] Перевод романса Вадима Рабиновича.

— Да, да, на столб,— подтверждает, глухо покашливая, редактор.

— Бога ради, столб так столб. Но тогда пусть она вместо фески наденет маску с бородой.

Порядком напуганная певица шепотом советуется с гитаристом:

— Послушай, Фане, как я в этом узком платье сумею вскарабкаться на столб? Оно ведь лопнет, однажды это уже случилось.

— Ты вот что, молчи и будь паинькой, делай, что велят, иначе лет этак на пять и думать забудь о телевидении... Господин Милуцэ,— все-таки осмеливается он чуть позже возразить режиссеру,— извините, пожалуйста, девица она скромная, не шибко обучена всем этим делам, опасается, стало быть, за свой туалет, как бы не лопнул, заставь вы ее карабкаться...

— Куда карабкаться?

— Да на столб этот...

— Здрасьте, я ваша тетя! Никуда ей карабкаться не придется, мы проделаем с ней кинотрюк. Ну принимайтесь за дело!

— Сейчас, только сообщу ей в точности то, что вы сказали... Слышь,— шепчет гитарист девушке,— они с тобой одну штуку проделают.

— Фане,— начинает уже по-настоящему волноваться солистка, тоже переходя на шепот,— если кто-нибудь ко мне полезет, я ему вмажу, так и знай...

— Ладно, ладно, держись все время поближе ко мне... Пой дальше, пой...

Меж тьмой и светом дрогнули весы
И замерли. И вновь связалась нитка.

— Я поймал его! — победоносно возглашает появившийся в дверях весь мокрый от пота Гицэ, выставляя зайца на всеобщее обозрение.— И где же, по-вашему, он был? В буфете!

Принимается решение, что при исполнении третьего куплета девушка откроет дверь, меланхолически опустится на диван и долгим-долгим взглядом будет созерцать попеременно то феску, то висящий на стене поп-шедевр; последний, однако, камера будет давать не совсем в фокусе, ибо нельзя было с достоверностью разобраться в содержании, вложенном в него творцом-авангардистом.

— Ты сумеешь опуститься на диван? — спрашивает режиссер.

— Когда?

— Тогда, когда это потребуется.

— Фане, о чем это он? — просит девушка помощи.

Режиссер выходит из себя:

— Ты разговариваешь с о м н о й, понятно?

— Я,— взвивается сразу же и артистка,— пришла сюда петь, а не для всех этих делишек!

— Боже! — с отчаянием взывает голос в мегафоне.— Кто привел сюда эту деревенщину?

— Сам ты деревенщина! — запрокинув голову вверх, к люкам, кричит певица.— Я только пою, и ничего больше. Не нравится — подпишите пропуск и прощайте!

Она в бешенстве извлекает из сумочки разовый пропуск, полученный ею при входе.

Редактор и художник, правда с трудом, но все-таки восстанавливают совместными усилиями взаимопонимание сторон, и после двух-трех аккордов гитары звучит третий куплет:

Пропала без следа слеза росы...

— Надо произносить «следаслеза», как будто это одно слово...

И девушка в точности повторяет:

...без следаслеза росы...

— Здесь на первый план должен выступить чертополох как символ того, что все высохло — и роса и слезы,— шепчет режиссер оператору.

— Никаких проблем,— коротко отвечает тот.

Лишь в безднах памяти: сирень, звезда, калитка.

— Неплохо, неплохо! — приветливо подбадривает певицу режиссер.— А теперь давайте все повторим с самого начала.

Но горний глас придерживается иного мнения:

— Все! Ваше время закончилось! Взгляните, вам на смену уже входят участники передачи «Вопросы, еще не получившие своих ответов!».

— Пять минут! — молит редактор.— Только пять минут, будьте же людьми!

— Пять минут мы вам даем,— произносит новый голос, баритон,— но только без глупостей. Ну начали, все разом!

Раздается хлопок в ладоши, где-то опрокидывается тележка, вспыхивают все прожекторы, режиссер затаив дыхание знаками показывает певице путь, по которому она должна совершить свой слалом среди загромоздивших площадку атрибутов, гитарист нервно перебирает струны — и неожиданно певица оказывается на площадке в полном одиночестве, чувствуя лишь у себя на затылке прерывистое дыхание Фане. В первый момент от волнения у нее застревает ком в горле, но уже в следующий момент, преодолев робость, начинает — ясным, сильным, страстным голосом:

Вот ключ тебе. Ты отвори калитку...

Вечером того же дня телезрители могли — правда, не без некоторого удивления — наблюдать, что в то время как красивая певица исполняла прекрасный романс, заяц, как будто в предсмертных судорогах, бился в кустах чертополоха, а толстый небритый мужчина тряс перед какой-то картиной — не картиной... в общем, перед произведением искусства — занавеску, сокрушая картонный столб и попирая своей тяжелой стопой человеческий череп.

ВПЕРВЫЕ В МИРЕ, ИЛИ НОВАЯ ПРОГРАММА ДРЕССИРОВЩИКА

Цирк оповестил весь город всеми доступными средствами о том, что будет показана новая, ПОЛНАЯ, СЕНСАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДРЕССИРОВКИ С НОМЕРАМИ-СЮРПРИЗАМИ, в числе которых — те, что представляются ВПЕРВЫЕ В МИРЕ. Вот почему в день премьеры жадная до сенсаций и номеров ВПЕРВЫЕ В МИРЕ публика валом повалила в цирк, так что начало представления задержалось на четверть часа; для тех, кто попал в цирк, но кому не досталось места, одетые в ливреи служители расставляли в проходах табуретки, раскладные стулья и даже ящики.

Не было традиционного парада акробатов, жонглеров, клоунов, наездников; сразу же после гонга софиты пришли в какое-то странное движение, музыка приглушенно заиграла блюз, и неожиданно, неизвестно откуда и как, посреди арены возник дрессировщик. Это был высокий, крепкий, бритоголовый человек, одетый в белые брюки; голую грудь и плечи едва прикрывала кожаная накидка.

— Почтенная публика,— сильным, хорошо поставленным голосом произнес он,— я представлю вам полную, абсолютно оригинальную программу дрессировки. В ее основу положена моя теория — кстати говоря, получившая одобрение многих известных ученых,— суть которой состоит в том, что любое живое существо может быть с успехом выдрессировано в желательном направлении. Я мог бы начать демонстрацию номеров программы с показа дрессированных микробов, но для этого необходим гигантский микроскоп, в который одновременно могли бы наблюдать многие сотни людей. Поскольку в настоящий момент мы такой аппаратурой не располагаем, то откроем программу ВПЕРВЫЕ В МИРЕ демонстрируемым номером:

ДРЕССИРОВАННЫЕ ПЧЕЛЫ! **Выступает пчелиный рой во главе с маткой!**

Он щелкнул пальцами. Арену залили потоки молочно-белого света, и в воздухе действительно появился пчелиный рой Некоторое время пчелы летали разрозненно, но едва оркестр заиграл вальс «Утренние газеты», как порхающие малютки тотчас выстроились в несколько безукоризненно ровных рядов, затем — в четко очерченный параллелограмм, после чего, по мановению пальца дрессировщика (пальца диковинно длинного и тонкого), остававшегося абсолютно неподвижным, начали кружиться в вальсе, да так, что любо-дорого было смотреть. Очарованная публика захлопала в ладоши Между тем пчелы образовали последовательно, равносторонний треугольник, ромб и, наконец, сферу, что вызвало настоящую овацию. Сверху медленно опустился позолоченный улей, и как только музыка умолкла, весь рой в мгновение ока, будто втянутый пылесосом, исчез в нем.

— Невероятно! — пробормотал профессор естествознания, бывший одновременно председателем общества пчеловодов.

— Может быть, они поддельные? — робко подала голос его жена, домохозяйка.

— Как это — поддельные?

— А так — вырезанные из картона и раскрашенные.

Профессор уставился на нее так, как будто перед ним вдруг возникло существо с другой планеты, пожал плечами, потер нос и вновь обратил свой взор к арене, где мохнатые гусеницы выполняли сальто-мортале на трапеции, на вращающемся столике, залитом оранжевым светом. Работали без ошибок, а в это время дрессировщик отсутствующим взглядом смотрел куда-то вдаль, как будто ко всему происходящему он не имел ни малейшего отношения. Объемистая индейка, игравшая в классики на разлинованной черными прямоугольниками голубой площадке, вызвала веселое оживление, и ее выступление тоже прошло с успехом. Не столь удачным оказался следующий номер, что можно было, вероятно, объяснить недостаточно продуманным оформлением: хотя хряк мастерски греб и правил лодкой под сладостные звуки оффенбаховской «Баркароллы», производимое им благоприятное впечатление сводилось на нет присутствием в лодке пассажира — разряженной в пух и прах свиньи, которая была одета в соломенную шляпку, украшенную множеством всяких ленточек, и потому имела гротескно-отталкивающий вид. Эта небольшая заминка была с лихвой компенсирована неистовыми аплодисментами, которыми публика оценила следующий номер — морской лев давал точную сдачу разменной монетой с купюры любого достоинства: явление, уникальное не только на арене цирка, но и в повседневной жизни.

А еще через арену прошли, в заданном темпе, с короткими, в большинстве своем очень остроумно задуманными номерами: семейство пум — тяжелоатлетов, поднимавших штангу движением «рывок»; два быка, станцевавших уан-степ; хор гигантских кондоров, исполнивший — надо признать, с некоторыми прегрешениями по части точного соблюдения всех диезов и фортиссимо, но в целом вполне удовлетворительно — модную песенку; кит, который, напрочь игнорируя отсутствие родной водной стихии, проглотил дрессировщика, с тем чтобы, спустя несколько мгновений, аккурат-

неньким образом водрузить его обратно на арену.

Каждый номер дрессировщик предварял кратким разъяснением примененных в ходе дрессировки методов. Во время одного из таких разъяснений кто-то из числа зрителей прервал его: «А не лежит ли в основе метода гипноз?» Последовал быстрый и четкий ответ: «Нет, все мои методы строго научны» — и вопрошавший был вынужден отказаться от своего предположения, тем более что во время этого краткого диалога один из двух изготовившихся было к исполнению своего танца быков, придя в ярость от непредусмотренной задержки, подскочил к краю арены и начал так возмущенно мычать, что оппонент дрессировщика вместе с остальной публикой стал безудержно хохотать.

Выступление гориллы было столь впечатляющим, что дало многим повод подумать, будто оно и является кульминационным моментом всей программы. Начав с нескольких рутинных кувырков и трюков, она затем взяла электрогитару и выдала такой сногсшибательный рок-н-ролл, что все прямо рты разинули. Затем она провела пару тренировочных раундов бокса «бой с тенью»; достала коробок спичек и раскурила трубку; одним-единственным шаром сбила девять кеглей и закончила самым неожиданным образом: пожала руку дрессировщику и с непринужденным видом уселась в центральное кресло официальной ложи, дружески-снисходительно помахав дрессировщику лапой — мол, не тушуйся, продолжай дальше в том же духе.

Зрители все еще созерцали сидящую, положив ногу на ногу, гориллу, когда трубы зазвучали громче, софиты погасли — только красными угольками тлели указатели выхода — и из темноты раздался голос дрессировщика:

— А сейчас — последний номер, венчающий труд всей моей жизни.

Оркестр испустил продолжительный вопль, разом ослепительно вспыхнули прожекторы. Посреди арены обнаружился человек. Был он в чем мать родила, лишь с небольшой набедренной матерчатой повязкой. К запястью его левой руки была прикреплена цепь.

На миг в цирке воцарилась гробовая тишина, которая затем взорвалась бурей выкриков, неразборчивого шума, протестов, смеха, шиканья, свиста — содом, да и только. Впрочем, на дрессировщика это не произвело никакого впечатления; он, словно статуя, стоял и ждал; точно так же неподвижно, с застывшим лицом, стоял и ждал человек, гладко выбритый и аккуратно причесанный.

Перед лицом этой каменной неподвижности публика спасовала, да и любопытство одолевало. Постепенно все утихомирились и сели. Когда не стало слышно даже шепота, дрессировщик сказал:

— Этот номер неповторим не только фигурально, но и буквально: вы — единственные, кто его увидит. Поэтому убедительно прошу уделить ему все ваше внимание — и вы об этом не пожалеете.

Сказал — и поднял свой диковинно длинный и тонкий палец.

Человек начинает свой номер.

Он умывается. Утирается полотенцем. Облачается в одежду — такую же, что и на многих зрителях. Начинает движение по невидимой дороге. Усаживается за длиннющий стол. Приступает к работе — к какой именно, не вполне понятно. Разговаривает по телефону. Ест. Спит. Целует женщину. Укачивает на руках ребенка. Ссутуливается. Водружает на нос очки. Распластывается на постели. И — своевременно и правильно умирает.

Дрессировщик сделал едва заметное движение в сторону кулис. Появились четверо ливрейных служителей, принесли украшенный зеленью гроб, аккуратненько уложили покойника внутрь и медленно унесли, в то время как оркестр потихоньку исполнял какую-то траурную мелодию.

Публика словно окаменела — ни звука, ни движения. Дрессировщик молча откланялся и исчез так же внезапно, как и возник. Из репродукторов раздался незнакомый голос: «Представление окончено, благодарим за внимание, при выходе справа находится зверинец, желающие могут посетить его, вход свободный, администрация убедительно просит ничем зверей не кормить».

Этот радиоанонс вывел людей из оцепенения, и вновь под куполом цирка возникло невиданное, прямо-таки адское столпотворение: свист, ор, топот. Последний номер вызвал такое возмущение, что мгновенно были позабыты все предыдущие, столь позабавившие публику и доставившие истинное наслаждение номера программы.

Но уже музыканты, собрав инструменты, покинули свою площадку, и уже один за другим погасли огни под куполом, так что — делать нечего — даже самым неистовым зрителям пришлось податься на выход.

Вопреки обыкновению, никто из зрителей не воспользовался приглашением посетить зверинец то ли по причине позднего времени (представление окончилось за полночь), то ли из-за последнего сюрприза администрации — возле узкого и темного входа с красовавшейся над ним надписью «Зверинец» стоял с видом старого, многоопытного гида огромный серый волк и мило улыбался — разумеется, мило настолько, насколько мило способен улыбаться волк.— показывая лапой на табличку, которая висела у него на груди: «Не бойтесь, входите, я сам буду сопровождать вас. Время посещения не ограничено».

Перевод с румынского ЯНА ИРИНЬША

МИНИАТЮРЫ

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РАЗГОВОРЫ

— Не выношу толстых гвоздей,— жаловалась доска молотку, который старательно вбивал в нее гвозди.

— Мне от этого ни жарко ни холодно,— флегматично отвечал молоток.— К тому же тебе некуда деваться.

— А вот и есть куда,— зашипела доска не столько из-за того, что гвоздь был толстым, сколько от негодования.

И тут же треснула.

■ ■ ■

— Отдохну-ка я на твоей минутной стрелке до пяти минут второго,— сказала муха стенным часам с маятником.

— Послушайся доброго совета, улети до часу.

Муха обвинила маятник в эгоизме.

Ровно в час маятник качнулся с такой силой, что муха потеряла сознание, оглохла и на всю жизнь осталась калекой.

■ ■ ■

Крюк оборвал вешалку у пальто. Пальто рассердилось не на шутку:

— Идиот, и на что ты только способен? Удержать меня и то не можешь? И зачем только живешь на свете?

Крюк извинился и попросил пальто вернуться, заверяя его, что подобное больше не повторится.

И вправду, на этот раз крюк просто продырявил воротник. Пальто вышло из себя.

— Я ведь обещал, что вы не упадете,— заметил крюк,— и сдержал слово.

— Но ты испортил меня,— завопило пальто.

— Об этом мы не договаривались,— холодно заметил крюк.— В следующий раз потрудитесь изложить все возможные аспекты проблемы.

И крюк напрочь оторвал у пальто воротник.

■ ■ ■

На столе лежали две безделушки: собачка и стеклянная птичка. Собачка была резиновая.

— Ты когда зачирикаешь? — вежливо спросила собачка.

— Когда ты залаешь,— объяснила ей птичка.

— Я никогда не залаю, так что не надейся на меня. Рассчитывай лучше на свои силы.

С того дня они больше не разговаривали.

■ ■ ■

Ветка дерева выросла прямо над лампочкой, освещавшей улицу.

— До чего же неудачное место ты выбрала,— заметила лампочка.

— Это тебе пришло время убраться отсюда,— отбрила ее ветка.

Так они и поговорили. Был март.

Тогда лампочка поднатужилась и сожгла все почки на ветке.

Настал октябрь. Припустили холодные ливни, подул ветер. Ветка раскачалась и ударила лампочку, да так, что та лопнула.

С той поры в этом городе сухая мертвая ветка так и висит в темноте.

■ ■ ■

Над лужайкой весело летели две кукушки: впереди самец, а следом озабоченная самочка.

— Мне кажется... у меня отяжелели крылья,— призналась она стыдливо, едва открывая клюв.— Что делать? Гнезда-то своего у нас нет.

— Ничего, дорогая, ничего,— успокоил ее самец.— Залетим к друзьям, и все образуется.

И птицы полетели к первому дереву.

— Дорогой зяблик, моя жена вот-вот... Словом, мы оба очень просим — приютите одно яичко.

Зяблик стыдливо извинился: у него в доме тесновато.

Дятел принялся рассуждать о том, что дурные кукушкины наклонности могут привиться чужим птенцам, а этого следует избегать.

Трясогузка отказала холодно и наотрез.

Синица прикинулась возмущенной и посоветовала прекратить недостойное попрошайничество и даже процитировала птичий афоризм: «Кто сегодня яйцо пристроит, глядишь, завтра вола пригонит».

Кукушка-самка опустилась в изнеможении на ветку ясеня и залилась горючими слезами.

— Вы толкаете меня на дурной путь,— закричал искренне возмущенный самец-кукушка на все невидимое птичье царство,— вам и отвечать за скверную молву.

И самец подкинул яйцо в гнездо дроздихи, пока та была на концерте. А как только у кукушонка вырос клюв, он, по совету родителя, выкинул из гнезда своих яичных братьев — птенцов дроздихи.

С той поры, из года в год, беззаконие повторялось.

И хотя весь лес знал, что в конце концов случится, птицы-друзья по-прежнему встречали кукушек медоточивыми отказами или кислыми протестами.

При этом каждый надеялся, что кукушка-проситель подкинет яйцо не ему, а соседу.

■ ■ ■

Перед восходом луны соловей разучивал гаммы. Лес шелестел, шумел, трепетал, словно оркестр до начала концерта.

— Опять принимаешься за свои злодейства,— забрюзжала сова.

— Никакого уважения к спящим, никакого уважения,— пробормотал удод.

— Так и будешь скандалить каждую ночь, братец? — заметила летучая мышь.

Соловей окончил приготовления и скромно попробовал голос — природа затаила дыхание в ожидании его трелей.

— Я спою «Ноктюрн»,— тихо, ни на кого не глядя, объявила маленькая серенькая пичужка-артист. И ночной воздух огласился дивными звуками.

— К чему старания, мы здесь словно вопиющие в пустыне,— недовольно прокаркали три птицы и убрались восвояси, в глубокое дупло, где слышался лишь непрерывный хруст долгоносиков.

Критики выполнили свой долг, критики могли спокойно спать.

Перевод с румынского Л. ДОЛГОШЕВОЙ

◆

Среди книг

Издано в СССР

ПЕТРИЯ РАССКАЗЫВАЕТ...

Драгослав Михайлович. Венок Петрии. Перевод с сербскохорватского О. Кутасовой. Предисловие А. Туркова. Москва, «Прогресс», 1978.

В 1976 году в Югославии была учреждена премия имени известного сербского писателя Иво Андрича. Первым лауреатом стал Драгослав Михайлович. Менее десяти лет отделяло удостоенный премии роман «Венок Петрии» (1975) от первого сборника рассказов этого писателя «Спокойной ночи, Фред!» (1967), а имя Михайловича не только стало известным широкому читателю, но в критике ассоциировалось с новыми тенденциями, которые дали о себе знать в литературе в конце 60-х годов.

«Время символических и аллегорических, исторических, мифологических и универсальных тем в нашей прозе мало-помалу уходит,— писал в этой связи критик П. Джаджич,— и уступает место произведениям, которые смело вторгаются в конкретные человеческие конфликты, дают художественно убедительный облик современности». О новом направлении в сербской литературе говорит и автор большого и серьезного предисловия к югославскому изданию «Венка Петрии» Л. Еремич, видя основную особенность романа «в возвращении к реалистической традиции — актуальным проблемам современности, повседневного быта, конкретным житейским ситуациям, конкретному месту и времени». Не менее важной чертой «новой сербской прозы» Л. Еремич считает и полемическое утверждение ею всего «простого, захватывающе жизненного и современного» в противовес «герметичному, вневременному и эстетски литературному».

Уже первые рассказы Михайловича привлекали и темой — будничным существованием человека,— и внимательно-заботливым отношением автора к своим, прямо скажем, не очень счастливым героям. В их мире много горя, много боли и грязи, но писатель даже в самых, казалось бы, уродливых, искривленных человеческих отношениях различает проявления тепла и доброты. Трагизм и пронизывающее чувство сострадания рассказов Михайловича с еще большей силой зазвучали в романе «Когда цвели тыквы» (1968), где рассказывается о действительно трагической судьбе белградского юноши, оказавшегося в эмиграции: утратив родину, лишившись близких, он теряет нравственную опору, а с ней и надежду на возрождение.

«Венок Петрии» — бесхитростный рассказ неграмотной женщины-труженицы, в котором поднимаются серьезные нравственные проблемы, волнующие современного человека. Что делает человека человеком? Рассказ Петрии и является ответом на этот вопрос, в нем и заключена та «живая вода», без которой не прожить человеку. Не заменит ее ни пиво, ни ракия, ни даже молоко, думает героиня и заключает свой первый монолог-притчу советом: «Пей воду, приятель, каженный божий день». Этот совет символичен, ибо кроме прямого смысла — вода не раз спасала героиню от недугов — в нем содержится и призыв к нам испить из родника народного опыта.

«Нам все счастья подавай, а от его одни дурни и вырастают,— размышляет Петрия.— Беда да горе уму учат, ежели, конешно, выдюжишь, не поддашься, не окочуришься до времени. Вот и гляди теперича, что для человека лучше: счастье иль беда с горем пополам». Вся жизнь герои-

ни — ей чуть больше пятидесяти — была «бедой с горем пополам»: война, неудачное первое замужество, смерть двоих детей и изгнание из мужниного дома, второе замужество, болезни и смерть второго мужа и одинокая старость в заброшенном шахтерском поселке. Казалось бы, ничем не примечательная жизнь, прожитая, по словам героини, «в здравии и болестях, в добре и зле, в любви и ссорах, в согласии и раздорах...». Но дело в том, что прожила она ее, преодолевая зло, болезни и ссоры, умея подняться над ними, сохранить достоинство в самых трудных ситуациях, умея радоваться и сострадать. А это, как она сама скажет, не всякому дано.

Жизнь Петрии не богата яркими событиями, это сплошная череда повседневных забот и трудностей, о которых и рассказывает она, как умеет. Став женой шахтера и переехав из деревни в рабочий поселок, Петрия во многом сохраняет крестьянское отношение к миру, правда, в немалой степени дополненное опытом достаточно пережившего и много повидавшего человека, на глазах которого бесчинствовали фашисты, победила революция, а теперь строится новый мир. Искренне веря в гнев и милость святых, в гаданья и вещие сны, она проявляет вместе с тем трезвость ума и немалую смелость. Так, например, она не раздумывая встала на защиту чести доктора Ешича, оклеветанного пройдохой-знахаркой. Суеверия и предрассудки сочетаются у нее с мудрой рассудительностью. Ее острый глаз и не менее острый язык отмечают то хорошее, что вошло в жизнь шахтеров — улучшение условий их труда: автобусное сообщение, торговый центр, Дом здоровья и путевки к морю, но не пропускает она и того, что рождено равнодушием к людям, забвением их интересов.

Петрия обращается к неведомому собеседнику («Хочешь послушать? Давай. Я люблю с людьми разговаривать»), и читателю невольно начинает казаться, что он и есть этот собеседник и к нему обращена ее речь. Слушая неторопливый, внешне непритязательный, а то и корявый говор, он вспоминает близких ей по духу русских героинь В. Распутина — старую Анну («Последний срок») или Дарью, трагически переживающую гибель родной Матеры («Прощание с Матерой»). Однако аналогии, возникающие при чтении русского и сербского писателей, не ограничиваются сходством некоторых сюжетных поворотов, хотя и они сами по себе говорят о многом (закрытие рудника — затопление Матеры, прощание Дарьи с избой в Матере — и шахтеров с последним поездом в сербском поселке Брегово; они, как и Дарья избу, обряжают поезд, словно на похороны). Аналогии эти имеют и более глубокую основу и позволяют говорить о появлении в социалистических литературах сходных проблем.

Михайлович и Распутин вряд ли читали друг друга. Но обоих писателей мучительно волнует вопрос, как бы в наш стремительный век вместе с отжившими общественными формами, вместе с необходимыми экономическими преобразованиями мы не утратили бы и чего-то очень ценного из нашего духовного наследия, создаваемого многими поколениями тружеников.

Петрия — сербская женщина, жительница глухого села, затем — отдаленного шахтерского поселка. Распутинские Анна и Дарья — столь же исконно национальные характеры, только рожденные в глубинах Сибири. Но процессы, происходящие сейчас в социалистических странах, имеют общие черты. Вот, думается, почему так остро и сербский и русский прозаики ставят вопрос о непреходящих моральных ценностях, о необходимости связей между ушедшими поколениями и поколениями живущими. Разрыв этих связей, так же как и потеря того удивительного чувства единства с природой, которым наделены героини, грозит человеку серьезной опасностью — потерей духовного начала. И не случайно у обоих писателей именно женщины являются связующим звеном между поколениями, выступают хранительницами их нравственного опыта. Живя по законам совести, они не могут остаться равнодушными к чужой беде, оказывают сопротивление злу, обману, паразитизму. Поражают своей жизнестойкостью, своей способностью «выдюжить» и при этом не растерять умение улыбаться людям, радоваться солнцу, видеть поэзию и красоту жизни. Вот как вспоминает Петрия сцену на кладбище, в которой цыгане-музыканты исполняют для нее любимую песню ее покойного мужа: «Взялись мои небесные музыканты за смычки, пальцы вплелись в толстые струны, дунули в золотые трубы. На смуглых лицах раскрылись румяные губы, из белых горл выпорхнули белые птицы. Взлетели они в небо, зашелестели большой стаей над могилой, в миг один все кладбище накрыли».

Добрыми, благими, полезными делами, размышляет Петрия, и славен человек, но ведь не всякий же, понимает она, способен на это, не каждому такое дано. Не дано это распутинским пожогщикам, для которых жители Матеры всего лишь «граждане затопляемые». Душевной ущербностью поражен у сербского писателя инженер Маркович. Не в пример пожогщикам, он перекраивает жизнь шахтерского края. Только вот беда — про людей забывает. «Ежели бы людей откинуть,— говорит Петрия,— все было б как нельзя лучше». Но люди живут, думают, имеют обо всем свое мнение, и эти самые люди в конце концов и выносят суровый приговор инженеру. Единодушное осуждение рабочих заставляет Марковича навсегда покинуть эти места.

Роман «Венок Петрии» написан в форме сказа: его стилевая структура, языковое своеобразие подчинены передаче строя мыслей и чувств героини и требуют от читателя умения настроиться на ее душевно-эмоциональную волну. Отрадно, что в

сербской литературе вновь с такой силой прозвучал взволнованный человеческий голос, что в нее вернулся истинно самобытный характер. «Человек еще мало знает о человеке»,— сетует героиня. Конечно, суждения героев порой опасно отождествлять с позицией автора, но в данном случае автор заодно со своим персонажем, он призывает читателя задуматься над тем, каким интересным, необычным собеседником может быть обыкновенный человек, которому вслед за одним из героев книги Михайловича можно сказать: «И тебе, Петрия, спасибо. И ты меня сегодня кой-чему научила».

Г. ИЛЬИНА

ЧЕЛОВЕК, УМЕЮЩИЙ ГОВОРИТЬ «НЕТ!»

Антонио Буэро Вальехо. Пьесы. Перевод с испанского. Составление и послесловие Л. Синянской. Москва, «Искусство», 1977.

Хорошо помню газетный киоск недалеко от моего отеля в Мадриде: массивное пресс-папье, сделанное в виде головы каудильо, давило своей тяжестью газеты, трепетавшие на ветру.

Казалось, что чугунный Франко подавляет каждую букву, каждое слово, произнесенное в Испании.

Можно ли этому чугунному идолу сказать «нет»?

Из обстоятельного и глубокого послесловия Л. Синянской читатель узнает, что Вальехо был приговорен к смертной казни за участие в войне на стороне республиканцев, просидел в тюрьме около шести лет, был выпущен на поруки и затем, получив мировую известность, стал членом Испанской Королевской Академии. Прочитав пьесы, вошедшие в эту книгу, со всей убежденностью можно утверждать, что автор ни в одной из них не покривил душой, не смягчил ни одного слова, не сфальшивил. Неизменно, в течение почти двух десятилетий Вальехо умел говорить «нет» Франко, обесчестившему его родину.

Историческое пространство и время Вальехо всегда понимал как единство. Он чередовал декорации: дворец Одиссея в Итаке догомеровских времен сменялся мастерской Веласкеса в Мадриде или «домом глухого» Гойи, унылые лестницы или крыши современного ему «неореализма» бедняков уступали место пульсирующим космическим вспышкам «экспериментаторов», быть может, тридцатого столетия, воскрешающих при помощи электронного мозга сцены из недавней жизни. Но во всей этой своеобразной и точно выбранной Вальехо сценографии он писал об одном — о трагедии Испании, о тех, кто пытался приблизить рассвет, веря, что «с рассветом они уйдут», и о трагической вине невольных соучастников преступления.

Один из важнейших мотивов театра Вальехо — «мотив слепоты», «мотив незрячести» и «мотив ясновидения». Метафора слепоты родилась в искусстве, как известно, задолго до Вальехо.

По рыжей земле неотвратимо движутся в яму слепцы, ведомые слепым поводырем. Сейчас они упадут, с трудом подымутся и поплетутся дальше, в никуда. Неужели это шествие человечества? Нет конечно. Но иногда такого рода «прогулка» оборачивается судьбой целого народа.

«Слепые» Брейгеля... «Слепые» Метерлинка... Изможденные старики и старухи, бледнолицая красавица, ребенок — тоже, казалось бы, вся человеческая семья рядом с мертвым вожаком, мертвым священником, мертвой верой, окруженная надвигающимся на них грозным морем жизни, не зная, куда идти, среди мертвых цветов и деревьев — ждет смерти.

Иные слепцы в пьесе Вальехо «В пылающей тьме». Как веселы, динамичны, самодовольны, прагматичны пациенты интерната для слепых доктора Дон Пабло! Они настолько привыкли к своей слепоте, что давно уже считают ее нормой. А что? И с закрытыми глазами можно удобно жить, заниматься спортом и любовью и не обременять себя мыслями о какой-то иной судьбе, отличной от жизни «незрячих», как они сами себя называют. Так научил их жить такой же «незрячий», как они сами, доктор Пабло.

Но «может ли слепой водить слепого, не оба ли они упадут в яму» — так писалось еще в евангельских текстах. Как давно это началось!

Веселые, довольные своей «незрячестью» слепые Вальехо еще страшнее слепых Метерлинка. Мы понимаем: в этом гибельном самообмане слепого «исцелителя» живет Испания Франко.

Однако не все «незрячие» счастливы, иные из них бунтуют, как бунтует в интернате мятежный Игнасио: он знает — мрак скрывает звезды. Это знание опасно. Игнасио гибнет, но даже его слепой убийца тайно уже тоскует о свете.

Сродни слепоте иллюзия. Поэтому в пьесе Вальехо так много слепых предсказателей и гадалок. Одни продают саламанкские календари с предсказаниями, составленные лиценциатом Диего Торресом Вильяроэлем «на каждый день благословенного тысяча семьсот шестьдесят шестого года», другие, в наши дни, гадают на картах, как донья Ньевес в одной из трагикомедий Вальехо, обещая каждому из жителей бедного мадридского квартала крупный выигрыш на купленный в складчину лотерейный билет.

Что из того, что в «благословенном тысяча семьсот шестьдесят шестом году» из Испании с позором изгоняют, быть может, лучшего из ее государственных мужей («Народу требуется мечтатель»), а в день лотереи счастливый билет оказывается прошлогодним («Сегодня праздник»)! Людям нуж-

на надежда, «трагическая надежда»,— как сказал однажды Вальехо, и эта надежда — не иллюзия, а убежденность.

Ну вот хотя бы такая сцена. Можно представить, как рассвирепели бедняки, узнав, что выигрышный билет, на который они уповали, всего лишь выдумка доньи Бальбины. Они готовы растерзать эту выдумщицу, которая к тому же всегда корчит из себя благородную даму. Но в разгар яростной, отвратительной свалки их все же останавливает разумное человеческое слово и они понимают, из каких глубин страдания родился этот жалкий обман сеньоры и что среди них она была самой несчастной. Рождается новое для них слово — солидарность! Они защищают ее теперь с таким же неистовством, с каким только что на нее нападали. Поистине «сегодня праздник», хотя в пьесе, носящей это название, происходят и очень страшные вещи.

«Трагическая надежда» Вальехо рождается из острого, социального зрения, он жаждет обрести «ясновидение» вместо слепоты. Но не «ясновидение» хиромантов, а ясное видение художника и мужественного человека.

Гомер тоже был слепым, но ясно видел восход и гибель цивилизации, богов и смертных. Шекспировский Глостер «прозрел», когда ему выкололи глаза.

Нищий беглый каторжник Педро в «Менинах» Вальехо, убивший капитана, который воровал провиант и морил солдат голодом, полуслепыми глазами, в темноте видит в эскизе Веласкеса великую картину, которую осуждают ученые педанты от лейб-живописи. Многое можно разглядеть, если ты обладаешь мужеством видеть.

«Порою приборы воспроизводят удивительные вещи: руки, вскинутые в приветствии, огромную рептилию, город, охваченный пожаром...»

«Я видела маршировавших человекообразных и детей, оцепеневших за колючей проволокой» — это взгляд «экспериментаторов», напоминающих «фосфорическую женщину» Маяковского.

«Мы живем ценою лжи или молчания» — это из пьесы Вальехо о Веласкесе.

«На грязи ничего нельзя построить — только грязь» — таков диагноз премьер-министра короля Карла III маркиза де Эскилаче из вольной импровизации на темы испанской истории.

«На краю могилы страна, разум ее спит» —это из фантазии о Гойе. Но это не фантазия. Такова была реальность Испании шестидесятых годов.

Я помню, как в Мадриде, незадолго до смерти каудильо, я зашел в знаменитый «Атенеум» — интеллектуальные «Афины» страны, где стояла кафедра, с которой некогда выступал Гарсиа Лорка, и легендарный Рамон Мариа дель Валье Инклан ронял за столиком, попивая херес, изречения и максимы.

В помещении было затхло и пыльно. Ни шороха, ни звука. Склеп... Эзопов язык Вальехо не требовал расшифровки: он был понятен и так. В это время в стране царили уже не только молчание и ложь, но и страх. Вальехо боялись. Лучше было сделать вид, что член Королевской Академии ведет речь об истории отечественной живописи. Впрочем, Вальехо достаточно внятно стал говорить и в настоящем времени: «Кто может покончить с подлостью в подлом мире?.. Я уже ни во что не верю... Знаете, я устал быть мужчиной. А назад, в детство, не вернешься».

Вы думаете, слова эти принадлежат неудачнику? Это — исповедь преуспевающего издателя, владеющего журналом, дорогим автомобилем и юной любовницей, сеньора, обладающего могучим потребительским темпераментом и эластичной совестью. Правда, она его все-таки доконала, эта проклятая совесть. Это он, Висенте, антигерой «Подвального окна»—странной пьесы, которой Вальехо дал подзаголовок «Эксперимент»,— мальчишкой во время гражданской войны в Испании, схватив, как добычу, запас еды всей семьи, укатил на поезде, бросив маленькую сестричку Эльвериту, вскоре умершую от голода, мать, брата и отца, который из-за него потерял рассудок.

Когда отец узнал кто убил Эльвериту, он, под дикий визг и грохот воображаемого поезда, который на протяжении всей пьесы проносился в его потрясенном сознании, сам, как судья (безумный или справедливый?), казнил своего преуспевающего и несчастного сына. Грохотал, заглушая стоны палача и жертвы, поезд Удачи, поезд Возмездия.

Мотив вины — неотступный мотив пьес Вальехо.

Казнит себя за честолюбивые помыслы юности знаменитый итальянский политик де Эскилаче, который во имя мира в Испании сам отказался от власти и добровольно обрек себя на изгнание. Я думаю, что он был слишком строг к себе, этот преждевременный человек, похожий на Дон Кихота. Но Вальехо судит даже своего любимца («Народу требуется мечтатель»).

«Если вы хоть на минуту не почувствовали себя людьми двадцатого века, которых рассматривает и судит некая совесть будущего; если вы хоть на миг не ощутили себя людьми будущего, людьми, которые судят сурово и с жалостью всех, кто жил, возможно, точно так же, как вы сами, но в давние времена — то считайте, что опыт не удался»,— так говорят в пьесе «Подвальное окно» «фосфорические люди», которых Вальехо назвал экспериментаторами. Охваченный безумием старик отец в этой пьесе часами вырезает фигурки людей, изображенных на фотографиях, «спасает» их, как считает он в своем полубреду, и стремится узнать, кем же был каждый из тех, кого он спас.

Художник, хотя его преследует не безумие, а призвание и совесть, тоже «вырезает» фигурки из жизни. «Кто этот человек?» Такой вопрос мы задаем себе непрестан-

но. В двадцать втором веке этот вопрос охватил всю планету». Это тоже из комментариев «экспериментаторов» будущего.

Кто этот человек? Это вечный вопрос. Он звучит и в искусстве нашего века. По-своему, в созданном им театре, где реальность так часто переплетается с метафорой и фантастической гипотезой, решает его и Буэро Вальехо.

Порой характер ему не удается, оставаясь лишь символическим знаком, необходимым в его нравственных размышлениях. Но это бывает не часто. Обычно перед нами люди, отмеченные живой страстью, неожиданным сочетанием самых противоречивых качеств, глубиной, в которую совсем не просто заглянуть. Их рождает фантазия Вальехо, история и жизнь Испании, хотя театр его уже давно вышел за рамки явления чисто испанского феномена, став достоянием мировой сцены.

В. КОМИССАРЖЕВСКИЙ

Издано за рубежом

ПЕРВЫЙ РОМАН МАРИНА СОРЕСКУ

Marin Sorescu. Trei dinţi din faţă. Bucureşti, Editura Eminescu, 1977.

Марин Сореску. Три передних зуба. 1977.

Советские читатели хорошо знают румынского поэта Марина Сореску. Неоднократно печатались его стихи на страницах различных журналов; в сборнике молодой румынской поэзии (изданной «Прогрессом» в 1975 г.) вошла большая и интересная подборка его лирических произведений. Однако в последние годы Марин Сореску, сохраняя верность поэзии, утвердился и в других литературных жанрах. На сценах румынских театров с большим успехом идут его пьесы «Русло», «Простуда»; в периодике появляются его статьи и эссе-размышления на поэтические темы. Известен Сореску и как переводчик стихов Б. Пастернака, А. Вознесенского, Евг. Евтушенко, М. Цветаевой. И вот недавно румынский читатель познакомился с прозаиком Марином Сореску, выпустившим роман «Три передних зуба». Впервые взявшись за прозу, писатель создал произведение многоплановое, сложное по концепции и полемичное. Несомненно, смелое начинание, но нельзя забывать, что этот первый опыт в области прозы принадлежит писателю с двадцатилетним поэтическим стажем, автору одиннадцати стихотворных сборников.

— Почему вы обратились к прозе? — с этим стандартным, но естественным в данном случае вопросом обращаюсь я к писателю.

— Мне давно хотелось попробовать себя в прозе,— отвечает Марин Сореску.— Я знал, что рано или поздно стану писать и в других жанрах, а не только в поэзии, с которой я начинал. Писатель — тот же пианист, он должен уметь играть двумя руками. Ведь вы не представляете себе пианиста, играющего одной рукой? (Хотя, может быть, такие и существуют. Писатели—точно!) Итак, за поэзией последовала драматургия. Но оставалось еще свободное поле — проза. Огромное поле, которое простиралось перед моими глазами, свободное, манящее... А кроме того, я чувствовал необходимость освободиться... От чего? — спросите вы. От чего-то, что сидит во мне и не может найти отражения ни в стихах, ни в эссе, ни в драматургии...

— Что вы имеете в виду?

— Вначале я сам не мог определить, что это такое. Но после того, как начал писать, понял, что это своеобразные залежи личного жизненного опыта, требующие своего выражения. И я понял, что только в прозе можно найти «выход».

— Вы сказали: «...личный жизненный опыт». Иными словами, ваш роман основан на личном опыте? Отражается ли в нем ваша биография?

— Работая три года над романом (а начал я, быть может, и еще раньше), я понял, что каждый из нас накапливает в течение жизни (а как важно это понятие «жизнь»— твоя, моя, всех нас, жизнь человека вообще!), сознательно или нет, разного рода моменты, переживания, встречи, приключения и т. д. Это очень пестрый неоднородный материал. И вот впечатления, мгновенья, встречи, люди, которые кажутся забытыми, выпавшими из памяти, ушедшими в небытие, вдруг всплывают, врываются в сознание и «оформляются» в исключительно интересное целое. И возникает потребность рассказать об этом, поделиться с другими мыслью о том, что быстротечная смена лет, называемая жизнью, насыщена у каждого из нас исключительными, неповторимыми событиями, над смыслом которых следует призадуматься,— говорит Сореску.

Этот «автокомментарий» писателя ценен для понимания романа «Три передних зуба». Одни румынские критики называли его «философским», другие—«ироническим». Однако важно отметить и социально-бытовую специфику этого сложного произведения, а также стремление писателя показать «человеческую судьбу» в нашу эпоху.

Время, исследуемое Марином Сореску, это конец 50-х, преддверие 60-х годов, то есть период в истории современной Румынии, к критическому анализу которого обращались в последние годы многие писатели (Ал. Ивасюк «Птицы» и «Прозрение», Константин Цою «Беседка под диким виноградом», Платон Пардэу «Утренние часы» и другие). Марин Сореску вводит в роман разнообразные социальные пласты, показы-

вает жизнь рабочих, крестьян и интеллигенции. Главное внимание уделяется повседневной городской жизни с ее шумными улицами, потоком людей с ее коммунальными квартирами — своеобразными Ноевыми ковчегами, где обитает много жильцов, где причудливо сплетаются разные человеческие судьбы. В этом смысле роман имеет определенную познавательную ценность, интересно и живо отражая жизнь Бухареста того времени, да и страны в целом.

На этом фоне раскрываются судьбы трех героев. Три друга — журналисты Адриан и Тугор и скульптор Вал — люди молодые, вступающие в жизнь, полные энтузиазма, желания работать, созидать. Роман показывает сложный процесс познания ими окружающего мира, их участие в борьбе против несправедливости.

— В этом плане следует понимать и заглавие романа,— говорит Марин Сореску.— «Три передних зуба» — это те зубы, которые обнажаются при улыбке, зубы, которые определяют выражение лица — веселое или грустное. Зубы, которыми человек хватает, кусает, грызет. И зубы, которые ему выбивает, вышибает своими ударами... жизнь.

Мы узнаем метафоричность, типичную для Сореску-поэта. Обнаженно трезвую, ироничную и даже саркастическую — жизнь наносит героям немало ударов. И одна из проблем, поставленных в романе, заключается в следующем: человеку нужна мечта, без нее он не может существовать. Но мечта, которая не включается органически в социально-политический контекст эпохи, может привести человека к гибели. «А вдруг Вал будет раздавлен тем идеалом, за который он ухватился? Вдруг в один прекрасный день этот идеал вопреки его воле превратится в бедствие?» — читаем мы в романе. И действительно, Вал окажется жертвой своего собственного идеала, своей мечты. Грезы о прекрасном, воплощенные художником в образе Ольги, не сбываются, и это приводит художника к гибели.

Однако трагически складывается только судьба Вала. Биографии Адриана и Тудора, несмотря на все трудности, завершаются благополучно.

— Мне кажется, мой роман,— уточняет Марин Сореску,— в первую очередь роман любовный. Роман о такой любви, которая должна была окрылить человека при расставании с миром юношеских идеалов и столкновении с миром трезвых планов и зрелых начинаний, роман о прекрасных порывах, о том возрасте, когда все полно прелести.

— Ваш роман построен очень солидно и фундаментально. Как же вы не заплатили дань своему поэтическому прошлому? Не пошли по обычному для многих поэтов пути лирической прозы?

— Я сознательно избегал этого,— говорит Сореску.— Не хотел быть поэтом, который пишет и романы. Я провел губкой и стер окончательно все то, чему научился в области поэзии, пытался забыть все свои прежние навыки, решил начать с нуля и самостоятельно познать законы прозы. Я знал, что такие законы существуют, но не знал, каковы они (правда, и сейчас мало что знаю о них). Наверное, я походил на человека, попавшего в незнакомый, но чарующий мир. Я стремился избежать так называемой «поэтической нагрузки», которая только разжижает прозу, переставая при этом быть и поэзией. Я полностью доверился «голому факту», повседневному событию, так называемым незначительным подробностям. И понял, что все это так же необходимо, как цемент, скрепляющий постройку. В чем-то мне пригодился мой опыт драматурга. Признаюсь, меня волновала проблема построения, архитектуры моего романа. Хотелось создать роман, который бы крепко стоял на ногах. Должен сказать, что теперь мое уважение к прозаикам значительно возросло, я понял, как долго нужно высиживать за рабочим столом, чтобы твой роман обрел движение, обрел жизнь. И понял также, что в прозе нужна дисциплина, которая между прочим не вредит и поэтам...— заключает Марин Сореску.

И все-таки как ни старался прозаик Марин Сореску забыть, что он — поэт, полностью ему это не удалось. Мы узнаем поэтический дар того, кто написал «Один среди поэтов», «Смерть часов», «У летучих мышей». Ирония Сореску-прозаика проявляется в своеобразном пародировании напыщенного сентиментального стиля, в издевке над клише, над штампами, в своеобразных подражаниях торжественному слогу. Наряду с такими приемами следует отметить открыто гротескные зарисовки и сцены (например, в корчме, где Вал просит руку Ольги у ее мужа Шандру, и так далее).

— Собираетесь ли вы и дальше писать прозу?

— Да,— отвечает Марин Сореску,— хочу, чтобы проза стала для меня постоянным жанром. Хочу... но не знаю, о чем буду еще писать. Хочется самому себе доставить радость неожиданности, радость сюрприза. Мы должны уметь доставлять сами себе радости...

ТАТЬЯНА НИКОЛЕСКУ

г. Бухарест

АВСТРИЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ ВСПОМИНАЮТ

ПРЕОДОЛЕТЬ ОТЧАЯНИЕ

Thomas Bernhard. Der Atem. Salzburg, Residenz Verlag, 1978.

Томас Бернгард. Дыхание. 1978.

Профессор Венского университета Венделин Шмидт-Денглер — один из наиболее известных австрийских литературоведов того поколения, которое сейчас принято называть «сравнительно молодым» (род. в 1942 г.). Блестящий лектор и скрупулезный ученый, он отличается широтой научных

интересов, высокой работоспособностью и энергией.

Известность Шмидт-Денглеру принесли работы о послевоенной австрийской прозе, прежде всего о крупнейшем австрийском романисте этого времени Хаймито фон Додерере. В сводном энциклопедическом компендиуме «Немецкая литература современности», который выпускает штутгартское издательство Крёнер (вышли два тома — 1976 и 1977 гг.), перу В. Шмидт-Денглера принадлежат главы о Г. Айзенрайхе и Т. Бернгарде. К этой последней и примыкает публикуемая «Иностранной литературой» рецензия.

Томас Бернгард относится к самым плодовитым писателям Австрии: только минувшей весной вышли три его книги — драма «Кант», повесть «Да» и, пожалуй, самая интересная из них — третья часть автобиографии «Дыхание» с подзаголовком «Выбор». Выбор чего? Жизни. И в этом совершенно новый тон в творчестве Бернгарда. Кто знаком с его прежними произведениями, знает, что прежде этот тон был бы невозможен, ибо «все смешно, когда думаешь о смерти», как писатель провозгласил еще в 1968 году. Под знаком смерти написаны все его прежние произведения — и драматические и прозаические, так что их героям не было позволено найти в жизни хоть йоту чего-либо положительного. Все они, начиная с первенца, романа «Стужа» (1973) и кончая романом «Корректура» (1975), сосредоточены на мысли о смерти как единственной цели, стоящей перед человеком. Всюду в них разложение, упадок и преступления, совершаемые вследствие отчаяния, с которым человек не может совладать.

Понятным было раздражение критики: действительность ведь не такова, на что Бернгарду неоднократно указывали, признавая в нем значительный талант. Особенно мизерабельно выглядела в изображении Бернгарда его родина, австрийская провинция. Нередко казалось, что именно ей адресован весь его пафос отрицания. Ничуть не бывало, Австрия поставляла лишь знакомые писателю декорации, на фоне которых он хотел наглядно представить общую ситуацию безнадежности человека. Тироль, эта Мекка туристов, нашла изображение в повести «Амрас» (1964), Верхняя Австрия, где Бернгард живет в настоящее время, является местом действия большинства его рассказов; а о Зальцбурге, знаменитом своими музыкальными фестивалями, он неоднократно высказывается на протяжении своей автобиографии («Причина», 1975, «Подвал», 1976) в таком примерно духе: «Зальцбург — это обманчивый фасад, на котором мир непрерывно пишет свое вранье и за которым обречен на закат и вымирание действительно творческий дух». Зальцбург, а точнее Зальцбург 1949 года, является местом действия и третьей части этой автобиографии, правда, место действия редуцировано здесь до палаты в одной из зальцбургских больниц, куда восемнадцатилетний Бернгард был доставлен с тяжелой формой плеврита. Кончается книга тем, что автора-пациента после короткого пребывания в санатории переводят в туберкулезный диспансер.

От Бернгарда трудно ожидать изображения жизни в эпической широте. То, что он предлагает,— лишь «клочки воспоминаний», по его собственному определению. И это вовсе не идиллические воспоминания. Бернгард находился в больнице, когда там же умер его дед, единственный человек, который был ему по-настоящему дорог. Это был писатель Иоганнес Фроймбихлер, который научил юного Бернгарда читать и открыл для него мир литературы. И вот он умер на глазах жестоко страдавшего от собственной болезни юноши, привыкшего ежедневно наблюдать смерть. Перед лицом этой наступающей со всех сторон смерти юноша и совершает свой выбор. Он собирает все свои душевные силы, чтобы выздороветь.

Книге, как и почти всем произведениям Бернгарда, предпослан эпиграф. На сей раз из Паскаля: «Поскольку люди не в силах преодолеть смерть, нищету и незнание, они предпочитают не думать об этом». Бернгард не может смириться с такой позицией. Обыкновенному счастью, к которому стремятся люди, он противопоставляет мысль о смерти по всей видимости потому, что видит в ней единственное основание для того, чтобы выбрать жизнь. Этой мудростью автор также обязан своему деду, а культурно-исторически она восходит к романтическим представлениям о болезни и смерти: «Больной — ясновидец, никому другому мир не предстает во всей своей наготе». Бернгард хочет представить то, что мы называем жизнью, в виде обманчивого почти опасного эвфемизма. И несмотря на это, он выбирает жизнь; он настаивает на этом парадоксе, на том, что только жизнью познается смерть и только смерть придает смысл жизни.

Автобиографическая трилогия является, на мой взгляд, поворотным пунктом в творчестве Бернгарда. Он давно уже зарекомендовал себя типичным «разрушителем повествования», который не рассказывает о жизни, а описывает состояния, главным образом состояния распада, уничтожения. Но взявшись сообщить что-то о своей жизни, он был вынужден рассказывать. Правда, на своем особом языке, с бесконечными глобальными предложениями, с обилием слов, выражающих тотальность — «всегда», «везде» и т. п., и с обилием превосходных степеней. «В моих книгах все искусственно»,— признался Бернгард в 1971 году. Теперь же он вынужден считаться с реальностью, рассказывая о том, что было в действительности, хотя он избирает из нее то, что его интересует,— сцены смерти и болезни. Больница и кладбище, можно сказать, излюбленные места его писаний. Многолюдного общества Бернгард избегает, чтобы оградить свою индивидуальность. Тяжелая болезнь погребла его надежды стать певцом. С гимназией он по-

рвал, избрав «противоположное направление»: «Я никогда не хотел кем-то стать, избрать какую-либо профессию, я всегда хотел стать только самим собой». И он сопротивляется всем тем, кто посягает на эту его сущность,— национал-социалистским учителям, клерикалам, католикам, да и врачам, которые за надменностью скрывают свою растерянность.

Одиночество Бернгарда не следует путать с дендизмом, как и его приверженность теме смерти не имеет ничего общего с декадентством. Как раз автобиографическая трилогия ясно показывает, что эта тема дана, можно сказать, навязана Бернгарду самой жизнью. И вспоминая о ее зарождении, писатель становится максимально правдивым и естественным, порывая с искусственностью прежних книг.

«Дыхание» Бернгарда выгодно отличается от потока книг мемуарного жанра, представляющих собой сборники анекдотов и переполнивших в последнее время книжный рынок немецкоязычных стран. Сосредоточенность на немногих, тщательно и выразительно выписанных сценах характеризует Бернгарда как мастера, в лаконизме усматривающего секрет мастерства.

Трудно ответить на вопрос, почему Бернгард вообще пишет, будучи настроенным столь мрачно по отношению к жизни. Может быть, он пытается в этих воспоминаниях преодолеть собственную растерянность и смятение, хотя бы отчасти переложив их на читателей, на других. Если так, то он преуспел в этом больше, чем в своих предыдущих книгах.

ВЕНДЕЛИН ШМИДТ-ДЕНГЛЕР

г. Вена

ПОЭЗИЯ И ПРАВДА ЭЛИАСА КАНЕТТИ

Elias Canetti. Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend, 1977. München-Wien, Hanser, 1977.

Элиас Канетти. Спасенный язык. История юности. 1977

Вероятно, во всякий час любой национальной литературы есть у нее свой патриарх. Не обязательно Нестор, долгожитель, обломок рассеявшихся эпох, а хотя бы просто непререкаемый авторитет, лидер. Каждое слово которого ожидаемо. О котором уважительно шепчут: классик!

В австрийской литературе начала века таким был Гофмансталь; на смену ему пришли Карл Краус и Рильке. В довоенные годы магистром писательского ордена был Роберт Музиль — хотя о нем и не слышал рядовой, широкий читатель, упивавшийся юмором Рода-Роды или психологией Стефана Цвейга. В послевоенные — «золотое слово» принадлежало Додереру. После его смерти, с конца шестидесятых годов,— Элиасу Канетти.

Литературная судьба теперешнего патриарха австрийской словесности весьма необычна. Слава его зиждется на единственном романе, опубликованном к тому же около сорока лет назад. Роман называется «Ослепление». Он и в самом деле принадлежит к числу блестящих творений богатой на хорошую прозу немецкоязычной литературы нашего века.

В главном герое книги схвачены и выставлены в незлобиво смешном и несколько утрированном виде многие неотъемлемые черточки людей, посвятивших себя «искусству медленного чтения», как назвал филологию академик Щерба. Этот герой — профессор Кин, страстный книгочей, влюбленный в свой вымышленный книжный мир настолько, что уже не может не смешивать его в чудаковатых порывах с миром реальным. Взращенная непрерывной привычкой чтения потребность в идеализации посылает ему горчайшие испытания. Среди них, конечно, и редко минующая людей этого типа неудачная, несчастливая женитьба — плод, увы, обычного ослепления. Восторженное благоговение перед культурой, пленившее профессора в его избраннице, на поверку оказалось грубой имитацией, нехитрым способом рассчитанного прельщения. Ангелоподобное существо обернулось ведьмой с железной хваткой — и профессора вскоре вытолкали на улицу.

Интеллигентный муж под каблуком у мещанки жены — ситуация, избитая расхожим юмором. Сводись в романе Канетти дело только к ней, масштаб его был бы гораздо мельче. Писатель сумел придать сюжету характер злободневной гротескно-сатирической притчи, напоминавшей о нарастающих угрозах фашизма, который как раз в это время приступал к расправе над европейской культурой.

«Ослепление» было первой книгой Канетти. Словесная вязь, композиция, пластика, юмор — все в ней указывало на яркий писательский дар. Первенец писателя принес ему дружбу мэтров — Роберта Музиля и Германа Броха. Дружба с Брохом и сыграла, пожалуй, роковую роль в его дальнейшей судьбе.

Сам увлекшийся от художественной литературы к массовой психологии, Брох увлек за собой и Канетти. Увлек настолько, что тот на долгие годы оставил писательство, целиком отдавшись социологическим изысканиям.

Занимался он ими в Лондоне, куда эмигрировал после аншлюса и где живет по сие время. Там же спустя двадцать лет состоялось возвращение Канетти в литературу. Произошло оно не без участия известной английской писательницы Айрис Мердок. Прочитав однажды «Ослепление», Мердок пришла в бурный восторг, который излила в пространной статье в «Энкаунтере», где провозгласила всеми забытого Канетти своим учителем. Вскоре вышел навеянный этим знакомством роман Айрис

Мердок «Бегство от волшебника» — с посвящением австрийскому писателю.

Столь горячие изъявления признательности не могли не расшевелить старого маэстро. С начала шестидесятых годов западногерманское издательство Ханзер вновь начинает регулярно выпускать книги писателя Элиаса Канетти — сборники афоризмов, очерки путешествий на Восток, литературоведческие штудии о Кафке, характерологическую, восходящую к традиции Теофраста книжку «Слышавший собственными ушами» (1975), литературно-критические эссе. Были изданы пьесы Канетти — предвосхищающие Беккета опыты сценического гротеска, которые он успел произвести в тридцатые годы, до того как его «сманил» Брох.

И вот новая книга Канетти. Нет, не роман, как надеялись его поклонники, вернее, не совсем роман. «Спасенный язык» — романизированная автобиография, освещающая первые шестнадцать лет жизни писателя, очередной опыт неразрывного слияния поэзии и правды.

В рассказах писателей о своем детстве есть особая прелесть. Похоже, что детство — вообще беспроигрышная тема литературы, неисчерпаемый ее резервуар. В австрийской литературе, однако, прямых автобиографических свидетельств высокой литературной пробы наберется немного, и книга Канетти, без сомнения, в их числе.

Судьба (нередкая в Австрии) распорядилась так, что в детстве Канетти сталкивался с представителями самых разных наречий и наций. Он родился на южной окраине Австро-Венгрии, в Болгарии, в тревожном 1905 году, в семье еврея-коммерсанта, выходца из Испании. Шесть лет жизни в устье Дуная, затем два года в Манчестере, три года в Вене и пять в Цюрихе — вот топографические слагаемые этого детства. Как видим, Вена занимает не так уж много места в биографии юного австрийского подданного. Более того, Канетти признается, что овладел немецким лишь к десяти годам, успев забыть болгарский и выучить английский. В семье говорили по-испански.

Проясняются, таким образом, глубинные истоки какого-то «не немецкого» немецкого языка Канетти — слишком округлого, гармоничного, сбалансированного, непривычного для слуха человека, воспитанного на традиционно готическом строе.

Непривычен и отказ от распространенного в немецких землях нажима (особенно в таком уж жанре!) на «внутреннее» становление героя, отказ от модели «романа развития». В работе о Кафке Канетти писал: «У того кто думает, что ему дано отделять свой внутренний мир от внешнего, вовсе нет никакого внутреннего мира, заслуживающего отделения». Эти слова годятся в эпиграф к его новой книге.

Оставаясь в рамках чисто семейной хроники, Канетти сумел дать широкий социальный спектр, передать атмосферу общественной сумятицы эпохи. Кого только не встретишь на страницах этой книги! Еврейские купцы-талмудисты и лощеные австрийские офицеры, русские книголюбы (самые желанные собеседники для матери мальчика, наделенной духовными интересами) и бродяги цыгане, педантичные английские менторы и лукавые швейцарские экономки; турки, греки, армяне, румыны; банкиры, дирижеры, водопроводчики, антиквары...

Живописнейшие портреты отца, матери, бабушек, дедушек, многочисленных сородичей, занимающих самые разные ступени социальной лестницы, а также портреты учителей и соучеников складываются вместе в живую, выразительную мозаику. На ней отчетливо проступают как общеевропейские черты (матроски для мальчиков и брюки в серую полоску для мужчин, поголовное увлечение Ником Картером и Натом Пинкертоном, распространение футбола и тенниса и тому подобные неисчислимые детали), так и национальные — австрийская небрежность и музыкальность, английский консервативный порядок, швейцарская бережливость и терпимость, некоторая непринужденная простота в вопросах физиологии и какой-то особенно напряженный драматизм отношений внутри еврейских семей. (Дед Канетти навсегда проклял дочь за то, что она вышла замуж за человека беднее себя; сам юноша едва избежал проклятия матери за то, что не обнаружил и не захотел воспитать в себе достаточно энергичной воли к самоутверждению в мире.)

Особенно красочны, пожалуй, эпизоды раннего детства, наполненного ярким солнцем и прохладной тенью, щебетом щеглов и гомоном волн, ежедневными, потрясающими душу открытиями и узнаваниями. Человеку, не бывавшему в детстве в этих широтах, первая часть книги напомнит прозу Катаева. Мое детство прошло в Таганроге, и литературные ассоциации мне не понадобились; описания Канетти вызвали в памяти и жаркий булыжник базарной площади, и так же плюющих на ней верблюдов, и те же разговоры о цыганах, которые-де воруют детей и варят из них мыло, и тот же пряный запах первой мартовской зелени, и дурманящий запах акаций, и запах жареных семечек, жареной кукурузы...

Да не соблазнится читатель ассоциацией — через «запахи» — с Прустом; Канетти ничуть не похож на него, он скорее «анти-Пруст». В его книге и в помине нет распада на факты и рефлексии, переполнивших всю послепрустовскую западную литературу. Характеры и обстоятельства выписаны у Канетти с классической ясностью.

О духовном пути юноши в мире после переворота Канетти поведает в следующей своей книге. Во всяком случае, он сообщил критикам, что работает над ней.

Ю. АРХИПОВ

Из месяца в месяц

АРГЕНТИНА

С успехом на сцене ведущего драматического театра аргентинской столицы «Генерал Сан-Мартин» идет пьеса А. П. Чехова «Вишневый сад» в постановке режиссера Омара Грассо. Театральные критики единодушно отмечают несомненную удачу этого спектакля, приуроченного к 74-й годовщине постановки «Вишневого сада» на сцене Московского Художественного театра.

На снимке: Алисия Бердаксагар (Раневская), Мигель Лихеро (Гаев) и режиссер Омар Грассо на репетиции «Вишневого сада».

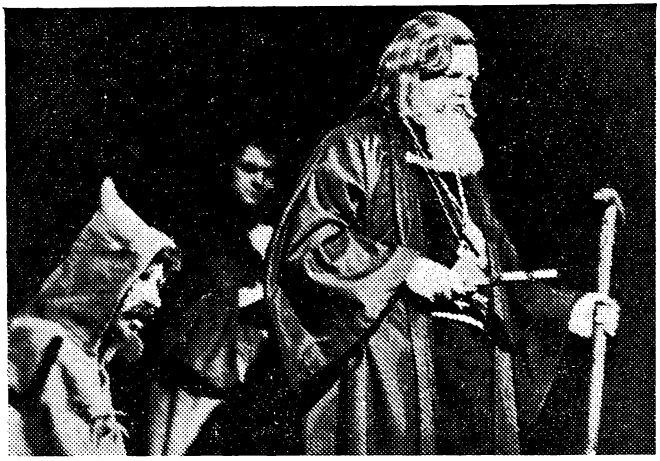
(Газета «Ла насьон»)

БОЛГАРИЯ

НЕУВЯДАЕМОЕ ИСКУССТВО ЭМИЛИЯНА СТАНЕВА

«Дневник с продолжением» — под таким заглавием публикует еженедельник «Народна култура» отрывки из книги Надежды Станевой, жены Эмилияна Станева, которую она подготовила к печати незадолго до смерти писателя.

«Смерть Эмилияна Станева,— писал еженедельник «Литературен фронт»,— воспринята нашей общественностью, читателями и почитателями литературы во всех уголках нашей родины как одна из самых тяжелых утрат для болгарской литературы и культуры. Самобытный мастер Эмилиян Станев оставил неповторимые образцы прозы в области рассказа, повести, новеллы и романа, произведения неувядающей прелести и замечательной силы. Подлинный расцвет его творчества приходится на годы народной власти в нашей стране, когда бурные революционные перемены в жизни вызвали наиболее полное проявление его могучего и самобытного таланта. Так родились десятки новых книг, среди которых — «Похититель персиков», «Тихим вечером», «Иван Кондарев», «Легенда о Сибине, князе преславском», «Антихрист», «Тихик и Назарий» и много других. Творчество Эмилияна Станева стало одной из вершин болгарской литературы. Одинаково глубокий, пластичный и проникновенный художник как в исторических произведениях, так и в анималистических рассказах и повестях, он по праву признан классиком болгарской литературы».



На снимке: сцена из пьесы пловдивского театра «Антихрист» по одноименной книге Эмилияна Станева.

(Журнал «Театр»)

Журнал «Пламк» поместил последнее произведение Эмилияна Станева — рассказ «Во сне и наяву».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ИНТЕРВЬЮ С БАРБАРОЙ ПИМ

Барбара Пим, популярность которой растет в Англии с каждым новым вышедшим ее произведением, в интервью представителю газеты «Таймс» высказалась на тему о судьбе романа в современном обществе. По мнению Барбары Пим, именно реалистический роман способен наиболее полно передать судьбы и трагедии человека столетия. «Я убеждена,— заметила Барбара Пим,— что за таким романом большое будущее, несмотря на все теоретизирования авангардистских критиков».

На вопрос, кого из писателей прошлого Барбара Пим считает своими учителями, она ответила: «Джейн Остин». У нее она училась видеть за кажущимися мелочами жизни важное, социально типичное.

«ЭТО БЫ МОГ НАПИСАТЬ ТЕККЕРЕЙ»

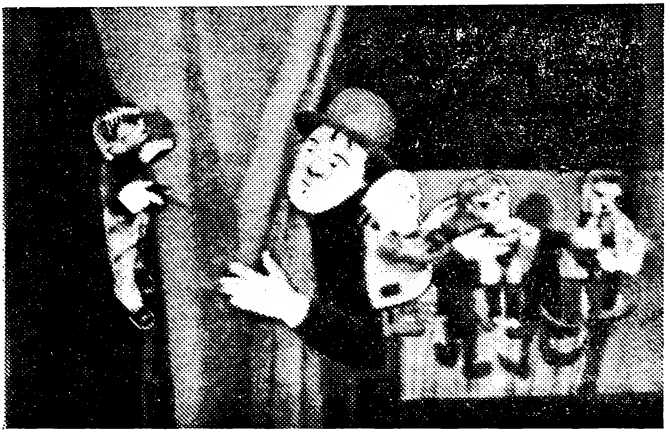
Английские литературоведы единодушно сходятся во мнении, что биография одного из крупнейших романистов викторианской эпохи Уильяма Теккерея с большим трудом поддается описанию, поскольку материалы, касающиеся его личной жизни, были уничтожены по настоянию писателя его дочерьми.

Однако, пишет Малли Хардвик в журнале «Букс энд букмен», Маргарет Форстер в своей новой книге «Уильям Мейкпис Теккерей. Воспоминания викторианского джентльмена» превосходно создает «автобиографию». Маргарет Форстер полагает, что отсутствие автобиографических материалов восполняется сведениями о жизни писателя, которые содержатся в самих произведениях Теккерея. В них можно найти и описание драматических отношений писателя с женой, у которой довольно скоро после свадьбы обнаружилось тяжелое и неизлечимое душевное заболевание, и рассказ о трагическом романе с Джейн Брукфильд, сыгравшей важную роль в жизни писателя.

М. Хардвик дает высокую оценку книге М. Форстер, отмечая такт, с которым она написана, и в то же время несомненную компетентность писательницы, сумевшей создать иллюзию, не покидающую до последней страницы, что перед

В Лондоне состоялся первый международный фестиваль кукольного театра, в котором приняли участие пятнадцать творческих коллективов из многих стран мира, в том числе из Советского Союза.
На снимке: сцена из моноспектакля известного французского кукловода Жан-Поля Юбера, с успехом прошедшего на фестивале.

(Еженедельник «Обсервер»)



нами проза самого Теккерея. Заключая обзор этой книги, М. Хардвик пишет: «Это и в самом деле та биография, которую мог бы написать сам Теккерей».

ВЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К Т. ДЕРИ

На маленьком дворе Северных ремонтных мастерских венгерского управления государственных железных дорог, где на путях стоят паровозы, в точности такие, какие были в 50-е годы, где ревет компрессор и у полуразрушенной кирпичной стены двое молодых рабочих укладывают на тележки чугунные чушки, известный венгерский кинорежиссер Карой Макк снимает телевизионный фильм «За кирпичной стеной» по одноименной новелле крупнейшего венгерского писателя Тибора Дери.

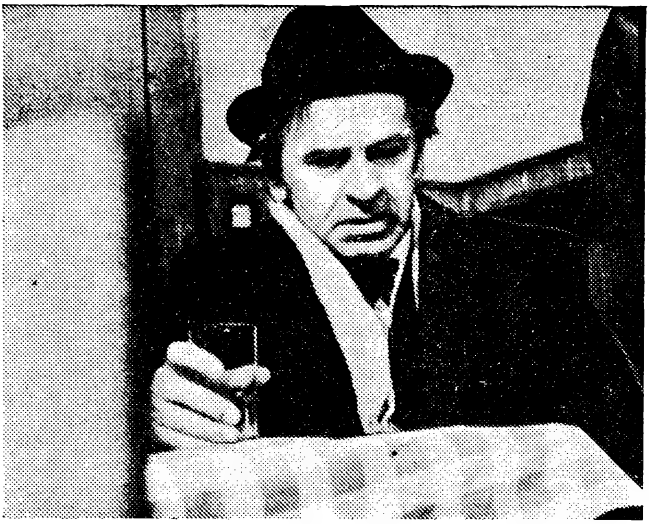
В центре внимания автора новеллы — сложные конфликты 50-х годов. На небольшом промышленном предприятии постоянно происходят мелкие кражи. Буди, главный герой, обязан принять меры, чтобы положить конец хищениям. Он устраивает собрание на производстве, где разоблачает воров. Виновных сурово наказывают.

Этот фильм жестче, резче рассказывает о том же, о чем фильм «Любовь», снятый К. Макком в 1970 году по новеллам Т. Дери «Любовь» и «Две женщины». Фильм «Любовь» получил широкую известность, обошел многие экраны мира.

И теперь, по прошествии восьми лет, К. Макк снова обратился к творчеству Т. Дери. Вот как говорит об этом сам режиссер в интервью, опубликованном в журнале «Фильм, синхаз, мюжика»:

— Я постоянно перечитываю Тибора Дери и чуть ли не в каждой строке открываю такое, что волнует и меня, из чего, как мне кажется, хорошо было бы сделать фильм. То же происходит со мной, когда я читаю Эркеня. Я не принадлежу к тем режиссерам, которые могут снимать фильм, основываясь только на своих личных переживаниях. Новелла Дери — это крик, драматическое предупреждение. Предупреждение о том, что человек не должен превращаться в бездушное орудие, в автомат. Честный человек должен думать и о выборе средств, даже если он и стремится к самым высоким целям.

Дери написал свою новеллу в 1955 году, литературный материал настолько плотный и цельный, настолько сценичный, что мне ничего не хочется туда добавлять, даже не хочется дополнять его другим рассказом Дери.



На снимке: исполнитель главной роли в фильме «За кирпичной стеной» — актер братиславского театра Йозеф Кронер.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА

ФЕСТИВАЛЬ В УАГАДУГУ

Панафриканские кинофестивали (ФЕСПАКО) в Уагадугу — столице Верхней Вольты — стали неотъемлемой частью культурных традиций континента. В фестивале приняли участие многие африканские страны. Главный приз присужден малийскому режиссеру Сулейману Сиссе за фильм «Баара» («ИЛ» № 10, 1978). Как пишет журнал «Жён Африк», внимание зрителей привлек шедший вне конкурса фильм известного сенегальского писателя и режиссера Сембена

На снимке: исполнительница главной роли в фильме «Чеддо» — актриса Шабара Н'Дайя.

(Журнал «Фильм»)

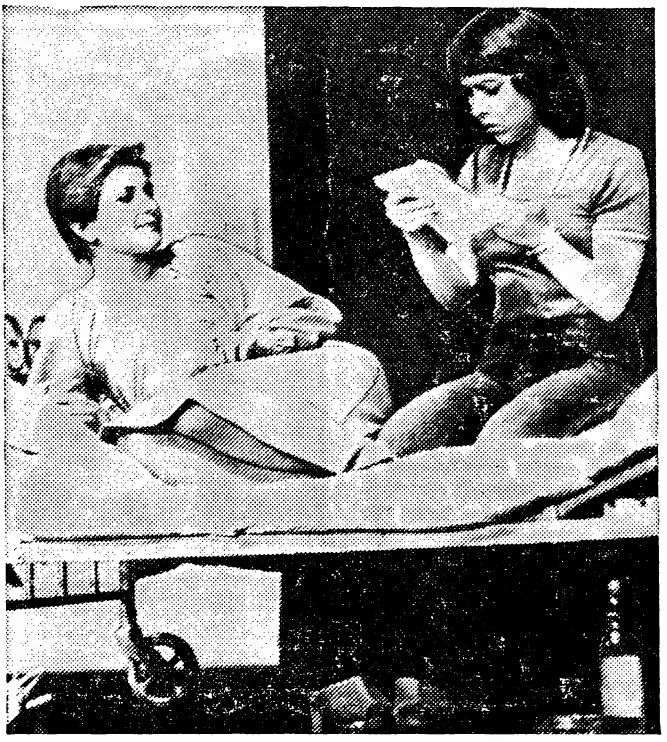
Усмана «Чеддо», который являет собой блестящий пример зрелого африканского кино, где наследие национальной культуры поставлено на службу идеи освобождения.

ВЬЕТНАМ

20-ЛЕТИЕ ИНСТИТУТА

Исполнилось 20 лет Институту литературы Вьетнама, созданному специальным постановлением правительства страны в 1959 году.

За эти годы сотрудники Института подготовили более 50 научных трудов и монографий, посвященных различным проблемам национальной и мировой литературы, в том числе и советской. Среди текущих работ Института привлекают внимание такие коллективные труды, как «Вьетнамская литература и историческое отражение борьбы вьетнамского народа против китайских агрессоров», «Великий вьетнамский поэт Нгуен Чай», 600-летие со дня рождения которого будет отмечаться в 1980 году.



На снимке: Корнелия Клюге в роли Ютты и Гитта Швайгхёфер в роли ее подруги Росвиты в спектакле театра города Анклам «Ютта, или Дети Дамуца».

(Журнал «Театер дер цайт»)

ГДР

ПЬЕСА ГЕЛЬМУТА БЕЦА

...Маленький городок Дамуц на берегу Эльбы. Разные люди, разные судьбы, радости и горести, свои проблемы, планы на будущее, воспоминания о прошлом — словом, все, что характерно для повседневной жизни... На этом фоне — история молодой работницы Ютты, матери двух детей, ее взаимоотношения с окружающими людьми, вопросы ответственности перед собой и перед другими, которые ей предстоит решить.

«Несколько месяцев в году я провожу в небольшом городе, куда уезжаю, чтобы спокойно поработать,— рассказал в интервью журналу «Театер дер цайт» автор пьесы «Ютта, или Дети Дамуца» Гельмут Бец.— Я увидел там много того, что меня по-настоящему заинтересовало и взволновало. Мне пришлось отказаться от своих планов, и я стал работать над пьесой о Дамуце, прообразом которого стал этот городок».

Гельмут Бец был актером, режиссером, затем стал писать либретто и пьесы для радио. «Ютта, или Дети Дамуца» тоже сначала была написана как радиопьеса, а затем переработана для театра. Она была поставлена в городе Галле, а затем в театре города Анклам. Как отмечает рецензент журнала «Театер дер цайт», режиссеру Клаусу Штефану в театре Анклама удалось создать очень интересный спектакль. По мнению рецензента, пьеса эта будет пользоваться особенным успехом в небольших городах, похожих на Дамуц.

«Гельмут Бец сумел показать нашу действительность, наше общество,— пишет рецензент еженедельника «Зонntаг».— Своей пьесой он безусловно внес большой вклад в современную драматургию ГДР».

ИНДИЯ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ДЖЕЯКАНТАНА

Мадрасское прогрессивное издательство «Нью сенчури бук хауз» приступило к изданию десятитомного собрания сочинений крупнейшего прозаика штата Тамилнад Дандапани Джеякантана. В него войдут труды писателя за четверть века творческой деятельности. До сих пор рассказы, повести и романы Джеякантана публиковались в различных журналах, часто с продолжениями, а также отдельными брошюрами.

В десятитомник Джеякантана в числе наиболее из-

вестных работ войдет роман «Разное время, разные люди», удостоенный высшей награды Индии — премии Литературной академии страны (см. «ИЛ» № 7, 1973). Будут включены также те произведения, по мотивам, которых поставлены кинофильмы (один из них — «Такой же, как и ты» — демонстрировался в Советском Союзе).

В СССР на русский язык переведены повесть Джеякантана «Жизнь зовет» (издательство «Прогресс», 1965), а также рассказы, напечатанные в сборниках «Свет в храме» (М., 1971), «Лесной жасмин» (М., 1974) «Пассажир дневного экспресса» (М., 1977) и в журнале «Наука и религия» (1968, 1979).

ИНДОНЕЗИЯ

«ПЕСНЯ, ОСЕДЛАВШАЯ ВОЛНУ»

По сообщению газеты «Суара карья», джакартское издательство Диан Ракьят выпустило второй по счету сборник стихов старейшего индонезийского писателя и деятеля культуры Сутана Такдира Алишахбаны «Песня, оседлавшая волну». По мнению критика Корри Л. Лампан, новая книга является как бы продолжением раннего стихотворного цикла поэта «Разорванные облака», увидевшего свет еще в 1935 г. Включенные в сборник 19 стихотворений были созданы в период с 1933 по 1974 год.

Стихи Алишахбаны, утверждает критик, не похожи на рефлектирующую, герметичную и порой всеотрицающую поэзию, ставшую модной в нынешней Индонезии; их отличают гражданские, жизнеутверждающие мотивы.

ИСПАНИЯ

НОВЫЙ РОМАН МИГЕЛЯ ДЕЛИБЕСА

Имя Мигеля Делибеса хорошо известно советскому читателю. Лучшие книги этого писателя, лауреата литературных премий, члена Королевской Академии переведены на русский язык. Творчество Делибеса неразрывно связано с Кастилией, о природе и людях которой он рассказывает. Нравственные и духовные ценности, утратившие свое значение в современном городе, противопоставление мира простых людей бездушному обществу потребления — вот основные темы его книг.

Опубликованный недавно новый роман писателя «Сеньор Кайо и выборы» продолжает, как отмечает критика, эту магистральную линию его творчества. Действие романа происходит в глухой кастильской деревушке, куда в разгар предвыборной кампании приезжает группа представителей одной из ведущих политических партий. Эти люди попадают в мир абсолютно им незнакомый и чуждый: ведь претендуя на то, чтобы представлять свой народ, они, по существу, совершенно его не знают. «Охотясь за голосами», приехавшие открывают для себя этот прекрасный край, его суровую природу, его немногословных и сдержанных жителей. Нравственный конфликт между одним из крестьян, сеньором Кайо, и Виктором, баллотирующимся на пост депутата от провинции, и составляет основную тему романа. Сеньор Кайо живет в полном согласии с самим собой и с окружающим миром. Его внутренняя независимость и свобода основаны на том, что все необходимое он в состоянии сделать собственными руками. Столкновение между этим человеком и депутатом становится, по-существу, столкновением двух цивилизаций, двух миров, результатом которого станет пересмотр Виктором всех ценностей, в которые он беззаветно верил.

Во всех рецензиях на роман критика особое внимание уделяет языку писателя, подчеркивая, что борьба за его чистоту всегда была одной из основных творческих задач Мигеля Делибеса. «В «Сеньоре Кайо»,— сказал в этой связи сам писатель в интервью, данном газете «Эль паис»,— я противопоставляю жаргон, на котором изъясняется значительная часть молодежи, точному и суровому языку крестьян. Я не питаю никаких иллюзий относительно судьбы, ожидающей этот язык. Те немногие молодые люди, что еще остаются в деревне, находятся под большим влиянием радио и телевидения. Поэтому, к сожалению, размеренный и мудрый язык старых крестьян, сеньоров Кайо, умрет вместе с ними».

Испанская критика единодушно указывает на социальную значительность проблем, поднятых писателем. Тот факт, что выход в свет книги совпал со всеобщими выборами в Испании, усилил ее злободневность и интерес к ней у читателей.

ИТАЛИЯ

ФИЛЬМ-АЛЛЕГОРИЯ ФЕЛЛИНИ

Каждое произведение Федерико Феллини вызывает особый интерес публики, становится предметом горячих споров. То, что произошло с последним его фильмом — «Репетиция оркестра»,— превзошло все ожидания. Еще до того, как кинообозреватели периодических изданий смогли сформулировать свое мнение, выразить свое отношение к ленте, о фильме заговорили писатели, философы, социологи, психоаналитики, музыковеды... общественные и политические деятели, в их числе Джулио Андреотти. Он выступил на страницах сразу двух еженедельников: «Эспрессо» и «Эуропео». «Как всегда, Феллини великолепен в подборе типажей, в удивительном богатстве оттенков»,— писал Андреотти.

Критики единодушно подчеркивают, что Феллини создал свой первый политический фильм. «Это портрет Италии сегодняшнего дня», —пишет рецензент газеты «Паэзе сера».

На снимке: кадр из фильма «Репетиция оркестра».

(Газета «Паэзе сера»)

Сам Феллини активно отвергает такую трактовку своего произведения, он считает, что его надо читать как гиперболу этическую, а не политическую. Режиссер соотносит сюжетные перипетии ленты с самыми разнообразными явлениями действительности. «Я не подсказываю никаких моделей прочтения фильма»,— говорит он. И тем не менее многие критики настаивают на прочтении ленты именно как политической гиперболы, причем реакция здесь самая разнообразная: «от восторженного энтузиазма,— пишет газета «Паэзе сера»,— вплоть до обвинения в консерватизме».

Как ни расшифровывать феллиниевскую аллегорию, это, бесспорно, актуальное и значительное явление в культурной жизни страны.

НОВЫЙ «ПОДЖАНР» ФАНТАСТИКИ?

Жанр фантастики в Италии сравнительно молод. Вышедшая недавно книга Пьеро Орефиче «Ряса и клобук» (издательство Рицколи) свидетельствует о том, что он быстро развивается, причем в довольно оригинальном направлении. В рекламе говорится, что читатель найдет в ней «тайну, надежду и чудо».

Маленькая девочка «слышит голоса» и сообщает журналисту предсмертные слова умирающего папы римского, а затем все, что говорится на тайном конклаве, созванном для избрания нового папы. А там творится нечто странное: вместо фамилий кандидатов на папский престол кардиналы «машинально» начинают писать на избирательных бюллетенях слова непонятных пророчеств, сводящихся к тому, что надо ждать пришествия какого-то монаха... Здесь роман от мистики и парапсихологии резко поворачивает в сторону более привычную для читателей — к так называемой политической фантастике. Американские и советские атомные подводные лодки вдруг остаются без топлива, урановые рудники теряют радиоактивность, исчезает атомное сырье, и, следовательно, наступает всеобщее разоружение. Сначала все думают, что это результат вмешательства инопланетных цивилизаций, но они оказываются ни при чем. Наконец, тайна раскрывается, из ворот одного итальянского монастыря выходит монах в рясе и клобуке — и этим монахом оказывается Иисус Христос. Он садится в полицейскую машину, через служебный вход проникает в Ватикан и входит в зал, где происходит конклав. Председательствующий кардинал возглашает: «Вернулся Иисус Христос!».

Книга написана увлекательно, но она разочарует читателя, полагает автор рецензии писатель и критик Энцо Рава.

«Вот до чего мы дошли,— пишет он.— Эскалация литературы потребления уже совсем близка к концу. Остается только ждать появления детективного романа, где убийца окажется не мажордомом, как обычно, а святым духом».

КНР

ПЕРЕВОД НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК «БЫЛОГО И ДУМ» А. И. ГЕРЦЕНА

Один из старейших китайских писателей, Ба Цзинь, закончил перевод на китайский язык «Былого и дум» А. И. Герцена, который будет издан в 5 томах. Послесловие к переводу, написанное 17 сентября 1978 г., было опубликовано в журнале «Чанчунь» (1979, № 1, г. Чанчунь).

В послесловии Ба Цзинь рассказывает китайскому читателю о Герцене, подробно цитирует знаменитую статью В. И. Ленина «Памяти Герцена», рассказывает о причинах, побудивших его взяться за перевод.

«Книга «Былое и думы», можно сказать, была моим учителем,— пишет Ба Цзинь.— Я впервые познакомился с ней 5 февраля 1928 года, когда купил английский перевод Гарнет. Тогда мой первый роман «Гибель» еще не был написан. Хоть мой жизненный путь был тогда прост, но в душе тоже горел огонь, а чувства жаждали излиться. Хотелось поделиться своими пристрастиями. Моя кровь и слезы ложились на бумагу иероглифическим текстом. Я бессознательно испытывал на себе воздей-

ствие Герцена. Затем я не раз переводил отрывки из «Былого и дум» с одной мыслью: учиться, учиться тому, как удалось автору свои чувства передать через письменное слово. Ныне я полностью перевел «Былое и думы», но желание учиться меня не оставило; я хочу учиться по этой книге всю жизнь до последнего дыхания. Учиться можно многому, теперь учусь тому, как автор скромными, простыми словами и фразами сообщает свои чувства другим людям и воодушевляет читателя своей твердой верой в будущее».

Ба Цзинь считает, что книга А. И. Герцена прозвучит в Китае как своевременная и актуальная. Он рассказывает о своей работе и ее политическом значении:

«В сентябре 1975 г. я закончил новый перевод «Нови» и начал переводить «Былое и думы». В апреле 1977 года первые два тома были переведены. Когда я переводил эту колоссальную эпопею, то на издание не надеялся. Я смотрел на нее как на свою последнюю работу и старался делать ее тайком, потому что «четверка» желала, чтобы я сломался сам по себе, поставленные ею в Шанхае псы-надзиратели не спускали с меня глаз и бешено облаивали. Потом, в мае 1977 года, я опубликовал «Одно письмо», в котором говорилось: «Ежедневно я писал несколько сот иероглифов перевода, и мне казалось, что я вместе с Герценом бреду во мраке России XIX века. Герцен проклинал деспотизм Николая I, я же клял фашистскую диктатуру «четверки» и верил, что дни их произвола не могут длиться слишком долго...» Некоторые полагают, что сравнивать деспотизм Николая I с произволом «четверки» неподходяще, потому что следы феодализма в нашей стране исчезли уже давно. Я не хочу аргументировать свою точку зрения, но книга передо мной, и пусть сомневающиеся сами посмотрят, нет ли там сходных портретов. Я же попрошу только читателей обратить особое внимание на то, как наследник царского престола бросал на подоконнике персиковые косточки. Неужели это всего лишь анекдот стасорокалетней давности?»

Для Ба Цзиня, пережившего жестокую травлю в годы «культурной революции», царский произвол в николаевской России, описанный Герценом, живо перекликается с собственными воспоминаниями о Китае Мао Цзэдуна.

Ба Цзинь использовал для перевода текст «Былого и дум» из 8-го тома собрания сочинений А. И. Герцена в 30 томах издания АН СССР (1956 г.). Он сверялся также с текстом английского перевода. Оказалось, что в Китае не один Ба Цзинь переводил «Былое и думы» Герцена. После публикации сообщения о переводе в шанхайской газете «Вэньхуэйбао» в мае 1978 г. из провинции Фуцзянь Ба Цзиню прислали уже выполненный перевод четырех книг «Былого и дум», а из провинции Ляонин — перевод второй книги. Эти люди читали и переводили Герцена в самые тяжелые годы маоистской «культурной революции».

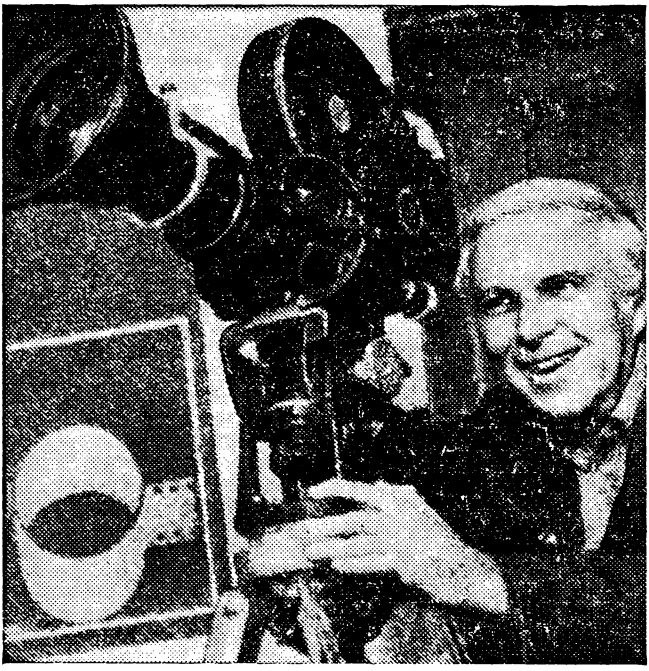
КУБА

ЮБИЛЕЙ КИНОРЕЖИССЕРА

Выдающийся деятель кинематографии Кубы Сантьяго Альварес, шестидесятилетие которого широко отмечалось, в беседе с корреспондентом газеты «Хуventуд ребельде» сказал: «В кинематограф меня, журналиста, привело стремление служить делу революции, и ныне как режиссер-документалист я отсчитываю свои годы от незабываемых дней ее победы в 1959 году. Ибо самый значительный период моей жизни неотрывен от деятельности созданного в том же году Кубинского института киноискусства и кинопромышленности (ИКАИК), сыгравшего исключительную роль в становлении нашей национальной кинематографии, достижения и задачи которой, в сущности, неотделимы от великих свершений народной революции.

Наше киноискусство является не только достоянием кубинской культуры, но и действенным эффективным оружием в идеологической борьбе. И сегодня мы, труженики экрана, должны служить ей с той же страстью и преданностью, как и во времена, когда мы стояли у ее колыбели». Среди последних работ Сантьяго Альвареса фильм «Большой скачок в пустоту», съемки которого осуществлены в январе этого года в Кампучии и пограничной зоне Вьетнама,— это гневное обличение политики великодержавного экспансионизма правящих кругов Китая в Юго-Восточной Азии. «Название его символично,— отметил С. Альварес,— оно ассоциируется с выдвинутой Мао Цзэдуном обширной программой «большого скачка», которая, как известно, потерпела крах. В сущности,— подчеркнул он,— это история модернизированного фашизма в трех частях и с единственно возможным финалом. В «Генезисе предательства» показано вероломное отступничество маоизма от высоких целей и идеалов, подлинно революционного движения. В «Чудовищном эксперименте» разоблачается сговор пекинских правителей с антинародной кликой Пол Пота — Иенг Сари в Кампучии. Заключительная часть фильма «Циничные агрессоры» неоспоримо свидетельствует о подготовке и эскалации китайской агрессии против социалистического Вьетнама».

«Созданные по горячим следам событий, фильмы Сантьяго Альвареса,— пишет газета «Гранма»,— обладают особой силой эмоционального воздействия на зрителя. Они приковывают его внимание, так как в них ощутимо могучее биение пульса современности и вместе с тем просматриваются тенденции развития самой истории. Публицистическое осмысление действительности соединилось в



На снимке: Сантьяго Альварес во время съемок.

(Газета «Гранма»)

них с виртуозным мастерством кинематографиста».

ПОЛЬША

ДЕТИ И ВОЙНА...

С 26 по 29 апреля в Варшаве проходила международная научная сессия на тему «Ребенок в годы второй мировой войны». На ней присутствовали представители разных стран: ученые, юристы, писатели, общественные деятели, участники Сопротивления, бывшие узники гитлеровских концлагерей. Среди присутствующих были и советские писатели Ирина Ирошникова (ее книга «Здравствуйте, пани Катерина» о трагической судьбе детей в Освенциме была трижды издана в Польше) и Владимир Беляев, участник войны, малолетний сын которого умер от голода во время блокады Ленинграда.

Польский писатель Леслав Бартельский рассказал о страданиях детей Польши, которая в результате гитлеровского террора с 1939 по 1945 год потеряла свыше двух миллионов детей и молодежи, а двести тысяч детей были увезены в Германию, из них на Родину вернулось только тридцать тысяч. Леслав Бартельский рассказывал о трагической судьбе детей восставшей Варшавы: при подавлении восстания по приказу Гитлера оккупанты расстреливали всех, в том числе и детей. Так в районе Воля их было расстреляно до четырех тысяч. Леслав Бартельский говорил также о маленьких героях, чьи образы увековечены в романе Марии Домбровской «Приключения мыслящего человека», герою которого было всего одиннадцать лет, а герою романа Яна Добрачинского «В разрушенном доме» — тринадцать. Он вспомнил о героическом одиннадцати-

---

На варшавском телевидении был показан семисерийный фильм по мотивам романа известного польского писателя Тадеуша Доленги-Мостовича «Доктор Мурек». Режиссер фильма — Витольд Лесевич; он совместно с Евгениушем Кабатцем также и автор сценария. Тадеуш Доленга-Мостович приобрел широкую известность еще перед войной; особенной популярностью пользовались его романы «Карьера Никодема Дызмы» и «Дневник пани Ханки», фильмы по которым в свое время с успехом демонстрировались в Советском Союзе. В главной роли в фильме «Доктор Мурек» выступает Ежи Зельник, знакомый советскому зрителю как исполнитель роли фараона в фильме Ежи Кавалеровича «Фараон».

На снимке: кадр из фильма «Доктор Мурек».

(Журнал «Фильм»)

летнем капрале Витольде Модельском, погибшем в бою с оккупантами.

Газета «Жице Варшавы» задолго до научной сессии открыла на своих страницах рубрику «Детство и война»— раздел, в котором публикуются воспоминания людей, переживших в детстве гитлеровскую оккупацию.

О страданиях детей в годы второй мировой войны говорили представители Югославии, Венгрии, Италии, Румынии, Болгарии, Великобритании, СССР, Польши, Австрии, Голландии, США, Швеции, Франции, Бельгии. Участники сессии приняли обращение, в котором, в частности, говорится: «...помня миллионы убитых, изувеченных и лишенных нормальных условий существования детей в годы второй мировой войны, мы обращаемся к народам мира с призывом приложить все усилия к тому, чтобы обеспечить детям мирную жизнь, предохранить их от жестокости, которую несет с собой война».

РЕЛИКВИИ ВЕРНУЛИСЬ НА РОДИНУ

Самая большая и ценная из частных коллекций рукописей Адама Мицкевича и связанных с ним реликвий недавно стала собственностью Варшавского литературного музея. Рукописи были приобретены у правнука Адама Мицкевича Ежи Горецкого, проживающего в Париже.

ПОРТУГАЛИЯ

РОМАН-АЛЛЕГОРИЯ

«Кортесы» — новый роман известной португальской писательницы Алмейды Фариа, вызвавший, по словам рецензента лиссабонской газеты «Экспрессо», большой интерес. В композиционной структуре произведения переплетаются многочисленные жизненные истории. Каждая глава — это рассказ от лица какого-либо персонажа: от него же самого читатель узнает и предысторию. Главы эти — как бы изолированные фрагменты с разными действующими лицами — участниками одних и тех же событий. Роль любого из героев в происходящем раскрывается только на основании его же собственного, субъективно окрашенного рассказа, пишет критик. Фигуры главных действующих лиц «Кортесов» символичны: писательница дала им библейские имена — Моисей, Иов, Самуил. Соответственно с этим каждый персонаж воспринимается по ассоциации с библейским персонажем. (Моисей — мудрец, пророк, борец за независимость, Самуил — учитель и судья, Иов — праведник).

Смертью Отца — эта сцена является кульминационной в романе — остальные члены семьи, привыкшие к беспрекословному повиновению, выбиты из колеи: мгновенно утратив жизненный ориентир, они потеряли уверенность в себе. А будущее пока кажется героям непонятным, зыбким. Критик «Экспрессо» полагает, что в «Кортесах» аллегорически воссоздается важный момент истории Испании, освободившейся, наконец, от тоталитарной власти.

РУМЫНИЯ

СТИХИ МИРЧИ ДИНЕСКУ

Новый сборник известного румынского поэта М. Динеску «К вашим услугам» высоко оценен критикой, назвавшей выход книги значительным событием литературной жизни. Поэт, заявивший еще в предыдущем сборнике «Хозяин мостов»: «Мы пишем стихи на караваях хлеба!», посвятил новую книгу роли поэзии в сложном современном мире. Прежде всего он восстает, по словам рецензента «Контемпоранул» Г. Димисиану, «против сытой, довольной собой поэзии, ничего не говорящей ни уму, ни сердцу». Он сторонник искусства, всегда готового служить человеку. Главное в его творчестве — «огромная жажда стать сопричастным делам реальной жизни, непреодолимое желание понять, осмыслить все сущее». Он «не поверяет алгеброй чувства», постоянно ищет и находит самые непривычные ракурсы в ограждении действительности, творчество его отличает, как подчеркивает Г. Димисиану, неустанный поиск нравственной глубины, «этики соучастия» в делах людей. Поэт решительно объявляет войну всему тому, что ведет к «депоэтизации» жизни, ее обессмысливанию, «загрязнению нравственной среды».

«Все это, может, и не ново,— заключает рецензент,— но главное тут другое: свежесть, необычайная новизна образов, всепокоряющая сила поэтического переживания».

Подобные же оценки можно прочесть и на страницах многих других журналов Румынии.

«ЕДИНСТВЕННАЯ ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ»

В издательстве «Картя ромыняскэ» вышел сборник статей известного румынского писателя Пауля Джорджеску, автора романов и повестей «Спускаясь вниз», «Перед молчанием», «Доктор Поэнару», «Новогодняя ночь», сборников эссе. Новый сборник включает статьи, написанные за последние три года. Название книги весьма лаконично — «Том». В ней несколько десятков небольших по размеру работ: в целом же это — панорама современной румынской литературы. Мнение писателя-коммуниста, участника движения Сопротивления во время второй мировой войны, пришедшего в литературу сразу же после освобождения Румынии, а сейчас, несмотря на тяжелый недуг, продолжающего плодотворно работать,— очень ценно. Джорджеску в беседе с корреспондентом журнала «Иностранная литература»

На экраны страны вышел новый кинофильм М. Верою, поставленный по мотивам романа «Последняя ночь любви, первая ночь войны» Камила Петреску, одного из зачинателей современной литературы Румынии.
Как отмечает рецензент «Скынтейи» Н. Станку, режиссеру удалось средствами кино убедительно воплотить заложенную в романе К. Петреску идею о том, что война во много крат усилила противоречия между классами в буржуазно-помещичьем обществе. «По сравнению с героем романа, который знал одни траншеи войны,— замечает Н. Станку,— герой фильма познает иное поле сражения — классовое». Успеху фильма во многом содействовали, по мнению рецензента, оригинальная режиссерская трактовка М. Верою и игра исполнителей главных ролей — И. Карамитру и Е. Албу. На снимке: исполнительница главной роли Елена Албу.

(Газета «Скынтейя»)

называет поэтов, которые, на его взгляд, достойны особенно пристального внимания читателей: Тудора Аргези, Михая Бенюка, Никиту Стэнеску, Аугустина Дойнаша, Джеллу Наума, Иона Карайона, Леонида Димова, Петре Стойку...

На вопрос о том, пробовал ли он писать стихи, Джорджеску ответил:

— Знаете, что говорил Марсель Пруст? Талант — не автомобиль, который просто помогает тебе вырваться вперед; это сила, которая помогает тебе оторваться от земли. Поэтический талант — это особая сила. Я слишком люблю поэзию, чтобы позволить себе писать стихи.

Джорджеску беспощаден к себе. Ведь некоторые куски его повести «Перед молчанием», с которой познакомил советского читателя журнал «Иностранная литература» в прошлом году,— прямое опровержение его слов о «непоэтичности» его музы.

— Герой повести «Перед молчанием», от лица которого ведется повествование, двадцатилетний юноша, приговоренный фашистами к расстрелу, записывает в свою тетрать: «Идея по-настоящему могуча тогда, когда она поднимает на борьбу людей мирных, ничем не выдающихся, не затронутых событиями. В наш век имя ей — коммунизм». И еще: «Остаться человеком в фашистских застенках — значит выдержать испытание, превосходящее человеческие силы».

— Что главное для вас в этой повести — идея, во имя которой люди отдают свою жизнь, или человек?

— Эти понятия нерасторжимы — вера во что-то придает твоей жизни смысл, а тебе — силу. Жизнь и смерть неизбежны. Но остаться человеком, сохранить собственное достоинство перед лицом испытаний зависит от нас самих. Конечно, об этом легко рассуждать... Мой герой сознательно идет на поединок со смертью. Сегодня еще есть государства, в которых убийства, пытки — норма. Фашизм — черное пятно на совести человечества.

— О чем ваш новый роман?

— Да уж не знаю, что скажут критики, когда он будет опубликован: назовут его историческим или сочтут, что это — психологическая драма с элементами сатиры. Действие происходит в 1924—1926 годах в Румынии. Мой главный принцип — писать о том, что хорошо мне известно. Но родился я в 1923 году, так что не могу считать себя участником событий того времени, поэтому пишу о людях, а «фон» воссоздаю по рассказам и воспоминаниям моих старших товарищей. Творчество для меня всегда было единственной формой существования.

США

САТИРИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

Джозеф Хеллер, известный советским читателям своими книгами «Уловка-22» и «Что-то случилось» (см. «ИЛ» № 4, 1978), в новом романе «Чистое золото» продолжает сатирическую летопись послевоенной американской действительности, перенося действие непосредственно в наши дни. Герой романа Брюс Голд — пятидесятилетний нью-йоркский интеллектуал, профессор литературы и культуролог. Подобно многим другим персонажам современного романа в США, это человек, при всем внешнем благополучии быта, сознающий никчемность и бесцельность своего существования, но неспособный изменить механически однообразное течение будней.

Голд тяготится ощущением ложности основ, на которых держится весь его мир. Жизнь Голда — это десятилетия приспособленчества и обмещанивания, а также внутренней раздвоенности, потому что герой не хочет смиряться с таким

уделом. Как и с Бобом Слокумом из предыдущего романа Хеллера, с Голдом тоже «что-то случилось»: глубокий разлад в семейных отношениях, смутное, но настойчивое чувство недовольства собой выдают общее неблагополучие его бытия. Ему не хватило нравственного мужества, чтобы занять самостоятельную позицию, а стремление лавировать и прилаживаться, ставшее второй натурой Голда, привело его к духовному тупику.

Ничтожное событие предоставляет ему шанс резко изменить курс жизни: Голд напечатал хвалебную рецензию на мемуары президента США, был замечен в Белом доме и получил приглашение занять крупный правительственный пост. Как пишет в «Нью-Йорк ревью оф букс» Т. Эдвардс, «в стране слепцов даже Голд может сделаться королем». Совершенная безликость, он устраивает нынешнюю администрацию своей расплывчатой либеральной фразеологией, за которой стоит последовательный конформизм, и своей готовностью следовать заповедям, афористически выраженным одним из президентских советников: «Делайте все что угодно до тех пор, пока вы делаете то, что угодно нам».

Перед Голдом открываются ошеломляющие перспективы: ему предлагают стать директором ЦРУ, государственным секретарем США. Цветистое пустословие героя Хеллера и его позиция компромиссов с общественной системой оказываются как нельзя более ко двору, Голд может сделаться одним из первых лиц в государстве. Но для этого ему придется окончательно оторваться от той интеллектуальной среды, в которой прошла вся его жизнь. Всегда отличавший Голда страх перед решительным выбором мешает герою Хеллера воспользоваться неожиданными возможностями. Он так и остается в нерешительности, на распутье, в плену собственных противоречий, которые отражают безволие и двойственность устремлений, присущую всему либеральному американскому сознанию, ставшему основным объектом сатиры Хеллера в его новой книге.

Вместе с тем она представляет собой и едкую сатиру на сегодняшний политический климат в США, и некоторые из критиков (в частности, П. Прескот из официозного журнала «Ньюсуик») поспешили обвинить писателя в намеренном сгущении красок. Однако большинство рецензентов отмечает острую актуальность романа, подтвердившего, что Джозеф Хеллер — один из наиболее проницательных аналитиков американской жизни в литературе 70-х годов.

«ПЕРЕГРУЗКА» АРТУРА ХЕЙЛИ

Артур Хейли — писатель, чьи романы неизменно оказываются в списках бестселлеров года, причем нередко занимают в этих списках первое место. После того как автор «Отеля» выпустил роман «Аэропорт», ставший в кратчайший срок «национальным бестселлером», за Хейли прочно утвердилась репутация «беспроигрышного» (для издателей, разумеется) прозаика. Хейли, по единодушному мнению американских критиков и издателей,— один из немногих «средних» (если не сказать — «массовых») прозаиков, чьи очередные книги многомиллионная читательская аудитория Америки ждет с нетерпением. Так что, по словам еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», его романам даже еще до их выхода в свет стопроцентный успех гарантирован.

Как-то Хейли признался в одном из интервью, что писательство для него — не самоцель. По его словам, у него есть твердое намерение написать с полдюжины «беспроигрышных» книг и — удалиться с литературной сцены. Однако неизменный успех романов Хейли на родине и за рубежом (на русском языке вышли также романы «Окончательный диагноз» и «Колеса») всякий раз убеждает критиков, что до последней книги Хейли еще далеко.

Видимо, не будет последним и только что вышедший, шестой по счету, роман «Перегрузка» (издательство «Даблдей»). Рецензент «Нью-Йорк таймс бук ревью», пытаясь выяснить, чем же объясняется такой успех книг Хейли, отмечает: главное, что привлекает читателей,— это не увлекательный сюжет, кстати сказать, становящийся от романа к роману все менее «закрученным», и не художественные достоинства его прозы (романы Хейли, как правило,— «пошловатые мелодрамы»), а возможность «кое-что узнать».

В самом деле, пишет рецензент, из предыдущих романов Хейли «мы кое-что узнавали об американских аэропортах, банках, гостиницах, автомобильной индустрии». Хейли показывает «изнанку» американского бизнеса, то, что скрыто за кулисами. Именно это, считает рецензент, во многом объясняет популярность Хейли. И в своем новом романе писатель приглашает читателя «пройти за кулисы»: на этот раз объектом изображения является «внутренняя жизнь» крупной энергетической компании в Калифорнии. Как и в предыдущих книгах Хейли, романная интрига в «Перегрузке» носит очень схематический характер, подчас даже «напоминает беллетризованный годовой отчет акционера». Вместе с тем новая книга писателя сразу же привлекла к себе широкий интерес (после выхода в свет роман занял первое место в списке «десяти лучших») по уже известным причинам: роман насыщен самой разнообразной информацией о «механике» американского большого бизнеса. Особый интерес сообщает ему также острая актуальность затрагиваемых Хейли социальных проблем, непосредственная соотнесенность с сегодняшним днем Америки.

ФИЛИППИНЫ

ПОДГОТОВКА К СОЗДАНИЮ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ АСЕАН

В декабре 1978 г. в г. Манила состоялось заседание Организационного комитета Союза писателей АСЕАН. Участники заседания рассмотрели проект устава организации, представленный малайзийской делегацией, и внесли в него уточнения. Было достигнуто соглашение о проведении учредительного съезда Союза писателей АСЕАН в течение 1979 г. в Сингапуре или Бангкоке. Согласно пункту согласованного устава, писательская организация АСЕАН «средствами литературы будет добиваться взаимопонимания, взаимного уважения, сотрудничества и мира между странами АСЕАН», она призвана также защищать и отстаивать права писателей АСЕАН. Для осуществления этих целей в рамках Союза писателей АСЕАН будет работать пять постоянных комитетов — по издательским вопросам, по вопросам перевода, по обмену писателями, по охране авторских прав, а также финансовый комитет.

ФИНЛЯНДИЯ

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ТРИЛОГИИ

Знаменитая трилогия известного финского романиста Вяйне Линна «Здесь, под Полярной звездой» о судьбе крестьянского бедняка Коскела и его потомков обрела новую жизнь. Пьесы по его романам идут в трех театрах страны — в Оулу, Иоесуу и Хельсинки.

Произведения Вяйне Линна, считает «Илта-саномат», всегда оставались актуальными на родине писателя, и хотя писатель в одном из интервью заявил, что его романы скоро перестанут иметь значение для общественной жизни Финляндии, действительность не подтверждает его пессимистического суждения. Сейчас романы актуальны по трем причинам. Во-первых, читатели стали отдавать предпочтение масштабным эпическим произведениям. Во-вторых, молодое поколение финнов стало все больше и больше «открывать» для себя писателя Вяйне Линна. В-третьих, известное обострение социально-экономической обстановки в стране и усиление классовых противоречий как следствие, в частности, роста безработицы пробудили интерес к произведениям этого видного представителя современного критического реализма, поскольку в его книгах действие разыгрывается в острых социально-политических условиях.

На сцене театра Иоенсуу идет драма, созданная Эйгеном Терттула по второй книге трилогии, посвященной событиям гражданской войны в Финляндии в 1918 г. В Оулу поставлен сценический вариант последней части трилогии. Автор — Лассе Пейусти, режиссеры Пекка Милонаф и Лиса Урпелайнен. Наибольшее внимание, однако, привлекла к себе постановка Комтеатра — самого боевого и наиболее прогрессивного молодежного театра финской столицы. Созданный здесь на основе трилогии Линна яркий спектакль финская общественность расценила как самое выдающееся событие театральной жизни этого года.

ФРГ

ФИЛЬМ О ПРОБЛЕМАХ МОЛОДЕЖИ

Новая работа западногерманского режиссера Макса Виллутцкого «Кулаки в карманах» не принадлежит к числу так называемых «кассовых» фильмов. Впрочем, его создатели и не задавались такой целью. На примере судьбы семнадцатилетнего Вольфганга Кернера, которому друзья дали шутливое прозвище Шерстинка, они стремились показать одну из самых наболевших проблем сегодняшнего западногерманского общества — безработица среди молодежи, отсутствие перспективы у молодых людей, которые, едва вступив в жизнь, были выброшены на улицу. В основу фильма, подчеркивают его создатели, лег фактический материал.

В разговоре с корреспондентом газеты «Унзере цайт» режиссер Макс Виллутцкий так рассказал о работе над картиной: «Создавая фильм, мы решили сосредоточиться на одном аспекте «молодежной проблемы», показать, как воздействует отсутствие работы на психику молодого человека, какие тут возможны стрессы и внутренние срывы, часто ли подростки начинают воспринимать себя как законченных неудачников. Своим сценарием мы хотели помочь молодым людям найти нечто, что смогло бы противостоять апатии и беспомощности, отчаянию и приспособленчеству. Ведь их проблемы — это наши общие проблемы. Разумеется, мы далеки от того, чтобы предлагать какое-то единое патентованное решение всех этих проблем, нам только хотелось убедить зрителей в необходимости конкретных действий».

Макс Виллутцкий подчеркнул, что фильму не так-то легко было пробиться на западногерманский экран. Публика, однако, встретила фильм с большим интересом, в особенности подростки, для кого, собственно, фильм и был предназначен.

ФРАНЦИЯ

БУРГУНДСКАЯ ЖАННА Д'АРК

Новый роман Бернара Клавеля «Воительница» (изд-во Лаффон)— третья часть его многотомной исторической эпопеи «Столпы неба» (1-я часть — «Волчья пора», 2-я часть — «Свет

озера», предполагается издание четвертого, заключительного, тома).

В героине романа Ортанс д'Эстерноз есть черты сходства с Жанной д'Арк: она сражается за независимость своего родного края — Франш-Контен. Время действия романа — середина шестнадцатого века. Ортанс д'Эстерноз, наивная, преисполненная веры и благородства девушка, воюет за установление всеобщего мира, за возрождение родной земли. Отлично владея оружием и искусством верховой езды, она проезжает через всю страну и становится свидетельницей ужасов войны: на каждом лесном перекрестке убивают, уничтожают даже детей, пленным сыплют в раны раскаленный горох, муки голода превращают солдат в людоедов, знатные господа творят в своих усадьбах злодейства и насилия, повсюду свирепствует ненависть и нет прибежища бескорыстной любви. К концу книги Ортанс теряет свои иллюзии и надежды, но приобретает жизненный опыт и сохраняет волю к победе.

Жером Гарсен в «Нувель литтерер» называет «Воительницу» искусным и увлекательным приключенческим повествованием, написанным мастером этого жанра, одним из лучших рассказчиков среди современных французских романистов. Андре Вюрмсер в «Юманите» подчеркивает идейное содержание романа: «Бернар Клавель никогда не перестает воевать с войной... Но в третьем томе «Столпов неба» повествование ведет к оправданию борьбы, к признанию ее необходимости и моральной неизбежности: когда рейтеры ведут на виселицу бедняков, которых они пытали, то читатель понимает: для того, чтобы противостоять насилию, необходимо сражаться... Ужасы войны, пожары, разбой, пытки, смерть, отчаяние, так же как и роковые последствия всего этого — превращение нормального человека, которого заставляют убивать, в палача и убийцу,— все это воссоздано Клавелем в картинах, достойных кисти Гойи, Босха, Брейгеля, Калло. Третий том «Столпов неба» в большей мере, чем предыдущие, полон сцен сражений, пыток, казней, неожиданных сюжетных поворотов.

Это замечательный исторический, остросюжетный роман».

Широко известный советскому зрителю киноактер Жан Марэ с успехом сыграл в театре Робера Оссейна роль короля Лира.
Жану Марэ сейчас шестьдесят пять лет, творческий диапазон его очень широк: он пишет рассказы, занимается живописью.
Следующая его работа в театре, которую ему предлагает Робер Оссейн,— роль Юлия Цезаря в трагедии Шекспира. На снимке: Жан Марэ у себя дома.

(Журнал «Сцена»)

◆

Авторы этого номера

■

ДУМИТРУ РАДУ ПОПЕСКУ — DUMITRU RADU POPESCU (род. в 1935 г.).

Румынский писатель и драматург; лауреат нескольких литературных премий. Автор более пятнадцати книг; особую популярность в Румынии снискали его романы «Дни недели» («Zilele săptămînii», 1959), «Лето в Олтении» («Vara oltenilor», 1964), «Ф» («F», 1969), повесть «Двое у горы Цебы...» («Cei doi din dreptul Țebei sau cu fata la pădure...», 1973). На румынской сцене и за рубежом широко идут его пьесы. Книги Д. Р. Попеску переведены на многие иностранные языки. В Советском Союзе в русском переводе вышли сборник повестей и рассказов «Белый дождь», повесть «Королевская охота», в периодике публиковались рассказы. «Иностранная литература» напечатала повесть «Скорбно Анастасия шла...» (№ 2, 1977).

Предлагаемый вниманию читателей рассказ «Золотой ларь» («Tronul de aur») взят из сборника «Сон земли» («Somnul pămîntului». Editura tineretului, 1965). Рассказ войдет в книгу Д. Р. Попеску «Избранное» («Прогресс», 1979).

■

ЮЛИАН НЯКШУ — IULIAN NEACȘU (род. в 1941 г.).

Румынский писатель. Окончил филологический факультет Бухарестского университета. Начал печататься в 1964 г. в периодических изданиях. В 1966 г. вышел его первый сборник рассказов «Зимой, когда светит солнце» («Iarna cînd e soare»). Затем появился сборник «Остров» («Insula». București, Editura Pentru literatură, 1968), из которого взят предлагаемый читателям рассказ «Директор».

■

АУГУСТИН БУЗУРА — AUGUSTIN BUZURA (род. в 1938 г.).

Румынский писатель. По образованию врач, в 1964 г. окончил медицинский институт в г. Клуже. Печататься начал еще в студенческие годы. Перу А. Бузуры принадлежат сборник рассказов «Мыс Доброй Надежды» («Capul Bunei Speranțe», 1963), романы «Непричастные» («Absențiii», 1970) и «Лики молчания» («Fețele tăcerii», 1974). Оба эти романа были удостоены премий Союза писателей Румынии.

Рассказ «Шумы и блики» («Zoomote si lumini») взят из еженедельника «Ромыниа литерарэ» («România literară», январь 1978).

■

ВАСИЛЕ РЕБРЯНУ — VASILE REBREANU (род. в 1934 г.).

Румынский писатель, драматург, публицист, эссеист. Его первый сборник новелл «В разгаре дня» («În plină zi») появился в 1959 г. Затем был издан роман «Дом» («Casa», 1962), удостоенный премии Союза писателей Румынии. В последующие годы вышли роман «Добрый палач» («Călăul cel bun», 1965), несколько книг рассказов, сборник «Пьесы» («Teatru»), киносценарии и другие произведения.

Рассказ «Ягуар» («Jaguarul») взят из сборника «Зовите мужчин к звездам» («De chemat bărbatul pe stele», 1966).

■

ФЭНУШ НЯГУ — FĂNUȘ NEAGU (род. в 1932 г.).

Румынский прозаик. Его первая книга рассказов «Шел снег в Бэрэгане» («Ningea în Bărăgan») вышла в 1959 г. и встретила высокую оценку читателей и критики. Получили признание и последующие сборники Ф. Нягу: «За песками» («Dincolo de nisipuri», 1962), «Заброшенная сторожка» («Cantonul părăsit», 1964), «Шальное лето» («Vară buimacă», 1967, вышедший в 1968 г. роман «Ангел возвестил» («Îngerul a strigat») был отмечен премией Союза писателей Румынии как одно из наиболее примечательных произведений года. Советским читателям Ф. Нягу знаком по русским переводам его рассказов в сборниках «Солнце для каждого» и «Шальное лето».

Рассказ «Колодцы» («Fîntîna») был напечатан в сборнике «Заброшенная сторожка».

■

СОРИН ТИТЕЛ — SORIN TITEL (род. в 1935 г.).

Румынский прозаик. Начал печататься в 1957 г. Первый сборник его рассказов «Дерево» («Copacul») появился в 1963 г. В последующие годы писатель выпустил сборники «Возможное возвращение» («Reintoarce-

rea posibilă», 1966), «Благородные и сентиментальные вальсы» («Valsuri nobile şi sentimentale», 1967). Его перу принадлежат также романы «Завтрак на траве» («Dejunul pe iarbă», 1968), «Ночь невинных» («Noaptea inocenţilor», 1970), «Долгое путешествие узника» («Lunga călătorie a prizonierului», 1971), «Дальняя страна» («Ţara îndepărtată», 1974) и др.

Рассказ «Однажды весенним днем...» («Zi de primăvară») был напечатан в сборнике «Дерево».

■

Предлагаемая поэтическая подборка познакомит читателей с творчеством молодых французских поэтов, чьи стихи публикуются на русском языке впервые. В подборке представлены:

■

ЖАК РУБО — JACQUES ROUBAUD (род. в 1932 г.).

Французский поэт и эссеист, математик по профессии, создатель так называемой «математической поэзии». Первая стихотворная книга Ж. Рубо «Вечернее путешествие» («Voyage de soir») появилась в 1952 г., затем он выпустил сборники «Эпсилон» («Epcilon», 1967) и «Чувство вещей» («Le sentiment des choses», 1970). В 1977 г. опубликовал заметки и размышления под названием «Автобиография» («Autobiographie»). Ж. Рубо часто выступает как теоретик поэзии. Лауреат литературных премий «Фенеон» (1968) и Поля-Вайяна Кутюрье (1976).

Публикуемые стихи взяты из книг «Эпсилон» и «Тридцать один в кубе» («Trente un au cube». Paris, Gallimard, 1973).

■

БЕРНАР ВАРГАФТИГ — BERNARD VARGAFTIG (род. в 1934 г.).

Его первые поэтические книги «Повсюду — дома» («Chez moi partout») и «Канун зрелости» («La Véraison») вышли в 1966 и 1967 гг. Затем появились одновременно две книги Б. Варгафтига «Уторы» («Les jables». Paris, Editeurs Français Réunis, 1975) и «Описание элегии» («Descrption d'une elegie». Paris, Seghers, 1975), а в 1978 г.— книга «Слава и свора» («Eclat et meute». Paris, Action Poétique), из которых взяты предлагаемые стихи поэта. Б. Варгафтиг — главный редактор поэтического альманаха, выходящего в его родном городе Нанси.

■

ПЬЕР ТИЛЬМАН — PIERRE TILMAN (род. в 1944 г.).

Французский поэт, один из представителей так называемого городского реализма. Его первая книга «Удушливое пространство» («Espace étranglé») появилась в 1967 г. Затем вышли сборники «Флейта Маркуса» («La flûte de Marcus», 1968), «Рабство не уничтожено» («L'esclavage n'a pas été aboli», 1970).

Публикуемые стихи взяты из сборника «Госпиталь-молчание» («Hopital-Silence». Paris, Seghers, 1975).

■

ФРАНК ВЕНАЙ — FRANCK VENAILLE (род. в 1936 г.).

Французский поэт и публицист. Издал около десяти поэтических и прозаических книг. Наиболее известные из них «Документы» («Papiers d'idenité», 1966), «Изумленный подмастерье» («L'Apprenti foudroyé», 1969), «Отчего ты плачешь?...» («Pourquoi tu pleures?...», 1972). В эссе «Конструкция образа» («Construction d'un image», 1977) изложены взгляды Ф. Веная на задачи поэта и поэзии.

Предлагаемые читателю стихотворения взяты из книг «Документы» и «Изумленный подмастерье».

■

МОРИС РЕНЬО — MAURICE REGNAUT (род. в 1933 г.).

Французский поэт, драматург, журналист. Автор поэтических книг «Тройные числа» («Ternaires», 1971), «Дневник» («Autojournal», 1972), пьесы «Тихий океан — Чили» («Pacifique — Chile», 1974).

Публикуемые стихотворения были напечатаны в сборниках «66—67», (1970) и «Между мирами» («Intermonde», Paris, P. J. Oswald, 1974).

Подробнее об этих поэтах и их творчестве — в статье Т. Балашовой «Пространство слова» в разделе «Критика», стр. 168.

■

БАЛАШОВА ТАМАРА ВЛАДИМИРОВНА

Советский литературный критик, кандидат филологических наук. Автор книг «Творчество Арагона» (1964), «Французский роман 60-х годов» (1965) и ряда статей в периодической печати, в том числе в «Иностранной литературе».

ДЖОРДЖЕ МАКОВЕСКУ — GEORGE MACOVESCU (род. в 1913 г.).

Румынский писатель, литературный критик, эссеист; профессор Бухарестского университета. Первая его книга «Противоречия в Британской империи» («Contradicţii in imperiul britanic») вышла в 1950 г. под псевдонимом Виктор Дуран. Автор трудов по истории дипломатии, теории литературы, педагогике, а также эссе «Жизнь и творчество Александру Сахии» («Viaţa şi opera lui Alexandru Sahia», 1950), «Георге Лазэр» («Gheorghe Lazăr», 1954) и исследования «Некоторые проблемы литературного репортажа» («Unele probleme ale reportajului literar», 1956). Часть его публицистических работ 1933—1971 гг. собраны в книге «Возрасты времени» («Vîrstele timpului», 1971).

В разделе «Критика» публикуются фрагменты книг Д. Маковеску «Возрасты времени» и «Поколение войны» («Farmecul Pămîntului», Bucureşti, Editura Dacia, 1977).

ВАЛЕНТИН СИЛЬВЕСТРУ — VALENTIN SILVESTRY (род. в 1924 г.).

Румынский писатель, драматург. Автор комедий, нескольких сборников юмористических заметок и миниатюр, а также критических работ, посвященных проблемам театра, книг путевых очерков и др. произведений.

Публикуемые рассказы взяты из сборника В. Сильвестру «Фея огурцов» («Zîna castraveţilor». Bucureşti, Editura Albatros, 1976).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 5/VI 1979 г. А03242.. Подписано в печать 13/VII 1979 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л.= 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 31,94.

Тираж 686.000 экз. (1-й завод: 1—400.000 экз.) Зак. 1978.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

НИКОЛАЕ ГРИГОРЕСКУ. Пряха

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394